

1861

## БАРСКИМ КРЕСТЬЯНАМ ОТ ИХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЕЙ ПОКЛОН

Ждали вы, что даст вам царь волю, вот вам и вышла от царя воля.

Хороша ли воля, какую дал вам царь, сами вы теперь знаете. Много тут рассказывать нечего. На два года остается все по-прежнему: и барщина остается, и помещику власть над вами остается, как была <sup>1</sup>. А где барщины не было и был оброк, там оброк остается, либо какой прежде был, либо еще больше прежнего станет. Это на два года, говорит царь. В два года, говорит царь, землю переписут да отмежут. Как не в два года! Пять лет, либо десять лет проволочат это дело. А там что? Да почи-тай, что то же самое еще на семь лет; только та разница и будет, что такие разные управления устроят, куда, вишь ты, можно жаловаться будет на помещика, если притеснять будет. Знаете вы сами, каково это слово «жалуйся на барина». Оно жаловаться-то и прежде было можно, да много ли толку было от жалоб? Только жалобщиков же оберут, да разорят, да еще пересекут, а иных, которые смелость имели, еще в солдаты забреют, либо в Сибирь да в арестантские роты сошлют. Только и проку было от жалоб. Известно дело: коза с волком тягалась, один хвост остался. Так оно было, так оно и будет, покуда волки останутся, — значит — помещики да чиновники останутся <sup>2</sup>. А как уладить дело, чтобы волков-то не осталось, это дальше все рассказано будет. А теперь покуда не об этом речь, какие новые порядки надо вам завести; покуда об том речь идет, какой порядок вам от царя дан, — что значит, не больно-то хороши для вас нынешние порядки, а что порядки, какие по царскому манифесту да по указам заводятся, все те же самые прежние порядки. Только в словах и выходит разница, что названья переменяются. Прежде крепостными, либо барскими вас звали, а ныне срочно-обязанными вас звать велят <sup>3</sup>; а на деле перемены либо мало, либо вовсе нет. Эки

слова-то выдуманы! Срочно-обязанные, — вишь ты глупость какая! Какой им чорт это в ум-то вложил такие слова! А по-нашему надо сказать: вольный человек, да и все тут. Да чтобы не названием одним, а самым делом был вольный человек. А как бывает и вправду вольный человек и каким манером вольными людьми можно вам стать, об этом обо всем дальше написано будет. А теперь покуда о царском указе речь, хорош ли он.

Так вот оно как: два года ждите, царь говорит, покуда земля отмежеуется, а на деле земля-то межеваться будет пять, либо и все десять лет; а потом еще семь лет живите в прежней неволе, а по правде-то оно выйдет опять не семь лет, а разве что семнадцать, либо двадцать, потому что все, как сами увидите, в проволочку идет. Так, значит, живите вы по-старому в кабале у помещика все эти годы, два года, да семь лет, значит — девять лет, как там в указе написано, а с проволочками-то вправду выйдет двадцать лет, либо тридцать лет, либо и больше. Во все эти годы оставайся мужик в неволе, уйти никуда не мог: значит, не стал еще вольный человек, а все остается срочно-обязанный, значит — все тот же крепостной. Не скоро же воли вы дождетесь, — малые мальчики до бород аль до седых волос дожить успеют, покуда воля-то придет по тем порядкам, какие царь заводит.

Ну, а покуда она придет, что с вашей землей будет? А вот что с нею будет. Когда отмежевывать станут, обрезать ее велено против того, что у вас прежде было, в иных селах четвертую долю отрежут из прежнего, в иных третью, а в иных и целую половину, а то и больше, как придется где. Это еще без плутовства от помещиков да без потачки им от межевщиков по самому царскому указу. А без потачки помещикам межевщики делать не станут, ведь им за то помещики станут деньги давать; оно и выйдет, что они оставят вам земли меньше, чем наполовину против прежней: где было на тягло по две десятины в поле, оставят меньше одной десятины. И за одну десятину, либо меньше, мужик справляй барщину почти что такую же, как прежде за две десятины, либо оброк плати почти такой же, как прежде за две десятины<sup>4</sup>.

Ну, а как мужику обойтись половиной земли? Значит, должен будет прийти к барину просить: дай, дескать, землицы побольше, больно мало мне под хлеб по царскому указу оставили. А помещик скажет: мне за нее прибавочную барщину справляй, либо прибавочный оброк давай. Да и заломит с мужика сколько хочет. А мужику уйти от него нельзя, а прокормиться с одной земли, какая оставлена ему по отмежевке, тоже нельзя. Ну, мужик на все и будет согласен, чего барин потребует. Вот оно и выйдет, что нагрузит на него барин барщину больше нонешней, либо оброк тяжелее нонешнего.

Да за одну ли пашню надбавка будет? Нет, ты барину за луга подавай, ведь сенокос-то, почитай, весь отнимут у мужика

по царскому указу. И за лес барин с мужика возьмет, ведь лес-то, почитай, во всех селах отнимут; сказано в указе, что лес барское добро, а мужик и валежнику подобрать не смей, коли барину за то не заплатит. Где в речке или в озере рыбу ловили, и за то барин станет брать. Да за все, чего ты ни коснись, за все станет с мужика барин либо к барщине, либо к оброку надбавки требовать. Все до последней нитки будет барин брать с мужика. Просто сказать, всех в нищие поворотят помещики по царскому указу.

Да еще не все. А усадьбы-то переносить? Ведь от барина зависит. Велит перенести, — не на год, а на десять лет разоренья сделает. С речки на колодцы пересадит, на гнилую воду, да на *вшивую*, с доброй земли на солончак, либо на песок, либо на болото, — вот тебе и огороды, вот тебе и конопляники, вот тебе и выгон добрый, все *поминай* как звали. Сколько тут перемрет народу, на болотах-то, да на гнилой-то воде! А больше того ребяташек жаль: их лета слабые, как мухи будут на дрянной-то земле, да на дрянной-то воде мереть. Эх, горькое оно дело! А гробы-то родительские — от них-то какво отлучаться?

Тошно мужику придется, коли барин по царскому указу велит на новые места переселяться. А коли не переселил барин мужиков, так они, значит, в чистой, как есть, в кабале у него; на все у него одно такое словцо есть, что в ноги ему упадет мужик да завопит: «батушка, отец родной, чего хочешь, требуй, все выполняю, весь твой раб!» А словцо это у барина таково: «Коли не хочешь такую барщину справлять, либо такой оброк платить, как я хочу, перенеси усадьбу». Ну, и сделаешь все по этому словечку.

А то вот что еще скажет: ты на меня работал этот день, да его в счет не ставлю: плохо ты работал; завтра приходи отрабатывать. Ну, и придешь. На это тоже власть барину дана по указу царскому.

Это все о том говорится, как мужикам будет жить, покуда их срочно-обязанными звать будут, значит, девять лет, как в бумаге обещано, а на деле больше будет, лет до двадцати, либо до тридцати.

Ну, так; а потом-то что будет, когда, значит, мужику разрешено будет отходить от помещика? Оно, пожалуй, что и толковать-то об этом нечего, потому что долго еще ждать этого по царскому указу. А коли любопытство у вас есть, так и об этом дальнем времени рассудить можно.

Когда срочно-обязанное время покончится, волен ты будешь отходить от помещика. Оно так в указе обещано. Только в нем вот что еще прибавлено: а коли ты уйдешь, так земля твоя останется за помещиком. А помещик и сам, коли захочет, может тебя прогнать с нее. Потому, вишь ты, что земля, которая тебе была отмежевана, все же не твоя была, а барская, а тебе барин только разрешение давал ее пахать, либо сено с нее косить; покуда ты

срочно-обязанным назывался, он тебя с нее прогнать не мог; а когда перестал ты срочно-обязанным называться, он тебя с нее прогнать может. В указе не так сказано напрямки, что может прогнать, да на то выходит. Там сказано: мужик уйти может, когда срочно-обязанное время кончится. Вот вы и разберите, что выходит. Барину-то у мужиков землю отнять хочется; вот он будет теснить их да жать, да сожмет так, что уйдут, а землю ему оставят, — оно, попросту сказать, и значит, что барин у мужиков землю отнять может, а мужиков прогнать.

Это об том времени, когда срочно-обязанными вас называть перестанут. А покуда называют, барину нельзя мужиков прогнать всех с одного разу, а можно только по отдельности прогонять: ноне Ивана, завтра Сидора, послезавтра Карпа, поочередно; оно, впрочем, на то же выходит.

А мужику куда итти, когда у него хозяйство пропало? В Москву, что ли, али в Питер, али на фабрику? Там уже все полно, больше народу не требуется, поместить некуда. Значит, походишь, походишь по свету, по большим-то городам да по фабрикам, да все туда же в деревню назад вернешься. Это спервоначала пробу мужики станут делать. А на первых-то глядя, как они нигде себе хлеба не нашли, другие потом и пробовать не будут, а прямо так в том околотке и будут оставаться, где прежде жили. А мужику в деревне без хозяйства да без земли, что делать, куда деваться, кроме как в батраки наняться. Ну, и наймешься. Сладко ли оно батраком-то жить? Ноне, сами знаете, не больно вкусно; а тогда и гораздо похуже будет, чем ноне живут батраки. А почему будет хуже, явное дело. Как всех-то погонят с земли-то, как везде будут сотни да тысячи народу шататься да просить помещиков, чтобы в батраки их взяли. Значит, уж помещичья воля будет, какое житье им определить, они торговаться не могут, как ноне батрак с хозяином торгуется: они куску хлеба рады будут, а то у самого-то в животе-то пусто, да и семья-то приюта не имеет. Есть такие поганые земли, где уж давно заведен этот порядок; вот вы послушайте, как там мужики живут. У вас ноне избы плохи, а там таких нет: в землянках живут да в хлевах; а то в сараях больших, в одном сарае семей десяток набито, все равно как там табун скота какого. Да и хлеба чистого не едят, а дрянь всякую, как у нас в голодные годы, а у них вечно так. У нас, в русском царстве, есть такая поганая земля, где города Рига да Ревель, да Митава стоят, а народ там тоже христианский, и вера у него тоже хорошая; да не по вере эта земля поганая, а по тому, как в ней народ живет: коли хорошо мужику жить в какой земле, то и добрая земля; а коли дурно, то и поганая.

Так вот оно к чему по царскому-то манифесту да по указам дело поведено: не к воле, а к тому оно идет, чтобы в вечную кабалу вас помещики взяли, да еще в такую кабалу, которая гораздо и гораздо хуже нонешней.

А не знал царь, что ли, какое дело он делает? Да сами вы посудите, мудрено ли это разобрать? Значит, знал. Ну, и рассуждайте, чего надеяться вам на него. Оболгал он вас, обольстил он вас. Не дождетесь вы от него воли, какой вам надобно. А почему не дождетесь от него, тоже рассудить можно.

Сам-то он кто такой, коли не тот же помещик? Удельные-то крестьяне чьи же? Ведь они его крестьяне крепостные. Да и вас-то в крепостные помещикам все цари же отдали, иных давно, так что вам уж и не памятно; а других не больно давно, так что деды помнят, прабабка нынешнего царя Екатерина отдала в крепостные из вольных. А есть еще такие неразумные, что матушкою Екатерину величают. Хороша матушка, детей в кабалу отдала.

Вы у помещика крепостные, а помещики у царя слуги, он над ними помещик. Значит, что он, что они — все одно. А сами знаете, собака собаку не ест. Ну, царь и держит барскую сторону. А что манифест да указы выпустил, будто волю вам даст, так он только для обольщения сделал. А почему сделал, вот почему. У французов да у англичан крепостного народа нет, вот они ему глаза и кололи, что у тебя, говорят, народ в кабале. Ему и стыдно было перед ними. Вот он им пыль-то в глаза и подпустил: для похвальбы это сделано, для обману сделано.

Волю, слышь, дал он вам! Да разве такая в исправду-то воля бывает! Хотите знать, так вот какая.

Вот у французов есть воля, у них нет разницы: сам ли человек землю пашет, других ли нанимает свою землю пахать; много у него земли — значит, богат он; мало — так беден; а разницы по званию нет никакой, все одно как богатый помещик, либо бедный помещик, — все одно помещик. Надо всеми одно начальство, суд для всех один и наказание всем одно.

Вот у англичан есть воля, а воля у них та, что рекрутства у них нет: кто хочет идти на военную службу, все равно, как у нас помещики тоже юнкерами и офицерами служат, коли хотят. А кто не хочет, тому и принуждения нет. А солдатская служба у них выгодная, жалованье солдату большое дается; значит, доброй волей идут служить, сколько требуется людей. А то и вот еще в чем воля и у французов и у англичан: подушной подати нет. Вам это, может, и в ум не приходило, что без рекрутчины да без подушной подати может царство стоять. А у них стоит. Вот, значит, умные люди, коли так устроить себе умели.

А то вот еще в чем у них воля. Пачпортов нет; каждый ступай, куда хочет, живи, где хочет, ни от кого разрешения на то ему не надо.

А вот еще в чем у них воля: суд праведный. Чтобы судья деньги с кого брал, у них это и не слыхано. Они и верить не могут, когда слышат, что у нас судьи деньги берут. Да у них такой судья одного дня не просидел бы на месте, в ту же минуту в острог его запрятали бы.

А то вот еще в чем у них воля: никто над тобою ни в чем не властен, кроме мира. Миром все у них правится. У нас исправник, либо становой, либо какой писарь, а у них ничего этого нет, а вместо всего староста, который без миру ничего поделать не может и во всем должен миру отчет давать. А мир над старостою во всем властен, а кроме мира никто над старостою не властен, и ни к кому староста сграха не имеет, а к миру страх имеет. Полковник ли, генерал ли, у них все одно: перед старостою *шанку ломит* и во всем старосту слушаться должен; а коли чуть в чем провинился генерал, али кто бы там ни был, перед старостою, али ослушался старосты, староста его, полковника-то аль генерала-то, в острог сажает, — у них перед старостою все равно: хоть ты простой мужик, хоть ты помещик, хоть ты генерал будь, все равно староста над тобой начальствует, а над старостою весь мир начальствует, а над миром никто начальствовать не может, потому что мир значит народ, а народ у них всему голова: как народ повелит, так всему и быть. У них и царь над народом не властен, а народ над царем властен. Потому что у них царь значит для всего народа староста, и народ-то, значит, над этим старостою, над царем-то, начальствует. Хорош царь, послушествует народу, так и жалованье ему от народа выдается, а чуть что царь стал супротив народа делать, ну так и скажут ему: ты, царь, над нами уж не будь царем, ты нам негоден, мы тебя сменяем, иди ты с богом, куда сам знаешь, от нас подальше; а не пойдешь, так мы тебя в острог посадим да судить станем тебя за твое ослушание. Ну, царь и пойдет от них, куда сам знает, потому что ослушаться народа не может. А как провожать его от себя станут, они ему на дорогу еще деньжонок дадут, из жалости. Христа ради там складчину ему сделают промеж себя по грошу аль по копейке с души, чтобы в чужой-то земле с голоду не умер. Добрый народ, только и строгой же: потачки царю не любят давать. А на место его другого царя выберут, коли захотят, а не захотят, так и не выбирают, коли охоты нет. Ну, тогда уж просто там на срок староста народный выбирается, на год ли там, на два ли, на четыре ли года, как народ ему срок полагает. Так заведено у народа, который швейцарцами зовется, и у другого народа, который американцами зовется. А французы и англичане царей у себя пока держат. И надобно так сказать, когда народный староста не по наследству бывает, а на срок выбирается, и царем не зовется, просто зовется народным старостою, а по-ихнему, по-иностранному, президентом, тогда народу лучше бывает жить, народ богаче бывает. А то и при царе тоже можно хорошо жить, как англичане и французы живут, только, значит, с тем, чтобы царь во всем народу послушанье оказывал и без народу ничего сделать не смел, и чтобы народ за ним строго смотрел, и чуть что дурное от царя увидит, сменял бы народ его, царя-то, и вон из своей земли выпроваживал, как у англичан да у французов делается<sup>5</sup>.

Так вот она какая в исправду-то воля бывает на свете: чтобы народ всему голова был, а всякое начальство миру покорствовало, и чтобы суд был праведный, и ровный всем был бы суд, и бесчинствовать над мужиком никто не смел, и чтобы пачпортов не было и подушного оклада не было, и чтобы рекрутчины не было. Вот это воля, так воля и есть. А коли того нет, значит, и воли нет, а все одно обольщение в словах.

А как же нам, русским людям, в исправду вольными людьми стать? Можно это дело обработать; и не то, чтобы очень трудно было; надо только единодушие иметь между собою мужикам, да сноровку иметь, да силою заpastись.

Вот вы, барские крестьяне, значит, одна половина русских мужиков. А другая половина — государственные да удельные крестьяне. Им тоже воли-то нет. Вот вы с ними и соглашайтесь, и растолкуйте им, какая им воля следует, как выше прописано. Чтобы рекрутчины, да подушной, да пачпортов не было, да окружных там, да всей этой чиновной дряни над ними не было, а чтобы тоже мир был всему голова. И от нас, наших доброжелателей, поклон им скажите: как вам, так и им одного добра мы хотим.

Государственным и удельным крестьянам от их доброжелателей поклон.

А вот тоже солдат — ведь опять из мужиков, тоже ваш брат. А на солдате все держится, все нынешние порядки. А солдату какая прибыль за нынешние порядки стоять? Что, ему житье, что ли, больно сладкое? Али жалованье хорошее? Проклятое нонче у нас житье солдатам. Да и лоб-то им забрили по принуждению, и каждому из них вольную отставку получить бы хотелось. Вот вы им и скажите всю правду, как об них написано. Когда воля мужикам будет, каждому солдату тоже воля объявится: служи солдатом, кто хочет, а кто не хочет, отставку чистую получай. А у солдата денег нет, чтобы домой итти да хозяйством или каким мастерством обзавестись, так ему при отставке будут на то деньги выданы: сто рублей серебром каждому. А кто волей захочет в солдатах остаться, тому будет в год жалованья 50 рублей серебром. А и принуждения никакого нет, хочешь — оставайся, хочешь — в отставку иди. Вы так им и скажите, солдатам: вы, братья солдатуски, за нас стойте, когда мы себе волю добывать будем, потому что и вам воля будет: вольная отставка каждому, кто в отставку пожелает, да сто рублей серебром награды за то, что своим братьям мужикам волю добыть помогал. Значит, и вам и себе добро сделает. И поклон им от нас скажите:

Солдатам русским от их доброжелателей поклон.

А еще вот кому от нас поклонитесь: офицерам добрым, потому что есть и такие офицеры, и немало таких офицеров<sup>6</sup>. Так чтобы солдаты таких офицеров высматривали, которые надежны,

что за народ стоять будут, таких офицеров пусть солдаты слушают, как волю добыть<sup>7</sup>.

[Так вот оно какое дело: надо мужикам всем промеж себя согласье иметь, чтобы заодно быть, когда пора будет. А покуда пора не пришла, надо силу беречь, себя напрасно в беду не вводить, значит — спокойствие сохранять и виду никакого не показывать. Пословица говорится, что один в поле не воин. Что толкуто, ежели в одном селе булгу поднять, когда в других селах готовности еще нет? Это значит только дело портить да себя губить. А когда все готовы будут, значит, везде поддержка подготовлена, ну, тогда дело начинай. А до той поры рукам воли не давай, смиренный вид имей, а сам промеж своим братом мужиком толкуй да подговаривай его, чтобы дело в настоящем виде понимал. А когда промеж вами единодушие будет, в ту пору и назначение выйдет, что пора, дескать, всем дружно начинать. Мы уж увидим, когда пора будет, и объявление сделаем. Ведь у нас по всем местам свои люди есть, отовсюду нам вести приходят, как народ да что народ. Вот мы и знаем, что покуда еще нет приготовленности. А когда приготовленность будет, нам тоже видно будет. Ну, тогда и пришлем такое объявление, что пора, люди русские, доброе дело начинать, что во всех местах в одну пору начнется доброе дело, потому что везде тогда народ готов будет, и единодушие в нем есть, и одно место от другого не отстанет. Тогда и легко будет волю добыть. А до той поры готовься к делу, а сам виду не показывай, что к делу подготовка у тебя идет.]

А это наше письмо промеж себя читайте да друг дружке раздавайте. А кроме своего брата-мужика да солдата, ото всех его прячьте, потому что для мужиков да для солдат наше письмо писано, а к другому ни к кому оно не писано, значит, кроме вас, крестьян да солдат, никому и знать об нем не следует.

Оставайтесь здоровы, да вести от нас ждите. Вы себя берегите до поры до времени, а уж от нас вы без наставления не останетесь, когда пора будет.

Печатано письмо это в славном городе Христиании, в славном царстве Шведском, потому что в русском царстве царь правду печатать не велит. А мы все люди русские и промеж вас находимся, только до поры до времени не открываемся, потому что на доброе дело себя бережем, как и вас просим, чтобы вы себя берегли. А когда пора будет за доброе дело приниматься, тогда откроемся.



## КРЕДИТНЫЕ ДЕЛА<sup>1</sup>

### I

#### Размышление о Лоренсе

На-днях производилось в лондонском банкротском суде любопытное дело. Существовала когда-то фирма, занимавшаяся кожевенною торговлею. По какому-то стечению обстоятельств, — в котором были ли виноваты сами торговцы этой фирмы или нет, мы не знаем хорошенько, — дела фирмы несколько расстроились. Один из компаньонов хотел распутать их слишком незамысловатым образом: капитал уменьшился, потому считал он нужным уменьшить и торговые обороты фирмы; тогда фирма устояла бы, не впутываясь в долги, превышавшие размер ее средств. Не так думал разрешить затруднение другой компаньон, по фамилии Лоренс; он находил, что дела можно вести блистательным образом и предлагал к тому очень остроумный способ. Товарищ Лоренса не согласился с ним, устранился от участия в делах. Лоренс остался полным хозяином оборотов, и торговля фирмы пошла удивительно: с каждым годом расширялись ее обороты, с каждым годом все богаче и богаче жил Лоренс, осыпая богатствами всех своих помощников. Восхитительный успех продолжался, ни много, ни мало, ровно одиннадцать лет. В конце одиннадцатого года явился Лоренс, неожиданно сам для себя, неожиданно для своих сподвижников и для публики, в банкротском суде. Тут остроумный способ торговли раскрылся весь начисто: он был гениален до прелестной простоты. Лоренс давал векселя на себя без счета; когда приходило время уплаты данных векселей, он уплачивал по ним очень исправно деньгами, полученными под другие векселя, выпущенные на сумму еще большую. Видя постоянную исправность уплат, денежные люди не колебались давать кредит Лоренсу; дисконтные банки ухаживали за ним с просьбами, чтобы он присылал им свои векселя для учета, присылал им как можно больше

своих векселей. Счастливый негодник выслушивал просьбы с чувством собственного достоинства, отказывал многим желавшим давать ему деньги под его прекрасные векселя, уплата по которым так верна, и блаженными считали себя те дисконтные банки, брать деньги из которых благоволил он. Когда из показаний его самого и многочисленных свидетелей разъяснился такой ход дел, публика вместе с Лоренсом осталась в совершенном недоумении, зачем же, наконец, пришел кризис? как мог он притти? Не было никакого основания останавливаться блистательным оборотам: почему не тянулось таким же порядком и на 21 год, и на 101 год, и на всю вечность дело, так беспрепятственно тянувшееся 11 лет? Сам Лоренс, при всей своей коммерческой сообразительности, не мог понять этого. «Правда, — говорил он, — что своих денег у меня не было; правда, что, получив под свои векселя деньги у Джонса, я уплачивал Джонсу деньгами, взятыми у Смита, а Смит — деньгами, взятыми у Брона, но и Джонс, и Смит получили уплату, продолжали верить мне, и Брон не сомневался, что получит уплату, да и действительно получил бы ее, потому что Джонс и Смит просили меня взять у них деньги под мои верные векселя. Отчего же вдруг приведен я в банкротский суд? Это нелепость, это вздор, это просто несчастье, и больше ничего как несчастье». Действительно, Лоренс был прав. Не было никакой причины ему становиться банкротом, кроме разве одной причины: несчастья, слепого несчастья, от которого не может иногда спастись негодник никакой аккуратностью в уплатах.

Но биржевые люди — банкиры, оптовые торговцы — нимало не были удивлены такою развязкою блистательных оборотов Лоренса. Странное дело: эти биржевые люди, так хлопочущие о кредите, повидимому, только от кредита получающие возможность вести свои дела, все в один голос стали разъяснять публике, что одним кредитом прожить на свете никому нельзя, а каждый живет действительными доходами, получаемыми с действительного имущества, и если доходов слишком мало, если имущества нет или оно расстроено, то пользование кредитом скорее погубит человека, чем поможет ему. Странное дело, органы этих оборотливых биржевых людей, ведущих такие многосложные и мудреные спекуляции, каких никогда не только не суметь вести, но и никогда не понять нам с вами, читатель, некоммерческим людям, — органы этих гениальных спекулянтов, «Times» и «Economist», объяснили по поводу процесса Лоренса, что все биржевые и кредитные дела основаны не на каких-нибудь особенных выдумках, а исключительно на правилах, которые соблюдаются каждым рассудительным человеком между нами, не коммерческими людьми, не имеющими никакого понятия о кредитных оборотах.

Положим, например, что я — домохозяин и что я спрошу у какого-нибудь рассудительного человека, никогда не бывшего на бирже, не знающего разницы между акциями и облигациями, кре-

Дитными знаками и звонкою монетою, — положим, что я спрошу у такого человека: «как мне жить, чтобы не дожить до банкротства?» Он скажет: «из получаемых вами доходов прежде всего поправляйте ваш дом, чтобы он мог приносить вам хорошие доходы. Сами вы проживайте только то, что останется у вас из доходов за ремонт дома. Долгов на свои прихоти не делайте ни под каким видом и вообще будьте экономны». Я опять спрошу его: «но что же мне делать, когда мне кажется, что доходов с моего дома слишком мало для меня?» Он скажет: «тут нечего делать; когда доходы увеличатся, вы можете жить роскошнее, а теперь живите поскромнее». Я спрошу его: «но не могу ли я увеличить своих доходов надбавкою цен на квартиры?» Он скажет: «быть может, ваши соседи говорят, что вы берете с ваших жильцов слишком мало; быть может, жильцы других домов завидуют вашим жильцам, что они платят слишком мало; если так, вы можете набавить плату». — «Нет, — скажу я, — соседи толкуют, что я и теперь беру за квартиры слишком дорого; жильцы говорят то же, но их слушать было бы нечего; жаль одного: половина квартир вечно стоят у меня пустые». — «А если так, — скажет мне человек, никогда не бывавший на бирже, — если так, первая причина ваших затруднений та, что вы требуете с жильцов чрезмерной платы; попробуйте требовать меньше; — ваши доходы, наверное, увеличатся, потому что населится жильцами ваш дом, теперь стоящий наполовину пустым».

Какие пошлые, общеизвестные советы! Я недоволен ими, хочу добиться чего-нибудь более замысловатого и продолжаю разговор. Вы говорите, что мне будет выгода, когда квартиры в моем доме не будут стоять пустыми. Но моему делу не поможешь сбавкою цены: мой дом так грязен, печи в нем так дурны, полы так ветхи, лестницы так темны и вонючи, что из людей достаточных никто не поселяется в нем; мои жильцы чуть ли не все почти что нищие; немногие из них платят мне исправно; других хоть в тюрьму сажай, не платят, да и только. — «Если так, — скажет мне мой собеседник, — вы должны переделать дом, чтобы стали у вас жильцами достаточные люди». — Но ведь переделка стоит денег, откуда мне взять их? — спрошу я. — «На переделку дома не столько денег нужно, сколько охоты и рассудительности в хозяине. На исправление дома всегда найдутся деньги, как бы ни был беден хозяин», — скажет собеседник. — Значит, вы советуете мне занять денег? — спрошу я. — «Нет, — скажет он, — я советую совершенно иное; сколько вы получаете с дома?» — Две тысячи рублей. — «А сколько вы проживаете?» — Три тысячи рублей. — «Так вот, вы бросьте лишние претензии, которые не по вашим средствам, и проживайте одну тысячу, а другую употребляйте на поправку и переделку дома, и в скором времени он весь будет исправлен и будет давать вам не две тысячи, а пять тысяч руб-

лей, — тогда вы можете и жить с некоторою роскошью, а до той поры экономничайте».

Все тот же тупой совет, известный и человеку, едва умеющему считать по пальцам! Я продолжаю расспрашивать в надежде добиться чего-нибудь приятнейшего: но неужели вы не советуете мне занять денег хотя бы для переделки дома? — «Что вам сказать на это? — отвечает упрямый собеседник: — нет надобности вам заниматься, а без надобности заниматься не годится. Мы уже объяснились, что ваше затруднение происходит от претензий ваших на роскошь, что если вы станете бережливы, у вас и без займа найдутся деньги для переделки дома. А если так, то направление ваших мыслей к займу кажется мне просто направлением их к продолжению мотовства. Расходуя больше вашего прихода, вы до сих пор занимали деньги; всем известно, что вы занимали на ваши прихоти, по вашему мотовству; если вы и теперь захотите заниматься, кто поверит, что вы хотите занимать не на мотовство, когда каждому известно, что вам не понадобилось бы занимать, если бы вы сделались бережливы? Кто перестанет считать вас мотом, если вы будете попрежнему искать денег взаймы? кто согласится дать деньги моту иначе, как на условиях очень обременительных? Заключать вам теперь заем невыгодно. Прежде сделайте бережливы, и дождитесь, пока все убедятся, что вы стали бережливы; тогда вы можете достать деньги на сходных условиях, если вам нужно будет занять. Но ведь мы с того и начали, что тогда вам не будет надобности в займе. Думайте о бережливости, а мысль о займах бросьте».

Опять все то же тупое заключение! Я начинаю досадовать. — Вы решительно не хотите, чтоб я пользовался кредитом, — говорю я упрямому собеседнику: — но ведь кредит — превосходнейшая вещь. — «Может быть, и превосходная, только не для вас, потому что вы не имеете кредита. Кредит имеют лишь те, которые не хлопочут искать его. К тем он сам приходит; а кто гоняется за ним, тот его не поймает, а поймает банкротство». — Я отчасти обижен и желчно возражаю: — Хорошо! пусть мой кредит расстроен; но разве я не должен хлопотать о его восстановлении? — «Кто вам говорит, не хлопотать? ради бога, хлопочите; но ведь мы уже говорили, чем приобретается кредит, — бережливостью: будьте экономны, будьте экономны, будьте экономны — вот вам и начало, и середина, и конец всех пригодных для вас рассуждений».

Мы думали всегда, что подобным нашему собеседнику образом могут рассуждать лишь скупые, безграмотные старухи, прячущие целковый за целковым в кубышку; но из рассуждений передовых финансовых людей Англии по поводу процессов Лоренса мы, к удивлению, увидели, что ничего иного не знают, ничем иным не руководятся и Ротшильд с Берингом, и Гледстон с Пальмерстоном. Мы все еще не теряли надежды: «что ж такое, в самом

деле, думали мы: быть может, Гледстон отстал от науки, а Пальмерстон, как мы знаем, никогда не занимался политической экономией; Ротшильд и Беринг — не больше как искусные рутинисты<sup>2</sup>; да и вся Англия — страна привычек, рутинности. Мы слышали, что в другой стране, во Франции, блистательно ведутся дела на других основаниях. Будем изучать обороты Миреса и великого Перейры». Мы принялись за французские газеты и разочаровались. Вся Франция тревожится своею финансовою будущностью. С удивительным искусством пользовались Мирес, Перейра и их покровители всеми тонкостями кредитных изобретений — и дошли до того, что дела их видимо приближаются к банкротству. Акции «Движимого кредита» падают и падают; акции миресовой «Кассы железных дорог» падают и падают. Эти великие животворители французской биржи, французской промышленности оказываются теми же Лоренсами, только в более широких размерах, — Лоренсами, влекущими в банкротство не сотни людей, как английский Лоренс, а десятки тысяч людей и чуть ли не самое государство.

Но что же Мирес и Перейра? Они все-таки частные спекулянты; быть может, замысловатые кредитные операции оказываются успешнее, когда совершаются самою государственною силою? Мы слышали, что был в Австрии знаменитый финансовый муж Брук<sup>3</sup>, который, приняв государственные финансы в расстройстве, довел их до цветущего состояния какими-то очень искусными способами. Мы знаем, что при нем, как и до него, Австрия постоянно расходовала гораздо больше, чем получает; но, несмотря на дефицит, Брук устроил все очень хорошо. Были до него какие-то кредитные учреждения, действовавшие неудовлетворительно; он перестроил их по новым основаниям, и дело пошло отлично. Были государственные имущества — он продал их и тем сделал, как мы слышали, очень выгодную спекуляцию. Как блистательно заключались при нем займы! как колоссально росли доходы! как ловко поднимал он государственные фонды перед заключением займов! какие огромные биржевые операции устраивал он для поднятия курса бумажных денег! какие суммы тратил он на улучшение вексельного курса! Сам Перейра не мог быть оборотливее, изобретательнее, находчивее, счастливее. Как и что именно делал Брук, этого мы уже не помним хорошенько, но довольно сказать, что вся Европа изумлялась ему. Посмотрим же, до чего дошла Австрия благодаря искусству Брука и его предшественников и его преемников, действовавших и действующих по той же системе.

В 1831 году доходы Австрии простирались до 121 миллиона гульденов, в 1847 году — до 151 миллиона: в целые 16 лет они возросли только на 25%, — видно, что финансового искусства было тогда мало. Неудивительно, что при таком малом искусстве доходы не всегда оказывались достаточны на покрытие расходов.

Правда, несмотря на неумение возвышать доходы, с 1836 до 1843 года оставался излишек миллионов по шести гульденов в год, но зато в предыдущие пять лет и в следующие два года оказывался дефицит, миллионов около 15 или даже 18 в год, так что за все 16 лет, с 1831 до 1846 года включительно, у Австрии была недостача в доходах миллионов на 80 гульденов, то есть при этом неискusstном управлении годовой дефицит по средней сложности составлял миллионов 5 гульденов.

С 1848 года уже не то; является чрезвычайная находчивость в приискывании средств, является великолепное умение увеличивать государственные доходы: в 1847 году они составляли, как мы знаем, всего лишь 151 миллион, а в 1858 году — уже 282 миллиона: в 11 лет доходы увеличились почти вдвое. Какое торжество финансового искусства, какое процветание государственного бюджета! Вероятно, дефицит исчез? ведь требовалось на его покрытие по прежнему неискusstву всего 5 миллионов в год, а тут прибавка доходов измеряется целыми десятками и сотнями миллионов. Странное дело: нет, если доходы росли не по годам, а по дням, то дефицит рос не по дням, а по часам. С 1847 года до 1857 года включительно он составлял миллионов от 50 в год до миллионов 180 в год, всего за 11 лет, ни больше, ни меньше, как 1180 миллионов с небольшим, то есть средним числом ежегодно миллионов по 105 с небольшим. 5 миллионов осталось, положим, в наследство от прежнего неискusstва, а 100 миллионов с небольшим составляют уже чистый плод финансовой оборотливости.

Вы подумаете, однакож, в этот период 1847—1857 годов входят 1848 и 1849 годы, когда происходили и подавлялись в Австрийской империи восстания, когда велась война с сардинцами и венграми; верно, в эти два года и был какой-нибудь колоссальный дефицит, так страшно возвысивший среднюю цифру за весь период, а в другие годы было недочета, конечно, гораздо меньше. Нет; войны 1848—1849 годов произвели дефицит только в 195 миллионов гульденов, средним числом меньше, чем по 100 миллионов в год; следующие годы, — годы, когда Австрия не воевала, были еще урожайнее на дефицит. Самый меньший дефицит был в 1852 году, около 80 миллионов; во все другие совершенно мирные годы он был еще гораздо больше. Надобно, впрочем, сказать правду: миллионов 150 лишних накинuloсь в 1854 и 1855 годах, благодаря тоже военным подвигам австрийского правительства. В это время, видите ли, были сражения в разных турецких областях и в Крыму. Вот от этого-то в 1854 году был дефицит около 180, а в 1855 году — около 185 миллионов, всего 365 миллионов, между тем как в следующие два года, когда войны уже нигде не было, дефицит ограничился лишь 210 миллионами с небольшим, — в лишник 155 миллионах, за предыдущие два года, явным образом виновата война. «Позвольте, — замечаете вы, — да ведь, сколько помнится, Австрия не участвовала в войне

и не могла даже опасаться, что какая-нибудь из воюющих сторон намерена коснуться хотя бы одною дробинкою, не только пулею, австрийских границ. Ни Австрия не хотела воевать тогда ни с кем, ни Россия не хотела воевать с нею, ни Турция, ни Франция, ни Англия, — так зачем же было австрийцам и изубычиваться?» Как зачем? Соседи воюют между собою и не хотят воевать с австрийцами; надобно же им показать, что австрийцы тоже могут воевать, только не хотят. Вы замечаете, что это в некотором смысле уже мотовство, вроде того, как купеческие сынки бьют иногда стекла в трактирах, не для того чтобы затеять драку, а только для того, чтобы показать: «ты, дескать, думаешь, что у меня мало денег, так вот же тебе: бью и плачу; а ты смотри и дивись».

Оно судите, как хотите, но ведь лишний расход тут был всего на 165 миллионов; да в 1848—1849 году лишнего расхода от войны было никак не больше 105 миллионов\*, всего от военных обстоятельств в дефицит вошло лишних 260, ну положим 280 миллионов; а ведь дефицит за 1847—1857 годы составляет не 280, а 1180 миллионов, — откуда же произошли остальные 900 миллионов дефицита за эти 11 лет? Их уже австрийцы не могут приписать ни чужим, ни другим войнам. Эти 900 миллионов, как вы хотите, а уже непременно составляли прямой плод высшей финансовой сообразительности, уменья пользоваться кредитом.

Цифра недурная: с лишком по 80 миллионов в год за науку искусного пользования кредитом. Не мало уплачено за нее австрийцами, но уплата произведена еще не вся: с будущего финансовая оборотливость тоже будет собирать порядочную долю в виде процентов за прошлые уроки. Чтобы не ввязываться в длинные расчеты, мы прямо возьмем 1850 год, когда войны в Италии и Венгрии уже не было, и 1857 год, когда новая война в Италии еще не начиналась. В 1850 году проценты, платимые по государственному долгу, составляли менее 50 миллионов гульденов, а в 1857 году — уже около 92 миллионов: в 7 лет совершенного мира проценты государственного долга возросли почти вдвое; всего прибавилось их на 42 миллиона, как раз по 6 миллионов в год обременения на все будущее время.

Хороша оборотливость. Лоренс вел такие обороты ровно одиннадцать лет. Австрия ведет их вот уже 12 лет, целым годом дольше Лоренса. Видно, большому кораблю не только большое, но и долгое плавание.

Но если Лоренс находил удовольствие в искусных кредитных оборотах, то, по крайней мере, надобно отдать ему справедли-

---

\* Сумма дефицита за эти годы около 198 миллионов, а в 1847 году, когда ровно никакой войны еще не было, дефицит составлял более 47 миллионов; за два года такая же сумма составила бы около 95 миллионов; остается, за их вычетом, лишнего расхода от войны меньше 105 миллионов.

вость: он добывал себе деньги именно на то, чтобы они служили ему в удовольствие. Какую квартиру нанимал он! какие дачи устроил себе! в каких брильянтах блистала его любовница! какие вина были у него за столом, и какие гости сидели у него за обедами! какие девицы сидели у него за ужинами! У какого человека с изящным вкусом, с артистическими стремлениями достанет духа осудить Лоренса за некоторую, может быть, несколько излишнюю трату денег на такие действительно милые наслаждения? Угрюмый рассудок говорит: «нерасчетливо поступал Лоренс»; но живое сердце шепчет: «мне понятно его увлечение!» А на какие же вещи тратилась Австрия? какие наслаждения покупала она ценою оборотов, подобных лоренсовым? О, Венера и Купидон! плачьте! плачьте, музы и грации! плачь и ты, златокудрый Феб! не на вас пошли эти сотни и тысячи миллионов промотанных денег, — они пошли на содержание в тунеядстве и нищете сотен тысяч людей, которые изобильно жили бы честным и для всех полезным трудом, если бы не отвлечены были к тунеядству задачей этих несчетных сумм, если бы не оторваны были от полезного труда на праздную жизнь из этих сумм. В 10 лет, 1848—1857, из всей суммы расхода, составлявшей около 3300 миллионов, на войско было истрачено 1512 миллионов, с лишком по 151 милл. в год. До 1848 года содержание войска стоило в год около 60 миллионов; благодаря финансовой оборотливости получена была возможность тратить на войско с лишком по 90 миллионов в год лишних против прежнего. Сумма дефицита за эти 10 лет — 1130 миллионов; вычтите из них прибавившиеся от финансовой оборотливости 915 или 920 миллионов лишних расходов на войско, остается всего каких-нибудь 215 или 210 миллионов дефицита; они образовались надобностью уплачивать проценты по займам, сделанным на содержание армии, надобностью увеличить число чиновников по взиманию размножившихся податей, надобностью увеличить число полицейских для взыскания недоимок, разросшихся от увеличения податей, — вот он и весь дефицит ушел на эти статьи.

Вы опять не вздумайте сказать, «что в сумме прибавившихся расходов на войско слишком значительную долю, вероятно, составлял расход на армию в годы войны», — разумеется, во время войны возрастали расходы на войско; но главная масса расходов сделана была на него, когда никакой войны у австрийцев не происходило и не предвиделось. В 1848 и 1849 годах, когда была война, на содержание армии пошло всего 237 миллионов, — это за два года, а на каждый год за целое десятилетие приходится по 151 миллиону, то есть на каждые два года с лишком по 300 миллионов, а в два военных года было израсходовано гораздо меньше, — значит, в остальные восемь мирных лет было израсходовано больше; значит, в мирное время на содержание войска шло гораздо больше, чем даже в военное время.



Вы скажете: «да как же это могло быть?», вы скажете: «да это невозможно, да это что-нибудь не так!» И я сказал бы то же самое, если б однажды не случился при мне анекдот такого рода, который, впрочем, и вам известен по старинным сборникам анекдотов. Пришел в магазин мужской обуви господин и потребовал, чтоб ему дали хорошие сапоги; ему подали; он спросил цену; ему сказали, что сапоги стоят 7 рублей; он нашел тогда, что сапоги дурны, и потребовал лучших. Ему подали другую пару, объявив, что она стоит 15 рублей; он заплатил 15 рублей и ушел очень довольный. Тогда я спросил продавца: «каким же образом нашлись у него сапоги в 15 рублей, когда мне и всякому известно, что самый лучший сорт продается у него по 7 рублей?» Он сказал, что принужден был подать сапоги худого сорта господину, которому не понравился лучший сорт, и взять 15 рублей за пару, продающуюся по 5 рублей. «Зачем же вы так дурно поступили?» спросил я. — Что ж было мне делать? — отвечал он, — лучший сорт ему не понравился, я должен был подать ему другой сорт, то есть худой; а не взять с него лишних денег не мог, чтобы не подорвать репутацию своей лавки: ведь он бы пошел по городу и кричал, что у меня нет хороших сапог».

На этом основании очень можно понять, как несражающаяся армия в мирное время могла стоять дороже, чем сражающаяся армия стояла во время войны. Расчетливое правительство расходует деньги, когда нужно и сколько нужно; но кто бы помешал австрийскому правительству измерять свою военную силу количеством расходов на эту силу?

Одно мотовство может иметь наружность, совершенно различную от другого. Золото, бронза, брильянты, тонкие вина, — когда мотаются деньги на такие вещи, мот окружен блеском роскоши. Но войдите в один из тех славившихся в старину широкою жизнью помещичьих домов, которых, к счастью, остается уже немного, — вы увидите наружность совершенно иного рода: комнаты грязны, пыльны, по углам висит паутина, стекла в окнах слеплены из кусков грязной замазкой; в грязной передней, зараженной нестерпимым запахом, сидит десяток оборванных парней; по двору и по комнатам шмыгают другие парни, столь же оборванные, и десятки женщин, на которых жалко взглянуть: такая нищенская на них одежда, такие испитые у них лица; этот вертеп нищеты и грязи — такое же жилище мотовства, как великолепная квартира, вся залитая блеском, — или нет, в этом доме, при всей его нищенской отвратительности, гораздо больше мотовства, чем в блестящей квартире. Один мот сорит деньги, давая своему камердинеру жалованье, какого не получает профессор; другой мот сорит еще больше денег, содержа 100 человек голодной дворни, когда очень достаточно было бы иметь ему человека два или три прислуги. Австрия мотает в последнем роде.

Есть в австрийском мотовстве два направления, из которых и каждое в отдельности достаточно бывает, чтобы вести государство к развязке, к какой пришел Лоренс. Австрия старается иметь как можно больше армии. По мирному положению в период, о котором мы говорим, австрийская армия должна была иметь более 360 тысяч человек, то есть на 100 человек населения был один солдат, а считая, что мужчины, способные к работе, составляют пятую часть населения, — один из 20 мужчин был солдатом, то есть ничего не делал и содержался на счет других. Но в совершенно мирное положение никогда не была приводима австрийская армия в годы, о которых мы говорим, хотя мы берем период, прошедший для Австрии без всякой войны и без всякого серьезного опасения войны (1850—1857 гг.) Большую половину этого времени австрийская армия находилась на разных средних ступенях между мирным и военным положением; а много времени находилась она и вполне на военном положении, находиться в котором не было ей ровно никакого реального основания. По военному положению австрийская армия простирается до 685 тысяч с лишком, то есть из 10 способных к работе мужчин один служит солдатом, то есть содержится на счет других. Вот теперь вы и считайте, может ли достать государственных доходов на содержание такой громадной массы людей, как бы скудно ни содержать их.

Но самая склонность к ненужному содержанию громадной армии не участвует в произведении австрийского дефицита так сильно, как другая особенность австрийского порядка дел: пристрастие к бюрократизму. Самая чрезмерность армии произведена собственно этим пристрастием, развитию которого в свою очередь способствует. Зачем нужно было громадное количество войск в каждой австрийской провинции, — в каждой провинции даже из тех, которым не мог никогда грозить никакой внешний враг (если бы когда и явился этот не являвшийся внешний враг) и которые сами не имели никакой склонности отторгаться от Австрии, как, например, все области, называющиеся немецко-славянскими, то есть целая половина Австрии, от Тироля до венгерских границ, от Богемии до Альп? Зачем все эти земли, совершенно безопасные, были постоянно наводнены войсками? Присутствие войск было нужно для охранения внутренней тишины. Жители, совершенно преданные австрийскому правительству, были, однакоже, недовольны. Чем же были они недовольны? Обременительностью податей и стеснительностью административного порядка. Обременительные подати были нужны на содержание слишком громадной армии и слишком многочисленного состава бюрократических управлений. А бюрократизм, служивший причиною недовольства и одною из причин обременительности податей, сам был нужен потому, что при обременительности податей много было хлопот с их собиранием, и при недовольстве жителей правительство не могло оставить жителям простора ни в чем:

должно было за всем наблюдать, во все вмешиваться. Смотрите же, какая удивительная цепь причин и последствий: дефицит происходил от чрезмерности расходов на армию; чрезмерная величина армии возникла из недовольства жителей; недовольство жителей порождалось чрезмерным бюрократизмом, а чрезмерный бюрократизм порождался, — чем он порождался? — просто сам собою; но когда он родился, то уже без него нельзя было удержаться порядку, потому что тут родилось и недовольство жителей со всеми своими последствиями от дефицита до возрастания все того же чрезмерного бюрократизма, который лежит в корне всего. С чем бы можно было сравнить такое сцепление обстоятельств, чтобы стало оно понятнее для нас, простых людей, знакомых лишь с мелкими делами частной жизни? Положим, например, что вы, читатель, вздумали строить дом. Для этого нужны вам работники, подрядчики; вы должны смотреть за ними, потому что без хозяйского глаза нельзя же обойтись делу. Если вы ограничитесь действительно нужным размером хозяйского надзора и хозяйского вмешательства, постройка пойдет у вас, как идет у всех добрых людей, довольно успешно и не с разореньем, а с выгодой для вас. Но что, если бы, — извините за обидное предположение: оно делается только для пояснения мысли, а не потому, чтобы могла в самом деле притти вам в голову такая нелепость, — что, если бы вам вздумалось, что ни подрядчикам, ни работникам вовсе уже вы не можете доверять ни в чем и должны вы иметь надзор за каждым движением каждого из них? К каждому подрядчику вы поставили бы своего приставника, к каждому работнику также; и вот, сверх известного количества людей, трудящихся и на свою, и на вашу пользу, у вас явилось бы еще такое же количество людей, не производящих никакой, хотя бы кому-нибудь полезной работы, а состоящих на вашем содержании. Этим хлопотливым тунеядцам вы должны давать жалованье. На расплату с подрядчиками и работниками у вас достало б денег, если б не было этих приставников; но теперь ваши средства поглощаются платою бесчисленным приставникам, и на расплату с подрядчиками и работниками у вас недостает денег. Подрядчики и работники, не получая расплаты, не хотят работать или работают плохо, — вот вам уже и готово доказательство, что ваши приставники необходимы: вы действительно нуждаетесь в людях, которые принуждали бы к работе, понукали бы в работе подрядчиков и работников. Но скольких приставников вы ни содержите, какой бдительный надзор ни учреждаете, работа все-таки идет плохо, а расходы у вас вдвое больше, чем были бы без приставников, и вы с хлопотами, с огорчениями идете к разорению через дело, которое было бы, как бывает у всех рассудительных людей, и легко, и выгодно для вас, если б не пришла вам в голову странная мысль не полагаться ни на кого из людей, кроме ваших приставников.

Вот точно таким порядком и устроилась Австрия; это называется бюрократическим порядком. Он бы всем хорош, только одна небольшая беда с ним: при нем ничто в государстве не может идти успешно; есть в нем и другая неприятность, но уже совершенно ничтожная: он разорителен.

Пробовали ль вы, читатель, советоваться с хорошими докторами, то есть не с теми докторами, которые имеют очень большую практику, а с теми, которые хорошо знают медицину и часто не имеют никакой практики? Если не пробовали, то я и не советую, потому что они на ваши просьбы о лекарствах отвечают обыкновенно советами очень скучными и не имеющими никакого отношения к вашей болезни. У вас, например, хроническое расстройство желудка; кажется, следовало бы прописать микстуру; нет, хороший доктор обыкновенно не прописывает вам никаких особенных медицинских средств, а на все ваши жалобы и просьбы твердит одно: «вы ведете нездоровый образ жизни; пока вы будете вести его, не поможешь вам никакими лекарствами; а когда вы перемените образ жизни, ваше хроническое расстройство пройдет само собой, без всяких лекарств». Не знаю, как вы, а я с такими господами не люблю советоваться и, с незапамятных лет страдая расстройством желудка, с незапамятных лет пользуюсь у докторов более любезных, которые постоянно врачуют меня разными потогонными, мочегонными, слабительными, крепительными, пилюлями и микстурами. Зато, по крайней мере, я могу при помощи этих докторов вести такой образ жизни, какой мне нравится.

Скажите, кроме шуток: могут ли какие бы то ни было кредитные операции пособить финансовым делам Австрии? Разве такими средствами лечатся такие болезни?

Недавно один из моих добрых знакомых, видя меня в денежном затруднении, спросил: сколько нужно мне в год, чтобы жить без затруднений? (он, как я догадываюсь, хотел предложить мне занятие с выгодным жалованьем, а может быть, хотя даже дать денег взаймы, чего я не могу по совести посоветовать никому, желающему получить деньги обратно). На такой щекотливый вопрос я откровенно отвечал: «мне нужно в полтора раза больше, чем каковы бывают или будут мои доходы». — «То есть как же это?» спросил он. — «А вот как. Я получал прежде две тысячи рублей и проживал три. Теперь получаю четыре тысячи и проживаю шесть». — «Но если (он перебил меня) — но если дать вам десять тысяч рублей в год?» — «Я буду проживать пятнадцать тысяч», — скромно отвечал я. Мой знакомый не продолжал разговора, — и какое предложение хотел он мне сделать, осталось неизвестным для меня.

Устройство Австрии таково, что все равно, как бы ни увеличивались ее доходы, она должна расходовать гораздо больше, чем получает; она держится такой системы, при которой расходам ее не может быть никакого предела, кроме физической невозмож-

ности достать из каких бы то ни было источников больше денег, чем достает она. Возьмите, например, прошлый год. Почему она заключила мир с императором французов после Сольферинской битвы? Только потому, что не могла достать больше денег на продолжение войны. Если бы какую-нибудь новую кредитною операциею она достала еще несколько сотен миллионов, она стала бы вести войну еще несколько месяцев. Какой успех могло бы иметь продолжение войны? Каждому очевидно, что оно вело бы только к дальнейшим потерям. Если бы Австрия в июле не была остановлена безденежьем, она в августе или сентябре потеряла бы Венецию. Но она сохранила Венецию и потеряла только Милан, потому что достала меньше денег, чем хотела. Если бы она не достала нисколько денег, она не потеряла бы и Милана, потому что не начала бы войны. Да и теперь что до сих пор удерживало Австрию от новой войны? Одно только безденежье. Будь у ней деньги, она прошлою осенью начала бы войну для завоевания Ломбардии; прошлою зимою начала бы войну для восстановления прежнего порядка в Тоскане и Романье; нынешнею весною начала бы войну для восстановления Франциска\*; нынешним летом начала бы войну для удержания сардинцев от вторжения в Умбрию, нынешнею осенью начала бы войну для разрушения Итальянского королевства, и вот ныне зимою давно бы уж начала войну с венграми, если бы не задерживалась безденежьем. Это все равно, что пьяница: даете ли вы ему деньги, не даете ли вы ему денег, все равно он без денег: сколько ни дадите, — все проплет. Жалкая болезнь; но прежде, чем явится у больного решимость излечиться от своего порока, никакими деньгами не достигнете вы, чтобы не было прорех на его локтях: он в тот же день проматывает или рвет в драке всякую одежду, какую вы дадите ему.

## II

### Условия, в которых бывает не губительно, а полезно пользование кредитом.

Если думать только о таких случаях, какие приводились для объяснения дел в предыдущем отрывке, то может показаться, наконец, будто кредит — нечто в роде мышьяка, приправленного сахарным сиропом; вещь сладкая, но убивающая. Если так, чем же объяснить похвалы, которыми превозносят благодетельность кредита все ученые и все государственные люди? Неужели похвалы эти — только то же, что похвалы китайцев опиуму?

Нет, для некоторых государств, в некоторых обстоятельствах, кредит — вещь действительно полезная, как бывает он очень по-

\* Короля неаполитанского. — *Ред.*

лезною вещью в делах каждого основательного коммерческого человека.

Вот, например, в последние 45 лет Великобританское королевство вообще получало много пользы от кредита. Нельзя сказать, что в пользу ему шел кредит прежде. В самом колоссальном размере прибегало оно к помощи кредита в продолжение войн с Франциею: сотни миллионов фунтов, полученные тогда английским правительством от кредита, все были промотаны на дело, самый успех в котором был очень вреден для Англии. В следующие времена Англия также пользовалась иногда кредитом во вред себе. Например, в долг вела она года четыре тому назад совершенно ненужную войну с Персией, а прежде того — столь же ненужную войну с афганцами. Не имей она возможности покрывать посредством кредита большую часть расходов на эти вредные предприятия, она, вероятно, и не начала бы их. Но что же делать? каждую хорошую вещь можно употреблять во зло. Зато благодаря кредиту Англия могла без затруднений исполнить многие полезные дела, совершение которых было бы гораздо тяжелее без кредита. Упомянем хотя об одной стороне полезных преобразований, которым очень много помогал кредит.

Понижение пошлин — вещь очень полезная, и в результате оказывающаяся даже выгодною для государственных доходов. В противность протекционному предрассудку, национальная промышленность в общей своей массе выигрывает от понижения тарифа, а развитие промышленности ведет к увеличению государственных доходов. Мало того, что общая сумма государственных доходов увеличивается, — увеличивается даже таможенный доход благодаря тому, что при удешевлении привозного товара понижением пошлины увеличивается ввоз его. Но такой результат — увеличение дохода — производится понижением пошлин не в один месяц и обыкновенно не в один год: на первое время является в доходах некоторое уменьшение. Скоро недочет покроется с излишком; но как свести концы с концами в первые месяцы или годы по понижению тарифа? Вот в этом случае кредит приносит большую пользу: государственное казначейство выпускает на какой-нибудь краткий срок — на год, года на два — билеты, которые выкупаются излишком дохода, когда развитие национальной промышленности и заграничного привоза, произведенное облегчением тарифа, начнет приносить свои плоды. Благодаря кредиту, отстраняющему временные затруднения полезных таможенных реформ, Англия в последние десятилетия успела вовсе отменить пошлины с бесчисленного множества товаров и понизить пошлины с других товаров в таком размере, что общая сумма этого уменьшения простирается почти до 100 миллионов рублей серебром; постепенно развитие привоза с избытком вознаградило эту потерю, так что ныне, при низком тарифе, таможенный сбор больше, чем был когда-нибудь при высоком тарифе;

без помощи кредита нельзя было бы произвести такой громадной сбки пошлин.

Точно такую же пользу, точно таким же образом оказывает кредит и при всех других уменьшениях тяжести податей или налогов. Например, когда была в громадной пропорции понижена плата за пересылку писем, почтовый доход на первое время уменьшился, и кредит значительно пособлял английскому казначейству перенести это промежуточное время, пока развитие письменной корреспонденции пополнило почтовый доход.

Как помогает кредит произведению полезных реформ в системе государственных доходов, точно так же помогает он полезным реформам в государственных расходах. Например, почти весь громадный долг Великобританского королевства составил из займов, сделанных на военные предприятия и заключенных, разумеется, на тяжелых условиях (деньги для мотовства нельзя получать иначе, как на условиях тяжелых). Ну, после того английское правительство сделалось рассудительнее, то есть бережливее. Конечно, оно стало тогда пользоваться на бирже репутациею гораздо лучшею прежнего. Доверие к облигациям государственного долга возросло, так что можно было заняться облегчением процентов, платимых по ним. Но сказать кредитору: «я хочу платить по моим долгам вместо прежних 5% только 4%» или «вместо прежних 4% только 3%» имеет право лишь тот, кто может к этим словам прибавить: «если ты не согласен на предлагаемые мною новые условия, то получи свой деньги, я готов уплатить долг». Разумеется, надобно иметь наготове большие кредитные средства, чтобы предложить кредиторам такой выбор. По правде говоря, казначейству, имеющему такие средства, почти не придется пользоваться ими в этом случае: когда оно может получить сколько ему угодно денег по новому пониженному проценту, это значит, что предлагаемый процент, хотя и менее выгодный прежнего, все-таки считают денежные люди выгодным процентом, и на этом основании заимодавцы не потребуют своих денег назад, а согласятся оставить их в облигациях государственного долга с уменьшенным процентом. Это так; но если б не было у казначейства полной возможности получить в случае надобности деньги, к получению которых на самом деле не представится надобности, оно не могло бы предложить заимодавцам выбора; значит, хотя оно в действительности и не воспользовалось кредитом, но только благодаря своему кредиту успело уменьшить проценты по своему долгу. Таким постепенным понижением процентов английское казначейство успело сократить ежегодные расходы на несколько десятков миллионов рублей.

Из этого последнего случая мы очень хорошо можем видеть, в каких обстоятельствах вообще приносит правительству пользу кредит. Он чрезвычайно выгоден правительству тогда, когда правительство очень легко могло бы обойтись без него. Почему под-

нимались английские фонды до такой степени, что можно было понижать процент по ним? Поднимались они потому, что новых займов правительство не делало, а по прежним долгам платило проценты без всяких затруднений для себя. Нуждалось ли оно тогда в кредите, чтобы сводить концы с концами, чтобы существовать? Ровно нисколько не нуждалось. Для чего же оно хлопотало о понижении процентов? Не для того, чтобы выпутаться из затруднения, а просто для того, чтобы свое настоящее, очень хорошее положение заменить еще лучшим.

Что тут говорить много, — каждый из нас по своему маленькому хозяйству отлично знает эти вещи. Если мои дела идут так, что я не нуждаюсь в займах, каждый готов давать мне денег взаймы на самых выгодных для меня условиях; но если завтра поведут меня в долговую тюрьму, когда я не получу денег ныне, то скажите, легко ли мне будет достать денег и на каких условиях я достану их? Вероятно, читатель знает, что в Петербурге можно купить превосходнейшую мебель за бесценок; но в каком положении надобно быть, чтобы сделать такую выгодную аферу? Надобно иметь меблированную квартиру; надобно не нуждаться в покупке мебели, надобно спокойно лежать или сидеть на мягком диване и ждать (вовсе и не думая о том), пока прибежит к вам, — когда прибежит, ныне или через полгода или через два года, все равно для вас, — какой-нибудь господин и станет убеждать вас купить мебель; а вы должны быть в таком положении, чтобы отвечать ему: «мебель мне не нужна; разве уж слишком дешево продадут, — тогда, пожалуй, посмотрим». Но если вам непременно нужно купить мебель ныне к вечеру, потому что вам не на чем будет спать нынешнюю ночь, то, разумеется, вы купите втридорога скверную мебель.

Англия пользуется кредитом в безграничном размере на очень выгодных условиях, — да каково финансовое положение Англии, надобно знать. Каждый год толкуют там о том, что надобно или отменить, или понизить какой-нибудь налог, не потому, чтобы он был в самом деле обременителен, а потому, что если не отменить или не понизить какого-нибудь налога, то в доходах окажется над расходами излишек, которого некуда будет девать; и когда нет опасений, что грозит Англии какой-нибудь сосед нападением, то каждый год действительно отменяется или уменьшается какой-нибудь налог. Иной раз несколько обочтутся в этом, — то есть как обочтутся: понизят налоги, положим, на 20 миллионов рублей и рассчитывают, что от развития промышленности, облегченной этой сбавкою, получатся в доходе прибыль на 10 миллионов рублей (другие 10 миллионов оказывались лишними; от этой суммы казначейство отреклось), а вместо того прибыль будет на первый год лишь в 7 миллионов рублей, и является недочет 3 миллионов, на которые рассчитывалось. Это у англичан (глупых людей, не понимающих, что такое дефицит) называется дефицитом. Бывает



у них дефицит и от другого обстоятельства: случаются иногда в течение года расходы, которых не предвиделось в начале года. И вот послушали бы вы, как рассуждает у англичан в этих случаях канцлер казначейства (министр финансов) и как опровергают его планы оппозиционные финансеры, — просто уморительно слушать, можно животики надорвать со смеху: «В следующем году надобно будет (говорит канцлер казначейства) увеличить доходы на столько-то миллионов. Можно для этой операции возвысить подать с дохода; а если парламенту не будет угодно возвысить подать с дохода, можно возвысить налог на солод; по моему мнению, лучше возвысить налог на солод, а впрочем, все равно». Встает оппозиционный оратор и с ожесточением нападает на план канцлера казначейства; но какими возражениями он опровергает его! Нам кажется, что оппозиционный оратор ненаходчив до глупости: не вздумает он сказать, что канцлер хочет поднять налог на солод до обременительной величины; не вздумает он сказать, что и подать с доходов тяжело было бы уплачивать в случае увеличения, — нет, оппозиционный оратор говорит: «конечно, предлагаемое возвышение налога на солод необременительно; конечно, легко уплачивалась бы и подать с дохода в случае ее возвышения; но как не догадался канцлер казначейства, что еще менее чувствительно для нации будет получить требуемые миллионы самым незначительным возвышением пошлины с чаю или вот следующим изменением штемпельного сбора, которое увеличит доходы казначейства облегчением пошлин, взимаемых ныне с таких-то и таких-то дел». Вот чудачки, подумаешь: нужно им, положим, 10 миллионов, а из их прений оказывается, что без всякого затруднения могли бы получить они 40 миллионов повышением таких налогов, которые никому не были обременительны, — и не хотят они получить эти 40 миллионов, а хотят получить только 10, и спорят между собою из-за того, каких источников к получению денег не касаться. Глупые люди! Оно вот и видно, что справедлива половица: «глупому счастье». А тут на грех встает еще какой-нибудь радикал, вроде Брайта или Кобдена, и говорит: «бросьте вы все ваши косвенные налоги, ведь ни один из них не нужен вам». Канцлер казначейства в свою очередь проникается негодованием и возражает: «Что вы пристааете к нам, — ведь вы видите, что и без ваших напоминаний косвенные налоги постоянно понижаются. В течение последних 10 лет мы отменили их на столько-то миллионов фунтов, а в следующие 10 лет надеемся отменить еще на сумму вдвое большую».

Финансовое положение Англии определяется двумя чертами. Расходы этого государства не превышают доходов, или, точнее сказать, постоянно возникает в доходах излишек над расходами, излишек, постоянно ведущий к облегчению налогов; а между тем налоги уже приведены в такой размер, что уплата их ни для кого не обременительна. Первая черта английского бюджета известна

каждому, но вторая, быть может, нуждается в некоторых пояснениях.

По денежному счету сумма податей и налогов, приходящаяся средним числом с каждого жителя в Англии, больше, чем в каком-нибудь другом европейском государстве. Полагая величину бюджета в 450 000 000 рублей (впрочем, этот нынешний бюджет Англии чрезмерно высок по особенным временным обстоятельствам, требовавшим в два последние года слишком больших вооружений), а население Великобритании с Ирландиею в 30 000 000 человек, мы увидим, что каждый житель платит средним числом около 15 р. сер. В Австрии денежная величина уплат гораздо меньше: при 35 000 000 населения доходы Австрии составляют около 160 000 000 р., так что с каждого жителя сходит всего лишь около 4 р. 50 к., — вдвое меньше, чем в Англии. Но читатель знает, что простолудин скорее заработает в Англии 15 рублей, чем в Австрии не только 4 р. 50 к., а даже 3 рубля. Незначительные пошлины на чай и сахар, пошлины столь необременительные, что среднее потребление сахару простирается в Англии почти до целого пуда в год на каждого жителя, дают английскому казначейству сумму, равняющуюся целой половине всего государственного дохода Австрии; они составляют шестую часть английского бюджета доходов. Каждый может судить, обременительна ли для населения уплата такой суммы налогов, в которой целую шестую часть составляет пошлина с чая и сахара. Но еще вернее можно судить об этом, когда мы скажем, что английскому казначейству неизвестно, что такое значит недоимка: недоимок в Англии нет. В Австрии другое дело: там, когда рассчитывают, сколько принесет известный налог, всегда уже полагают значительный учет на недоимку.

Мнение, будто бы в Англии подати обременительны, происходит от двух причин, из которых одна совершенно неосновательна, а другая становится неосновательною, когда говорят об Англии не безотносительно, а по сравнению с европейским континентом. Первую причину мы уже видели: сумма денег, значительная в Австрии, незначительна в Англии, потому что рабочая плата в Англии гораздо выше, а ценность денег гораздо меньше, чем на континенте. Это то же самое, что Петербург сравнительно с городом Ишимом (есть такой город в Тобольской губернии): говорят, что в Ишиме за триста рублей можно купить дом, в котором будет больше комнат и лучших комнат, чем в квартире, за наем которой платится в Петербурге триста рублей.

Другое обстоятельство — то, что сами англичане очень много толкуют о чрезмерности своих налогов, о надобности уменьшить их, преобразовать финансовую систему и т. д. Это они делают очень хорошо: каково бы ни было положение дел, но всегда надобно стараться улучшить его. Если судить об Англии без сравнения с континентом, в ней очень много дурного; есть в ней сто-

роны, которые нехороши и по сравнению с иными континентальными государствами, например, с Францией или Бельгиею. Но размер податей и налогов не принадлежит к таким сторонам Англии. Способ распределения финансовых тяжестей по разным отраслям национальных доходов или национального потребления очень неудовлетворителен: прямые подати до сих пор непропорционально малы, косвенные налоги составляют слишком большую пропорцию в сумме государственного дохода. Справедливо и то, что государственные расходы Англии можно было бы уменьшить в очень значительной степени строжайшим принятием принципа невмешательства и изменением колониальной политики. Но все это справедливо только с точки зрения выгод самой английской нации. Если же из требования англичан, чтобы улучшена была их политическая и финансовая система, мы станем выводить заключение, будто бы жители Франции или Пруссии, а тем больше Австрии, находятся по отношению к требованиям бюджета в состоянии более выгодном, чем жители Англии, мы совершенно ошибемся. Это все равно, что жалобы порядочных людей в Англии на неудовлетворительное качество пищи английского простолюдина. Спора нет, следует желать, чтобы она улучшилась; спора нет и в том, что очень многие англичане терпят нужду в пище. Но все-таки, какое же сравнение с континентом? В одной Англии белый хлеб и мясо составляют обыкновенную пищу простолюдина; в одной Англии сахар сделался предметом ежедневного потребления всей массы народа. Система налогов, при которой существует такое положение дел, может иметь сама по себе недостатки; но должна быть названа чрезвычайно легкой сравнительно с континентальными системами.

### III

#### Дефицит

Теперь мы уже настолько ознакомились с действиями кредита, что можем заняться рассмотрением общей теории кредитных операций.

Прибегать к кредиту — значит, брать взаймы деньги. Само собою разумеется, что деньги взаймы берет только тот, кто не имеет достаточного количества собственных наличных денег в запасе. Чувствовать надобность в пособии кредита и иметь недостаток в наличных деньгах — одно и то же.

Но мы видим, что некоторым правительствам и в некоторых случаях пользование кредитом оказывается выгодно; другим правительствам и в других случаях — вредно. Читатель сам, конечно, уже находит теперь объяснение этой разницы. Она происходит от различия в причинах и в свойствах тех финансовых

недочетов, на отвращение которых призывается помощь кредита.

Если надобность в кредите происходит не от постоянного пересвета расходов над доходами, а лишь от какого-нибудь мимолетного обстоятельства, которое скоро будет сглажено обыкновенным ходом финансовых дел; если бюджет государства представляет вообще равновесие обыкновенных, правильных доходов с расходами или даже некоторый излишек доходов над расходами, то случайная надобность быстро израсходовать сумму, которая по обыкновенному пути поступает в казну довольно медленно, — такая надобность покрывается пособием кредита очень легко и почти безубыточно для государства. Но именно легкость, с какою получает от кредита требуемые суммы правительство, имеющее бюджет подобного рода, именно эта легкость служит причиной тому, что операции подобного рода не служат сами по себе предметом особенного интереса ни для правительства, ни для ученых. Возьмем в пример недавний английский случай. Англичане в последние годы стали предполагать, что император французов не чужд мысли сделать высадку на их берега<sup>4</sup>. Основательно или неосновательно такое опасение, не в том дело; дело в том, что англичане имели его, что оно тревожило их, мешало им заниматься с полным вниманием и успехом их собственными делами. Надобно было им принять меры, чтобы изгнать из своих мыслей опасение видеть на английской земле неприятельскую армию. Для этого они почли за нужное, между прочим, укрепить свои гавани и разные пункты берега, доступные для высадки. На такое вооружение оказался надобен расход в несколько десятков миллионов рублей. Если б можно было разложить его на много лет, можно было бы произвести его на обыкновенные излишки, остающиеся в английских доходах за обыкновенными расходами. Но по самой сущности дела следовало произвести его как можно быстрее. А если так, то обыкновенного излишка доходов за какие-нибудь два-три года оказывалось недостаточно для покрытия этого огромного экстренного расхода, который надобно было сделать года в три, а еще лучше, если года в два или еще быстрее. При таких условиях, разумеется, понадобилась помощь кредита. Но, читая прения парламента и английских газет об этом деле, мы вовсе не видим никаких рассуждений о легкости или трудности совершить требуемую кредитную операцию. Очень много спорили о том, действительно ли надобно вооружать берега: во-первых, основательно ли опасение высадки; а если оно основательно, то устранится ли возможность высадки вооружением берегов, отстранится ли им опасение? Был некоторый спор и о том, не лучше ли будет возвысить подати, чем прибегать к займу. Но о том, труден ли будет займ, никто и не говорил; не было даже высказано ни одного предположения о том, какими бы искусственными приемами можно было облегчить эту операцию: очевидно, что о способе исполнения самой

операции никто не считал нужным и думать. Успех ее никто не ставил в зависимость от искусства министра финансов, и когда она будет исполнена, никто не поставит ему успех операции ни в какую заслугу.

Это мы говорим к тому, что когда финансовое положение хорошо, то кредитные операции не требуют для своего исполнения никакого особенного искусства и не возбуждают ничьего внимания способом своего осуществления. Они бывают делом таким же простым, как обмен векселей солидного коммерческого дома на деньги в банкирской конторе: думает ли глава солидной фирмы о том, как бы успеть получить денег в обмен своего векселя? Думает ли он восхищаться искусством своего конторщика, который, будучи послан от него к банкиру с векселем, приносит ему от банкира деньги, полученные в обмен векселя? Нет, ничего подобного не приходит и в голову солидному негоцианту. Он думает и крепко думает о том, имеет ли он надобность и выгоду выдавать на себя вексель, брать у банкира деньги. Но когда рассчитает, что это ему выгодно, он уже не имеет ровно никаких хлопот с исполнением своей мысли, с исполнением своей кредитной операции. Точно таково же отношение правительства к кредитным операциям при хорошем финансовом положении.

Но, не возбуждая сами по себе ровно никакой заботы ни в правительстве, ни на бирже, ни в публике, кредитные операции, совершаемые в подобных обстоятельствах, приобретают чрезвычайную занимательность или, вернее сказать, самую гибельную обольстительность теми заключениями, к каким ведут людей поверхностных, и теми обманами, к которым открывают возможность людям, легкомысленно пользующимся заблуждениями других. Мы видим, что каждая солидная коммерческая фирма, дела которой процветают, то есть у которой доходы больше расходов, извлекает для своих оборотов очень большое облегчение и еще новую выгоду посредством ежедневного пользования кредитом. Каждый биржевой негоциант беспрестанно выдает векселя на себя, и без этих векселей никак не мог бы вести в таком размере таких выгодных для себя дел. Английское правительство, находящееся в превосходном финансовом положении, непрерывно ведет свои дела посредством кредита: Английский банк, колоссальнейшее кредитное учреждение в целом мире, служит, собственно, конторою кредитного агентства для английского правительства; казначейство имеет с Английским банком непрерывный текущий счет; оно раз навсегда передало банку право получать все суммы, каким следовало бы идти в казначейство, и зато берет из банка, как будто из собственной кассы, все суммы, какие только понадобятся на государственный расход. Все министры, все члены парламента, все экономисты и публицисты и вслед за ними вся английская публика до последнего человека находят, что этот способ ведения финансовых дел через посредство Английского

банка, то есть чрез непрерывный и многосложнейший ряд кредитных операций, очень облегчает финансовые обороты английского правительства, избавляет его от бесчисленного множества хлопот и затруднений, а сверх всего дает ему в окончательном результате немаловажный денежный выигрыш.

А если так, если пользование кредитными операциями так выгодно, то не следует ли видеть в них могущественное средство для устранения финансовых затруднений всякого рода? Этот вывод приходит в голову каждому смотрящему только на внешний вид дела, не разбирающему его условий. Но мы уверены, что читатель очень хорошо замечает, в чем тут ошибка: одно и то же средство в разных условиях ведет к результатам очень различным. Здоровому человеку очень полезно кушать ростбиф; но если трудной больной, которому следует кушать лишь овсянку, съест кусок ростбифа, он очень <легко> может умереть от этого куска, а уже наверное затруднит им свое выздоровление.

В состоянии ли кредит пособить человеку, который имеет привычку проживать больше, чем получает, и не хочет изменить этой привычки? Каждому известно, что дела такого человека с каждым годом должны все больше и больше расстроиваться от приемов, которые может называть он, если ему угодно, кредитными операциями. Но вот именно в таких обстоятельствах и нужно бывает человеку особенное искусство, нужны особенные хлопоты для получения денег взаймы. Точно при таких же обстоятельствах совершаются и точно к таким же результатам ведут государство те кредитные операции, об исполнении которых нужно бывает много хлопотать, исполнение которых вменяется легкомысленными людьми в заслугу лицам, их исполняющим.

При хорошем финансовом положении ум государственного человека обнаруживается преобразованиями в системе налогов и податей или в распределении расходов, в умении открывать средства к уменьшению тяжести налогов, к сбережениям в расходах, — словом сказать, собственно так называемыми финансовыми улучшениями; а кредитные операции идут при этом сами собою, не принося ему никаких особенных забот. Это все равно, как у хорошего землевладельца ум обнаруживается искусством приобретать больше дохода при облегчении тяжестей, лежащих на поселянах, населяющих его землю, и умением вести свои расходы экономно; а если такому землевладельцу случается брать у купцов товары в долг, это получение кредита от купцов не соединено для него ни с какими хлопотами: каждый торговец, зная солидность его хозяйства и аккуратность его в делах, отпускает по его записке сахар или железо с такой же готовностью, как бы вместо записки посланный приносил ему наличные деньги.

Другое дело, когда финансовое положение дурно и нет охоты принять меры, нужные для его действительного исправления. Вот тогда-то забота о кредитных операциях становится на первое

место в мыслях государственного человека. Могут ли действительно пособить государству в этом случае какие бы то ни было кредитные операции, рассудит каждый читатель.

Сущность дела тут состоит в том, что государство расходует больше, чем получает, и намерено продолжать такую систему. Могут ли быть исправлены ее результаты какими-нибудь кредитными оборотами? Сущность каждой операции, призывающей кредит на помощь делу, заключается в том, что занимают деньги. Заем этот может быть двух родов: с платежом процентов (обыкновенно так называемый заем) или без платежа процентов (выпуск бумажных денег). Каждому достаточно известно, что последний способ займа вообще оказывается для нации и для самой казны гораздо убыточнее первого, и потому будем говорить только о неизбежных последствиях первого способа, наименее убыточного. Сообразить их очень нетрудно. Если в известном году заключен заем по перевесу расходов над доходами, то в следующем году дефицит еще увеличится прибавлением к расходу суммы, требуемой процентами прежнего займа, и для уравнивания доходов с расходами потребуется заключить заем больше прежнего.

Специальные названия разных займов могут быть очень различны; условия, на которых получаются деньги посредством разных способов займа, также бывают различны; наконец, в займах одного и того же рода могут получаться деньги по проценту неодинаковому; от этого разнообразия кредитные операции принимают чрезвычайно много форм, из которых одни бывают несколько легче, другие несколько тяжелее. Но пока не восстановлено равновесие доходов с расходами, сущность всех без различия кредитных операций состоит в увеличении долгов. Переводом долгов из одной формы в другую государство может отстранять от себя обязательство немедленной или срочной уплаты занятого капитала, может иногда несколько уменьшать и сумму процентов, платимых по какой-нибудь части занятого капитала, но все такие перемены в некоторой части долговых его обязательств или уплат будут постоянно исчезать в одном неизменном общем характере дела, — характере, неминуемо происходящем от коренного факта, от несоразмерности расходов с доходами. Общий характер этот — постоянное возрастание долгов и тяжести уплат по долгам; пока не восстановлено равновесие расходов с доходами, увеличение массы долгов и процентов, платимых по долгам, не может быть отвращено никакими кредитными операциями.

Из этих длинных рассуждений краткий вывод таков: кредитными операциями устраняются лишь маловажные, мимолетные финансовые затруднения; а если, по самому устройству финансовой системы, дефицит составляет постоянное явление, то никакими кредитными операциями нельзя отвратить зла; напротив,

бно только растёт от мнимой помощи кредита, ведущего в этом случае лишь к постоянному возрастанию дефицита.

Если теперь мы спросим: следует ли ограничиться этим отрицанием, или могут быть найдены средства к изгнанию дефицита, постоянно возрастающего при известной финансовой системе? — если мы спросим это, то, конечно, опять-таки готов ответ у каждого читателя.

Мы видели, что кредитные операции годятся только против мимолетных затруднений, а против недостатков самой финансовой системы они бессильны; потому очевидно, что дефицит, являющийся постоянною чертою данной финансовой системы, может быть отстранен только изменением самой системы.

Финансовая система имеет две стороны: бюджет доходов и бюджет расходов. Дефицит может происходить от неудовлетворительности того или другого бюджета, а чаще всего происходит от неудовлетворительности их обоих.

Кроме одной Швейцарии, не находится в Европе ни одного государства, которое имело бы систему податей и налогов, хотя приблизительно соответствующую здоровым экономическим условиям. Повсюду мы замечаем, что на удовлетворение расхода требуется сумма, далеко превышающая ту, какая могла бы доставиться лишь одними податями и налогами, не имеющими вредного действия на экономическую жизнь нации или собираемыми в раз- мере, не обременительном для нации. В каждом государстве существуют такие источники доходов, о которых сами защитники их говорят: «конечно, следовало бы отменить или уменьшить этот налог, но размер наших расходов не допускает того». Не надобно ожидать идеального совершенства, — будем судить хотя только по сравнению, будем предполагать возможным хотя лишь то, польза чего уже доказана опытами других стран.

Есть такие налоги, сбор которых не увеличивает, а уменьшает сумму дохода, прямо мешая людям работать, то есть и получать средства к платежам в казну. Из них довольно будет указать на один сбор за паспорта. Нет никакого сомнения, что каждый рубль, даваемый казне этим доходом, отнимает у нее десять рублей из других налогов. Мы читали, что паспортный сбор будет преобразован. Надобно желать, чтобы найдена была возможность уничтожить самые паспорта.

Но возможность эта неразрывно связана с преобразованием главного из наших прямых налогов — так называемого ныне поземельного налога, сохранившего при этой перемене имени прежний характер подушной подати. Земля должна платить налог, рента служит одним из самых лучших и справедливых источников государственного налога; но большая часть земель, дающих ренту, была у нас до сих пор освобождена или почти освобождена от налога. Дворянские населенные земли номинально платили налога в несколько раз меньше, чем государственные; а на самом



деле вовсе не платили никакого налога, потому что взимаемый с поместий налог лежал подушною податью на крепостных крестьянах, и помещик фактически не платил ничего за землю. Зато на государственных землях налог был чрезмерно тяжел. Доказывать этого нет надобности. Пока не будет отменена привилегия большей части лучших земель, государственные доходы никак не могут стать удовлетворительны, потому что самое существование подобной привилегии возможно только при устройстве, не допускающем развития экономических сил нации. Пока налог с земель, находящихся во владении у крестьян, не будет уменьшен до такого размера, чтобы ни одно крестьянское общество не затруднялось уплатою налога, государственные доходы также не могут иметь удовлетворительной величины, потому что сумма государственных доходов не может быть выше размера национальных средств, а размер национальных средств определяется степенью благосостояния массы.

Подушная подать по размеру приносимых ею сумм занимает второе место в нашем бюджете доходов, а главнейшую статью его составляет налог на вино, взимающийся до сих пор посредством откупа. Теперь объявлено, что с окончанием текущих контрактов откуп решено уничтожить и взимать винный акциз прямым путем. Конечно, такая перемена сама по себе уже может послужить к значительному облегчению нации; но с финансовой точки зрения не менее важен вопрос о том, в каком размере будет установлен акциз. Если руководящею мыслью при этом принять стремление к сохранению нынешней величины дохода, доставляемого налогом на вино, то едва ли возможно было бы установить величину акциза, совместную с выгодами самой казны. Если смотреть отдельно на одну ветвь дохода, конечно, представляется очень привлекательною цифрою сумма около 100 миллионов рублей серебром, даваемая ныне налогом на вино. Но другое дело, если иметь в виду всю сумму государственных доходов. Мы уже говорили, что невозможно бывает получать с нации больше денег, чем сколько может она уплатить по своим существующим средствам к уплате. Если одним налогом эти средства исчерпываются на одну треть, то самую значительною статью этого отдельного источника сокращают на одну треть суммы, доставляемые всеми остальными источниками государственного дохода. Главный расчет не в том, сколько дает известный налог, а в том, какое отношение имеет он к формированию средств нации. С этой стороны разные налоги оказывают чрезвычайное разнообразие действий. Есть такие, которые прямо губельны по самой своей натуре. Из них самый знаменитый — лотерея. У нас правительство не пользуется этим разорительным средством. Есть другие налоги, которые по самой натуре своей не уменьшают национальных средств, а, напротив, ведут к их возрастанию, имея действие, прямо противоположное свойству

всех остальных налогов: это — налоги на предметы роскоши. Ни одно государство еще не решалось пользоваться ими в таком размере, какой требовался бы справедливостью; потому в самой Англии дают они сумму не очень значительную и не составляют важной статьи в бюджете доходов; но какова бы ни была сумма, ими доставляемая, она служит чистою прибылью не для одной казны, а также и для национальных средств: налоги эти имеют тенденцию обращать капиталы от пустых растрат к употреблению, более выгодному и для самих владельцев капиталов и для нации. Наконец большая часть важнейших по своему размеру налогов принадлежат к третьему классу, который до известного размера не очень обременителен для национальных средств, но расстроивает и истощает их, когда требуемая величина превышает известную норму. Таков, например, поземельный налог; таковы таможенные пошлины; таковы же и многие акцизы. Таможенная пошлина не вредит никому и ничему, когда имеет такой размер, что продажная цена товара не увеличивается от нее чувствительным образом и потребление товара, платящего ее, сохраняет почти ту же величину, какой не превышало бы и без всякой таможенной пошлины. Если же излишнею высотой своею таможенная пошлина стесняет привоз товара, она, как всем теперь известно, оказывается вредна не одним потребителям, а также и самой казне, мешая развитию национальных промышленных сил или давая им невыгодное направление. Точно то же надобно сказать и об акцизах. Возьмем в пример хотя наш акциз с табаку. Быть может, выгодно для казны оказалось бы понизить его; однакоже, и при нынешней своей величине он не очень сильно уменьшает потребление табаку, не слишком много поднимаемая продажную цену его; стало быть, хотя бы и думал кто-нибудь, что нынешняя величина этого акциза несколько высока, а все-таки надобно сказать, что и при нынешней величине наш табачный акциз необременителен. Необременителен был бы и такой акциз с хлебного вина, который не возвышал бы продажную цену этого товара в пропорции слишком громадной; если бы, например, положить такой акциз, который составлял бы процентов 25 или даже 35 в продажной цене вина, никто не стал бы находить этот налог обременительным или стеснительным. Если же акциз будет составлять 150 или 200% в продажной цене вина, дело получит иной характер. Очень вероятно, что при такой огромности налог стал бы приносить казне больше, чем при величине, совместной с правильным финансовым расчетом; но он продолжал бы сообщать народному характеру такие наклонности, которые производят в результате уменьшение всей массы государственных доходов: наклонность к беспорядочному питью, наклонность к обманыванию казны корчемством, наклонность к обманыванию покупателей в качестве продаваемого вина. Та-

ким образом излишек доходов от одной статьи далеко перевешивался бы недочетом в других статьях дохода.

Если бы место позволяло нам пересмотреть здесь все статьи нашего бюджета государственных доходов, мы, конечно, нашли бы много податей и пошлин, вполне заслуживающих одобрения своею умеренностью и всегдашним ее следствием — своею соразмерностью с правильным финансовым расчетом. Но мы имеем целью не составление панегирика, а только рассмотрение средств, могущих содействовать уравновешению государственных доходов с расходами. Мы принуждены были прямо сказать, что две важнейшие статьи нынешнего бюджета — статьи, дающие гораздо более половины, быть может  $\frac{3}{5}$  частей всего нынешнего дохода, — подушная подать или нынешний так называемый поземельный налог и сбор с продажи хлебного вина, — до сих пор имели у нас размер, невыгодный для всей массы государственных доходов по своей обременительности для народных средств. Конечно, большой решительности требует реформа, которая состояла бы в понижении размера этих двух платежей. Но ни в ком из людей, понимающих финансовое дело, не может быть и сомнения, что такая реформа повела бы к увеличению общей массы государственных доходов. Спросите какого угодно из знаменитых немецких, французских или английских экономистов, обратитесь за советом к какому угодно из лиц, с успехом управляющих или управлявших финансами Англии или Пруссии (только эти два государства из числа великих держав имеют финансы в хорошем порядке) — все от Рошера до Гледстона скажут одно и то же: для увеличения государственных доходов России первейшая надобность состоит в уменьшении суммы, собираемой посредством налога на вино, и в заменении нынешнего подушного оклада действительным поземельным налогом, который имел бы величину более умеренную и которому равно подлежали бы все земли, в чьих бы руках ни находились; без этой реформы другие финансовые меры не принесут большой пользы бюджету доходов.

Реформа эта, указываемая правильным финансовым расчетом, конечно, произведет в результате значительное увеличение суммы государственных доходов, но на первое время она, разумеется, несколько уменьшила бы сумму их. Уменьшение было бы далеко не так значительно, как цифра, на которую произведено было бы облегчение в налогах, ныне имеющих обременительный размер. Если акциз понижается на целую половину, доход от этого акциза уменьшится разве на пятую часть или в пропорции еще менее сильной, — остальное будет в первый же год вознаграждено или увеличением потребления, или лучшею исправностью уплат. Что же касается до замены обременительной подушной подати умеренным поземельным налогом, тут может вовсе и не быть уменьшения всей суммы сбора; напротив,

с первого же года умеренный налог может дать \* больше, чем давала подушная подать, потому что была бы в этом случае отменена привилегия, лишаящая ныне казну сбора с большей половины удобных земель. Отменение паспортного сбора не принесло бы казне никакого чувствительного убытка по незначительности суммы, даваемой этим налогом. Таким образом при всей великости реформы, при всей громадности облегчения, какое дала бы она народу, уменьшение в государственных доходах даже на первый год не было бы очень значительно; на второй или, много, на третий год сумма доходов уже сравнялась бы с нынешнею, а дальше стала бы возрастать с быстротою, решительно невозможною при нынешней системе. Однакоже не будем прикрывать ничем и неприятную сторону истины: на первое время действительно следовало бы ждать некоторого уменьшения в доходах.

Если же и при нынешней величине доходов расходы превышают их и обнаруживается надобность в экономии, то еще сильнее было бы нужно позаботиться об уменьшении расходов в случае преобразования системы налогов и податей. Будем помнить основную цель, с какою начали мы свои размышления: нам представлялся вопрос о восстановлении государственного кредита. Если бы продолжалась надобность в займах на покрытие дефицита, кредит не восстановился бы, а продолжал бы расстроиваться. Потому выгода требует оставить всякую мысль о каких бы то ни было займах — внешних или внутренних, процентных или беспроцентных, называющихся займами или называющихся другими техническими именами, — всякую мысль о каких бы то ни было займах для покрытия дефицита: надобно направить все свои мысли и заботы к тому, чтобы самого дефицита не было.

По различному характеру государственных расходов не все статьи в бюджете расходов могут быть сокращаемы с одинаковою быстротою и легкостью; надобно даже сказать больше: не всякая статья расхода такова, что выгодно бывает сокращать ее; напротив, есть расходы, которые выгоднее увеличивать, чем уменьшать. Упомянем из них о суммах, употребляемых на народное образование: эти расходы ведут к увеличению доходов. Таковы же расходы на отправление правосудия: если бы во время даже величайшей надобности в сбережениях потребовалось увеличить эти расходы для полезных реформ судоустройства и судопроизводства, правильный расчет решил бы не жалеть на это никаких сумм. Оставляя расходы на народное образование, на отправление правосудия и на некоторые другие подобные этим предметы, мы видим две главные отрасли расходов, сбережение в которых было бы истинным сбережением: расходы по содержанию войска и по бюрократизму.

\* В «Современнике» опечатка: «быть», повторенная в Полном собрании сочинений, 1906, т. VIII, стр. 24. — *Ред.*

Заметим еще одно обстоятельство. Серьезное коммерческое доверие всегда бывает основано на точном знакомстве с делами лица или учреждения, желающего быть предметом коммерческого доверия. Если бы результатом этого знакомства оказалось даже обнаружение некоторых неудовлетворительных сторон положения дела, такой факт никак не мог бы увеличить прежнего недоверия, а, напротив, ослабил бы его: слухи всегда преувеличивают каждый действительный недостаток; как бы велик ни оказался он на самом деле, он всегда окажется меньше, чем предполагался по слухам. Биржевые люди все говорят это, и каждый, имевший дело с ними, знает, что они говорят правду. А самое главное дело то, что обнародование фактического положения с полною точностью всех подробностей служит для коммерческого мира ручательством решимости вести дело впредь аккуратным, прямодушным и расчетливым образом, ручательством за преобладание качеств и стремлений, которые одни только и нужны и притом вполне достаточны для быстрого приведения дел в состояние совершенно удовлетворительное.

Мы знаем, что не все зависит исключительно от министерства финансов; но каждому понятно, что оно все-таки должно было бы иметь главнейшую силу по финансовым делам. Сколько можно судить по обнародованным правительственным актам, министерство финансов проникнуто прекраснейшими намерениями<sup>5</sup>. Но если мы не ошибаемся, ему нужна поддержка со стороны общественного мнения; с целью содействовать, по мере нашей возможности, доставлению ему этой поддержки начали мы нашу статью. Посмотрим, будет ли признана польза прямых разъяснений дела; если наши предположения о стремлениях министерства финансов будут найдены справедливыми, то, конечно, мы будем иметь возможность перейти от общих соображений, изложенных теперь, к изложению и оценке мер, какие были в последнее время приняты у нас по кредитной части и по общему финансовому вопросу.

#### IV

### Банковые преобразования

Не мало разных вопросов предлагали мы читателю в первых трех главах нашего этюда; но вопросы были все так немудрены, что не только ни один читатель, вероятно, не затруднился решать их, вероятно не затруднилась бы отвечать на них ни одна из петербургских чухонских кухарок, если б они принадлежали к читательницам русских журналов, как, очевидно, полагают многие высокоуважаемые нами люди, опасующиеся, что «Отечественные записки», «Русский вестник», «Русское слово»,

«Современник» и «Библиотека для чтения» могут иметь (разумеется, дурное, по мнению этих господ) влияние на русский народ, из которого нельзя же исключить и чухонских кухарок. Вот точно такого же рода вопросы будут и все следующие. За что другое не знаем, как ручаться в них, а за то уже ручаемся, что они будут не головоломны. Вот и теперь, например, надобно начать нам с того, чтобы спросить себя: «от чего зависит положение кредита? и если оно неудовлетворительно, то чем оно может быть улучшено?» Если читатель соглашался со взглядом на дело, излагавшимся в прежних трех главах, он не затруднится в ответе. Положение кредита — это значит легкость или обременительность условий, на которых капиталисты готовы бывают давать нам в заем деньги. Англия находит сколько ей угодно денег за  $3\frac{1}{4}\%$  — по-нынешнему это считается очень легким процентом; оттого и говорят, что кредит Англии находится в хорошем положении. Турция, при помощи Миреса, ищет теперь и почти не находит денег за 10 или за 11%, а такой процент считается уже чрезвычайно тяжелым; потому говорят, что положение турецкого кредита дурно. Спросим же себя, от чего зависит легкость или обременительность условий, на каких заключаются займы частными ли лицами, акционерными ли компаниями, государствами ли — все равно. Дело явное, что вещь эта зависит не от чего иного, как от денежных обстоятельств того, кто желает занять деньги. Если его денежные дела хороши, то и условия, на которых дают ему займы, бывают легки, то есть и положение его кредита бывает хорошо; если же нет, то нет. У частного лица денежное положение просто так и называется денежным положением; у акционерного общества оно тоже называется просто положением дел этого общества; но когда говорят о государстве, то вместо этих простых выражений употребляют технический термин «финансовое положение» или другой технический термин «бюджет». Специалисты имеют привычку рассуждать таким техническим языком, который наводит робость на профана, думающего, что под мудрыми словами (впрочем, полезными в науке) скрываются бог знает какие неведомые и, пожалуй, непостижимые его простому житейскому смыслу вещи; в иных делах оно так и бывает, — например, в химии, в геологии, в микроскопической анатомии; но ведь зато эти науки занимаются исследованиями, чуждыми обыкновенного круга будничной жизни неспециалистов. А экономическая наука не такова: в ней нет ни одного вопроса, который не подходил бы к тому или другому разряду житейских забот каждого из нас; в ней нет факта, который не соответствовал бы делам, хорошо знакомым каждому из нас. Потому читатель пусть не предполагает, что не способен каждый профан понять финансовые или бюджетные вопросы так ясно, как только способен понимать счет, поданный ему кухаркою. По напрасной привычке, отвязаться от которой

трудно, мы, пожалуй, будем употреблять здесь технические слова «финансовое положение», «бюджет» и т. д., но проще было бы говорить кухонным языком, который был бы совершенно достаточен для изложения всей сущности кредитных дел.

Кухонным языком выразились мы, что кредит государства зависит от положения денежных дел государства, а книжным языком следует прибавить, что кредитные дела составляют ни больше ни меньше, как результат, и только результат, бюджета. Заем делается лишь оттого, что доходов недостает на расходы, только на покрытие дефицита. Теперь видно, чем, и чем одним только может быть исправлен кредит: только исправлением бюджета. Пусть каждый рассудит, может ли это быть иначе.  $2 \times 2 = 4$ , это — штука, или нет, не «штука»: будем говорить ученым языком, это — формула известная; рассмотрим же эту формулу по-ученому. По-ученому 4 тут результат, производимый взаимодействием факторов  $2 \times 2$ . Положим теперь, что эта цифра 4, этот результат вам не нравится, что вы желали бы изменить его, положим, на цифру 6; вы сами знаете, что этого нельзя сделать иначе, как изменением в производящих этот результат факторах; над самою цифрою 4, сколько вы ни бейтесь, ничего с нею не делаете; а попробуйте сделать перемену в производящих ее факторах, она переменится сама собою; попробуйте написать  $2 \times 3$ , само собою выйдет у вас  $= 6$ . Если же вы этого не сделаете, если вы будете хлопотать собственно над результатом, вы можете наделать сколько вам угодно формальных перемен, — пишите, пожалуй:  $2 \times 2 = 1 + 1 + 1 + 1$ , — не понравилось и это, можете написать  $3 + 1$ , или  $5 - 1$ , или  $7 + 2 - 5$ , или как хотите, фигурки будут выходить очень разнообразными, с виду вовсе не похожие на 4, а в сущности все останется у вас прежний результат: ведь и  $1 + 1 + 1 + 1$ , и  $3 + 1$ , и  $5 - 1$ , и  $7 + 2 - 5$  все то же  $= 4$ .

Если читатель одарен такою гениальностью, что постиг столь неслыханную мудрость, то он не затруднится отвечать на вопрос: может ли кредит быть исправлен преобразованием собственно кредитных операций? Нет, не может. Потому мы прямо скажем, что не могли не остаться бесполезными усилия, обращенные на преобразование одной части наших кредитных дел — на преобразование наших банковых учреждений.

Мы не имеем претензии знать или хотя отгадывать те правительственные предположения о реформах или те приготовления к произведению реформ, которые еще не обнародованы. Нам доступны только обнародованные факты, только совершившиеся действия. Рассматривая эту выясненную для всех часть истории нашего финансового управления, мы должны сказать, что с той поры, когда правительство занялось заботами об улучшении нашего государственного быта, главным делом по финансовому управлению были банковые преобразования<sup>6</sup>.

Наша прежняя банковая система имела важные недостатки и неудобства. Мы не будем перечислять их, потому что они много раз были раскрываемы самим министерством финансов. Мы нимало не расположены защищать эту прежнюю систему; и будем еще иметь случай коснуться двух важнейших недостатков ее. Но, отлагая до следующей главы речь об этих двух сторонах прежней банковской системы, мы хотим рассмотреть здесь, действительно ли представляли слишком большую опасность для наших государственных дел те черты прежнего положения наших банков, которые были выставлены печатным образом как чрезмерно опасные, требующие немедленных исправлений чрезвычайными усилиями; были ли действительно обременительными для государства те черты, которые были выставляемы в печати обременительными, и, наконец, каков был результат чрезвычайных усилий, сделанных для устранения этой опасности, для облегчения этой тяжести.

Теперь мы будем говорить серьезным тоном; наше изложение будет вполне понятно для неспециалиста, но мы обращаемся, собственно, не к нему, а к нашим специалистам по финансовой части. Мы предупреждаем их, что не будем и не можем входить в технические тонкости. Не можем по двум причинам. Во-первых, у нас нет под руками подробных подлинных цифр, какие были бы нужны для достижения точности в тонких технических выводах. Мы должны основываться только на обнародованных сведениях, на общих итогах, по которым можно определить лишь самые крупные, уже вовсе не технические, а только, так сказать, популярные черты хода дела. Во-вторых, автор этой статьи не посвящен в биржевые дела. Он ни разу и не был на бирже, никогда не искал и чести слышать собственными ушами поучительные разговоры магнатов биржевого или финансового мира, думая, что нет большой надобности человеку знать рутинные мелочи специального ремесла, если не желает или не надеется сам стать ремесленником. Чтобы судить о деле, достаточно знать о нем столько, сколько знает автор, и было бы напрасно кому-нибудь отрицать это, кричать о невежестве, о пустоте и т. д. автора этих статей; кричат о нем это многие, но до сих пор это никому из них не помогало и, кажется, не достигало своей цели. Мы просим специалистов наших по финансовой части искать в следующем изложении не доказательств тому, мог ли бы автор исправлять должность бухгалтера в конторе какого-нибудь банкира или заниматься маклерскими делами на бирже, а только вникать в то, правду ли он говорит.

Сотни тысяч людей, постоянно имевших дела с нашими прежними кредитными учреждениями или, по их выражению, с «ломбардами» и никак не подозревавших, что государственные кредитные учреждения находятся в шатком положении, — они имели полное право иметь к ним безусловное доверие, потому что



Всегда получали от них деньги исправно, и, конечно, никогда не изменили бы этого доверия, потому что никогда не представилось бы прежним кредитным учреждениям никакой надобности быть несправными в расплатах, — эти сотни тысяч людей, очень близко знавших наши кредитные учреждения, вдруг узнали к своему изумлению, что положение этих кредитных учреждений очень шатко, что им грозит банкротство или такая опасность банкротства, которая для своего отвращения потребует от правительства громадных жертв. Опасение, обнаруженное перед русским обществом, мотивировалось следующим образом:

*Вклады* принимаются во всех банках безостановочно, по одному желанию вкладчиков; возвращаются тоже по первому их востребованию во всякое время; наконец, приносят вкладчикам проценты со дня приема, а по истечении года и проценты на проценты, хотя бы оставались без производительного употребления.

*Ссуды* раздаются заемному банку, сохранным казнам воспитательного дома и приказам общественного призрения — на сроки более или менее продолжительные, преимущественно на 28 и 33 года, с постепенным возвратом малыми долями.

Таким образом банки, с одной стороны, вынуждаются расширять беспредельно свои ссудные операции, дабы вырывать проценты, нужные для уплаты вкладчикам, а с другой — обязаны сохранять постоянно в запасе значительную массу наличных денег, дабы удовлетворять тех же вкладчиков в случае внезапного требования ими капиталов.

Отсюда неизбежны две крайности: или оскудение касс, опасное для кредита банков, или чрезмерное накопление праздных капиталов, что столь же убыточно для банков, сколько невыгодно для народной промышленности.

Первое до сих пор встречалось лишь весьма редко, как явление случайное и скоропреходящее. Оно было отвращаемо займообразными пособиями от казны. Ответствуя за банки, правительство всегда поддерживало и впредь должно поддерживать их кредит, хотя бы это сопряжено было с некоторыми временными затруднениями; но такой порядок вещей, если бы он стал впоследствии повторяться чаще, нельзя признать ни нормальным, ни удобным для государственного казначейства, обремененного и без того значительными обязанностями. (Доклад о банковых преобразованиях, 1 сентября 1859 г.)

Последние строки были бы совершенно ясны, если бы прямо за ними не находились следующие строки.

Другая крайность, то есть накопление излишних капиталов, обнаружилась доселе почти постоянно. Чрезмерное накопление вкладов в банках обнаружилось в высшей степени за два года пред этим (в 1857 г.), когда сумма капиталов, не розданных в ссуды, составляла огромную цифру — свыше 180 миллионов рублей серебром (тот же доклад).

Сопоставление этих двух соображений, помещенных в докладе рядом, затемняет вопрос. Если «почти постоянно» обнаруживалось «чрезмерное накопление вкладов, не розданных в ссуды», то есть оставшихся в банковых кассах, то есть если банки почти постоянно имели в наличности чрезмерное количество денег, то каким же образом могли банки опасаться затруднений в своих средствах к уплате при востребовании вкладов? «Чрезмерное накопление» сумм, оставшихся в кассах без употребле-

ния, ведь это значит: накопление наличного, готового к возвращению запаса в таком количестве, которое превышает меру вероятного востребования. К довершению недоумения мы находим, что это «чрезмерное накопление вкладов в банках обнаружилось в высшей степени» именно в 1857 году, в то самое время, когда были предприняты реформы, основывавшиеся на опасении «оскудения касс». Впрочем, в докладе о банковых преобразованиях говорится, что «оскудение касс встречалось лишь весьма редко, как явление случайное и скоропреходящее». Действительно, требование возврата вкладов до начала банковых преобразований никогда не происходило в таких размерах, чтобы быть заметным для публики: никто из нас не помнит, чтобы когда-нибудь, хотя на короткое время, овладевало публикою стремление требовать вклады обратно из банков, и по цифрам, официально обнародованным, известно, что в течение долгого времени перед 1857 годом количество новых вкладов ежегодно бывало гораздо значительнее той суммы, какая бывала в том году востребована из банков прежними вкладчиками. Основываясь на этом, должны мы представлять себе ход дел в следующем виде.

В течение времени, непосредственно предшествовавшего началу банковых реформ, все возрастала та сумма, которая из общего количества новых вкладов оставалась в банковых кассах без помещения в новые ссуды, то есть все возрастал размер того наличного денежного резерва, который должен был служить запасом для уплат в случае востребования вкладов. К 1 января 1857 года этот наличный запас возрос до 180 миллионов рублей с лишком. До этого времени он возрастал, следовательно, в предыдущие годы эта цифра была менее. Сличая доклад о банковых преобразованиях с речью г. министра финансов, произнесенною в заседании совета государственных кредитных установлений 13 сентября 1860 года, мы находим следующую черту, служащую к пояснению дел. По докладу количество «капиталов, не розданных в ссуды», составляло к 1 января 1857 года, как мы видели, свыше 180 миллионов. По речи г. министра финансов «наличность банков» составляла в июле того же 1857 года свыше «150 миллионов». Перевес востребования сумм над взносом их начался лишь с августа 1857 года, после понижения процентов по вкладам; а первые семь месяцев того года количество взносов должно было быть больше количества востребований; значит, наличность банков в течение этих месяцев должна была бы возрастать в сравнении с наличностью, бывшею 1 января 1857 года. Что же мы теперь видим? Сумма капиталов, не розданных в ссуды, простиралась 1 января 1857 года свыше 180 миллионов; в июле того же года наличность банков, долженствовавшая возрасти с января, простиралась только свыше 150 миллионов, то есть была на цифру около 30 миллионов меньше количества

капиталов, не розданных в ссуды в начале того года. Из этого надобно заключать, что часть капиталов, оставшихся не розданными в ссуды, не была оставляема в банковской наличности, а была обращаемая на какие-нибудь другие употребления. Мы не выставляем этого за факт, потому что не имеем о том прямых указаний, а представляем этот вывод из сличения цифр лишь как наше собственное предположение, могущее пояснить дело, и очень натуральное, так что следует нам оставаться при нем, пока не будет раскрыто нам положительными указаниями, что мы ошиблись, делая такой вывод.

Теперь же, не имея пока оснований считать его неправильным, мы при его помощи находим возможность понимать дело, которое иначе оставалось бы непонятно. Из той суммы, какую составлял перевес вкладов над ссудами, часть не была оставляема в наличности банков, а была обращаемая на другие употребления. При существовании такого правила очень могло случаться, что в те годы, когда перевес вкладов над ссудами не получил еще развития, называемого чрезмерным в докладе о банковых преобразованиях, в банковской наличности оставались суммы сравнительно незначительные. При незначительности банковской наличности от обращения на другие употребления тех сумм, которые должны были бы составлять банковую наличность, могло иногда происходить, что и без всякого порыва публики к требованию возврата вкладов банковая наличность оказывалась недостаточною в случае требования возврата вкладов несколькими отдельными вкладчиками по их случайным личным надобностям. Принимая такое объяснение, мы можем понимать, что «казне представлялась иногда надобность отвращать (по выражению доклада о банковых преобразованиях) оскудение (банковых) касс заимообразными пособиями», хотя до начала банковых преобразований, как известно каждому, и ни разу не случалось, чтобы публикою овладевал даже и не в значительной степени порыв к требованию возврата вкладов, а, напротив, постоянно вносились новых вкладов на большую сумму, чем на какую требовался возврат прежних вкладов.

Если встречались по временам затруднения от причины, поясненной нами, то они могли быть отвращены на будущее время очень простым способом: следовало только прекратить обращение на другие употребления тех не розданных в ссуды капиталов, которые возникали из перевеса новых вкладов над возвратом прежних вкладов и должны были оставаться в банковской наличности. При соблюдении этой осторожности, соответствующей точному смыслу уставов банковых учреждений в целом свете, наличность наших банков быстро возросла бы до цифры, вполне обеспечивающей их на случай какого угодно стремительного порыва публики к требованию возврата вкладов. Для устранения таких опасений, для избавления государственного казначейства

от всякой надобности оказывать банкам заимообразные пособия, не нужно было никаких преобразований, — достаточно было поставить себе принципом не уклоняться от основного правила банковых уставов.

Но повторям: решительно не существовала та опасность внезапного востребования вкладов на огромные суммы, которая выставлялась причиною надобности в банковых преобразованиях. Каждому известно, каковы были лица, которым принадлежало  $\frac{9}{10}$ , или, вернее сказать,  $\frac{99}{100}$  из всей суммы вкладов: это были люди, столь чуждые всякой мысли усомниться в исправности банковых уплат, что никогда никакими силами нельзя было никому поколебать в них безусловнейшего доверия к банкам; когда само правительство стало доказывать непрочность положения банков, они долго и тут не верили словам самих банковых установлений: мысль о недоверии просто не укладывалась в головы этих людей, как не укладывается в головы значительной части их мысль, что земля стоит не на трех китах. Если бы сами банки не стали говорить им: «вы не должны верить нам», эти люди разве через несколько десятков лет могли бы просветиться в экономическом отношении до того, чтобы заметить разницу между банковыми билетами и звонкою монетой. Как вы полагаете, скоро ли проникнет в наше общество сомнение относительно справедливости того общего в нем убеждения, что ржаной хлеб питательнее пшеничного, или что «у бабы волос долог...» и пр.? А пока умственное состояние общества не допускает поколебаться этим прапрадедовским истинам, никак не могла бы поколебаться и та заветная прапрадедами истина, что так называемые ломбардные билеты не только совершенно равносильны золоту, а даже лучше его: потому что звонкая монета может быть потеряна, украдена, а банковый билет никак не может пропасть, если владелец помнит его номер. Мы решительно утверждаем, что на той степени экономического воспитания, с которой могла бы сдвинуться наша публика лишь через десятки лет, ожидать от нее недоверия к банкам или какого-нибудь порыва к требованию возврата вкладов по недоверию к ним было так же напрасно, как ожидать, что перестанет эта публика играть в карты, любить жирные кушанья, восхищаться рысаками.

Но кроме опасения, что возврат вкладов может потребоваться по недоверию, — кроме этого опасения, совершенно не соответствовавшего нашим нравам, — приводилось и другое основание ожидать такого требования: года четыре тому назад нашим обществом овладел порыв к составлению акционерных компаний. Люди могли потребовать возврата своих взносов и без всякого недоверия к банкам на оплачивание акций. Примем сначала это соображение в полной силе, в какой выставляется оно; посмотрим, могло ли в таком случае возбуждать оно серьезные опасения за средства наших банков по возврату взносов. У нас много

говорят о страшном количестве капиталов, пошедших на акционерные общества во время нашей акционерной горячки<sup>7</sup>. Посмотрим, каковы на самом деле цифры. По списку акционерных обществ, перепечатанному в «Месяцеслове» на 1861 год из «Журнала для акционеров», мы видим, что в течение четырех лет, с 1856 до конца 1859-го, было основано 79 акционерных обществ. В том числе было 7 компаний для построения железных дорог. Из них по уставу громадный капитал имели: общество московско-саратовской дороги (45 милл.) и в особенности главное общество российских дорог (капитал в 275 милл. с правом выпуска облигаций на 35 милл. — всего 310 милл.). Остальные пять обществ (варшавско-венской, варшавско-бромбергской, рижско-динабургской, волжско-донской и московско-ярославской железных дорог) требовали всей суммы капитала на 31 650 000. Если хотите, можно сказать на первый взгляд, что общее количество капиталов, требовавшееся компаниям железных дорог, было громадное, — итог простирается до 392 650 000, почти до 400 000 000 рублей. Но ведь эта цифра годится только для щегольства в газетных объявлениях и в прогрессивных фельетонах. Начать с того, что почти  $\frac{4}{5}$  доли из общего итога принадлежат одному Главному обществу российских железных дорог<sup>8</sup>. Но ведь главными основателями его были иностранные банкиры; главными помещениями акций предназначались быть парижская, амстердамская, лондонская и другие заграничные биржи, а в России сами основатели надеялись поместить лишь  $\frac{1}{4}$  или  $\frac{1}{5}$  часть капитала. У нас много говорили, что почти все акции перешли потом в Россию. Но на последнем общем собрании, происходившем в прошлом году, громадный перевес количества акций, предъявленных иностранными капиталистами, над количеством русских акций доказал совершенную неосновательность такого слуха. Много-много, если положить, что на долю России приходится из 310 миллионов общей суммы хотя 100 миллионов. Идем далее. По контракту общество обязывалось кончить постройку дорог в 10 лет; стало быть, на 10 лет распределялось и требование капитала; на нашу долю приходилось много-много миллионов по 10 в год. Это предположение, по всей вероятности, все еще слишком высоко; но остановимся на нем. Итак, положим, что в течение четырех лет следовало ожидать в России затраты на Главное общество железных дорог миллионов по 10 в год, а за четыре года миллионов до 40.

Затем другая колоссальная компания, московско-саратовская, основалась лишь в 1859 году и, как теперь видно, только на бумаге отличалась громадностью капитала, а на самом деле успела собрать до 1860 года лишь 3 миллиона рублей.

Из других пяти дорог, не щеголяющих колоссальными цифрами в своем уставе, варшавско-венская и варшавско-бромбергская, конечно, нимало не адресуются к почтенным вкладчикам

российских банковых учреждений. Едва ли много рассчитывала на этих почтенных вкладчиков и рижско-динабургская дорога. Все три вместе они имеют капитал в 25 000 000 рублей; об этих деньгах нам нечего говорить, они наших банков не касаются.

Остаются две компании с патриотическими расчетами — московско-ярославская и волжско-донская с капиталом 12 050 000. Из них московско-ярославская до 1860 года успела собрать по своим акциям 810 000 рубл., а волжско-донская — 3 200 000, всего 4 100 000 рублей.

Подведем же теперь итог затрат русского капитала на железные дороги в течение четырех лет, от начала нашей акционерной горячки до начала прошлого года, когда горячка эта уже миновалась.

Главное общество, примерно и, по всей вероятности, гораздо больше действительных взносов . . . . .	40 000 000 р.
Московско-саратовская дорога . . . . .	3 000 000 »
Волжско-донская и московско-ярославская . . . . .	4 100 000 »
	<hr/>
Итого . . . . .	47 100 000 »

По разложению на 4 года приходится менее 12 миллионов в год.

Посмотрим теперь на все остальные акционерные общества, за исключением компаний железных дорог, на первый взгляд запугавших нас бог знает какими громадными цифрами, а на деле оказавшихся или не слишком требовательными или не слишком успешными в сборе наших денег. Капитал всех остальных обществ за все четыре года едва равняется  $\frac{1}{5}$  части блистательного итога, предъявленного компаниями железных дорог. Вот список этих остальных обществ по годам:

Годы	Число основных компаний	Сумма капитала их
1856	5	14 500 000 р.
1857	11	9 770 000 »
1858	35	41 175 000 »
1859	23	17 450 000 »
	<hr/>	
Итого 74 . . . . .		82 895 000 р.

Это уж не бог знает как страшно, — миллионов по 20, по 21 в год. Но ведь это акционерные компании опять только написали на бумаге, а на самом деле были гораздо скромнее. Лишь немногие общества собрали полный взнос по всему количеству акций, — иные выпустили не все число акций, другие взяли по выпущенным акциям лишь часть полной цены, а было много и таких обществ, которые только поторговались да и остались с тем же, не продав ни одной акции, не взяв ни копейки, — так и оста-

лись в идеальном существовании. Вот счет количества денег, действительно собранных акционерными компаниями (за исключением компаний железных дорог, о которых мы говорили выше):

Общества, основанные в годах	Успели собрать денег до начала 1860 г.
1856	9 000 000 р.
1857	4 983 100 »
1858	16 882 000 »
1859	727 500 »
<hr/>	
Итого . .	31 597 600 р.

Позвольте, однако, это еще не все. Есть в списке 6 таких обществ, которые пытались было выпускать акции, прося взносов — иные р. по 50, иные р. по 25 на акцию, но о которых неизвестно, по скольким акциям успели они собрать эти умеренные количества синеньких и красеньких кредитных билетов, акции которых так и остались безвестны биржевым маклерам, — ну, что нам скупиться, — ведь расход наш оказывается очень невелик: положим, что мы дали этим застенчивым обществам тыщенок сотни 4 с хвостиком, чтобы уж вышел круглый счет — 32 миллиона за 4 года.

Но только опять, позвольте, — мала цифра у нас вышла, а все-таки больше настоящей. У некоторых обществ есть акции, оплаченные разными суммами, — не зная, сколько их оплачено по такой цене, мы все считали по одной высшей сумме. А кроме того, как вы полагаете, не существует ли и таких обществ, у которых акции господ учредителей и оказываются в отчетах оплаченными, хотя господа учредители и директора еще не нашли надобности внести по ним деньги? Надобно бы сделать какую-нибудь скидку за эти два обстоятельства, но бог с ними, что тут нам скряжничать: пусть остается хоть на бумаге кругленькая, полненькая цифра 32 миллиона, до которой не достигали взносы в суровой, скупой действительности.

Ну-с, так сколько же переплатили мы акционерным компаниям в 4 года своего акционерного усердия?

По обществам железных дорог никак не больше, а наверное гораздо меньше . . . . .	47 100 000 р.
По остальным акционерным обществам наверное меньше . . . . .	32 000 000 »
<hr/>	
Итого наверное гораздо меньше . . .	80 000 000 »

Теперь, если положить, что все эти взносы непременно должны были произойти через востребованные из банков вклады, все-таки банкам никак нельзя было их опасаться, не только в том случае, если была у банков 1 января 1856 года наличность,

но если бы не было и ровно никакой наличности, лишь бы принять им то правило, о котором говорили мы выше: прекратить обращение на другие назначения тех сумм, которые возникали из перевеса вкладов над востребованиями и которые должны были оставаться в банковской наличности. Действительно, размер взносов в акционерные общества был, постоянно менее такого перевеса, пока не начали банки делать чрезвычайные усилия для уничтожения этого перевеса, для принуждения вкладчиков прекратить новые вклады и востребовать назад прежние вклады.

к 1 января 1853 года сумма вкладов в наших кредитных учреждениях была . . . . .	806 083 233 р.
А к 1 января 1856 года . . . . .	924 681 639 »

За три года перевес вкладов над востребованиями составлял . . . . .	118 598 406 р.
то есть в год средним числом около . . . . .	40 000 000 »

То же самое продолжалось до самой эпохи понижения банковских процентов. Теперь, если мы предположим, что решительно все суммы, пошедшие на взносы в акционерные общества (менее 80 миллионов в 4 года) составлялись бы из денег, которые иначе пошли бы в банки или которые уже лежали в банках, все-таки оставался бы в эти годы значительный перевес новых вкладов в банки над востребованиями: ведь перевес этот без такого уменьшения составлял бы миллионов по 40 в год, а на новое занятие требовалось меньше 20 миллионов в год, стало быть, и за вычетом его оставался бы перевес новых вкладов над востребованиями миллионов по 20 в год.

Но ведь каждому известно, что если сверх одного прежнего помещения для сбережений открывается еще другое помещение, то не вся сумма, обращающаяся на второе помещение, составляется из отклоненных от прежнего помещения капиталов, а обыкновенно значительная часть ее составляется без всякого ущерба прежнему помещению, через усиление сбережения, благодаря двойной привлекательности двойного помещения. Положим, например, что возникало в России пароходство, — деньги, пошедшие на постройку пароходов, вовсе не были отвлечены от прежнего занятия постройкою экипажей, — нет, это были новые деньги, прежде ни на что путное не шедшие. Телег, саней, фур и т. д. продолжало строиться не меньше прежнего оттого, что стали строиться пароходы. Или положим, что в некоторых местностях, имевших капиталы в кожевнном производстве, начали бить подсолнечное масло — кожевнное производство нимало не потерпело от этого: сумма шедших на него капиталов не уменьшилась, а на маслобойное производство пошел новый капитал, не отнятый ни от кожевнного, ни от какого другого прежнего производства. Случаи, в которых капитал шел бы на новое помещение из прежнего, бывают довольно редки, да и в них коли-



чество перемещенного капитала составляет почти всегда лишь меньшую половину всей суммы капитала, занятого новым помещением, а большая часть этого капитала берется из новых сбережений, еще не имевших никакого помещения.

Перелагая эти общие выводы политической экономии на простой язык в применении к нашему делу, мы видим, что при возникновении у нас акционерной горячки надобно было ожидать следующего хода дел. Надобно было ожидать, что к помещению денег в акционерные компании будут привлечены по преимуществу люди, которые занимались прежде подобными же более или менее рискованными оборотами, обещающими в случае успеха прибыль, гораздо большую верного банкового процента; что главным источником взносов за акции будет прибыль, получаемая этими оборотливыми лицами от прежних их предприятий, которых они не бросят; что приманкою высокого процента, обещаемого акционерными компаниями, будут возбуждены также сберегать для покупки акций часть своих доходов люди, которые прежде растрачивали весь доход свой; но что из лиц, предпочитавших верный банковый процент высшему проценту рискованных оборотов и хлопотливых или неверных помещений, очень мало найдется таких, которые отвлекутся от банков акционерными обществами. В самом деле кому из нас неизвестно, что кто желал хлопотать или рисковать, всегда мог получать у нас на свой капитал более 10% дохода? что более 8% дохода давали ссуды частным лицам под самое верное обеспечение? что испокон века каждый предполагавшийся имеющим деньги был осаждаем людьми, предлагавшими ему поместить свой капитал на очень выгодных и обеспеченных верным залогом условиях? Кто удерживался от этих привлекательных помещений, кто предпочитал им банк, тот уже был надежный приверженец банка; какая бы ни была акционерная горячка, она могла заразить разве слишком немногих из таких людей. Оно действительно так и было. Громадное большинство акционеров новых компаний набервалось из оборотливых людей или горячих людей, никогда не клавших денег в банки; громадная же масса банковых вкладчиков дала лишь незначительную пропорцию в разряд акционеров. Это известно каждому. Таким образом из 80 миллионов рублей, пошедших в 4 года на акционерные общества, лишь меньшая половина была или вынута из банков, или была удержана от поступления в банки; значительнейшая часть акционерного капитала сформировалась без всякого ущерба для банковых взносов. Мы видели, что при отнятии у банковых взносов всей этой суммы 80 миллионов в 4 года, банки все-таки имели бы ежегодно [очень] большой перевес новых вкладов над востребованиями. Тем больше был перевес в действительности, когда не по 20, а разве по 7 или 8 миллионов в год шло бы на акционерный капитал с убылью банковым взносам.

Погодите, это еще не все. Пошло на акционерные общества менее 80 миллионов рублей в 4 года, из них лишь меньшая половина могла идти с ущербом для банковских взносов. Но неужели вы думаете, что и до этих сумм дошел бы размер затрат на акции, если бы не были приняты самим правительством сильные меры к увеличению затрат на акции? В речи г. министра финансов 13 сентября 1860 года совершенно справедливо говорится: «мера эта (понижение банковского процента) возбудила чрезвычайное развитие акционерных предприятий и стремление к покупке акций и фондов». Каждый из нас засвидетельствует, что слова г. министра финансов с совершенною точностью выражают ход дела. Если кто не хочет вполне доверять своему личному впечатлению и словам, которые слышал тогда от каждого, тот может проверить их цифрами: цифры совершенно подтверждают характеристику дела, представленную г. министром финансов и соответствующую всеобщему тогдашнему впечатлению.

В два года, 1856 и 1857, основано было (кроме компаний железных дорог) 16 акционерных обществ с капиталом в 24 270 000 рублей. Надобно заметить, что уже и в этот двухлетний период входят с лишком пять месяцев времени, подвергавшиеся влиянию пониженного банковского процента (в первый раз он был понижен, по той же речи г. министра финансов, в июле 1857 г.). Конечно, и тут уже есть некоторая доля капитала, принужденного обратиться в акционерные общества только понижением банковского процента. Кроме того, в числе обществ этого периода находится Русское Общество Пароходства и Торговли, основавшееся только благодаря прямому содействию правительства, принявшего на себя значительную часть взносов по акциям и давшего Обществу очень значительный ежегодный доход. Не имея права считать Русское Общество Пароходства и Торговли возникшим из силы влечения собственно частных людей к акционерным предприятиям, мы должны исключить его из счета, определяющего эту силу. Остается 15 обществ с капиталом в 15 270 000 рублей, из которых, как мы заметили, часть произошла уже от понижения банковских процентов.

Но если и не считать этого влияния, уже обнаруживавшегося, если развитие частных акционерных обществ за все эти два года приписывать собственно влиянию публики, не зависящему от банковской реформы, все-таки мы увидим чрезвычайно сильное влияние пониженного банковского процента в числе и капитале акционерных обществ, возникших в следующие два года. В 1858 и 1859 годах (опять за исключением компаний железных дорог) основалось акционерных обществ 58 с капиталом в 58 625 000 рублей. Сличение двух периодов обнаружит нам силу, с какою подействовало на развитие акционерных обществ понижение банковского процента.

Годы	Число обществ	Капитал их
1856—1857	15	15 270 000 р.
1858—1859	58	58 625 000 »

Цифры второго двухлетия почти в четыре раза больше цифр первого двухлетия. С лишком  $\frac{2}{3}$  развития акционерного капитала в 1858 и 1859 годах мы смело можем приписать влиянию пониженного банкового процента.

Мы видели, что в течение четырех лет (1856—1859 гг.) всеми акционерными обществами, кроме железных дорог, было собрано менее 32 миллионов и около 7 миллионов было собрано, за исключением Главного общества, теми обществами железных дорог, которые действовали на пространстве, на котором могли встречаться с нашими банковыми учреждениями. Все это составляет менее 40 миллионов. В этой сумме около половины произошло прямо от понижения банкового процента и разве 20 миллионов были бы обращены на эти дела без такого понижения. Прибавьте столько же, если хотите — вдвое больше, на покупку акций и облигаций Главного общества железных дорог, все-таки оказывается, что на акционерное дело, без возбуждения со стороны правительства, пошло бы не больше, как от 10 до 15 миллионов рублей в год, а из них едва ли не половина составила бы через отвлечение вкладов от наших банков. А без понижения банковых процентов сумма привычного перевеса вкладов над востребованиями, сумма, из которой шел бы этот вычет, простиралась бы миллионов до 40 в год, то есть за вычетом всех сумм, отвлекаемых акционерными делами, оставался бы перевес вкладов над востребованиями миллионов до 30 в год.

Потому-то мы и говорили, что если бы в наших банках к 1 января 1856 года даже и вовсе не было никакой наличности, все-таки не было бы им никакого опасения затрудниться в требуемых уплатах, лишь бы только захотели соблюдать ни непременное условие порядка во всяких банковых делах, — решились они не давать никаких других назначений суммам, которым, по обыкновенному банковому порядку, следовало бы оставаться в их кассах; один уже перевес вкладов над [востребованиями дал бы нашим банкам средства удовлетворять всем] востребованиям вкладов с постепенным образованием и увеличением кассовой наличности, которая, начавшись 1 января 1856 года от нуля, далеко превзошла бы к 1 января 1860 года сумму 100 миллионов. При нравах нашего общества, при непоколебимом доверии его к банкам нечего было опасаться востребования вкладов в размере, затруднительном для касс, какова бы ни была наличность их в ту минуту, с которой решились бы банки строго следовать обозначенному нами условию.

Но в противоположность мотиву, напрасность которого мы старались показать, выставлялся для банковых реформ еще другой мотив, прямо не совместный с первым. Говорилось, что банки не в состоянии будут удовлетворить востребованию вкладов; вместе с тем говорилось, что банки обременены чрезмерным накоплением кассовой наличности, которой уже не находится помещения, которая лежит в банках напрасной тяжестью, между тем как должны банки производить уплату процентов по вкладам, из которых составила эта чрезмерная наличность. Мы видели из доклада о банковых преобразованиях, что сумма капиталов, не розданных в ссуды, составляла в 1857 году свыше 180 миллионов рублей серебром.

Если бы следовало решать, как должны действовать банки под совместным влиянием обоих этих мотивов, — под влиянием опасения, что неостанет у них денег на требуемые уплаты, и под влиянием обременения своего громадными наличными суммами, которых некуда им девать при всем желании сбыть с рук, — разрешить такую дилемму было бы невозможно, как невозможно было бы дать никакого совета человеку, который в одно время жаловался бы на чрезмерную свою полноту и на чрезмерную свою сухощавость. К счастью, мы надеемся показать, что положение дел не было так безвыходно. Пугавшая нас опасность востребования вкладов в размере, затруднительном для банковых касс, вероятно, уже рассеялась, и с этой стороны читатель, конечно, успокоился. Теперь мы посмотрим на мнимую безвыходность обстоятельства, выставлявшегося другим мотивом для безотлагательных чрезвычайных мер.

Сначала мы предположим, что действительно нельзя было бы уже найти никакого выгодного помещения для капиталов, затруднявших банк своим чрезмерным накоплением. Трудно ли было бы банкам выносить несколько лет такое обременение? Количество вкладов 1 января 1857 года, — года, к которому относится рассматриваемый нами мотив, — должно было составлять 1 024 170 882 рубля \*. Перевес востребований над новыми вкладами простирался в этом году только на 11 299 690 рублей, а количество ссуд оставалось в течение этого года почти неизменным, как и в два предшествующие и следующий год \*\*. Из этого видим, что тяжесть чрезмерного капитала, оставшегося не розданным в ссуды, выставляемая обременением для банков в первую половину этого года, не могла значительно уменьшиться до самого конца его. Таким образом со стороны этой обременитель-

\* Эту цифру мы выводим из следующих данных отчета г. министра финансов за 1857 год. Вкладов к концу этого года осталось 1 019 871 192 рубля, а под влиянием пониженного в половине того года процента в течение всего года истребовано было вкладов на 11 299 690 рублей более, чем было внесено.

\*\* К 1 января 1856 года количество ссуд было 1 039 522 255 рублей, а к 1 января 1859 года — 1 038 199 531 рубль.

ности весь 1857 год был самым тяжелым для наших банков. Однако же из отчета г. министра финансов за этот год мы видим, что прибыль, полученная нашими банками в этом году, простиралась до 5 205 483 рублей. Положение, которое, при всех жалобах на его обременительность, оставляло банковым учреждениям 5 миллионов прибыли в самый тяжелый год, еще могло бы выносить отсрочку, хотя бы и не представлялось никакой возможности найти выгодное помещение для капиталов, лежавших без употребления и давивших банки обязательством уплаты процентов по ним.

Но неужели трудно было найти выгодное помещение для этих не розданных в ссуды капиталов так, чтобы они, оставаясь наготове для уплат по первому востребованию вкладов, — востребованию, которого нельзя было ждать без понижения банковых процентов, — с тем вместе приносили банкам доход, с излишком покрывающий уплату по ним процентов вкладчикам? Каждому известно, что если в банке накапливается наличность, имеющая вероятность оставаться в кассе довольно долгое время, то банк обменивает эту наличность на какие-нибудь фонды, имеющие твердый курс и могущие быть во всякое время реализованными на бирже. Нашим банкам стоило только прибегнуть к этому известному способу. Ближе всего было бы покупать облигации собственных наших займов, фонды наших внешних пятипроцентных займов по среднему курсу около 110. Положим, что из капитала свыше 180 миллионов рублей, тяготившего наши банки своею излишнею наличностью, было бы на это обращено 150 миллионов рублей, — мы так только говорим, не зная, какая часть всей накопившейся суммы считалась излишнею, а какая действительно нужною для кассовой наличности, мы только для примера полагаем, что присутствие 30 миллионов с лишком в наличных деньгах, вероятно, не было бы для касс слишком стеснительно, и только уже остальные 150 миллионов казались излишними и стеснительными, а впрочем, берите какую хотите долю лишнего и нелишнего, расчет будет тот же самый. Итак, положим, что лишними, обременительными были 150 миллионов рублей, — что вышло бы при их обращении на покупку пятипроцентных фондов наших внешних займов?

Полагая фонды купленными по среднему курсу 110, всего было бы куплено фондов на сумму по нарицательной цене 136 363 636 рублей; на них по пяти процентов банковые кассы получили бы дохода . . . . . 6 818 182 р.

А за 150 миллионов вкладов, употребленных на эту покупку, банковые кассы платили бы вкладчикам по 4%, всего . . . . . 6 000 000 »

В остатке было бы чистой прибыли банкам . . . . . 818 182 р.

Если бы принять такой способ занятия для излишней части капиталов, не помещающихся в ссуды, то очевидно, что банки наши не стеснялись бы и не обременялись бы никаким накопле-

нием капиталов: тем больше прибыли, чем больше накапливается в них вкладов.

Могут возразить против частного помещения, приведенного нами в пример. Это как кому угодно. Банки наши имели очень широкий простор выбора между разными фондами, и очень много можно было найти таких, которые при самой высокой твердости курса давали процент выше процента 4, уплачивавшегося нашими банками по вкладам. На одной парижской бирже обращается собственно французских процентных бумаг на сумму более 5 000 миллионов рублей серебром; еще больше размер фондов, обращающихся на лондонской бирже. Выбор можно было делать из всей этой громадной массы помещения. Вторая половина 1857 года и 1858 год почти до самого конца были временем, особенно благоприятным для подобных оборотов. Тогдашний коммерческий кризис понизил цену фондов на всех западных биржах, так что, купив их тогда, можно было смело ожидать значительного выигрыша при реализации, в какую бы минуту ни понадобилось потом реализовать их. Впрочем, напрасно мы и доказываем возможность этого способа им получить не убыток, а прибыль от накопления денег в кассах: ведь он не был неизвестен нашим банкам, напротив, употреблялся ими; так, в докладе о банковых преобразованиях мы читаем, что к 1 июля 1859 года из наличности банковых касс, простиравшейся до 71 167 172 р., находилось в «публичных фондах» 47 825 172 р.

Довольно было бы знать этот способ помещения наличных капиталов, чтобы отстранялась всякая мысль о безвыходности положения, в которое, как нам говорят, становились наши банки чрезмерным накоплением в них вкладов, остававшихся не розданными в ссуды. Но в докладе о банковых преобразованиях мы сверх того находим очень верное указание на другой способ помещения, столь же выгодный для банковых учреждений, сколько благодетельный для государства. Вот слова доклада: «выкуп крестьянских угодий не может совершиться без помощи кредита». Распространяться об этом предмете мы считаем делом излишним: без всяких объяснений каждому понятно, что чем больше могло собраться свободных денег в наших банках для обращения на эту цель, тем лучше было для государства и выгоднее для самих банков, потому что при назначении свободным деньгам этого занятия они могли бы не оставаться праздными ни одного дня.

Мы не имеем ни малейшего желания доказывать, что прежние наши банковые учреждения были образцом совершенства и не имели очень важных недостатков, исправление которых могло бы совершиться с большою пользою для государства. Мы хотели только показать, что их положение в начале 1858 года вовсе не было отчаянным, непременно требовавшим наискорейшей реформы, невзирая ни на какие обстоятельства, не щадя никаких усилий; мы старались показать, что напрасно было опасение, что

потребуется возврат вкладов в размере, превышающем средства, какими располагали бы кассы банков при соблюдении основного правила всех банковых учреждений, по какой бы то ни было системе устроенных, и что, с другой стороны, накопление вкладов легко могло быть из затрудняющего обстоятельства обращено в источник прибыли для банков и в средство к совершенно реформы сельских отношений, приступить к которой намеревалось тогда правительство.

Посмотрим теперь, каковы были результаты банковых преобразований, мотивами к которым выставлялись два рассмотренные нами обстоятельства: опасение за то, что кассы банков могут оскудеть от перевеса востребований над вкладами, и мнение об обременительности чрезмерного накопления капиталов в банковых кассах от постоянного огромного перевеса вкладов над востребованиями.

Сущность этих преобразований известна: банковый процент был понижен, — сначала с 4 на 3, потом, когда такое понижение оказалось не производящим достаточно обширного или быстрого действия, процент был понижен с 3 на 2. Первое понижение произведено было в июле 1857 года, второе — через 25 месяцев, 1 сентября 1859 года. Вместе с тем прежним вкладчикам, не желавшим ни оставлять свои вклады по пониженному проценту, ни вынимать их из банков, предоставлено было право обменивать прежние билеты, по которым возврат вкладов производился безотлагательно по предъявлении, на новые билеты с более или менее отдаленным сроком выкупа или с безвозвратным помещением капитала. Сначала положено было по этим новым билетам 4%, потом, когда этот процент оказался не довольно привлекательным, по 5%. Этою совокупностью мер предполагалось остановить прилив новых вкладов в банки, а прежние вклады обратить из условия возвратимости по первому предъявлению в безвозвратные и таким образом отвратить опасность «оскудения» касс от востребования вкладов и избавить кассы от чрезмерного накопления капиталов.

О том, какой размер действия имели эти реформы в первые пять месяцев, до конца 1857 года, мы не можем судить с точностью; мы только знаем из отчета г. министра финансов за 1857 год, что в этом году возврат вкладов стал выше взноса на 11 299 690 р., между тем как в прежние годы постоянно был на стороне взноса очень значительный перевес. Но сумма 11 299 690 р. не выражает всего возврата вкладов, происшедшего после понижения процента, потому что в первые семь месяцев года, конечно, был попрежнему перевес вкладов, и востребование в последние 5 месяцев должно было сначала уничтожить этот наросший вкладов, прибавившийся до августа в сумме их, большей 1 января, а только потом началось понижение этой суммы, дошедшее, как мы знаем, до 11 299 690 рублей. Итак, оставляя в

стороне последние 5 месяцев 1857 года, начнем счет с 1 января 1858 года. По отчету г. министра финансов

количество вкладов к 1 января 1858 г. было .	1 012 871 192 р.
а (по докладу о банковых преобразованиях) оставалось к 1 января 1859 года . . . . .	967 107 041 р.
Итак, перевес возврата в 1858 году составлял .	45 764 151 р.
В первые восемь месяцев 1859 года (по речи г. министра финансов 13 сентября 1860 г.) до понижения процента с 3 на 2 перевес возврата составлял . . . . .	50 279 605 р.
Итого с 1 января 1858 до 1 сентября 1859 года, в течение 20 месяцев, под влиянием понижен- ного банкового процента 3, перевес востребо- вания составлял . . . . .	96 043 756 р.
А с 1 сентября 1859 года, когда процент с 3 по- нижен был на 2, до 1 сентября 1860 года, в течение 12 месяцев, перевес возврата составил	147 233 156 р.
Итого . . . . .	243 276 912 р.

Присоединив к этому 11 299 690 рублей уменьшения в количестве вкладов к 1 января 1858 против 1 января 1857 года и положив несколько миллионов на уничтоженную возвратом в последние 5 месяцев 1857 года прибавку вкладов в первые 7 месяцев его, мы увидим, что всю сумму перевеса востребований над вкладами, произведенную понижением банкового процента, надобно считать от 260 до 275 или 280 миллионов рублей в течение 37 месяцев — с августа 1857 по 1 сентября 1860 года. Из этой суммы несколько менее половины приходится на влияние первого понижения до 3 процентов в течение 25 месяцев, а несколько более половины приходится на влияние второго понижения до 2 процентов в течение 12 месяцев. Вторым понижением слишком вдвое усилено было движение, начатое первым понижением.

Но вот любопытная черта этого движения. Мы говорили до сих пор о перевесе возврата вкладов над взносом. Каков же был весь размер востребования вкладов в эти годы столь сильного действия реформ?

До начала реформ востребование вкладов простиралось до 200 миллионов ежегодно. С 1 января 1859 по 1 сентября 1860 года, в течение 20 месяцев, оно простиралось до 436 540 628 рублей, то есть в месяц, средним числом, до 21 800 000 р., а в год, средним числом, по 262 000 000 р.; это значит, что, несмотря на чрезвычайные усилия принудить вкладчиков к востребованию вкладов, всего лишь на 60 миллионов в год стало больше востребований, чем было прежде, — только около 200 миллионов в течение трех с лишком лет были востребованы вкладчиками собственно по влиянию понижения процентов; остальная сумма востребований в эти 37 месяцев, простиравшаяся приблизительно до



600 миллионов с лишком, была вынута из банков просто по влиянию прежнего натурального порядка, по которому и до банковских реформ, при постоянном перевесе вкладов над востребованиями, востребования простирались до 200 миллионов рублей в год. Эта сравнительная незначительность суммы 200 миллионов рублей, вынута из банков по сильнейшему принуждению со стороны их, лучше всего показывает, как непоколебимо было доверие публики к банкам и как напрасны были опасения, что могли бы и без банковских реформ оскудеть кассы от какого-нибудь порыва публики к востребованию вкладов. Прежнее движение востребований, при котором ежегодно оставался перевес новых вкладов на несколько десятков миллионов рублей, могло быть чрезвычайными усилиями самих банков расширено от суммы в 600 миллионов, какую имело бы без того в эти три с лишком года, не больше, как только до суммы 800 миллионов. Кажется, после этого не нужно и говорить, с каким изумительным упорством публика старалась удержаться от востребования вкладов, к которому принуждали ее сами банки.

Точно так же изумительно упорство публики вносить вклады, отвергаемые банками. Из речи г. министра финансов 13 сентября 1860 года мы видим, что в течение первых 8 месяцев 1859 года, то есть в течение последних 8 месяцев процента, пониженного до 3, — в эти 8 месяцев, когда влияние пониженного процента, конечно, уже совершенно развилось, действуя перед тем уже целых 14 месяцев (с августа 1857 г. до конца 1858 г.), в эти 8 месяцев взносы простирались до 152 065 481 р., то есть в размере по 19 миллионов в месяц, или по 230 миллионов рублей в год, между тем как прежде, до понижения процентов, высшая цифра взносов была менее 250 миллионов (в 1856 г.). Чрезвычайным усилием оттолкнуть от себя взносы банки наши успели из 290 миллионов оттолкнуть от себя менее 60 миллионов, успели оттолкнуть от себя  $\frac{1}{5}$  долю прежнего прилива.

Скажите же теперь, возможно ли было бояться какого-нибудь затруднительного для банков порыва к востребованию прежних вкладов со стороны публики, которая, несмотря на чрезвычайные принуждения со стороны банков увеличить востребования и уменьшить взнос, так упорно выдерживала в течение с лишком двух лет (до сентября 1859 г.) свою укоренившуюся привычку вносить и не требовать возврата.

Если мы не ошибаемся, все это дело представляет феномен, беспрецедентный в истории кредита. Люди говорят: «мы верим безусловно», им говорят: «нет, вы не должны нам верить». Люди попрежнему отвечают: «нет, мы верим и верим вам, мы неспособны к тому, чтобы не верить вам»; тогда заставляют искусственными мерами действовать так, как будто они потеряли доверие; меры приняты сильные, но люди так упорны, что наперекор этим мерам продолжают действовать попрежнему; тогда принимаются новые, еще сильнее меры, чтобы люди, все еще не

колеблющиеся ни в доверии, ни в прежних привычках, были лишены физической возможности оказывать доверие.

Странное дело, понять которого никто не мог бы, если б не служило к нему ключом забвения различий между особенными условиями, в которых действовали наши банки, и обыкновенными требованиями западных экономистов и бирж от западных банков, находящихся в другом положении. Видно было, что положение наших банков неудовлетворительно; мы заметили это в ту знаменитую эпоху чудного самообличения, когда с таким шумом, с такими восторгами необычайной пронизательности и восторженнейшего восхищения своею способностью находить дурное и желать хорошего, мы прощивали столько мух, продолжая попрежнему глотать верблюдов, когда станковые и волостные писаря, заседатели и квартальные были объявлены виновниками наших недостатков и беспорядков, —

Когда Громека с силой адской  
Все о полиции писал,  
Когда в газетах Вышнеградский  
О бескорыстии объявлял<sup>9</sup>,

когда тысячи благороднейших людей бросали грязью в князя Черкасского за неловкую, но против его собственного расположения, с глубоким отвращением сделанную им попытку компромисса между желаниями таких людей, как он, и ожесточенными отсталыми людьми, а сами с восхищением своею прогрессивностью решали вопрос в смысле самых крайних отсталых людей, когда махровою розою нашего литературного благородства расцвел знаменитый протест в пользу евреев, протест, к которому приложил руку и автор этих статей (о, как молоды бывают люди вовсе не молодых лет!), когда было совершено столько других подвигов, отличающихся таким же глубоким смыслом. Вот в это время, как мы сказали, замечено было, что наша банковая система действует неудовлетворительно. Как же тут быть, что делать? Вопрос разрешился очень просто следующими силлогизмами.

Когда на Западе положение банка неудовлетворительно, банку грозит кризис; у нас положение банков неудовлетворительно, следовательно, нашим банкам грозит кризис.

Итак, надобно принять наискорейшие, сильнейшие меры для предотвращения кризиса исправлением неудовлетворительных сторон положения. В чем же эти неудовлетворительные стороны и как их исправить?

Положение западного банка бывает опасно, когда он имеет слишком большую сумму вкладов, которые обязан возвращать по первому востребованию. Тут с минуты на минуту может нахлынуть публика с требованием возврата вкладов, кассы банков оскудевают в несколько мгновений, и — хлоп! — затворяются двери банка, он прекратил платежи, он обанкротился. У нас масса подобных вкладов имеет беспримерную величину, чуть ли не

больше всей совокупности банков целой Западной Европы. Следовательно, у наших банков смерть на носу, и смерть собственно от этого обстоятельства; итак, во что бы то ни стало консолидируем такие вклады, обратим их в долгосрочные или безвозвратные.

На Западе положение банка бывает очень тяжело, когда приливает к нему чрезмерный запас наличности. У нас количество вкладов, не находящих себе помещения в прежние ссуды, растет громадно, — следовательно, наши банки должны чувствовать обременение и постараться выпустить из своих касс эти капиталы, как делают западные банки.

Более рассуждать не о чем. Опасность открыта, причины ее найдены, средства к исправлению приисканы. Оно все бы так, только сходными именами назывались у нас не те вещи, по каким судили о наших вещах. У французов Мелани — уж непременно изящнейшая девушка. А наша Melanie \* выше кухарки не бывает; изящная барышня у нас называется Лидиеню. Так вот было и тут.

Вкладчики банков у нас были не те люди, которые называются вкладчиками банков, — то люди, дающие мимоletное помещение своим коммерческим капиталам на мелкие промеежутки, между оборотами, — ныне осталось у негоцианта несколько тысяч сверх торговой надобности, он несет их в банк, через месяц вынимает, через два месяца снова кладет, чтобы опять вынуть. У нас вкладчики были люди совершенно иного класса; они соответствовали не вкладчикам западных банков, а сословию, называемому во Франции рентьерами; а вклады наших банков соответствовали не вкладам западных банков, а фондам государственного долга. Во Франции, кто хочет обратить свою движимую собственность в процентные бумаги, просит маклера обменять ему деньги на государственные фонды; у нас такой человек отправлялся в опекунский совет и просил служащих в этом совете обменять ему деньги на «ломбардный билет». Как французские рентьеры никогда, ни при каком коммерческом кризисе не находят нужным продавать свою ренту, так наши вкладчики никогда не думали выпускать из рук свои ломбардные билеты; их процентные бумаги, как процентные бумаги французских рентьеров, поступали в обмен на деньги лишь по смерти владельца или когда владелец решался обратить свою движимую собственность в недвижимую. Разница лишь та, что часть французской ренты находится в руках коммерческих людей и является на биржу, а наши ломбардные билеты никогда не являлись на нее и не могли явиться.

Из этого также видна будет разница между накоплением вкладов у западных и у наших прежних банков. Если у коммерческих людей долгое время остается много денег без оборота, это значит, что торговля и промышленность впала в застой, а вкладчики западных банков — коммерческие люди, и вклады

\* Маланья.—Ред.

их — та часть оборотного торгового и промышленного капитала, которая остается без дела; потому накопление вкладов там — признак торговых и промышленных затруднений, угрожающих коммерческим кризисом. А у нас было совсем не то: накопление вкладов просто обозначало, что люди, не занимающиеся коммерческими делами — чиновники, офицеры, домовладельцы и т. д., начинают быть расчетливее прежнего, начинают меньше прежнего сорить деньги, лучше прежнего беречь их. Какая могла быть беда от того им ли самим, нашей ли торговле и промышленности или нашим банковым учреждениям? Это явление просто было следствием перехода значительной части нашего общества от дикой, азиатской роскоши к более скромному, европейскому образу жизни. Эти вклады соответствовали тем ассигнациям, которыми наши люди с широкими натурами закуривали в старину трубки, тому шампанскому, которое пили они в старину на каменку в банях, и тем фунтам жемчуга, которыми обвешивались их жены.

Читали ли вы буквальные переводы и занимались ли курьезным сравнением смысла подлинника с русским смыслом таких переводов? Вот вам небольшой образец, — мы переводим из английского «Экономиста»: «напрасно берет свое жалованье тот офицер, который не сидит по крайней мере восемь часов в день в своей конторе над бумагами», — что за дичь такая? Нет, по-английски оно не дичь, потому что офицер по-английски значит чиновник, а департамент или палата называется по-английски контора. Мы только перевели, не разобрав этих обстоятельств, и потому вышло у нас бог знает что.

Спора нет, и западные банки принимают иногда меры, чтобы оттолкнуть от себя прилив вкладов и заставить прежних вкладчиков брать вклады назад. Но в каком положении находятся западные банки, когда прибегают к таким мерам? Наличие больше всего количества билетов, выпущенных в обращение; если все вкладчики явятся ныне же в банк, ныне же получат все они все свои вклады назад чистыми деньгами, а в кассе банка останутся еще груды золота. Вот не угодно ли, например, взглянуть на последний баланс Английского банка (Bank of England) в среду 6 февраля:

#### 1. Билетное отделение

Билетов находится в обращении . . . . .	25 488 315 фунтов.
В кассе отделения находится: облигаций государственного долга и других фондов . . . . .	15 475 000 »
Золотой и серебряной монеты . . . . .	10 013 315 »

---

Итого в кассе . . . . . 25 483 315 фунтов.

Но это одно отделение, одна зала банка; а в другом отделе, в так называемом банкирском отделении, то есть в другом зале, находится еще почти на 35 миллионов фунтов денег и биржевых бумаг в кассе.

Вот теперь Английский банк и может, когда вздумается, крикнуть своим вкладчикам: подавайте мои билеты — я хочу их обменивать. Он может это сделать, потому что в том зале, куда придут вкладчики, приготовлено для них в кассе денег и фондов, равносильных деньгам, ровно рубль на рубль против всего количества находящихся у всех вкладчиков билетов, а в соседнем зале еще лежит почти по полтора рубля кассовой наличности на каждый рубль всех этих билетов.

Ну, а наше положение таково ли было? Ломбардных и других процентных билетов выпущено было нашими банками к тому времени, когда начинались банковые преобразования, на сумму более 1000 миллионов руб., а кассовая наличность — по речи г. министра финансов 13 сентября 1860 года — 150 миллионов, то есть ровно по одному рублю на 7 рублей билетов, призывавшихся к предъявлению.

Это было все равно, как если бы английское казначейство вдруг стало требовать, чтобы все владельцы облигаций государственного долга предъявили их ему для уплаты. Денег у английского казначейства очень много: стоит ему захотеть — и получит оно в год сто миллионов фунтов; ну, а что, если бы нагрянули к нему, да еще по его же приглашению, с требованием обмена на наличные деньги владельцы фондов государственного долга, простирающегося до 800 миллионов? Но английское казначейство этого никогда не делало, никогда не сделает, да это и не нужно никому, да это и невозможно ему, и каждый знает, что оно не в состоянии было бы уплатить всю эту сумму. И это знание никому не мешает иметь безусловное доверие к английскому казначейству и к фондам английского государственного долга, которые не могут быть выкуплены английским казначейством не только немедленно по предъявлении, но и в 10 лет и в 50 лет. Да ведь не в этом и дело, не то значение этих фондов, чтобы они выкупаемы были казначейством; владельцы купили их только затем, чтобы получать по ним доход, и никогда не будут иметь другой мысли.

Точно такое же значение имели у нас банковые билеты. Это были ни больше, ни меньше, как облигации государственного займа. Назывались они не так, но ведь в каждой земле, на каждом языке есть разница в терминологии от других земель. У нас мещанин — мещанин, а у французов мещанин — *bourgeois*, значит, по-нашему, капиталист, фабрикант, домовладелец; а что по-нашему мещанин, то по-французски называется пролетарий. Мало ли разницы бывает в словах! Потому-то наука и трудное дело, что одни слова заучить еще недостаточно для понимания дела. Разумеется, еще хуже не знать и самих слов, — а впрочем, оно может быть и не хуже: тут, по крайней мере, руководит здравый смысл и житейская опытность; а узнав слова без понимания дела, отбиваешься и от этих руководителей, не приобретая лучшего руководителя — истинно-научного взгляда.

Чтобы итти банкам нашим, в ожидании лучших обстоятельств, в ожидании благотворных результатов от реформ бюджета и гражданского быта, еще несколько лет по прежнему способу безобременения для казны, а, напротив, еще с некоторою прибылью для нее, без увеличения массы бумажных денег, а, напротив, еще с некоторым уменьшением ее, — на это довольно было у наших банков их наличности; но когда приняты были меры, призывавшие прежних вкладчиков к востребованию вкладов, останавливавшие прилив новых вкладов, то, разумеется, оказалось, что наличных и вообще всяких собственных средств уплаты у банков наших недостаточно. Хотели избежать затруднения, которого не было бы, и разом попали в самое тяжелое затруднение: чувствовали чрезмерность количества бумажных денег, бывшего в обращении, и принуждены были увеличить эту массу; тяготились огромностью сумм золота и серебра, посылавшихся за границу на уплату процентов по внешним займам, и сделали новые внешние займы, стали принуждены посылать золото за границу еще больше прежнего; тяготились прежними процентами по банковым вкладам, и стали платить по ним больше прежнего. Мы берем данные из речи г. министра финансов 13 сентября 1860 года.

Но прежде чем приведем их, сделаем здесь отступление, которое, может быть, выгоднее для нас было бы поместить в самом начале статьи. Будем говорить откровенно. Статья эта слишком мало походит на панегирик действиям министерства финансов по банковым преобразованиям. Проще сказать, мы с начала до конца все только о том и говорим, что преобразование было начато не с того, ведено не так, как следовало бы; что результатом этих реформ было только приведение дел в положение тяжелее и хуже прежнего. У нас слишком обыкновенен прием в каждом неодобрении видеть злонамеренность, видеть желание, компрометировать правительство, повредить ему. Вообще от подобных подозрений автор статьи не намерен защищаться, потому что это было бы бесполезно: как и чем вы можете убедить человека, что вам вовсе нет радости враждовать против него или вредить ему, если этот человек считает вас сатаною? Но, в частности, по делу, о котором идет речь, защищаться можно, потому что дело это такого особенного рода. Государственный кредит — такая вещь, относительно которой не может существовать разницы в желаниях людей, какого бы образа мыслей ни были они обо всех других делах. Будьте вы коммунист или ультрамонтанец, революционер или реакционер, будьте вы хоть мормон или скопец, все-таки вы никак не можете не желать упрочения и возвышения государственного кредита. Государственный кредит это такое же дело, как урожай, как хорошая погода: никакие, ни политические, ни общественные, разницы мнений не касаются этого дела. Тут у всех одна потребность, одно желание.

А дела, в успешном ходе которых заинтересован каждый, — и как частный человек, какого бы звания ни был, и как гражданин, какого бы образа мыслей ни был, — такие дела никогда не могут быть ни в безнадежном положении, ни даже в положении, которого нельзя было бы очень легко исправить, лишь бы только узнать, что нужно сделать для их исправления. Между прочим именно поэтому и предполагается нами возможность говорить о государственном кредите с полной откровенностью. Тут никто не может заподозрить, что мы руководились чем-нибудь, кроме желания пользы самому делу.

Но возвратимся к делу. Мы хотели из речи г. министра финансов 13 сентября 1860 года извлечь данные о том, каковы были результаты мер, предпринятых для отвращения мнимой опасности и мнимой обременительности прежнего положения наших банков. Вот подлинные слова: «наличность банков, составлявшая в июле 1857 года» (то есть перед началом банковых реформ) «свыше 150 миллионов рублей, понизилась в июне 1859 года до 20 миллионов рублей»; а предстояла перспектива дальнейших востребований в очень большом размере. В речи г. министра финансов это положение называется затруднительным. Слова эти относятся, как мы видим, к июню месяцу 1859 года; но, несмотря на то, была принята мера, долженствовавшая еще усилить востребование вкладов и действительно усилившая его, как мы видели, с лишком вдвое: «1 сентября 1859 года понижен банковый процент с 3 на 2», хотя сам г. министр финансов говорит перед тем: «дабы выйти из такого затруднительного положения», надлежало «оградить банки от излишнего востребования вкладов». Востребование вкладов усилилось, а вскоре за этим усилившим его вторичным понижением процента, именно через четыре месяца, «26 декабря того же года прием вкладов в заемном банке, сохранных кассах и приказах общественного призрения вовсе прекращен», как будто бы кассы банков изнемогали от излишка наличности. Это было бы странно при изложенном нами взгляде на громадное большинство вкладчиков и вкладов, как на рентьеров и ренту; но руководились другими соображениями, которых касались мы выше, и потому считали необходимым итти этим путем, требовавшим значительных пожертвований. Мы уже видели, что банковая наличность, составлявшая в июле 1857 года более 150 миллионов рублей, стала очень сильно уменьшаться; наконец, она оказалась недостаточною для уплат, и надобно было употребить на них другие средства. Вот слова г. министра финансов из речи его 13 сентября 1860 года:

Обозначенные преобразования не могли совершиться без жертвований со стороны казны. Кассы банков к 1 января 1859 года составляли: наличными деньгами 25 440 000 р., а государственными фондами, по нарицательной цене, 43 405 127 р.; с того же времени, как объяснено выше, истребовано из банков 436 540 628 р., более против взносов на 197 412 761 р.

На покрытие этого излишка истребований были обращены сперва процентные бумаги, принадлежащие заемному и коммерческому банкам: из них

государственное казначейство приняло на себя 28 000 000 р. взамен отпущенных сумм на удовлетворение банковых вкладчиков, и сверх того выручено продажей означенных процентных бумаг в частные руки 2 912 200 р.; остальные же фонды, составляющие собственность опекунских советов и приказов общественного призрения, оставлены в их распоряжении. Затем большая часть сумм, поступивших по внешнему 3% займу, а равно и все свободные суммы государственного казначейства, употреблены также на возврат капиталов из банков. Этих ресурсов, однакож, было недостаточно для безостановочного возврата вкладов, между тем количество платежей, причитавшихся от заемщиков, даже при исправном поступлении оных, не могло доставить способов к совершенному обеспечению возврата вкладов при усиленном востребовании оных. По предвиденной недостаточности всех этих средств для удовлетворения вкладчиков, высочайше разрешен был, на подкрепление банковых касс, выпуск до 100 000 000 р. кредитных билетов. Такой выпуск кредитных билетов, ограниченный размером востребования вкладов, был неизбежным переходным средством к исполнению обязательств, принятых на себя банками; в дальнейшем же употреблении этого ресурса не настает более надобности, так как уставом государственного банка (§ 16) постановлено, для облегчения исполнения возложенных на сей банк обязанностей относительно уплаты вкладов по востребованиям, выдавать срочные билеты комиссии погашения долгов или билеты государственного казначейства. На сем основании передано уже в распоряжение банка 15 000 000 руб. билетами государственного казначейства, о выпуске коих состоялся высочайший указ 8 июня текущего года.

Мы не знаем, какую часть 150 милл., находившихся в банковской наличности, составляли кредитные билеты и какую — процентные бумаги; впрочем, разница эта и неважна для результата, потому что процентные бумаги были также или все, или почти все обменены (или проданы) за кредитные билеты, которые также пошли на уплату по востребованию взносов\*. Таким образом на удовлетворение востребования вкладов было выпущено, во всяком случае, более 125 миллионов руб. кредитных билетов, которые иначе оставались бы изъятыми из обращения, сохраняясь в банковых кассах\*\*. Сверх того, как мы видели, выпущено было

\* По отчету о состоянии счетов государственного банка мы видим, что всех процентных бумаг в кассе его находилось 9 474 516 р. (под рубрикою «фонды» значится 8 549 424 р. и под рубрикою «принадлежащие банку» процентные бумаги 929 092 р.). Мы не знаем, вновь ли приобретены самим государственным банком эти фонды или переданы ему из касс прежних банков.

\*\* Цифру эту мы полагаем более 125 милл. рублей на следующем основании. Кассовая наличность составляла в июле 1857 года свыше 150 милл., а к 1 января 1859 года — 68 845 427 р., в том числе 25 440 000 наличными деньгами, а государственными фондами, по нарицательной цене, 45 405 427 р., из этих фондов 23 милл. рублей нарицательного капитала, состоявшие из билетов 6% займа 1818 года, были проданы потом банками государственному казначейству; после того в июне 1859 года банковая наличность понижалась до 20 милл. рублей. Итак, вышло из банковых касс до 1 января 1859 года более 82 милл. рублей (разница между наличностью кассы в июле 1857 и 1 января 1859 г.); потом более 25 милл. р. кредитными билетами, оставшихся в кассах к 1 января 1859 года, и кредитные билеты, данные государственным казначейством в обмен 23 милл. р. билетов 6% займа 1818 года. Мы не знаем, по номинальной ли цене были обменены эти билеты государственному казначейству, или по биржевому курсу, кото-



еще 100 милл. руб. кредитных билетов и 15 милл. рублей серий (билетов государственного казначейства), по своему значению обращающихся с такою же легкостью, как кредитные билеты. Сверх всего этого все свободные суммы государственного казначейства употреблены были на удовлетворение того же востребования. Количество этих сумм мы не можем определить. Слагая остальные суммы, мы получаем, что банковые реформы потребовали выпустить в обращение, кроме 15 милл. руб. сериями, более 225 милл. руб. кредитными билетами, которые без того или не получили бы существования, или оставались бы изъятыми из обращения.

Дело не ограничилось этим. В предыдущей выписке из речи г. министра финансов сказано было, что «большая часть сумм, поступивших по внешнему 3% займу, употреблена была также на возврат капиталов из банков. По займу этому, заключенному в марте 1859 года, получено было 7 милл. фунтов, то есть 43 500 000 руб. сер. Вот как рассказана история этих денег в речи г. министра финансов:

Первоначальное назначение этого займа, а именно: усиление разменного фонда экспедиции кредитных билетов с целью изъятия сих из обращения на соразмерную сумму, не могло, однакож, осуществиться. Вследствие чрезвычайно усилившегося привоза разных машин, пароходов, рельсов и других принадлежностей железных дорог, при ограниченном требовании наших произведений на иностранных рынках, а также по случаю перевода из России больших сумм отъезжающими за границу, вексельный курс наш стал упадать, и посему оказалось необходимым покрывать торговый баланс отпуском из России золота. В сих обстоятельствах правительство было вынуждено, к предупреждению дальнейшего упадка вексельного курса, производить платежи за границей из сумм, поступивших посредством последнего займа, дабы избежать таким образом покупки переводных векселей на здешней бирже. Сверх того часть сумм, находившихся за границей по этому займу, переведена сюда через продажу на здешней бирже, на счет правительства, векселей, выданных здесь на иностранные города, а вырученные за эти векселя деньги обращались, как выше сказано, на удовлетворение банковых вкладчиков.

Таким образом банковые реформы не допустили осуществиться предположению, состоявшему в том, чтобы, увеличив разменный фонд экспедиции кредитных билетов, возобновить размен этих билетов на звонкую монету. Без банковых реформ дело это не представляло бы затруднений. К 1 января 1857 года количество разменного фонда экспедиции кредитных билетов составляло звонкую монетою и в слитках 122 838 117 рублей. Без банковых реформ этому фонду не было бы надобности уменьшаться. По

рый, конечно, был бы гораздо выше номинальной цены. Но, полагая обмен и по номинальной цене, мы получаем из сложения этих трех сумм (82 милл., 25 милл. и 23 милл.) 130 миллионов кредитными билетами. В этот счет кредитных билетов, вышедших из банковых касс в обращение, мы не кладем сумм, вырученных через продажу фондов в частные руки, потому что полученные через это кредитные билеты уже и без того находились в обращении.

счета государственного банка к 1 января 1856 года кредитных билетов, выпущенных в обращение, находилось 714 580 226 рублей. Из них или были бы изъяты из обращения, или вовсе не получили бы существования без банковых реформ, как мы видели, по крайней мере, 225 милл. рублей; таким образом без банковых реформ оставалось бы теперь в обращении не более, а по всей вероятности, менее, чем на 490 милл. руб. кредитных билетов. Разменный фонд, сохранившись доньше в величине 1 января 1857 года, представлял бы на каждые 100 рублей кредитных билетов, находящихся в обращении, по 25 рублей звонкою монетою; при такой пропорции мог бы возобновиться обмен кредитных билетов на звонкую монету. А если прибавить к тогдашнему разменному фонду  $43\frac{1}{2}$  милл. руб., доставленных вчешним займом, предназначавшимся к тому, то разменный фонд составлял бы более 166 милл. р. сер. звонкою монетою, то есть имел бы на 100 рублей кредитных билетов почти по 34 р. звонкою монетою, — при такой пропорции возобновление размена кредитных билетов на звонкую монету не представляло бы уже никаких сомнений. Но через банковые реформы с возникшими из них затруднениями банковых касс произошла в разменном фонде такая перемена, что к 1 января 1861 года все количество звонкой монеты и слитков в кассе государственного банка простиралось только до 84 335 007 руб. \*; а кредитных билетов, выпущенных в обращение, находилось тогда, как мы уже видели, с лишком на 714 милл. рублей, то есть на 100 руб. кредитных билетов, выпущенных в обращение, приходилось менее 12 руб. в разменном фонде. При такой пропорции возобновление размена, конечно, представляется делом затруднительным. Банковые реформы помешали этому делу: они отвлекли от разменного фонда  $43\frac{1}{2}$  милл. руб. золота, доставленных займом и уменьшили на  $38\frac{1}{2}$  милл. руб. количество звонкой монеты и слитков, находившихся в разменном фонде до начала этих реформ. Поэтому г. министр финансов в речи своей 13 сентября 1860 года справедливо говорит:

Пожертвования, которые государственное казначейство должно было принять на себя для возврата вкладчикам по востребованию капиталов их, затраченных в долгосрочные ссуды, не дозволяли принять поныне надлежащих мер к открытию свободного размена кредитных билетов на звонкую монету.

Мы сказали, что вся сумма займа была отвлечена от разменного фонда собственно банковю реформою, — действительно вся, хотя не всей ей, а лишь бóльшей половине ее дано было прямое обращение на уплату востребований. Мы видели, что прямое назначение остальной, меньшей части займа было другое: она употреблялась на поддержание вексельного курса. Его падение

---

\* Эту цифру мы получаем, вычитая из итога 92 884 431 р. входящее в этот итог количество фондов 8 549 424 р.

приписывают некоторым обстоятельствам, вроде усилившегося привоза заграничных продуктов и увеличившегося числа русских путешественников, расходующих русские деньги за границу. Но если привозились к нам из-за границы рельсы, пароходы и т. д., то не надобно забывать, что те же самые предприятия, для которых требовались эти вещи, имели значительную часть своих акционеров или хозяев между заграничными капиталистами и что этими, шедшими на наши дела, заграничными капиталами, конечно, с излишком покрывалась ценность присылаемых к нам рельсов и т. д., так что по этим делам перевес в движении капиталов был к нам из-за границы, а не от нас за границу. Что же касается до русских путешественников, число их действительно чрезвычайно увеличилось в последние годы, но всю эту громадную прибавку в цифре путешествующих лиц составили люди очень небогатые, не мотающие денег ни за границей, ни дома; число их велико, но переводимая на них за границу сумма капитала невелика. А число проживающих за границей богатых людей, переводящих за границу много денег, не увеличилось в последние годы, потому что и в прежние годы было так же велико: им и прежде никогда не бывало остановки ехать за границу. Да и какая разница для вексельного курса от того, в России ли, за границу ли живут русские, мотающие много денег? Ведь, живучи в Петербурге, в Москве или в провинции, все равно тратят они деньги на заграничные продукты: на иностранные вина, на иностранные шелковые материи и наряды и т. д., — ведь не на сало же и не на пеньку же расходуют они свои деньги, когда живут дома. Значит, все равно: когда они живут за границей, деньги высылаются банкирами в векселях прямо на их имя, а когда живут дома, ровно столько же денег по их надобностям высылают за границу английской и другие магазины в уплату за выписанные товары для этих лиц. Вексельному курсу в одном случае не легче и не тяжелее, чем в другом. Это мы говорим про богатых людей, тратящих много денег и за границей, как дома. Но вследствие поездок небогатых людей за границу вексельный курс даже выигрывает. Денег они переводят за границу мало, зато возвращаются из-за границы почти все они гораздо рассудительнее, чем были до поездки: они присматриваются к заграничной жизни, видят, что мотовство считается там пошлостью и глупостью, что расчетливость там в моде у всех порядочных людей, и сами возвращаются домой, научившись быть бережливее прежнего. А бережливость прямо действует на повышение вексельного курса.

Причины падения вексельного курса в последние годы совершенно иные, не имеющие ничего общего с привозом рельсов и т. д. из-за границы и с поездками русских за границу. Вексельный курс упал: это значит, что за известную сумму наших денег нельзя стало получать в Лондоне или Париже столько гиней или лундоров, как прежде, а получается меньше прежнего, то есть это

значит, что наши деньги подешевели сравнительно с французским или английским золотом, то есть вообще с золотом, потому что золото — все то же золото. А вещь дешевеет, когда количество ее становится слишком велико. Значит, подешевели наши деньги, то есть кредитные билеты, значит и вексельный курс упал от того, что кредитных билетов стало у нас в обращении слишком много.

Мы не говорим о причинах размножения кредитных билетов в годы, предшествовавшие банковым реформам, потому что это не касается частного вопроса, разбираемого в нынешней главе, посвященной собственно только банковым реформам. Но каковы бы ни были эти прежние причины, по естественному ходу наших взносов в банковые учреждения, количество находящихся в обращении кредитных билетов стало бы быстро уменьшаться, приливая в кассах банков, и скоро уменьшилось бы до нормального размера, если бы не помешали тому банковые реформы (разумеется, мы предполагаем при этом прекращение прежних причин, размножавших эти билеты). К 1 января 1857 года кредитных билетов было 689 279 844 рубля. Предполагая, что действие прежних причин их размножения<sup>10</sup> прекратилось, мы имели бы в следующее время приблизительно такой ход дела. В июле месяце банковая наличность простиралась, как мы уже много раз говорили, свыше 150 милл. рублей. Конечно, большая половина этой суммы состояла из кредитных билетов; на остальную часть, состоявшую из фондов, можно было купить на бирже кредитные билеты. По расчету перевеса вкладов над востребованиями (около 40 милл. ежегодно), в остальные 5 месяцев 1857 года прибавилось бы в банковую наличность более 15 милл. рублей. Итого, за вычетом 15 милл. рублей (если не больше), оставалось бы к 1 января 1858 года в обращении только на 525 милл. р. (или меньше) кредитных билетов. В мае 1857 года сожжено было кредитных билетов на 60 милл. р. сер. Другие 40 милл. влились бы в банковые кассы по обычному ходу перевеса вкладов над востребованиями. За вычетом этих 100 милл., вышедших из обращения в 1858 году, оставалось бы к 1859 году в обращении только на 425 милл. р. кредитными билетами. В следующие два года (по 40 милл. ежегодно) еще легли бы в банковых кассах до 80 милл. р., и к 1 января нынешнего года оставалось бы кредитных билетов в обращении всего миллионов на 350\*, если не

---

\* Выше мы видели, что если считать одну ту сумму, которую нуждаются были банковыми преобразованиями банковые кассы выпустить в обращение, то она оказывается не меньше, а, конечно, больше 235 милл. р. сер., и за вычетом ее одной оставалось бы кредитных билетов в обращении не больше, а, конечно, меньше 490 милл. Но кроме того, что вышла из банковых касс эта сумма 225 милл., значительное количество вкладов было удержано от поступления в кассы из обращения; теперь, находя, что без банковых реформ оставалось бы в обращении не более 350 милл. р. сер., мы находим эту цифру потому, что принимаем в расчет обе стороны движения, произведенного банковыми преобразованиями.

меньше. Вексельный курс, вместе со всеми торговыми и промышленными отношениями, при таком ходе дел поправлялся бы сам собою и теперь уже давно был бы очень хорош.

Мы теперь говорим о пользе, какую принесло бы народному хозяйству и всем торговым отношениям поглощение все большего и большего количества кредитных билетов банковыми кассами, все большее и большее накопление наличности, которая лежала бы в этих банках без употребления. А прежде мы говорили, что банки могли извлекать выгоду себе через обращение этих накопляющихся в них кредитных билетов на покупку фондов. Тут нет противоречия, потому что прежде мы только разбирали напрасные предположения, будто бы накопление наличности было обременительно для банков, и показывали способ, по которому ближе всего было бы действовать лицам, державшимся такого предположения, по нашему мнению, ошибочного. Теперь же мы излагаем свой взгляд, несогласный с этим предположением. По нашему взгляду, понимать дело следует иначе, чем понимали лица, считавшие возрастание банковской наличности делом невыгодным, стало быть, и действовать следовало бы иначе.

Мы знаем теперь, что внесение вкладов в наши банки служило просто покупкою фондов государственного долга: получая ломбардный билет, вкладчик получал (и желал получить, хотя не умел выразить своей мысли техническим языком) облигацию внутреннего государственного займа, приносившего 4%, — иначе сказать, вкладчик был просто подписчиком 4% государственного займа.

Но прежде чем стали постепенно разбираться облигации этого 4-процентного займа (ломбардные билеты), произведен был государственный беспроцентный заем выпуском кредитных билетов. На какую сумму был он произведен и когда он был произведен, определить это легко:

К 1 января 1853 года кредитных билетов находилось в народном обращении на . . . . .	311 375 581 р.
А к 1 января 1857 года на . . . . .	689 279 844 »
Итого, следовательно, в течение четырех лет, 1853—1856, выпущено было (главным образом по случаю Крымской войны) кредитных билетов, иначе сказать, произведен был беспроцентный заем на . . . . .	377 984 263 р.

После того (еще без всякого отношения к банковым преобразованиям) выпущено было кредитных билетов еще на сумму около 25 милл. рублей, как видно из приведенной нами цифры кредитных билетов, бывших в обращении к 1 января 1858 года. Таким образом всю сумму беспроцентного внутреннего займа, произведенного во время, предшествовавшее банковым реформам, надобно полагать около 400 миллионов рублей серебром.

И вот облигации этого беспроцентного займа (кредитные билеты) постепенно обменивались публикою на облигации 4% займа (ломбардные билеты), — вот в чем состояло, по переводу на технический язык, явление, называвшееся на популярном языке чрезвычайным приливом вкладов в банки.

Выгоден ли был такой обмен для торговых, промышленных и вообще всяких экономических дел империи? — Без всякого сомнения, потому что, существуя в виде кредитных билетов, облигации государственного займа смешивались с деньгами и громадною своего количества расстроивали нашу денежную систему, а превращаясь в ломбардные билеты, облигации займа переставали иметь это тяжелое влияние на денежную систему. Если брать интересы казны в отдельности от интересов империи (чего не следует делать), то выгоден ли был такой способ обмена и для казны в отдельности от империи? Конечно, выгоден, потому что по внутреннему займу, происходившему посредством ломбардных билетов, платилось только ровно 4% (процент по тогдашним вкладам), а по всяким другим займам платился процент более тяжелый\*.

Точно так же и внутренние займы стали выше этого: 4% непрерывно доходные билеты не удались (только казенные места взяли их); должно было сделать 5%, то есть 1% лишний; теперь государственный банк выдает 4½% билеты (и 4%) — тут срок возврата 3—10 лет: для достижения номинальной срочности пожертвовали многим.

Поэтому в речи 13 сентября 1860 года говорится:

Таким образом в течение одного года бессрочный долг государственных кредитных установлений, грозивший им постоянным востребованием и стеснявший само правительство в разрешении всяких промышленных предприятий, уменьшился с 967 107 000 р. на 638 555 023 р. следующим образом:

Возвращено вкладчикам . . . . .	197 412 761 р.
Обращено в 5% билеты . . . . .	272 620 800 »
» » 4% » . . . . .	54 752 453 »
Положено обратить еще в 4% же билеты . . . . .	92 876 107 »
Из казенных капиталов, обращающихся в банках, сдано в государственное казначейство . . . . .	20 892 902 »

638 555 023 р.

Столь значительное уменьшение банкового долга достигнуто: 1) увеличением ежегодных платежей против банкового процента, существовавшего с 1830 по 1857 год по 4 на 100, еще одним процентом на весь капитал, обращенный в 5% банковые билеты, причем расход казны возрастает

\* Например, если вычесть уступку за комиссию и выгоду кредиторам от уплаты полного процента по облигациям до полной их оплаты, то заключенный в мае 1859 года 3% заем едва ли давал чистых 65% нарицательной цены; но даже и по этому курсу процент на полученные 100 р. составлял 4 р. 62 к.; сверх того, за полученные 65 р. давалась облигация в 100 р., то есть за полученные 100 р. давалось обязательство в 153 р. 85 к., то есть в капитал долга к полученной сумме еще приписывалось более половины этой суммы.

на 2 700 000 р. в год; 2) увеличением суммы внешних займов на 7 миллионов фунтов стерлингов, по коим следует уплатить процентов ежегодно 210 000 фунтов стерлингов, или 1 362 000 руб.; 3) увеличением беспроцентного долга экспедиции кредитных билетов на сумму, выпущенную этими билетами для удовлетворения банковских вкладчиков.

Но это еще не все. Вот слова из речи 13 сентября:

Между тем, принимая во вниманиис, с одной стороны, что упомянутые выше обстоятельства, по коим торговый баланс обратился не в пользу России, могут и на будущее время поставить правительство в необходимость воспособлять своими средствами производству заграничных платежей, и, с другой стороны, имея в виду, что разменный фонд экспедиции кредитных билетов может потребовать еще немаловажного подкрепления для открытия свободного размена сих билетов на звонкую монету, правительство признало нужным заключить в текущем году с банкирскими домами Беринг и Гоппе новый заем в 8 милл. фунтов стерлингов взамен удержанной им у себя части как облигаций 3% займа на 5 милл. фунтов стерлингов, так и 23 милл. нарицательного капитала 6% билетами займа 1818 года, каковые составляли запасный капитал заемных и коммерческих банков, но приобретенный государственным казначейством на суммы, отпущенные им в банки для возврата вкладов по востребованию.

Таким образом сумма пожертвований: 225 милл. или больше кредитными билетами, 15 милл. сериями,  $7 + 8 = 15$  милл. внешнего займа.

Вот и все, да невозможность размена на звонкую монету, о которой в речи 13 сентября говорится:

Пожертвования, которые государственное казначейство должно было принять на себя для возврата вкладчикам по востребованию капиталов их, затраченных в долгосрочные ссуды, не позволяли принять поныне надлежащих мер к открытию свободного размена кредитных билетов на звонкую монету.

Меры эти, возведенные высочайшим указом 10 января 1855 года, должны заключаться или в уменьшении числа кредитных билетов, или в усилении разменного фонда. То и другое исполнимо лишь по средствам, и т. д.

Вот и вся история.

Но действительно дурные стороны прежних кредитных учреждений были:

1) Давались ссуды часто только на мотовство помещиков; это должно было само собою исправиться через принятие более строгих мер взыскания и через освобождение крестьян, от какового а) ссуды пошли бы крестьянам, б) сами помещики из мотовсибаритов сделались бы дельными хозяевами.

2) Полная зависимость от казначейства, или лучше сказать, двора, так что, собственно, они служили только машиной для чеканки ассигнаций; это не исправлено учреждением Государственного банка, но все-таки в нем хорошо хоть то, что обнародует свои отчеты—тут не так нагло могут выпускаться билеты. Все-таки будет ли верность в отчетах? Не будут ли, как австрийский банк тогда утаивать 111 миллионов флоринов по национальному займу?

## ОТВЕТ НА ВОПРОС

ИЛИ

### ОСВИСТАННЫЙ ВМЕСТЕ СО ВСЕМИ ДРУГИМИ ЖУРНАЛАМИ «СОВРЕМЕННОМУ»

Давно припадала нам охота освистать «Современник», да все как-то совестились мы, — все, знаете ли, неловко как-то: ведь под одною оберткою с ним являемся мы, хотя ничего общего, кроме обертки, не имеем, да и не желаем иметь. Усердие посвистать «Современнику» было у многих других, и усердие их нас пленяло, но пробы эти не удавались никому — выходило вместо веселого свиста беззубое, бранчивое шипенье, которого конфузились сами же наши неловкие соперники. Наконец-таки откликнулся хороший, умный, достойный отголосок, — и кто же бы, думали вы, просвистал «Современнику» так, что любо было нам слушать звонкий, молодецкий мотив?

Кто отгадает? В награду дается «Кредит» г. Безобразова.

— Фельетонист «Петербургских ведомостей»?

— Полноте, что вы! Он умеет только сам себя же хлопать так, что жаль бедняка становится. Кто отгадает? В награду дается «Машка Гамильтон» г. Семевского.

— Знаменитый наш остроумец Н. Ф. Павлов?

— Что вы, что вы, прилично ли упоминать на страницах «Свистка» о вотячком остроумии! Кто отгадает? В награду дается «Альберт» гр. Л. Н. Толстого с придачею «Клеопатры» в переводе г. Фета<sup>1</sup>, —

Что другие все награды  
Пред сокровищем таким?

(Жуковский)\*

— Значит, уже некому быть, кроме Бай-Бороды?

---

\* Цитата ошибочная: г. Геннади поместил эти стихи в пьесе Пушкина:  
«Роняет лес багряный свой убор...»

Но по точнейшим исследованиям оказывается, что хотя они и действительно написаны на листке, лежавшем подле черновой рукописи этого стихотворе-



— Полноте, никто не мог дочесть до конца писем Бай-Бороды против гг. Кошелева и Черкасского<sup>3</sup>, а статейка, о которой мы говорим, так мила, так остра, так язвительна, что каждый называет ее украшением нынешнего «Свистка». Где вам отгадать ее автора, — мы говорим о статье почтенного редактора «Чтений в обществе истории и древностей российских», да, его, О. М. Бодянского<sup>4</sup>.

— О. М. Бодянского!!!? О. М. Бодянский острит? Он, автор «Глаголицы» и исследования о годе изобретения кирилловской азбуки?

ния, однакоже, принадлежат известному гр. Хвостову, листок из бумаг которого случайно остался на столе Пушкина. Неизвестно, на чем основывался автор статейки «Свистка», приписавший их Жуковскому, но самая возможность такой ошибки обнаруживает, что редакция «Свистка» не изучала исследований г. Буслаева<sup>2</sup>, положительно доказавшего, что тут скрывается драгоценный след эпического воззрения: слово «награда» (= скандинавскому *gardarik*, как обозначается Русь в сагах) происходит от слов «городить», «город»; а из этого ясно, что предки наши представляли себе награду в виде Валгаллы (огороженная зала, *wall* стена и *halle* зала) скандинавов. Валгаллу, место награды павшим в битве героям, воображение скандинавов населило валкириями, вечно юными девами (неволью вспоминается при этом греческий миф о Гебе, данной Юпитером в награду Геркулесу). Итак, очевидно, что под «сокровищем», о котором говорит гр. Хвостов, надобно понимать валкирии или сербскую вилу, и эпический смысл двустиишия:

Что другие все награды  
Пред сокровищем таким?

открывается следующий: «моя вила или валкирия так прекрасна, что затмевает собою всех ваших валкирий». Если же так, то ясно, что стихи эти взяты графом Хвостовым из эпической народной песни, изображавшей ратоборство славянского Перуна с скандинавским злым божеством Фенриром, имевшим вид громадной собаки. Перед боем, по эпическому порядку, противники хвалятся один перед другим. Фенрир, должно быть, сказал Перуну: «если ты убьешь меня, я буду жить в Валгалле с прекрасными валкириями, потому не страшусь смерти». Перун же на это отвечает ему: «а я еще меньше боюсь смерти, потому что наша славянская вила, с которою буду жить я по смерти, прекраснее всех ваших валкирий». Так восстанавливается наш утраченный народный эпос по этим двум стихам. Битва Тора (соответствовавшего нашему Перуну) с Фенриром составляет эпизод в Муспилли, великой битве Асов с Локе и его сестрою Гелою. Вот доказательство, что у языческих славян кончина мира представлялась следствием битвы светлых богов с черными, враждебными свету силами ночи и ада (вспомним Белбога, параллельного Бальдуру). Г. Афанасьев в своих зооморфических божествах справедливо замечает, что обычное у славян сечение детей розгами служило некогда символом смерти Бальдура, поражаемого веткой омелы (смысл обычая утратился, но самый обычай свято хранится). Мы представили здесь только краткое извлечение из прекрасного изыскания г. Буслаева, у которого читатель найдет все необходимые подробности. Вот какие драгоценные черты народного эпоса и языческого мирозерцания открывает ученое исследование в двустиишии, повидимому, ничтожном:

Что другие все награды  
Пред сокровищем таким?

*Безвестный, но полезный труженик науки.*

— Да, он, и превосходно острит, и мы не удивимся: потому что г. Бодянский не только гражданин в серьезном смысле, не только ученый славянин, не только редактор «Чтений», напечатавший в них столько драгоценных исторических материалов, которых не успел бы напечатать никто другой, — нет, О. М. Бодянский также остряк, когда хочет быть остряком.

Но погодите, начнем по порядку. В декабрьской книжке «Современника» за прошлый год напечатан был разбор последних трех книжек «Чтений». Тут замечалось между прочим, что статьи о современных делах в «Чтениях» не так хороши, как материалы по старинному времени. Мы вперед знали, что почтенный редактор «Чтений» не оставит этого без реплики, — не было еще примера, чтобы он спускал когда кому, если кто скажет что не по нем, —

Не родилась та рука заколдованная  
Ни в дворянском роду, ни в купеческом,

по которой бы не стукнул О. М. Бодянский своим славянским кулачком, если она чуть до него дотронется. И точно, он не замедлил пристукнуть дерзкую рецензию и, что всего лучше, пристукнул с отличным присвистом.

Сначала он немножко сердится; но бог с ним, мы-то на него уж не рассердимся за это. А вот послушайте, что следует за первыми несколько суровыми звуками, — это уже свист, чистейший благовучнейший свист:

«Современник» замечает, что «современная история вообще как-то плохо удается «Чтениям». Но, во-первых: «мы ходим древними путями, и совратились бы с них и вступили бы на пути новые и стропотные, если бы приняли таковые притязания», — кто-то когда-то сказал кому-то в положении, нашему подобном. Современным мы занимаемся лишь по отношению к древнему: это вытекает из того состояния, в котором не одним нам суждено вращаться. Во-вторых: кому же современность удается у нас? У кого бы, кажись, более всего искать современной истории, как не у «Современника», и, однакоже, где же она у него? Не его ли и всех современных и несовременных русских журналов и газет составляет она то тайное вождение и постоянное воздыхание сердца, к которому стремились, стремимся и не перестанем стремиться, дондеже постигнем? Зачем же то колоть другим глаза отсутствием того, чего не больше и у вас самих? Ведь это просто сбивается на русскую пословицу: «Кума, а кума! Сойди с ума, купи вина!»

О. Бодянский.

Январь 2-го, 1861 г.  
Москва.

Правда, правда, прямодушный Осип Максимович! О, да как же ловко освистали вы — не «Современник» один, а все наши журналы, все, все! Правда, да ведь свист и бывает тем хорош, что правду свищет.

Мы посетуем на вас за одно, Осип Максимович: зачем вы не прислали эту молодецкую реплику для напечатания прямо

в «Современник», затронувший вас? Он с удовольствием напечатал бы ее.

Эх, только тем и отведешь душу, что иной раз кольнешь глаза другому отсутствием того, чего и у самого почти столько же! Пиши о варягах, о г. Погодине, о Маколее и г. Лаврове с Шопенгауэром, о Молинари и письмах Кэри к президенту Соединенных Штатов. И сиди за этою белибердою, ровно никому не нужною, кроме как разве для нагнания сна — и сиди за нею, да еще — чего доброго — услышишь потом о себе от добрых людей: «какую интересную статью написал г. NN о г. Лаврове, как он мастерски высказал все, что хотел, и как много чрезвычайно важного, полезного, живого высказал!» Да, Осип Максимович, вы поверите: тяжело писать эту дребедень, унижительно, отвратительно писать ее, а еще тяжелее, унижительнее слушать, что ее хвалят, что тебя многие уважают за нее. Это довольство бесцветною, бесполезною отвлеченностью, эти похвалы ей показывают, что не найдешь ты опоры, чтобы подняться из своего унижительного положения, что еще не нужен писатель никому ни для чего, кроме как для пустяков. Грустно, Осип Максимович, быть писателем человеку, который не хотел бы прожить на свете бесполезным для общества говоруном о пустяках.

Будьте же здоровы, Осип Максимович, и честь вам за то, что вы, начав досадою и кончив правдивою, едкою шуткою, подали «Свистку» случай, начав шуткою, кончить не шуточным — в первый и в последний раз — свистом, а визгом стесненной груди <sup>5</sup>.

## АПОЛОГИЯ СУМАСШЕДШЕГО

Печатаю записку П. Я. Чаадаева, благосклонно сообщенную нам одним из его родственников, мы должны сделать несколько замечаний о ее характере и образе мыслей человека, получившего такую почтенную известность одним письмом, напечатанным лет 25 тому назад<sup>1</sup>. «Апология», печатаемая нами теперь, содержит в себе объяснение этого письма, помещенного в «Телескопе» за 1836 год. Но сам «Телескоп» составляет ныне библиографическую редкость; между нынешней публикой далеко не всем удавалось прочесть статью Чаадаева, о которой так много слышал каждый. Потому полагаем, что не довольно было бы нам представить только наше мнение о направлении его знаменитого письма и что почти все читатели будут нам благодарны, если мы дадим им возможность ближе познакомиться с письмом, приведя из него отрывки.

Из некролога, помещенного г. Лонгиновым в «Современнике» 1856 года (№ 7. Смесь, стр. 5), мы знаем, что Чаадаев родился в 1793 году. Служа офицером в лейб-гусарском полку, который стоял тогда в Царском Селе, он в 1815 году познакомился с Пушкиным, на которого имел сильное влияние и которому в деле удаления его из Петербурга, в мае 1820 года, оказал важную услугу<sup>2</sup>. Пушкин до конца жизни оставался его другом. Все другие благородные люди, встречавшиеся с Чаадаевым, уважали его за характер, ум и замечательную образованность. Много лет он прожил за границею, занимаясь между прочим философию, и по возвращении на родину, в 1826 году, поселился в Москве, где до самой своей смерти (13 апреля 1856 г.) «служил, по выражению Лонгинова, посредником между людьми различных направлений. К нему съезжались, по понедельникам, почти все мыслящие люди. Искусство сблизить людей и красноречивая беседа хозяина привлекали туда всякого, кто хотя однажды посетил его».

Человек большого ума и обширных сведений, Чаадаев набрасывал иногда на бумагу мысли, его занимавшие. Но он никогда не хотел быть писателем. Ряд размышлений, из которых первое

было напечатано в «Телескопе», вовсе не предназначался для печати; эти размышления были написаны по поводу разговоров Чаадаева с одной из знакомых ему дам<sup>3</sup> и собственно только для нее. Потому, имея форму писем, они касаются личного положения и личных качеств дамы, к которой были адресованы, с такою же подробностью, как и общих научных вопросов. При своем сильном таланте, Чаадаев, конечно, понял бы совершенную излишность этих личных объяснений в своих письмах, если бы когда-нибудь предназначал их для публики; если бы он сам хотел их печатать, он наверное вычеркнул бы из своего первого письма многие страницы, как решительно не интересные для публики. Но письмо попало в журнал чисто случайным образом. Один из друзей Белинского (Станкевич, как мы слышали) прочел письма, данные ему частным образом, заинтересовал ими Белинского, который тогда был главным сотрудником «Телескопа». Письма были на французском языке. Чаадаева стали просить, чтобы он позволил перевести их на русский и поместить перевод в «Телескопе». Он согласился. Нам кажется, что он даже не просматривал печатаемого перевода: мы так судим потому, что есть в переводе выражения, не совсем удачно отгадывающие мысли подлинника; без сомнения, Чаадаев поправил бы ошибки, если бы просматривал перевод. Было напечатано только одно письмо. Мы слышали, что было уже приготовлено к изданию второе, но что книжка «Телескопа», в которой оно было помещено, не вышла в свет по случаю прекращения журнала. Не знаем, верен ли этот рассказ; мы передаем, что слышали, и просим исправить неточности, если они есть в наших словах.

Первое письмо Чаадаева, бывшее причиной прекращения «Телескопа» и удаления из Москвы издателя журнала, произвело, как все рассказывают, потрясающее впечатление на тогдашнюю публику. Оно поразило всех страшным отчаянием, которое, как тогда казалось, господствует в нем. Нынешняя публика, более привыкшая к мыслям широким и неприкрашенным, едва ли почувствует такое впечатление от чтения письма. Мы в каждой книжке каждого журнала читаем ныне вещи столь же горькие, можем находить их основательными или неосновательными, но никому из нас не кажется, чтобы они дышали безнадежностью и внушались отчаянием. Содержание письма очень просто. Чаадаев говорит, что мы не участвовали в жизни Западной Европы, потому не вошли в нашу жизнь те понятия и обычаи, на которых зиждется нынешняя европейская цивилизация. Нам нужно еще учиться всему тому, что с первых лет детства входит в жизнь западного человека. Учиться трудно и времени на это нужно много, потому людей истинно цивилизованных в нашем обществе еще мало, а господствует в нем беспорядица понятий и обычаев. Даже те немногие, которые сами по себе могут назваться цивилизованными людьми, не ведут той жизни, не имеют тех интересов,

не делают тех дел, каких следовало бы ожидать от цивилизованного человека и которые составляют их собственную внутреннюю потребность. В Западной Европе этой разладицы, шаткости и скуки нет, потому что там развитое и установившееся общество поддерживает человека, дает ему средства для жизни, приличной его внутреннему развитию. У нас в обществе вы не находите никакой опоры, а видите только хаос, сбивающий вас с толку, увлекающий вас в пошлость или наводящий на вас уныние. Из этого следует, что нам надобно как можно усерднее стараться об устройении тех великих идей, которые руководят истинно цивилизованными народами и которые до сих пор еще так слабо привились.

Вот сущность мыслей, находящихся в напечатанном письме Чаадаева. Читатель согласится, что теперь в них нет ровно ничего особенно страшного. Если хотите, они и в 1836 году являлись в печати уже не в первый раз. Не говоря о других книгах и журналах, в самом «Телескопе», с самого начала, то есть около шести лет, Надеждин<sup>4</sup> говорил почти то же самое, и более двух лет почти то же самое говорил Белинский. Разница была разве в том, что они высказывали такой взгляд на русскую жизнь в статьях о каких-нибудь частных предметах, а письмо Чаадаева собственно только и занималось изложением дела в его самом общем виде.

Несколько странно представляется после этого, что именно письмо Чаадаева наделало такого шума, хотя не говорило ничего неслыханного для читателей «Телескопа». Конечно, автор был человек даровитый и мысли свои излагал энергическим языком; но Надеждин и Белинский писали не хуже, если не лучше его, — за что же обратилось особенное внимание не на какую-нибудь из их статей, а на письмо Чаадаева? Очень большую роль надобно тут, как и во всех подобных вещах, приписать просто случаю. Скажите, например, за что почтенные дамы и господа называли ужасно безнравственным произведением «Евгения Онегина» и запрещали своим дочерям читать его, а вовсе не гневались на «Руслана и Людмилу», хотя в этой милой сказке соблазнительные картины гораздо ярче, чем в «Евгении Онегине»? Видно, что на роду написано человеку, книге или статье, то и будет с ними: все равно, заслуживали или не заслуживали они своей судьбы.

Но есть в письме Чаадаева особенность, которая, вероятно, способствовала этой статье возбудить особенный эффект, столь почетный и столь вредный. Человеку, не знающему наших обстоятельств, показалось бы, что эта особенность должна служить ограждением и рекомендациею для его письма во мнении тех, которые остались недовольны. Чаадаев был человек глубоко религиозный и все свои мысли подводил под точку зрения назидательного благочестия. Каждому известно, что в IX веке западная церковь отделилась от восточной, а мы приняли христианство уже в X веке, то есть по разделении церквей. Известно также, что до начала XVI века вся Западная Европа была связана единством

исповеданий. Чаадаев с особенным вниманием занимался этою стороною вопроса о причинах долговременной нашей отдельности от Западной Европы. Он говорил, что Западную Европу составляют страны католические, страны чуждого нам исповедания, и большая половина его письма наполнена восторженными похвалами высокому значению христианства и сожалениями о том, что мы, русские, только называем себя христианами, а теплого христианского чувства в нас мало. Сообразно своему религиозному настроению духа, он говорил, что нам следует быть религиознее, что только благочестие сделает нас и просвещенными, и счастливыми. Но, делая благочестивые размышления главным содержанием своей беседы, Чаадаев принимал на себя звание проповедника, то есть звание, не принадлежащее светскому человеку; он произвольно присвоивал себе должность, на которую не имел права, и такое самовольство, хотя до некоторой степени извиняемое усердием, конечно, не могло быть допущено в благоустроенном обществе. Проповедником должен быть только тот, кто определен проповедником, а светский человек, не имеющий этого священного сана, не может, при всей своей надобности, говорить о священных предметах требуемым образом. Как бы ни были набожны его мысли, как бы ни были благочестивы его намерения, он неизбежно впадет в ошибки и станет вовлекать других в заблуждение, если дерзнет излагать вероучение. Чаадаев не сообразил этих правил, и их забвение, вероятно, содействовало произведению результата, который иначе был бы несколько загадочнее.

Мы не имеем ни малейшей охоты присвоивать себе звание, нам не принадлежащее, и потому при изложении письма Чаадаева не будем говорить о страницах, посвященных собственно религиозным размышлениям. Мы обратим внимание только на общественную и историческую стороны этого интересного произведения; — мы ограничиваем наш обзор этою частью его идей тем охотнее, что в ней собственно и заключается сущность взгляда, а религиозность составляет единственно облачение его.

Перевод статьи Чаадаева напечатан под заглавием «Философические письма к г-же \*\*\*. Письмо первое». Начинается оно деанкатными похвалами душевным качествам дамы, к которой адресовано, и переходит к объяснению причин, по которым она, при всех своих нравственных достоинствах, чувствует внутреннее недовольство собою и жизнью, — это зависит от состояния нашего общества, разумная жизнь которого еще очень бедна и шатка.

В жизни есть сторона совершенно невещественная, относящаяся собственно к разумной стихии нашего бытия: этой стороною никак не должно пренебрегать. Для души есть диэтическое содержание, точно так же как и для тела; уметь подчинять ее этому содержанию необходимо. Знаю, что повторяю старую поговорку: но в нашем отечестве она имеет все достоинства нововости. Это одна из самых жалких странностей нашего общественного образования, что истины, давно известные в других странах и даже у народов, во многих отношениях менее нас образованных, у нас только что открыва-

ются. И это оттого что мы никогда не шли вместе с другими народами; мы не принадлежим ни к одному из великих семейств человечества, ни к Западу, ни к Востоку, не имеем преданий, ни того, ни другого. Мы существуем как бы вне времени, и всемирное образование человеческого рода не коснулось нас. Эта дивная связь человеческих идей в течение веков, эта история человеческого разума, доведшие его в других странах мира до настоящего положения, не имели на нас никакого влияния. То, что у других народов давно вошло в жизнь, для нас до сих пор есть только умствование, теория.

Вы можете заметить это на самой себе, продолжает Чаадаев: вам нечем наполнить вашу жизнь; да и все наше общество таково же, нет в нем ничего установившегося, выработанного; это происходит от нашей истории.

Для всех народов бывает период сильной, страстной, бессознательной деятельности. Люди блуждают тогда и телом и духом. Это время великих страстей, великих ощущений. Народы движутся в то время сильно, без видимой причины; но не без пользы для будущих поколений. Все общества проходили через этот период. Он даровал им их важнейшие воспоминания, их чудесное, их поэзию, все их высшие и плодотворнейшие идеи. Он необходим для жизни общества. Без него что сохранилось бы в памяти народов, к чему могли бы они привязаться, пристраститься; без него они дорожили бы только прахом родной земли. Эта чрезвычайно занимательная эпоха в истории народов есть время их юности; время, когда способности их развиваются с наибольшею силою, время, воспоминание о котором, в возрасте возмужалом, служит им наслаждением и уроком. Мы не имеем ничего подобного. В самом начале у нас дикое варварство, потом грубое суеверие, затем жесткое, уничижительное владычество завоевателей, владычество, следы которого в нашем образе жизни не изгладились совсем и донныне. Вот горестная история нашей юности. Мы совсем не имеем возраста этой безмерной деятельности, этой поэтической игры нравственных сил народа. Эпоха нашей общественной жизни, соответствующая этому возрасту, наполняется существованием темным, бесцветным, без силы, без энергии. Нет в памяти чарующих воспоминаний, нет сильных наставительных примеров в народных преданиях. Пробежите взором все века, нами прожитые, все пространство земли, нами занимаемое, вы не найдете ни одного воспоминания, которое бы вас остановило, ни одного памятника, который бы высказал нам протекшее живо, сильно, картинно. Мы живем в каком-то равнодушии ко всему, в самом тесном горизонте без прошедшего и будущего. Если ж иногда и принимаем в чем участие, то не от желания, не с целью достигнуть истинного, существенно нужного и приличного нам блага; а по детскому легкомыслию ребенка, который подымается и протягивает руки к гремушке, которую завидит в чужих руках, не понимая ни смысла ее, ни употребления.

Истинное общественное развитие не начиналось еще для народа, если жизнь его не сделалась правильнее, легче, удобнее неопределенной жизни первых годов его существования. Как может процветать общество, которое, даже в отношении к предметам ежедневности, колеблется еще без убеждений, без правил; общество, в котором жизнь еще не составила? Мир нравственный находится здесь в хаотическом брожении, подобном переворотам, которые предшествовали настоящему состоянию планеты. И мы находимся еще в этом положении.

Первые годы нашего существования, проведенные в неподвижном невежестве, не оставили никакого следа на умах наших. Мы не имеем ничего индивидуального, на что могла бы опереться наша мысль. Разобщенные какою-то странною судьбою от всемирной жизни человечества, мы ничего не извлекаем даже из идей, которые сообщаются человечеству преданиями. А на этих-то идеях основывается частная жизнь народов; из них развивается их будущность, их нравственное образование. Чтоб сравниться с прочими обра-



зованными народами, нам необходимо переначать для себя снова все воспитание человеческого рода. Для этого перед нами история народов и плоды движения веков. Конечно, велик этот труд, и может быть одно поколение людей не в состоянии совершить его; но прежде всего необходимо узнать: в чем дело, что это за воспитание человеческого рода и какое место занимаем мы в общем порядке мира?

Народы живут только мощными впечатлениями времен прошедших на умы их и соприкосновением с другими народами. Таким образом каждый человек чувствует свое соотношение с целым человечеством. «Что такое жизнь человека, говорит Цицерон, если память о предшествовавшем не соединяет настоящего с прошедшим?» Мы явились в мир, как незаконнорожденные дети, без наследства, без связи с людьми, которые нам предшествовали, не усвоили себе ни одного из поучительных уроков минувшего. Каждый из нас должен сам связывать разорванную нить семейности, которой мы соединялись с целым человечеством. Нам должно молотами вбивать в голову то, что у других сделалось привычкою, инстинктом. Наши воспоминания не далее вчерашнего дня; мы, так сказать, чужды самим себе. Мы идем по пути времен так странно, что каждый сделанный шаг исчезает для нас безвозвратно. Все это есть следствие образования совершенно привозного, подражательного. У нас нет развития собственного, самобытного, совершенствования логического. Старые идеи уничижаются новыми, потому что последние не истекают из первых, а западают к нам бог знает откуда; наши умы не браздятся неизгладимыми следами последовательного движения идей, которое составляет их силу, потому что мы заимствуем идеи уже развитые. Мы растем, но не зреем; идем вперед, но по какому-то косвенному направлению, не ведущему к цели. Мы подобны детям, которых не заставляли рассуждать; возмужав, они не имеют ничего собственного; все их знание во внешности их существования; во внешности вся душа их.

Народы существа нравственные, точно так же как и люди. Они образуются веками, как люди годами. Но мы, почти можно сказать, народ исключительный. Мы принадлежим к нациям, которые, кажется, не составляют еще необходимой части человечества, а существуют для того, чтоб со временем преподавать какой-нибудь великий урок миру. Нет никакого сомнения, что это предназначение принесет свою пользу: но кто знает, когда это будет?

Народы Европы имеют одну общую физиономию, какой-то отблеск односемейности. Несмотря на разделение их на ветви латинскую и тевтоническую, на южную и северную, между ними есть связь общая, которая соединяет их, связь видимая для всякого, кто углубляется в их общую историю. Давно ли вся Европа называлась «христианством» и это название имело место в ее публичном праве? Но кроме этого общего характера, каждый из них имеет еще свой особенный, придаваемый ему историей и преданиями. И то и другое составляет родовое наследие идей этих народов. Каждое частное лицо пользуется плодами этого наследия; без утомления, без труда, собирает на жизненном пути сведения, рассеянные в обществе, и употребляет их в свою пользу. Теперь сравните сами: много ли соберете вы у нас начальных идей, которые каким бы то ни было образом, могли бы руководствовать нас в жизни? Заметьте, что здесь дело не об учении, не о литературе или науке; но просто о соприкосновении умов, об тех идеях, которые овладевают ребенком еще в колыбели, которые окружают его в играх, которые мать вдыхает в него своими ласками, которые в виде различных чувствований проникают в его существо вместе с воздухом, которым он дышит, и образуют его нравственное бытие еще до вступления в мир и общество. Хотите ли знать, что это за идеи? Это идеи долга, закона, правды, порядка. Они развиваются из происшествий, содействовавших образованию общества; они необходимые начала мира общественного. Вот что составляет атмосферу Запада; это более чем история, более чем психология: это физиология европейца. Чем вы замечаете все это?

Не знаю, можно ли вывести из сказанного что-нибудь совершенно безусловное и основать на нем неперемutable правило; но очевидно, какое сильное

влияние на дух каждого отдельного лица должно иметь это странное положение народа, по которому он не может остановить своей мысли ни на одном ряде идей, развивавшихся в обществе постепенно одна из другой, по которому он принимал участие в общем движении человеческого разума только слепым, поверхностным и часто дурным подражанием другим нациям. От этого вы найдете, что всем нам недостает некоторого рода основательности, методы, логики. Силлогизм Запада нам неизвестен. В наших лучших головах есть что-то большее, чем неосновательность. Лучшие идеи от недостатка связи и последовательности, как бесплодные призраки, целенеют в нашем мозгу. Человек теряется, не находя средств притти в соотношение, связаться с тем, что ему предшествует и что последует; он лишается всякой уверенности, всякой твердости; им не руководствует чувство непрерывного существования, и он заблуждается в мире. Такие потерявшиеся существа встречаются во всех странах; но у нас эта черта общая. Это не та легкомысленность, которую некогда упрекали французов, которая, не отрицая глубины, ни многообъемности ума, зависела только от способности понимать все с чрезвычайною легкостью, что придавало обращению более прелести и любезности: нет! это ветренность жизни без опыта и предвидения; жизни, которая ограничивается эфемерным существованием неделимого, оторванного от своей породы; жизни, которая не заботится ни о славе, ни о распространении каких-либо общих идей или выгод, ни даже о тех семейных, наследственных интересах, о том множестве притязаний и надежд, освященных давностью, которые в обществе, основанном на памяти прошедшего и на понятии будущего, составляют жизнь общественную и жизнь частную. В наших головах решительно нет ничего общего; все в них частно и к тому еще неверно, неполно. Даже в нашем взгляде я нахожу что-то чрезвычайно неопределенное, холодное, несколько сходное с физиономиею народов, стоящих на низших ступенях общественной лестницы. Находясь в других странах и в особенности южных, где лица так одушевлены, так говорящи, я сравнивал не раз моих соотечественников с туземцами, и всегда поражала меня эта немота наших лиц.

Чужестранцы ставили нам в достоинство некоторого рода беспечную отважность, которую встречали особенно в низших классах. Но по нескольким отдельным проявлениям народного характера они не могли верно судить о целом. Они не видят, что то же самое начало, которое иногда придает нам эту смелость, делает нас в то же время неспособными ни к глубокомыслию, ни к постоянству; они не видят, что это равнодушие к материальным опасностям делает нас также равнодушными ко всему хорошему, ко всему дурному, ко всякой истине, ко всякой лжи, и что тем самым уничтожает в нас все сильные возбуждения, которые стремят людей по пути совершенствования; они не видят, что, по милости этой-то беспечной отваги, у нас и в высших классах, к прискорбию, существуют пороки, которые в других странах принадлежат только низшим; не замечают, что, имея некоторые из добродетелей народов юных, еще необразованных, мы лишены всех достоинств народов зрелых, наслаждающихся высшим просвещением. Я совсем не хочу сказать, что у нас только пороки, а добродетели у европейцев; избави боже! Но я говорю, что для верного суждения о народах надобно изучить общий дух, их животворящий; ибо не та или другая черта их характерна, а только этот дух может довести их до совершеннейшего нравственного состояния, до развития бесконечного.

Массы находятя под влиянием особенного рода сил, развивающихся в избранных членах общества. Массы сами не думают; посреди их есть мыслители, которые думают за них, возбуждают собирательное разумение нации и заставляют ее двигаться вперед. Между тем как небольшое число мыслит, остальное чувствует, и общее движение проявляется. Это истинно в отношении всех народов, исключая некоторые поколения, у которых человеческого осталось только одно лицо. Первоначальные народы Европы, целты, скандинавы, германцы имели друидов, скальдов, бардов; это были сильные мыслители, разумеется, в своем роде. Посмотрите на народы Северной Америки, истреблением которых так ревностно занимается материальное просвещение

Соединенных Штатов: между ними есть люди дивного глубокомыслия. Теперь спрашиваю вас, где наши мудрецы, наши мыслители! Когда и кто думал за нас, кто думает в настоящее время?

По нашему местному положению между Востоком и Западом, опираясь одним локтем на Китай, другим на Германию, мы должны бы соединять в себе два великие начала разума: воображение и рассудок; должны бы свмещать в нашем гражданственном образовании историю всего мира. Но не таково предназначение, павшее на нашу долю. Опыт веков для нас не существует. Взглянув на наше положение, можно подумать, что общий закон человечества не для нас. Отшельники в мире, мы ничего ему не дали, ничего не взяли у него; не приобщили ни одной идеи к массе идей человечества; ничем не содействовали совершенствованию человеческого разума, и исказили все, что сообщало нам это совершенствование. Во все продолжение нашего общественного существования мы ничего не сделали для общего блага людей: ни одной полезной мысли не возросло на бесплодной нашей почве; ни одной великой истины не возникло посреди нас. Мы ничего не выдумали сами, и из всего, что выдуманно другими, заимствовали только обманчивую наружность и бесполезную роскошь.

Странное дело! Даже в мире наук, который обнимает все, наша история разобщена от всего, ничего не объясняет, ничего не доказывает. Если б орды варваров, возмутивших мир, не прошли, прежде нежели наводнили Запад, страны, нами обитаемой, мы не доставили бы и одной главы для всемирной истории. Чтоб обратить на себя внимание, мы должны были распространиться от Берингова пролива до Одера. Некогда великий царь хотел нас образовывать и, чтоб захотеть к просвещению, бросил нам мантию цивилизации; мы подняли мантию, но не коснулись просвещения. В другой раз другой великий государь приобщил нас своему великому посланию, проводя победителями с одного края Европы на другой; мы прошли просвещенные страны света и что же принесли домой? Одни дурные понятия, гибельные заблуждения, которые отодвинули нас назад еще на полстолетие. Не знаю, в крови у нас есть что-то отталкивающее, враждебное совершенствованию. Повторю еще: мы жили, мы живем, как великий урок для отдаленных потомств, которые воспользуются им непременно, но в настоящем времени, что бы ни говорили, мы составляем пробел в порядке разума. Для меня нет ничего удивительнее этой пустоты и разобщенности нашего существования. Конечно, в этом виновата отчасти какая-то непостижимая судьба; но не правы и люди, которых содействие во всем, что совершается в нравственном мире, неизбежно. Заглянем еще раз в историю; она объясняет бытие народов лучше всего.

Что делали мы в то время, как из жестокой борьбы варварства северных народов с высокою мыслию религии возникало величественное здание нового образования? Ведомые злою судьбою, мы заимствовали первые семена нравственного и умственного просвещения у растленной презираемой всеми народами Византии. Мелкая суетность только что оторвала ее от всемирного братства; и мы приняли от нее идею, искаженную человеческою страстию. В это время животворящее начало единства одушевляло всю Европу. Все истекало там из этого начала; все сосредоточивалось; всякое умственное движение силось объединить человеческую мысль; всякое побуждение проявлялось могучею потребностью отыскать одну всемирную идею; это самое и составляет дух новейших времен. Чуждые этому дивному началу, мы сделали добычею завоевателей. Свергнув иго чужеземное, мы могли бы воспользоваться идеями, которые развились между тем у наших западных братьев, но мы были оторваны от общего семейства.

Сколько светлых лучей прорезало в это время мрак, покрывавший всю Европу! Большая часть познаний, которыми ум человеческий теперь гордится, были уже предчувствуемы тогдашними умами; характер новейшего общества был уже определен; миру христианскому недоставало только форм прекрасного, и он отыскал их, обратив взоры на древности язычества. Уединившись в своих пустынях, мы не видали ничего происходившего в Европе. Мы не вмешивались в великое дело мира. Мы остались чужды высоким доблестям,

которыми религия озарила новейшие поколения и которые в глазах здравого смысла возвышают их над древними народами, так же как эти последние возвышаются над готтентотами и лапландцами. В нас не развились эти новые силы, которыми она обогатила человеческое разумение, эта кротость нравов, потерявших свое первобытное зверство от покорности власти безоружной. Несмотря на название христиан, мы не тронулись с места, тогда как западное христианство величественно шло по пути, начертанному его божественным основателем. Мир пересоздался, а мы прозябали в наших лачугах из бревен и глины. Коротко, не для нас совершались новые судьбы человечества; не для нас, христиан, зрели плоды христианства.

Далее автор развивает мысль о благотворных плодах христианства и продолжает:

Но вы вообразите: разве мы не христиане, разве образование возможно только по образцу европейскому? Без сомнения, мы христиане; но разве абиссинцы не христиане же? Разумеется, можно образоваться отлично от Европы; разве японцы не образованы и, если верить одному из наших соотечественников, даже более нас? Но неужели вы думаете, что христианство абиссинцев и образованность японцев могут воссоздать тот порядок, о котором я говорил сию минуту, порядок, который составляет конечное предназначение человечества? Неужели вы думаете, что эти жалкие отклонения от божественных и человеческих истин низведут небо на землю?

Мы выписали почти половину статьи. Ее окончание посвящено почти исключительно развитию размышлений благочестивого направления, вытекающих из страниц, представленных нами читателю. Имени автора под статью не выставлено; зато любопытно обозначение местности, в которой она написана:

Некрополис,

1829, декабря 1.

«Некрополис» — «город мертвых»: автор живет как бы среди мертвых людей. В находящемся у нас экземпляре на белой нижней половине последней страницы сделаны карандашом замечания о Чаадаеве, показывающие знакомство человека, их делавшего, с московскими отношениями Чаадаева; этот неизвестный нам комментатор приписал цифру 4 после 1, означающее число месяца, — он хотел показать, что в рукописи автора было выставлено 14. Если действительно так, это как бы посвящение статьи памяти об отношениях, внушивших Пушкину стихотворение «Арион»<sup>5</sup>.

Читателю известно, что напечатание перевода письма Чаадаева имело своим последствием составление акта о сумасшедшем авторе. Записка, которую теперь мы печатаем, имеет заглавие *Apoloogie d'un fou* — «Апология сумасшедшего», выставленное на нашей. Записка эта на французском языке, подобно самому письму, результаты которого были причиною ее составления. Мы печатаем ее в переводе, который был доставлен нам вместе с подлинником; мы исправили язык перевода, очень верного и близкого к подлиннику. «Апология сумасшедшего» по нашему списку произведение не dokonченное: Чаадаев, как видно, вздумал было

написать ряд записок в свое оправдание и вполне написал первую из них, которая представляется, как увидит читатель, цельным и законченным сочинением. Но в доставленном к нам списке над этою запискою поставлена под общим заглавием *Apologie d'un fou* цифра 1, а по ее окончании следует цифра 2 и потом несколько строк, составляющих всего один период, которым должна была начинаться вторая записка или глава. Вот перевод этих строк:

«Есть факт, верховно владычествующий над нашим развитием в ряду веков, проходящий через всю нашу историю, совмещающий в себе, так сказать, всю ее философию, проявляющийся во все эпохи нашей общественной жизни и определяющий характер их, служащих существенным элементом нашего политического величия и с тем вместе причину нашего умственного бессилия; этот факт — географическое положение»<sup>6</sup>.

Оставляя эти строки, будем говорить о первой записке или главе. Заглавие показывает цель, с которою она составлена: Чаадаев хочет оправдать свое письмо, за которое признан был сумасшедшим. Для кого именно составлена записка, в ней самой нет прямых указаний; видно только, что Чаадаев обращается к целому кружку или классу людей из числа лиц, негодовавших на его напечатанное письмо; видно также, что от мнения этих лиц более или менее зависела его судьба. На доставленном к нам списке выставлен 1836 год — тот самый, когда постиг его случай, бывший причиною составления записки. Время и цель составления записки отразились на некоторых местах ее; мы выпускаем из нашего перевода эти места, которые не могут считаться достоверным выражением мнений автора, имея внешнее назначение: просим читателя верить, что мы не поступили неуважительно к автору или легкомысленно, когда выпустили из перевода эти места, которые могут быть разъяснены в должном свете только в биографии Чаадаева. Свойство комментариев, которыми сопровождаем мы печатаемую нами записку, может достаточно свидетельствовать, что мы не могли руководиться никакими соображениями, кроме того уважения, какого достойно имя Чаадаева. Мы обозначаем точками места пропусков.

После общего заглавия *Apologie d'un fou* следует общий эпиграф, взятый из Кольриджа:

O my brethern! I have told most bitter truth, but without bitterness («О, братья мои! Горчайшую истину сказал я, но без горечи»).

За этим следует цифра 1, и начинается самая записка. Первые строки ее имеют вид христианских размышлений о терпении<sup>7</sup>; переходя к людям, негодующим на него, автор говорит, что гнев их проистекал из оскорбленной их любви к отечеству: но, замечает он,

характер любви к отечеству бывает различен, — самосед, например, который любит родные снега, сделавшие его близоруким, задымленную юрту, в которой он скорчась лежит половину своих дней, протухлое сало своих

олений, заражающее зловонием его атмосферу, наверное, конечно, любит свое отечество иначе, нежели гражданин Англии, гордящийся учреждениями и высокой цивилизацией своего славного острова, и было бы дурно, если бы мы, например, все еще любили нашу родину по самоедскому способу.

Любовь к отечеству — прекрасное дело, но есть еще гораздо лучшее — любовь к истине. Любовь к отечеству создает героев, любовь к истине создает мудрых людей, благодетелей человечества. Любовь к отечеству разделяет народы, порождает национальную вражду, часто покрывает землю трауром; любовь к истине распространяет просвещение, создает умственные наслаждения, приближает людей к божеству. Но мы, русские, всегда мало заботились о том, что истинно, что ложно<sup>8</sup>... Хладнокровно, без всякого раздражения, хочу отдать себе отчет в моем странном положении. Скажите, не должен ли я в самом деле постараться разъяснить, в каком отношении находиться к своим ближним, к своим согражданам, к своему богу человек, объявленный сумасшедшим?..<sup>9</sup>

Вот уже триста лет Россия стремится к слиянию с Западом Европы, берет от него свои серьезнейшие идеи, свои плодотворнейшие знания, свои самые живейшие наслаждения. Вот уже более века она не ограничивается этим. Величайший из наших государей, который, как говорят, начал для нас новую эру, которому, как говорят, мы обязаны нашим величием, нашей славою и всеми благами, которыми ныне владеем, отрекся сто пятьдесят лет тому назад от старой России, перед лицом старого мира. Своим всемогущим дуновением он смел все наши учреждения, вырыл бездну между нашим прошедшим и нашим настоящим и бросил в нее все без разбора наши предания. Сам он поехал в западные страны стать малейшим в них и возвратился величайшим из нас; преклонился перед Западом и восстал нашим владыкою и законодателем. В наш язык он ввел языки Запада; свою новую столицу он назвал западным именем; свой наследственный титул он отверг и принял титул западный; наконец, он почти отказался от своего собственного имени и не раз подписывал свои самодержавные постановления западным именем. С тех пор постоянно смотря на западные страны, мы, так сказать, только вдыхали в себя приносившиеся к нам оттуда дуновения и питались ими. Наши государи наложили на нас нравы, язык, одежду Запада. Называть вещи их именами мы выучились по западным книгам; нашей собственной истории стала учить нас одна из западных стран; мы перевели целиком литературу Запада, затвердили ее наизусть; мы нардились в его обноски и считали счастьем своим походить на Запад и славою себе, когда он благоволил причислить нас к своим людям.

Надобно сознаться, прекрасно было это создание Петра Великого, эта могущественная мысль, охватившая нас и устремившая нас в тот путь, по которому нам суждено было проходить с таким блеском; глубокомысленно было слово, сказанное нам: «видите вы эту цивилизацию, плод стольких трудов, эти науки, искусства, стоившие стольких усилий стольким поколениям? — все это будет вашим, если вы отречетесь от ваших суеверий, отвергнете ваши предрассудки, не станете жалеть вашего варварского прошедшего, не станете хвалиться веками вашего невежества, поставите вашему честолюбию одну цель — усвоить себе труды всех народов, богатства, приобретенные человеческим разумом во всех поясах земного шара». И не для одного своего народа трудился этот великий человек. Избранники, провинция всегда посылаются для целого человечества. Сначала их называют своими один народ, потом сливаются они с целым человеческим родом, как те великие реки, которые, оплодотворив обширные страны, несут дань своих вод океану. Зрелище, представленное им вселенной, когда, покидая царское величие и свою страну, он скрылся в последних рядах цивилизованных народов, было новым усилием человеческого гения выйти из узких границ отчизны, чтобы водвориться в великой сфере человечества. Таков был урок, который мы должны были от него принять: мы им, действительно, воспользовались и до сих пор шли по пути, указанному нам великим императором. Наше громадное развитие только

исполнение этой величественной программы. Никогда не было народа менее напыщенного собой, чем русский народ, созданный Петром Великим, и никогда никакой народ не приобретал более славных успехов на пути прогресса. Высокий ум этого необыкновенного человека в совершенстве угадал, какова должна была быть наша точка отправления при вступлении на путь цивилизации и всемирного умственного движения. Он видел, что мы почти совершенно лишены исторических данных и потому не можем основать нашей будущности на их слабом фундаменте; он лопнул, что нам, имеющим перед собой вековую цивилизацию Европы, служащую последним выражением всех прежних цивилизаций, не для чего оставаться в душной атмосфере своей истории, не для чего влачиться, подобно народам Запада, через хаос народных предрассудков, по узким тропам местных идей, по избитой колее туземного предания; что нам надобно самобытным взмахом наших внутренних сил, энергическим усилием национального сознания приобрести судьбу, ожидавшую нас. Потому он освободил нас от связанности предшествовавшими событиями, которые опутывали общество, имевшие историческую жизнь и замедляли их движение; он раскрыл наш ум для всех существующих между людьми великих и прекрасных идей; он дал нам весь Запад, созданный веками, сделал нашу историю всю его историю, нашу будущность всю его будущность.

Если бы в своем народе нашел он богатую и плодотворную историю, живые предания, глубоко вкоренившиеся учреждения, разве он решился бы передвинуть этот народ в мир для него новый? Если бы он имел дело с народностью сильно обрисованной, резко определившейся, разве инстинкт его творческого духа не направил бы его к тому, чтобы в самой этой народности искать средств для обновления своей родины? И разве сама она допустила бы отнять у ней ее прошедшее, придать ей, так сказать, прошедшее Европы? Но Петр Великий под свою сильною рукою нашел белую бумагу и начертал на ней слова: «Европа» и «Запад»; с той поры мы стали принадлежать Европе и Западу. Да, бесспорно, каков бы ни был гений этого человека и какова бы ни была гигантская энергия его воли, его дело было возможным только в таком народе, у которого [не было] выработанного исторического направления, строго определяющего дальнейший путь его, — в народе, предания которого не имели силы создать ему будущности, воспоминания которого могли быть безнаказанно изглажены смелым законодателем. Мы были так покорны голосу государя, призывавшего нас к новой жизни, потому, что в нашем прежнем существовании не имели ничего такого, чем бы могли оправдать сопротивление. Самая глубокая черта нашей исторической физиономии — отсутствие самобытности в развитии нашего общества. Всмотритесь, и вы увидите, что каждый важный факт в нашей истории — факт, наложенный на нас, каждая новая идея — почти всегда идея, внесенная к нам. Но в таком воззрении на нас нет ничего щекотливого для национального чувства. Если этот взгляд верен, с ним следует согласиться, и только. Есть великие народы, как есть великие исторические личности, которых нельзя объяснить нормальными законами нашего разума, но которые, однакоже, созданы таинством верховной логики провидения. Таковы мы, но, повторяю, до национальной чести это вовсе не касается.

История народа не только ряд фактов, следующих друг за другом, но и ряд идей, вытекающих одна из другой. Факт должен выражаться идеею — идея, принцип должны проходить через события и стремиться к осуществлению. Тогда факт не пропадает: он озарил умы, он остался запечатленным в сердцах, и никакая власть в мире не может изгнать его из них. Эту историю создает не историк, а сила вещей. Историк, являясь, находит ее уже готовую и рассказывает ее; но появившись он или нет, она все равно существует, и каждый член исторической семьи, как бы темен и ничтожен он ни был, носит ее в глубине своего существа. Вот этой-то истории у нас нет. Надобно нам приучиться обходиться без нее, а не побивать камнями людей, которые первые заметили это.

Наши фанатические славянофилы, в свих раскопках, могут от времени до времени выкапывать любопытные предметы для наших музеев, для наших

библиотек, но, кажется, позволительно сомневаться, чтобы они когда-нибудь успели извлечь из нашей исторической почвы, чем бы наполнить пустоту наших душ, остановить шаткость наших умов. Посмотрите на Еврону средних веков: нет события, которое не было бы, так сказать, абсолютно необходимым, которое не оставило бы глубоких следов в сердце человечества. Отчего ж это? Оттого, что в основе каждого события вы находите идею; потому, что история средних веков — история мысли новых времен, стремящаяся воплотиться в искусстве, в науке, в жизни человека, в обществе. Зато сколько следов эта история отпечатлела в умах, как она распахала почву, на которой действует дух человека! Я знаю, что не всякая история имеет такой строго логический ход, как история этой изумительной эпохи, в которой выработалось христианское общество под владичеством верховного принципа; но таков истинный характер развития отдельных народов или целой семьи народов, и нации, лишенные такого прошедшего, должны, принимая свою судьбу, искать не в своей истории, не в своей памяти, а в других источниках элементов своего дальнейшего прогресса. О жизни народов можно сказать то же, что о жизни индивидуумов. Все люди, жили, но только человек гениальный или человек, поставленный в известные особые условия, имеет настоящую историю. Если, например, народ по стечению обстоятельств, не им созданных, вследствие географического положения, не им избранного, расселится по стране громадного размера, не сознавая сам, что делает, и если вдруг он увидит себя могущественным народом, это, конечно, будет удивительным феноменом, и дивиться ему можно сколько угодно, но что же может сказать о нем история? В сущности это просто факт чисто материальный, факт, так сказать, географический, факт бесспорно огромных пропорций, — но и только. История его примет, занесет в свои летописи, потом закроет их для него, и все будет кончено. Истинная история этого народа начнется только с того дня, когда он проникнется вверенной ему идеей, той идеей, к осуществлению которой он призван, и когда он станет осуществлять ее с тем скрытым, но упорным инстинктом, который приводит народы к исполнению их судеб. Вот минута, которую я призываю для моей родины всеми силами моего сердца, вот труд, за которым я хотел бы видеть вас, мои любезные друзья и сограждане, живущие в век высокого просвещения и так хорошо доказавшие мне, как жарко пламенеете вы святою любовью к отечеству.

Мир всегда был разделен на две части, на Восток и Запад. Это не одно только географическое деление, это также порядок вещей, вытекающий из самой природы разумного существа; это два принципа, соответствующие двум динамическим силам природы, две идеи, обнимающие всю экономию человеческого рода. Человеческий дух организовался на Востоке, сосредоточиваясь, самоуглубляясь и замыкаясь в себе; расширяясь на внешний мир во всех направлениях, борясь со всеми препятствиями, развился он на Западе. Общество естественно сформировалось по этим коренным данным. На Востоке мысль, ушедшая в самое себя, ищущая безопасности в бездействии, скрывающаяся в пустыне, оставила гражданскую власть обладательницей всех земных благ; на Западе мысль, раскидываясь повсюду, обнимая все нужды человека, стремясь ко всем благам, основала власть на принципе права. Но в той и другой сфере жизнь была сильна и плодотворна; в той и другой человеческий ум был обилён высокими вдохновениями, глубокими мыслями, возвышенными созданиями. Первым явился Восток и пролил на землю потоки света из лона своего одинокого мышления; потом явился Запад с своей неутомимой деятельностью, своим живым словом, своим всемогущим анализом, овладел его трудами, закончил начатое Востоком и охватил его, наконец, своими широкими объятиями. Но на Востоке умы покорны; коленопреклоняясь перед авторитетом времен, истощались соблюдением безусловной покорности чтивому принципу и, наконец, заснули, скованные своим неподвижным синтезом, не подозревая новых судеб, которые для них готовились; а на Западе между тем они продолжали идти, гордые и свободные, преклоняясь только перед авторитетами разума и неба, останавливаясь только перед неизвестным и вечно устремляя взоры на безграничную будущность. Они и теперь продол-



жают итти, как вы знаете, и вы знаете также, что с Петра Великого и мы думали, что идем вместе с ними.

Но вот является новая школа. Ей не нужен Запад, она хочет разрушить дело Петра Великого, хочет повернуть назад, в пустыню. Забывая, чем обязаны мы Западу, неблагодарная к великому человеку, нас цивилизовавшему, к Европе, нас образовавшей, она отрекается и от Европы, и от великого человека; и в своей торопливой пылкости этот новорожденный патриотизм уже провозглашает нас любимыми сынами Востока. «Что за надобность, говорит он, была нам ходить за просвещением к западным народам? Разве посреди самих нас не было зачатков общественного порядка, бесконечно лучшего, чем европейский? Почему не выжидали действия времени? Предоставленные самим себе, нашему светлому разуму, плодотворному началу, скрывающемуся в недрах нашей мощной природы и особенно в нашей святой религии, мы скоро опередили бы все эти народы, преданные заблуждению и лжи. Да и чему же нам было завидовать на Западе? Его религиозным борбам, его папе, его рыцарству, его инквизиции? Да, прекрасные вещи! Разве Запад отчизна науки и всех глубоких идей? Известно, что их родина на Востоке. Удалимся же на этот Восток, к которому мы во всем близки, от которого мы заняли наши верования, наши законы, наши добродетели, — все, что нас сделало могущественнейшим народом земли. Старый Восток умирает. Разве не мы его естественные наследники? У нас увековечатся его дивные предания, осуществятся все великие и таинственные истины, хранение которых ему было искони вверено». Теперь вы понимаете, откуда собралась гроза, меня поразившая, и вы видите, что среди нас совершается в национальной мысли истинная революция, страстная реакция против просвещения, против идей Запада, против этого просвещения, этих идей, которые сделали нас тем, что мы есть теперь, плод которых даже эта реакция, это движение, влекущее нас теперь против них. Но на этот раз движение идет не сверху. Говорят, напротив, что никогда в высших сферах общества память нашего царственного преобразователя не была столь чтима, как теперь. Итак, вся инициатива принадлежит самой нации. Куда нас приведет это первое проявление эманципированного разума нации, бог знает, но нельзя, серьезно любя свое отечество, не быть болезненно пораженному этим отступничеством наших передовых умов от идей, создавших нашу славу, наше величие; и мне кажется обязанностью доброго гражданина разъяснить по своему крайнему разумению этот странный феномен.

Мы находимся на Востоке Европы — это бесспорно; но все-таки мы никогда не составляли части Востока. У Востока есть своя история, не имеющая ничего общего с историей нашей страны. Он заключает в себе, как мы видели, плодотворную идею, которая в свое время произвела великое развитие ума, которая исполнила свое назначение с дивным могуществом, но которой уже не суждено снова являться на сцене мира. Эта идея ставит духовное начало на вершине общества; она покорила все власти одному закону — верховному, ненарушимому закону времен; она глубоко постигла нравственную иерархию; и хотя стеснила жизнь слишком тесными пределами, но зато сохранила ее от всякого внешнего влияния и запечатлела чудной глубиной. Ничего подобного нет у нас. Духовный принцип, всегда подчиненный у нас светскому принципу, никогда не стоял в главе общества; закон времен, предание никогда не имело у нас исключительного владычества; жизнь никогда не была у нас построена неизменяемым образом; наконец, нравственной иерархии мы никогда не знали. Мы просто народ северной страны; по нашим идеям мы так же далеки, как и по климату от ароматной долины Кашмира и священных берегов Ганга. Правда, некоторые из наших провинций соседи с восточными государствами, но наши центры не там, наша жизнь не там и никогда там не будет, пока планетный переворот не изменит земную ось или новый потоп не занесет южных организмов во льды полюса.

Дело в том, что мы никогда еще не рассматривали нашей истории с философской точки зрения. Ни одно из великих событий нашего народного существования не было охарактеризовано с точностью, ни одна из наших великих

эпох не была добросовестно оценена: отсюда все странные фантазии, все утопии прошедшего, все сновидения невозможной будущности, мучающие ныне наших патриотов. Пятьдесят лет тому назад немецкие ученые открыли наших летописцев; потом Карамзин звучным слогом рассказал подвиги и деяния наших государей; в наше время посредственные писатели, неловкие антиквари, неудавшиеся поэты, не обладая ни наукой немцев, ни талантом знаменитого историка, претендуют изобразить или реставрировать времена и нравы, воспоминания о которых и любви к которым никто между нами не сохранил: таков перечень наших трудов по национальной истории. Надобно признаться, что из всего этого невозможно извлечь серьезного предсказания об ожидающих нас судьбах. А в этом теперь и заключается вся важность, именно эти результаты и составляют ныне весь интерес исторических исследований. Серьезная мысль нашего времени требует строгого обсуждения, искреннего анализа моментов, в которых жизнь известного народа обнаруживалась с большей или меньшей глубиной, в которых его общественный принцип проявлялся во всей его истине: потому что тут будущность этого народа, тут элементы его возможного прогресса. Если такие эпохи редки в вашей истории, если жизнь у вас не была могущественна и глубока, если закон, господствующий над вашими судьбами, далек от того, чтобы быть лучезарным принципом, возросшим в ярком свете народной славы, — если этот закон нечто бледное и тусклое, укрывающееся от солнечного блеска в подземных сферах вашего общественного существования, то не отвергайте же истины, не воображайте, что вы жили жизнью исторических народов, в то время когда, схороненные в вашей громадной могиле, вы жили только жизнью ископаемых. Но если, быть может, проходя по этому ничтожеству, вы дойдете до минуты, когда нация в самом деле почувствовала в себе жизнь, когда ее сердце в самом деле забилося и когда вы услышите шум народной волны, поднимающейся вокруг вас, о! тогда остановитесь, размышляйте, изучайте, ваши труды не пропадут, вы узнаете, что будет в силах сделать ваша родина в великие дни, чего она должна надеяться в будущем... Вы видите, я далек от мысли требовать, как говорят, совершенного отвержения всех наших воспоминаний.

Я сказал только, и теперь повторяю, что пора бросить ясный взгляд на наше прошедшее, и не для того, чтобы выкапывать из него старую, гнилую ветошь, старые идеи, пожранные временем, старые антипатии, давно отринутые здравым смыслом наших государей и нации, а для того, чтобы знать, что нам, наконец, думать о наследии нашего прошедшего. Это-то я пытался сделать в труде, который остался недоконченным и к которому должна была служить введением статья, столь странно возмущившая национальное тщеславие. Правда, в языке этой статьи была горячность, в мыслях излишняя резкость, но пафос, господствующий в ней, вовсе не похож на неприязнь к отечеству: это глубокое чувство наших немощей, высказанное с болью, с печалью, и только.

Больше, нежели кто-нибудь из вас, верьте мне, люблю я свое отечество, горжусь его славой, умею ценить высокие достоинства моего народа; но правда и то, что патриотическое чувство, меня оживляющее, не совершенно одинаково с тем, крики которого разрушили спокойствие моей жизни и снова ринули в океан житейских бедствий мою ладью, разбившуюся у подножия креста. Я не умею любить свое отечество с закрытыми глазами, с поникшим челом, с зажатым ртом. Я полагаю, что родине можно быть полезным только под условием ясного взгляда на вещи; я думаю, что время слепых привязанностей миновалось, что ныне нашей родине мы прежде всего обязаны истиной. Я люблю мое отечество, как Петр Великий научил меня его любить. Я не имею, признаюсь, того патриотического квинтэзиса, того ленивого патриотизма, который так улаживается, чтобы все видеть в розовом цвете, который засыпает на своих иллюзиях и которым, по несчастью, заражены теперь многие из наших лучших умов. Я думаю, что если мы явились после других, то затем, чтобы действовать лучше других, чтобы не впасть в их ошибки, в их заблуждения, в их суеверия. По моему мнению, было бы странным пониманием выпавшей нам роли, если бы мы стали неловко повторять

весь длинный ряд безумий, совершенных народами, стоявшими в положении менее выгодном, стали проходить все бедствия, ими выстрадавшие. Я полагаю, что наше положение — положение счастливое, если только мы будем уметь его оценить: что велико и прекрасно наше преимущество — возможность рассматривать и обсуживать мир со всей высоты мысли, отрешенной от бешеных страстей, от жалких интересов, которые в других странах затмевают взгляд человека и извращают его суждение. Скажу больше: я имею задушевное убеждение, что мы призваны к решению большей части задач общественного порядка, к завершению большей части идей, возникших в старых обществах, к произнесению приговора по важнейшим из вопросов, которые занимают человечество. Я часто говорил и люблю повторять: «по самой сущности дела мы назначены, можно сказать, изстоящими присяжными для многих процессов, ведущихся перед великими судилищами человеческого ума и человеческого общества».

Посмотрите в самом деле, что происходит в странах, которые, может быть, слишком превозносил я, но которые все-таки представляют самое полное развитие всех сторон цивилизации. Когда возникает там новая идея, слишком часто в то же самое мгновение бросаются на нее — узкий эгоизм, ребяческое тщеславие, упорство партий, все нечестые страсти общества овладевают ею, искажают, извращают ее, и через минуту, изуродованная этими разнородными элементами, она уносится в те отвлеченные области, которыми поглощается всякая бесплодная умственная пыль. У нас нет этих страстных интересов, этих готовых мнений, этих установившихся предрассудков: каждую новую мысль мы принимаем девственными умами. В наших учреждениях, импровизированных созданиях наших государей или слабых остатках порядка вещей, перепаханного их всемогущей сохой, в наших нравах, странном смещении неловкого подражания с клочками давно истощившегося общественного быта, в наших мнениях, все еще не установившихся даже в самых неважных вопросах, ничто не мешает немедленному осуществлению всех благ, предназначаемых человечеству провидением. Не знаю, может быть, лучше было бы нам пройти все испытания, перенесенные другими христианскими народами, подобно им почерпая в испытаниях новые силы, новую энергию, новые методы; и, быть может, изолированное положение предохранило бы нас от бедствий, сопровождавших долгое и трудное воспитание этих народов; но теперь уже не об этом идет вопрос, можно заботиться только о том, чтобы верно понять настоящий характер нации, как он создан самою природою вещей и наивыгоднейшим образом воспользоваться его качествами. История уже не наша, это правда, но нам принадлежит наука: не можем мы переназначать все работы человеческого разума, но мы можем участвовать в его дальнейших трудах: прошедшее не в нашей власти, но будущность наша.

Часть мира подавлена своими преданиями, своими воспоминаниями — это факт несомненный; не станем завидовать тому ограниченному кругу, в котором она враждует. В сердце большей части наций есть глубокое, господствующее над настоящей жизнью, чувство прошедшей жизни, упорное, наполняющее проживаемые дни воспоминанием прожитых дней; оставим эти народы бороться с их неутолимым прошедшим. Мы, никогда не жили под роковым гнетом логики времен: никогда всемогущая сила не увлекала нас в бездны, изрываемые веками перед народами. Станем пользоваться огромной своею выгодой — возможностью повиноваться только голосу просвещенного разума, обдуманной воли. Будем знать, что для нас не существует безвозвратной необходимости; что мы, слава богу, не поставлены на крутом склоне, по которому столь многие другие нации увлекаются к их неизвестным судьбам; что нам дано измерять каждый шаг, который делаем, обсуждать каждую мысль, прикасающуюся к нашему уму, что нам можно надеяться успехов гораздо обширнейших, чем все успехи, ожидаемые самыми пламенными ревнителями прогресса.

Спрашиваю теперь: ничтожна ли будущность, предоставляемая мною моею родиной? Как вы думаете, бесславна ли судьба, мною для нее призы-

ваемая? А между тем эта великая ожидающая ее будущность, эта прекрасная судьба, ей предназначенная, без сомнения, будет только результатом той особенной природы русского народа, которая в первый раз была выказана в моей несчастной статье. Правда, было преувеличение в моем обвинительном акте, я спешу это сказать и радуюсь тому, что должен сделать это признание, — было преувеличение в моем обвинительном акте против великого народа, вся вина которого в сущности ограничивалась тем, что он жил за пределами всех цивилизаций, далеко от стран, где естественным образом должно было сосредоточиваться просвещение, далеко от центров, из которых оно проливалось в течение стольких веков; да, было преувеличение — в том, когда я не говорил, что мы явились в свет на почве не разработанной, не оплодотворенной предшествующими поколениями, в стране, где ничто не говорило нам об истекших временах, где не было никаких следов исчезнувшего мира. Наконец было, быть может, преувеличение в том, чтобы хотя на одну минуту печалиться о судьбе народа, из недр которого рождались могущественная натура Петра Великого, всеобъемлющий ум Ломоносова и грациозный гений Пушкина. Но все-таки надобно сказать, что фантазии нашей публики удивительны.

Всем известно, что вскоре после появления моей несчастной статьи новая драма была играна на нашей сцене<sup>10</sup>. Никогда общество не было бичевано так жестоко, никогда оно не было так втопано в грязь, никогда не были брошены так прямо в лицо публики ее смрадные нечистоты, но никогда и успех не был более полон. Неужели это значит, что ум серьезный, глубоко размышлявший об своем отечестве, об истории, об характере его народов осуждается на молчание за то, что не может гнетущее его патриотическое чувство передать публике через уста актера? Отчего же мы так охотно выслушиваем циничский урок комедии и так обижаемся серьезным словам, проникающим в сущность предметов? Сознаемся же, это происходит от того, что мы имеем еще только патриотические инстинкты, что мы еще очень далеки от обдуманного патриотизма старых народов, созревших в умственной работе, просвещенных знанием, соображениями науки; что мы любим свое отечество еще только так, как любят его младенчаствующие народы, еще не мучимые мыслью, еще не нашедшие своей идеи, еще не понявшие той роли, которую призваны играть на всемирной сцене; что наши умственные силы почти еще не развились размышлением о серьезных вещах; словом, что умственного труда у нас до сих пор почти не было. Мы с изумительной быстротою поднялись на известную степень цивилизации, справедливо возбуждающую удивление Европы; наше могущество страшит мир, наша империя обнимает пятую часть земного шара. Но всем этим, надобно признаться, мы обязаны, так сказать, только энергической воле наших государей, которой помогали физические условия страны, нами населяемой. Направляемые, формируемые, созданные нашими государями и нашим климатом, только покорностью сделались мы великим народом. Просмотрите наши летописи с начала до конца: на каждой странице вы найдете сильное действие власти, постоянное влияние местности и почти ни в чем не найдете действия и влияния общественной воли.

Краткий очерк нашей истории с такой точки зрения покажет нам этот закон во всей его очевидности.

Конечно, здесь не место рассматривать вопросы, представляющие Чаадаеву в его апологии, и доказывать правильность или неправильность решения, какое он дает им. Это потребовало бы не нескольких страниц, которыми мы располагаем, а нескольких длинных статей; притом не развивать перед читателем наши собственные взгляды на вопросы, занимающие Чаадаева, обязаны мы здесь, а только объяснить характер и основания его взглядов.

Прежде всего мы должны вспомнить о состоянии русской истории в 20-х годах, потому что идеи Чаадаева во многом зависят от того вида, в котором представляется история русской нации. Разработка ее только что начиналась или, вернее сказать, даже и не начиналась в эпоху, когда слагался образ мыслей Чаадаева. Человек умный, он видел совершенную нескладицу и пустоту во всем том, что рассказывали ему о русской истории Карамзин и другие писатели риторического направления, которых одних мы имели; кроме того, были компиляторы, усердно пересказывавшие все без разбора факты в том самом виде, как рассказаны они летописями. Летописи наши совершенно бессвязны, чужды всякого соображения. Всякий вздор занесен в них с такой же любовью, как события важные. Факты перебиты, перемешаны в рассказе. Читая летописи, вы часто не разберете даже, кто победил, кто прогнан в битве: «сразишася Володимеръци и Ноугородъци и побегоша»; кто же побежал? Владимиръци или новгородъци? Или не разбежались ли уж и те, и другие? Разрешить эту загадку вы сумеете разве по тому, что через две страницы, прочитав бездну отрывочных известий о киевских, черниговских и всяких других событиях, рассказанных так же вразумительно, — о смерти разных князей и епископов, о рождении разных князей, об освящении новых церквей, о солнечных затмениях, о погоде и т. д., — вы найдете, наконец, фразу, сказанную тоже неизвестно зачем и неизвестно к чему: «бе мор в Новеграде, непускаху бо в Новъград хлеба». Не угодно ли вам догадаться, что из этого следует, что владимирский князь занял дороги, по которым новгородцы получали хлеб с юга, что, значит, успех в войне был на его стороне, и что, следовательно, «побегоша» новгородцы, если сражение, о котором вы читали, принадлежит к той же войне, о которой тут и не упомянуто, и если после него не было других сражений, в чем вы не можете быть уверены. В таких источниках вы не найдете, разумеется, философской идеи, а те писатели, которые не ограничивались компилированием, подымали все на такие ходули, что дело выходило еще бестолковее. По Карамзину, злодей Борис Годунов и злодей Святополк Окаянный говорят одинаковым языком, имеют одинаковые понятия и управляют обществом совершенно одинаково — тем самым обществом, в котором жили Кир, Аристид, Ромул, Тит, Людовик XI и Густав Адольф: это всё люди одной эпохи, одних понятий, и общественные учреждения при них при всех были одинаковы. О римской, о французской истории можно было узнать что-нибудь из умных книг, потому и в истории греков или французов был виден какой-нибудь смысл. Но о русской истории, кроме гили, ничего нельзя было прочесть во времена молодости Чаадаева. Разумеется, умному человеку должно было показаться, что во всех событиях и переменах жизни русского народа нет ни связи, ни смысла. Мы вовсе не говорим, чтобы такое впечатление соответствовало истине. Теперь русская

история несколько разработана, хотя еще очень плохо, но все-таки хоть несколько разработана, и мы видим, что в ее развитии была связь, был некоторый смысл, — хороший или дурной, это все равно, но был смысл. Наши учреждения развивались; быть может, развивались очень дурно, под очень вредными влияниями, но все-таки было у нас движение, а не совершенный застой. Чаадаев образовался, когда не было еще ни истории Полевого, ни даже памфлетов скептической школы<sup>11</sup>: удивительно ли, что он смотрел на русскую историю, как не должны смотреть мы. Если он говорил: «В нашей истории нет смысла, а история называется историей только тогда, когда имеет смысл, а потому у нас нет истории», — если он говорил это, он только доказывал своими словами, что он человек большого ума, которого нельзя оболгать вздорною риторикой, и что по своим понятиям он гораздо выше людей, бывших тогда нашими учителями истории.

Отвергая историю, он должен был отвергать и то, что характер наш уже получил известные определенные черты от исторических событий. Ему казалось, что Петр Великий нашел свою страну листом белой бумаги, на котором можно написать что угодно. К сожалению, — нет. Были уже написаны на этом листе слова, и в уме самого Петра Великого были написаны те же слова, и он только еще раз повторил их на исписанном листе более крупным шрифтом. Эти слова не «Запад» и не «Европа», как думал Чаадаев; звуки их совершенно не таковы: европейские языки не имеют таких звуков. Куда французу или англичанину и вообще какому [бы] то ни было немцу произнести наши *Щ* и *Ы!* Это звуки восточных народов, живущих среди широких степей и необозримых тундр. Петр Великий застал нас с таким характером, какой недавно имели персияне. Ведь и у персиян была своя история; и у них события совершались не бессвязно и проходили не без следов. Мы сказали, что длинное развитие наших мыслей было бы здесь неуместно. Дело только в том, что пока русская история до Петра оставалась предметом бессмысленных компиляций или нестерпимых декламаций, не было понятно и значение реформы Петра Великого. Он жил уже не во времена наивных летописцев и мог сделаться только предметом риторических упражнений. Пока не разработали источников, — а это было уже после молодости Чаадаева, — не могли различить даже того факта, что целью деятельности Петра было создание сильной военной державы. Это простое и естественное стремление великого реформатора было закрыто от наших глаз туманом всяких пышных фраз. Ломоносов взял панегирик Плиния Траяну и при переводе его на русский язык поставил вместо имен «Траян» и «Рим» «Петр» и «Россия»<sup>12</sup>. Такие понятия оставались до последних лет. Петру приписывались все те качества и стремления, которые в каком бы то ни было панегирике приписывались какому бы то ни было знаменитому правителю. От Тита мы взяли мило-

сердие, от Брута — неумолимое правосудие, от Людовика XIV — великолепие, от Цинцинната — простоту, от Аристида — правдолюбие, от Ришелье — дипломатическое искусство и, когда соединили все это, провозгласили: «вот Петр Великий!» Чаадаев был так умен, что не верил этой нескладице; но все же он был человек своей эпохи, и следы ее остались на нем. Он мог отвергнуть панегиризм, но приходил в энтузиазм от имени Петра Великого. Он принял из книг своей молодости и понятие, что задушевною целью Петра было превращение России в европейскую страну, понимая под европейскою странюю землю, где владычествует высокая европейская цивилизация. Теперь думают, что придавать Петру Великому такое намерение — значит представлять его слабодушным мечтателем, непрактичным идеалистом, — недостатки, которых не было в его характере; думают, что цель Петра была гораздо проще, практичнее, сообразнее с его положением и понятиями. Ему нужно было сильное регулярное войско, которое умело бы драться не хуже шведских и немецких армий; ему нужно было иметь хорошие литейные заводы, пороховые фабрики; он понимал, что элементы военного могущества ненадежны, если его подданные сами не обучатся вести военную часть, как ведут ее немцы, если мы останемся по военной части в зависимости от иностранных офицеров и техников; стало быть, представлялась ему надобность выучить русских быть хорошими офицерами, инженерами, литейщиками. Раз пошедши по этой дороге, занявшись мыслью устроить самостоятельное русское войско в таком виде, как существовало войско у немцев и шведов, он по своей энергической натуре развил это стремление очень далеко и, заимствуя у немцев или шведов военные учреждения, заимствовал, кстати, мимоходом и все вообще, что встречалось его взгляду. Но эти прибавки были уже только делом второстепенным, неважным, а главное дело составляли военные учреждения. Когда некоторые из его подданных стали роптать и противиться, он, как человек пылкий и настойчивый, не уступил оппозиции, а только разгорячился от нее и стал делать все наперекор людям, его раздражавшим: они любили бороды — отнять у них бороды, они любили держать жен взаперти — выпустить жен; если бы они любили брить бороды, он заставил бы их отпускать бороды. Прежняя администрация была ему враждебна, — он ввел другую администрацию, взяв ее у немцев или шведов, не потому, что немецкие административные формы были тогда лучше русских, во-первых, они едва ли были лучше, во-вторых, — и не на эту сторону обращалось внимание, — нет, просто потому, что прежние враждебные формы надобно было заменить другими, которые были бы удобнее для своего учредителя. Ломка старины производилась просто по ее враждебности, а не по какому-нибудь другому соображению, шла война с нею, и только всего; а самая война вытекала просто из непонятливости противников Петра, вообразивших его вообще

любителем Запада, между тем как ему были нужны собственно только военные учреждения Запада. Но, разумеется, когда эта ошибка противников вызвала Петра Великого на внутреннюю войну, он действительно стал поступать будто приверженец Запада, ломая старинные учреждения и заменяя их западными.

Могут сказать: но ведь все равно, если целью Петра было и просто создание сильной военной державы, а не перенесение европейской цивилизации в Россию, — все равно, результат был тот же самый: перенесение к нам западной цивилизации. Нет, не все равно, и результат был не тот. Целью дела определяется дух его, а результат зависит от духа, в каком ведется дело. При видимом сходстве действий результаты их различны, если цели их различны. Кто учит своих воспитанников, например, юриспруденции с тою мыслью, чтобы из них вышли практические дельцы, люди, способные сделать служебную карьеру, у того образуются не такие люди не такие юристы, как у человека, научающего своих воспитанников юриспруденции с тою мыслью, чтобы они умели понимать и защищать справедливость. Результатом деятельности Петра Великого было то, что мы, получив хорошее регулярное войско, стали сильною военною державою, а не то, чтобы мы изменились в каком-нибудь другом отношении.

Петра Великого иные порицают за то, что он ввел к нам западные учреждения, изменившие нашу жизнь. Нет, жизнь наша ни в чем не изменилась от него, кроме военной стороны своей, и никакие учреждения, им введенные, кроме военных, не оказали на нас никакого нового влияния. Имена должностей изменились, а должности остались с прежними атрибутами и продолжали управляться по прежнему способу. Губернатор был тот же воевода, коллегии были теми же приказами. Бороды сбрили, немецкое платье надели, но остались при тех же самых понятиях, какие были при бородах и старинном платье. На ассамблеи ходили, но семейная жизнь со всеми своими обычаями осталась в прежнем виде. Муж не перестал бить жену и женить сына по своему, а не по его выбору. Напрасно думают, что реформа Петра Великого изменяла в чем-нибудь состояние русской нации. Она только изменяла положение русского царя в кругу европейских государей. Прежде он не имел в их советах сильного голоса, теперь получил его благодаря хорошему войску, созданному Петром.

Само собою разумеется, что мы выражаемся так безусловно только по логической необходимости отвечать на известное мнение таким же тоном, каким оно произносится. Защитники и обыкновенные противники реформы Петра Великого одинаково говорят, что она изменила всю нашу жизнь, и развивают свои мнения с эмфазом\*, придающим всеобъемлющее значение слову «всю». Когда голос возвышается до такого крика, [то,] возражая на него,

\* С напыщенностью. — *Ред.*



надобно также громко крикнуть «нет»; если произнести это слово спокойным, тихим голосом, оно не будет услышано. Но, разумеется, когда затихнет шум, поднимаемый и защитниками, и обыкновенными противниками реформы об ее будто бы чрезвычайно сильном влиянии на общественную жизнь и нравы наши, когда можно будет рассуждать об этом деле чисто ученым, не полемическим тоном, надобно будет сказать, что некоторое изменение в жизни и правах общества было произведено реформой, хотя изменение до того слабое, что много заниматься им и нет надобности. Если механика говорит, что песчинка, упавшая в Атлантический океан с испанского берега, производит волну на американском берегу, то разумеется, не могло [не] произвести некоторого изменения в других сферах жизни нововведение столь важное, как устройство сильного и хорошего регулярного войска по западному образцу. Совершенная переделка такого громадного факта, как военная часть, повлекла за собою множество переделок во всем; мы хотим только сказать, что все эти переделки в других сферах, кроме военной, ограничивались переменою имен, а не характера вещей. Разумеется, и простая перемена имен уже имеет некоторое влияние на характер вещи. Попробуйте переименовать губернатора префектом, его должность и образ действий несколько переменятся. Надобно только помнить, что чем меньшую важность мы будем приписывать перемене, произошедшей при Петре в нашей общественной жизни, тем ближе мы будем к истине. Весь дух вещей остался прежний, насколько может оставаться вещь в прежнем виде, когда изменяется только имя ее без всякого намерения изменить сущность.

У самого Петра Великого все важные для общественной жизни понятия и все принципы действия были совершенно русские понятия и принципы времен Алексея Михайловича и Федора Алексеевича. От своих противников он отличался не характером идей, а только тем, что он понимал надобность, а они не понимали надобности устроить войско по немецкому образцу. Они думали, что хорошо прежде войско,—он находил, что оно дурно. Но для чего нужно войско, как должно быть устроено государство, какими способами должно быть управляемо, каковы должны быть отношения власти к нации,—обо всем этом он думал точно так же, как и его противники. Он был истинно русским человеком, не изменившим ни одному из важных в общественной жизни понятий и привычек, господствовавших у нас во время его детства и юношества. Чтобы убедиться в этом, надобно только обратить внимание на то, как он действует. Способ его действия чисто национальный, без малейшей примеси западного характера. По особенным обстоятельствам нашей истории в XVII веке сущность русского характера в общественной жизни определялась двояким отношением власти к форме. Во-первых, власть стояла выше всяких форм, и не было форм, которые могли бы стеснять ее действие.

Людовик XIV мог мечтать, что одна его воля управляет Францией, — она действительно была сильна, но были формы, без которых она не могла обходиться и которые часто мешали ей: существовали парламенты, существовали провинциальные сословные собрания. У нас таких препятствий не было. Но зато вся деятельность была обращена на форму, сущность дела была неуловима для контроля со стороны власти. Обе эти черты остались при Петре Великом во всей силе: первую заботливо хранил он подобно своим предшественникам, вторая хранилась при ней сама собою, как в XVII веке.

Очень может быть, что этот взгляд на дело изложен нами теперь не с полной удовлетворительностью. Но мы полагаем, что чем внимательнее займется читатель проверкою его, тем больше будет он находить подтверждений ему.

На реформе Петра Великого мы так долго останавливались потому, что ее характеру совершенно соответствовал характер всей последующей государственной деятельности. Все наши императоры и императрицы продолжали дело Петра, в этом никто не сомневается. Взглядом на реформу, произведенную в начале XVIII века, определяется взгляд на продолжение этой реформы до последнего времени.

Все это мы говорили к тому, чтобы понять возникновение суждения Чаадаева о нашем нынешнем характере и положении. Если принимать, что до Петра Великого мы не имели истории, не сформировался наш характер; если принимать также, что целью деятельности Петра Великого было вложить в нас западную цивилизацию, что такова же была цель его продолжателей, то натурально будет представляться чем-то диким, нелепым наше нынешнее положение. Мы готовы были сделаться чем угодно, потому что еще ничем не были; нас полтора ста лет учили сделаться европейцами, и все-таки мы до сих пор очень плохие европейцы, — это действительно очень странно. Если посылки справедливы, то вывод из них, представляемый средою, в которой мы живем, очень неутешителен: он противоречит ожиданию, какое возбуждается посылками. Неужели мы в самом деле так уродливо созданы, что логика событий для нас не существует, что действие, на нас производимое, не может из нас сделать того, чем сделало бы людей, имеющих нормальную человеческую организацию? Если так, поневоле впадешь в отчаяние, поневоле скажешь: наша нация — очень дрянная нация. Это и сказал Чаадаев своим письмом, бывшим причиною его несчастной знаменитости.

Но дело в том, что посылки, на которых он основывался, несправедливы. У нас была история, был резко и твердо выработавшийся характер в начале XVIII века, а в следующее время сделать нас европейцами никто не хотел, — что ж тут нелепого или удивительного, если мы до сих пор плохие европейцы? Переучиваться, переформировываться гораздо труднее, нежели просто

учиться и формироваться; сильнейшее влияние было направлено к тому, чтобы мы не переформировывались и не переучивались, — вот мы и остались в сущности такими же, как были в начале XVIII века. Дело очень понятное. Те немногие из нас, которые по случайным обстоятельствам стали цивилизованными людьми (чего не бывает на свете? Ведь Ломоносову удалось же из мужика стать ученым, хотя мужицкие обстоятельства вовсе не благоприятствуют превращению мужиков в ученых людей), могут находить наше общество не соответствующим их идеалу, но только и всего. Право, если правильно смотреть на нашу историю и наши обстоятельства, скажешь: очень и очень большая заслуга с нашей стороны, что мы сделали хотя такими, каковы мы теперь. У меня есть один добрый знакомый, который до 20 лет не знал грамоты: теперь ему 21 год; в этот последний [год] он встречал [препятствия] своему образованию, но все-таки он уже почти без ошибок пишет и несколько познакомился с нашею литературою, читал Гоголя, имеет порядочное понятие об истории; чего же вам больше? Я полагаю, что можно быть довольну такими успехами и что через несколько времени он будет действительно образованным человеком.

Но одна крайность вызывает другую: именно из недовольства нашим нынешним развитием, из отчаяния, наводимого характером нашего общества, рождаются мечты о каком-то исключительном нашем положении и призвании в будущем. Читая напечатанное в «Телескопе» письмо Чаадаева, надобно было предполагать, что он разделяет эти экзальтированные надежды: если бы он не был проникнут ими, не говорил бы он так горько о нашем настоящем. Но в напечатанном письме он не успел изложить этой стороны своего взгляда. Она составляет новую и, быть может, интереснейшую часть записки, которую мы теперь печатаем. Чаадаев полагает, что мы призваны вести человечество к новым судьбам, что у нас больше сил, чем у других народов, что силы эти свежее, что мы скорее и легче других народов пойдем и осуществим те новые блага, которые еще [не] вошли в жизнь Запада, которых он без нашей помощи не может уразуметь и достичь. Словом сказать, что если мы были и еще некоторое, очень недолгое, время, всего, быть может, несколько лет, останемся учениками Запада, то очень скоро, быть может, даже еще в наше поколение, мы станем его учителями и руководителями. Эта мечта распространена у нас чрезвычайно. Не только славянофилы, над которыми подсмеиваются западники за нее, считают ее положительною истиною, — если присмотреться хорошенько к самим западникам, то окажется, что подобное чувство лежит в основе даже их убеждений<sup>13</sup>. Нам кажется, что взаимная вражда западников и славянофилов значительно усиливается этою существенною одинаковостью веры тех и других: известно, что близкие между собою партии всего ожесточеннее враждуют между собою. По крайней мере, мы до сих пор

не встречали ни одного западника, который бы не оказывался в сущности славянофилом, если признаком славянофильства считать утопию о предназначении нашем быть руководителями человечества в дальнейшем прогрессе. Быть может, мы сами обольщаемся, быть может, и мы заражены тщеславными национальными мечтами, но, по крайней мере, нам кажется, что мы чужды их. Попробуем изложить свое понятие о доводах, которыми они прикрываются.

Мнение, будто бы именно мы должны стать руководителями человечества при развитии высших фазисов цивилизации, основывается на двух предположениях, проповедуемых в большей части книг, не только у нас, но и на Западе, но тем не менее совершенно фальшивых. Во-первых, предполагается, что народы латинского и немецкого племени уже ввели в историческое дело все силы, которыми располагают, так что у них нет новых сил для создания новой жизни, совершенно непохожей на прежнюю. Во-вторых, предполагается, что мы народ совершенно свежий, характер которого еще не сложился, а только теперь в первый раз слагается, силы которого ни на что не были расходуемы.

Мы уже говорили, что это неправда. Мы также имели свою историю, долгую, сформировавшую наш характер, наполнившую нас преданиями, от которых нам так же трудно отказываться, как западным европейцам от своих понятий; нам также должно не воспитываться, а перевоспитываться. Основное наше понятие, упорнейшее наше предание — то, что мы во все вносим идею произвола. Юридические формы и личные усилия для нас кажутся бессильны и даже смешны, мы ждем всего, мы хотим все сделать силою прихоти, бесконтрольного решения; на сознательное содействие, на самопроизвольную готовность и способность других мы не надеемся, мы не хотим вести дела этими способами; первое условие успеха, даже в справедливых и добрых намерениях, для каждого из нас то, чтобы другие беспрекословно и слепо повиновались ему. Каждый из нас маленький Наполеон или, лучше сказать, Батый. Но если каждый из нас Батый, то что же происходит с обществом, которое все состоит из Батыев? Каждый из них измеряет силы другого, и, по зрелом соображении, в каждом кругу, в каждом деле оказывается архи-Батый, которому простые Батыи повинуются так же безусловно, как им в свою очередь повинуются баскаки, а баскакам — простые татары, из которых каждый тоже держит себя Батыем в покоренном ему кружке завоеванного племени, и, что всего прелестнее, само это племя привыкло считать, что так тому делу и следует быть и что иначе невозможно. От этой одной привычки, созданной долгими веками, нам отрешиться едва ли не потруднее, чем западным народам от всех своих привычек и понятий. А у нас не одна такая милая привычка; есть много и других, имеющих с нею трогательнейшее родство. Весь этот сонм азиатских идей и фактов составляет плотную коль-

чугу, кольца которой очень крепки и очень крепко связаны между собой, так что бог знает, сколько поколений пройдут на нашей земле, прежде чем кольчуга перержавеет и будут в ее прорехи достигать нашей груди чувства, приличные цивилизованным людям.

Говорят: нам легко воспользоваться уроками западной истории. Но ведь пользоваться уроком может только тот, кто понимает его, кто достаточно подготовлен, довольно просвещен. Когда мы будем так же просвещенны, как западные народы, только тогда мы будем в состоянии пользоваться их историей, хотя в той слабой степени, в какой пользуются ею сами они. Просвещаться народу — дело долгое и трудное. Положим, легче пользоваться готовым, чем самому готовить, но все-таки и по готовым книгам не скоро поймешь и узнаешь все так хорошо, как знают люди, трудившиеся над составлением этих книг. Когда у нас пропорция между грамотными и безграмотными людьми будет такова же, как в Германии, в Англии, Франции, когда у нас будет, пропорционально числу населения, выходить столько же книг, журналов и газет и будут они так же много читаться, только тогда мы будем иметь право сказать о своей нации, что она достигла такого же просвещения, как теперь эти страны. Время это настанет, но не завтра и не послезавтра. Тогда — ну, тогда другое дело: опытность и цивилизация Запада действительно будет получена нами в наследство; тогда мы станем также способны вести историческое дело вперед, но это еще далекое будущее, а пока долго еще вся наша забота должна состоять в том, чтобы догнать других.

Но когда мы догоним их, что тогда? О, тогда мы уже быстро опередим их! Вот это трудновато понять. Идет авангард и прокладывает дорогу; тяжело ему подвигаться вперед, он делает всего по две, по три версты в день; отсталые части войска идут по проложенной дороге, путь их легок, они делают в день по 30, пожалуй, по 40 верст; но как же это пойдут они таким же быстрым шагом, когда догонят авангард, когда перед ними будет тоже лежать новая местность, по которой надобно еще прокладывать дорогу? Нам кажется, что им просто придется тогда работать рядом с авангардом над проложением дороги. Конечно, число работающих рук увеличится, дело пойдет быстрее, будут пролагать нового пути не по три, а, быть может, по пяти верст в день, но будут пролагать все вместе, все рядом. Что за пошлость и тщеславие воображать себя какими-то избранниками судьбы, какими-то привилегированными, чуть не крылатыми существами, когда рассудок и честное мнение о себе велит думать, что хорошо нам будет, если мы будем со временем не хуже тех, которые теперь лучше нас, а к тому времени будут еще лучше. Будем желать того, чтобы пришлось нам когда-нибудь трудиться вместе с другими, наравне с другими над приобретением новых благ: не будем, ничего еще не сделавши, самохваленью кричать: эх вы, дрянь и гниль! — а вот мы так будем молодцы!

Но, говорят нам, авангард уже растратил или ввел в дело все свои силы; на Западе уже не остается элементов, не участвовавших в истории, таких элементов, которые могли бы придать ей новый вид. Это также совершенное заблуждение. Была на Западе история аристократического сословия; только недавно стало руководить историею среднее сословие и далеко еще не овладело ею всею, далеко еще не выказало всех своих сил, не переделало всего, что хочет и должно переделать. Да, есть вещь, которая действительно умирает на Западе; эта вещь — феодализм и олигархическое господство. Но силы среднего сословия все еще развиваются, и много, очень много улучшений в западной жизни произведет даже один этот элемент, уже много сделавший перемен. Но высшее и среднее сословия составляют только небольшую часть в каждой нации, а масса нации ни в одной еще стране не принимала деятельного, самостоятельного участия в истории. Это новый элемент, безмерно различный от прежних; он еще только готовится войти в историю. Корабль Запада плывет еще, но только по истоку реки, с каждым новым днем все шире и глубже его плавание, все величественнее вид реки.

Запад, далеко опередивший нас, далеко еще не исчерпал своих сил, — в этом отношении он таков же, как мы: страна, едва возделанная в немногих местах, которым полагательствовал случай, еще имеющая безмерные долины, которых не касался плуг. Новая жизнь возникает в этих только начинающих оживляться пространствах.

## ЧТО СЛЕДУЕТ СДЕЛАТЬ «РУССКОМУ ОБЩЕСТВУ ПАРОХОДСТВА И ТОРГОВЛИ?»<sup>1</sup>

(Ответ директора-распорядителя «Русского Общества Пароходства и Торговли» Н. А. Новосельского на статьи против управления делами этого общества. Москва \*. 1860 г.)

Целой России еще памятно знаменитое прение об арифметических задачах по поводу статей гг. Новосельского, Перозио и Смирнова, происходившее в петербургском Пассаже с лишком год тому назад. Не возвращаясь к этому несчастному предмету, не решая, было ли что-нибудь справедливое в словах г. Перозио, мы попробуем заняться исключительно «Ответом» г. Новосельского. Мы сделаем предположение, лучше которого не может ничего желать г. Новосельский, — мы предположим, что каждое слово его «Ответа» есть истина, никогда не подвергавшаяся и не могущая быть подвергнута сомнению. Исключительно на основании уверений г. Новосельского мы попробуем рассудить, что следует думать о делах Русского Общества Пароходства и Торговли.

Г. Перозио говорил, что общество «возникло при наивыгоднейших обстоятельствах». Г. Новосельский показывает, что обстоятельства эти были таковы:

1) Южный край России, среди действий возникшего Общества, был разорен войною.

2) Приморские города Южной России были разобщены, как разобщены и теперь, с внутренними областями России большую часть года дурными дорогами.

3) Вся отпускная торговля Южной России ограничивалась одними сырыми произведениями, перевозка которых пароходами при громоздкости и сравнительно низкой цене этих произведений может быть выгодною только во время усиленного спроса на них за границу или же в то время, когда

---

\* На обложке брошюры напечатано: «С.-Петербург, в типографии Рюмина и комп., в Торговой [улице], 17, 1860». Цензурное разрешение дано так же в С.-Петербурге. — *Ред.*

они вследствие удешевления перевозки к приморским пристаням (например, вследствие развития речного буксирного пароходства в южном крае), в состоянии будут выносить высший противу парусных судов пароходный фрахт; но к развитию буксирного пароходства или вообще к улучшению средств сообщения в Южной России в то время еще не приступали; заграничный спрос на хлеб из России уменьшился со времени войны вследствие достаточных урожаев за границей и дорогих цен на хлеб в Южной России, и по этим причинам фрахт из черноморских портов понизился после войны.

4) В России не было, как нет и теперь, сословия матросов для составления экипажей на пароходах Общества.

5) В России было еще труднее, чем теперь, найти людей, готовых к коммерческой береговой и судовой службе вообще, а для такой деятельности, какая предстоит Русскому Обществу Пароходства и Торговли, в особенности.

6) В России было еще труднее, чем теперь, найти искусных механиков для службы на пароходах и даже кочегаров.

7) По всем русским берегам Черного и Азовского морей не было, как нет и теперь (за исключением Севастополя, торговля которого весьма незначительна), ни одного удобного порта, ни одной удобной пристани и никаких средств для нарузки и выгрузки.

8) На всем Юге России и по всему Черному морю не было ни одного эллинга и ни одного дока для починки и окраски пароходов. При таком отсутствии эллингов и доков Русское Общество вынуждено посылать свои пароходы для починки и окраски в Марсель; а всякому понятно, до какой степени это неудобно для срочного пароходства.

9) По всему берегу Черного и Азовского морей не было ни одного механического заведения для исправления даже самых незначительных повреждений в механизмах пароходов.

10) Русские таможенные и паспортные законы, составленные еще в те времена, когда не могло быть и речи ни о пароходстве вообще, ни о срочном в особенности, подавали и подают непрерывные поводы к недоумениям и не зависящим от Общества неудовольствиям публики.

11) Возникшее при таких условиях Русское Общество Пароходства и Торговли встретило на Черном, Средиземном и даже Азовском морях соперничество компаний: Французской, Австрийской, Английской, Греческой и Турецкой. Французская и Австрийская, будучи одинаково с Русским Обществом поддерживаемы своими правительствами и получая от них немалозначительные денежные пособия, господствовали именно на тех линиях сообщения в Средиземном море, которые определены были по уставу для действий Русского Общества Пароходства и Торговли. Соперничество с этими последними компаниями было тем труднее для Русского Общества, что деятельность и управление их были в то время уже вполне организованы.

Мы выписали буквально слова «Ответа», только выпустив для краткости некоторые из доводов, служащих подтверждением их. Мы совершенно принимаем справедливость приведенных нами слов; следовательно, не имеем надобности проверять доказательств, на которых они основаны. Что же такое говорит нам г. Но-восельский?

Он говорит нам, что страна, продуктами которой должны были грузиться пароходы Русского Общества, была разорена, то есть не могла представлять значительного количества продуктов для вывоза. Положим, что Общество основывалось для надобностей не того времени, а следующих годов, когда край поправится от разорения и будет иметь более значительное количество



продуктов. Но г. Новосельский говорит, что приморские города этого края разобщены от внутренних областей, производящих продукты, — стало быть, Общество не могло надеяться на успешность действий, пока положение внутренних путей сообщения в Южной России не изменится; оно не изменилось до сих пор, по словам г. Новосельского; стало быть, и до сих пор Общество лишено основания для успешности своих действий. Но мало того, что нет путей для подвоза продуктов к пароходам Общества, — г. Новосельский прибавляет, что сами по себе эти продукты неудобны для перевоза на пароходах: они так громоздки и дешевы, что при обыкновенных обстоятельствах не в состоянии «выносить высшего против парусных судов пароходного фрахта»; итак, по свойству самых продуктов своих отпускная торговля Южной России неудобна для действий пароходного общества. Кроме того, Общество не находило для себя ни матросов, ни людей, готовых к коммерческой береговой и судовой службе, ни даже кочегаров; итак, основывался пароходный флот, не находивший себе не только продуктов для перевозки, но даже и людей, годных на службу. Этого мало: по всем русским берегам, для которых он основывался, не было ни одной удобной пристани для него, не было даже никаких средств для загрузки и выгрузки. Итак, пароходы, не имевшие ни товаров для перевозки, ни людей для своей службы, не имели даже и мест, в которых удобно могли бы загружаться или приставать. К их существованию не было ничего приготовлено до такой степени, что для починки и окраски они должны были ходить в Марсель: по всему русскому южному берегу не было ни одного механического заведения.

Мы спрашиваем теперь: дозволялось ли здравым коммерческим расчетом основывать Общество в таких обстоятельствах? Продуктов для его действий нет, людей для него нет, пристаней для него нет, ничего нужного для него нет, — зачем же нужно оно само, когда нет ему ни круга действий, ни средств действия?

Можно предположить на это ответ такого рода: правда, что русская отпускная торговля находилась в обстоятельствах очень неблагоприятных для действий пароходного общества; но сама она, эта несчастная отпускная торговля, нуждалась в пароходном обществе, так что его основание было не предметом коммерческого расчета со стороны основателей, а благородным подвигом на общую пользу, хотя бы с убытком себе. Но г. Новосельский устраняет эту мысль. Он говорит нам, что на Черном, Средиземном и Азовском морях во время основания Русского Общества уже действовали пароходы французские, австрийские, английские, греческие и турецкие; французская и австрийская пароходные компании уже «господствовали», по его выражению, на тех линиях сообщения в Средиземном море, на которых намеревалось действовать Русское Общество. Итак, если отпускная торговля южного русского берега имела надобность в пароходах, она уже

имела пароходы к своим услугам. Она нимало не требовала, чтобы являлись какие-то благодетели для нее, служащие ей с убытком для русской нации: она могла уже располагать каким ей угодно числом пароходов, содержание которых не приносило ни одной копейки убытка русскому народу. Зачем же нам нужно было входить для нее в убытки, нимало для нее не нужные?

А положение дел, по словам г. Новосельского, было действительно таково, что Русское Общество Пароходства и Торговли не могло поддерживать своего существования без громадных жертвований от русской нации. Г. Перозио говорил, что пособие, даваемое со стороны правительства, служило совершенным обеспечением Русскому Обществу. Г. Новосельский утверждает, что это не так. Между тем, по его собственным словам, пособие правительства в 1858 году составляло гораздо более миллиона рублей. Зачем же поглотило Русское Общество Пароходства столько денег у русской нации? Зачем русская нация должна бросать на это дело такие колоссальные суммы? У г. Новосельского находим следующее разъяснение:

Содержание почтового сообщения вообще, а морского в особенности, вызывается обыкновенно не столько частными потребностями, сколько государственными. Бывает, конечно, что частные и государственные потребности соединяются в равной степени; но это может случиться только между некоторыми пунктами, где постоянно значительное передвижение товаров, пассажиров и почтовой корреспонденции. Таких пунктов весьма немного, и правильное сообщение между ними устраивается обыкновенно само собою, без всякого содействия и требования правительства. Но между теми пунктами, которые не находятся в таком исключительном положении, при безучастии правительства пароходное сообщение или вовсе не существовало бы, или же оно производилось бы не срочно, завися от выгоды заработка.

Имея в виду такое двоякое назначение почтовых пароходных компаний, а равно и то, что выдаваемые им правительственные пособия относятся в государственном бюджете к категории расходов по устройству путей сообщения и по содержанию почт, нельзя, кажется, признать их ни бесполезными, ни излишними. Если бы не было подобных компаний, остались бы вместо них правительственные учреждения с тем же назначением и расходы на эти учреждения покрывались бы исключительно из государственных доходов, тогда как со времени передачи морских почтовых сообщений частным компаниям в покрытии расходов на содержание этих сообщений и военных перевозочных средств участвует частный капитал с немалой для него выгодой. Употребление государственных сумм осталось то же, но только со времени учреждения частного почтового пароходства они приняли наименование пособий (*subventions de l'état*). Если же в последнее время повсюду увеличиваются размеры морского почтового сообщения, то, разумеется, не потому, что оно передано в частные руки, но потому, что в таком увеличении признается надобность и что удовлетворение этой надобности обходится дешевле помощью частных компаний, чем обходилось при казенном управлении. Само собою разумеется, что по мере требований правительство определяется и размер пособий учреждаемым ими частным обществам. О размере этих пособий можно судить лишь относительно, то есть смотря по условиям, при которых возможно осуществление возлагаемых на Общество обязанностей, и, во всяком случае, на основании действительного, а не умозрительного только знакомства с этими условиями, и уж никак не по одной величине цифр пособия. История пароходных морских компаний показывает, что где

требования правительств значительно превышали меру их собственной прежней деятельности, там назначались и пособия компаниям в размере, превышающем прежде лежавшие на государстве расходы. Но где деятельность морских почтовых пароходных обществ оставлена в том объеме, в каком действовало прежде само правительство, там, вследствие передачи предприятия в частные руки, немедленно по образовании этих обществ уменьшались и государственные расходы. Возьмем для примера Русское Общество Пароходства и Торговли и французскую компанию Messageries Impériales. Русское Общество учреждено взамен Новороссийской экспедиции, которая действовала только в Черном море; удивительно ли, что мера правительственного пособия Русскому Обществу, которое, сверх усиления действий по черноморским линиям, содержит еще сообщения в Средиземном море и с Англией, превышает бывшие расходы правительства на Новороссийскую экспедицию? Французской компании Messageries Impériales, напротив, передано от правительства в 1851 году пароходное сообщение в Средиземном море почти в том же объеме, в каком содержало его само правительство в течение 14 лет, и вследствие этого государственные расходы не только не увеличились, но значительно сократились. Именно, правительство тратило прежде на содержание этих сообщений ежегодно до 4 500 000 франков, не включая общих расходов по управлению, процентов на затраченный капитал, на страхование и погашение имущества; а с передачею морского почтового сообщения в частные руки пособие правительства составляло в первое время лишь 2 700 000 франков, чем и ограничили все расходы государства на этот предмет. Но, по мере расширения, по воле правительства, круга деятельности Messageries Impériales, постоянно увеличивался и размер правительственного пособия, которое в настоящее время уже доходит: в Черном и Средиземном морях до 6 500 000 франков, а в трансатлантических рейсах — до 12 000 000 франков.

Совершенно так. Если для правительства необходимо срочное почтовое сообщение между известными гаванями и если деятельность частных сношений между этими гаванями недостаточна для коммерческого ведения срочного почтового пароходства между этими гаванями, правительство имеет надобность помогать содержанию такого пароходства выдачею пособий. Нет, например, никакого сомнения в том, что для английского правительства существует надобность в почтовых сношениях с Канадою и Соединенными Штатами. Но какая надобность может существовать для русского правительства в почтовых пароходных сообщениях между южно-русским берегом и Мальтою, Марселию, Триестом и английскими гаванями? Свои сношения с Западною Европою русское правительство ведет прямо из Петербурга, а не чрез Одессу. Правительственные депеши в Вену, Париж и Лондон идут не чрез Одессу. Нам кажется, что для правительства решительно нет надобности в содержании почтового пароходства между берегами Западной Европы и южным русским берегом. Другое дело — правильное сообщение между разными городами самого южного берега. Если бы оказалось, что пересылать почту между ними на пароходах дешевле, чем отправлять ее сухим путем, правительство имело бы выгоду содержать пароходы для этих сообщений между русскими городами или давать пособия какой-нибудь компании, содержащей их. Но обязанности такой компании нисколько не походили бы на огромный круг действий

Русского Общества. Содержание почты между Одессою, Херсоном, Севастополем, Феодосиею, Керчью, Бердянском и Ростовом не имеет ничего общего с рейсами в Марсель и в английские гавани. Вероятно, есть также правительственная надобность отправлять через Одессу морем почту в Константинополь; если торговые сношения между Одессою и Константинополем недостаточны для поддержания правильных рейсов по этой линии, правительственное пособие тут было бы также следствием надобности. Мы не можем в точности определить, сколько и каких пароходов понадобилось бы для полного удовлетворения обем этим надобностям; может быть, мы сделаем слишком скупую оценку, положив, что один пароход в 100 сил мог бы вполне удовлетворить всей действительной надобности почтовых сообщений между Одессою, Таганрогом и городами, лежащими вдоль этой линии; что точно так же одного такого же парохода было бы достаточно на линию между Одессою и Константинополем. Но если кому покажется мало по одному пароходу на каждую из этих линий, положим — по два парохода, — этого числа уже за глаза было бы достаточно. Итак, содержание четырех небольших пароходов или пособие на их содержание — вот наибольший предел пожертвований, каких может требовать правительственная надобность почтовых сношений между Константинополем и Одессою, между Одессою и Таганрогом. Если на этих линиях Русское Общество Пароходства и Торговли содержит большее число пароходов или содержит пароходы большего количества сил, чем какое нужно для почтовых сообщений, весь излишек расходов не основывается уже на правительственной надобности. А содержание пароходов для рейсов по Средиземному морю и Атлантическому океану решительно уже не имеет никакого соотношения с почтовыми надобностями русского правительства.

Зачем же Русское Общество Пароходства и Торговли содержит эти лишние пароходы для рейсов по Черному морю? Зачем оно получает правительственное пособие за лишние рейсы этих лишних пароходов? Зачем оно берет пособия для рейсов по Средиземному морю и в Англию? Зачем это делает оно, мы не знаем, и можем знать только то, что оно во всех этих случаях берет с правительства деньги совершенно даром.

Мы не знаем, какого количества денег было бы достаточно на пособие какой-нибудь частной компании, производящей только действительно нужное для правительства число рейсов по линиям из Одессы в Таганрог и Константинополь; положительно можно сказать только одно, что вся нужная на то сумма была бы ничтожна по сравнению с громадным количеством казенных денег, поглощаемых теперь Русским Обществом Пароходства и Торговли. Из 1 144 573 р. 94 к., взятых этим Обществом с правительства в 1858 году, какое число тысяч рублей или десятков тысяч рублей следует считать взятыми за исполнение дела, нужного прави-

тельству, мы не умеем сказать в точности: может быть, десять тысяч рублей, может быть, двадцать тысяч рублей, положим — хоть пятьдесят тысяч рублей; но уж никак не двести тысяч, даже не сто тысяч, — даже ста тысяч было бы слишком много на действительно нужное пособие четырем маленьким пароходам. Кладите какую хотите высокую норму этой действительно нужной для правительства части расхода, все-таки она будет ничтожной долей в огромной массе денег, поглощаемых Русским Обществом Пароходства и Торговли из государственных доходов.

Вот только об этом мы и говорим теперь; как управляет своими делами Русское Общество Пароходства и Торговли, мы здесь не разбираем. Мы хотим предполагать здесь полную справедливость в уверениях г. Новосельского, что оно управляет своими делами превосходно. Мы только спрашиваем: какою причиною может оправдаться самое существование Русского Общества Пароходства и Торговли, берущего такую массу денег у русской нации?

Мы видим, что существование такого общества не основывается на почтовых надобностях правительства. Сам г. Новосельский потрудился объяснить нам, что с коммерческой стороны существование Русского Общества Пароходства и Торговли не вызывалось надобностями отпускной торговли южного берега и не соответствовало ни качеству, ни количеству продуктов, никаким другим условиям коммерческого предприятия. Мы спрашиваем: зачем же возникло, зачем существует оно? Чем существует оно, это мы знаем. Сам г. Новосельский объясняет нам (на стр. 9 своего «Ответа»), что расходы Общества на содержание пароходов, их погашение, страхование и, частью, на учреждение и содержание ремонтных заведений, то есть значительнейшая половина всех расходов Общества, покрывается правительственным пособием. Действительно, на странице 108 его «Ответа» мы видим, что все количество расходов Русского Общества Пароходства и Торговли в 1858 году простиралось до 1 670 182 руб. 81 к.; а на стр. 9 мы видим, что правительственное пособие в этом году составляло 1 144 573 руб. 94 к., то есть правительственным пособием покрывались более чем две трети всех расходов Общества.

Прежняя полемика о делах Русского Общества Пароходства и Торговли относилась к управлению делами Общества, имела в виду охранение выгод его акционеров, — нам до этого никакого нет дела. Русское Общество Пароходства и Торговли устроилось на таких основаниях, что вопрос о выгодах его акционеров ничтожен перед вопросом об огромных пожертвованиях русской нации. Пусть акционеры станут получать хотя по 20 процентов дивиденда, русскому государству не станет от этого легче. Мы хотим знать, какими выгодами не для своих акционеров, а для русской нации вознаграждает или может когда-нибудь вознаградить это Общество русскую нацию за миллионы, ею брошенные и

бросаемые на него? Г. Новосельский потрудился представить в своем «*Ответе*» материалы для разрешения нашего вопроса.

Исходный пункт действий Русского Общества есть Одесса, стоящая в стороне от европейского движения на восток и отделенная расстоянием и дурными дорогами (весною, осенью и зимою) от всей остальной России. Так же уединенно от внутренних областей стоят при море все прочие южно-русские города. Поэтому приток к ним товаров и пассажиров сравнительно весьма слаб; собственное же население Южной России незначительно. Пассажирское передвижение между южно-русскими портами затрудняется общими для всей России причинами, между прочим стеснительностью паспортной системы и отсутствием всяких удобств для остановок и жизни в городах. Оно, правда, усиливается постепенно вследствие частого и срочного плавания пароходов и весьма умеренной платы за провоз; но развитие его еще слишком далеко от того деятельного движения, которое мы видим, например, по берегам Италии, на линии от Марселя в Египет, из Триеста в Турцию и на других подобных линиях иностранных компаний. Торговля Южной России, как уже было замечено, заключается преимущественно в отпуске сырых продуктов, не выносящих высокого фрахта, особенно же хлеба, спрос на который за границу со времени войны значительно уменьшился. Наконец, по причине мелководия и беззащитности южно-русских рейдов, пароходы вынуждены останавливаться большей частью в дальнем расстоянии от городов, вследствие чего удорожается нагрузка, следовательно, повышается и фрахт. *Messageries Impériales* и Австрийский Ллойд, напротив, имеют исходными пунктами своих действий: первые — Марсель, а второй — Триест. Тот и другой из этих городов соединены железными дорогами и шоссе с важнейшими местностями своих государств и с общей сетью европейских железных дорог. Поэтому Триест и Марсель стягивают к себе грузы и пассажиров не только из тех государств, в которых они находятся, но также из всех неприморских стран, соединенных с ними сетью железных дорог, каналами, судоходными реками и шоссе. К этим двум портам направляются с сухого пути товары и пассажиры всей Западной и Средней Европы, следующие к портам Средиземного моря и вообще на восток: в Египет, Сирию, Грецию и через Трезбизонд\* в Персию; а с моря к ним же направляются пассажиры и товары из восточных стран в Западную и Среднюю Европу. Таким образом компании *Messageries* и Австрийский Ллойд — даже независимо от давности их существования — имеют уже то огромное преимущество перед Русским Обществом Пароходства и Торговли, что исходные пункты их деятельности суть вместе и средоточия отпускной и привозной торговли с востоком *всей Средней и Западной Европы*.

Что сказать после этого? Дело ясно. Мы уже знали от г. Новосельского, что Русское Общество Пароходства и Торговли было основано в обстоятельствах, в которых не было никакой коммерческой возможности основываться подобному предприятию, то есть не было ему никакой перспективы, кроме как содержаться на счет нации. Мы теперь не имеем нужды разыскивать, до какой степени изменились эти убыточные обстоятельства с той поры, и если еще они не изменились, то скоро ли они могут замениться более выгодными. Сам г. Новосельский потрудился теперь доказать нам, что даже и тогда, когда будет сделано все зависящее от человеческих сил для наилучше-возможной обстановки, сама природа, само географическое положение будет удерживать наше

\* Трапезунд. — *Ред.*

Пароходное Общество южного берега в условиях деятельности на Средиземном море и Атлантическом океане, чрезмерно невыгодных по сравнению с пароходными обществами Триеста и Марсели. До той поры, пока не изменится весь баланс всемирной торговли, до той поры, пока индийская и китайская торговля не проложит себе новых путей в Европу, пока английская и немецкая торговля не проложит себе новых путей в Центральную Азию и Китай, пароходы Одессы и южного берега России не могут выдерживать на Средиземном море, а тем более на Атлантическом океане, соперничества с пароходами приморских городов Западной Европы, имеющих более выгодное положение по отношению к нынешним торговым путям. Торговля тех городов — торговля целой Европы: это говорит нам сам г. Новосельский; торговля Одессы — не больше как торговля Одессы и прилежащих к ней русских губерний: это опять говорит нам сам г. Новосельский. Заключение очевидно: борьба слишком неравна, соперничество невозможно.

То есть как же невозможно? Очень возможно; мы видим, что возможно. Мы знать ничего не хотим; хотим, чтобы Одесса делала то, чего не может делать, — и, как видим, она делает: пароходы Одесского порта плавают себе куда только им вздумается, плавают себе в Марсель, в Англию, и акционеры их получают дивиденд. Почему бы им не плавать также в Рио-Жанейро и в Кантон? Акционеры их тоже получали бы дивиденд при системе, по которой, как говорит сам г. Новосельский, покрываются правительственным пособием расходы на содержание пароходов, их погашение, и пр. и пр. Нет, мы не отвяжемся от вопроса: зачем же они плавают туда, куда им не нужно плавать? И зачем они существуют, когда существуют только в убыток русской нации?

А как же не существовать у нас пароходному Обществу, получающему правительственное пособие, когда существуют такие общества в Англии, во Франции, в Австрии? Англия нам не пример; у ней есть необходимость содержать правильные почтовые сообщения с колониями за океаном и с Соединенными Штатами. С Канадою и Соединенными Штатами Англия ведет торговый оборот, превышающий всю торговлю всех русских портов со всеми странами земного шара. Австрия тоже нам не пример. Мы видим, каких результатов достигает ее финансовая система, и не дай бог не только нам, русским, но и никому на свете ставить себе за образец Австрию. Остается Франция; но ведь у Франции есть Алжирия; она служит оправданием таких пожертвований на почтовые пароходные сообщения, которые не имели бы оснований у нас. Впрочем, действительною надобностью в почтовых сообщениях с Алжириею и с иностранными берегами, важными для Франции, далеко еще не объясняется промадность пособий, выдаваемых французским правительством Обществу французского почтового пароходства. Главная причина тут другая:

Франция хочет иметь военный флот сильнее английского; она хочет иметь большое число транспортных пароходов для пособия своим военным кораблям в случае войны с Англиею. Нам нет никакой надобности искать войны ни с Англиею, ни с Франциею. Наш военный флот не имеет ни надобностей, ни притязаний равняться многочисленностью ни английскому, ни французскому. Зачем же нам тратить деньги на то, на что бросает их Франция по национальному тщеславию? Тщеславие не ведет ни к чему хорошему; не ведет оно и Францию ни к чему, кроме убытков. Но Франция вдвое или втрое богаче нас. Она может бросать миллионы, а нам бросать их не приходится: мы не так богаты.

Зачем же существует Русское Общество Пароходства и Торговли? Для истощения средств наших, которые не так изобильны, чтобы не нужна была нам строгая экономия.

Мы обращаемся к г. Новосельскому с одним вопросом: сколько всех денег взяло до сих пор Русское Общество Пароходства и Торговли у правительства в виде взноса за акции и в виде пособий разного наименования? Как бы ни думали мы об административных способностях г. Новосельского, мы считаем его человеком честным и обращаемся к нему с этим вопросом, как к человеку честному. Пусть он сочтет, сколько миллионов поглощено из государственных доходов Русским Обществом Пароходства и Торговли: пять миллионов, шесть миллионов или больше? Не довольно ли уже брошено на него денег? Нужно ли еще и дальше тратить нам на него каждый год более миллиона?

Основание Русского Общества Пароходства и Торговли было ошибкою, очень убыточною для нации; чем долее будем мы упорствовать в этой ошибке, теперь уже до очевидности раскрытой словами самого г. Новосельского, тем больше мы только будем напрасно изнувать себя; чем скорее мы исправим ее, тем лучше. Из показаний самого г. Новосельского мы видим, что способ к ее исправлению один: закрытие Русского Общества Пароходства и Торговли. Сам г. Новосельский объясняет нам, что обстоятельства, в которых возникло оно, были чрезвычайно невыгодны («если все это, — говорит он, перечислив условия, при которых основано было Общество, — составляет *наивыгоднейшее* для возникающего предприятия обстоятельства, то желательно было бы знать, что может быть названо *наиневыгоднейшими* обстоятельствами?» — «Ответ», стр. 4). Важнейшие из этих, по его собственному выражению, наиневыгоднейших обстоятельств таковы, что не отвергаемы до сих пор и очень долго еще не будут отвергнуты или даже таковы, что никак не будут отвергнуты до совершенного изменения путей всемирной торговли. При таком положении дел, обнаруживающемся из самых слов г. Новосельского, продолжать предприятие, не ведущее ни к чему, кроме громадных убытков нации, было бы совершенно излишним истощением наших средств, размер которых не допускает мотовства.



Итак, мы приглашаем Русское Общество Пароходства и Торговли приступить к развязке, возлагаемой на него обязанностью патриотизма, — приступить к ликвидации своих дел: пусть оно продаст казне или какому-нибудь частному обществу те немногие из своих пароходов, которые действительно нужны на содержание почтовых сообщений по южному русскому берегу и между Одессою и Константинополем, по единственным линиям, содержание которых может считаться не напрасным; пусть оно продаст остальные свои пароходы, кому хочет; пусть оно продаст в частные руки или казне свои механические и другие заведения; пусть оно прекратит свои дела. Если оно исполнит это, можно будет сказать: основатели и распорядители Русского Общества Пароходства и Торговли поступили как люди благородные. Увидев, что их предприятие ошибочно, что их выгоды находятся в противоречии с выгодами нации, они избавили нацию от колоссальных убытков.

Торговля южного берега не пострадает от уничтожения предприятия, которое не нужно для нее. Оживление торговли производится не такими способами, какими думало помочь ей Русское Общество Пароходства и Торговли. Торговля оживляется не тем, чтобы брать у нации деньги, — этим, напротив, уменьшаются средства нации для ведения торговли, то есть убивается торговля. Для оживления торговли южного русского берега нужны совершенно другие вещи, из которых многие вычислены самим г. Новосельским. Для этого прежде всего нужно устройство внутренних путей сообщения, проложение хороших дорог от мест, производящих хлеб, к черноморским гаваням. Нужно, кроме того, восстановление кредита, который восстанавливается бережливостью в национальных расходах. Бережливость в государственных расходах будет очень сильным средством к поднятию благосостояния жителей государства, в том числе и провинций, прилежащих к южному берегу; а возвышение благосостояния этих провинций послужит главным источником расширения всяких торговых их оборотов, в том числе и отпускнуой торговли пристаней южного берега.

Нечего опасаться, чтобы оказался недостаток в торговых судах для этой торговли, парусных или пароходных, каких она будет требовать. И без Русского Общества Пароходства и Торговли потребность эта будет удовлетворяться: сам г. Новосельский говорит, что у Русского Общества Пароходства и Торговли очень много соперничающих компаний; они будут рады дать своим торговым флотам все развитие, какого потребует торговля южного русского берега; готовности служить ей у них и у частных судовладельцев никак не меньше, чем у Русского Общества Пароходства и Торговли, и разница лишь та, что свои услуги они оказывают и будут оказывать без малейших убытков для русской казны, а Русское Общество Пароходства и Торговли требует от

нее громадных пожертвований. Очевидно даже, что торговля южного берега станет по закрытии Русского Общества Пароходства и Торговли не только развиваться быстрее сама, но и будет находить гораздо лучшее и полнейшее удовлетворение своим надобностям в каких бы то ни было, парусных или пароходных, судах для отправления своих товаров за море, чем при существовании Русского Общества Пароходства и Торговли. Громадные пособия, получаемые этим Обществом, прямо служат стеснением для других компаний и частных судовладельцев, которые желали бы предлагать свои пароходы к услугам негониантов наших южных пристаней. Закрытие Русского Общества Пароходства и Торговли необходимо для того, чтобы торговля южного берега увидела себя в естественных, нестесненных условиях для отправления своих товаров в гавани Франции и Англии.

Необходимость закрытия Русского Общества Пароходства и Торговли для избавления русской нации от напрасных громадных убытков и для блага самой торговли южного русского берега — вот заключение, к которому приводят нас объяснения, высказанные самим директором-распорядителем Русского Общества Пароходства и Торговли, г. Новосельским, в его «Ответе».

## О РЕКРУТСКОЙ ПОВИННОСТИ

Нам доставлены заметки «О рекрутской повинности», написанные г. Волковым (в Кяхте). Помещаем существенные места этой небольшой статьи.

Оба способа отправления рекрутской повинности, как очередной, так и жеребьевой, имеют свои невыгоды. О невыгодах очередного порядка довольно будет сказать, что иногда семейства, состоящие даже из 3-х работников, вовсе не отправляют рекрутской повинности по телесным только недостаткам всех братьев, тогда как из семейства, менее обязанного к ней (например, два брата, не достигшие 60 лет, и племянник их, имеющий все нужные качества), берется рекрут, и семейство остается без поддержки. В жеребьевом порядке вся справедливость зависит от случайности. Например, если в данное время в одном семействе находится три работника: 30, 25 и 20 лет, — в первый набор жребий на это семейство, по счастью, не выпадет; к следующему же набору, бывающему через два года, семейство это отдалится уже от очереди: закон обязывает ставить на очередь людей, имеющих 20 лет, и только по недостатку 20 и 21-летних дает жребий 22-летним; если же младший член того семейства, о котором здесь говорится, или не будет поставлен на жребий, как 22-летний, или опять ему не выпадет жребий, — тогда при третьем наборе семейства это еще более отдалится от жеребья, тогда как обязанность его в поставке рекрута должна, в сравнении с другими семействами, увеличиваться. Таким образом часто случается, что большие семейства с полным составом работников остаются вовсе избавлены от повинности и заменяются другими, менее обязанными. Кроме того, при жеребьевом порядке много уходит в рекруты людей, оставляющих малолетние семейства; для них в жеребьевом порядке нет изъятия, тогда как по очередному порядку идут в рекруты сначала холостые, потом женатые бездетные и уже по недостатку их отдаются женатые, имеющие детей.

Самым лучшим и справедливым способом было бы несение рекрутской повинности посредством охотников; стоит только возложить на целое общество или участок, состоящий не менее как из 1000 душ, сбор особых средств, чтобы иметь возможность выдавать поступающим в рекруты охотникам значительную награду. Потребную для этого сумму следует собирать со всех членов общества, обязанных нести рекрутскую повинность. Тогда повинность эта упала бы на всех равно.

Потому весьма полезно было бы установить при отправлении рекрутской повинности, сначала хотя по городам, следующий порядок:

1) Каждое общество или участок избирает ежегодно из среды своей 24 человека добросовестных и рекрутского старосту.

2) Добросовестные вместе с рекрутским старостою составляют ежегодно списки наличным членам своего общества или участка от 18 до 36-летнего возраста.

3) Этот общий список проверяется один раз в году в общем собрании общества под председательством градского головы или бургомистра, или городского судьи.

4) По объявлении набора устанавливается особый сбор по приговору общества, составляемому также в общем собрании под председательством городского головы. Размер этого сбора должен простираться по числу следующих с общества или участка рекрутов, полагая по 400 р. на каждого, и какую-либо часть на расходы, нужные при сдаче, и обмундирование рекрутов.

5) Способ сбора или раскладки предоставляется самому обществу, которое может раздать эти деньги по числу душ или по состояниям, или посредством добровольной складки, или другим в обществе установленным способом.

*Примечание.* Можно бы предоставить обществам составлять эту сумму одновременно, разлагая взнос ее на две половины года, как платятся подати, только бы иметь эту сумму всегда в готовности. Конечно, желалось бы, чтобы для отправления рекрутской повинности образовались в каждом обществе особые рекрутские капиталы, чтобы не прибегать к ежегодному сбору или раскладкам; впрочем, со временем можно ожидать, что все общества примут подобные меры.

6) По получении манифеста о наборе добросовестные вызывают охотников к поступлению в рекруты.

7) Если охотников не окажется или число их будет недостаточно для пополнения числа следующих с общества или участка рекрут, тогда добросовестные составляющие уже очередной и жеребьевой списки, в которых первое место должны занимать холостые молодые люди, годные в рекруты, считая таковых для рекрута по 5 человек; им дается жребий отдельно от прочих членов общества; когда они все вынут жеребьи и полного количества рекрутов не окажется, тогда остальные берутся уже с прочих членов общества.

8) При существовании подобных правил каждое общество, конечно, будет стараться отправлять рекрутскую повинность посредством охотников; для этого следует ему увеличивать свои средства. Итак, можно бы было предоставить большесемейным откупаться от очереди, внося в общественный рекрутский капитал по 400 р., что и должно быть поставлено этому семейству в рекрутских очередных списках послугой.

9) Поступающим в рекруты охотой или по очереди, или по жеребью выдается награда не менее 400 р. Если же общество увидит, что награда эта не привлекает охотников и средства общества позволяют, то оно может увеличить ее по своему усмотрению, объявив об этом благовременнее.

10) Из следующей рекруту награды  $\frac{1}{4}$  часть, то есть 100 р., выдается ему на руки, остальные 3 части (300 р.) отдаются в проценты; из полученных процентов половина выдается на содержание оставшегося после рекрута семейства, остальные проценты причисляются к капиталу; если же у рекрута не останется никакого семейства, то все проценты причитаются к капиталу, который и выдается ему по выходе в отставку. Если он во время службы бежит или сделает такое преступление, которое лишает его всех прав состояния, то деньги его поступают в пользу наследников, а по неимению их, как выморочные, — в пользу общества.

11) Поступающему в рекруты следует предоставить право избирать из среды общества опекуна, который ежегодно, получая из думы или ратуши сведения о состоянии капитала, сообщает их рекруту.

12) Всеми этими правами должны пользоваться и охотники, поступающие в зачет будущих наборов; они зачисляются обществу в первый же набор.

Установление подобного порядка очень облегчит отправление рекрутской повинности.

Мысли, очень кратко изложенные г. Волковым, представлены в гораздо более развитой форме неизвестным автором статьи, помещенной недавно в одном из специальных наших журналов. Предмет так важен, а начинать об нем речь нам от самих себя так затруднительно, что мы решаемся сделать очень большие заимствования из статьи этого журнала, или, прямее говоря, перепечатать большую половину ее. Читатель увидит, что план автора этой статьи во всех важных чертах совершенно сходен с мыслями, к которым, конечно, совершенно независимо от него пришел г. Волков; судя по времени, в Кяхте книжка журнала, заключающего в себе статью о рекрутской повинности, получена была спустя уже очень много времени после того, как отправил в Петербург свои заметки г. Волков. Такое согласие взглядов, конечно, усиливает вес мыслей, предлагаемых и г. Волковым, и автором статьи.

Рекрутская повинность в мещанских обществах отправляется в России в настоящее время по двум системам: очередной и жеребьевой. В обоих случаях повинность эта отбывается обществом натурою и притом за все число ревизских душ, состоящих в нем, кроме льготных. В основании очередной системы лежит та мысль, что как мещанские общества слагаются из семей, представляющих собою как бы отдельные общества, члены которых по духу нашего законодательства обязаны платить все подати и отправлять возлагаемые на них законом повинности сообща, то посему и рекрутская повинность должна быть отбываема не каждым членом общества отдельно, а семьями.

Таким образом по этой системе, семья, давшая рекрута, становится на некоторое время свободною от этой повинности. Большая или меньшая продолжительность этого льготного времени зависит от состава семьи: чем больше рабочих рук, тем льготный период меньше, и наоборот. Следовательно, сущность этой системы заключается в том, что семьи дают рекрут поочередно, а очередь обуславливается числом рабочих сил и душ, в ней заключающихся.

Основная же мысль жеребьевой системы заключается в том, что не семьи, составляющие общества, а каждый член его отдельно должен участвовать в отправлении рекрутской повинности по достижении определенного возраста, а именно 20 и 21 года. А потому при объявлении набора призываются к отправлению его все молодые люди, имеющие назначенный возраст; но как таких одноклассов всегда в обществе больше, нежели сколько требуется для исполнения набора, то кому из них идти в рекруты, — решает жребий; остальные же, за исключением отчисляемых в запасные и подставные\*, освобождаются навсегда от этой повинности, кроме тех случаев, когда лиц, имеющих призываемый возраст и годных к военной службе, окажется меньше, нежели сколько их нужно для отправления набора: в таком случае призывается в пособие тому возрасту следующий вышший и т. д.

Все дальнейшие подробности в приложении этих систем к самому делу должны бы прямо вытекать из главных начал их; но как для поступления в военную службу необходимо иметь определенные физические качества и, сверх того, не каждая семья по своему положению может дать одного из ее членов в рекруты, не лишаясь совершенно средств к пропитанию своему честным трудом, то вследствие этого, а также и по некоторым другим причинам, оказалось необходимым при взимании рекрут как по той, так и по

\* Подочередной, подставляемый к очередному рекруту на случай надобности. — *Ред.*

другой системе делать некоторые исключения. А как по правилам обеих систем, лица, освобождаемые почему-либо от рекрутства, не несут в возмездие за это никакой другой повинности в пользу общества, то от сего тотчас же произошла неравномерность в распределении тягости этой повинности на членов одного и того же сословия, и затем явились льготы для одних, влекущие за собою обременение для других, без всякого за то вознаграждения со стороны первых.

При изучении подробностей обеих систем недостатки их и вытекающие из тех недостатков последствия выдаются так резко, что каждый невольно должен притти к мысли о настоятельной необходимости или заменить эти системы новою, или избрав лучшую из них, сделать в ней исправления, указываемые опытом.

Автор, говорящий собственно только о мещанских обществах, перечисляет неудобства той и другой системы в применении к ним:

1) Первый и главный недостаток, общий обеим рекрутским системам, состоит в том, что, как выше сказано, все члены мещанского общества участвуют в отбывании рекрутской повинности. Слабосилие, некоторые весьма обыкновенные болезни, как, например, золотушное состояние, выражающееся хотя и незначительными опухолями шейных желез, но не позволяющее носить кивер или каску, незначительная хромота, происходящая от того, что одна нога несколько короче другой, наконец, малый рост и тому подобные недостатки, хотя и не мешают исполнять все или, по крайней мере, почти все работы, но относятся к разряду таких физических недостатков, с коими воспрещено принимать в военную службу.

А как мещанские общества отправляют рекрутскую повинность только натурою, то мещане с помянутыми недостатками совершенно избавляются от этой повинности; общество же, давая рекрут по числу ревизских душ, вынуждено давать их и за неспособных, не получая за то с них никакого возмездия; а потому тягость этой повинности падает только на те семьи, где есть члены, годные к военной службе. Таким образом семья, которой ни по очереди, ни по жеребью не следует дать рекрута, весьма часто дает его только потому, что в тех семьях, которые стоят по списку выше, оказалось несколько человек негодных. За что же одни семьи пользуются льготой лишь вследствие того, что члены их имеют некоторые физические недостатки, а другие несут за них повинность, и часто с полным расстройством своего семейного быта, без всякого за то вознаграждения?

Для ближайшего усмотрения подобных несправедливостей, как прямых последствий существующих рекрутских систем, возьмем в пример следующие два семейства:

1) Андрей Петров . . . . . 49 лет	2) Антон Иванов . . . . . 58 лет
его жена Вера . . . . . 47 »	его сын Прокофий . . . . . 39 »
их дети: Николай . . . . . 20 »	Прокофия жена Анна . . . 33 »
Петр . . . . . 15 »	их дети: Иван . . . . . 20 »
брат Павел . . . . . 40 »	Андрей . . . . . 12 »
его жена Анна . . . . . 38 »	Петр . . . . . 5 »
их сын Антон . . . . . 19 »	Павел . . . . . 3 »
	Анна . . . . . 14 »
	Агафья . . . . . 8 »

Итого 7 душ, из коих 5 мужеского пола и почти все работники; хотя Петр и не достиг еще законных лет работника.

Итого 9 душ, из них 6 мужеского, из коих только три работника.

По очередной системе первое семейство должно стать на очередь раньше второго, а по жеребьевой — члены их Иван и Николай должны быть призваны одновременно. Допустим теперь, что Николай малоросл, а Антон золотушен — и вот семья благоденствует благодаря недостаткам, которые хотя и не мешают всем им быть хорошими работниками, но, однакож, избавляют от исполнения одной из самых тяжелых повинностей; а между тем выбытие одного члена из этой семьи не произвело бы в ней никакого расстройства. Во второй же семье Иван оказался молодцом по всему: и по росту, и по здоровью, и бедная семья должна расстаться со своим молодцом потому только, что в первой семье и в других ей подобных не оказалось годных членов, — должна расстаться, несмотря на то, что в этой семье пятеро малолетков и один старик-дед, который в эти лета большею частью не только не работник, но еще требует ухода: работник же остается всего один. Что же будет с семьею? Как один работник прокормит, оденет и обуеет всю семью да, сверх того, заплатит подати и повинности за шесть душ? Поневоле окажется несостоятельным, и его посадят в рабочей дом, а семья отправится нищенствовать или промышлять каким-либо незаконным образом. Но если бы первая семья и другие, подобные ей, отправили в свою очередь или по доставшемуся жеребью повинность, то второй семье досталось бы дать рекрута позже и, быть может, через несколько лет; тогда у нее был бы еще подросток, который мог бы помогать отцу, и семья не расстроилась бы окончательно. Кто из родителей-мещан будет более благодарить бога — те ли, у коих дети молодцы по росту и здоровью, или те, у коих дети имеют какие-либо недостатки: короткошей, кривошеи, золотушны? Я слышал, как одна мать во время набора благословляла судьбу свою за то, что у нее один сын малоросл, а другой кривошей, что, однакож, не мешает одному из них быть хорошим сапожником, а другому шить тулупы. Какое странное положение общества: родители радуются тому, что их дети имеют какое-либо уродство! А нередко бывают еще и такие случаи, что родители, в видах освобождения сыновей своих от рекрутства, стараются во время детства их изуродовать некоторые их члены, не лишая, однакож, возможности работать и, следовательно, быть полезными своей семье. Вот последствия неравномерного отправления повинности.

2) Статьей 192 Уст[ава] рекрутского] запрещается принимать в рекруты лиц, оставленных по суду в подозрении по таким проступкам, за которые на основании закона они подлежали бы лишению всех прав состояния или же всех особенных прав и преимуществ, лично и по состоянию им присвоенных, и с тем вместе ссылке в Сибирь на каторгу или на поселение, отдаче в арестантские роты и рабочие дома, и кои притом, во время следствия на повальном обыске; опорочены в поведении. Таким образом подозрение в преступлении дает всегдашнюю льготу от рекрутской повинности, и человек ни в чем не заподозренный, идет в рекруты за мошенника, а он, в возмездие за это, даже не облагается никакою излишнею против других повинностию и пользуется льготою как бы в награду за хорошее дело. Поэтому, чтобы избавиться от рекрутства, нужно только похлопотать, чтоб какой-либо уголовный преступник припутал к своему делу, тогда, при допросах, самому несколько сбиться и затем устроить так, чтобы суд оставил в подозрении, чему и бывали примеры. Опять приходим к результату, весьма неутешительному.

3) Есть семейства, которые по небольшому своему составу, как-то: отец с сыном, дед с внуком, дядя с племянником, одиночка и т. п., поименованные в ст. 79, 80 и 814 Уст[ава] рекрутского], освобождаются от рекрутской повинности, однакож, без исключения из того числа душ, за которое общество отправляет эту повинность. Вследствие такого освобождения мещанские семейства стараются раздробиться. А как разделы на семьи, в которых меньше трех работников, воспрещаются, то они достигают этого следующим образом: все семейство перечисляется в купечество; на следующий год члены его по одному и по два, смотря по тому, как им нужно разделяться, объявляют капиталы в разных городах, и на следующий год каж-

дый в своем городе, по необъявлению капитала, сходит в мещане, и вот семейство раздробилось, согласно его желанию, и избавилось от рекрутства во вред другим. Таких примеров множество. Жеребьевая система отчасти устраняет это тем, что по 814 ст. только те из одиночек и двойников пользуются освобождением от рекрутской повинности, которые владеют не менее пяти лет недвижимою собственностью, приносящею не менее 60 руб. сер. в год чистого дохода. Но закон этот, устраняя означенное неудобство, не устраняет неравномерное распределение рекрутской повинности: избавляя богатых, он заставляет бедных нести ее вдвойне, то есть и за себя, и за богатых. Вот главнейшие недостатки, общие обоим системам.

Кроме того, в очередной системе особенно выдаются следующие недостатки:

1) Весьма обременительно для общества правило, по коему одиночки и двойники, в определенных степенях родства, тогда только подвергаются отправлению рекрутской повинности, когда число таких семей составляет не менее третьей части всех семей; в противном случае повинность эта отправляется за них многорабочими семьями, и они избавляются от оной без всякого с их стороны возмездия тем семьям или обществу.

2) Весьма тяжело условие для исключения из числа работников по болезни. Для этого по ст. 77 нужно или быть слепым на оба глаза, или не иметь которой-либо руки или ноги, или не владеть одною из них вследствие перелома или иной болезни, пресекающей действие ими, и вообще быть расслабленным до неподвижности, и то, если общественное собрание участка большинством голосов признает справедливым сделать это исключение до выздоровления. Как же можно признать работником того, который хотя и не расслаблен совершенно, но страдает сильною ломотою во всех членах и не может даже ходить без помощи других, или имеет тело, покрытое язвами, или одержим другими какими-либо хроническими болезнями, которые не только лишают его возможности быть полезным семейству, но, напротив, требуют еще ухода за ним, — и, наконец —

3) Отдел одного члена от семьи дозволяется лишь для вступления чрез женитьбу в дом, где один работник, но непременно чрез женитьбу. Почему же не дозволить подобного отдела по случаю усыновления, а также в дом родной матери, которая могла бы приобрести этот дом на собственные деньги, не принадлежащие семье умершего ее мужа, или чрез вступление во второй брак? Эти причины законны для отдела и должны быть приняты во внимание. Если же обратимся к жеребьевой системе, то найдем там еще более отсутствия справедливости.

Основная мысль этой системы, заключающаяся в том, что кому из общества следует отправить возложенную на него повинность, должен решить жребий, едва ли может быть признана правильною.

Если сословие обязано отправлять какую-либо государственную повинность, то справедливость требует, чтобы все члены его участвовали в этом сообразно их средствам и чтобы распределение повинности было основано на \* начале разумном. С принятием же жеребьевой системы все предоставляется случаю, и семьи, находящиеся совершенно в одинаковом положении, большею частью отбывают рекрутскую повинность неравномерно.

При распределении рекрутской повинности на членов общества могут быть только два случая: или повинность эта должна быть разложена на семьи, или на каждого члена отдельно, но непременно уже на каждого. В первом случае придем к очередной системе, а во втором — к конскрипции. По вводимой же в мещанских обществах жеребьевой системе, хотя и призываются к отправлению повинности все однолетки, но действительно отправляют [ее] лишь те, у которых, по вынужти ими номеров жеребья, окажутся цифры номеров, не превышающие числа требуемых от общества рекрут, а остальные освобождаются навсегда. Таким образом в самой основе этой системы лежит неравномерность распределения повинности, которая еще

\* В «Современнике» напечатано. «в». — Ред.



рече выкажется, если мы посмотрим, каким образом тягость повинности разлагается ею на семьи. Действительно, возьмем два семейства, из которых каждое состоит из отца с тремя сыновьями-однолетками, совершенно годными в военную службу.

Пусть эти семейства будут таковы:

а) Иван . . . . . 42 лет	б) Сидор . . . . . 42 лет
Его дети: Клим . . . . . 20 »	Его дети: Фома . . . . . 20 »
Петр . . . . . 18 »	Кузьма . . . . . 18 »
Семен . . . . . 16 »	Василий . . . . . 16 »

В первый объявленный набор призываются из семьи а) Клим, а из семьи б) Фома. Предположим, что Климу достался № 10 и он пошел в рекруты, освободив таким образом навсегда брата своего Петра от призыва к жребью \*, а Фоме достался № 40, превышающий требуемое число рекрут, и потому он остался свободен. Через два года призывается из семьи б) Кузьма. Допустим, что по взятому им номеру жеребья он поступает в рекруты, освободив от призыва брата своего Василия. Спустя еще два года будет призван из семьи а) Семен, и если ему достанется один из первых номеров, что легко может случиться, то тогда, при одном и том же семейном положении, из одной семьи будет взято два рекрута, а из другой один. Справедливо ли это? А может случиться, что из семьи б) никому не попадутся первые номера, и тогда она не дает ни одного рекрута, между тем как семья а) дает двух рекрут. По очередной системе эти семьи несли бы повинность совершенно одинаково.

Действительно, в тех странах, где срок службы не очень длинен, как во Франции, предоставление жребью решать, что один будет нести военную повинность, а другой освобождается от нее, не имеет такой тяжелой несправедливости, как у нас, где срок службы, остается еще очень длинен.

Как в многорабочих семействах призываются только молодые люди 20 и 21 года, то сколько-нибудь зажиточные мещане всегда могут избегнуть рекрутской повинности, перечисляясь на время в купечество.

В настоящее время переход еще более облегчен дозволением и состоящим на рекрутской очереди перечисляться в купечество. Следовательно, достаточно перечислиться на два года в купцы, чтобы избавить своего члена от призыва, потом — сойти в мещане, а когда второму члену будет 19 лет, тогда вновь перейти на два года в купечество, и т. д.

Поэтому избавление от рекрутской повинности каждого мещанина, годовного к военной службе, обойдется семье рублей во сто с небольшим, и затем вся тягость повинности опять падает на бедных.

Всем в обществе мещанам, имеющим от 18 до 20 лет, паспорта должны быть выдаваемы только трехмесячные. Постановление весьма стеснительное.

По очередной системе — такие паспорта давались только членам семейств, состоящих на первой и второй очереди, рассчитывая по шести таких семей на каждую тысячу человек, что было несравненно легче. Сверх того, и по исполнению набора по жеребьевой системе, должно быть отчислено по 20 человек на каждую тысячу в запасные и подставные, которые также должны быть в течение года всегда наготове.

Все ныне причисляемые в мещане, отпущенные на волю и кантонисты получают по существующим законам льготу от рекрутства на пять лет со

\* По правилам жеребьевой системы (ст. 814, § 2, п. 1), если у поступившего в военную службу мещанина остались сыновья, то старший сын освобождается навсегда от призыва к жребью, а если не осталось сыновей, то льгота эта предоставляется следующему за ним брату. — *Примеч. авт.*

времени причисления их, если первым более 21, а вторым — 20 лет; если же в настоящее время имеют менее 20 лет, то первые пользуются означенною льготою до 26, а вторые до 25 лет. Следовательно, кантонисты тогда только будут призваны к жеребью, когда потребуются к призыву 25-летние, что случается весьма редко; а отпущенники — когда и сего последнего возраста окажется недостаточно для исполнения набора; если же они из дворовых, то им дается льгота на десять лет со времени отпуска на волю. А как те и другие по истечении льготного времени вносятся в рекрутские списки и увеличивают счет лиц, за которых общество должно дать рекрут, то, следовательно, вступление их в общество весьма обременительно для него, так как впоследствии общество должно будет давать за них рекрут из своих членов без всякого за то возмездия со стороны их.

По § 2 ст. 814. Если член семьи поступает по жеребью в военную службу, то из этой семьи освобождается от призыва к жеребью навсегда сын или брат поступившего; если же нет у него сына или брата, то никто не изымается. Между тем в 1 примеч. к тому же пункту изъяснено: «что если от семьи самовольно отделится часть ее и за прежде отведенную по службе эту семью изъятие от призыва к жеребью будет принадлежать одному из членов отделившейся части, то право это или вовсе уничтожается, или переходит к одному из членов той части семьи, которая осталась в прежнем союзе, если только эта часть будет, по числу ревизских душ, более отделившейся». Следовательно, в таком случае может воспользоваться изъятием не только сын или брат, но и другой какой-либо родственник. Посмотрим, к чему это ведет. Возьмем состав семьи следующий:

Антон Иванов . . . . .	48 лет
Его сыновья: Петр . . . . .	18 »
Иван . . . . .	12 »
Его племянники: Сидор . . . . .	20 »
Антон . . . . .	19 »

Представим, что из этой семьи поступил в военную службу Сидор, а изъятие от призыва дано Антону, но Антон мал ростом и потому в военную службу негоден, следовательно, и изъятие ему не нужно. А как двоюродный брат его Петр по всему годен в рекруты, то для избавления его от этой повинности Антон вступает в сделку с дядею, который с его согласия объявляет думе, что Антон самовольно отделился от семьи, а дума, на основании приведенного закона, лишает Антона за такой поступок данного ему изъятия, предоставляя его одному из оставшихся членов семьи. Вот закон и обойден по желанию, и притом самым законным образом.

Много бы можно указать и еще подобных последствий этой системы, но на первый раз, кажется, достаточно и этих.

К сожалению, мы не имеем сведений, какими началами руководился составитель этих правил. Быть может, при этом была преследуема какая-нибудь цель, совершенно от нас скрытая.

Эта критическая часть статьи не подлежит никакому спору. Затем следуют соображения автора о средствах избавить мещанские общества от обременительной неравномерности по отправлению воинской повинности. С некоторыми из них нельзя не согласиться; об общем же характере его предложений мы выскажем свое мнение ниже.

Кажется, что очередная система, как основанная на разумном начале, несравненно правильнее, удобоприменимее и легче для обществ, нежели жеребевая, которая в высшей степени обременительна для них и, сверх того, предоставляет все решать случаю. Посему при устранении в очередной системе, если не совершенно, то хотя отчасти, существующих в ней недостат-

ков, оставление ее в мещанских обществах было бы для них величайшим благодеянием, что могут подтвердить самые общества, если их спросят.

Недостатки эти можно устранить следующими мерами:

Как первый и главный недостаток состоит в том, что повинность рекрутская в мещанском сословии отправляется за все общество только частью его, а некоторые из членов вовсе не несут этой повинности, то следует также привлечь и их к общей обязанности, а именно: двойников, одиночек и лиц, коих по суду воспрещено представлять в военную службу, как заподозренных в тяжких преступлениях, отделить от многорабочих и составить из них особый рекрутский участок, обложив всех членов одного ежегодным денежным платежом. Деньги эти должны быть вносимы через выборных в думу для хранения и своевременного употребления на наем охотников и сдачу их за этот участок, также и для составления участкового рекрутского капитала.

Сбор этот должен быть производим ежегодно примерно 1 руб. 25 коп. сер. с души\*. А как рекрутские наборы у нас бывают, кроме экстренных случаев, чрез год, то получим, что на наем и сдачу рекрут будет собрано с 1 000 душ в промежутке между двумя наборами в два года 2 500 руб. Если допустим, что по разным причинам не поступит одна пятая сего сбора, то и тогда, предположив, что в каждый набор потребуется от 5 до 6 рекрут с 1 000 душ, придется на каждого рекрута от 400 до 333 руб. сер., а за вычетом 50 руб. в казну в счет податей за охотника на будущее время, а равно денег, следующих на сдачу охотников, то есть вносимых на обмундировку, провиант и жалованье, на гербовую бумагу и другие мелочные расходы по 20 руб. на человека, остается еще на каждого рекрута от 330 до 263 руб., из которых, если отделить на наем каждого охотника по 250 руб. сер., — цена, за которую и ныне нанимаются мещане, — останется еще в кассе в первом случае 400, а во втором — 80 руб. сер. на каждую 1 000 душ. Остаток этот должен составлять особую вспомогательную рекрутскую сумму, в которую также должны поступать деньги, следующие на каждого рекрута, заменяемого квитанциею, поступившею в участок за мещанина, отданного в военную службу за порочное поведение, по приговору общества, а также и излишек сбора, если в который либо набор потребуется рекрут меньше против предполагаемого здесь. Деньги эти должны быть сохраняемы для пособия участку как при могущих быть чрезвычайных наборах, так и в видах уменьшения сбора на будущее время, каковое уменьшение и предоставить делать общему собранию участка по его усмотрению, а также и для уплаты с самых неимущих семей, с тем, чтобы они при первой возможности эти деньги возвратили в кассу. Если же ко времени исполнения набора участок не представит столько охотников, сколько с него следует рекрут, то брать их натурою из одиночек, выдавая поступившему за участок деньги, следующие охотникам по расчету, и затем поступивших в военную службу исключать вовсе из участка, как по платежу податей, так и по отправлению рекрутской повинности, навсегда; а дабы количество рекрут всегда поступало бездоимочно, то установить следующий порядок: в первый месяц по окончании истекшего набора всех одиночек, исключая единственных сыновей при матерях, внуков при бабках и единственных работников в семьях, где есть хотя один малолеток или вышедший из лег работник, призывать к вынудитю жеребья для исполнения будущего набора и из вынудших первые номера отчислять на каждую 1 000 душ по 12 номеров, то есть по 6 для исполнения набора и по 6 в подставные и запасные, причем относительно годности их к военной службе сообразоваться с правилами, изложенными в наставлении отдатчикам. Если взявший один из первых жеребьевых номеров окажется негодным, то заменить его следующим номером и в то же время составить жеребьевый список. Призыв этот делать по возрастам, согласно правилам жеребьевой системы, то есть

\* Еще бы правильнее было, если бы рекруты брались с общества не по числу ревизских душ, а по числу наличных работников, и сбор рекрутских денег был разлагался также на работников. Можно положить и по 1 руб., ибо теперь, когда лета службы убавлены, стали начинаться за 150 и за 200 руб.

начиная с 20-летнего возраста; если же в обществе будет так мало одиночек, что неостанет их для исполнения предстоящего набора, то тогда призывать из двойников прежде те семьи, где два брата, а потом — где дядя с племянником, причем призываются преимущественно такие семьи, в которых нет малолетков.

Наем охотников предоставить делать самим призванным к жеребью, которые и заключают с ними условия при посредстве выборных от участка. Предварительно заключения условия охотник должен быть засвидетельствован в годности к военной службе или в губернском рекрутском присутствии, или в общем присутствии думы при участии городского врача, с тою же ответственностью лиц, его свидетельствовавших, каковая возлагается на членов рекрутского присутствия, причем охотник получает 75 р. сер. из кассы участка. Но если и за сим охотник во время набора окажется негодным, то должен итти сам жеребьевый; равномерно он должен итти и тогда, когда не приишет за себя охотника. Но в обоих этих случаях он получает от участка те деньги, которые ему следовали на наем охотника, за вычетом, в первом случае, задатка, выданного непринятому охотнику.

Можно надеяться, что при означенном вознаграждении охотники всегда найдутся, а одиночки, тем более двойники, весьма редко будут отправлять рекрутскую повинность по доставшемуся им жеребью, ибо если наемная плата со временем и увеличится сравнительно с нынешнею, то за назначением в пособие от общества 250 р. сер. каждому жеребьевому облегчаются средства найма, и они будут прискивать охотников заблаговременно.

Те лица, которые будут заменены охотниками, никогда не призываются уже к жеребью.

Весьма полезно бы было постановить, чтобы из числа денег, следующих охотнику или жеребьевому, половина вносилась в банк на его имя, но с тем, что он не иначе может их получить, как по выходе в отставку; другую же половину выдавать ему на руки, а именно 75 р. сер. при заключении условия и 50 р. по принятии в рекруты. В случае смерти такого солдата на службе, деньги, внесенные на его имя, выдавать его детям и жене. Если же их нет, то обращать в резервную кассу того участка, за который он поступил.

Дозволить мешанам, состоящим в денежном участке, избирать из среды себя выборных, которые должны заботиться как о своевременном взносе рекрутских денег в участке, так и о хранении их; они же, как выше сказано, обязаны содействовать жеребьевым к заключению условий с охотниками и представлять их в присутствии думы для осмотра.

В участке многорабочем оставить существующую ныне очередную систему; но те семьи, в которых, по дошедшей до них очереди, не окажется ни одного члена, годного в рекруты, по каким бы то ни было причинам, носить тотчас же в участок денежный, облагая их платежом, наравне с прочими, по 1 руб. 25 коп. в год с каждой души.

Примечание. Дозволить и многорабочему участку ввести у себя вышензвясненный порядок сбора рекрутских денег для найма охотников за очередные семьи с теми изменениями, какие будут общим его собранием признаны полезными. В таком случае семьи, в коих по дошедшей очереди не окажется годных в военную службу, не носить в участок двойников и одиночек.

Дозволить обществу входить в рассмотрение положения тех семейств, с коих следует взять рекрута, и если большинством голосов участка будет признано необходимым, для избежания расстройств семьи, освободить ее на время от дачи рекрута, то ходатайствовать о том через думу у начальника губернии или представлять на рассмотрение казенной палаты, смотря по тому, какой путь правительство признает лучшим. Об освобожденных семьях должны быть составляемы каждый набор приговоры, и когда общество признает возможным взять из них рекрута, тогда брать безостановочно.

Как в каждом полку есть нестроевые роты, в которых требуется от солдата лишь хорошее здоровье, то было бы весьма полезно дозволить принимать малорослых, но совершенно здоровых, хотя на 10 рекрут одного. Воз-

возможность этого видна уже из того, что и ныне принимаются в военную службу от помещиков, без зачета за рекрут, люди, имеющие рост, не превышающий 2 арш. 2 вершк., а при чрезвычайных наборах допускается принимать в зачет в 2 арш. 3 вершка. Возможность этого доказывается тем, что в полках всегда были малорослые кантонисты, которых теперь уже не будет.

Как ныне срок службы солдата продолжается только 15 лет, то весьма полезно бы было предоставить хорошим и неопороченным солдатам по выслуге этого срока оставаться на второй срок в качестве охотника, с тем, что деньги, следующие рекруту, которого он заменяет, общество обязано выдавать уже в пользу солдата, остающегося на вторичную службу, а квитанцию выдавать тому мещанскому обществу, из которого он поступил; если же это общество не будет иметь нужды в зачетной квитанции, то она передается в другие общества той же губернии за ту же плату. Это еще удобоприменимее было бы, если бы срок службы солдат был сокращен до 10 лет.

Выдача пособия от общества жеребьевым одиночкам для найма за себя охотников даст возможность пополнять войска охотниками, которые, конечно, будут служить лучше, нежели поступившие в службу против их желания; уменьшится число укрывающихся от рекрутства и вовсе исчезнет ужасный порок — членовредительство.

Солдаты при выходе в отставку не будут в тягость тому обществу, среди коего поселятся, ибо положенные на имя их в банк деньги — не менее 125 руб. — составят с % за 15 лет сумму, достаточную для устройства их при водворении на новом месте, тем более, что почти все они после 15-летней службы будут еще крепкие и годные работники. Возврат солдата в семью будет не обременение, а помощь ей, и народ отвыкнет смотреть на рекрутскую повинность с тем ужасом, с каким смотрит теперь.

Кажется, полезнее всего было бы предоставить каждому мещанскому обществу руководствоваться жеребьевою или очередною системою по его выбору. Таким образом выработалась бы из среды самих отправляющих повинность более удобная для них система; правительство же оставило бы за собою лишь право требовать от них поставки нужного числа рекрут.

Читатель заметит чрезвычайную умеренность плана, предлагаемого автором статьи и г. Волковым. Оба они ограничиваются применением своей системы на первый раз лишь к податному сословию городских обывателей, составляющему менее одной десятой части в массе податных сословий, несущих рекрутскую повинность. Быть может, такую скромность объема предлагаемой реформы следует назвать практичным благоразумием в частных лицах, предлагающих ее. Но само собою разумеется, что если рассматривать дело в коренных его основаниях, то не найдется причин делать по отношению к рекрутской повинности разницу в правилах для городского и для сельского податного населения. Что касается до неудобств очередной и жеребьевой систем, доводы, которые выставлены в прочтенных нами мыслях относительно мещан, вполне применяются и к поселянам. А насколько удобно введение предлагаемой системы в мещанских обществах, настолько же удобно оно и в сельских, или в сельских обществах оно еще легче. Масса мещан не превосходит своими средствами к уплате предлагаемого сбора массы поселян, а, напротив, даже уступает ей в этом отношении. Следовательно, если можно установить предлагаемый способ отправления рекрутской повинности у мещан, можно установить его и у поселян. Преимущества его

над обоими существующими способами очевидны. Им в очень значительной степени уменьшалась бы нынешняя неравномерность.

Но все-таки она уменьшалась бы, а не вполне отстранялась бы и при новом способе, — нет, далеко не вполне. Совершенно отстранилась бы она при нем лишь в том случае, когда бы число охотников оказывалось не меньше количества требуемых рекрут, и затем уже не оставалось бы надобности в требуемое число брать никаких других рекрут ни по жребию, ни по очереди. Ожидать этого трудно. Рассчитывают, что в нынешнем веке число рекрут, взятых с каждого поколения податных сословий, составляло около 4-й части всего числа людей мужского пола, достигавших совершеннолетия. Конечно, нельзя ожидать, чтобы число охотников стало простирается до четвертой части населения; а если пропорция охотников меньше, то при подобном размере наборов часть рекрут должна будет ставиться по очереди или жребию. Конечно, если применить предлагаемую систему к одним мещанским обществам, дозволив им нанимать охотников из всех податных сословий, то для отправления рекрутской повинности одного городского населения, быть может, и окажется достаточным количество охотников, доставляемое всею массою податных сословий. Но если предположить распространение предлагаемого плана на все податные сословия, то большая часть рекрут все-таки будет не из охотников, а из людей, подвергающихся отправлению повинности по жребию или очереди.

## О ПРИЧИНАХ ПАДЕНИЯ РИМА

(Подражание Монтескье)

(История цивилизации во Франции от падения Западной Римской империи. Сочинения Гизо, члена французской академии. Часть первая. Переведено под редакциею М. Стасюлевича. С.-Петербург. 1861 г.)

Разбирать знаменитую книгу Гизо, издание которой в русском переводе — дело очень похвальное и полезное, мы не будем. Она слишком известна, стало быть, выставять ее достоинства бесполезно. Разбирать недостатки? Но главные недостатки взгляда Гизо вовсе не особенные его недостатки: повсюду, как у него, вы прочтете, что древний мир был неспособен к дальнейшему прогрессу, потому его разрушение было спасительно для человечества, и умер он от внутренних смертельных болезней; что варвары внесли с собою новые, высшие элементы, бывшие необходимыми для блага человечества; что папская власть, возникшая на основании варварства, была в свое время спасительна; что монашеские ордена были в свое время полезнейшими деятелями цивилизации, которая только и сохранилась благодаря монастырям; что феодализм, имея такие-то и такие-то недостатки, не должен, однакоже, быть порицаем безусловно; что вообще в средние века не так дурны, как утверждал Вольтер с энциклопедистами, и т. д. и т. д. Если мысли эти верны, Гизо столько же следует хвалить за них, сколько за то, что он верит в обращение земли около солнца, — это просто господствующее мнение; если же эти мысли ошибочны, опять в упрек ему ставить их нельзя. Лично человек не подлежит никакому упреку, если все так думают или делают, как он. Самому Гизо принадлежит только мастерское изложение господствующего взгляда, а иногда — очень дельные исследования в его подтверждение. За то и за другое нельзя не похвалить его; но ведь не писать же статью о мастерском изложении, и нельзя же наполнять журнала раз-

бором специальных изысканий о каких-нибудь частных вопросах средневековой истории. Следовательно, о главном направлении Гизо нет надобности много говорить.

Но в господствующем направлении исторических понятий есть много оттенков; в предпочтении того или другого оттенка уже выказывается личность писателя, уже состоит личное его достоинство или недостаток. Эту сторону дела мы рассматривали в рецензии русского перевода «Истории цивилизации в Европе» — книги, служащей предисловием к «Истории цивилизации во Франции». Стало быть, распространяться об этом теперь нет нужды.

Но если мы ничего не хотим говорить здесь о сочинении Гизо, то думаем коснуться самого предмета, о котором трактует книга. «Современник» порицает за недостаток серьезности, учености, — а вот покажем же, что можем быть солидными, то есть донельзя сухими и скучными (в этом смысле понимается солидность нашими порицателями), напишем статью о предмете, перед которым Суэцкий канал и зундская пошлаина — сюжеты занимательные. Не угодно ли вам порассудить с нами, например, о великом переселении народов, о герулах и франках салийских, о визиготах и алеманнах, о Гензерихе и Сигеберте<sup>1</sup>. Угодно ли, не угодно ли вам, а извольте слушать следующую диссертацию об отношении этих занимательных племен и лиц к не менее занимательным Максимианам, Максимианах и Максенциям.

Факт, с которого начинается история нового мира, — занятие провинций Римской империи варварами. По обыкновенному понятию толкуют о каком-то очень курьезном содействии этого факта историческому прогрессу, даже утверждают, что без него все пропало бы: только он и спас погибавший мир. Видите ли, римский мир уже совершенно истощил все свое содержание, ничего нового и лучшего не мог развить из себя, — по обыкновенному выражению, умирал. На этом способе рассуждения опираются разные вздорные мечтания и об нынешних делах. Если бы толковали только о древней Римской империи, то мало было бы нам огорчения и вреда. Но беда в том, что точно так же трактуют о вопросах, важных для нынешней практической жизни народов, в особенности народов полуварварских. «Западная Европа отжила свой век, истощила свои жизненные элементы; западные народы не способны продолжать дело прогресса; мир должен возобновиться падением этих народов и заменю их новыми, свежими племенами». Вы спрашиваете доказательств, — доказательство одно: так было полторы тысячи лет тому назад с римским миром; для продолжения прогресса необходимо было сменить прежним народам новыми, свежими племенами. После такого аргумента начинаются ликование и хвастовство: «А вот уж мы и готовы возобновить мир, внести в историю новые прекраснейшие элементы. Какие мы, право, молодцы! Вот не ныне,



завтра благодетельствуем человечество». Насколько это мнение происходит прямо из тщеславия, спор против него бесполезен. Тщеславие не исправляется никакими словесными доводами; оно уступает место справедливому сознанию своих достоинств лишь тогда, когда в людях действительно разовьются достоинства, приносящие им справедливую честь. Человек уже так устроен, что ему непременно хочется гордиться собой: нельзя гордиться путно, он гордится беспутно и становится рассудителен в этом отношении лишь тогда, когда приобретет истинные заслуги. Но на сколько тщеславный взгляд претендует опираться на аргументацию, на сколько он раздувается и укрепляется будто бы учеными соображениями, спор против него не остается без результатов: тщеславие все-таки принуждено бывает становиться несколько осмотрительнее и умереннее, когда докажут ему, что вздорность его очевидна: вот поэтому и разберем мы роль варваров при мнимом спасительном пособии их прогрессу человечества через занятие римских провинций.

Чрезвычайно часто бывает, что при рассуждениях о какой-нибудь вещи забывается одна неважная штука — сущность вещи. Сколько толкуют, например, о благодетельных последствиях какой-нибудь войны, забывая лишь одно то, что война разоряет обе воюющие стороны, а разорение ведь не бог знает как хорошо и полезно. Вот этим самым недостатком страдает и обыкновенное толкование о благотворности завоевания римских провинций варварами, что они будто бы принесли пользу прогрессу этим завоеванием. Да подумайте только, что такое значит прогресс и что такое значит варвар. Прогресс основывается на умственном развитии; коренная сторона его прямо и состоит в успехах и развитии знаний. Приложением лучшего знания к разным сторонам практической жизни производится прогресс и в этих сторонах. Например, развивается математика, от этого развивается и прикладная механика; от развития прикладной механики совершенствуются всякие фабрикация, мастерства и т. д. Развивается химия; от этого развивается технология; от развития технологии всякое техническое дело идет лучше прежнего. Разрабатывается историческое знание; от этого уменьшаются фальшивые понятия, мешающие людям устраивать свою общественную жизнь, и она устраивается успешнее прежнего. Наконец всякий умственный труд развивает умственные силы человека, и чем больше людей в стране выучивается читать, получает привычку и охоту читать книги, чем больше в стране становится людей грамотных, провещенных, тем больше становится в ней число людей, способных порядочно вести дела, какие бы то ни было, — значит, улучшается и ход всяких сторон жизни в стране. Стало быть, основная сила прогресса — наука, успехи прогресса соразмерны степени совершенства и степени распространенности знаний. Вот что такое прогресс — результат знания. Что же такое варвар? Человек,

еще погрязший в глубочайшем невежестве; человек, который занимает средину между диким зверем и человеком сколько-нибудь развитого ума, который к дикому зверю едва и не ближе, чем к развитому человеку. Какая же тут может быть польза для прогресса, то есть для знания, когда люди сколько-нибудь образованные заменяются людьми, еще не вышедшими из животного состояния? Какая польза для успеха в знаниях, если власть из рук людей сколько-нибудь развитых, переходит в руки невежд, незнанию и неразвитости которых нет никакого предела? Какая польза для общественной жизни, если учреждения, дурные или хорошие, но все-таки человеческие, все-таки имеющие в себе хоть что-нибудь, хоть несколько разумное, — заменяются животными обычаями?

Говорят: «римский мир истощил свои жизненные силы». Тут опять забывается сущность вещи. О чем говорится? О населении Римской империи. Что же, разве люди, его составлявшие, утратили человеческую натуру? Разве они перестали родиться имеющими человеческий ум и человеческие наклонности? Или разве по какому-то особенному случаю все люди в Римской империи рождались идиотами? Что за вздор! Пока общество состоит из людей, оно имеет в себе все свойства человеческой природы. Отживает свою жизнь организм отдельного человека; но с каждым вновь родившимся человеком является новый организм с новыми свежими силами, и при каждой смене поколений возобновляются силы народа. Прошло 20 лет, — двадцатилетний юноша стал сорокалетним мужчиною и потерял юношескую свежесть чувств, не влюбляется, не дурачится; но ведь это произошло с Петром, а в эти 20 лет вырос Иван, новый двадцатилетний юноша, который теперь имеет ту же самую свежесть чувств, точно так же влюбляется и дурачится, как было с Петром за 20 лет; прошло еще 20 лет, Ивану 40 лет, и он утратил свежесть чувств. А Петр, бывший в 40 лет здоровым работником, стал теперь 60-летним стариком и не может работать так много и хорошо, как прежде; но ведь его место занял Иван, а подле Ивана вырос новый двадцатилетний юноша Андрей, который теперь имеет точно такую же свежесть чувств, какую имел Иван 20 лет, а Петр — 40 лет тому назад. И какая тут перемена в составе общественных сил? Ведь и 20 лет тому назад тоже были 60-летние старики, кроме 40-летних и 20-летних людей; ведь и 40 лет тому назад были 40-летние мужчины и 60-летние старики, кроме 20-летних юношей? Как же это общественные силы могут истощаться? Как может уменьшаться в обществе свежесть и молодость, пока не перестают родиться люди? Кажется, пока рождаются младенцы, существует в обществе кормление грудью, прорезывание зубов; пока младенцы вырастают в детей, существуют в обществе детские игры, с звонким детским смехом; пока вырастают дети в юношей, существуют в обществе благородные юно-

шеские стремления с опрометчивыми юношескими увлечениями, с чистою юношескою любовью; а неужели вы думаете, что когда-нибудь не было в обществе стариков с старческою усталостью и холодностью? Риторика вещь прекрасная, — почему не породить иногда риторический вздор? — оно и нужно бывает иногда для эффекта; но не следует же постоянно ослепляться своей риторикой для того, чтобы совершенно забывать здравый смысл и факты. Стареет отдельный человек, в обществе пропорция свежих и усталых сил вечно остается одинакова. Пожалуйста, не противоречьте физиологии, не утверждайте, что бывают народы, состоящие из людей безголовых или не имеющих желудка, или исключительно из одних стариков, или исключительно из одних молодых людей, — ведь каждая из этих четырех фраз одинаково нелепа. Что за охота выказывать себя глушцом или лгуном.

«Нет, говорят нам, вы не так поняли наши слова; мы говорили не о количестве сил в обществе, а лишь о том, что формы общественной жизни сложились очень дурно, не было простора человеческим силам, не было выхода из этих форм, не было в обществе сил переработать эти формы, выработать из них новые, более широкие». Так? Ну, теперь верно изложена ваша мысль? На этом вы стоите? А прежде мы не так излагали ваш взгляд? Полноте, да разве вы говорите что-нибудь иное, чем ту же нелепость, от которой уже отказались, только облачаете ее в другую форму, более хитрую? Как же это в обществе недостает сил, а прежде когда-то доставало? Значит, количество сил в обществе уменьшилось? А ведь вы сами признались, что это — нелепость. «Нет, возражаете вы, вы опять не так перетолковали: мы не то говорим, что количество сил в обществе уменьшилось, а то, что препятствия к деятельности этих сил стали тяжелее прежнего; формы слишком укоренились; обществу нужно бы перерасти их, чтобы приобрести простор, а они слишком тверды, не может оно сломить их». Извините меня: не я перетолковываю ваши слова, а вы сами не понимаете, что говорите. Изложишь вашу мысль, вы говорите: «вот так, вот именно так мы и думаем»; попросишь вас всмотреться в эту мысль, скажешь: «так ведь это значит вот что», — вы и отказываетесь: «нет, говорите, мы не то думали, а другое». А по правде сказать: вы просто думали вещи несообразные, произносили слова, не вникая в их смысл: «дерево растет из железа», — помилуйте, из какого железа? — «Нет, мы не то хотели сказать; а что дерево растет из железной руды». — Нет, и не из железной руды оно растет. — «Опять вы не так толкуете: не то, что из железной руды, а из земли, в которой бывает и железная руда». — Да разве из тех кусков земли растет оно, которые составляют руду? — «Ну, разумеется, мы так и хотели сказать, что железная руда не участвует в росте дерева. Мы только хотели сказать, что на земле растут деревья

и железо тоже лежит в земле». Так рассудили бы вы, о чем хотите говорить; если о росте дерева, то не приплетали бы к нему железа; а если о железе, так не приплетали бы к нему, как растет дерево. А то вы просто говорите путаницу.

Вот хоть бы и теперь, в этой последней форме, на которой вы остановились. «Обществу стеснительны были укоренившиеся формы, ему нужно было бы перерасти их». — Ну, что же это значит? Значит, в обществе была прогрессивная сила, была необходимость в прогрессе; а вы начали с того, что общество было неспособно к прогрессу; да как же оно было неспособно к тому, к чему оно имело силы? — «Оно было способно к прогрессу; но препятствия были слишком сильны; не могло оно переработать укоренившихся сил». — То есть как же не могло? Чьею силою были созданы эти формы? Ведь силою общества; а количество сил в обществе не уменьшилось; как же оно стало бессильно над тем, над чем прежде оно было сильно? Разве разрушать труднее, чем создавать? Подумайте, что вы говорите: каменщики, построившие дом, не в силах разломать его; столяр, сделавший стол, кузнец, сковавший якорь, не в силах разрушить его. — «Ах, боже мой, вы все не так толкуете: ведь мы говорим не о том, что у общества было мало сил, а о том, что формы слишком укоренились». — Да что же это «укоренились»? Это, верно, опять метафора о дереве, растущем из железа? Форма — факт. Факт существует только постоянною поддержкою от силы, которая произвела его. Чтобы он исчез, слишком много будет, если сила прямо обратится на его разрушение; довольно будет, если она перестанет поддерживать его, он сам собою падет. «Укоренилось!» — метафора, уподобление дереву! Посмотрите же вы на дерево: разве оно все укореняется? — Укореняется до известной поры только, а потом начинает ветшать, падает, искореняется. Для этого не нужно, собственно, ни бурь, ни наводнений: довольно того, что растительная сила, поддерживавшая это дерево, начинает покидать его, что свежие соки из почвы перестают с любовью втягиваться в него, устремляются к чему-нибудь другому. Если уж брать вашу метафору об укоренении, из нее же самой выходит вот что: общество — почва, на которой вырастают формы общественной жизни; вырастают они из свежих соков этой почвы; пока они привлекают к себе эти свежие соки, они растут, укореняются; когда свежим сокам перестало быть привлекательно устремляться в эти формы, когда они стали привлекаться к чему-нибудь другому, укоренившиеся формы, как бы глубоко ни укоренились, начинают слабеть, искореняться, и на место их возникают новые формы, с которыми потом будет то же. — «Но когда почва истощилась, когда свежих соков нет?» — Ну вот и прекрасно, опять дерево у вас «растет из железа», опять старая песня: в обществе нет свежих сил, — а вы уж, кажется, сознались, что это — нелепость, что истощается отдельный че-

ловек, а не общество, что количество свежих сил в обществе никогда не только исчезать, но и уменьшаться не может. Или вам слишком нравится метафора о корнях, дереве и почве? Да разберите хоть эту метафору, она сама изобличит вашу нелепость. Разве истощается почва оттого, что покрывается растительностью, что эта растительность становится роскошнее и роскошнее? Кажется, на самом деле бывает наоборот; опадающие листья, истлевающие корни удобряют почву, открывают больше простора; если в нынешнем году была растительность, в следующем она будет лучше нынешней именно потому, что ей предшествовала нынешняя растительность. Вот скала, почти голая, едва прикрытая мхом, видимым лишь в микроскоп; жизнью этого моха образуется слой почвы для более заметной растительности; постепенно является трава, за нею кустарник, наконец лес, и чем дальше растет лес, тем глубже становится растительный слой, тем привольнее расти лесу, тем больше свежих соков находит он себе в почве, все улучшающейся без конца. Вот метафора, изображающая жизнь общества. В самой себе не имеет она конца от истощения сил; напротив, чем дальше длится она, тем роскошнее становится обилие свежих сил для ее продолжения в формах, все совершеннейших. Но вас смущают те примеры, что прогресс иногда уничтожается в известчых странах, в известном народе; вы не знаете, каких причин искать этому, и в недоумении вашем сваливаете вину на самое общество. Да попробуйте же обратиться хоть к вашей любимой метафоре об укоренении, росте и т. д. Она поможет вам понять дело, если вы не станете искать в ней только риторических фраз, а вникнете в факт, чтобы сообразить действие законов природы. Разве лес не исчезает иногда? Разве не заменяются результаты долгого развития растительных сил жалкими низшими формами? Разве не появляется иногда ничтожный бурьян или какой-нибудь дрянной коряжник на том месте, где был прекрасный лес? Скажите, отчего это бывает? От истощения ли почвы? — Нет, вы знаете, что это происходит от внешних фактов, совершенно посторонних самому лесу и его внутренней жизни. Случится проза, зажжет лес молния, вот он и сгорел; а чем он был тут виноват? или чем виновата почва, на которой он вырос? Но, разумеется, если вы не хотите довольствоваться незамысловатым натуральным объяснением, вы можете натянуть софизмами ход событий так, что погибель леса окажется, по вашему толкованию, результатом форм, принятых его жизнью. И можете вы доказывать, что погибший лес не мог продолжать расти сам собою от внутренних пороков. В самом деле, почему молния могла сжечь лес? Конечно, только потому, что много было в нем высохшего, попадавшего на землю валежника, много было на деревьях засохших или засыхавших ветвей, от которых еще не успели освободиться деревья, много было и целых деревьев, уже совершенно засохших, умерших, но еще продолжавших

держаться на корню, будто живыми. Значит, по-вашему, лес все равно погибал уже? Э, полноте! То же самое было с той самой поры, как начал разрастаться лес: с незапамятных времен было много в нем валежнику, много было сухих деревьев; но ведь росли же подле них новые, и разрастался же лес!

Метафоры чрезвычайно часто заменяют собою для огромного большинства всякое непосредственное понимание дела: «процветание», «укоренение», «увядание» — огромного большинства историков; этими словами ограничиваются, в сущности, все понятия о ходе истории. Потому-то мы и вникли в эту метафору, чтобы показать, что даже из нее следовало бы извлечь взгляд на вещи более натуральный и верный, чем какой распространен почти по всем историческим книгам. Возвратимся, например, к факту, с которого начинается средняя история. Какую книгу ни раскройте, от Гизо до г. Тимаева, везде найдете одно и то же:

«Жизнь древнего мира была исчерпана, принципы ее развиты вполне и истощены; древний мир разлагался, умирал и вместо него для продолжения исторического прогресса должны были явиться новые племена с свежими силами». Мы нарочно не употребляли тут ботанических метафор о процветании, увядании, почве и т. д., — обыкновенно речь бывает начинена еще этими метафорами; но скажите: и без них что она такое, как не та же самая, слово в слово, метафора, что, дескать, почва истощилась и нужна была новая почва, или что лес умирает сам собою, и т. д.? Если вы, не обольщаясь риторикою и не вводя в историю отвергаемых наукою понятий о назначении одного народа на место другого (как на место столоначальника, устаревшего или умирающего, назначается другой столоначальник с свежими силами к отправлению должности), — если вы, не делая невежественных гипотез, противоречащих законам природы, будете прямо рассматривать дело, как оно было, вы найдете ему другое объяснение или, лучше сказать, не найдете, а само собою оно найдется: и искать его нечего, так оно просто. Да и объяснять дело почти нечего, так оно будет ясно, лишь только вы позаботитесь свести главные черты его.

Мы сделаем лишь самый короткий очерк, возьмем лишь самые главные факты; будем приводить лишь одну самую сильную причину для каждого факта; потому очерк будет неполон: кроме главной причины, были другие, подобные ей; кроме главного факта, были другие очень важные, подобные ему. Но если читатель найдет нужным дополнить наш очерк подробностями, то просим его не думать, что мы не ценили их относительной важности. Мы имели целью не то, чтобы отметить все, что полезно было бы отметить, а лишь одно совершенно необходимое.

В то время как Рим возникал и постепенно усиливался в Средней Италии, почти все пространство итальянского материка было погружено в прубое варварство. Лишь несколько, не очень

значительных по объему, округов или успели достигнуть некоторой степени цивилизации, более или менее самостоятельной, или получили цивилизованное население из Греции. Из этих городов цивилизация стала проникать в Рим, и мало-помалу он сделался главным центром ее в Средней Италии. Какое положение дел настало, когда Рим, благодаря превосходству военного устройства, данного ему цивилизацией (у народов мало-развитых цивилизация прежде всего обращается на военные цели, и в военном могуществе цивилизующийся народ обыкновенно делает успехи быстрее, чем в других сторонах жизни), — что мы видим в Италии, когда римская власть расширилась до реки По, за которою начиналась тогда «дальняя» Галлия? Небольшое племя, почти все сосредоточивавшееся в одном городе с его окрестностями, овладевало обширную страну с многочисленным населением, в котором лишь очень немногие небольшие частички были несколько цивилизованы. Из своего центра оно основало много колоний по важнейшим пунктам покоряемых земель. Этими рассадниками, при пособии частичек, получивших цивилизацию раньше, население Италии постепенно цивилизовалось. Когда ход дела достиг некоторой высоты (столетия за два и за полтора до нашего летоисчисления), явилась цивилизованная масса такой многочисленности, что варварские и полуварварские народы, жившие в юго-западной Европе до Дуная, в юго-восточной Европе на север от коренной Греции и по восточному и южному берегам Средиземного моря, в Азии и Африке, или не превосходили эту массу численностью каждый по одиночке, или были малочисленнее. Например, лигуры или гельветы, бельги или иллирийцы могли вывести в поле тысяч 50 или 100; римляне могли послать против них также тысяч 50 или больше войска. Какой-нибудь полуварварский владетель Понта из Пергама, Сирии или Армении мог выставить тысяч 50 или 150 войска; римляне могли послать против него тысяч 100 или 80. Но римское войско было войско вполне регулярное, а у тех варваров или полуварваров регулярного войска или вовсе не было, или было мало, а масса сражающихся состояла из милиции, плохо вооруженной, а еще хуже дисциплинированной. Словом, тут было то же самое, что в столкновениях англичан с разными ост-индскими государствами, только неравенства по численности войск было меньше. Таким образом римляне очень быстро завоевали громаднейшее пространство земель, покоряя один народ за другим, вроде того, как англичане завоевали Ост-Индию (Македония тоже была страна полуварварская; образованная Греция, попавшаяся в добычу римлянам, не была велика ни по пространству, ни по числу жителей). Явилось государство, имевшее до 100 или 150 миллионов населения, от 100 тысяч до 150 тысяч квадратных миль, из которых четыре пятых части пространства и населения были совершенно варварские, из остальной доли значительнейшая

половина была полуварварская и лишь Италия была уже порядочно цивилизована, да еще был небольшой кусок цивилизованной земли на востоке — маленькая Греция с разбросанными своими колониями. Это известно каждому. Спрашивается теперь: какое положение дел должно было возникнуть из этого? Варвары и полуварвары понемногу цивилизовались, — вроде того, как теперь жители Ост-Индии. Дело это шло не с быстротою молнии, — но что ж тут удивительного или отчаянного? Вот Россия, в которой население в несколько раз меньше, чем население Западной Европы, уже около 400 лет (не с Петра Великого, а с Иоанна III) находится под сильным умственным влиянием западноевропейского населения, несравненно многочисленнейшего, чем мы, а ведь все еще нельзя нам слишком хвалиться своими успехами, не бог знает как далеко ушли. Но что же тут погибает и какая почва тут истощается? Вот точно так же и тогда: Пиренейский полуостров, Галлия, Британия, южная окраина Германии, нынешняя Турция европейская и азиатская, южная часть России, Северная Африка с громадными своими населеннями понемногу цивилизовались влиянием, выходявшим из Греции и Италии. Так прошло лет 400 или 500. Успехи всеми этими странами были сделаны очень порядочные; но, разумеется, не успели же они достичь того уровня, на котором были их цивилизаторы — римляне и греки.

Сначала, когда эти обширные страны стояли еще слишком низко, небольшие цивилизованные страны, бывшие двумя центрами, из которых разливался прогресс, легко сохраняли свое владычество над ними, вроде того, как англичане в Ост-Индии довольно долго не встречали опасности своему господству от народа, как только был он раз покорен. Но мы заметили, что военная часть раньше всего развивается у народа, начинающего цивилизоваться. Вместе с улучшением способности сражаться начала пробуждаться у покоренных народов мысль о независимости; начались восстания, более или менее имевшие национальный характер и опиравшиеся на местное регулярное войско, — то возмутятся сирийские легионы, то возмутятся испанские легионы, то возмутятся галльские легионы, — словом сказать: начали происходить факты вроде недавнего возмущения бенгальской армии<sup>2</sup>. Удивительно ли, что при таких обстоятельствах римляне принуждены были управлять завоеванными странами по порядку, в котором над всем преобладали военная часть и финансовая часть? Сначала это было нужно для утверждения римской власти, потом — для предотвращения и подавления попыток к отпадению. Точно так же управляют англичане Ост-Индией. Войско и деньги на содержание войска — как можно больше войска содержать в стране и как можно больше денег брать в стране на содержание войска — ведь и англичанам в



Ост-Индии почти некогда думать ни о чем, кроме этого. Точно так же было и с римлянами относительно провинций.

Спросим: неужели силы Ост-Индии истощаются от английского господства? Неужели Ост-Индия не совершенствуется при нынешнем порядке вещей? Слова нет, там еще очень дурно: и народ еще чрезвычайно невежествен, и живет бедно, и подати тяжелы, и в управлении много произвола; да разве это до англичан лучше было? Напротив, несравненно хуже; а теперь все-таки становится с каждым годом лучше: и дороги строятся, и дикие обычаи понемногу искореняются, и число грамотных людей увеличивается между ост-индцами; вот уже многие из них пишут книги вроде европейских, многие приобретают европейские понятия о законах и законном порядке. Неужели это — ход дела отчаянный? Положение очень дурно, но улучшается; цивилизация еще очень слаба, но растет. К чему это приведет раньше или позже? Спросите у самих англичан, они скажут: ост-индцы цивилизуются; когда они оцивилизуются настолько, что не будут нуждаться в нашем руководстве, Ост-Индия сделается независимой от Англии. Добровольно ли мы уйдем из нее, прогонят ли нас, этого в точности рассказать наперед нельзя; вероятно, будет отчасти добровольная уступка, отчасти — принужденное вытеснение. Одним ли государством останется Ост-Индия или распадется на несколько государств, этого также нельзя рассказать вперед с точностью; но, вероятно, будет несколько государств, потому что население распадается на несколько огромных племен. Впрочем, все это, вероятно, будет еще не так скоро, потому что до сих пор индийцы еще слишком далеки от нужного для того уровня цивилизации. Это говорят сами англичане. Что предвидят они относительно Ост-Индии, то уже начало исполняться в римских провинциях. После долгих бесплодных попыток к возвращению национальной независимости, — оставшихся бесплодными по слишком малой еще тогда степени успеха провинций в цивилизации, — Римская империя начала очень явно разделяться на 4 части: центром одной была Галлия, центром другой — Италия, третьей — Греция, четвертой — Малая Азия. Что тут было смертельного? Напротив, ведь в каждом учебнике говорится, что распадение империи Карла Великого было результатом и свидетельством успехов, сделанных нациями, основанием и залогом дальнейшего прогресса. Вот то же самое началось и в Римской империи. Управление империею посредством четырех, как будто федеративных, государей около времен Диоклетиана, или распределение империи на четыре префектуры<sup>3</sup>, точно так же было фактом прогресса, как и распадение империи Карла Великого. Тот и другой факт одинаково показывают, что побежденные народы успели подняться настолько, что уже не осталось прежнего чрезмерного расстояния между ними и бывшими их завоевателями. Разница лишь в том, что

римляне III и IV веков нашего летоисчисления стояли по цивилизации гораздо выше франков IX века, стало быть — и успехи, сделанные провинциями в первые три века нашей эры, были гораздо значительнее сделанных ими в первую половину средней истории.

Говорят, что стеснительность форм в Римской империи была безвыходна, а грабительства римлян в провинциях безмерны. Действительно, самоуправство и хищничество проконсулов, а потом императорских правителей были чрезвычайно велики; а формы управления были чрезвычайно обременительны. Но как ни дурно было положение дел в Римской империи, по завоевании варварами оно сделалось несравненно хуже. Римские гражданские и уголовные законы имели значительную степень достоинства; по завоевании варварами законом стал произвол, безумный каприз алчного и кровожадного дикаря. Положим, что римский проконсул или префект грабил и казнил очень свирепо. Но он и его помощники понимали, что поступают жестоко и притеснительно, когда поступали таким образом. Стало быть, они поступали так, лишь когда побуждал их к тому расчет; они знали, по крайней мере, что резать и грабить дурно, оставались справедливы и не жестоки во всех тех бесчисленных случаях, когда не было им прямой пользы от несправедливостей. Завоеватель — варвар был не таков: он резал людей так, как школьники бьют мух — без всякой надобности, просто от скуки. Ему не нужно было для этого уклоняться с пути, который он признавал справедливым; у него не было ни колебаний, ни опасений, не было того неприятного чувства, которое отталкивает человека от дурного дела и для преодоления которого нужны особенные, довольно сильные побуждения: нет, он не делал ничего дурного, когда резал и грабил. Он делал это с тем чувством, с каким мы выпиваем рюмку вина или садимся играть в преферанс. В VI или VII столетии жить было несравненно хуже, чем в III.

И не только формы управления были в III веке менее стеснительны, чем через 200 или 500 лет после того, — формы эти уже готовились измениться в Римской империи лучшими. Основанием для возможности притеснений было слишком низкое развитие провинций сравнительно с Италией; по мере того, как провинции цивилизовались, ослабевал этот главный источник бесправности их жителей. Мы знаем, что право римского гражданства постепенно предоставлялось одной провинции за другою и, наконец, было распространено на всю Римскую империю. Конечно, сначала это право оставалось почти только на бумаге по недостаточной подготовленности жителей провинций отстаивать его, по непривычке их считать себя людьми. Но ведь всегда бывает так; и тоже, как всегда бывает, провинции понемногу стали привыкать пользоваться своим правом и желать лучшего. Возникло общественное мнение; под конец Римской империи

оно уже достигало такой силы, что меры, принимаемые без совета с ним, оказывались недействительными, и само правительство увидело надобность призвать выборный элемент к участию в делах. Градское и сельское управление мало-помалу было передаваемо в руки самого общества, а в последние времена Римской империи начали появляться императорские декреты об учреждении чего-то похожего на провинциальные сеймы. Разумеется, эти уступки были только формальными, — на деле императорская администрация оставалась полновластною; но вначале ведь всегда так бывает. Следовательно, формы политического устройства уже начинали изменяться в направлении, открывавшем простор для гражданской жизни провинций.

Столь же заметен прогресс в юридическом положении массы. Она при завоевании провинций находилась в рабстве. Рабство довольно быстро смягчалось, заменилось крепостным состоянием, и крепостные люди начали постепенно приобретать больше и больше прав.

Таким образом во всех отраслях цивилизованной жизни Римская империя подвигалась вперед: просвещение в провинциях распространялось; национальности шли к приобретению независимого существования; в управлении стал являться выборный элемент; права массы расширялись.

В чем тут признаки истощения сил, в чем зародыши смерти от внутреннего изнурения? Напротив, везде видны зародыши более полной жизни в лучших формах.

Варварскими нашествиями почти все существовавшее хорошее было истреблено, римский мир отодвинут на несколько сот лет назад к тем временам, когда владычествовали над Галлией дикие верцингеториксы, бродили по Европе кимвры и тевтоны, или к временам еще более далеким, когда Македония была населена дикарями, когда опустошаема была Малая Азия скифами, или еще раньше, когда ходили греки на Трою. Не раньше XVII века, быть может только в половине XVIII века, успела континентальная Европа снова подняться до того положения, до какого достигала в конце III, в начале IV века. Прогресс был слишком на 1000 лет задержан падением Западной Римской империи перед варварами.

Но, говорят, самая победа варваров над Римскою империею доказывала несостоятельность Римской империи. Если бы внутренние силы римского мира не истощились, он легко отразил бы натиск этих слабых дикарей.

То есть как же это «легко» и каких же это «слабых»? Внутренние силы Римской республики, конечно, были в самом энергическом процветании (если уже употреблять вашу метафору) около времен Мариа<sup>4</sup>. Что же мы видим? Кимвры и тевтоны истребляют несколько римских армий, чрезвычайно многочисленных, и Рим снова на один волосок от опасности быть взятым

варварами, как был взят три столетия перед тем, как был взят через пять столетий после того<sup>5</sup>. Или легко было римлянам побеждать племена Западной Германии при Августе? А с кем же тут боролись римляне? Лишь с небольшою частицею, лишь с отдельными племенами дикарей одной только западной окраины безмерного пространства от Рейна до Амура, которое все занято было такими же воинственными дикарями. Вообразим же себе, что все эти народы устремились на запад: не одни прирейнские номады, как прежде, двигались на римлян, — эти племена составляют теперь лишь ничтожный авангард несметных алчных полчищ, которые волна за волною льются на цивилизованный мир из глубины центральной и восточной Германии, из Европейской России, из Туркестана, из Монгольской степи. Бьет первая волна, — она отбита, но покрыла развалинами широкую полосу цивилизованного побережья; за нею катится другая волна, за другою третья, и каждая все выше, стремительней, и проникает все дальше. Так продолжается в течение нескольких поколений, пока, наконец, не осталось в цивилизованном мире уголка, который по несколько раз не был бы потоплен наплывом этих свирепых полчищ. Какие-нибудь кимвры и тевтоны, составлявшие всего, может быть, сотую долю этого варварского населения, поколебали Рим; свидетельствует ли об ослаблении сил Римской империи тот факт, что она была подавлена всею грудю этого номадного населения?

Надобно яснее представить себе отношение сил между кочующими дикарями и цивилизованным народом. Когда цивилизованный народ посылает регулярное войско для покорения дикой страны, номады которой не думают итти всею массою на цивилизованную землю, варварская страна завоевывается регулярным войском. Таковы были походы Александра Македонского и римлян. Но если в оборонительной войне номады слабы, потому что разделены обширностью своих пустынь на племена довольно мелкие, то совершенно иное дело, когда из глубины степей поднимаются эти кочевые племена и двигаются через земли подобных себе дикарей на цивилизованную страну: тут с каждым шагом стремящаяся масса их растет, захватывая в себя или гоня перед собою племена, встречающиеся на пути. Сила дикарей страшно вырастает и от того, что они соединяются в сплошную массу, и от того, что они одушевлены расчетом на грабеж. В наступлении они гораздо грознее, чем в обороне.

«Положим, что готы, вандалы, гунны и бесчисленные другие племена и дружины варваров двигались громадными массами, натиска которых не могли бы выдержать ни легионы Августа, ни легионы Суллы, ни Мария, ни Сципионов. Но после того разве не было также бесчисленных примеров, что довольно слабые шайки варваров проходили насквозь целую страну, не встречая нигде отпора? В конце IV века уж есть такие примеры, а в V их

очень много. Вот вам и доказательство, что древний мир умирал, был бессилён, ветх». Разумеется, стал он, наконец, и ветх, и бессилён, и умер напоследок, — кто в этом сомневается? — Ведь о том и речь идет, от чего ослабел он, от чего умер. Нанесено человеку множество ударов огромной булавой; он лежит на земле умирающий, разумеется, теперь слабая рука может бить его хоть щепкой безнаказанно, — не даст он отпора; а потом ведь и черви будут есть его, и не пошевелит он пальцем, чтобы раздавить червяка. Как же он не обессилел, как же он не умер? Только не говорите, пожалуйста, что был он слаб, что умер от внутреннего органического расстройства. Ведь когда Антей был брошен задущенный Геркулесом, пигмеи могли безнаказанно потешаться над его громадным телом. Что же, по-вашему, Антей был хилого здоровья человек или охилел от дряхлой старости?

Чем же был убит древний мир? Мы прямо говорим: исключительно волнением, которое овладело всеми кочевыми племенами от Рейна до Амура. Тут было ни больше, ни меньше, как гибель страны от наводнения. Никакой внутренней необходимости смерти не было. Напротив, жизнь была свежа, прогресс безостановочен. Погибель Римской империи — такая же геологическая катастрофа, как гибель Геркулана и Помпеи, как гибель страны, по которой гуляют теперь волны Зейдер-зе. Подобные случаи гибели предмета, погибли дела от внешних разрушительных сил, как бы ни здорово было дело, как бы ни исполнен был жизни предмет, встречаются ежедневно в частном быту, встречаются бесчисленное число раз в истории; только никогда не происходила эта гибель в известной нам истории в таком огромном размере, как при гибели всего древнего цивилизованного мира. Не толкуйте же о разумности, о благотворности этих катастроф. Лошадь ударила человека подковою по виску, и он умер, — какая тут разумность, какие тут внутренние причины смерти? Лиссабон разрушен землетрясением, — виноваты ли в том достоинства или недостатки португальской цивилизации? Поднимается самум, заносит песком караван в Сахарской степи, — не доказывайте, что верблюды и лошади были плохи, люди глупы, товары нехороши. Слепая игра сил природы в стихиях, в животных или в людях, не вышедших из животного состояния. Помните ли вы песню Гёте о том, как Тилли брал Магдебург:

«Магдебург, Магдебург! Девушки в нем красавицы, — красавицы в нем и девушки, и женщины. Все цветет там. Идет к нему Тилли по цветущим лугам, по цветущим садам, идет к нему Тилли. Стал под ним Тилли. — «Кто спасет наш город, кто спасет наш дом! Иди, мой милый, бейся с ним». — «Он не страшен, как ни грозит нам. Поцелую твои алые губки. Он не страшен». — Конец песни вам известен. Защитники Магдебурга перебиты, город взят; девушка бежит. Ландскнехт останавливает ее<sup>6</sup>.

Ну, что же вы, доказывайте разумность факта: не был ли молодой человек — трус, не была ли девушка — кокетка, не за то ли они погибли, не является ли Тилли орудием прогресса, не вносит ли он в Магдебург элементов новой, лучшей жизни? Да и в самом деле, ведь Магдебург имел корпоративное устройство с гильдейскими и цеховыми учреждениями, так Тилли, вероятно, помог развитию свободы промышленности, должно быть, что без Тилли не могли явиться Адам Смит и Кобден. Вероятно, гибель Магдебурга была необходима для промышленного прогресса! Что за пошлость! побежденный виноват, убитый — сам причина своей смерти. Нет, по этому признаку нельзя судить; всячески бывает на свете: побеждают правые, побеждают и виноватые; умирают больные, умирают и здоровые, — всячески бывает:

Сколько добрых \* жизнь поблекла,  
Сколько низких рок щадит!  
Нет великого Патрокла,  
Жив презрительный Терсит! 7

В населении самих провинций Римской империи мы не находим решительно никаких причин считать гибель древнего мира делом нужным или полезным для человечества. Мы видим только крайнюю нелепость, совершенное противоречие с фактами в обыкновенном мнении, будто бы древний мир истощил свои силы, дошел до предела, выше которого не мог бы развиваться, и будто бы надобно было ему погибнуть для открытия возможности дальнейшего прогресса человечеству. Но кроме этой дикой стороны, обращенной против древнего мира, господствующее мнение имеет другую сторону, очень льстивую для племен, завоевавших римские провинции. На сколько древний мир был безжизнен и неспособен к прогрессу, на столько же, видите ли, варвары отличались какими-то особенно жизненными элементами и были способны к развитию; варвары, видите ли, внесли жизненные соки, и т. д. — развивается та же деревянная метафора, кончающаяся поэтическим уподоблением: «так мутные воды Нила, потопляя Египет, покрывают его слоем плодоноснейшего ила», — видите, до чего простерлась поэзия, даже рифма выходит: Нила, ила. Превосходно! Только ни с Нилом, ни с его плодотворным илом никакого сходства нет. Позвольте спросить: почему это варвары были особенно способны к прогрессу и какие новые живительные элементы внесли они в историю?

Обыкновенно отвечают: «принцип личности». В древнем мире будто бы личность поглощалась государством, человек исчезал в гражданине. У варваров, наоборот, индивидуальная свобода была выше всяких общественных уз. Тут просто-напросто противопоставляются две эпохи общественного быта, которые, впро-

\* У Жуковского «бодрых». — *Ред.*

чем, обе вместе со множеством других эпох существовали в самой истории древнего мира. У всех диких кочевых племен, например, у краснокожих северо-американцев, у калмыков, нет общественных учреждений, которые действовали бы постоянно и правильно; вождь является с действующею властью лишь в особенных случаях; а в обыкновенное время она спит; племенные сходки собираются тоже лишь в особенных случаях; по обыкновенным делам между частными лицами расправляются сами эти лица, как знают. Если одно из них обращается за покровительством к вождю или к племенному собранию, другое лицо покоряется или не покоряется этой власти, как само рассудит; словом сказать, обыкновенное течение дел — полнейшая неурядица с постоянным насилием и с полнейшим деспотизмом вождя или сходки в тех случаях, когда возбуждается к действию эта власть, против которой, впрочем, каждый, кто захочет, ведет войну. То же самое было и у германцев. То же самое в старину, задолго до Филиппа, было и у македонян. То же самое было у всех племен, вошедших в состав древнего мира, когда каждое из них было в состоянии дикости. Что тут особенного? И что тут особенно хорошего? Или уж не заключается ли в таком состоянии общества прочный зародыш свободы? Нимало. Власть вождя дремлет лишь потому, что богатств у каждого мало, а он — человек богатый, ему и скучно хлопотать из-за пустяков; он и спит себе, пока его растолкает кто-нибудь с просьбою о вмешательстве. А как только является у членов общества богатство, привлекающее внимание вождя, он перестает спать и оказывается постоянным деспотом. Легко ему сделаться деспотом потому, что племя имеет военные нравы; он — военный командир, а власть военного командира не знает границ; само племя расположено к признаванию такой власти. Вольные монголы и Чингиз-хан с Тамерланом, вольные гунны и Аттила; вольные франки и Хлодвиг, вольные флибустьеры<sup>8</sup> и атаман их шайки — это все одно и то же: то есть каждый волен во всем, пока атаман не срубит ему головы, как вообще водится у разбойников. Какой тут зародыш прогресса, мы не в силах понять; кажется, напротив, что подобные нравы — просто смесь анархии с деспотизмом.

Оно так и вышло. По завоевании римских провинций каждый человек из племени завоевателей разбойничает, грабит и режет, кого ему вздумается, из завоеванного ли населения, из своих ли товарищей, пока кто-нибудь зарежет его, а вождь между тем рубит головы у всех, кто попадется ему в лапы.

Кроме этой особенности, никакой другой особенности мы не видим в порядке, заведенном варварами. А эту особенность мы видим и у печенегов, и у половцев, и у татар, завоевавших Русь, — впрочем, оно и то сказать, есть у нас историческая школа, говорящая, что татарский порядок был очень благотворен для России. Но вот о египетских мамелюках, которых истреблял

Наполеон, а потом Мегмет-Али, о турецких янычарах, о мароккских, тунисских, алжирских разбойничьих шайках с их деями и беями<sup>9</sup> (совершенно соответствующими готским, бургундским, аллеманским, франкским дружинам с их предводителями) никто, кажется, не говорит, что они внесли новые элементы прогресса в страны, где утвердился их разбой, и повели по пути прогресса население Босны\*, Герцоговины, Египта и т. д.

Но ведь из этого разбоя, продолжавшегося несколько веков, вышел, наконец, феодализм — вот и особенный элемент, внесенный в жизнь цивилизованных стран варварами. Хоть бы и был он особенным, какой же в нем прогресс сравнительно с устройством Римской империи в самые худшие времена ее? Там все-таки была известного рода законность, хотя сколько-нибудь соблюдавшаяся. А феодализм — ни больше, ни меньше, как грабеж, приведенный в систему, междоусобица, подведенная под правила. Теперь уже давно всеми признано, что в феодализме не было решительно ничего способного к развитию, что он был лишь смягченной формою предшествовавшей ему полной анархии грабительского самоуправства. Ничего не могла взять цивилизация из этой формы, служившей только препятствием для нее; все, решительно все отвергала цивилизация из феодальных учреждений, как только могла справиться с ними. Разумеется, сравнительно с VI и VII столетиями феодализм был прогрессом, но лишь в том смысле, в каком старинные итальянские разбойники, бравшие выкуп, были прогрессом над прежними разбойниками, резавшими без всякого выкупа. Да и что специального, особенного в западном феодализме? Возник он из того, что вольные люди записывались в подданство могущественных соседей, чтобы через регулярное жертвование частью дохода получать защиту против других грабителей. Но точно так же записывались под власть сильных людей вольные люди во всех странах в эпохи сильной неурядицы; например, и у нас так было в смутные времена самозванцев. Возникшая из этого форма отношений между второстепенными владельцами и могущественным провинциальным владельцем, как их сюзереном, между областными владельцами и владельцем страны, как их сюзереном, тоже не представляет ничего особенного; точно таковы же были отношения сильных раджей к императору, а мелких раджей — к сильным раджам в Ост-Индии; какой-нибудь Ауд был как две капли воды похож на какую-нибудь Саксонию или Бургундию XII века. Раскройте Шах-Наме, вы увидите то же самое в старинном персидском царстве: Рустем такой же герцог своей области, имеет точно таких же второстепенных вассалов, как Генрих Лев, и находится к шаху Кейкаусу<sup>10</sup> точно в таких же отношениях, как саксонский владетель к немецкому императору, как граф шампанский к фран-

\* Боснии. — Ред.



цузскому королю. Точно в таких же отношениях были так называемые тираны греческих малоазийских городов к царю персидскому. Теперь дело известное, что формы, подобные феодализму, являлись почти во всех странах в период перехода от полнейшей дикости к низшим ступеням порядка, сколько-нибудь законного. Древний мир задолго до начала нашего летоисчисления дошел уже до форм более совершенных или, лучше сказать, до форм менее диких.

Вот мы дошли и до конца средней истории: ведь она кончается заменением феодализма централизованною бюрократиею или чем-нибудь подобным. А достигла эта централизованная бюрократия полного господства над феодализмом не раньше как в XVII веке; а в Римской империи эта форма уже господствовала в III веке; значит, целые 14 веков были потрачены на то, чтобы поднялась история хоть до той высоты, с какой низвергли ее варвары. Вот теперь и рассуждайте о благодетельном влиянии завоевания римских провинций варварами. Вся благотворность этого события состояла в том, что передовые части человеческого рода низвергнуты были в глубочайшую бездну одичалости, из которой едва успели вылезть до прежнего положения после неимоверных 14-вековых усилий.

Сделаем теперь крутой поворот. Какое нам дело до тех или других понятий о способности или неспособности древнего мира к дальнейшему прогрессу, о благодетельности или гибельности вмешательства варварских племен в судьбу цивилизованных стран? Пусть пишутся об этом специалистами ученые книги; нас занимают вопросы совершенно иные, и, разумеется, мы не стали бы тревожить такую ветхую старину, если б разоблачение ошибочного взгляда на вопрос ветхой старины не представлялось делом довольно важным для очищения самохвальных и, к счастью, пустых мыслей о некоторых живых отношениях. Мы говорим не о славянофилах. Если бы спорить приходилось лишь против них, не стоило бы спорить, потому что они малочисленны, и слишком уже часто встречаются люди, любящие дешевым манером подсмеиваться над ними, не замечая того, что сами не чужды коренной тенденции, из которой происходит славянофильство. Оно лишь — последовательная, развитая форма чувства, существующего чуть ли не в большинстве нашего общества, проглядывающего, к сожалению, даже у многих из людей, имеющих влияние на мысли всей публики. «Мы призваны обновить жизнь цивилизованного мира, внести в нее высшие элементы, которых сам он выработать не в силах». Всмотритесь хорошенько в самого заклятого западника, он с этой стороны часто оказывается славянофилом.

Мы далеко не восхищаемся нынешним состоянием Западной Европы; но все-таки полагаем, что нечем ей позаимствоваться от нас. Если сохранился у нас от патриархальных (диких) времен

один принцип, несколько соответствующий одному из условий быта, к которому стремятся передовые народы, то ведь Западная Европа идет к осуществлению этого принципа совершенно независимо от нас. Новые экономические тенденции стали обнаруживаться во Франции и в Англии задолго до того, как барон Гакстаузен рассказал немцам о нашем обычном общинном землевладении<sup>11</sup>; а французы и англичане узнали об этом нашем обычае от немцев еще позднее, — чуть ли не вчера только или третьего дня. Их мыслители нашли истину без помощи знаний о нашем быте; они и не подозревали даже, когда составляли свои теории, что у одного из русских племен сохранилось общинное землевладение. Распространялись и распространяются до сих пор их мысли в Западной Европе также без всякого отношения к нашему обычаю: ни для кого из приверженцев новых теорий на Западе не служит он доводом в пользу новых теорий. Это все равно, как изобретены были и распространились по Европе висячие мосты, без всякого участия тут несколько похожей вещи, издавна существующей — не помним — у китайцев ли или у какого-то другого восточно-азиатского народа: перебрасываются с одного края ущелья на другой веревки и настилаются на этих веревках доски. Европейские инженеры и не подозревали о существовании такого факта, когда стали доказывать возможность и пользу висячих мостов, и вошли в употребление такие мосты без всякой помощи китайского или какого другого восточно-азиатского влияния. Какое же тут участие имели китайцы в прогрессе европейской инженерной науки и практики? Чем была тут или будет обязана им человеческая цивилизация или Западная Европа? Напротив, когда они из своего бог знает какого бестолкового состояния перейдут в порядочную цивилизацию, они же будут учиться от Западной Европы не тем одним вещам, сходного с которыми ничего не было у них в их прежнем азиатстве, а между прочим и постройке висячих мостов, сходная с которыми вещь была у них. Принцип, положим, действительно один и тот же. Но форма, до какой развивается вещь, порождаемая принципом, совершенно не та, и китайцам без помощи европейской цивилизации никак нельзя было бы дойти до висячего моста, действительно прочного, удобного, удовлетворяющего надобностям цивилизованного общества; а та форма, какая существует у них при азиатстве, ведь и неудовлетворительна для общества, сколько-нибудь развитого. Что же хорошего в китайских веревочных мостах? Хорошо в них то, что при своем прежнем и нынешнем азиатстве китайцы, бывшие неспособными иметь постройки более совершенной формы, терпели бы еще больше неудобств, если б не было у них хоть веревочных мостов. Значит, для китайцев эти мосты были и остаются пока полезны, даже очень полезны, пожалуй, благодетельны и спасительны; но ведь для самих же китайцев только; а Европе не принесли, не приносят и не могут

принести никакой пользы. Они ей совершенно не нужны; они для нее совершенно неудовлетворительны. А для китайцев они, как мы уж говорили, очень полезны. И не только теперь полезны, при их изобретении, при их неспособности иметь лучшие пути сообщения с лучшими мостами. Наверное обычный этот факт окажется полезен и для дальнейшего их прогресса, когда они станут способны завести у себя лучшие пути сообщения по европейской науке. Ведь мандарины не сделаются же вдруг просвещенными европейцами, истинными реформаторами, какими-нибудь Стефенсонами или Робертами Овенами; долго будет у них в головах сидеть азиатская рутина с отвращением от всего истинно-европейского. Вот им и будут говорить порядочные инженеры: «что же такое, ведь висячие мосты — чисто национальное наше китайское учреждение; ведь в них нет ничего европейского, развращенного и губительного для китайских порядков». Да и народ китайский не легко поверил бы удобству и прочности железных висячих мостов, если бы не привык к своим веревочным; ну, а теперь каждому будет видно, что железные висячие мосты безопасны во всех отношениях: и с китайскими порядками сходны, и ходить или ездить по ним вовсе не страшно. Значит, китайцы будут много обязаны своим нынешним веревочным мостам за легкие успехи нового инженерного искусства в их стране.

Вот точно такого же рода история и с нашим обычным землевладением. Европе тут позаимствоваться нечем и не для чего; у Европы свой ум в голове, и ум гораздо более развитый, чем у нас, и учиться ей у нас нечему, и помощи нашей не нужно ей; и то, что существует у нас по обычаю, неудовлетворительно для ее более развитых потребностей, более усовершенствованной техники; а для нас самих этот обычай пока еще очень хорош, а когда понадобится нам лучшее устройство, его введение будет значительно облегчено существованием прежнего обычая, представляющегося сходным по принципу с порядком, какой тогда понадобится для нас, и дающим удобное, просторное основание для этого нового порядка.

Кроме общинного землевладения, невозможно было самым усердным мечтателям открыть в нашем общественном и частном быте ни одного учреждения или хотя бы зародыша учреждения для предсказываемого ими обновления ветхой Европы нашею свежелою помощью. Мы тут говорим, разумеется, не о славянофилах; у славянофилов зрение такого особенного устройства, что на какую у нас дрянь ни посмотрят они, всякая наша дрянь оказывается превосходной и чрезвычайно пригодной для оживления умирающей Европы. Один уверяет, что очень хороша привычка нашего народа безответно подвергаться всяким надругательствам и что Западная Европа умирает от недостатка этой похвальной черты, а спасена будет нами через научение от нас такому же смирению. Другой находит, что мы молодцы пить и гулять, что

Западная Европа должна научиться от нас широкому русскому разгулу, то есть дракам в харчевнях и битью стекол в трактирах, и спасена будет от смерти собственно этим. Третий проникает глубже в народную жизнь, и от домашнего очага, то есть от сбитой из глины печи черной избы, выносит иное сокровище: битые жен мужьями, битые сыновей отцами (и наоборот, битые отцов сыновьями, когда отцы одряхлеют), отдавание дочерей замуж и венчанье сыновей по приказанию родительскому без надобности в согласии женимых и выдаваемых замуж; эти семейные отношения должны послужить идеалом для Западной Европы, которая и спасется через них. Четвертый восхищается продолжительностью нашей жестокой зимы и находит, что Западная Европа расслабела от недостатка морозов; но уж в этом никак нельзя ей помочь, и он откровенно сознается, что дело ее пропавшее. Мы говорим не о таких людях: их мало, и спорить с ними не стоит, — мы говорим не про чудаков, а про людей, рассуждающих по обыкновенному человеческому смыслу. Они, кроме общинного землевладения, не видят у себя ничего такого, чему полезного было бы распространиться от нас на передовые страны и чем бы могли мы содействовать их оживлению. А этому обычаю Европе поздно научиться от нас, да и не нужно учиться, потому что сама она гораздо лучше нас понимает, какие новые порядки ей нужны, как их устроить и какими способами вводить. Значит, оживлять нам ее ровно уж нечем.

Нечего нам и хлопотать об этом: никаких оживлятелей не нужно ей. Она и своим умом умеет рассуждать и своими силами умеет делать, что ей угодно, и своих сил довольно у ней на все, что ей нужно делать.

Или вы начнете говорить, что она ветшает, слабеет силами, что она отжила свою жизнь и т. д., — то есть опять возвратиться к той же метафоре о дереве, которая оказалась обманчива, и все к тому же примеру древнего мира, который оказался свидетельствующим совершенно противное, — к этому ли возвращаетесь вы? Пожалуй, потолкуем еще раз.

«Старые страны, долго жившие исторической жизнью, источают свои...» — ну, довольно, продолжение мы уж слышали. Рассудимте сначала хотя о древнем мире, для краткости — хотя о западной половине его, о Западной Римской империи; для большей краткости будем говорить лишь о северной части ее, о западно-европейском куске Римской империи. Он состоял из Италии, юго-западной Германии, немецкого рейнского побережья, Бельгии, Голландии, Англии, Франции, Пиренейского полуострова. Из всех этих стран, какие имели долгую историческую жизнь перед разрушением западного римского мира? — Одна только Италия. Все остальные еще в начале нашего летоисчисления были совершенно дикими, варварскими, то есть, по вашей терминологии, юными, свежими, девственными. От этой девственности и

свежести начинали они избавляться; мы видели, что понемногу они цивилизовались, мы даже хвалили их успехи, находили в них залогом дальнейшего прогресса; но если то, что казалось нам хорошо, по-вашему было гибельно, то нечего сказать, ведь не бог знает еще сколько этой гибели привилось к ним, не бог знает сколько заразились они ядом цивилизации: в конце III века, в половине IV века они все еще были странами полудикими; масса туземного населения оставалась еще очень невежественна, то есть, по-вашему, свежа. В исторической жизни эта масса не принимала еще ни малейшего участия; образованные классы были все еще малочисленны, да и они только лишь начинали принимать участие в исторической жизни, едва лишь начинали в них пробуждаться первые неопределенные мысли о самостоятельности. Значит, если долгая историческая жизнь не увеличивает, а уменьшает способность страны к прогрессу, — то есть почва, по вашей метафоре, не удобряется, а истощается растущим на ней лесом, и чем дальше разрастается лес, тем меньше остается свежих соков в земле, — если думать и так, в противность здравому смыслу, то все-таки по вашему же принципу оказывается, что Пиренейский полуостров, Галлия, Британия, Прирейнская немецкая полоса были странами очень свежими, очень способными к прогрессу, в то время как варвары стали истреблять в них рождавшуюся цивилизацию. Посмотрим теперь на Западную Европу. Если цивилизация истощает свежесть народных сил, если участие в исторической жизни уменьшает способность к прогрессу, то действительно ли население Западной Европы очень уже истощено в этих отношениях?

Образованности в Западной Европе очень много. Так; но неужели масса народа и в Германии, и в Англии, и во Франции еще до сих пор не остается погружена в препорядочное невежество? Утешьтесь: она верит в колдунов и ведьм, изобилует бесчисленными суеверными рассказами совершенно еще языческого характера. Неужели этого мало вам, чтобы признать в ней чрезвычайную свежесть сил, которая, по-вашему, соразмерна дикости?

Нынешнее состояние массы в самых передовых странах достаточно ручается, что она до сих пор почти вовсе еще не жила историческою жизнью, а продолжала искони веков дремать младенческим сном, какими дремали ваши любимые молодые страны. А не полагаетесь вы на этот вывод, по-нашему совершенно очевидный, то справьтесь с историею. История прямо вам говорит, что феодальное время было временем исторической жизни исключительно одних только феодалов и рыцарей; сначала под этими настоящими своими именами, потом под именами высшего сословия или аристократии, они одни распоряжались судьбою стран: строили учреждения, какие хотелось им, воевали, судили, управили и поживали себе, как сами думали, не допуская других сословий ровно ни к чему. Когда же кончился феодальный

порядок? Во Франции — в конце прошлого века, значит, еще не очень давно; в Англии — об ней мнения различны: по словам одних, в ней он еще продолжается; по словам других, кончился в 1846 году отменой хлебных законов; иные говорят: еще раньше, в 1832 году, парламентскою реформою, а еще другие говорят, будто еще раньше, в конце или в половине XVII века, при втором или при первом низвержении Стюартов. Возьмем самый далекий срок, все-таки выходит не многим больше 200 лет. В Германии покончилось господство феодализма наполеоновскими завоеваниями и реформами Штейна<sup>12</sup> в начале нынешнего века; но это лишь в Западной и Северной Германии, а в Южной, в австрийских землях — в 1848 году. До эпох, нами обозначенных, ни в одной из этих трех передовых стран не было в исторической жизни сильного участия не только со стороны массы населения, но и со стороны среднего сословия. Значит, еще некогда было истощиться от продолжительной исторической жизни силам не только массы населения, но и силам среднего сословия. Вы видите, что оно только еще принимается за ведение исторических событий, за устройство общественного порядка по своим надобностям: и в Германии, и в Англии, да и в самой Франции, как видит каждый, еще очень сильны элементы, сохраняющиеся от феодализма: армия и бюрократия.

По мнению порядочных писателей о сельском хозяйстве, чем дольше возделывается земля рациональным образом, тем плодороднее она становится. Вы, насмотревшись, должно быть, одного только залежного хозяйства, по которому через три года земля становится никуда негодна и нивы переносятся на новое место, думаете, что историческая жизнь истощает силы страны. Так вот, если даже и согласиться с вашим понятием, все-таки выходит, что лишь самая ничтожная доля в составе населения каждой передовой страны могла истощить свои силы, а если брать весь народ страны, то следует сказать, что он еще только готовится выступить на историческое поприще, только еще авангард народа — среднее сословие, уже действует на исторической арене, да и то почти лишь только начинает действовать; а главная масса еще и не принималась за дело, ее густые колонны еще только приближаются к полю исторической деятельности.

Рано, слишком рано заговорили вы о дряхлости западных народов: они еще только начинают жить.

Но мы видели, что точно так же едва начиналась историческая жизнь и в провинциях Римской империи. Кто нам поручится, что и жизнь Западной Европы не подвергнется такой же катастрофе?

Ручательством за то, что не будет такой катастрофы, служат география, статистика, технология и военное искусство. Отношение цивилизованного мира к варварскому и полуварварскому теперь уже и по пространству земли, и по числу населения не то,

какое было в прежние времена. Римская империя имела огромную величину; она равнялась пространством всей нынешней Западной Европе. Но огромнейшая часть ее состояла из земель, только еще начинавших цивилизоваться; уровень просвещения в них возвышался еще не столько собственными их силами, сколько влиянием Италии и Греции; быть может, довольно скоро — через два, через три века — они приобрели бы силу держаться и самостоятельно; но когда начался натиск варваров, они держались еще только умственным развитием итальянского и греческого племени. Италия, то есть пространство земли величиною в каких-нибудь 5 000 географических миль, и Греция со своими островами и узкою полоскою малоазийского побережья, то есть пространство в каких-нибудь две или три тысячи географических миль, еще оставались единственными странами, в которых цивилизация достигла такой силы, что образованность их уже существовала и развивалась внутренним могуществом. Таким образом весь тогдашний уже цивилизовавшийся мир ограничивался двумя небольшими землями, которые одни и служили существенно важными частями его, центрами, к которым лишь примыкали остальные громадные пространства, получавшие жизнь из этих центров. Теперь не то; в Западной Европе есть страны, которые в том или другом отношении цивилизованы больше других; но и страна, наименее сделавшая успехов, никак уже не может быть названа полуварварскою. Какая-нибудь Испания, или Померания, или Трансильвания все-таки страны цивилизованные. Нечто подобное положению, в каком были все части Римской империи, кроме Италии и Греции, представляет теперь быт лишь немногих очень небольших уголков Западной Европы — острова Сардинии, отчасти острова Корсики; но и Корсика и Сардиния все-таки несравненно дальше от дикости, чем была в III веке Галлия, не говоря уже о других римских провинциях. Тогдашнее состояние этих провинций можно сравнить с тем, что представляет теперь Ост-Индия или остров Ява, или, ближе к Европе, Алжиоия. Цивилизованный элемент страны сосредоточивается преимущественно в пришельцах другого племени; довольно многие туземцы принимают такую же цивилизацию, и число их увеличивается, но все-таки масса туземного простонародья еще остается совершенно варварскою. Если бы цивилизованный мир ныне ограничивался одною Англиею с Ост-Индиею и если бы вообразить, что Англия лежит где-нибудь на краю Ост-Индии, это было бы совершенно сходно с состоянием Римской империи. Разумеется, трудно было бы ручаться, что этот небольшой уголок, примкнутый к огромному пространству полудиких земель и ослабляемый каждым несчастьем еще столь слабой цивилизации в этих землях, может удержаться против наплыва диких орд из всей Центральной Азии. Таким образом первая разница: широкость и прочность основания, приобретенного новою цивилизациею.

Соразмерно тому, как увеличилось пространство цивилизованных земель, уменьшилось пространство земель, откуда может устремиться в них поток варварства. Еще разительнее изменилось отношение по числу населения. Если мы исключим Китай, Японию, Ост-Индию, племена которых, конечно, уже не грозят вторжением в Западную Европу, то весь остальной старый свет уже не имеет столько населения, как Западная Европа. Если считать силу по числу рук, перевес силы уже на стороне Западной Европы. Не так было полторы тысячи лет тому назад, когда существенное сопротивление бесчисленным дикарям ограничивалось лишь населением Италии и Греции. Наконец технология и военное искусство находятся теперь совершенно в ином положении. У варвара и у римского легионера самым сильным оружием был меч, который умеют ковать и в полуварварских странах. Если бы судьба походов решалась и теперь палашами и штыками, успех мог бы еще представляться возможным. Он затруднился с изобретением пороха, с появлением ружей и пушек. Но пока оставались старинные ружья, старинные пушки слишком топорной работы, какой-нибудь Дост Могаммед афганский мог устраивать у себя оружейные и литейные заводы не хуже европейских. Теперь не то. Когда возмутилась бенгальская армия, англичане, разумеется, были очень поражены неожиданною перспективою растрат, усилий, каких стоить будет им борьба, но в заключение очень основательно прибавляли: «мы снабдили этих сипаев превосходнейшим вооружением, но чинить своих ружей они не могут, делать патронов для них не могут; когда они расстреляют захваченные ими в наших арсеналах патроны, они останутся почти безоружны против нас, потому что теми ружьями, какие они могут и чинить, теми патронами, какие они могут делать, сражаться им с нами нельзя».



## ГРАФ КАВУР

Считаться великим правителем, необходимым министром в течение многих лет, — и каких лет! Не апатичных, сонных, когда спокойно держится на месте каждый, кому случилось попасть на место, — нет, в период, когда кипит национальная жизнь, происходят перевороты, грозят великие опасности, приобретаются блистательные успехи, напряжены все силы народа и действуют гениальные люди, — добиться первого места в такое время и приобрести такую репутацию, чтобы миллионы основывали все свои надежды на твоём уме, готовы были следовать за тобою на все, готовы были жертвовать твоему превосходству многими дорогами своими убеждениями, лишь бы ты руководил делом, лишь бы ты не покидал его, — разумеется, такого положения, такой репутации в такое время нельзя достичь человеку иначе, как при способностях очень замечательных. Мы нимало не станем отрицать того, что Кавур был человек очень замечательных дарований<sup>1</sup>. Едва ли любил его кто-нибудь из тех, которые отдавали ему в руки власть почти безграничную. Говорят, что Виктору-Эммануэлю он был антипатичен. Это очень правдоподобно. Король итальянский — человек прямого характера, простой, скромный; Кавур не мог нравиться ему при своем коварстве и претендательности. Масса не находила в Кавуре ни рыцарской отважности, ни высокого великодушия, ни одной из тех сторон блестящего благородства, которые магически на нее действуют, ни заботливости о простонародных нуждах, ни прогрессивных мнений, — ничего такого, чем очаровывается простолюдин в правителе; даже сами парламентские приверженцы Кавура, сами его товарищи по кабинету не любили его: они часто шокировались его высокомерием и самовластием. А между тем парламентское большинство подчинялось ему безусловно, король соглашался на все, чего он хотел, а масса при всей своей нелюбви к нему веровала в него; значит, велико было его превосходство над всеми людьми одинакового с ним направления. Действительно, не было ему соперника между дипломатами и конституционными

министрами Западной Европы. В крайних партиях — и в реакционной, и в революционной — находилось много людей гораздо более сильного ума и характера. Но по самому положению дел ни та, ни другая партия не могла пользоваться властью в Сардинии; а в консервативно-либеральной партии, которая одна по ходу дел должна была иметь власть, Кавур был выше всех изворотливостью ума и решительностью характера; потому-то и считался он незаменимым правителем.

Мы вполне признаем, что никто лучше его не мог исполнять ту систему, которой он держался по своему образу мыслей. Скажем больше: мы расположены думать, что господство именно этой системы служило необходимым условием успешного хода национальных дел. Но мы не восхищаемся ни системой, представителем которой был Кавур, ни им самим. Это требует объяснения.

Все на свете требует для своего осуществления силы. Дурное и хорошее одинаково ничтожно, когда бессильно. Что же такое сила? В теории сила дается логикою. Кто имеет совершенно определенные принципы, кто развивает их последовательно, тот всегда одерживает в теоретическом споре верх над людьми непоследовательными, говорящими в одно время об одном и том же и «да» и «нет». Все великие теоретики были люди крайних мнений. Но другое дело — практическая жизнь. В ней важно то, на чьей стороне большинство. А у большинства господствующий принцип — рутина. Редки бывают минуты, когда овладевает обществом сильная идея, и оно скоро утомляется непривычным для него напряжением умственных сил и снова впадает в рутину; а рутина — это вовсе не логическая смесь старого и нового, смесь мыслей, принадлежащих совершенно разнородным принципам, которым никак нельзя ужиться вместе в последовательной теории, но которые очень ладно набиваются рядом в головы, мало способные мыслить. Силен в обществе тот, кто имеет за себя большинство. Вот причина тому, что в конституционных государствах власть принадлежит обыкновенно партии так называемых умеренных людей, — людей непоследовательного образа мыслей, желающих лишь наполовину всего, чего желают, исполняющих лишь наполовину все то, к чему стремятся. В Италии по национальным делам есть, как и везде, два противоположные образа мыслей, очень последовательные каждый своему принципу. Представителями одного надобно назвать покойного короля неаполитанского Фердинанда и нынешнего правителя римских дел Антонелли; известнейший представитель другого — Маццини<sup>2</sup>. Которого из них вы ни захотите послушать, он рассуждает гораздо логичнее Кавура и его сотоварищей. Но один принцип уже не удовлетворяет рутинному образу мыслей большинства, другой еще не вошел в рутину. От этого при обыкновенном настроении итальянского общества ни тот, ни другой не могут удовлетворить ему. удовле-

творительна только та смесь, которая составляет рутину, образовавшуюся из клочков прежнего принципа, еще уцелевших, и клочков нового принципа, уже успевших сделаться общими местами. Люди крайних мнений должны знать, что они работают не в свою пользу. Их деятельность не остается без результата, — напротив, только именно от нее и происходит результат: общество несколько подвигается назад усилиями реакционеров, когда обстоятельства благоприятствуют им; а вообще оно подвигается вперед усилиями решительных прогрессистов\*. Но работают и те и другие одинаково в пользу умеренной партии. Фердинанд неаполитанский и Антонелли, а на противоположном конце Гарибальди и Маццини одинаково трудились в пользу Кавура, потому что масса общества не расположена итти далеко ни по какому направлению: она рада останавливаться подле тех, которые в дурном ли, в хорошем ли одинаково говорят: «остановимся; мы уже далеко ушли; отдохнем, успокоимся».

Вот источник силы, которую имел Кавур. Он принадлежал к партии рутины, к людям, советовавшим обществу не заходить далеко ни вперед, ни назад. Но общее положение Италии было таково, что общество не могло избежать прогрессивного движения. Прежний порядок дел был слишком тяжел. Потому в рутине довольно быстро уменьшался элемент старины, довольно быстро входили в нее обрывки новых стремлений. Умеренная партия, представительница рутины, с каждым годом расширяла свою мерку возможных и полезных реформ. Это расширение делалось не по ее охоте, против ее желания налагалось на нее успехами прогрессистов. Но все равно, она шла вперед. Десять лет тому назад она мечтала только об итальянском союзе, в котором участвовали бы король неаполитанский, папа, герцог тосканский и король сардинский. Прогрессисты работали, и через несколько лет программа умеренной партии расширилась: Кавур и люди, предводителем которых он был, стали думать, что четырех государств в Италии слишком много, довольно будет двух; Тоскана с герцогствами и северная часть папских владений удобно могут быть присоединены к Сардинии, а южная часть папских владений — к Неаполю. Когда Кавур три года тому назад входил в соглашение с императором французов на пломберском свидании<sup>3</sup>, он мечтал еще только об этом дележе Италии пополам, да и то лишь мечтал, а практическая программа его не достигала и этой высоты; он еще полагал, что и Тоскана, и Папская область, за исключением легатств, сохраняют свою отдельность в перевороте, который рассчитывал он произвести помощью Франции. Зимой прошлого года перешло в практическую программу умеренной партии то, что было лишь мечтою для нее до начала войны. Сардиния уже поглотила Тоскану и рассчитывала овладеть Папскою

\* Революционеров. — Ред.

областью; но Неаполя еще не хотел касаться Кавур. Когда Гарибальди овладел Сицилиею, умеренная партия опять говорила: «довольно, остановимся на этом; пусть неаполитанские владения на континенте останутся неприкосновенными». Когда и они были введены в состав национального государства, умеренная партия опять говорит: «довольно, остановимся пока на этом; отдохнем; думать о Венеции еще рано». Мы нимало не утверждаем, что умеренная партия не была права каждый раз: какое нам дело разбирать, кто прав. Быть может, мы должны сказать, что если уж неправ Кавур, то прав не иной кто, как Антонелли. К чему же нам договариваться до таких вещей? Мы лучше будем смотреть лишь на фактическую сторону дела, лишь на ход событий, и, основываясь на нем, мы можем сказать, что умеренная партия в Италии никогда не имела твердой программы по национальному делу; оно было ведено другими людьми, с самого начала поставившими себе неизменную цель: стремиться к соединению всей Италии в одно государство. Умеренная партия постоянно считала этих людей непрактичными мечтателями, вредными интригантами\* и по своей рутинности постоянно желала остановиться на переменах, сколь возможно менее значительных. Но старый порядок, кусок за куском, падал под напором интригантов и мечтателей. С каждым таким фактом принуждена бывала умеренная партия изменять свою программу. Хороша или дурна цель, к которой идет итальянское дело, — за то, что оно приближается к ней, умеренную партию не надобно ни хвалить, ни корить: она с своим представителем тут ни в чем не виновата.

Да, не виновата ни в чем, даже и в том, что дело шло не так быстро, как могло бы идти при другом ее характере, когда бы она сама стремилась к чему-нибудь определенному, а не ограничивалась тем, что пассивно принимала каждый совершившийся факт, осуществление которого замедляла своею апатичностью, своею недоверчивостью к национальным силам. Ведь если б Кавур и другие предводители умеренной партии поступали иначе, если бы они сами шли вперед, а не были против собственных мыслей ведены вперед другими, они не были бы предводителями умеренной партии, не были бы представителями большинства, не имели бы в своих руках и организованную силу государства, не были бы его правителями. Они были бы тогда отброшены массою, как люди, не соответствующие неопределенности ее тенденций, вялости ее желаний; она выдвинула бы тогда вперед других людей, и только переменялась бы расстановка имен. Предположите, что Кавур не мешает Маццини, а помогает ему; что же из этого? Ничего, кроме личной неприятности для Кавура: его вместе с Маццини считают человеком непрактичным, вредным, от

\* У Чернышевского это слово употребляется в смысле «заговорщик». — Ред.

него отступаются, его сталкивают с места и на это место выводят Рикасоли или Фарини, Ратацци или Ламармору<sup>4</sup>, предположите, что и они все четверо поддаются образу мыслей, который, по нашему предположению, увлек Кавура; опять из этого выходит лишь то, что увеличивается несколькими новыми именами список имен, в котором теперь стоят Бертани и Мордини, Саффи и Криспи, Риччарди и Либертини<sup>5</sup>, только и всего. А в этом списке столько людей способных, что не выиграет он от прибавки этих новых имен; а власти над организованными государственными средствами они не принесут ему потому, что сами теряют эту власть, как только становятся людьми последовательными, имеющими твердую цель стремлений, — теряют власть оттого, что перестают быть удовлетворительными для апатичной, не имеющей ясного образа мыслей массы общества. Иметь обдуманную, ясную программу! Может быть, это и хорошо само по себе, может быть это и полезно для нации, но масса общества никогда не поставит, не будет иметь своими представителями таких людей. Стало быть, нечего порицать Кавура за то, что был он таким, каким был, занимая место, какое занимал: такие люди требуются этим местом; другие не годятся для него.

Но если система, представителем которой был Кавур, не могла быть иной и потому не может служить предметом порицания, то нельзя же с чисто исторической точки зрения не видеть, что система эта была несоответственна цели, к которой шло итальянское дело, и потому замедляла его успехи на каждом шагу. Да и как же хотите вы, чтобы было иначе? Люди не знают, чего им хотеть; из этих людей, не знающих, чего им хотеть, разумеется, приходится кому-нибудь быть предводителем остальных; он их предводитель только потому, что тоже не знает, чего ему хотеть; какая же польза для дела оттого, что люди не знают, чего им хотеть, и какая польза делу от этого предводителя?

Впрочем, «не знать, чего хотеть» — это ведь говорится только относительно дела, составляющего национальную задачу в известное время; а то как же умным людям, например, хотя Кавуру и другим предводителям умеренной партии в Италии, не знать, чего они хотят? Возьмите хотя то, какие они люди, и вы увидите, что нельзя им не знать очень хорошо всего до последней мелочи. Кто они? Они — люди рутины. Рутинa нелогична, слеплена из противоречащих мыслей; это так. А все-таки она — вещь чрезвычайно определенная, и кто держится ее, тот все знает, решительно все; нет у него ни сомнений, ни недоумений, все решено за него рутиной. На бал ли ехать — надобно надевать фрак (о сюртуке и мысли быть не может), и фрак именно черного цвета; жениться ли — надобно выбирать невесту с приличным состоянием и хорошими связями. Так оно и в национальных делах. Вот, например, Кавур делается сардинским министром: как же ему не знать, о чем стараться? Напротив, это ясно для него, как

дважды два. Сардиния — государство небольшое. На северо-запад и на северо-восток лежат другие государства, очень большие, над которыми перевеса не получишь. А по известной рутине, искусный министр должен доставлять своему государству перевес над другими. Где же бы найти такие государства, над которыми может получить перевес Сардиния? Да вот на юге лежат государства, и небольшие, и такие расшатавшиеся во внутреннем быте, что не могут держаться самостоятельно, должны находиться под чьим-нибудь перевесом. Значит, над ними-то и надобно Сардинии взять перевес. Хорошо; каким же способом взять перевес?

Опять по рутине известно, что если соседнее государство волнуется внутренними смутами, соседу, желающему приобрести перевес, надобно раздувать внутренние несогласия, помогать недовольным и, чего бы ни хотели эти недовольные, говорить, что согласен с ними. Недовольство в итальянских государствах происходило из двух стремлений: к национальному единству и к свободным формам правления. Значит, Сардиния должна являться защитницею национальных стремлений и либеральных форм. Против них итальянские правительства боролись при помощи Австрии; значит, надобно стать во вражду к австрийцам, друзьям противников. Это тем полезнее, что национальная итальянская партия ненавидит австрийцев; значит, этим польстишь ей. Прекрасно; но ведь по той же рутине государство, отыскавшее себе врагов, должно искать союза с другими государствами. Сильнейшие государства в Западной Европе — Англия и Франция. Значит, надобно приобрести их дружбу. Чем же приобрести дружбу англичан? Этот народец чрезвычайно гордится своими формами правления. Значит, надобно быть приверженцем английских форм; оно тем нужнее, что итальянские недовольные хотят политической свободы, а австрийцы противятся ей в Италии, — надобно поддерживать то, против чего ратуют противники. Но расчетливый народец эти англичане! — Одними идеями мало их растрогаешь; надобно дать им материальную выгоду. Каких же выгод они добиваются? Больше всего — выгод свободной торговли. Значит, надобно быть приверженцем свободной торговли, понижать тариф. Хорошо; положим, этими двумя приманками сочувствие англичан приобретено. Но дрянной народец эти англичане: не любят воевать. Речами и депешами они станут помогать, но такого пособия мало; нужно приобрести союзника, который дал бы войско; а вот как раз такой союзник и готов во Франции. Ему, по его внутреннему положению, надобно непременно заводить от времени до времени войну, чтобы отвлекать Францию внешними делами от внутренних, чтобы очаровывать ее военной славой. Притом же вековое предание французской политики — борьба против габсбургского дома. Значит, вот и все дело в шляпе.

Как же тут сказать, что у Кавура, как представителя умеренной партии, нет определенной программы по коренному свойству умеренной партии не иметь определенной программы. Напротив, программа Кавура чрезвычайно точна: искать перевеса в Италии, опираясь на национальное стремление и либерализм и вражду против Австрии, захватившей в свои руки этот искомый перевес; приобрести симпатию Англии тем же либерализмом и свободною торговлею и приобрести дружбу Франции, дав ей предлог для войны с австрийцами, которая нужна для Франции. Какая определенная программа и как легко она составилась! — Просто по правилам дипломатической рутин.

Но рутинность программы не уменьшает практической репутации человека, умеющего исполнять ее. Посмотрите, ведь купец тоже действует по рутине: дешево купить, дорого продать, выжидать времени, не упускать хорошей минуты, искать кредита, давать кредит лишь солидным людям, — кажется, просто и ничего тут не придумано самим исполнителем, а ведь показывает же иной купец удивительные способности искусным выполнением этой программы. Почему ж и Кавуру не называться гениальным человеком за свое искусство? Ведь надобно отдать ему справедливость: нашедши для себя правила, он держался их неуклонно и следовал им очень ловко. Будь он с такими качествами не вельможа, богатый по наследству, а сын какого-нибудь лавочника, и займись он не политикой, а торговлей, он из бедняка стал бы миллионером.

Все это так; и программа исполнялась очень искусно, и все, что входило в программу, было ясно, точно, твердо, — значит, представляло все залогом успеха; все так, лишь одна была беда: главное-то дело не попало в программу главным делом, потому что не входило в вековые правила дипломатической рутин. Вот только оно-то одно и осталось для Кавура, как для всей умеренной партии, делом темным, о котором бог знает как судить, относительно которого приходилось поступать по рутинным надобностям иных соображений, часто не соглашавшихся с ним, часто вредивших ему; вот только оно-то и осталось каким-то внешним, непонятым предметом, относительно которого действовал Кавур наудачу, не соображая его надобностей, жертвуя им для своих рутинных целей. Повторим опять: винить его тут не за что; ведь надобно же массе быть массой, то есть иметь рутинный образ мыслей; ведь надобно же кому-нибудь быть представителем этой массы, как надобно же кому-нибудь писать романы вроде Александра Дюма для людей, которым хорошие романы непонятны. Напротив, надобно отдать полную честь Александру Дюма, что он отлично пишет вздорные романы, и если б не писал их он, читались бы романы, написанные гораздо хуже, и когда скончается он, — чему не дай бог скоро случиться: да продлит небо приятную

деятельность знаменитого старца! — когда он скончается, мы возрыдаем, что огромное большинство европейской публики лишилось писателя незаменимого.

На том же основании мы называем смерть Кавура великою потерей для итальянцев умеренной партии, то есть для всей массы итальянцев, за исключением очень малочисленных друзей кардинала Антонелли и довольно малочисленных людей действительно ясного и твердого прогрессивного образа мыслей. Кто будет вести дела по рутинным понятиям с таким искусством и с такою твердостью? Рикасоли и Ратацци, Фарини и Бонкомпаньи — все это перед Кавуром то же, что Поль Феваль<sup>6</sup> и маркиз Фудрас перед Александром Дюма-старшим. Одна у нас надежда — на молодого человека, находящегося посланником в Париже. Недаром Нигра<sup>7</sup> был любимцем Кавура, единственным поверенным всех его задушевнейших расчетов. Авось он оправдает наши надежды. А не он, так кто-нибудь другой откроется с кавуровскими талантами. Так надеемся, что утрата со времени, и даже в скором времени, вознаградится. Но ведь это пока еще надежда, и пока она исполнится, надобно будет чувствовать всю великость утраты.

Многим не нравилось наше малое удивление Кавуру. Да и то, что мы теперь написали, покажется, пожалуй, несправедливо. — «Как же это можно говорить, что Кавур, чрезвычайно хорошо понимая все дела, которые вел, не понимал главного дела, которое следовало бы ему вести? Как можно утверждать, что очень искусно ведя все другие дела, он не вел итальянского национального дела так же искусно? Миллионы образованных людей в Европе уверены, что он чрезвычайно много содействовал успеху этого дела, а вы находите, что он своим непониманием и неискusstvom мешал ему? Это свидетельствует только, что вы не знаете фактов». Положим, что не знаем; попробуем познакомиться с ними.

Мы не станем писать биографию Кавура. Для этого еще слишком мало материалов; да если бы и были материалы, то итальянское национальное движение представляет много людей, более достойных подробной биографии, чем Кавур. Мы очертим в нескольких словах лишь важнейшие факты его государственной деятельности. Не будем распространяться ни о его знатном происхождении и огромном богатстве, ни о личных его вкусах, ни о частной его жизни, — все это не относится к делу. Не будем говорить и о воспитании, какое получил он в доме отца, бывшего в свое время одним из главных служителей реакционной системы в Сардинии, — одним из людей, ненавистнейших и народу, и образованному обществу своей родины. Пожалуй, этим воспитанием можно было бы извинить многое; но ведь нам и не нужно отыскивать извинений: мы ни в чем не виним Кавура. Мы только смотрим на факты его государственной деятельности, на их отношение к национальному итальянскому делу; а фактический харак-



тер, действительный результат действия остается один и тот же, какими бы обстоятельствами предшествующей жизни ни объяснялось известное отношение человека к делу. Да если б и говорить о реакционном воспитании Кавура, оно, пожалуй, не послужило бы ему извинением. Ведь известно, что если человек воспитывается в какой-нибудь фальшивой системе и если потом начинает он чувствовать ее несостоятельность, понимать истину, то прежнее близкое знакомство с заблуждением сильно помогает ему в розыскании истины. Дурное воспитание дурно тем, что редкому удастся сбросить с себя его иго; зато, кто сбрасывает его, тому уже легче всякого другого стать человеком, свободным от рутинны. Фокс<sup>8</sup> также имел отцом крайнего реакционера и получил такое же воспитание. Если, отбрасывая предрассудки детства, Кавур не отбросил с ними и рутинны, это показывает, что рутинность уже слишком глубоко вкоренилась в самой его натуре.

Но как бы ни рассуждать о психологической стороне вопроса, характер отцовской репутации налагал на Кавура двойную осмотрительность в образе действий при начале карьеры, если бы он хотел служить национальному делу. Положим, что люди с дипломатическими наклонностями могут пренебрегать популярностью; но как бы кто ни презирал ее, не станет он преднамеренно делать себя подозрительным для общества, в котором должен действовать. Кто начинает карьеру с безызвестным именем, тот может довольно часто делать неосторожности, не навлекая на себя подозрения. Положение Кавура было не таково. Ему нужна была чрезвычайная осторожность, чтобы не решились все с первого же раза, что он «пошел в отца». Ему надобно было сильно позаботиться о снятии с себя оттенка, бросаемого на него фамилиею. Он поступил иначе. Стал в ряды крайней правой партии, — партии, подозреваемой в клерикализме и абсолютизме, говорил против прогрессистов резче, чем кто-нибудь. Положим, что либералы были и глупы, и вредны, как он доказывал; но, конечно, предоставил бы он другим, менее подозрительным своим товарищам изобличать их, если бы рассчитывал служить национальному делу, в котором нужно же хотя некоторое сочувствие публики. Если он поступал иначе в 1848 и следующих годах, надобно из этого заключить, что или он не понимал, что делает, или думал действовать в таком кругу, для которого общественное мнение ничего не значит. Судя по всему, надобно предполагать второе. До самого конца жизни Кавур считал дипломатические связи важнее популярности, иноземную поддержку важнее национальных симпатий и государственную силу ставил единственно в регулярном войске, пренебрегая всякими волонтерами и народными ополчениями. Мы не то говорим, что он был неправ в этом, — мы только указываем, как он смотрел на вещи. Если действовать регулярным войском, иностранными союзами и дипломатическими связями, — популярность, конечно, ничего не значит,

Своими речами в духе крайней правой партии Кавур сделался страшно непопулярен. Если он думал тогда о национальном единстве, рассчитывал вести к нему Италию, приобретение такой репутации было чрезвычайною ошибкою. Но Кавур тогда вовсе и не думал ни о чем подобном. Для него существовала только Сардиния. Италия представлялась ему не больше, как группу слабых государств, на правительства которых может приобрести Сардиния точно такое же влияние, каким пользовалась Австрия. Итальянское единство — это мечта; сливать раздробленные части страны в одно государство — это нелепость; можно только доставить Пьемонту дипломатическое первенство между ними, вроде того, как Англия владычествует в Португалии или Франция в Египте. До итальянского народа нет ему никакого дела; нужно только устроить, чтобы в каждом итальянском государстве правительство держалось помощью сардинского. Союз с итальянскими правительствами, отказ от всякой помощи со стороны народных сил — вот первый вид политической программы Кавура. Приведем один факт, очень резкий. Великий герцог тосканский и папа были низвергнуты. Сардиния потерпела неудачу в первом походе против австрийцев и готовилась начать второй. Австрийцы в то же время собирались послать войска для восстановления папы и герцога тосканского. Значит, сардинское правительство имело тех же врагов, как партия, одержавшая верх в Тоскане и Риме. Могла ли Сардиния ждать от этой партии хорошей поддержки себе в войне с австрийцами, это все равно, — во всяком случае Тоскана и папские владения отвлекали к себе часть сил общего неприятеля. Что же советует Кавур? Он советует сардинскому правительству (сам он тогда еще не был министром) послать войско во Флоренцию и Рим для восстановления герцога тосканского и папы, то есть тех правительств, которые не могут не быть усерднейшими приверженцами австрийцев. Действительно, посылается сильный корпус сардинской армии для низвержения национальной партии во Флоренции и Риме, и в то же время остальные сардинские войска идут против австрийцев, которые быстро уничтожают их в знаменитой новарской битве<sup>9</sup>. Потеря этого сражения в значительной степени произошла оттого, что лучшие сардинские войска находились в другом краю страны: они шли на Флоренцию и Рим. Видно, восстанавливать папу и великого герцога тосканского было нужнее, чем отражать австрийцев. Это такая нескладница, которой трудно поверить; но действительно было так. Чем объяснить такое безрассудное ослабление своих сил в роковую минуту? Партия, управлявшая тогда сардинскими делами, и советник ее Кавур полагали, что полезных союзников должны искать они только в легитимных правительствах итальянских государств, а никак не в национальной партии. Они хотели, восстанавливая папу и герцога тосканского, взять с них обязательство действовать заодно с Сардиниею, —

мечта, достойная аркадских пастушков: так велико было ослепление Кавура правилом рутинной политики.

Скоро Кавур, по превосходству своих талантов, сделался предводителем правой стороны в парламенте; потом попал и в министерство. Сначала он занимал в нем второстепенные места, но твердость характера, неутомимая деятельность и парламентский талант уже и тогда доставляли ему главный вес в кабинете. Через год или через два он и по форме сделался первым министром.

В первые годы власти главным делом его была забота о финансовых реформах и об усилении армии. То и другое было необходимо для будущей борьбы с Австрией. Финансовые реформы состояли главным образом в понижении тарифа. Мы не имеем ничего в порицание тому; напротив, согласны с поклонниками Кавура, что введение принципа свободной торговли было очень полезно для Сардинии. Но, за исключением одной этой стороны, наименее осязательной для массы народа, система податей и налогов не была облегчена Кавуром, — нет, многие из прежних налогов были увеличены; кроме того, установлено было много новых. В 1850 году доходы Пьемонта простирались только до 95 500 000 лир, в 1858 году — уже до 145 000 000, — в 8 лет они увеличились с лишком наполовину; разумеется, такое увеличение не могло быть доставлено одним развитием богатства страны — бóльшая часть прибавки произошла просто от увеличения тяжести налогов. И действительно, налоги в Сардинии стали при Кавуре и до сих пор остаются очень обременительны. Разумеется, такие важные цели, как национальное единство, совершившееся в противность ожиданиям Кавура, или хотя бы простой перевес над другими итальянскими государствами, к которому он стремился, не достигаются без великих жертвований. Мы нимало не смущаемся тем, что в такие критические годы постоянно оказывался дефицит и государственный долг сильно возрастал. Мы не о том говорим, что Сардиния могла не делать в то время расходов, превышавших ее нормальные средства, мы указываем лишь на тот факт, что для удовлетворения чрезвычайным надобностям государства Кавур нимало не колебался увеличивать обременительность налогов, и на это обстоятельство указываем не в упрек ему, а лишь в свидетельство верности наших слов о его программе. Если б он думал о национальном единстве, о привлечении массы итальянцев под общую власть савойской династии, такой образ действий был бы слишком грубою несообразностью, какой не мог сделать Кавур при своем уме. Масса повсюду и всегда расположена соразмерять свое сочувствие к известной системе с величиною налогов, взимаемых ею: это — самая осязательная норма достоинств системы. Если бы Кавур думал об итальянском народе, у него достало бы сообразительности показать Италии, что налоги в Сардинии легки: лучше было бы сделать на каких бы то ни было невыгодных

условиях несколько сот лишних миллионов долга, лишь бы не увеличивать прежних налогов и отменить некоторые ненавистнейшие из них. Но с своей точки зрения Кавур был прав: тому кругу, на который он опирался, нет надобности до чувств массы, а для дела, которого он хотел, и в том виде, в каком он хотел его, приверженность массы не нужна.

Огромные расходы, сильно увеличившие и государственный долг Пьемонта, и обременительность налогов, были до известной степени неизбежны: нужно было строить железные дороги, нужно было усиливать крепости, запастись оружием для новой войны, нужно было расплачиваться за прежнюю несчастную войну. Но в значительной степени расходы могли быть уменьшены, если бы принята была другая организация военных сил. Известно, что есть на континенте Западной Европы две совершенно различные системы этой организации. Самым блистательным примером одной системы служит французское военное устройство. Там срок службы под знаменами довольно продолжителен и постоянно содержится под ружьем значительнейшая половина тех людей, которых может правительство выставить против неприятеля в случае войны. Резервы мало развиты. Другая система в очень умеренном развитии принята Пруссией, а до полного развития доведена в Швейцарии. В Пруссии рекрут удерживается под знаменами лишь на столько времени, чтобы вышел из него уже готовый специалист военного дела, готовый солдат; как только он готов, он отсылается домой и в мирное время не обременяет своим содержанием правительство. Этот резерв, совершенно готовый для генеральной битвы хоть на второй же день по своем призыве под знамена, в три или четыре раза многочисленнее солдат, находящихся на содержании правительства во время мира. Благодаря этой системе войско в мирное время стоит Пруссии вдвое дешевле, чем Франции (пропорционально населению), а при войне Пруссия (также пропорционально населению) имеет вдвое больше войска, чем Франция. Но в Пруссии, как мы сказали, еще только наполовину применен принцип организации, противоположный французскому, а вполне он принят, благодаря особенному географическому характеру страны и особенным принципам ее политики, в Швейцарии. Там постоянно находятся на службе лишь малочисленные отряды тех людей, которым действительно нужна долговременная подготовка по техническому характеру их военной роли: та часть артиллерийской прислуги, которая должна управлять действием орудий, та часть саперов, которая предназначена руководить технической частью работ, небольшие кадры унтер-офицеров, назначенных быть учителями военной техники, наконец та часть офицеров, которая во время войны будет заведывать военными действиями — генеральный штаб и выходящие из него штаб-офицеры и генералы. А те люди, которым не предназначено на войне играть специальных

ролей, — все будущие солдаты и большая часть унтер-офицеров и офицеров пехоты и большая часть будущих солдат других родов оружия, — берутся для обучения лишь на один месяц в эти кадры инструкторов и потом ежегодно созываются на одну неделю для повторения приемов, которым выучились в первый год. Разумеется, эти люди не могут быть употреблены в большое сражение на другой же или на третий день после того, как будут призваны к походу: им нужно несколько недель походной жизни, чтобы стать солдатами. Но ведь в нынешних войнах несколько недель походного времени всегда предшествуют серьезным военным действиям. Пока армии сойдутся, пока подвезут к ним артиллерийские парки и т. д. и т. д., неизбежно пройдет столько времени, что швейцарские милиционеры, уже привыкшие к военным приемам, обратятся в хороших солдат. Швейцария выводит на войну (пропорционально населению) в три раза больше войска, чем Пруссия, в шесть раз больше, чем Франция. А между тем в мирное время содержание войска обходится Швейцарии в пять раз дешевле, чем Пруссии, в десять раз дешевле, чем Франции.

Французский принцип удобнее тогда, когда армия содержится для наступательных войн и для подавления бунтов. При прусской системе войско еще годится и для наступательной войны в чужой стране, но более пригодно оно для войны среди дружеской страны с неприятелем, занимающим ее. Швейцарская система исключительно пригодна лишь для второго случая, а для войн среди неприязненного населения не годится. Кроме того, при ней кавалерия не может быть доведена до такой силы, как при французской системе; следовательно, она вполне применима лишь для тех стран, где кавалерия не может играть важной роли в больших битвах. Зато швейцарский принцип неизмеримо увеличивает военную силу государства при войне на родине или в дружеской стране. Швейцария, имея с небольшим 2 милл. населения, может выставить до 250 тыс. войска, так что эта маленькая земля при споре за Нёфшатель чувствовала себя в силах отбить всю прусскую армию.

По соображению всех обстоятельств, швейцарский принцип был полезнейшим для Пьемонта. Приняв его в полном развитии, Пьемонт, имевший 5 500 000 населения, мог бы вывести на войну от 500 до 600 тысяч войска. Театром войны должна была служить восточная часть Пьемонта и Ломбардия — страна, вся усеянная мызами, построенными из камня, перерезанная бесчисленными оросительными каналами, совершенно неудобная для кавалерии (которая, действительно, и не играла никакой роли в сардинско-французском походе 1859 г.). Но чтобы принять эту систему, которая маленькому Пьемонту давала бы военную силу, равную всей австрийской, то есть давала бы ему верный успех в войне при невозможности австрийцам послать в Италию более

половины своей армии, — чтобы принять эту систему, надобно было понимать войну с Австриею как войну чисто национальную, надобно было принимать главным основанием для нее национальное чувство. Кавур смотрел на дело иначе, потому не мог принять не только швейцарского, но даже и прусского устройства. Национальный энтузиазм не входил в его расчеты; он полагался только на тех солдат, которые уже готовы до начала войны; он и тут совершенно держался рутины. А прусский принцип — принцип новый, несогласный с рутинною. Кавур сам видел и окружил себя военными людьми старой школы, которые так же видели единственный идеал военных сил во французской организации. Он и они хотели вести войну исключительно солдатами по ремеслу, отвергая всякую милицию, всяких волонтеров, как элементы слишком ненадежные. Ламармора и Фанти<sup>10</sup> организовали сардинскую армию с педантической заботливостью о выправке, о ранжире. Потому, употребляя на армию чрезвычайно много денег, Сардиния могла выставить против Австрии не больше как 60 тысяч войска. Народное ополчение считал Кавур с своими генералами за ничто или хуже, чем за ничто, — за помеху. От этого-то и надобно было истощать силы Сардинии, от этого-то и оказывались силы Италии недостаточными для войны с Австриею, и нужно было во что бы то ни стало привлечь на войну французскую армию.

Если бы смотреть на войну как на дело национальное, которое очень быстро может организоваться энергиею национального чувства, было бы возможно начать войну вдруг, без предварительной долгой ссоры с Австриею. Можно было бы скрывать свои намерения до последнего дня пред объявлением войны, напасть на неприятеля врасплох, когда он не успел бы еще усилить своих войск в Италии, не сделал бы никаких приготовлений к обороне, воображая себя среди глубокого мира. Национальная партия несколько раз предлагала это. Она предлагала поднять Ломбардию в такое время, когда у австрийцев во всех ломбардо-венецианских землях было не больше 50 тысяч войска, не имеющего больших военных запасов. Ныне — мир и ни малейшего вида ссоры. Завтра восстает Милан, и через неделю итальянские войска уже занимают страшные горные проходы из Тироля в Ломбардию. Австрийцы оттеснены к Вероне, не могут прислать подкреплений раньше как месяца через три, а в три месяца сардинская армия, служба кадрами для поголовного ополчения ломбардцев и для волонтеров Центральной Италии, усилившись войсками Тосканы, Пармы и Модены, имеет уже от 200 до 250 тысяч солдат, — число, достаточное для совершенного очищения Венеции от австрийцев, не приготовленных, расстроенных. Кавур отвергал эти планы: они были несообразны с рутинною; он представлял себе войну с Австриею вроде того, как воевала бы Франция с Англиею или с Пруссиею. Известно, как начинаются войны по

заведенному порядку. Возникает дипломатическое недоразумение; долго, долго обмениваются депешами, все более и более грозного тона, — в этом проходит полгода, год; начинают придвигать войска к границам, отодвигать их от границ и опять придвигать, и все ведут переговоры, и противник имеет год, года полтора времени приготовляться к войне. Кавур действовал по дипломатической рутине, как будто в рутинном деле. Года за полтора до начала войны он завел ссору с Австрией, раздувал и раздувал эту ссору, и пошла эта история рутинным порядком. Австрия наводнила ломбардо-венецианские земли бесчисленным войском.

Разумеется, при таком ведении дела нельзя было победить австрийцев иначе, как французскими войсками. Надобно отдать справедливость Кавуру: слишком за полгода до открытия похода он обещал себе помощь французской армии. Но и тут рутинный взгляд на приготавливающуюся войну отнял у него возможность заключить союз на условиях, какие мог бы он получить, если бы не был увлечен ошибочным понятием о своем собственном деле. Он представлял себе дело так. Сардиния, маленькое государство, хочет отнять две богатые провинции у большого государства. Маленькое государство может попользоваться насчет большого, лишь когда успеет склонить другое большое государство к войне с ним. Он воображал, что перехитрил Наполеона, что будет загребать жар его руками, что Наполеон предпринимает войну по его убеждению. А когда мы убеждаем и спрашиваем кого-нибудь приняться за наше дело, пособить нам, мы должны предоставить ему какие-нибудь выгоды, и он диктует нам условия, какие хочет. Так оно и устроилось. На пломбьерском свидании осенью 1858 года, когда заключен был союз на войну с Австрией, император французов играл такую роль, что собственно ему война не нужна, что он склоняется на нее по убеждению Кавура, который так хорошо разъяснил ему, какую пользу извлечет он из этой войны, а сам он и не думал прежде о войне. Кавур разъяснил ему, как полезно для Франции усилить Сардинию; Наполеон вошел в этот расчет и потребовал вознаграждения за такую услугу; вознаграждением были назначены Савойя и Ницца. Союзник, склонявшийся на войну лишь по убеждению Кавура, конечно, предоставил себе распоряжение всем. Например, Сардиния хочет завоевать Ломбардию и Венецию; хорошо, но ведь не имеет же она претензии на Тоскану? Следовательно, ей все равно, как Франция распорядится Тосканой; потому император Наполеон попробует, нельзя ли будет из Тосканы с прилежащими землями устроить королевство для принца Наполеона. С той точки зрения, с какой Кавур смотрел на дело, нельзя было ему не соглашаться на все требования Наполеона: важность лишь в том, что, слишком увлеченный своею мыслью о необходимости французской помощи для завоевания Ломбардии с Венецией, он забыл другую сторону отношений: императору французов война

с Австриею была так же необходима, как самому Кавуру. Во что бы то ни стало нужно было императору французов занять Францию войною с одною из великих европейских держав. К войне с Англиею он не был готов и не мог приготовиться в течение еще многих лет. Война с Пруссиею равнялась бы объявлению войны против Англии. Следовательно, оставалась одна Австрия. А с Австриею мог он воевать только в Италии, чтобы не касаться германских земель, не поднимать Пруссию и Англию против себя. Если бы Кавур не воображал, что только для Сардинии нужна война, если бы он не являлся с убеждениями и просьбами слишком горячими, император французов сам обратился бы к нему с убеждениями: «доставьте мне предлог для войны с Австриею; пропустите мои войска на эту войну», — и тогда условия союза диктовал бы Кавур.

Дальнейшие события, конечно, еще памяты читателю. Виллафранкский мир<sup>11</sup> был поражением Кавура: он должен был выйти в отставку. Франция держала сторону Австрии в цюрихских переговорах<sup>12</sup>; Италия, не освобождаясь от австрийского господства, становилась вместе с Австриею под верховную власть Франции. Но национальное чувство разрушило эти расчеты. Одна часть Италии за другою насильно принуждала туринских правителей\* принимать ее в состав возникавшего национального государства.

Кавуру делает великую честь то, что он вышел в отставку, когда увидел, что по Виллафранкскому миру Италию хотят поставить в положение, худшее прежнего. Но он нимало не участвовал в том, что Италия вышла из этого положения. Он, снова сделавшись министром, только принимал один за другим совершавшиеся факты, совершению которых или не помогал, или прямо мешал. Тоскана с герцогствами и Романья выдержали тяжелое испытание и решили свою судьбу собственной настойчивостью, прежде чем Кавур снова сделался министром. Походу Гарибальди на Сицилию он гораздо больше мешал, чем содействовал. Походу Гарибальди на Неаполь он прямо мешал. Юго-восточную часть Папской области он отважился занять лишь для того, чтоб помешать Гарибальди идти на Венецию, чтобы не была оттеснена от управления делами умеренная партия, чтобы не овладели властью решительные приверженцы национального дела<sup>13</sup>.

В чем же его величие? В том, что он хотя принимал совершившиеся факты, — другие на его месте могли бы не сделать и того. Да, у людей в его положении уж и то великая заслуга, редкое, высокое достоинство, когда они не слишком медлят принимать совершающиеся наперекор их прежней программы факты. Потому, повторяя общий голос всей Европы, говорим и мы: Кавур был великий правитель.

---

\* Туринские правители — пьемонтское (сардинское) правительство. — *Ред.*



## НЕПОЧТИТЕЛЬНОСТЬ К АВТОРИТЕТАМ

(Демократия в Америке, Ал. Токвилля, член института. Перевел А. Якубович. Т. I и II. Киев. 1860 г.)

О переводе г. Якубовича никак нельзя сказать, что он хорош. Он сделан небрежно, а еще хуже то, что переводчик, как видно, не знает самых обыкновенных терминов политического устройства, да и многих самых обыкновенных оборотов французского языка. Вот примеры из IV главы (в переводе г. Якубовича, т. I, стр. 63—67). Токвилль говорит, что до войны за независимость принцип верховной власти народа коренился в муниципальных делах северо-американских колоний; а когда вспыхнула революция, он стал господствовать и в правительстве колоний: *toutes les classes compromirent pour sa cause*, то есть: все сословия безвозвратно признали его или сделались его защитниками; а г. Якубович переводит: «вследствие этого пали сословия». *Vote universel* или *suffrage universel*, то есть всеобщее право подачи голосов, он переводит: «общественное мнение», — это недоразумение попадает несколько раз на страницах, пересмотренных нами. Например, Токвилль говорит: «штат Мериланд, основанный вельможами, первый провозгласил всеобщее право вотиования»; г. Якубович переводит: «штат Мериланд, основанный богатыми и знатными переселенцами, первый провозгласил господство общественного мнения». Несколькими строками дальше Токвилль говорит, что если какой-нибудь народ начал понижать электоральный\* ценз, понижение пойдет непременно до совершенной отмены ценза, потому что с каждой новой уступкой растут и силы, и требования демократии; сказав это, Токвилль выражается следующим образом: честолюбие людей, оставляемых ниже ценза, раздражается соразмерно многочисленности людей, находящихся выше ценза (*l'ambition de ceux qu'on laisse au-dessous du cens s'irrite en proportion du grand nombre de ceux qui se trouvent au-dessus*), а г. Якубович переводит: «самолюбие

\* Избирательный. — Ред.

остающихся под властью ценза раздражается по мере увеличения числа тех, которые находятся вне этой власти». Очевидно, г. Якубович, когда переводил эти страницы, не понимал одно из самых употребительных значений глагола *se compromettre*, не имел понятия о смысле терминов: «всеобщее право подачи голосов» и «избирательный ценз». Пробовали мы сверять с подлинником и другие места перевода, везде выходит одно и то же. А очень жаль, что книга Токвиля об американской демократии переводится человеком, который не знает ни предмета, в ней излагаемого, ни французского языка. Мы советовали бы г. Якубовичу не печатать остальной половины его перевода (два изданные тома заключают в себе ровно половину подлинника). Сочинение Токвиля занимает такое видное место в политической литературе, что заслуживало бы хорошего перевода.

Успех этой книги во Франции был громадный. Г. Якубович делал перевод с 12-го издания, а у нас под руками 13-е, на котором выставлен еще 1850 г., — с той поры, вероятно, было еще несколько изданий. Да и не в одной Франции приобрела эта книга Токвиля очень большой успех и авторитет; англичане, немцы часто ссылаются на нее. Действительно, в ней много верного, хорошего и очень полезного, гораздо больше, чем в последнем знаменитом сочинении Токвиля «Старый порядок и революция», где основная мысль фальшива и портит все. В сочинении, перевод которого так прискорбно начат г. Якубовичем, основная тенденция верна. Она очень недурно объяснена в коротеньком предисловии, которое, неизвестно зачем, оставил без перевода г. Якубович, хотя оно сделано именно к 12-му изданию, с которого переводил он.

«Книга эта, — говорит Токвиль в предисловии; — была написана 15 лет тому назад (12-е издание вышло в 1848 г.) под постоянным влиянием одной мысли, что быстро, непреодолимо повсюду в целом свете, приближается господство демократии. Я предсказал это, — продолжает Токвиль, — когда во Франции конституционная монархия с господством буржуазии казалась прочна. Теперь (в 1848 г.) книга моя получает от обстоятельств настоящего практическую полезность, какой не имела во время первого издания. Американские учреждения, бывшие только предметом любопытства для монархической Франции, должны быть предметом изучения для республиканской Франции. Вопрос теперь о том, спокойствие или волнения будут у нас при республике, демократическая тирания или демократическая свобода. Задача, эта, только еще представляющаяся нам, разрешена Америкой с лишком 60 лет тому назад. 60 лет владычествует там безраздельно принцип верховной власти народа, лишь на-днях провозглашенный нами. Он там применен к делу прямым, безграничным, безусловнейшим образом. 60 лет народ там безостановочно возрастает числом, обширностью государства, бо-

гательством и, заметим, во все это время он пользовался не только наибольшим благосостоянием, но и наибольшим спокойствием из всех народов на земле. Все европейские нации страдали от войны или внутренних раздоров, — американский народ один в цивилизованном свете оставался мирен. Почти вся Европа была потрясаема революциею; в Америке не было даже и мелких смутений. Анархия и деспотизм оставались равно неизвестны ей. Где можем найти мы лучшие надежды и лучшие уроки? Обратим наши взоры на Америку, — не для того, чтобы рабски копировать учреждения, какие она дала себе, а для того, чтобы лучше понять, какие годятся для нас; чтобы заимствовать из Америки не столько примеры, сколько уроки. Французские законы могут и должны во многих случаях быть различны от северо-американских; но принципы, на которых основано американское устройство, эти принципы порядка, уравновешения властей, искреннего и глубокого уважения к праву — необходимы».

Достоинство книги Токвиля больше всего зависело от этой патриотической и здоровой мысли — изучать американские учреждения с целью пользоваться знанием их для хорошего устройства французских дел. Но те же самые, переведенные нами главные места предисловия, в которых высказывается идея сочинения, обнаруживают и неудовлетворительность его.

Мы не станем говорить о второстепенных недостатках. Токвиль слишком любит философствовать, а философом не пришлось ему воспитаться, быть может, не удалось и родиться; поэтому его философствование выходит очень поверхностным резонерством на темы, почерпнутые главным образом из Монтескье. Вся вторая половина сочинения (о гражданском быте Северной Америки) набита этим резонерством, которое мы назвали бы необыкновенно скучным, если б множество изданий не свидетельствовало, что публика (по крайней мере, французская) читала книгу легко и с удовольствием. Иной раз скука заменялась у нас веселым смехом, — до таких наивностей договаривается наш философ. Вдруг ему, например, показалось, будто «по достоверным известиям» узнал он такую вещь, что «в Америке, самой демократической стране на земном шаре, католицизм преуспевает, как нигде на свете». — «Это удивительно на первый взгляд», *cela surprend au premier abord*, произносит он, да оно и точно было бы удивительно, если б сколько-нибудь было похоже на правду, а в действительности удивительно лишь то, как поверил Токвиль такой нелепице. Но он тотчас же оправляется от недоумения, начинает философствовать и находит, что американские учреждения чрезвычайно располагают людей к принятию католичества, к которому на самом-то деле быстро становится равнодушен самый фанатический ирландец, переселившись в Америку. А то вдруг начнет философствовать о классической литературе и рассудит, что Америке грозят от греческого и латинского

языков две ужаснейшие опасности: станут американцы учиться классическим языкам, явятся у них граждане «очень изящные и очень опасные, которые во имя греков и римлян будут волновать государство». Не станут учиться американцы классическим языкам, тоже будет плохо: «нет литературы, которую больше классической следует изучать в демократический век». Как же тут быть американцам? и не читать Цицерона — нельзя, и читать Цицерона — беда? А вот как: в университетах надобно «превосходно» учить по-гречески и по-латыни, а в гимназиях вовсе не учить. Слава богу, спасена Америка. «Впрочем, — прибавляет Токвилль в заключение, — я не считаю литературные произведения древних безукоризненными», — как нужно было поопределительнее высказать свое мнение о достоинствах классической литературы при описании гражданского устройства Северной Америки. Таких штучек у Токвилля найдется много; но от них его книга страдает немногим больше того, сколько может пострадать Северная Америка от преподавания или не преподавания греческого языка в гимназиях. Подобные мелочи могут только пособить нам разглядеть, что автор книги не такой уже гениальный мыслитель, каким провозглашен и у нас. А сама книга и при них все-таки может остаться хорошей.

Гораздо важнее другой недостаток, портящий собою лишь часть рассуждений Токвилля об Америке, но потом испортивший всю книгу его о «Старом порядке и революции во Франции». Он сбился с толку на пункте, от которого произошла такая же, только в противоположном направлении, путаница понятий у многих наших ученых. Токвилль видел на своей родине демократию рядом с централизацией. Не разобрав, что это — два явления разных периодов и совершенно разных тенденций, он вообразил, что демократия и централизация имеют необыкновенное дружеское влечение друг к другу, что они даже чуть ли не одно и то же. Точно то же вообразилось и целой школе наших ученых. Но расположение чувств у них и у него оказалось разное. Наши ученые из любви к одному принципу начали восхищаться и другим<sup>1</sup>. Токвилль из нерасположения к одному с грустною недоверчивостью стал смотреть и на другой. Он готов сочувствовать демократическим учреждениям, но ужасно пугает его их необыкновенная склонность к централизации. Когда он писал книгу об Америке, торжество демократии во Франции казалось ему очень близко, и он справлялся еще кое-как с опасением своим, что она усилит и увековечит централизацию. Сочинение о «Старом порядке» писал он уже после событий 1848 г., и, воображая, что уже осуществилось его опасение, совершенно растерялся от ужасной неизбежности централизационных страданий для его милой родины. Бедняга дошел до того, что видит преобладание вреда над пользою во французских событиях конца прошлого века: конституционное собрание, законодательное собрание, кон-

Вент каждым отменением привилегий и феодальных учреждений только усиливали, по его мнению, централизацию, только все глубже и глубже ввергали Францию в эту бездну, в которую, по его мнению, очень любит падать демократия. Все это огорчение произошло от одного небольшого недосмотра: Токвилль не разобрал, что произвольная власть очень хорошо обходится и без централизации. В Турции, например, не слишком много централизации: правитель каждой области — полновластный хозяин в ней; каждый подчиненный ему паша также полновластный хозяин в своем округе, каждый кади тоже полновластный хозяин в своем квартале и каждый чауш — во всяком доме, куда пошлет его кади<sup>2</sup>. Кажется, уж нельзя тут жаловаться на централизацию, уж подлинно каждый клочок земли одарен управлением, действующим самостоятельно: не дальше как за версту откуда бы то ни было найдется власть, которая может решить сама собою всякую вещь: и преступника наказать, и тяжбу рассудить, и всякое общественное дело повершить, не спрашиваясь высшего начальства. Но Токвилль этого не рассудил: ему вообразилось, что без централизации не бывает и деспотизма.

Кто же ввел полную централизацию во Франции? Ввели ее национальные собрания конца прошлого века (на самом деле не они, а Наполеон I, но так уже показалось Токвиллю); значит, они-то и подвергли Францию полнейшему деспотизму. Но опять видит он, что произвольная власть была во Франции и до революции; а произвольная власть без централизации не обходится, по его мнению; стало быть, все формы произвольной власти при старом порядке были централизациею; и выходит у него, что при старом порядке тоже господствовала централизация. В каждой провинции были свои законы, в каждой были не такие налоги, как в других, каждая отделялась от других таможенною цепью, каждый интендант пользовался по многим делам законодательною властью в своей провинции, распоряжался с нею во всем совершенно, как хотел, не спрашиваясь парижского правительства; каждый из 12 областных парламентов претендовал иметь верховную власть, кассировать постановления парижского правительства; многие города претендовали на такое же право (только и парламенты, и городские власти арестовывались и разгонялись по благоусмотрению все того же интенданта, имевшего всю фактическую власть), — кажется, ничего похожего на централизацию тут нет; а Токвиллю все мерещится централизация в этих интендантах и субинтендантах<sup>3</sup>, бывших пашами в своих провинциях. Года два или три тому назад мы при разборе «Очерков Англии и Франции» г. Чичерина имели случай объяснить источник этой ошибки<sup>4</sup>. Новые принципы государственной жизни еще не настолько развились во Франции, чтобы уничтожить все следы старого порядка, противоположного им; во Франции только еще начинается весна: в иных местах уже

показалась зелень, кое-где проглядывают уже и цветки, а в других местах еще лежит снег. Токвилль и многие другие очень основательно заключили из этого, что роскошная растительность развивается на снегу, и чем будет роскошнее она, тем толще будет слой снега, одевающего покрытую растительностью страну.

При старом порядке существовал безграничный, совершенно хаотический произвол. Новые принципы законного порядка еще не достигли той степени торжества над ним, чтобы вовсе устранить его, а до сих пор успевали лишь несколько обуздывать его подчинением хотя некоторой форме. Формой этой пришлось быть, по особенным историческим обстоятельствам, централизационному принципу. У областных правителей произвол совершенно отнят централизациею: префект, сменивший интенданта, уже поставлен в тесные границы повиновения закону. Но министр, истолкователь закона префекту, еще сохранил значительную долю произвола. Кому же неизвестно, что со времен Реставрации идет во Франции вопрос о распространении на центральную власть, на министров, того же принципа, которому уже подчинились областные власти? Дело это трудное, времени требует оно много, представляет длинный ряд временных неудач, перемешанных с успехами (неудач не столько по существу, сколько по форме: при орлеанской монархии ответственность министров была больше пустою формою, на деле они пользовались произволом, разве немногим меньшим, чем при Второй империи). Что ж такое, эта медленность, эти рецидивы — неизбежная принадлежность всякого важного исторического дела. Но уже видно, что и у министров во Франции скоро будет отнят произвол; тогда исчезнет и централизация. Уже очень заметно развивается во Франции тенденция к самоуправлению, или, по французскому термину, к децентрализации. Токвилль ничего этого не умел разобратить, все перепутал, и вышло у него, что демократия и централизация — одно и то же. Точно таким же манером другие господа отождествляют грамотность с мошенничеством, цивилизацию — с развратом и тоже очень горюют бедняки, подобно Токвиллю: сами видят, что избежать прогресса нельзя, и пугаются, что прогресс ведет к такой ужасной безнравственности.

Но о Франции еще простительно близорукому говорить подобный вздор; а какими судьбами можно домечтаться до того, что ведет демократия к централизации в Америке, — мало того, что она уж развила очень сильную централизацию в Америке? Ведь каждому известно, что параллельно развитию демократических учреждений там шло и именно от их развития происходило уничтожение всего, сколько-нибудь похожего на централизацию. Была тут, разумеется, борьба, а в борьбе неизбежна крайность, потому торжествующая демократия переступила наконец всякую полезную границу в развитии самоуправления: дошло до того, что

общая государственная власть не могла вмешиваться в междоусобные войны, происходившие в отдельных штатах и территориях. Например, в Канзасе бог знает сколько времени резались между собою приверженцы и противники невольничества, а центральная власть не могла принять действительных мер к прекращению междоусобицы. Что делать, нужно по принципу совершенно утвердиться прежде, чем прекратится для него нужда в крайнем напряжении, превышающем нормальную меру общественной пользы.

Много лет спустя после того, как писал свою книгу Токвиль, началась эта эпоха в Америке. Противники полного развития демократических учреждений, называвшиеся вигами, были окончательно побеждены демократической партией около 1845—1848 гг. Тогда демократическая партия, оставшись бесспорной властительницей национальной судьбы, стала сама разделяться на две части: одна половина, сохранившая прежнее имя демократов, удовлетворялась приобретенным успехом и не видела надобности в дальнейшем улучшении общественного устройства. Другая половина, принявшая имя республиканцев, находила, что те же самые принципы, которые получили полное торжество в общем государственном устройстве всей страны, должны быть применены и к устройству гражданского быта во всех частях страны, между тем как до сих пор сохранялись на Юге гражданские учреждения, несовместные с общими политическими учреждениями. На Юге существовало средневековое учреждение невольничества; на нем опиралось гражданское устройство общества, совершенно противоположное принципам политического устройства. Все прогрессивные люди постепенно перешли в эту новую партию, а все гнилые элементы пристали к обломку прежней демократической партии, сохранившему за собою прежнее имя, но от этих нечистых примесей все сильнее и сильнее пропитывавшемуся духом, противоположным духу прежней демократической партии. Наконец дошло дело до того, что эти гнилые элементы, сгруппировавшиеся под именем нынешней так называемой демократической партии, сознали невозможность для себя жить при существующих учреждениях Северо-Американского Союза и решились сделать отчаянную попытку для их низвержения. Масса партии, называвшейся демократической, состояла из людей недалеко-видных, жертвовавших всем, чтобы отказывались от своих угроз авантюристы и олигархи, пугавшие неизбежностью междоусобной войны в случае, если противники их одержат верх в правильной организации правительства. Их наглость становилась тяжела, так что масса начала покидать их. Тогда они подняли войну, и теперь, как знает читатель, Северная Америка представляет зрелище междоусобицы, какой со времен Фронды не бывало даже во Франции<sup>5</sup>, которой Токвиль указывал на Америку, как на примерную страну тишины.

Исход этой междоусобицы не подлежит сомнению: южные олигархи и авантюристы слишком слабы, и поражением их начнется новый период в истории Соединенных Штатов, — период преобразования гражданского быта в тех частях страны, где был он несообразен с общими принципами американского устройства. В этом деле здоровые элементы населения южных штатов, конечно, будут получать помощь от всей нации, и посредницею в передаче пособия, вероятно, будет союзное правительство, так что круг его деятельности несколько расширится. Но мы видим по началу дела, в каком духе будет введено оно, — он не имеет ни малейшего сходства с централизацией, а прямо противоположен ей: северные штаты вооружились и ведут войну по принципу самоуправления. Союзное правительство руководится решениями местных народных митингов, получает средства к войне от местных комитетов, составившихся из выборных от населения, по собственной инициативе положившего основать такие комитеты; словом сказать, в этой войне северо-американский принцип выказался в такой безусловной последовательности, как еще никогда ни по какому делу. Наверное можно сказать, что по окончании войны, когда через посредство союзной власти будут совершаться реформы гражданского быта в южных штатах, союзное правительство будет действовать также только по указанию общественной инициативы и в полной зависимости от нее, так что и в самом исполнении дела сильнее прежнего разовьется северо-американский принцип, противоположный централизации; а про результаты дела нечего уже и говорить: оно все имеет своею целью очищение северо-американского общества от последних остатков устройства, несогласного с его коренным принципом.

Таково нынешнее северо-американское дело. Но кто нимало не поймет его природы, может воображать, что оно так или иначе послужит к появлению некоторой централизации. Ведь войну все-таки ведет союзное правительство против конфедерации нескольких областей; эти области присваивают себе право на самостоятельность в таком размере, в каком не допускает его союзное правительство; стало быть, может показаться иному, что борьба идет между центральной властью и местным самоуправлением; что неизбежная победа центральной власти послужит к ее усилению, к уменьшению областного самоуправления. Если б Токвилль ныне писал о наклонности американской демократии к централизации, он ошибался бы полнейшим и грубейшим образом, но его ошибка все-таки была бы понятна. Другое дело подобная мысль в книге, писанной около 30 лет назад, когда не было ровно ни одного факта, который хотя самому поверхностному и незнающему человеку мог бы показаться ведущим к централизации или похжим на нее. Ошибочно, но понятно мнение человека, принимающего кита за рыбу; но как же принимать за рыбу быка или лошадь? Поэтому необыкновенно забавно читать



философствования Токвилля о наклонности американцев и вообще демократических обществ к централизации. Кто не читал его книгу, наверное предположит, что мы выдумываем на него; такому скептику возразим заглавиями целого большого отдела из второй половины сочинения Токвилля. «Часть IV, гл. 2. Понятия демократических народов о правительственных делах естественно расположены к централизации власти. Глава 3. Чувства демократических народов, согласно с их понятиями, влекут их к централизации власти». Еще несколько других глав посвящено тому же предмету. Он так курьезен, что любопытно будет читателю взглянуть на некоторые образцы рассуждений знаменитого автора.

«Понятие второстепенных властей, посредствующих между верховною властью и подданными (говорит Токвилль), естественно представлялось воображению аристократических народов, потому что в недрах их были отдельные лица или фамилии, возвышавшиеся над другими знатностью, просвещением, богатством и казавшиеся предназначенными к власти. Эта идея естественно исчезает из мысли людей в века равенства по причинам, противоположным тому. Ввести ее в их мысли можно только искусственно, поддерживать в них лишь с большим трудом, между тем как возникает в них сама собою идея единственной и центральной власти, которая сама руководит всеми гражданами».

Чудак не понимает, что в первую половину своего рассуждения сам вставил слова, показывающие совершенный недостаток логики во второй половине его. Ведь сам же он сказал, что в аристократических обществах второстепенные власти попадают в руки людям по знатности, богатству, то есть не по выбору сограждан, а по прирожденному праву известного человека или рода иметь в руках власть. Хочет он судить о демократическом народе по закону контраста; какой же контраст выходит из его собственных слов? Какие из этих слов ищут себе противоположности во второй половине периода? Тут не по выбору, а по прирожденному праву; там — наоборот, значит, по выбору, а не по прирожденному праву. Пускается человек философствовать, а не знает, что если к существительному прибавлено прилагательное, то в контрасте отрицание будет относиться не к существительному, а к прилагательному, или если общее понятие выставлено с частным признаком, то отрицание в контрасте будет относиться к частному признаку, а не к общему понятию. Например, если вы уже сказали: добрый человек, или человек в хорошей одежде, то противоположность будет: злой человек, или человек в дурной одежде, а не то, что противоположность доброму человеку составляет птица, или человеку в хорошей одежде — пустыня. Чтобы во второй половине периода вышло «пустыня», «отсутствие человека», в первой половине периода нужно сказать просто человеческое общество, без всяких частных признаков. Если бы можно было сказать, что второстепенная власть неспособна иметь

никакого другого происхождения, кроме родового, другого источника, кроме патримониальных или вотчинных прав, тогда с их отрицанием отрицалась бы и второстепенная власть; а если бы вают и другие источники второстепенных властей, кроме патримониального, то отрицание феодализма — вовсе не централизация. Вот кого, Токвилля, должны были бы учить логике «Русский вестник» с г. Юркевичем. Жаль, что умер бедняжка до появления статьи г. Юркевича и до перепечатки ее в «Русском вестнике»<sup>6</sup>. Хотите ли еще образцов философствования о наклонности американцев к централизации?

«Американцы полагают, что общественная власть должна происходить прямо от народа; но как только раз установлена эта власть, они уже думают, что она не должна иметь никаких границ; они охотно признают, что она имеет право делать все».

Это уж такая диковинка, до какой, вероятно, тяжело было дофилософствоваться и самому Токвиллю. Что за ахинея? Кому же неизвестно, что решительно всякая власть в Америке чрезвычайно ограничена? Президент, например, не может ровно ничего важного сделать без утверждения сената. Сенат ровно ничего не может сделать или без президента, или без палаты представителей; палата представителей ровно ничего не может сделать без сената. Значит, из трех отраслей союзной, исполнительной и законодательной власти каждая сама по себе не то чтобы имела неограниченную власть, а ровно никакой независимой власти не имеет. Или все три отрасли эти вместе имеют неограниченную власть? Помилуйте, ведь известно, что сфера действий союзного правительства чрезвычайно точно определена очень узкими границами. Конгресс вместе с президентом не может, например, издать хотя бы того закона, что за воровство у частного человека вор подвергается тому или другому наказанию; союзная власть может рассуждать лишь о краже имущества, принадлежащего союзному правительству; кража частной собственности — преступление, над которым ни конгресс, ни президент, ни конгресс вместе с президентом не имеют никакой власти. Эти дела подлежат власти отдельных штатов; и если бы какой-нибудь штат вздумал решить, что вор не подвергается никакому наказанию, воровство частной собственности и оставалось бы в этом штате безнаказанным, и союзная власть ничего не могла бы тут сделать. Точно таково же отношение властей отдельного штата к властям составляющих его графств, а этих властей — к властям городов и других общин, составляющих графство. Если бы, например, какое-нибудь графство решило вовсе не иметь у себя больниц или какой-нибудь город решил вовсе не иметь школ, никакая власть в Соединенных Штатах, — ни власть штата, ни власть союзного правительства, — ничего не могла бы тут сделать. Или, по крайней мере, городские и общинные власти не так строго ограничены? Помилуйте; да каждый городской или об-

щинный чиновник первым встречным может быть предан суду за малейшее превышение власти, ему определенной. С чего же это вздумалось Токвиллю вообразить такую нелепицу, что «раз установленная власть признается в Америке безграничной», когда там все власти гораздо строже и теснее ограничены, чем в самой Англии?

Он до того спутался своею мечтою о тождестве централизации с демократиею во Франции, что в некоторых чертах американского порядка, прямо противоположных централизации, увидел централизацию. Форма действий централизации — бюрократия, подавание обо всем рапортов с испрашиванием на все разрешения и предписаний. Во Франции, например, если в каком-нибудь общественном здании — в больнице, в школе — понадобится заменить обветшавшую раму в одном окне новой рамой, и если начальник этого здания, положим, больницы, не захочет поступить противозаконно, он подает рапорт подпрефекту, что вот какая надобность представляется; подпрефект посылает от себя рапорт префекту с приложением рапорта начальника больницы; префект дает предписание архитектору освидетельствовать раму и, получив от него рапорт, посылает от себя рапорт министру с приложением рапорта архитектора и предшествовавших ему рапортов подпрефекта и начальника больницы; министр, взвесив все обстоятельства дела, посылает префекту предписание: «переменить раму в таком-то окне такой-то больницы», префект посылает предписание подпрефекту: «в таком-то окне такой-то больницы переменить раму»; подпрефект дает предписание начальнику больницы: «в таком-то окне вашей больницы переменить раму»; начальник больницы дает предписание эконому больницы: «в таком-то окне нашей больницы переменить раму». Эконом переменяет раму и вручает начальнику больницы рапорт: «такая-то рама в нашей больнице переменена»; начальник больницы пишет рапорт подпрефекту, и опять идет ряд этих новых рапортов до министра по всем ступеням прежней градации.

В Америке ничего этого нет, потому что нет бюрократии, а бюрократии нет потому, что нет централизации. Там, избирая чиновника или правителя, говорят ему: «по вашей должности возлагаются на вас такие-то и такие-то обязанности и предоставляются такие-то и такие-то средства к их исполнению; исполняйте же вашу должность. О чем не стоит спрашивать ни у кого, о том не спрашивайтесь ни у кого; если слишком часто будете спрашиваться, это значит, что собственный рассудок у вас плох. За всякое превышение власти может вас подвергнуть суду каждый, и всегда найдется множество людей, которые найдут это нужным, чтобы не потерпеть убытка или неприятности от вашего произвола. Если дело, вам поручаемое, будет идти неисправно, вы будете сменены без наказания или с наказанием, смотря по характеру неисправности; а каждую неисправность вашу готовы будут

обнаружить сотни людей, чтобы не потерпеть от нее убытка или вреда». Вот положение американского чиновника или правителя: в кругу исполняемых им обязанностей он совершенно самостоятелен, под ответственностью пред судом за всякое неправильное действие. Разрешений и предписаний на всякие пустяки он не спрашивает и не получает.

Теперь вы понимаете, какая штука произошла в расстроенных мыслях Токвилля. Он — либерал, страшный либерал (только свобода книгопечатания не совсем ему нравится, что он просто-душно и объясняет в главе об этом предмете); он — страшный враг централизации, но не может он себе представить законного хода дел иначе, как в бюрократических формах: где их нет, там, по его мнению, произвол, деспотизм; а деспотизм и централизация, по его мнению, это все равно; таким-то манером и открыл он в Америке и централизацию, и безграничную власть в каждом чиновнике и правителе. Вообще, где коснется дело централизации, он всегда рассуждает в следующем роде: лошадь имеет склонность ходить на двух ногах; пернатое животное, которое несет такие вкусные яйца и высиживает из них цыплят, ходит на двух ногах; следовательно, лошадь имеет сильную склонность быть курицей. И силлогизм хорош, да и факт подмечен очень верно и тонко: ведь лошадь действительно иногда становится на дыбы, иногда бьет задними ногами; в том и другом случае она стоит только на двух ногах.

Несчастный Токвилль, не распространялись бы мы об этой твоей слабости, если б не читали на возлюбленном своем родном языке рассуждений о связи централизации с демократиею. Эти рассуждения имеют свойство восхищать нас, как невинный лепет наивных сердец, прекрасных и чистых, как прекрасно и чисто было сердце почтенного Токвилля. «Нивелирующая сила централизации», «демократическая диктатура, подавляющая олигархию бюрократиею», «государственное начало, подавляющее противогосударственные элементы и сохраняющее нацию от распада, страну — от чуждого завоевания», и т. д., и т. д. Нам наскучили эти фразы, затуманивающие здравый смысл общества, и на бедном Токвилле хотели мы показать, с какой логикою строятся силлогизмы, с какою верностью понимаются факты, из которых извлекаются такие диковины. Если бы не наши любезные соотечественники, твердящие ту же песню, за что было бы нам так желчно разбирать слабости Токвилля? Он не сделал нам никакого вреда. Другое дело, если б мы были французы: тогда помнили бы мы, что Токвилль с либералами и демократами, подобными ему ясностью понятий и сообразительностью, наделал много, очень много вреда Франции. Кто, как не эти люди, поднимал в критическое время вопли против всяких мер удовлетворения национальным требованиям? Кто, как не они, довел тогда дело до страшной резни июньских дней? Кто, как не они, бро-

сился в реакцию, из которой естественно уже развилась система, не поцеремонившаяся и с ними? <sup>7</sup> Без них, без этих людей, так прочно и добросовестно утвердивших за собой репутацию либералов и демократов, реакционеры были бы бессильны. И вот теперь они опять либеральничают и демократничают, и Европа с умилением читает Беррье и Одилона Барро, Оссонвиля и Гарнье Паже <sup>8</sup>, все тут есть: и легитимисты, и орлеанисты, и республиканцы, и все одинаково хороши. Отлично устроят они Францию, если опять попадетс я им власть, всем ли вместе или какому-нибудь одному из них, все равно.

Впрочем, должны мы признаться, — жаль, что несколько поздно делаем это признание, — что вовсе и не было нам надобности говорить что-нибудь против мнения о наклонности американской демократии к централизации. Мы заглянули в отдел книги Токвиля, озаглавленный: «Некоторые соображения о настоящем положении и вероятной будущности Соединенных Штатов», и, просмотрев эти страницы, убедились, что Токвиль никак не мог говорить ничего подобного тому, что мы опровергали. В главе, на которую переходит теперь наше внимание, он рассказывает, что при быстром расширении Соединенных Штатов очень может возникнуть в разных частях этой страны стремление отложиться от других, чтобы стать совершенно независимыми государствами; или, по крайней мере, отдельные штаты будут стремиться к увеличению своей самостоятельности насчет союзной власти. Слушайте же, что говорит наш автор.

«На первый взгляд кажется, что Союзу дано больше прав верховной власти, чем оставлено за отдельными штатами. Всмотревшись в дело несколько ближе, мы увидим противное». Токвиль доказывает, что правительство отдельного штата сильнее союзного правительства, и перечень доказывающих это фактов заключает словами: «о разнице сил союзного правительства и правительства штата легко можно судить по характеру действий того и другого в кругу его власти. Когда правительство отдельного штата обращается к его населению, его язык ясен и повелителен. Когда союзное правительство обращается к штату, оно ведет с ним переговоры: излагает причины своих действий, оправдывает их, рассуждает, советует, а не приказывает. Если возникает сомнение о том, где граница между властью Союза и штата, правительство штата выражает свою претензию смело, принимает быстрые и энергические меры для ее поддержания. А союзное правительство рассуждает, обращается к здравому смыслу нации, к ее выгодам, ее славе, медлит, ведет переговоры и лишь в последней крайности решается, наконец, действовать. Союзное правительство по самой своей натуре — правительство слабое, более всякого другого нуждающееся для своего существования в свободном содействии управляемых. Если бы союзная власть вступила в борьбу с правительством штата, легко предвидеть, что она была

бы побеждена. Я не полагаю даже, чтобы могла когда-нибудь завязаться эта борьба серьезным образом». (Нынешние американские события свидетельствуют о предусмотрительности Токвилля.) «Как только штат противопоставит союзному правительству упорное сопротивление, союзная власть всегда уступит. Опыт доказал, что когда отдельный штат упорно желал и решительно требовал чего-нибудь, он всегда одерживал верх. А если б союзное правительство и имело силу, ему очень трудно было бы воспользоваться ею по физическому положению страны. Она занимает огромную территорию, расстояния в ней далекие, население рассеяно по местностям, наполовину еще пустынным. Если бы Союз захотел поддержать свои права против отдельного штата оружием, он стал бы в положение, подобное тому, в каком была Англия, ведя войну с американскими колониями. Притом же союзное правительство, если б и было сильно, не могло бы отвратить последствий принципа, который само принимает за основание государственного права. Союз составился по свободной воле штатов». После этого Токвилль рассматривает, может ли союзное правительство, слабое само по себе, склонить отдельные штаты пособить ему в борьбе с непокорным штатом. Он находит это невозможным: ни один штат не захотел бы поддерживать союзную власть в таком столкновении, — нынешними событиями отлично подтвердилось и это. «Потому несомненно кажется мне (продолжает Токвилль), что если бы какая-нибудь часть Союза серьезно захотела отделиться, союзная власть не только не могла бы воспрепятствовать ей в том, но даже и не сделала бы попытки к тому» (как и видим теперь). Токвилль рассматривает, вероятен ли тот случай, чтобы какая-нибудь часть Союза захотела отделиться от него, и находит это невероятным, — опять, какая верная предусмотрительность! Ну, кроме этого невероятного, по его мнению, шанса, существует, по его словам, другой шанс гибели для союзной власти. — «Союзное правительство может постепенно терять силу от тенденции всех отдельных штатов к возвращению своей независимости. Поочередно лишившись всех своих прав, будучи доведено до бессилия этою общею тенденциею, центральное правительство станет неспособно исполнять свое назначение, и Союз погибнет». Этот шанс, по мнению Токвилля, не только вероятен, а уже осуществляется; это уже не шанс, а факт. «Американцы, очевидно, проникнуты сильным опасением (говорит Токвилль): они видят, что у большей части других народов права верховной власти сосредоточиваются все в меньшем и меньшем числе рук (у каких же это других народов видят такой небывалый факт американцы? — могли бы мы спросить Токвилля; но все равно: пусть полагает он, что американцы видят, чего не видят; мы теперь только хотим знать его взгляд) и пугаются мысли, что может тем же кончиться и у них. А централизация в Америке непопулярна, и ничем нельзя так ловко

полюстить большинству, как нападениями на центральную власть. Потому сами государственные люди у них разделяют или притворяются разделяющими эту боязнь. Мне кажется она совершенно фантастична. Я вовсе не того опасуюсь, что власть центрального правительства будет крепнуть, — я нахожу, напротив, что она заметным образом слабеет. Чтобы доказать это, мне не нужно ссылаться на давнишние факты; довольно будет указать на факты, происходившие при мне или в наше время: каждый раз, как права центральной власти встречались с претензиями отдельных штатов, права эти уменьшались». Токвилль приводит факты, подтверждающие этот вывод его, и продолжает: «да, или я слишком грубо ошибаюсь, или союзная власть в Соединенных Штатах с каждым днем слабеет; все меньше и меньше вмешивается она в дела, все теснее и теснее становится круг ее действия. Слабая и по своей природе, она уж отказывается даже от видимых форм силы. А в отдельных штатах чувство независимости становится все живее, любовь к местному управлению все сильнее. Хотят, чтобы существовал Союз, но чтобы он был только тенью Союза. Я не вижу в настоящем ничего, чем могло бы остановиться это общее движение умов; причины, его породившие, продолжают действовать в том же направлении. Следовательно, оно будет продолжаться, и можно предсказать, что если не явится какое-нибудь чрезвычайное обстоятельство, то союзное правительство с каждым днем будет ослабевать».

Мы краснеем за себя, мы жизни не рады, что несколькими страницами выше приписали Токвиллю мнение, будто бы централизация в Америке усиливается. Как грубо мы ошиблись! Теперь этот промах наш можно уличить даже и без помощи г. Юркевича. Возможное ли дело, чтобы писатель, так упорно твердящий на приведенных нами страницах о постоянном, ежедневном ослаблении центральной власти в Американском Союзе, доказывал, что она усиливается? Нет, мы или не потрудились хорошенько познакомиться с его мыслями, или нагло исказили их, когда выставляли его думающим, будто развивается в Америке централизация. В какую беду мы попали, как будут торжествовать люди, любящие изобличать наше невежество и нашу недобросовестность! Пересмотрим повнимательнее отдел о централизации, что бы поскорее обнаружить перед самими собой свою ошибку и вычеркнуть бедственные для нас страницы, написанные под ее влиянием. Раскрываем же отдел о централизации. Вот она, глава 2-я IV книги. Читаем:

«Понятие второстепенных властей, посредствующих между верховною властью и подданными, естественно представлялось воображению аристократических народов», и т. д. — Что за чудо! — ведь действительно в книге Токвилля напечатано все это рассуждение, которое мы приписывали ему; но, может быть, по этому отрывку еще нельзя судить; будем читать дальше.

«В политике ум демократических народов с восхищением принимает простые и всеобщие идеи. Многосложные системы неприятны ему; ему нравится мысль, что всеми гражданами великой нации управляет только одна власть. В аристократические века эта мысль чужда человеческому уму. Он не принимает или отвергает ее. По мере того, как положение людей в известном народе уравнивается, значение отдельного человека все уменьшается, а значение общества все увеличивается; или, лучше сказать, каждый гражданин, став подобен всем другим, теряется в толпе, и остается только широкая идея самого народа. От этого у людей демократических времен естественно является очень высокое мнение о привилегиях общества и очень низкое понятие о правах отдельного лица. Они легко соглашаются, что власть, представительница общества, далеко превосходит знанием и мудростью каждого из людей, составляющих общество, и что она имеет и право, и обязанность брать каждого человека за руку и вести его, куда хочет». Да, действительно Токвиль доказывает, что американцы непременно должны все больше и больше упасть в централизацию. Но нет, быть может, мы ошибаемся в этом заключении, быть может, он говорит только о демократических народах вообще, а не об американцах в особенности: ведь прямо нам еще не попадалось у него слово «американцы» и нас могут изобличить в опрометчивости суждений. Надобно читать дальше.

«Американцы полагают, что общественная власть должна происходить прямо от народа; но раз установив» и т. д. Опять знакомое место; но, быть может, мы не поняли его тогда? Будем же читать дальше.

«Люди, живущие в демократических странах, не любят покидать своих частных дел для занятия общественными делами. Они имеют естественную склонность отдавать общественные дела на заботу государству. У них нет охоты, часто нет и времени заниматься общественными делами. Любовь к общественному спокойствию часто остается у демократических народов единственною политическою страстью, и она становится у них тем живее и сильнее, что все другие страсти слабеют и умирают; это естественно располагает граждан беспрестанно давать все новые права центральной власти, которая, по их мнению, одна имеет интерес и силу защищать их от анархии. В века равенства каждый слаб; при своей слабости он естественно обращает взоры на неизмеримое существо, которое одно возвышается среди всеобщего понижения. Нужды и желания беспрестанно заставляют человека обращаться к помощи этого существа (то есть общественной власти или центрального правительства), и он кончает тем, что видит в нем единственную и необходимую опору своей индивидуальной слабости». «Смотри примечание к этой странице в конце тома», — прибавляет Токвиль. Хорошо; смотрим примечание; в нем написано: «В демократических обществах только



центральная власть имеет прочность. Следовательно, трудно не иметь ей успеха в стремлении постоянно расширять свою сферу, потому что она с неизменной мыслью и постоянной волей действует на людей, положение, мысли и желания которых изменяются ежедневно. Таким образом, у демократического правительства круг действия расширяется уже тем самым фактом, что оно продолжает существовать. Время работает в его пользу; все случайности обращаются в его пользу; отдельные люди своими страстями помогают ему даже и без собственного ведома. И можно сказать, что оно становится тем более централизовано, чем старше становится демократическое общество». Прочитав примечание, возвращаемся к тексту. «Ненависть к привилегиям, одушевляющая демократические народы, чрезвычайно благоприятствует постепенному сосредоточению всех политических прав в руках одного лица, представляющего собой государство». И т. д., и т. д.

Мы извлекли существенные мысли только из шести страниц французского подлинника в нашем издании, а материя эта тянется на нескольких десятках страниц; каких удивительных соображений нет на этих страницах! К чему ни приложит Токвиль слово «демократический», все оказывается ведущим к централизации. Надобно полагать, что даже и реки в демократических странах несут людей к централизации, и ветер гонит их к централизации, и нюханье табаку (если они нюхают табак) влечет их к централизации; да оно в самом деле так и должно быть: реки, например, все вливаются друг в друга, маленькие в большие, большие в еще большие, а потом, слившись между собой, все сливаются в общий центр вод, море: это явно возбуждает в людях мысль о централизации. Ветер дует больше все в одном направлении — положим, в юго-западном; значит, все и несется ветром в одну сторону, сваливается все в кучу и в кучу, — опять явно располагая людей думать о централизации. Нюхательный табак производит во всех нюхающих его одинаковое щекотанье носовых нерв — значит, и от этого люди все больше и больше располагаются чувствовать одинаково; а от одинаковости чувств недалеко до централизации, как доказывает Токвиль. Но мы еще не имеем достаточно доказательств, что все его соображения такого рода относятся к американцам. Правда, это ясно само собой; правда, мы уже приводили одно место, показывающее, что при всех этих рассуждениях имеются в виду американцы; но одного места нам мало. А вот и другое, после которого не остается сомнений. Изложив соображения, нами приведенные, и множество других, Токвиль обращает свои взоры на Европу и говорит:

«Европейские демократические нации имеют все общие и постоянные тенденции к централизации власти, сверх того, подвержены многим второстепенным и случайным влияниям, которые незнакомы американцам».

Теперь уж не остается никакого сомнения; даже и при помощи г. Юркевича нельзя будет найти наше заключение опрометчивым: очевидно, что Токвиль применяет к американской демократии все предшествующие мудрые соображения, нами сообщенные читателю.

Спрашивается теперь: как мы должны думать о Токвилле? Мы видели, что книгу свою он писал с превосходнейшим намерением; надобно прибавить, что фактическая сторона в ней — изложение законов Соединенных Штатов — хороша; можно, пожалуй, и кроме того найти в ней много страниц, полезных и писанных как будто неглупым человеком; все так, и хорошего в книге довольно, и полезного немало, — но об авторе-то как вы станете думать, и какой вес могут иметь мнения подобного мыслителя? У автора в голове такой сумбур, что никакой нет возможности придавать хотя бы самое маленькое значение образу его мыслей: помилуйте, да ведь и разобрать нельзя, какого он образа мыслей, — в одном случае так ему покажется, в другом — совершенно навыворот. Ослабевает или укрепляется центральная власть в Американских Штатах? Падает она перед местными властями отдельных штатов или они поглощаются ею? Извольте сказать, как думает об этом Токвиль? Невозможно без смеха слышать мнения, выраженные им об этом вопросе в двух разных отделах одной и той же книги.

А писатель он знаменитый, признан за авторитет всей образованною Европою, прославлен и в нашей литературе. Мы сначала и хотели было уважить авторитет, — сами вы видите, статья наша начата с почтительностью; но мы ли виноваты, что не оказалось никакой возможности продолжать ее в том же тоне?

Конечно, бедный Токвиль уж слишком откровенно выложил перед нами нескладицу своих мыслей. Не у всякого подобного ему сумбурного писателя найдете вы такую основательную и подробную двуголосицу, как у него по вопросу о централизации в Америке. Но ведь если иной и осммотрительнее Токвиля слышит разные главы и страницы своего произведения, чтобы не попасть в такое открытое и длинное противоречие с самим собою, то характер его мыслительных способностей от этого лишь несколько затуманивается, а не исправляется. Возьмем в пример целую школу, любящую у нас рассуждать о том же предмете, на котором так отличился Токвиль.

Если б люди, превозносящие историческую пользу централизации и необходимость ее в настоящем, были реакционеры, их взгляд на централизацию был бы очень логичен. Но нет, они — друзья прогресса, и от этого никак нельзя примирить с здравым смыслом их мнение об элементе, занимающем их так много. Надобно сказать, что все они — люди из числа самых образованных у нас, а представители их школы в литературе — замечательные ученые; будь они — люди незнающие, ошибка была бы извини-

тельна; а при качествах, которыми они отличаются, она очень странна.

Те представители школы, которые заслужили известность научными трудами, занимаются преимущественно русской историей. Они пишут многотомные сочинения и превосходные статьи, подвигающие науку вперед более или менее удачною разработкою фактов; и замечательнейшая вещь здесь та, что каждый излагаемый ими факт явно противоречит выводу их о полезной роли централизации. Начинают они находить ее полезной с самого же первого ее возникновения. Она, по их мнению, дала великорусскому племени государственное единство и освободила восточную половину нынешней России от татар. От чего же произошло раздробление восточной России на мелкие государства и чем оно поддерживалось? Не от географических условий страны произошло оно: вся страна составляет одну местность, не имеющую никаких естественных перегородок, через которые трудно было бы перебраться государственному единству. От Новгорода до Твери, от Твери до Москвы, от Москвы до Нижнего в одну сторону, до Орла в другую — точно такой же путь, какой от каждого из этих городов до ближайших к нему мест: путь совершенно открытый. А между населениями этих областей нет и не было никакой важной разницы по отношению к идее общей народности: в каждом из них всегда владычествовала мысль об одноплеменности своей с остальным великорусским населением. Значит, не было ни физических, ни народных причин возникнуть или удерживаться раздроблению. Оно возникло просто только от того, что население было малочисленно и грубо. По малочисленности своей оно было рассеяно слишком бессвязно: одна группа его разделялась от другой пустынею. По грубости своей оно не могло установить таких форм администрации, которыми удобно соединялись бы области, далекие одна от другой: ведь известно, что обширные государства для прочности своего существования требуют некоторой цивилизации народа, а без нее едва успеет основаться что-нибудь большое, как тотчас же ломается. Значит, чем же должно было прекратиться раздробление великорусского племени? Размножением его, чтобы не оставалось слишком обширных пустынь между его частями, и развитием хотя некоторой цивилизации.

Первое условие понемногу возникало само собою, силою естественного закона: люди размножались, потому что земледельческое население не может не размножаться, пока есть пустая земля. Централизация ничем тут не помогала судьбе России. А развитие второго условия всего сильнее задерживалось соседством хищнических азиатских орд: печенегов, половцев, татар. В Новгороде, далеком от них, гражданское развитие шло успешно. В других областях мешали ему их набеги. Какою силою устранено было это препятствие? Двумя обстоятельствами. С одной

стороны, русский народ размножился — значит, с каждым поколением имел все больше силы останавливать набеги, а потом и теснить назад хищных дикарей, отбивать у них одну полосу земли за другой. С другой стороны, сами эти дикари слабели, хилели, вымирали. Ведь известное дело, что если кочевые варвары захватят удобный для земледелия край в соседстве земледельческого народа, они после первого своего наплыва начинают быстро исчезать с почвы, для них несродной, из соседства людей, которые крепче их срастаются с землею и захватывают своими крепкими корнями все дальше и дальше по краям своих поселений землю, удобную для их дела — хлебопашества. Номады способны держаться против расширения земледельческого народа лишь в своих родных степях, неудобных для земледелия, в какой-нибудь Аравии или в пустынях от Каспийского моря до Кореи. Это вторая, громаднейшая родина номадов и была морем, из которого выливались наводнения, мешавшие великорусскому племени. Как и что делалось в монгольских степях, чем выталкивались из них стремительные потоки хищнических орд на запад, это все равно для нас; но мы видим, что после Тамерлана не выходили из монгольских и туркестанских степей новые орды на запад; да и тамерлановы орды едва-едва коснулись северо-западных окраин степного пространства, а главным образом устремились на юго-запад и юг, на Азию, а не на Европу. Последний напор дикарей Средней Азии на Европу был при Чингизхане, когда и наводнена была степными хищниками не одна великорусская земля, а вся средняя полоса Восточной Европы. После первого натиска, достигавшего Моравии, дикари, по естественному закону, о котором мы говорили, начали отступать назад, покидая потопленные земли: из Западной Европы они отхлынули тотчас же; поляки избавились от них очень скоро; после этого пришла очередь монголам ослабеть в своих набегах на западную Русь, а там стали слабеть они и в набегах на восточную. Это отступление их гибельного тяготения происходило само собою, как сбегает волна, нахлынувшая на берег: ей неловко держаться на месте, ею захваченном, лишь от чрезвычайного волнения моря, ее выбросившего. Как избавилась от монголов Польша, точно так же через несколько времени должна была избавиться от них и великорусская земля: естественным упадком силы в номадах на земледельческой местности. Оно действительно так и было: около времен Мамая кипчакские татары сохраняли только тень своей прежней силы; и упадок этот произошел по внутреннему закону их собственной жизни, а не от борьбы с великоруссами, которые до Куликовской битвы, конечно, ничего не сделали во вред татарам.

Нашествие Мамаю было уже предсмертною конвульсиею умирающего зверя; полчища Мамаю могли составить разве один отряд в ордах Батюя. Что они были не бог знает как многочис-

лённы, видим из того, что они все могли сосредоточиться на одном Куликовом поле. При Батые было не так: орды одновременно шли по многим направлениям, захватывали чрезвычайно длинную линию своим фронтом: а тут протяжение фронта их было уже так невелико, что со всей линии собрались они на один пункт. Они уже не могли тяготеть над великорусскою землею; это видно из того, что Тохтамыш быстро очистил ее, хотя нигде не нашел успешного отпора. Что же такое принадлежит делу централизации в очищении великорусской земли от татар? Ровно ничего не принадлежит. Куликовская битва не имела никаких фактических результатов, да и происходила уже в такое время, когда главная часть дела совершилась сама собою: татары совершенно уже охлели. Или придавать какое-нибудь значение неудачному походу к берегам Угры при Ахмате? Действительно, он имеет ту замечательность, что очень ясно обнаружил положение дел: пошли татары на Москву, подумали, подумали, да и вернулись назад: «нет, говорят, уж не хватает силы у нас». Пошла централизация на татар, подумала, подумала, да и побежала назад: «нет, говорит, я татар победить не могу». Чем же были побеждены татары? Собственным одряхлением и размножением русского населения, фактами, происходившими совершенно независимо от централизации.

Таким образом, оба условия, от которых зависело возникновение национального единства, осуществлялись сами собою.

Но по взгляду ученых, о которых мы говорим, централизация не только была необходима для создания государственного единства, она также была нивелирующею силою, действовавшею в демократическом направлении против аристократии. Это еще прелестнее, потому что сами же эти ученые необыкновенно подробно разъясняют, что собственно централизация и создала поместную систему, то есть иерархию более или менее крупных поземельных владельцев, — иерархию чисто феодальную; что собственно централизация и поставила массу населения в крепостное отношение к феодалам, созданным поместною системою; те же самые ученые объясняют нам, как это феодальное сословие было обращено тою же самою централизациею в аристократию более новой формы, чрез постепенное расширение и упрочение поместных прав и, наконец, чрез признание поместий вотчинами.

Взгляд на централизацию мы взяли только для примера, потому что так оно пришлось ближе всего к примеру бессвязности мыслей, представленному нам Токвиллем. А можно было бы припомнить много несообразностей. Один авторитет провозглашает самостоятельность разума и ужасается, когда вы говорите, что не принимаете фантазий, отвергаемых разумом: по его мнению, наука доказывает истину всех бредней. Другой авторитет называет славянофильство нелепостью и тут же доказывает, что Западная Европа, в особенности Франция, гниет и только сла-

вянское племя, носящее в себе зародыши высшей цивилизации, только одно оно может обновить дряхлеющую Западную Европу. Третий авторитет превосходно рассуждает, что просвещение спасительно, и тут же доказывает, что цивилизация имеет растлевающее свойство. Четвертый авторитет ставит вопрос несколько иначе: полное образование неизмеримо выше невежества, но полуобразованность гораздо хуже невежества, как будто образование — маленький кусочек леденца, который можно сглотнуть разом, как будто невежда может стать вдруг образован, а не должен перейти на этом пути все степени, в том числе и полуобразованность, и всякие другие доли образованности. Словом сказать, какой авторитет ни возьмите, у каждого находится в образе мыслей какая-нибудь гармония этого сорта, а у иного и по несколько их — да еще таких ли! Ведь мы выбирали противоречия отвлеченные, то есть бледные и сравнительно безвредные. А если обратитесь к авторитетным воззрениям на живые практические вопросы, вас угостят еще гораздо приятнейшими винегретами. Но о них когда-нибудь в другой раз; а теперь досльно и того, если мы успели на Токвилле показать, какую степень вины имеет наша непочтительность к авторитетам, подобным Токвиллю.

Возвращаясь к его книге, надобно, конечно, прибавить, что она сильно устарела: в 28 лет, прошедших с той поры, как она написана, все статистические данные и многие черты быта, разумеется, очень сильно изменились в стране, столь быстро развивающейся, как Америка. Например, он говорит о Нью-Йорке, как огромном городе, имеющем до 200 000 жителей, — теперь в Нью-Йорке около 1 000 000; железных дорог еще не было в Америке, когда он писал; ожесточенной вражды к Северу южные плантаторы еще не имели, потому что на Севере еще не было аболиционизма, — словом сказать, книга Токвилля описывает Америку, почти столь же различную от нынешней, как Россия, описанная Котошихиным<sup>9</sup>, различна от нынешней. Но говорить об этом напрасно, потому что едва ли кто захочет изучать Америку по переводу Токвилля, сделанному г. Якубовичем.

## ПОЛЕМИЧЕСКИЕ КРАСОТЫ

### КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРВАЯ

#### КРАСОТЫ, СОБРАННЫЕ ИЗ «РУССКОГО ВЕСТНИКА»

Гнев, богиня, воспой Ахиллеса.

Илиада. Перевод Гнедича.

Песня I, ст. 1

### I

«Современник» распался на партии, не согласные между собою почти что ни в чем. Наши собратья по литературе давно намекали об этом, уличая одну статью нашего журнала в противоречии с другою. Недоставало только собственного признания. Явилось и оно. Безыменный автор<sup>1</sup> статей, занявшийся с нынешнего года отделом «Внутреннего обозрения» в нашем журнале, публично объявил, что ему нет никакого дела до мнений других сотрудников «Современника», что они пусть противоречат ему, сколько хотят, в своих статьях, а он, не стесняясь, станет противоречить им в своих. Факт прискорбный, но должны мы сознаться, естественный в журнале, не стыдящемся являться в одной обертке с «Свистком». (Кстати, мы имеем надежду, что «Свисток» скоро возвратится к «Современнику» из заграничной отлучки: нигде не нашел он климата лучше петербургского, тишины и довольства отраднейших, чем в любезном отечестве, и спешит он снова наслаждаться сладким и приятным дымом его.)<sup>2</sup> Да, говорим мы, как ни прискорбно это признание, но воротить его нельзя. Всем теперь известно, что между сотрудниками «Современника» нет никакого согласия в образе мыслей. Мы можем только негодовать на сотоварища нашего по журналу, столь неосторожно разоблачившего наши домашние слабости (это негодование и выразилось язвительным эпитетом «безыменный»). Но если уж признание сделано, то и будем поступать сообразно тому. Пусть каждый из нас пишет, нимало не справляясь с тем, одобрит ли его взгляд и тон другими сотрудниками и редакциею.

Эта решимость, овладевшая мною, одним из сотрудников «Современника», и открыла мне возможность заняться подбором полемических красот из многочисленных статей и статей, глубоко-мысленных изобличений и милых выходов, печатающихся против «Современника». До сих пор никак нельзя мне было этим заняться по самой простой причине: я не читал, кроме «Современника» (да и то в корректурах), решительно никаких русских журналов вот уже более четырех лет. Почему не читал? Между прочим, вот почему: у меня чрезвычайно нетвердый ум (как и было доказано много раз в разных журналах в то время, когда еще я читал их; доказывается и теперь, как вижу по журналам нынешнего года; отсюда по аналогии заключаю, что доказывалось и в длинный промежуток, когда я не читал журналов). При такой шаткости ума, как только что я прочитаю, с тем и соглашаюсь. А сверх всех других недостатков ума и характера, одарен я еще болтливостью: решительно ни о чем не могу смолчать. Представьте же, какое было бы мое положение, если б я совершенно не бросил лет пять тому назад читать все журналы, кроме «Современника». Встречается мне в «Русском вестнике» или «Отечественных записках», «Московских ведомостях» или «С.-Петербургских ведомостях» какая-нибудь статья против «Современника». Прочел я ее и, по шаткости своего ума, соглашаюсь, что она вполне справедлива. Сажусь к рабочему столу — так и тянет меня написать: «в таком-то номере такого-то журнала или газеты прочли мы статью, уличающую наш журнал за то-то и за то-то в невежественности или легкомыслии, в злонамеренности или безвкусици. Мы находим это обвинение совершенно справедливым, и «Современник» кругом виноват». Но как я мог напечатать это? Ведь я считал нужным, чтобы журнал сохранял единство направления; а я противоречил бы ему на каждом шагу. Согласитесь, неприятно возбуждаться к мыслям, которые не можешь высказывать. Так я и бросил читать журналы.

Теперь дело другое. Даровитый писатель, взявший в нынешнем году на себя отдел «Внутреннего обозрения» в «Современнике», вывел меня из затруднения, погружавшего меня столь долго в такое прискорбное незнание о деяниях русской журналистики, ее успехах в сильном и прямом обсуждении важнейших вопросов общественной и государственной жизни нашего отечества и в прочем всем остальном. (Замечаете шаткость моя уже и выказалась: я уязвил сотоварища эпитетом «безыменный», а вот и льщу ему эпитетом «даровитый».) Теперь я не связан никакими соображениями о соблюдении единства в направлении и тоне журнала. Когда мне покажется, что другие бранят «Современник» справедливо, умно, остроумно, мило (а мне решительно каждый раз будет это казаться), я могу в «Современнике» же и печатать, что вот как хорошо и дельно изобличен «Современник» таким-то журналом, такою-то газетою. Недели две тому назад я



дошел до этого решения и, — о восторг наслаждения, которого лишил себя столь много лет! — я принялся читать русские журналы.

Я пропустил без чтения журналы эти за столько лет, что не мог и помыслить о прочтении или хотя бы легком пересмотре всей неведомой мне массы их за эти годы. Надобно было определить какую-нибудь достижимую человеческим силам границу возвращения моего назад к сокровищам прошлой нашей журналистики. Я поставил себе эту границу 1 января настоящего года. Только при крайней надобности, когда попадется в этом моем чтении разве уж очень интересная ссылка на какую-нибудь статью прежних годов, я доставляю себе роскошное наслаждение прочесть эту драгоценность.

Уже и за один нынешний год какую груду приходится мне пересматривать! Ведь мое решение было принято 7 июня (день принопамятный для меня, — день моего возвращения в сладчайшую жизнь читателя русских журналов!) — я пропустил более пяти месяцев, и сколько прекраснейшего чтения приготовила для меня русская журналистика в эти пять месяцев!

Как голодный, прямо бросающийся на самое сытное блюдо, я начал свое чтение, разумеется, с «Русского вестника», лучшего из наших журналов. Общая молва о его достоинствах не обманула меня. Много, много замечательного нашел я в нем, — например в 1-м же номере превосходную, утыканную шпильками статью г. Леонтьева «О судьбе земледельческих классов в древнем Риме» и восхитительную по своей невинной наивности статью г. Сухомлинова «Ломоносов — студент Марбургского университета», а в «Современной летописи» — несравненные статьи г. Ржевского, равно замечательного ученостью, скромностью и глубокомыслием. Но более всего заняли меня полемические статьи (по шаткости ума и слабости характера, при первом соприкосновении с полемикою пробудилась во мне страстишка к полемике, спавшая непробудным сном несколько лет). По естественной слабости к журналу, в котором участвуешь, разумеется, больше всего заинтересовался я полемикою против «Современника», и она так очаровала меня, что на этот раз не могу я говорить ни о чем, кроме нее. Как изменила она мой взгляд на многое в «Современнике», сколько недостатков его раскрыла, сколько промахов разоблачила! Они так грубы, неприличны, что прежде всего я должен назвать совершенно заслуженным со стороны «Современника» тон этой полемики. Вот образцы его. Первым образцом может служить первая полемическая статья нынешнего года: «Несколько слов вместо «Современной летописи». Она так хороша, что мы представим довольно большие извлечения из нее. Статья начинается тем, что с нынешнего года открывается в «Русском вестнике» постоянный отдел «Литературное обозрение и заметки». В других журналах соответствующий тому отдел давно существует, но ведется совсем не так, как следует.

Читатели, вероятно, еще помнят, как лет пять или шесть тому назад, ежегодно перед открытием подписки возгоралась литературная брань между журналами: *Современник* доказывал, что *Отечественные записки* никуда не годятся; *Отечественные записки* с неменьшей убедительностью доказывали то же самое о *Современнике*. В первый год существования *Русского вестника* мы указывали на эту черту наших литературных нравов, на этот процветающий тогда в журналах обычай под видом литературных обзоров вызывать к себе публику. Обычай этот тогда же прекратился, но не надолго: натура взяла свое. Брань возвратилась, только уже не литературная: сброшенную маску литературных объяснений поднять было совестно, и раздались объяснения более откровенные\*, прямее идущие к делу, открылись балаганы с песнями и без песен, со свистом и даже с визгом, как выразился недавно один из этих свистунов.

Это я называю скромностью: до «Русского вестника», журналы держали себя неприлично; явился «Русский вестник», указал им, что это дурно, и неприличный «обычай тогда же прекратился». Со стороны других журналов похвально такое послушание справедливым внушениям «Русского вестника»: если сами они дурны, хорошо уже хоть то, что слушаются указаний от лучшего журнала. Но, — но очень они уже дурны: и желали исправиться, да не могут: «обычай прекратился, но не надолго, натура взяла свое: брань возвратилась». Какая дурная натура! Самая площадная натура! Нравится мне едкость выражения: «открылись балаганы с песнями и без песен, со свистом и даже с визгом, как выразился недавно один из этих свистунов». Чтобы не оставить читателя в недоразумении, сделана при этих словах и выноска, указывающая на № 1-й «Современника» за нынешний год. Острота — очень хорошая; ее приятности не мешает даже то, что она повторена из статьи «Московских ведомостей» и со слов почтенного нашего публициста г. Погодина, достойно завершившего свою громкую славу недавними статьями по крестьянскому вопросу<sup>3</sup>. Так вот, критический отдел в других журналах неприличен; конечно, в «Русском вестнике» он будет несравненно приличнее. Но, к счастью, мы видим, что это не мешает ему употреблять, как и следует, сильные выражения против журналов и писателей дрянного сорта. Вот, например, выдержки со следующей страницы.

Мы не будем заниматься искусством для искусства, как занимаются им именно те из наших литературных критиков, которые со свирепым бессмыслием протестуют против искусства для искусства. Только праздные и больные умы занимаются сами собой; только хилое искусство превращается в эстетические курсы; только лишенная производительности, безжизненная и бессильная литература роется в собственных дрязгах, не видя перед собою божьего мира, и вместо живого дела занимается толчением воды или домашними счетами, мелкими интригами и сплетнями. Нам ставили в укор отсутствие литературных рассуждений в нашем издании именно те журналы, где с тупым доктринерством или с мальчишеским забиячеством проповедывалась теория,

---

\* В «Современнике» опечатка: «обыкновенные». — Ред.

лишающая литературу всякой внутренней силы, забрасывались грязью все литературные авторитеты, у Пушкина отнималось право на название национального поэта, а Гоголю оказывалось снисхождение только за его сомнительное свойство обличителя; где современные писатели, отличающиеся каким-либо художественным достоинством, потому только осыпались льстивыми похвалами, что успех их в публике был выгоден для этих журналов, помещавших у себя их произведения, но где немедленно изменялся тон отзывов с прекращением расчета на сотрудничество.

Какая благопристойность тона, не лишенного, однакож, резкой силы: «балаганы», «свистуны», «свирепое бессмыслие», «мальчишеское забиячество», упрек за «забрасывание грязью всех литературных авторитетов», наконец, что лучше всего, указание на «льстивые похвалы» писателям, успех которых выгоден для журнала, пока эти писатели помещают в нем свои произведения, и прибавка, что «тон отзывов немедленно изменялся с прекращением расчета на сотрудничество». Чтобы читатель не оставался в недоразумении, к этим же словам сделана и выноска следующего содержания:

Так изменился тон *Современника* о некоторых писателях, в честь которых еще так недавно пламенели жертвенники в этом журнале. В последнем номере его напечатано между прочим элегическое стихотворение, в котором изливаются скорбные сетования на дороговизну произведений г. Тургенева.

Я никак не нахожу, что этот оборот изложения имеет некоторое сходство с «домашними счетами, мелкими интригами и сплетнями». Я прочел, что «Русский вестник» порицает их, и знаю, что он никогда до них не унижится. Выписанные мною слова я называю просто благородным изобличением низости «Современника». Как я благодарен «Русскому вестнику», что раскрылись у меня теперь глаза на эту низость: Прежде дело представлялось мне в ином виде. Послушайте, как грубо я ошибался.

Мне казалось, что было время, когда не замечали между собой разницы во взглядах люди, далеко разошедшиеся ныне. Было время, когда г. Катков писал в «Отечественных записках» вместе с автором «Писем об изучении природы» \*. Некоторые статьи г. Каткова приписывались Белинскому (мы не полагаем, чтобы сказали этим что-нибудь оскорбительное для г. Каткова). Теперь на сколько партий разделились эти люди, составившие некогда одну партию, в которой рядом стояли г. Катков и покойный К. Аксаков? Отчего же разошлись эти люди? Отчего многие из них стали даже враждебны друг другу по образу мыслей? Нам казалось, что низкими расчетами не следует объяснять ни этого прежнего союза, ни этого последующего разрыва. Нам казалось, что как ни жалко состояние нашей литературы, но все-таки управляли в ней симпатиями и антипатиями силы более широкие и более благородные, чем денежный расчет. Нам казалось, что разви-

\* То есть с А. И. Герценом. — *Ред.*

валась национальная мысль, определеннее становились убеждения, и от этого оказывалась надобность разойтись людям, стоявшим рука об руку, поселялось несогласие в понятиях, а вслед за ним возникала и борьба между людьми, думавшими и действовавшими заодно, когда вопросов было не так много, вопросы были поставлены не так определенно, и ответы на них не могли быть так разнородны, как сделались при дальнейшем развитии общественной жизни. Эти разлуки бывали иногда тяжелы для сердца расстающихся, — по крайней мере, для некоторых из них. Сошлемся на опыт каждого, кто действовал в литературе благородно: кому из них не случалось несколько раз говорить себе то о том, то о другом, близком прежде, соучастнике трудов и стремлений: «Мы перестаем понимать друг друга; мы стали чужды друг другу по убеждению, мы должны покинуть друг друга во имя чувств еще более чистых и дорогих нам, чем наши взаимные чувства». Тот, кто пишет эти строки, начал свою литературную деятельность позднее почтенного редактора «Русского вестника»; но и ему пришлось уже испытать не одну такую потерю. Он может сказать не шутя, что не совсем легко было ему убедиться несколько лет тому назад, что он и редакция «Русского вестника» по мнениям своим о некоторых слишком важных вопросах не могут сочувствовать друг другу<sup>4</sup>. Что мне был г. Катков? Я его тогда не знал в лицо, он меня также. Я никогда не рассчитывал быть его сотрудником; он, вероятно, еще меньше мог бы согласиться принять меня в свои сотрудники. Ничего подобного личным отношениям или интригам тут быть не могло. Но было время, когда мне приятно было думать: «а мы можем действовать заодно»; расчет ли денежного выигрыша был тут? И пришло потом время, когда мне тяжело было думать: «по вопросу, который теперь стоит впереди всего, мы не можем действовать заодно», — что же, в самом деле, денежную ли потерю я чувствовал так горько? И если я теперь думаю: «может прийти очередь других вопросов, в которых мы можем сойтись», — разве денежные выгоды или другие дрязги заставляют меня желать этого? Пусть судьей будет сам «Русский вестник».

Нет, я не умею писать. К чему этот искренний тон, этот порыв чувства, которое сильнее и выше всех журнальных дрязг? К чему этот неуместный пафос в статье, начатой с насмешливой мыслью и, правду сказать, с презрительной мыслью? И как теперь из этой сферы мыслей, хоть несколько достойных честного гражданина, перейти к журнальной полемике? Нет, лучше остановлюсь здесь; полемика пусть будет отложена до другого раза. А первый отрывок пусть и будет закончен надеждой на близость лучшего развития нашей литературной деятельности.

Но эта пора еще не наступила, и уже шевелится в моей голове мелкий вопрос о дрязгах: «что же подумает «Русский вестник», что же подумает публика? Вызов ли это на литературное примирение? не робость ли это? не подобострастие ли? Нет; в чем дру-

гом, а в литературной трусости едва ли самый «Русский вестник» заподозрит пишущего эти строки. В чем другом еще как случится, а в литературной полемике он не слишком боится за себя. И примирения по вопросам, о которых может она идти, он не ждет ни у «Русского вестника» с «Современником», ни у какого другого журнала с «Русским вестником» или «Современником». Да-с, после от нечего делать пошутим, посмеемся, изобличим, вознегодуем, «втопчем в грязь», «завизжим», а теперь — как-то случилась разговориться так, что не то на уме.

Думал я подписывать эти статьи каким-нибудь задорно-шуточным псевдонимом; но, судя по нынешнему, не одно шутовство в них будет, и потому стану подписывать под ними свою фамилию.

*Н. Чернышевский.*

## II

А вот пришло и другое расположение духа.

Так как же, по низкому расчету льстил «Современник» г. Тургеневу, по низкому расчету теперь ругает его?

Мы полагаем, что сам г. Тургенев понимает дело иначе; очень может быть, что и «Русскому вестнику» можно иначе понять его.

Почему г. Чичерин с своими друзьями отделился от «Русского вестника»? В плате за статьи они не сошлись? Известно литературному кругу, что разрыв между ними произошел совсем не по этой причине. Сначала им казалось, что они сходятся в убеждениях; потом они увидели, что расходятся, — и разошлись.

Наш образ мыслей прояснился для г. Тургенева настолько, что он перестал одобрять его. Нам стало казаться, что последние повести г. Тургенева не так близко соответствуют нашему взгляду на вещи, как прежде, когда и его направление не было так ясно для нас, да и наши взгляды не были так ясны для него. Мы разошлись. Так ли? Ссылаемся на самого г. Тургенева.

Мы льстили ему! — Пусть укажут хотя одно слово лести, написанное хотя кем-нибудь из нынешних сотрудников «Современника». Ни «Русский вестник», ни кто не в состоянии указать этого. Или пусть укажут хотя одно такое слово, кем бы то ни было написанное в «Современнике» с той поры, когда русские журналы стали сколько-нибудь похожи на журналы (после нескольких лет ничтожества). Этого также нельзя указать. Да и такой ли человек г. Тургенев, чтобы не различить лести от искреннего тона и не оскорбиться лестью? Он не такого дурного тона и не такой неразборчивый человек. Льстить ему было бы невыгодно, если б и была охота льстить.

С другой стороны — когда это были оскорбления ему в «Современнике»? Любопытно было бы, если бы кто указал, где и в чем они были<sup>5</sup>.

Что же такое было? Изменился наш взгляд на положение, принадлежащее повестям г. Тургенева в русской литературе. Это так. Но кто скажет, что это положение не изменилось? Разве не изменилась сама русская литература? Что же, нам следовало бы теперь повторять то, что думали прежде, при другом положении литературы, и чего уже не могли думать теперь?

А что за оборот — придавать дурной вид шутке, которая относилась вовсе не к г. Тургеневу, а к журналисту, да и не к какому-нибудь журналисту в отдельности, а ко всем журналистам, — шутке, имевшей тот смысл, что теперь автор хороших повестей или статей берет за свой труд хорошие деньги, и нельзя журналисту держать его на антониевской пище, как делалось когда-то? Тут было не одно имя г. Тургенева; тут говорилось о нескольких писателях, которыми наиболее дорожат журналы, — говорилось о г. Гончарове, г. Костомарове. Что тут обидного?

Или г. Тургенев разошелся с «Современником» из-за того, что «Современник» не согласился заплатить ему за какую-нибудь повесть столько, сколько он хотел, или потому, что другой журнал дал дороже? Ведь этот намек вы делаете? А вы бы подумали, лестен ли, приятен ли такой намек — не для «Современника», а для самого г. Тургенева. И ведь вам, да и каждому журналисту, очень хорошо известно было, что намек этот совершенно лишен всякого основания. — Г. Тургенев помещает свои произведения там, где ему приятнее, а не там, где ему больше дают, — разве кто-нибудь торговался когда с г. Тургеневым? Сколько мы его знаем, мы не полагаем, чтобы это было кому-нибудь возможно, по характеру г. Тургенева. Он не из тех писателей, которые любят или с которыми нужно торговаться.

К чему ж была эта выходка? Разве к тому, чтобы замешать г. Тургенева в журнальные дразги? «Русский вестник» однажды уж делал это. Но полезно ли повторять неловкость, которая и в первый раз не была хороша? <sup>6</sup>

Вот что значит гневная неразборчивость: хотели пощипать «мальчишек-свистунов», а по неловкости ущипнули г. Тургенева, человека, совершенно постороннего и ничем не заслужившего ваших, непреднамеренно задевших его шпилек.

### III

В № 1 «Русский вестник» так, лишь слегка пошалил (и как мило пошалил), а в февральской книжке он поместил капитальную статью против нас под названием «Старые боги и новые боги». Это заглавие обозначает, что мы, по врожденному нам побуждению, не можем не валяться на коленях перед какими-нибудь кумирами, и потому, низвергая прежних, мы становим новых, которые чуть ли не хуже прежних, и провозглашаем сле-

пое склонение им. Что ж, оборот придуман очень ловкий — мы всегда рады отдавать справедливость «Русскому вестнику»; он вздумал повести дело так, чтобы явиться защитником прав человеческого разума на свободу против нас, поработящих разум новому суеверию взамен старых предрассудков. Только одно из условий остроумия не соблюдено: ведь нужно, чтобы выдумка имела вид правдоподобия, — без того она не будет остроумна, как бы ни была замысловата. А та часть публики, которая несогласна с нами, видя в нас множество недостатков, никак не думала находить, чтобы мы воздвигали кумиров. Оттого статья «Русского вестника» и выходит не больше, как забавна для той части публики, которая сочувствует нам, — неудачно выбран пункт обвинений. Мы воздвигаем кумиров! — сделайте одолжение, вините нас в этом почаще и побольше. Это хорошо.

Но посмотрим на статью, истинно радующую нас искусным выбором темы для обвинений. Начинается она порицанием за то, что мы говорим иногда уклончиво, стороной о разных предметах, о которых можно говорить прямо.

К чему лукаво подмигивать, коварно намекать, завертываться в аллегория, расточать иронию, сыпать побасенками, когда дело просто, и нет ни малейшей надобности прибегать ко всем этим военным хитростям?

Хорошо. А зачем вся статья, начинающаяся этим порицанием, написана именно тою самою манерою, которую порицает за ее ненужность? зачем вся она до, того «завертывается» в разные уловки, что многие даже вообразили, будто ее надобно понимать в прямом, а не в ироническом смысле, будто «Русский вестник» в самом деле защищает против нас материализм? К чему же порицать других за то, что приходится делать и вам самим?

Далее следует очень милая «побасенка» об Иване Яковлевиче, сильно, впрочем, отзывющаяся подражанием статье «Современника» о книжке г. Прыжова. Зачем подражать тому, над кем смеешься? Или, может быть, это не подражание, а только ирония? <sup>7</sup>

Дело сводится к тому, что мы за наше бессмыслие сравниваемся с Иваном Яковлевичем, — очень мило и грациозно; только зачем же заимствовать свое остроумие у таких бессмысленных людей, как мы? А что мы бессмысленны, вот вам доказательство:

Женится ли Х.? — спрашивал кто-то у Ивана Яковлевича. «Без працы не бендзе кололацы», таков был ответ. *Кололацы* мудреное слово, но вопрошавший был, вероятно, удовлетворен им, не добираясь до смысла. *Кололацы* — слово без смысла! А прислушайтесь: эти *кололацы* встретятся вам так часто, что вы не поставите их в упрек бедному обитателю сумасшедшего дома.

*Кололацы! Кололацы!* А разве многое из того, что преподается и печатается, — не *кололацы*? Разве философские статьи, которые помещаются иногда в наших журналах, — не *кололацы*?

Дело не в том, что вы говорите или пишете, во что вы веруете или не веруете, что полагаете или что отрицаете; дело не в том, какие истины хотите

вы проповедывать, суровые или нежные; а в том, понимаете ли вы сами, что говорите, способны ли вы мыслить или способны только вязать слова, которые для людей немыслящих могут показаться очень эффектными, но которые в сущности не что иное как *кололацы* Ивана Яковлевича.

Мило, очень мило «Кололацы бедного обитателя сумасшедшего дома» — какая деликатная полемика! Далее следуют, все в применении к нам же: «желтый дом», «бессмысленный», «рабочество», «фанатическое поклонение идолам, которые созданы нашим невежеством», «осквернение мысли в ее источниках», «возмутительно», — это на одной 894 странице; — разочтите же, сколько таких красот на 12 страницах статьи. Это значит, что другие журналы не умеют держать себя прилично, а «Русский вестник» умеет.

После этого начинается разбор статьи г. Антоновича о «Философском словаре»<sup>8</sup>, — г. Антонович нимало не нуждается в том, чтобы его защищали другие, и, оставляя эту часть статьи на доброе сердце г. Антоновича, приведу отрывки из конца ее, обращенного ко мне.

Прочитав длинное назидание г. Антоновичу, «Русский вестник» рекомендует ему прочесть «одну статью, напечатанную в трудах Киевской Духовной Академии».

Статья эта под заглавием: *Из науки о человеческом духе* составляет довольно обширное сочинение. Автор ее — профессор Киевской академии, г. Юркевич. Сочинение это вызвано некоторыми статьями о философских предметах, появившимися в *Современнике*. Г. Юркевич разоблачает наглое шарлатанство, выдаваемое за высшую современную философию, и разоблачает так, что даже взыскательный г. Антонович может остаться доволен. Нет худа без добра; спасибо шарлатанству, по крайней мере, за то, что оно послужило поводом к появлению этого превосходного философского труда. Статья г. Юркевича — не простое отрицание или обличение, но исполнена положительного интереса, и редко случалось нам читать по-русски о философских предметах что-нибудь в такой степени зрелое. Впрочем, о статье г. Юркевича мы не хотим говорить мимоходом. В следующем номере *Русского вестника* мы представим обширные выдержки из этого трактата, который отличается всеми признаками зрелого, самостоятельного, вполне владеющего собою мышления.

Будем надеяться, что философские понятия господ, пишущих в *Современнике*, мало-помалу прояснятся, и что они найдут, наконец, возможность обходиться без шарлатанства. И теперь уж по некоторым частям заметен значительный прогресс. Г. Чернышевский, повидимому, главный вождь этой дружины, начинает уже говорить человеческим языком по предметам политической экономии. Il s'humanise, se monsieur \*. В последних номерах этого журнала мы с удовольствием прочли статьи за его подписью; в них уже нет тех бессмыслиц, которые выдавал он прежде за глубокую мудрость, почерпаемую со дна таинственного кладезя. Он судит здраво и согласно с началами политической экономии, так что ему нет теперь надобности отделять себя от тех экономистов, которых он, бывало, называл *увколобыми бедняками* \*\*. Таким является он теперь и сам в статьях, подписанных его именем<sup>9</sup>. Надобно отдать ему справедливость; он хорошо пользуется уроками и недаром проводит время в предварительной школе.

\* «Он становится более похожим на человека, этот господин». — *Ред.*

\*\* В «Русском вестнике» напечатано «беднячками». — *Ред.*



Но если прежняя дичь остерегается заглядывать в те статьи г. Чернышевского, которые подписаны его именем, то она еще отзывается в других, им не подписанных. Там еще тоном шарлатанской иронии говорится о великих русских экономах \*, гг. Вернадском, Бунге, Ржевском, Безобразове, к которым причисляется г. де-Молинари, а наконец Каре (или, как у нас пишут, Кери) и Бастиа. Статейка, о которой мы сейчас упоминали, очень курьезная статейка; это рецензия недавно вышедшей книги Каре *Письма к президенту Соединенных Штатов*. В ней есть одно замечательное место. (Пересказывается из этой статьи отрывок о драме «Юдифь», заключающийся словами: «Исторический путь не тротуар Невского проспекта, он идет целиком через поля, то пыльные, то грязные, то через болота, то через дебри. Кто боится быть покрыт пылью и выпачкать сапоги, тот не принимайся за общественную деятельность».)

После этого очаровательного эпизода, в котором так и слышится скорбный вздох «Юдифи», осквернившей себя для спасения родины, рецензент снова обращается к тарифу и свободной торговле. Не могла бы эта прелестная поэзия ворваться сама собой в такой сухой и прозаический предмет, если б ее не призвало само сердце писавшего. Она могла сказать только из глубины души, она могла прорваться только неудержимой силой невольного откровения. Столько слез и нежности в этом рассказе, который явился неожиданным оазисом среди пустыни протекционных пошлин, где веет совсем иной дух, сухой и суровый!

Действительно, не есть ли и шарлатанство некоторого рода осквернение? Не великую ли жертву приносят те доблестные общественные деятели, которых неразумная чернь зовет шарлатанами? Но, о, новые «Юдифи»! поведайте нам, ради каких великих благ пятнаете вы свою непорочную чистоту, «какой другой не видывали люди»?

О, господа, не пятнайте себя понапрасну! Не приносите ненужных жертв! Не оправдывайте себя подвигом: никакого подвига не имеется. Вы и себя обольщаете, и обманываете других. Вы сами не знаете, вы сами не чувствуете, какая вы вредная задержка посреди этого общества с неустановившимися силами, с неокрепшею жизнью. Тем хуже, если вы люди способные. Со временем, может быть, вы откажетесь от шарлатанства; ваши понятия станут яснее (начинают же разясняться мало-помалу экономические понятия г. Чернышевского, а это добрый задаток); после вы хватитесь, но будет поздно. С презрением оглянетесь вы на свое прошедшее и, может быть, глубоко пожалеете о шутовской роли, которую вы играете теперь.

Эпизод о «Юдифи» действительно годился для того, чтобы посмеяться над ним; и применение его к моему «шарлатанству» сделано мило, — этот отрывок статейки, не шутя, очень игрив и ловок. От души смеюсь вместе с «Русским вестником» над тем, как я уподобляюсь Юдифи величием жертвы, приносимой мною для спасения родины. Это очень забавно вышло; тут насмешка вполне удалась «Русскому вестнику». Да и патетический тон эпизода о Юдифи действительно очень забавен своим не совсем удобным помещением в статейке о сухом предмете, тарифе и Кери. Это отличная насмешка. Да, ведь разумеется само собою, что эту статейку писал я, — «Русский вестник» на то и намекает. Он не ошибся. Но я боюсь, что ошибся «Русский вестник» в предположении, будто мои экономические мнения исправляются. Это я считаю за знак доброты ко мне, не больше; благодарю, но принять не могу. Дело объясняется иначе. До прошлого года я писал

\* В «Русском вестнике» напечатано — «экономистах» — *Ред.*

политико-экономические статьи об отдельных вопросах, наиболее интересовавших меня, — разумеется, это были вопросы, которые мне казались особенно плохо излагаемыми у писателей господствующей экономической школы. Потому в этих статьях не было почти ничего, кроме споров против господствующей теории, кроме изложения мыслей, не успевших попасть в нее по своей новости или отвергаемых ею за их направление. В начале прошлого года показалось мне полезно дать русской публике систематический трактат о экономической науке во всем ее объеме. Я стал переводить Милля и делать к нему дополнения. У самого Милля излагаются большею частью вопросы бесспорные; мои дополнения часто должны были относиться также к таким вопросам. Вот от чего разница впечатления, производимого моими прежними статьями и моим изданием Милля. Тогда я говорил: буду излагать лишь то, в чем я с вами не согласен; в переводе Милля имею целью изложить все, что надобно думать о предмете, — и то, в чем я не согласен, и то, в чем согласен с вами. Не делает чести проницательности «Русского вестника», что он не догадался об этой главной причине разницы в своем впечатлении. Сказать ли другие причины? Упомянуть о них мне самому довольно щекотливо, но я не поцеремонюсь, потому что не очень-то боюсь ничьих насмешек, когда знаю, что говорю правду. Вот еще объяснение тому, что «Русский вестник» стал находить статьи, подписанные моим именем, менее «дикими». Моя репутация увеличивается — говорю это, не прикидываясь скромным, потому что не слишком-то горжусь своей литературной деятельностью. — Почему же так? Сам «Русский вестник» говорит:

«Жалкая литература! Мы находимся в школьном положении. Мысль наша не имеет к себе уважения, и ей трудно уважать себя. Она прячется, роет норки; в ней развиваются все рабские свойства». («Русский вестник», март. Литерат. обзор., стр. 210.)

После этого объяснения нечего мне церемониться ни с собою, ни с другими. У многих это чувство смягчается некоторым самодовольством, не лишенным справедливости. Каково бы ни было их положение, но они в нем все-таки остаются честными людьми. Это их несколько утешает. Я, как литератор, так же честен; но меня это несколько не утешает, и мое чувство к литературе, в том числе и к моей доле в ней, имеет жесткость, ничем не смягченную. Кому угодно, тот может сделать это объяснение предметом насмешки: я сам знаю, что оно очень удобно может быть обращено в насмешку надо мной. Но смейтесь и бранитесь как хотите; а вы сами знаете, что я тут прав, и я знаю, что вы согласны со мной в очень значительной степени.

Так вот я мертв поэтому к похвале и к порицанию тому, что я пишу. Я сам судья, произнесший и себе в числе других приговор, который не поправишь и не испортишь ничем. И на то, как думает обо мне публика, я смотрю точно так же, как на толки о какой-ни-

будь m-lle Ригольбош<sup>10</sup>. Умна ли она, глупа ли она, хороша ли она, дурна ли она — все равно, она ведет такой образ жизни, что никакими комплиментами не исправишь мнения о ней.

Есть люди другого рода: они чувствуют робость перед известностью. Таков «Русский вестник». Прежде он осмеливался находить, что в моих статьях нет ничего, кроме дичи; теперь он робеет высказывать это. Только и всего. Удовлетворены ли вы этим объяснением, «Русский вестник»? Если нет, я пожалуй, объяснюсь пообстоятельней: себя я не слишком-то жалею, а других, — например, хоть вас, — разумеется, не больше, чем себя. Следовательно, объяснений со мной вам не выдержать, — не потому, чтоб я был умнее вас или владел пером искуснее вас, а потому, что у меня язык развязан хоть в этом отношении, а у вас и в нем он связан.

Но я не все сказал, сказав, что к своей литературной репутации я мертв. К себе, как к человеку, я не могу быть мертв. Я знаю, что будут лучшие времена литературной деятельности, когда будет она приносить обществу действительную пользу и будет действительно заслуживать доброе имя тот, у кого есть силы. И вот я думаю: сохранится ли во мне к тому времени способность служить обществу как следует? Для этого нужна свежесть сил, свежесть убеждений. А я вижу, что уже начинаю входить в число «уважаемых» \* писателей, то есть писателей истаскавшихся, отстающих от движения общественных потребностей. Это горько. Но что делать? Лета берут свое. Дважды молод не будешь. Я могу только чувствовать зависть к людям, которые моложе и свежей меня. Например, к г. Антоновичу. Что ж? разве я стану скрывать, что действительно завидую им, завидую с оттенком оскорбляемого их свежестью самолюбия, с досадою опережаемого?

Не угодно ли получить объяснение и относительно того, какую пользу моему исправлению принес «Русский вестник»? Извольте. И тут скажу правду. Я просматривал «Русский вестник» при начале его издания. Не припомню теперь хорошенько, до 17 или 18 № первого года издания. После того до конца первого года мне случилось прочесть еще две или три статьи в следующих книжках, потому что в тот год принесли «Русский вестник» из магазина в мою квартиру. На второй год я сказал, чтоб этого не делали. И с той поры до начала нынешнего месяца я формально не читал в «Русском вестнике» ничего, за исключением четырех вещей, которые все и перечислю. В редак-

---

\* Из всего этого можно будет «Русскому вестнику» извлечь очень смешливые замечания против меня: «г. Чернышевский думает, что его репутация увеличивается, — какое приятное самообольщение!», «г. Чернышевский из Юдифи обращается в m-lle Ригольбош» (развить параллель между ним и m-lle Ригольбош). «Он скорбит о том, что он уважаемый писатель — пусть он не горюет об этом, его никто не уважает», и т. д., и т. д. Все эти насмешки могут быть едки и забавны, если написаны будут умно и живо.

цию «Современника» была доставлена биография Радищева со многими, по словам лица, ее передавшего, важными дополнениями против того, что было напечатано в «Русском вестнике». Случилось так, что заняться сличением некому было, кроме меня. Я взял книжку «Русского вестника» и сличил с нею рукопись. Оказалось, что прибавления неважны и печатать их не стоит. Летом прошлого года я прочел полемические статьи по поводу г-жи Свечиной, вздумав написать об этом казусе статейку за неимением другого материала для журнала. В одном из номеров «Русского вестника», где была эта стрельба по г-же Тур, напечатана статья т. Малиновского (если не ошибаюсь) о пороховых взрывах, кажется. Она как-то развернулась, и я прочел несколько страниц. Наконец, сидя однажды у постели больного, я прочел для него несколько страниц из повести г-жи Кохановской; заглавия повести не помню, а знаю только, что в ней рассказ ведется от лица женщины, часто вставляющей в свою историю отрывки из народных песен<sup>11</sup>.

Довольны вы, «Русский вестник», этим объяснением? Или, может быть, вам любопытно будет узнать, отчего я не читал вас? На первый раз скажу: от глубокого равнодушия. Если же угодно будет знать больше, я скажу и больше, — мне все равно.

А теперь вот я начал читать. — Скучные времена, глупые времена, — дай, думаю, поразвлекусь полемикою, на которую, как я слышу, напрашивается «Русский вестник». Вот и развлекаюсь. Плохое развлечение, а все же лучше, чем запить с тоски. Надоест — брошу, что бы вы там ни писали обо мне или о «Современнике». А пока еще не надоело, развлекаюсь, как видите.

#### IV

В № 3 «Русского вестника» литературное обозрение начинается статьей с очень заманчивым заглавием: «Наш язык и что такое свистуны». — По цитатам, приведенным из № 1, мы знали, что под этим именем «свистунов» «Русский вестник» разумеет сотрудников «Современника», и ждали, что вся статья будет посвящена ему. Нет, о «Современнике» и «Свистке» говорится в ней лишь мимоходом, а главное содержание статьи совсем не то: идет спор с «Основой» о том, способен ли малорусский язык к литературному развитию, потом спор с «Временем» об историко-литературных и эстетических вопросах, наконец подробная диссертация о г-же Толмачевой, доказывающая, что Камень-Виногород был в сущности прав, а лишь неосторожно выразился<sup>12</sup>.

Такое непредвиденное разнообразие «свистунов» объясняется на стр. 20 словами: «все мы (то есть русские журналы и журна-

листы) более или менее свистуны». Вот как! Уж и самого себя «Русский вестник» не исключает из «свистунов» — за что же гнев на нас? Самое замечательное место в целой статье — следующее рассуждение о правах женщины и об эмансипации:

Права женщины! Но кто же отнимал у ней эти права, или каких еще прав ей надобно? В гражданском положении она, именно у нас, ничем не уступает мужчине, она не подлежит опеке и совершенно самостоятельна. В доме она хозяйка, в салоне она царица; в литературе, в искусстве, даже в науке ей везде есть место, был бы только талант и охота. Правда, у нас нет амазонских полков и женских департаментов. Но неужели женщина этого хочет? Неужели это ей нужно? Наконец, если между министрами не бывает дам, то нам известно, что пол женщины не лишает ее прав на верховную власть. У нас были знаменитые императрицы, на английском престоле восседает теперь королева, на испанском тоже. Каких же это прав еще ей нужно? В обществе она окружена почетом; века рыцарства выработали до идеальной тонкости отношения мужчины к женщине в образованном обществе. Тут личность женщины, не утратившей своего достоинства, есть нечто неприкосновенное и священное. Чего же может хотеть женщина? Неужели того, чтоб быть эмансипированною во всех тех отношениях, в каких считает себя эмансипированным мужчина? Но хорошо ли, что мужчина считает себя эмансипированным во всех отношениях? Приятно ли будет ей самой сравняться с ним во всех отношениях? А если приятно, так что ж мешает и женщине пользоваться теми же правами? Увы, как много женщин, которые ими пользовались и пользуются, не слыдав ни о какой эмансипации, и без помощи особых доктрин о своих правах! Для этого не нужно образования, не нужно развития умственного или нравственного, эта благодать достается сама собою, и лишь высшее нравственное развитие, вкореняя в душу чувство долга, спасает, как мужчину, так и женщину, от этой даровой и всем легко доступной эмансипации. Может быть, женщине недостает некоторых удобств эмансипации, которыми пользуется мужчина? Но стоит ли толковать о таких мелочах, тем более, что женщина может иметь своего рода удобства, каких не имеет мужчина? Как бы то ни было, однако, представим себе женщину, эмансипированную наравне с мужчиной. Пользуясь совершенно одинаковым с мужчиной положением, женщина тем самым отказывается от всех особенностей собственно женского положения. Она уже не должна хотеть и не может требовать от мужчины того особого уважения, той деликатности, на которые имеет право женщина, оставаясь в своем положении, высшем и привилегированном, которого никто у ней не оспаривает, которым, напротив, все дорожат, которое все охраняют, удаляя от женщины эмансипаторов с грязными руками.

Напрасно «Русский вестник» печатает такие вещи. Говорим ему это в предостережение. Какую роль тут он принимает на себя? Стремление женщины к эмансипации он смешивает с желанием развратничать. Это нехорошо. Это — обскурантизм. Если «Русский вестник» станет выказывать себя с такой стороны, ему придется плохо. Дальше, чтобы отвратить женщину от желания сравняться с мужчиной, «Русский вестник» выставляет, что она лишится через это особенных выгод своего нынешнего положения: мужчины уж не будут ей, как равной себе, оказывать «того особого уважения, той деликатности, на которые имеет она право, оставаясь в своем положении высшем и привилегированном», — о чем это вы говорите? О комплиментах, галантерейностях, о том, что женщина — царица общества, воз-

душное существо? о том, что ей привозят в подарок конфеты? Да ведь это «особое уважение, эта деликатность» необыкновенно пошлы; ими унижается женщина; ими тяготится каждая не то что эмансипированная, а каждая женщина, имеющая от природы ум и чувствующая свое человеческое достоинство. Ведь все [это] отзывается средневековым взглядом на женщину как на «даму сердца», то есть куклу, обязанную сидеть на балконе и раздавать шарфы победителям, а иногда и служить наградой победителю. Ведь этим женщина ставится в положение ребенка, на которого не смотрят серьезно, с которым только шалят по снисходительной любезности. Или вы думаете о другом? Может быть, вы думаете, что, признав женщину равной себе, отбросив приторные деликатесы в обращении с ней, мужчина станет толкать ее на улице? Но, вероятно, ведь и друг друга мужчины перестанут толкать на улицах. А лучше всего начало выписанного отрывка: «Права женщины! Но кто же отнимал эти права, или каких еще прав ей надобно?» И через несколько строк повторение: «каких же это прав еще ей нужно?» Потрудитесь прочесть помещенную в «Современнике» нынешнего года статью г. Филиппова «о гражданских законах»<sup>13</sup>, вот вы и увидите, каких прав недостает женщине даже по гражданским законам (не говоря уже о политических правах и экономических правах), тогда вы и не скажете, что «в гражданском положении женщина, именно у нас, ничем не уступает мужчине». Да, надобно еще упомянуть об одном: «Русский вестник» находит, что в оскорблении женщины «Современник» гораздо более виноват, чем кто-нибудь: г. Михайлов, говорит «Русский вестник», явился мстителем за честь женщины, когда Камень-Виногоров «сказал два грубые слова», —

А где он был, когда в том самом журнале, в котором он печатает свои эмансипационные статьи, предавалась самому ужасному поруганию тоже женщина, и притом женщина, которая приобрела себе имя в русской литературе? Мы говорим о тех критических статьях, которые несколько лет тому назад являлись в «Современнике» по поводу сочинений графини Ростопчиной. Далее поругание итти не может, если б и хотело. Перед этим поруганием ничто, совершенно ничто — камешки, брошенные г. Камнем-Виногоровым, — камешки, которые никуда бы не долетели и которых никто бы не заметил, если бы не гаркнула вся эта стая, спущенная г-м Михайловым. Пусть эти менады, растерзавшие Камня-Виногорова, припомнят те статьи<sup>14</sup>.

Вот видите ли что: была некоторая разница между нашими статьями о графине Ростопчиной и случаем, о котором вы рассуждаете. То, что говорила г-жа Толмачева, находят справедливым и благородным почти все просвещенные люди (за исключением вас, чего мы не ждали); а то, за что мы осуждали г-жу Ростопчину, заслуживало строжайшего осуждения по мнению самых крайних эмансипаторов: графиня Ростопчина писала вещи в духе «Фоблаза», прямо противоположном идеям эмансипато-

ров, которые освобождение женщины считают делом столь же мало похожим на разврат или ведущим к разврату, как освобождение крепостных крестьян (и вообще возвращение человеческих прав какому бы то ни было классу людей, лишенному человеческих прав). Не знать этого — стыдно, а притворяться не знающим — еще стыднее.

Что «Русский вестник» недаром причислил себя к свистунам, доказывается следующей статью, о книге Гильдебранда. По тону своему она явно усиливается быть сколком с наших библиографических статей, как и начало статьи «Старые боги и новые боги» явно навеяно статьей «Современника» о житии Ивана Яковлевича: та же шутливость, те же приемы, та же манера не церемониться с иностранными знаменитостями — как это позволяет себе «Русский вестник» «топтать в грязь авторитеты»! И зачем бранить тех, кому подражаешь? Хотя бы ту предосторожность взяли, чтобы нашими любимыми выражениями не заимствоваться, придумать свои какие-нибудь, а то, например, для обозначения людей, пробавляющихся сведениями из вторых рук, употребляет «Русский вестник» выражение: «привыкшие почерпать свои данные из французских книжек» — ай, ай, ай! — откуда это выражение «французские книжки»? Это уж очень плохо, когда подражание доходит до заимствования слов<sup>15</sup>.

## V

В № 4 «Русского вестника» отдел литературного обозрения и заметок доходит до такого совершенства в наивности, что трудно будет даже при всей основательности «Русского вестника» удержаться этому отделу на подобной высоте.

Прежде всего отметим длинную статью почтенного нашего ученого г. Лонгинова в защиту юбилея князя Вяземского с обильными доказательствами, что князь Вяземский одарен высоким поэтическим талантом. Оно, должно быть, так; надобно только сказать, что предмет для апологии выбран очень удачно. Русская литература будет помнить покровительство, каким она пользовалась от князя Вяземского, когда он находился прямым ее начальником в звании товарища министра народного просвещения. Да, она будет помнить с надлежащей признательностью. Впрочем, и изложение мыслей у почтенного нашего библиографа также не дурно; образцом может служить хоть следующее невинное место: «бесперывные утраты милых людей, беспрестанные испытания освобождают его (князя Вяземского) вполне от тех обманов, которые тревожат и увлекают пламенную молодость». Это относится к 1846 году, а князь Вяземский родился в прошлом столетии, да и то еще не в самом конце столетия, так что ему в 1846 г. было или под 60 лет, или за 60 лет. Ну,

В эти годы можно освободиться от пламенной молодости и без всяких испытаний<sup>16</sup>. Тут приличнее бы вспомнить слова псалмопевца: «дни лет наших...» и т. д. За апологию юбилея и панегириком поэтическому таланту кн. Вяземского следует статья о книжке, изданной под редакцию г. Лонгинова, не сына и не отца и не брата предыдущего Лонгинова, а того же самого. Дело идет о письмах Карамзина к Малиновскому<sup>17</sup>, и «Русский вестник» гневается за нашу непочтительность к Карамзину. Наивности и тут очень много. Примером пусть послужат хоть следующие строки: «Недавно кто-то, разбирая эти письма в «Современнике» (говорит «Русский вестник»), отозвался с большим презрением и о них, и о самом Карамзине». «Нас удивило (продолжает «Русский вестник» на той же странице), что рецензент, приводя разные отрывки из писем Карамзина, выбрал самые незначительные, могущие служить к оправданию любимой (рецензентом или «Современником») точки зрения». Вот удивительно-то в самом деле: приводит человек из книги такие места, которыми бы подтверждалось его мнение о ней! Спросим теперь редакцию «Русского вестника», как она по правде думает: можно ли вести «Литературное обозрение» с сотрудниками столь наивными? Мистер Тутс в «Домби и сын» Диккенса тоже очень любивший писать, был человек благороднейшей души, прекраснейшего трудолюбия; но мог ли он быть рецензентом?

Иметь ли и впредь сотрудниками в «Литературном обозрении» предыдущих мистеров Тутсов, это мы совершенно представляем усмотрению самого «Русского вестника», не выражая своего мнения о том. Но вот по поводу следующей статейки нельзя уж нам будет оставить «Русского вестника» без доброго совета.

Эта следующая статейка — «Два слова об Академии Наук» Я. Грота. Г-н Я. Грот — академик (по отделению русского языка и защищает академию, особенно отделение русского языка и словесности, это нас не удивляет. Но как он защищает это отделение! прелесть! Вот образчик. Те, которые нападают на отделение русского языка и словесности, не хотят (говорит г. Я. Грот) соображать разные обстоятельства в организации академии, от членов ее не зависящие:

Известно ли, например, публике, что II отделение, занимающееся русским языком и литературой, существует на совершенно других основаниях, нежели I — физико-математическое и III — историко-филологическое? В последних двух члены состоят на жалованье, и многие из них получают в зданиях Академии казенные квартиры. Члены отделения русского языка не имеют ни жалованья, ни квартир, и посвящают себя академическим трудам из чести. Они получают умеренную плату только за самую несущественную часть своей академической деятельности, то есть за присутствие в заседаниях, да в случае печатания трудов своих в изданиях отделения — имеют право на скудный гонорарий.



Вот наивность-то. Ученому содружеству говорят, что труды его из рук вон плохи; а член ученого содружества плачется перед публикою, что мало дают им награды за труды:

Подайте мальчику на хлеб, —  
Он Велизария питает.

Дайте, дайте нам по 1 500 руб. жалованья с казенною квартирою, — ведь мы русский народ питаем лексиконами, грамматиками и другими прекрасными трудами. Нет, тут наивность переступает уже пределы приличия. Каждый встречный по прочтении статейки г. Я. Грота удостоверит редакцию «Русского вестника», что мы даем ей чистосердечный, доброжелательный и совершенно верный совет, советуя ей отныне и во веки веков не печатать статей г. Я. Грота. Он, быть может, полезнейший член отделения русского языка и словесности; он, без всякого сомнения, — добродетельнейший человек (только добродетельные возвышаются до такой трогательной простоты душевной), — только, воля ваша, статьи его неприличны.

## VI

Но вот капитальнейшая статья полемиического отдела IV книжки «Русского вестника»: «Из науки о человеческом духе». П. Юркевича. «Труды Киевской Духовной Академии», 1860». В «Старых богах и новых богах» «Русский вестник» обещал напечатать обширное извлечение из образцовой статьи г. Юркевича, мыслителя глубокого, превосходного. Теперь он исполняет свое обещание. В IV книжке он поместил начало извлечения, а в V хочет представить конец. Извлечению предшествует предисловие от самого «Русского вестника»: я это предисловие прочел и тем удовольствовался. Дело для меня уже ясно из одного предисловия<sup>18</sup>.

Статья г. Юркевича написана, как оказывается, в опровержение моей статьи об антропологическом принципе. Это опровержение помещено в журнале, издаваемом Киевскою духовною академиею, а сам г. Юркевич — профессор этой академии.

Я сам — семинарист. Я знаю по опыту положение людей, воспитывающихся, как воспитывался г. Юркевич. Я видел людей, занимающих такое положение, как он. Потому смеяться над ним мне тяжело: это значило бы смеяться над невозможностью иметь в руках порядочные книги, над совершенною беспомощностью в деле своего развития, над положением, невообразимо стесненным во всех возможных отношениях.

Я не знаю, каких лет г. Юркевич; если он уже не молодой человек, заботиться о нем поздно. Но если он еще молод, я с удовольствием предлагаю ему тот небольшой запас книг, каким располагаю.

О г. Юркевиче я кончил этим. Но «Русский вестник» — о нем я еще не кончил, потому что должен сказать ему, что он (конечно, непреднамеренно) поступил с г. Юркевичем нехорошо. Все мы, семинаристы, писали точно то же, что написал г. Юркевич. Если угодно, я могу доставить в редакцию «Русского вестника» так называемые на семинарском языке «задачи», то есть сочинения, маленькие диссертации, писанные мною, когда я учился в философском классе саратовской семинарии. Редакция может удостовериться, что в этих «задачах» написано то же самое, что должно быть написано в статье г. Юркевича, — да, я уверен, что в ней написано то же самое, хотя я еще не читал ее и не прочту ее, не прочту и всего извлечения, напечатанного в «Русском вестнике», а прочту в корректуре тот отрывок из извлечения, который отметил я для вставки в эту статью. Я вперед знаю все, что я прочту в нем, все до последнего слова, и очень многое помню наизусть. Известно, как пишутся эти вещи, что пишется в этих вещах, то есть известно это нам, семинаристам. Другие могут считать это новым, могут пожалуй, считать хорошим, — как им угодно. А мы знаем, что это такое.

Если положение г. Юркевича изменится, то очень скоро ему станет неприятно вспоминать о своей статье. Но если б она осталась только в «Трудах», она осталась бы неизвестна публике. «Русский вестник» своим извлечением компрометирует его перед публикой.

Мне хотелось бы не приводить отрывков из этого несчастного извлечения. Но я обязан перед «Русским вестником» сделать это: ведь ему кажется, что я опровергнул статью г. Юркевича; я не вправе скрывать от своих читателей эту статью, опровергнувшую меня, по уверению «Русского вестника».

Я не имею права перепечатывать больше, как третью часть статьи. Я вполне должен воспользоваться своим правом. Статья имеет 27 страниц. Я перепечатаваю из них 9, начиная с того места, где речь обращается от общих рассуждений прямо ко мне. Пришлось так, что последние строки последней страницы, до конца которой доходит мое право перепечатки, не заключают в себе полного периода, и в конце последней строки стоит только половина слова, другая половина которого переносится на следующую страницу. Что делать, брать с следующей страницы я не имею уже права, а до конца этой страницы я обязан воспользоваться вполне своим правом, чтобы не лишить читателя ни одной буквы из той части победоносного опровержения моих мыслей, которую могу сообщить ему.

Где рубка, там летят щепки (говорит «Русский вестник»); где горячо и живо идет работа, там возникают и односторонности и ошибки, которые не мешают, однако, делу подвигаться вперед. В горячей работе часто некогда бывает осмотреться вокруг, подвергнуть должной критике свою мысль, и мы часто видим людей, заслуживающих полного уважения, дельных ученых и

испытателей, открывающих в своей науке новые горизонты, с смутными понятиями о собственном деле, с теориями, не выдерживающими никакой критики; но нелепости, в которые они впадают, поучительно и интересно. Эти нелепости — в то же время факты, образующиеся из известных условий и любопытные для психологического наблюдения. Фохту, Молешотту<sup>19</sup> позволительно до некоторой степени не отдавать себе должного отчета в собственной точке зрения; занятое делом, которое в их руках плодотворно и полезно, они не находят в своем уме ни времени, ни места анализировать свои понятия. Но весьма жаль видеть людей, которые были бы способны к чему-нибудь лучшему, но которые вчуже нахватывают отовсюду все, что только есть, одностороннего, фальшивого и нелепого, и в этом полагают всю мудрость, последнее слово знания и мысли. Кто не помнит из времен своей школьной жизни, с какою жадностью детские умы хватаются именно за то, в чем нет никакого смысла, но что пленяет их своею резкостью? Что естественно в детском возрасте, то жалко в зрелом; что у места в школе, то нелепо в литературе.

Сочинение г. Юркевича вызвано некоторыми статьями, появлявшимися в наших журналах по вопросам антропологическим. У нас нет ни психологии, ни физиологии, но есть литературные мечтания о том и о другом, точно так же, как у нас нет политической экономии, а есть литературные мечтания о наилучшем устройстве человеческого общества; точно так же, как у нас нет ни политических наук, ни политической жизни, но зато появляются корреспонденции о говорах, весьма похожие по своему грубому дилематизму на донесения наших старинных русаков, езжавших за границу с дипломатическими поручениями, хотя без их простодушной наивности, а взамен того с фанфаронством юного ума, ни в чем неповинного, но вообразившего себе, что он все испытал, все изведал, утомился под бременем знания и опыта и во всем видит суету суетствий.

Ближайшим поводом к труду г. Юркевича послужили статьи, напечатанные в № 4 и 5 «Современника» за 1860 год под заглавием *Антропологический принцип в философии*. Замечательный труд г. Юркевича, несмотря на свой полемический повод, представляет самостоятельный интерес, и полемический повод послужил автору только к тому, чтоб высказаться определеннее и явственнее. В своей полемике автор обнаруживает очень тонкий такт. Он не прибегает ни к каким посторонним топикам<sup>20</sup>; он не взводит никаких обвинений, он берет мысль и судит ее по законам мысли; разбирая теорию, он имеет в виду только определить, объясняет ли она то, что обещает объяснить. С благородною деликатностью он тщательно устраняет и предупреждает все, что могло бы быть истолковано к невыгоде разбираемых статей с каких-либо точек зрения, кроме чисто научных. «Статьи: *Антропологический принцип в философии*, — говорит он, как бы обращаясь к своим слушателям в духовной академии, — относятся к философии реализма, которая сделала в наше время так много открытий в области душевной жизни, подарила нас такими точными анализами явлений человеческого духа, что, по всей вероятности, это направление рано или поздно должно представить большие интересы для самого богословия. Мы уверены, что науки богословские особенно нуждаются в точных психологических наблюдениях и верных теориях душевной жизни. В этом отношении, повторяем, современный философский реализм есть явление, мимо которого богослов не может проходить равнодушно: он должен изучать эту философию опыта, если он хочет успеха своему собственному делу».

Но, разбирая упомянутые статьи с точки зрения логики и науки, г. Юркевич изобличает всю фальшь, заключающуюся в основе этих фраз, повторяемых с чужого голоса; полемический тон его возвышается по мере изложения дела и переходит к концу в беспощадный, но вполне мотивированный приговор.

Такого рода труды, как г. Юркевича, большая редкость в нашей литературе. Статья эта неизвестна публике, потому что напечатана в издании, почти не обращающемся в ней. А потому мы думаем оказать услугу нашим читателям, если представим сколь можно более обширные выписки из этого труда.

Сначала мы ограничимся лишь первым отделом его, где речь идет о том вопросе, которого вкратце коснулись мы в наших вступительных строках: и чтобы не утомлять читателей, не привыкших к развитию подобных вопросов, мы отложим выдержки из другой его половины до следующей книжки нашего журнала.

Сказав несколько вступительных слов и объяснив повод своего труда, г. Юркевич продолжает:

«Психология не может получать своего материала ниоткуда, кроме внутреннего опыта. Ощущения или представления, чувствования и стремления суть такой материал, которого вы нигде не отыщете во внешнем опыте и, следовательно, ни в какой области естествознания. Правда, что психология не может решить своей задачи без пособия физиологии и даже механической физики, потому что условия для определенных изменений душевных явлений лежат прежде всего в изменениях живого тела: в этом отношении она пользуется результатами физиологии, сравнивает явления физиологические с душевными и определяет таким образом их взаимную зависимость. Если это означает, что она получает свой материал из области физиологии, то справедливо сказать, что и физиология получает свой материал из психологии в таком же смысле: эти две науки взаимно влияют одна на другую, и успехи в одной из них поведут к успехам в другой. Тем не менее каждая из них имеет свой собственный материал и увеличивает этот материал из области только ей доступной. Предмет психологии дан во внутреннем самовозрении, естественные науки не могут дать ей этого предмета, не могут увеличивать этого материала. Так, например, оптика, развитая математически, изъясняет только положение рисунка в нашем глазе и различные направления глазных осей во время видения; но она ничего не знает об этом видении, для нее глаз есть зеркало, отражающее предметы, а не орган видения. Только психолог, наблюдающий внутренне, может сказать, что в то время, как оптик замечает на теле глаза изображения определенной величины и видит, что самое тело глаза получило определенное направление, душа представляет такой-то предмет, в таком-то цвете, на таком-то расстоянии и т. д. Так же точно для акустики, которая развита математически, ухо есть только телесный снаряд, приходящий в правильные сотрясения, когда ударяют на него волны воздуха; но что душа слышит по поводу сотрясения этого снаряда, бой барабана или музыкальную мелодию, об этом акустика ничего не знает. Это ясное и понятное разделение между предметами, известными из опыта внутреннего, и предметами, известными из опыта внешнего, совершенно выпущено из виду сочинителем разбираемых нами статей, и вот почему он говорит так безусловно о материалах, которые представляют естественные науки для решения вопросов нравственных. «Физиология, — говорит сочинитель, — разделяет многосложный процесс, происходящий в живом человеческом организме, на несколько частей, из которых самые заметные: дыхание, питание, кровообращение, движение, ощущение».

Кто никогда не был в анатомическом театре, тот на основании этих слов может вообразить, что там профессор анатомии показывает простому или вооруженному глазу слушателей систему пищеварительных органов, кишек, нервов и систему ощущений, следовательно, систему представлений и мыслей, страданий и радостей, мечтаний и надежд. В приведенных словах сочинитель, кажется, ясно говорит, что ощущение есть предмет, так же данный для внешнего физиологического опыта, как сжатие и растяжение мускулов, движение крови, химическая переработка пищи в желудке и т. д.

Таким образом, он разделяет основное заблуждение или обольщение тех физиологов, которые в последнее время думали заменить физиологией так называемую прежде психологию. Теперь мы видим, почему он признает за нравственными науками такое же достоинство точности и совершенства, какими отличается, например, химия: с его точки зрения успехи этих наук находятся в руках естествознания, или, определеннее, физиология своими средствами внешнего наблюдения изъясняет натуру тех предметов, которые, по мнению психологов, вовсе не существуют для внешнего наблюдения

«Основанием для той части философии,— говорит сочинитель,— которая рассматривает вопросы о человеке, точно так же служат естественные науки, как и для другой части, рассматривающей вопросы о внешней природе. Принципом философского воззрения на человеческую жизнь со всеми ее феноменами служит выработанная естественными науками идея о единстве человеческого организма; наблюдениями физиологов, зоологов и медиков отстранена всякая мысль о дуализме человека. Философия видит в нем то, что видит медицина, физиология, химия; эти науки доказывают, что никакого дуализма в человеке не видно, а философия прибавляет, что если бы человек имел, кроме реальной своей природы, другую природу, то эта другая природа непременно обнаруживалась бы в чем-нибудь, и так как она не обнаруживается ни в чем, так как все, происходящее и проявляющееся в человеке, происходит по одной реальной его природе, то другой природы в нем нет».

Этот текст очень определенно показывает, что для его сочинителя нравственные, или философские науки суть только другое название для наук естественных, которые изыскивают все предметы, доселе входившие в область философии. В человеческом организме «философия видит то, что видят медицина, физиология, химия». Какая же надобность в этой науке, которая еще раз видит то, что уже прежде ее увидели другие науки? К доказательству медицины, химии и физиологии, что «никакого дуализма в человеке не видно, философия прибавляет, что если бы человек имел, кроме реальной своей природы, другую природу, то эта другая природа непременно обнаруживалась бы в чем-нибудь, и так как она не обнаруживается ни в чем... то другой природы нет в нем». Итак, вот для чего нужна философия: она нужна, чтобы сделать прибавление к учению естествознания о единстве человеческого организма, — прибавление, которое может сделать и без нее даже самая пустая голова, как только ей удастся понять этот вывод естествознания, что в человеке не видно никакого дуализма. По всему заметно, что сочинитель не соединяет никакого определенного понятия с словами: *нравственные науки и философия*; и этого надобно было ожидать после того, как он поставил ощущение, следовательно, представление и системы человеческих мыслей, а с ними и все ряды чувствований и стремлений, в круг физиологических предметов, данных для внешнего опыта, как будто представления и мысли существуют для глаза, который видит их в пространстве с фигурами и красками, для руки, которая берет и поднимает их, для носа, который обнюхивает их, и т. д.

После этого ничего нет странного, если сочинитель выдает за научные истины психологии, как точной науки, такие положения, которые вовсе не суть произведения строгого анализа. Так, например, он пишет:

«Психология говорит, что самым изобильным источником обнаружения злых качеств служит недостаточность средств к удовлетворению потребностей, что человек поступает дурно, то есть вредит другим, почти только тогда, когда принужден лишиться их чего-нибудь, чтобы не остаться самому без вещи для него нужной... Психология прибавляет также, что человеческие потребности разделяются на чрезвычайно различные степени по своей силе: самая настоятельная потребность каждого человеческого организма состоит в том, чтобы дышать... После потребности дышать (продолжает психология) самая настоятельная потребность человека есть и пить».

Спрашиваем, нужна ли тут психология, и притом как точная наука, чтобы повторять то, что известно всякому простому и неученому смыслу? Что скажет естествоиспытатель, если он пошлится об этих великих открытиях строгого психологического анализа, именно, что голод заставляет человека воровать, особенно же, что человек имеет потребность дышать, есть и пить?

Между тем главная мысль, которая служит для сочинителя основанием всех его исследований о человеке, имеет свой особенный интерес. «Принципом философского воззрения на человеческую жизнь,— говорит он,— со всеми ее феноменами служит выработанная естественными науками идея о единстве человеческого организма; наблюдениями физиологов, зоологов и ме-

диков отстранена всякая мысль о дуализме человека». Говорим, что эта мысль имеет свой особенный интерес, потому что она отделяет научное знание о человеке от представлений общего смысла.

Когда греческий философ Платон учил, что тело человека создано из вечной материи, которая не имеет ничего общего с духом, то он таким образом допускал дуализм *метафизический*, как в составе мира вообще, так и в составе человека. Христианское миросозерцание отстранило этот метафизический дуализм; материю признает оно произведением духа; следовательно, она должна носить на себе следы духовного начала, из которого произошла она. В явлениях материальных вы видите форму, законообразность, присутствие цели и идеи. Если человеческий дух развивается в материальном теле, если его совершенствование связано с состоянием телесных возрастов, то эта связь не есть насильственная, положенная беспредельным произволом божественной воли: она определяется смыслом человеческой жизни, ее назначением или идеей. Материя, как говорит Шеллинг, стремится, порывается родить дух: она не равнодушна к целям духа, она имеет первоначальное и внутреннее отношение к ним. Изучите хорошо телесный организм человека, и вы можете отгадать, какие формы внутренней, духовной жизни соответствуют ему. Изучите хорошо эту внутреннюю жизнь, и вы можете отгадать, какой телесный организм соответствует ей. Итак, если сочинитель говорит, что «наблюдениями физиологов, зоологов и медиков отстранена всякая мысль о дуализме человека», то против этого нельзя возражать безусловно. Только мы хотели бы определенно знать, о каком дуализме говорится здесь.

Известно, что после устранения дуализма *метафизического* остается еще дуализм *гносеологический*, дуализм знания. Сколько бы мы ни толковали о единстве человеческого организма, всегда мы будем познавать человеческое существо двояко: внешними чувствами — тело и его органы и внутренним чувством — душевные явления. В первом случае мы будем иметь физиологическое познание о человеческом теле, а во втором — психологическое познание о человеческом духе. Или и этот дуализм устранен наблюдениями физиологов, зоологов и медиков? Наш сочинитель, повидимому, отвечает на этот вопрос положительно. Как мы видели, он относит ощущение к предметам физиологии наравне с системой кишек, мускулов, нервов и т. д. Слово *дуализм*, как кажется, напугало его, и он уже не мог выяснить себе, как и откуда психология знает о своих предметах.

Кажется, ясно, что мысль не имеет пространственного протяжения, ни пространственного движения, не имеет фигуры, цвета, звука, запаха, вкуса, не имеет ни тяжести, ни температуры: итак физиолог не может наблюдать ее ни одним из своих телесных чувств. Только внутренне, только в непосредственном самовоззрении он знает себя как существо мыслящее, чувствующее, стремящееся. Эти две величины, то есть предметы внешнего и внутреннего опыта, суть, как говорят психологи, несоизмеримы: научного, последовательного перехода от одной из них к другой вы не отыщете. Физиолог будет наблюдать самые сложные движения нервов; но все же эти движения, пока они существуют для внешнего опыта, то есть пока они суть пространственные движения, происходящие между материальными элементами, не превратятся в ощущение, представление и мысль. Сочинитель говорит: «мы знаем, что ощущение принадлежит известным нервам, движение — другим». Разберите это выражение. Когда внешний толчок действует на нерв, то будет ли это нерв ощущения или нерв движения, все равно, он по поводу этого толчка придет в движение, или сотрясение: это мы наблюдаем в физиологическом опыте. Итак, нужно сказать: мы знаем, что всякий нерв приходит в движение по поводу внешнего впечатления. Но что «известным нервам принадлежит ощущение», этого мы вовсе не знаем из физиологического опыта, потому что и эти «известные нервы» представляем для внешнего физиологического опыта только движение, которое никогда не превращается на глазах наблюдающего физиолога в ощущение, представление и мысль. Или, как мы сказали выше, здесь физиоло-

гия получает свой материал от психологии. Только сравнивая опыты физиологические и психологические, мы убеждаемся, что видение таких-то и таких цветов, слышание таких-то и таких тонов возможны для души только под условием определенных движений зрительного и слухового нервов.

Но кто утверждает, что самое это движение зрительного и слухового нервов есть уже ощущение определенной краски и определенного тона, тот не говорит ни одного ясного слова. Попробуйте провести в мышлении и построить в воззрении, каким это образом пространственное движение нерва, которое при всех усложнениях должно бы, повидимому, оставаться пространственным движением нерва, превращается в непространственное ощущение, или в желание. Положим, что вы послали учение физики о зависимости объема тела от его температуры и о том, что с изменением его температуры необходимо изменяется и его объем; что сказали бы о вас, если бы вы превратили это отношение *необходимой* связи в отношение *тождества* и стали рассуждать: температура тела превращается в объем тела, объем тела есть не что иное, как его температура? А между тем учение нынешних физиологов о том, что ощущение души есть не что иное, как движение нервов, основано именно на этом превращении *необходимой* зависимости явлений в их *тождество*. Если бы нас спросили, каким образом температура *начинает* быть объемом, то нам пришлось бы отвечать: она никак не *начинает* быть объемом; только по необходимому физическому закону она производит изменения в теле, которое без объема немисливо. Таким же образом и на вопрос, — как движение нерва *начинает* быть ощущением, мы должны были бы отвечать, что движение нерва никак не *начинает* быть ощущением, что оно всегда остается движением нерва, только по необходимому закону (физическому или метафизическому, — об этом спорят еще) это движение нерва производит изменения в душе, которая немислива без ощущений, чувств и стремлений. Итак, если говорят, что движение нерва *превращается* в ощущение, то здесь всегда обходят того деятеля, который обладает этою чудною *превращающею* силой или который имеет способность и свойство рождать в себе ощущение по поводу движения нерва; а само это движение, как понятно, не имеет в себе ни возможности, ни потребности быть чем-либо другим, кроме движения.

Странно и однакоже справедливо, что сочинитель, так много говорящий в своих статьях о естественных науках, не имеет ясного представления о их методе и о их предмете. Если философии противопоставляются точные науки, то под этими последними разумеются в таком случае науки опытные, следовательно, занимающиеся явлениями и не касающиеся вопроса о метафизической сущности вещей. Теперь опытная психология и требует признать только это феноменальное или гносеологическое различие, по которому се предмет, как данный во внутреннем опыте, не имеет ничего сходного и общего с предметами внешнего наблюдения. Только на этом предположении возможна точная наука о душе, то есть о душе как определенном явлении, подлежащем нашему наблюдению. Всякий дальнейший вопрос о сущности этого явления, вопрос о том, не сходятся ли разности материальных и душевных явлений в высшем единстве и не суть ли они простое последствие нашего ограниченного познания, — поколику оно не постигает подлинной, однородной, тождественной с собою сущности вещей, — все эти вопросы принадлежат метафизике и равно не могут быть разрешены никакою частною наукой. В настоящее время, однакоже, химия и физиология нередко берутся за решение этих вопросов о сверхчувственной основе вещей, как будто эту сверхчувственную основу можно увидеть в химической лаборатории или в анатомическом театре. Так, если физиология говорит нам о единстве нервных процессов и душевных явлений, то этим она не выражает, что душевные явления должны представиться нам в научном опыте нервными процессами, или что нервные процессы должны представиться нам в научном опыте душевными явлениями: нет, разности, опытно данные, между представлениями и нервными процессами остаются такими же на конце науки, какими были

они в начале ее. Итак, учением об этом единстве она только выражает метафизическую мысль о сверхчувственном тождестве явлений материального и духовного порядка: следовательно, она дает нам мысль, которую ни утверждать, ни отрицать она не имеет основания. Наш сочинитель так же не различает вопросов метафизических от вопросов, решение которых принадлежит точным или опытным наукам. Он говорит: «принципом философского воззрения на человеческую жизнь со всеми ее феноменами служит выработанная естественными науками идея о единстве человеческого организма». Кто знаком с естествознанием и философией, тому известно, что понятие и это слово *единство* имеет чарующую прелесть для метафизика и почти не имеет никакого значения для естествоиспытателя. Успех естествознания основан на том, что оно разрешает всякое единство, всякую сущность всякий субъект, всякий организм на *отношения*, потому что только в таком случае оно может подводить наблюдаемое явление под математические пропорции. Итак, несправедливо, что идея единства человеческого организма выработана естественными науками. Правда, что некоторые физиологи допускали особый принцип органической жизни под именем жизненной силы: с этой точки зрения можно говорить о единстве человеческого организма, потому что жизненная сила доставляла бы различным материям организма то внутреннее и действительное единство, какого они, как материальные частицы, не могут иметь сами по себе. Но известно, как надобно думать об этой жизненной силе, которую нельзя ни разложить никаким анализом, ни подвести под математические пропорции: как простое, как абсолютное, оно не может идти в соображение при эмпирических наблюдениях, хотя бы метафизика и доказала, что предположение такой силы необходимо.

Замечательным образом сходятся при вопросе о единстве человеческого организма естествознание и философия в их современном положении. Физиология и химия разлагают это единство на множество материальных частей, которые в своих движениях подчинены общим физическим, а не частным органическим законам. Итак, единство человеческого организма есть для них феномен, есть нечто являющееся, кажущееся. Но откуда происходит этот феномен? Отчего множество представляется нам как единство? Отчего капли дождя представляются нам как радуга, а не как капли дождя? Отчего материальные частицы, не имеющие между собою внутреннего единства и сочетающиеся по общим физическим законам, представляются нам как единство, как целость, как один, в себе законченный образ? На эти вопросы отвечает философия и притом с математическою достоверностью: это происходит от свойств зри...

На этот раз довольно; и о «Русском вестнике», пока, тоже довольно. В следующий раз развлекусь «Отечественными записками».

## КОЛЛЕКЦИЯ ВТОРАЯ

### КРАСОТЫ, СОБРАННЫЕ ИЗ «ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСОК»

#### I

Связывать себя обещаниями — самое неблагоприятное дело. Вот, например, первое свое полемическое развлечение закончил я обещанием, что в следующий раз «поразвлекусь «Отечественными записками». Какой скуке я подверг себя этим обещанием!



Вообразите себе, ведь для составления коллекции красот из «Отечественных записок» я должен был перелистывать чуть не половину каждой книжки этого журнала за целые полгода, потому что по всем отделам, составляющимся постоянными соучастниками редакции «Отечественных записок», рассеяны в неисчислимом количестве выходки против «Современника». День, два, три дня одолевал я скуку, — наконец, по выражению поэта,

Не стало сил, не стало воли.

Просмотрев прелестные «Записки празднующающегося» в двух первых книжках почтенного журнала, я отказался от чтения этого отдела в следующих номерах. Надобно только раз поддаться слабости, она все больше будет овладевать человеком; после того я и в других отделах журнала все больше и больше листов оставлял непрочтенными. Таким образом, я не могу сдержать своего обещания вполне. Но прошу «Отечественные записки» не приписывать неполноте коллекции недостатку желания во мне выставить с надлежащими похвалами все разнообразие, остроумие и глубокомыслие их полемики: усердия во мне было много; но только Ливингстон<sup>21</sup> мог бы пройти такую обширную пустыню, не утомляясь, и вынести из нее образцы всех странных произведений, встречающихся в ней. Я ограничу свое исследование лишь двумя-тремя прекраснейшими оазисами, предварительно сказав несколько слов о характере остальной страны, которую едва мог я окинуть взором.

Страна эта велика и обильна, но порядка в ней нет. «Отечественные записки» рассуждают об очень многом, очень подробно и очевидно с прекраснейшим намерением: заботятся о занимательности, заботятся больше всего о том, чтобы выработать себе хоть какой-нибудь взгляд на дела, о которых толкуют вслед за другими журналами. Но какая-то несчастная судьба мешает им в этом превосходном стремлении. Они обречены составлять самую милую противоположность «Русскому вестнику» и «Современнику» в этом отношении. Вы можете не соглашаться с «Русским вестником», можете бранить его, если вам угодно, но вы видите, каких принципов держится «Русский вестник», чего он хочет и почему он хочет; вы должны будете признать, что свои идеи проводит он последовательно, как должно быть. То же самое вы скажете и о «Современнике». «Отечественные записки» добиваются, чтоб об них можно было сказать то же самое: вот, дескать, этот журнал имеет определенное направление, идет к известной цели, понимает, чего хочет. Но никак не могут «Отечественные записки» добиться этого; чего-чего не набито в них сплошь и рядом: западничество и славянофильство, умеренность и крайний образ мыслей, и все это обвито непроницаемым туманом. Как будто соединены листы, вырванные из «Русского

вестника» и «Современника», из «Русской беседы» и «Русского слова», с обрывками из покойного «Москвитянина» и прежних «Отечественных записок» времен Белинского. Не знаем, до какой степени нравится этот пестрый характер журнала сотрудникам, заведующим разными отделами его: мы желали бы знать мнение г. Альбертини о «Записках празднующающегося»; мнение г. Бестужева-Рюмина о статьях г. Лохвицкого; мнение г. Громеки о статьях г. Дудышкина<sup>22</sup>, и т. д., и т. д. Но, по всей вероятности, нравится эта пестрота «общей редакции» «Отечественных записок». Если бы нам, посторонним людям, необходимо было принять чью-нибудь сторону в этом домашнем разладе, мы стали бы на стороне гг. Альбертини, Бестужева-Рюмина и Громеки, которые, вероятно, еще могли бы как-нибудь итти по одному направлению, когда бы занимался общим направлением журнала из них ли кто-нибудь или другой кто-нибудь такой же. А нынешнее положение этих частных редакторов должно быть очень затруднительно: одна статья дергает журнал туда, другая — сюда; из одной статьи слышится отглас г. Аполлона Григорьева, из другой статьи — отглас г. Дружинина<sup>23</sup>; в третьей статье раздаётся задорное козлогласование г. Лохвицкого; четвертая статья написана последователем г. Кавелина; так что сам Гегель затруднился бы возвести эти разногласия к синтезу. Мы чрезвычайно полагаемся на добросовестность людей, не лишенных здравого смысла; потому надеемся, что гг. Альбертини, Бестужев-Рюмин и Громека соглашаются с нами. А если не согласны, то приглашаем их заявить печатно, что мы ошибаемся в их чувствах. Да, мы просим их об этом, и, любя каждый вопрос ставить так, чтобы его решение было неизбежно, мы говорим, что, если гг. Альбертини, Бестужев-Рюмин и Громека не дадут категорического ответа на вопрос о существовании или несуществовании нескладицы в «Отечественных записках», их молчание будет всеми принято за согласие с нашим мнением.

Принимая в соображение эту нескладицу, мы считаем необходимым рассматривать каждый отдел «Отечественных записок» особенно от других отделов, как особый маленький журнал, только переплетенный в одну толстую книгу с несколькими другими особенными журналами, а каждую отдельную статью, как особенную брошюрку, сшитую с другими такими же брошюрками по капризу переплетчика.

## II

Первое место в ряду журнальцев, составляющих «Отечественные записки», занимает «Политическое обозрение», который заведует г. Альбертини. Я не боюсь говорить то, справедливость чего знает и мой противник, хотя бы и был я уверен,

что он почтет за нужное печатным образом отречься от того, что я говорю. Пусть отпирается, — все равно, людям литературного круга останется попрежнему известно, а каждому читателю из собственных слов его будет видно, что отрывается он напрасно. За этим предисловием сообщу я следующий факт.

Прочитав первую мою статью, заканчивавшуюся обещанием, что я поразвлекусь «Отечественными записками», г. Альбертини потерял спокойствие духа. Он мучился страхом, что я стану говорить о его полемических подвигах против «Современника» таким тоном, какого заслуживают они по своей непристойности. Напрасно боялся он этого. Я вовсе не намерен огорчать его. Но зато он позволит мне пожалеть о нем и дать ему совет, искренность и верность которого он может проверить, спросив мнения у своих друзей.

Есть люди очень благородные, но чрезмерно склонные поддаваться всяким без разбора внушениям. Они безукоризненно держат себя, пока живут в обществе, где все так же благородно, как они сами. Сошедшись с людьми пошлыми, они иногда делают поступки не совсем хорошие под чужим влиянием. Г. Альбертини — один из этих людей нетвердого характера. Он делает очень хорошо, если постарается жить исключительно в кругу людей благородного образа мыслей, как жил, если не ошибаюсь, до своего переезда в Петербург<sup>24</sup>. Пусть он спрашивает у них мнения о том, что пишет. Без такой поддержки он может вовсе испортиться. Повторяю: пусть он спросит у своих друзей, правду ли я говорю ему.

Боязнь моего заслуженного сарказма, конечно, заставляла его в эти последние недели припоминать с раскаянием те выходы против «Современника», до которых унижался он. Я уверен, что в тяжелом ожидании этой моей статьи он внутренне проклинал чужие внушения, которые подвели его под удары, грозившие ему, по его мнению. Пусть он успокоится: мне жаль наказывать его, потому что довольно наказан он собственным чувством. Я оставляю без всякого упоминенья нехорошие вещи, которые он писал против «Современника». Я только хочу предостеречь его, чтобы он не спешил вперед спорить каким бы то ни было тоном — грубым ли, деликатным ли — с людьми, которые гораздо лучше его знают, что говорят, почему и зачем говорят. Не приводя его неприличных выражений, чтобы не позорить публично человека, уже стыдящегося в душе, я возьму только основные мысли из одной статейки его против «Современника» и кротким тоном, без всякого полемического оттенка, покажу ему, что тот, кто делает такие возражения, ставит себя в невыгодное положение. Беру для этого опыта помещенные в № IV «Отечественных записок» возражения против «Письма из Турина, напечатанного в № III «Современника»<sup>25</sup>.

Смысл этого письма кажется очень дурен вам, г. Альбертини (не любопытствовал я узнать, сам г. Альбертини или кто другой написал пересматриваемую мною диатрибу; но все равно, она помещена в отделе, которым заведует он, стало быть, он отвечает за нее). Вас огорчают наши отзывы о Кавуре и его партии; вы воображаете, что мы оскорбляем итальянский народ. Напрасно вы это говорите. Вам следовало бы самому знать то, что я постараюсь рассказать вам в нескольких словах.

В каждом обществе есть консерваторы и прогрессисты. Займемся прогрессистами. Между ними есть множество подразделений, но интерес нации требует, чтобы они понимали одинаковость главного своего стремления и соединялись в одно целое для борьбы с общими своими противниками, отвергающими прогресс. Исполняется или не исполняется это важное условие национального блага, зависит от умеренных прогрессистов. Крайние прогрессисты так преданы делу совершенствования, что всегда готовы, принося в жертву и самолюбие, и мелкие расчеты, поддерживать умеренных. Если умеренные прогрессисты одарены политическим тактом, они понимают это и принимают союз, предлагаемый им крайними прогрессистами. Тогда дело совершенствования идет настолько успешно, насколько может идти при данном состоянии национального расположения. Но иногда умеренные прогрессисты отвергают союз. От этого страдает дело прогресса, то есть благо нации. Примеры тому и другому представляет Англия. Нынешний предводитель умеренных прогрессистов в Англии — лорд Пальмерстон, крайних прогрессистов — Брайт. Будем для краткости называть эти отделы прогрессивной партии именами их предводителей. Когда Пальмерстон опирается на Брайта, его министерство непоколебимо. Когда он отталкивает от себя Брайта, он теряет власть. Умно ли поступает Пальмерстон, когда держится в союзе с Брайтом? Умно ли, когда отталкивает его? Но Пальмерстон, как бы там ни судили мы о его убеждениях и правилах, — человек расчетливый, а, вернее сказать, парламентская тактика очень хорошо выработалась в Англии; потому Пальмерстон постоянно держится в Союзе с Брайтом, и если иной раз по упрямству оттолкнет его, тотчас же понимает свою ошибку и спешит мириться с ним.

Дозволительно ли не благоговеть перед мудростью Пальмерстона, г. Альбертини? Если позволительно, тем больше можно не преклоняться перед Кавуром, не имевшим даже и того такта, который находим в Пальмерстоне.

Излагать ли историю его ошибок? Пересматривать весь ряд их было бы слишком долго, — отсылаем г. Альбертини к статье о Кавуре в № 6 «Современника»; здесь напомним об ошибках, относящихся лишь к тому времени, о событиях которого не говорит эта статья, как о вещах, по их недавности еще не забытых ниже.

Между частями Италии, соединившимися в одно государство, существует спор об относительном их значении для итальянской национальности. Милан, Флоренция, Болонья, Неаполь не могут уступить первенства друг другу, тем менее уступить его Турину. Все они согласны уступить первенство только Риму. Кавур до последней возможности спорил против мысли перенести столицу государства в Рим, — спорил не потому, что рано было думать об этом, а потому, что «Пьемонт освободил Италию, следовательно, столицей Италии должна остаться столица Пьемонта»\*. Кавур доказывал, что Рим — город прошедшего, город мертвый, что он не годится быть столицей. Пусть бы он говорил, что надобно повременить, что обстоятельства еще не позволяют думать о Риме, — нет, он доказывал по принципу, что общее стремление итальянцев совершенно ошибочно. Он отказался от желания оставить Турин вечною столицей итальянского королевства только тогда, когда уже возбуждено было в итальянцах много желчи его сопротивлением. Это ли называется политическим тактом?

Итальянцы очень раздражаются мыслью, что их страны присоединяются к Пьемонту не по принципу равноправности, а с подчинением Пьемонту как господствующей стране. Кавур провозглашал это подчинение с очень странным самодовольством. Он восхищался, когда говорил: «мы, пьемонтцы, выше всех вас, остальных итальянцев». Это ли называется искусством государственного человека? Узкость понятий Кавура в этом отношении была удивительна. Например, гражданские и уголовные законы в Тоскане лучше пьемонтских; в Неаполе — также. Кавур хотел заменить их пьемонтскими. Это страшно оскорбляло Тоскану и Неаполь. И каким путем хотел произвести такую перемену Кавур? Самым бестактным. Он хотел действовать распоряжениями прямо от имени туринского министерства. Вся Италия говорила: нужно установить одинаковые законы для всех частей Италии; но эти законы пусть будут составлены и введены правильным порядком, через парламент. Кавур не хотел этого. Почему не хотел? Понятно было бы, если б он опасался, что парламент установит законы не на тех принципах, какие считал хорошими он. Но парламент состоял из его приверженцев, действовал бы в его духе. Опять понятно было бы, если бы Кавур был неприятен парламентской форме. Но он был искренним приверженцем ее. Потому его странное противоречие общему желанию не объясняется ничем, кроме узкости понятий, кроме бестактности.

Вещь известная, что для слияния прежних отдельных частей в одно крепкое целое надобно не оставлять этих частей административными единицами, а раздроблять их на мелкие округа, которые не имея связи между собой, имели бы отношение прямо

\* То есть Турин. — Ред.

к центральному правительству. С этой целью были некогда раздроблены французские провинции на департаменты. В кабинете Кавура был выработан проект, прямо противоречивший этому простому соображению. Предполагалось оставить Италию в административном отношении разделенной на «области» или «страны», соответствующие прежним отдельным государствам. Этот проект все итальянцы нашли прямо противоречащим упрощению итальянского королевства. Кавур защищал его, даже и не по самолюбию, потому что автор проекта был не он, а министр внутренних дел Мингетти<sup>26</sup>, — нет, по какой-то непостижимой несообразительности. Мингетти самими приверженцами Кавура был признан за человека неспособного и непопулярного; они сами упрашивали Кавура заменить Мингетти кем-нибудь другим, кем ему угодно, лишь бы кем-нибудь другим. Кавур оставил Мингетти на месте, — хотя бы по какому-нибудь личному пристрастию к Мингетти, — нет, просто по бестактному упрямству.

Говорить ли об отношениях Кавура к Гарибальди? Пусть бы Кавуру казалось нужным отстранить Гарибальди; но разве нельзя было устроить это благовидным образом? И разве Гарибальди такой человек, которого трудно оттеснить от власти? Нет, он сам готов был удалиться. Но Кавур наносил ему мелкие обиды, решительно ни для чего не нужные; если, например, было два человека, которым предполагалась одинаковая награда, и если узнавали, что один из них хорош с Гарибальди, то отменяли назначенную ему награду. Если являлось на какую-нибудь должность два кандидата, одинаково достойных или недостойных ее, и если об одном из них узнавали, что у него были неприятности с Гарибальди, должность давали ему. Если предполагали где-нибудь встретить Гарибальди, то залу, в которой должна произойти встреча, нарочно старались наполнить людьми, имевшими личные неприятности с Гарибальди. Что это такое? неужели это достойно серьезного человека? Кавур унижался тут до мелочного подпускания шпилек, которое простиительно только пустым людям. Просим г. Альбертини понять, что мы тут говорим не о правах Гарибальди, а только о выгодах самого Кавура; не о том, что Кавур поступал неблагодарно или неблагородно, а только о том, что он поступал чрезвычайно бестактно. Он раздражал против себяпрямодушную массу людей во всех партиях и даже в своей собственной этими странными поступками, совершенно неприличными.

А что сказать о сообразительности, какую выказал он относительно солдат бывшей неаполитанской армии и относительно вслонтеров Гарибальди? Мы не о том говорим, можно ли было сформировать порядочное войско из бывших неаполитанских солдат; положим, что нельзя, хотя, наверное, было можно. Мы не о том говорим, могли ли быть хорошим войском волонтеры;

положим, что не могли, хотя не только могли, но уже и были. Положим, что Кавур не ошибся в мысли о неспособности тех и других к военной службе, хотя он и ошибся в этом. Но благо-разумно ли распускать вооруженных людей в огромном количестве без всякого надзора, сняв с них всякую дисциплину и не приислав для них никаких средств существования, распускать их в стране, в которой нет ни войска, ни даже порядочной полиции? Каждый знает, что это значит делать их бандитами. Они бес-приютны, они голодны, они не приищут себе никакого промысла и начинают разбойничать. Это сочинил Кавур. Он сочинил те шайки, для истребления которых послан теперь Чальдини с 50 тысячами войска. Умно ли это? спросим мы у г. Альбер-тини.

Просим его сказать также, знает ли он, что мы указываем на ошибки, сделанные только в течение одного года, и не упоминаем о других ошибках за тот же год, еще более важных, — не упо-минаем потому, что они относятся не к одному этому году, а ко всему ряду лет власти Кавура?

Другим извинительно, когда они не знают или не понимают этих ошибок. Но в г. Альбертини это странно. Он находился в кругу людей, понимающем вещи не хуже, чем мы, и так же, как мы, не черпающем своих мнений готовыми из какого-нибудь *Journal des Débats* или *Revue des Deux Mondes*. Он должен знать, что такое здравый смысл, не позволяющий принимать без всякой критики болтовню какого-нибудь Сен-Марк-Жирардена или Форкада, у которых великие люди растут из-под пера, как грибы, у которых и Дюма-сын — гениальный романист, и Октав Фёлье<sup>27</sup> — гениальный драматург, и всякий маршал — гениаль-ный полководец. Неужели г. Альбертини так скоро разучился понимать все, что уметь понимать?

И неужели он так скоро разучился сочувствовать всему, чему, конечно, сочувствовал, когда находился в кругу людей ум-ных и благородных? А если б не разучился, он понимал бы, под влиянием каких мыслей писана статья, выходками против кото-рой так прискорбно он роняет себя. Неужели не было времени, когда он сумел бы сам отвечать на вопрос о наших симпатиях и антипатиях, — вопрос, которого и предлагать не стоит, потому что они ни для кого не составляют секрета. Пусть г. Альбертини обдумает хорошенько, должен ли он стыдиться этого вопроса. Напрасно вы компрометируете себя, г. Альбертини. Не делайте этого вперед. За подобные вопросы перестают уважать писателя не только как писателя, но и как человека. Понятно ли вам хотя это? Или даже и это непонятно?

Или вам непонятно, почему усиливается в русской литера-туре направление, вами осуждаемое? Попробуйте припомнить вещи, которые, конечно, были хорошо вам известны еще не

очень давно, и вы поймете. Но об этом мы можем и поговорить с вами. Извольте, поговорим.

Вы знаете, что в каждой литературе преобладание одного направления сменяется другим сообразно расположению общества, а расположение общества изменяется обстоятельствами исторической жизни. Это все равно, как меняется расположение мыслей в отдельном человеке от перемены в обстоятельствах его жизни. Знаете ли вы, как разгоняются иллюзии опытом жизни? знаете ли вы, какое чувство овладевает человеком, увидевшим обманчивость своих иллюзий? знаете ли вы, что он любит тогда людей, говорящих сурово и насмешливо? То же бывает и с обществом. Если вы не понимаете этого, вы живете в мире иллюзий, которыми уже почти никто не обманывается. Желаем вам выйти поскорее из этого незавидного обольщения. А пока вы не вышли из него, «Современник» не будет вам нравиться. Вы лучше читайте пока «Историю Государства Российского» Карамзина, похвальные слова Ломоносова, «Леонида» г. Р. Зотова, «Рославлева» и «Юрия Милославского» Загоскина, — да и мало ли есть прекрасных книг<sup>28</sup>! Но знаете ли? Пока вы находитесь в таком настроении мыслей, не пробуйте рассуждать печатным образом о нас. Милое дитя, избегайте полемических встреч с нами.

### III

К г. Альбертини я был снисходителен, главным образом из уважения к людям, к которым он принадлежал, когда они задумали было издавать «Московское обозрение»<sup>29</sup>.

Но мне наскучило сдерживать себя. Надобно же и посмеяться; да надобно и показать на ком-нибудь пример г-ну Альбертини, чтобы он видел, как могло бы ему достаться за его необдуманые выходки. Г. Буслаев так обязателен, что без всякой надобности, единственно по доброте душевной доставил мне прекрасный случай развлечься.

Дело произошло следующим порядком. Вышло собрание сочинений г. Буслаева. Г-н Пыпин поместил в «Современнике» разбор их. Статья была написана совершенно серьезным тоном, с уважением к ученым заслугам г. Буслаева. Ни оскорбительного, ни насмешливого не было в ней ни на волос. Г-н Пыпин не соглашался с некоторыми мнениями г. Буслаева, но спорил против них так, что самый самолюбивый и раздражительный человек не мог бы обидеться таким спором. Тем менее мог ожидать кто-нибудь, что оскорбится статьею г. Пыпина г. Буслаев, человек почтенного характера, чуждый болезненного тщеславия. Но через три месяца является в «Отечественных записках» «Письмо к А. Н. Пыпину» г. Буслаева — письмо, каждая строка которого так и дышит желанием уязвить. Что такое сделалось



с г. Буслаевым? За что воскипел он желчью на г. Пыпина? Вот за что.

К той книжке «Современника», где находилась статья г. Пыпина о г. Буслаеве, был приложен «Свисток»; к одной из статей этой тетради «Свистка» было сделано примечание, восстанавливавшее очень любопытные черты древнеславянского эпоса на основании приписанных там графу Хвостову стихов, ровно ничего такого в себе не заключавших. Вот эти стихи:

Что награды все другие  
Пред сокровищем таким?

Автор ученого примечания в «Свистке» делал филологический разбор слов «награда» и «сокровище». Оказывалось, что в слове «награда» лежит смысл скандинавской Валгаллы, а под «сокровищем» разумеется жительница Валгаллы, то есть Валькирия, и. т. д., и. т. д. Это изыскание заканчивалось ссылкой на сочинения г. Буслаева<sup>30</sup>.

Дурно это было или хорошо, остроумно или глупо, обидно или безобидно, — но какое отношение имела эта шутка к статье г. Пыпина? Ровно никакого, кроме того, что напечатана была в той же книжке журнала. С какой стати было яриться за это примечание на г. Пыпина? Пусть г. Буслаев скажет, умно ли поступил бы тот, кто стал бы сердиться на него, г. Буслаева, за «Очерки винокуренной промышленности» г. Лескова или за стихотворение «Слезы кукушки» на том основании, что эти вещи напечатаны в одной книжке журнала с его письмом к г. Пыпину? Но, видите ли, г. Буслаеву вздумалось, что насмешка в «Свистке» написана г. Пыпиным. Трех месяцев было бы, кажется, достаточно, чтобы справиться о верности этого предположения, если не достало у г. Буслаева рассудительности, чтобы с первого же раза увидеть вздорность такой догадки.

Г-н Пыпин участвует в «Свистке» гораздо меньше, чем г. Буслаев. Почему это г. Буслаев вздумал приписать г. Пыпину статейку, на которую рассердился? Он увидел в этом примечании такую ученость, что вообразил, будто оно непременно написано специалистом. Но разве г. Буслаев так простодушен, что принимает за чистую монету толки неприязненных нам журналов о нашем невежестве? Ему это неизвинительно. Он жил в кругу ученых людей в Петербурге. Почему бы не мог, например, я написать ученое примечание, рассердившее г. Буслаева? Правда, я давно бросил занятия славянскими наречиями и древностями и успел позабыть миллионы филологических и археологических мелочей; но почему бы не предположить, что при всей этой убыли сохранилось в моей памяти достаточное количество этих мудростей, так что еще сумел бы, если бы захотел, писать вещи не менее ученые, чем сам г. Буслаев? Почему бы, например, не предположить, что именно я — автор ученого примечания

в «Свистке»? Если бы г. Буслаев был несколько сообразительнее, он предположил бы это, и не ошибся бы. Тогда не разыграл бы он смешную роль, излив свою желчь совершенно невольно.

Но ему захотелось, чтобы оценка его сочинений в «Современнике» принадлежала тому человеку, который написал рассердившее его примечание. С удовольствием исполняю его желание.

Г-н Буслаев — человек очень трудолюбивый и занимается своим предметом усердно. С этой стороны он достоин всевозможных похвал. Но трудами его наука не может воспользоваться. Почему же так? По той причине, что у него решительный недостаток критики. Как филолог, он соблазнился эксцентрическими прыжками Якова Гримма, любящего поэтические вольности в сравнениях корней и форм. Но ведь то — Яков Гримм; он как-то был там ни был, а все-таки — человек очень большого ума. У него эти вольности — просто каприз, отдых, шалость. А г. Буслаев пошел по этой линии так серьезно, что, можно сказать, дошел до точки. Во втором ученом грехе г. Буслаева виноват, вероятно, тот же Гримм. Отрывочные данные германской мифологии Гримм очень любит объяснять богатыми рассказами скандинавской мифологии. Г. Буслаев тоже набивает свои изыскания скандинавской мифологией. Тут опять та же разница: Гримм редко фантазирует до того, чтобы выбиваться из-под власти здравого рассудка, который у него очень силен; а г. Буслаев — поэт в душе, и как начнет говорить, то уже и заговаривается бог знает до каких вещей. Кроме Гримма, нашлись для г. Буслаева и другие соблазнитель. Он филолог — это так; но сверх того очень любит живопись и гравюры. По своей специальности заинтересовался он средневековою живописью и рисованием. По какой-то особенной беде, прежде чем случилось ему приобрести основательное знакомство с этим предметом, попались ему в руки книги, принадлежащие школе так называемых дорафаэлистов, то есть художников и ученых, ставящих средневековую живопись выше новой. Он поддался этому направлению. Этого всего было мало, — подвернулись на грех еще наши славянофилы; он и из них почерпнул. В довершение всего очень понравилась ему «Божественная комедия» Данте. Можете вообразить себе теперь, в каком затруднительном положении находится его образ мыслей. О чем ни начнет он писать, вечно происходит с ним такая история. Возьмите самое немудрящее слово — положим, «лукошко». Тотчас вспоминается ему, что в Индии есть город Лукнов: это очевидно одно и то же. В Лукнове поклоняются какому-нибудь божеству, — положим, хоть Индре. Из этого тотчас следует, что лукошко у древних славян было символом Перуна, соответствовавшего индийскому Индре. Оно и действительно: лукошко имеет круглую форму, а у Гольбейна<sup>31</sup> есть ряд превосходных рисунков, называющихся «танец смерти», — следует разъяснение,

что эти рисунки по своей мысли гораздо выше всех рафаэлевских картин; на этих рисунках люди пляшут, сцепившись руками, вроде нашего хора, имеющего форму круга. Но скандинавы представляли себе смерть в виде бледной Гелы; а у нас существует оборот речи «бледен как смерть»; ясно, что надобно взять из какой-нибудь славянской рукописи рассказ о смерти какого-нибудь человека, сравнить с ним скандинавские рассказы, относящиеся к Геле, и мифологическое значение нашего рассказа чрезвычайно разъяснится, и через несколько страниц будет видно, что знаменитая Беатриче в «Божественной комедии» — тот же самый тип, который известен у нас под именем Амелфы Тимофеевны; только Амелфа Тимофеевна сохраняет черты первоначального эпического типа яснее, чем Беатриче. Теперь возвратимся к лукошку: не ясно ли вам, что славянское гаданье на решете имеет связь с индийским поклонением Индре, по сходству решета с лукошком? Такова была высокопоэтическая красота древнего русского эпоса!

Спрашиваем самого зачатого приверженца трудов г. Буслаева, не представляется ли наш краткий эскиз верным снимком хода мыслей из какого угодно исследования г. Буслаева? Но все это пересыпано у него бесчисленным множеством выписок, свидетельствующих о большом трудолюбии; так что если попадется статья в руки специалиста, он найдет в ней очень много любопытных фактов и отрывков из рукописей. Только сбиты они у г. Буслаева в беспорядочную кучу без всякой критики, так что легче бывает самому пересмотреть источники и собрать материалы, чем разобрать нужное от ненужного, верное от фальшивого в статьях г. Буслаева. Мне жаль было, что такое трудолюбие и такая ученость, как у г. Буслаева, пропадают без всякой пользы для науки оттого, что недостает у него критики. Я хотел в примечании к «Свистку» шуткой обратить его внимание на этот недостаток, портящий все у него. Ему угодно было возъяриться на г. Пыпина. Впрочем, хорош и я: вздумал исправлять ученого, чуть ли не двадцать лет подвизавшегося своим путем и дошедшего им до знаменитости! Как это не пришло мне в голову итти в Летний сад и выпрямлять там кривые деревья?

Я еще ничего не говорил о направлении трудов г. Буслаева: когда ученое исследование пишется без всякой критики, оно не приносит пользы науке, хотя бы написано было и в хорошем направлении. Что же сказать, если направление труда таково, что заслуживало бы порицания и при всевозможном совершенстве труда с технической точки зрения? Впрочем, я ошибся, заговорив о порицании за направление. Г. Буслаев и в образе мыслей точно так же странствует по всевозможным направлениям, как в подборе фактов хватается без разбора за все, о чем вспомнит. Какое тут порицание? Тут жалеешь только, что по слабому развитию нашей ученой литературы пришлось занимать само-

стоятельное положение трудолюбивому человеку, который был бы очень полезен, если бы нашел себе в молодости руководителя и работал бы по его указаниям. Но этот недостаток, в котором никак нельзя винить добрую волю г. Буслаева, а надобно винить только природу, не давшую ему умственной самостоятельности, — этот недостаток для нашей жизни вреднее чисто специальных недостатков работ г. Буслаева. На него-то и обратил внимание г. Пыпин в своей статье. Г-н Буслаев — друг просвещения, приверженец прогресса; в этом никто не сомневается; но сладить с своим предметом он никак не может и беспрестанно сбивается к мыслям, принадлежащим такому взгляду, который прямо противоречит другим его убеждениям. Разумеется, взъискивать с него за это нечего: значит, уж судьба такая вышла от природы человеку, чтобы сбиваться с верного взгляда на предмет. Но г. Буслаев для многих кажется авторитетом, — вслед за ним и другие сбиваются с толку. Значит, при всем желании молчать о г. Буслаеве — приходится говорить об ошибочности его направления.

#### IV

Он очень претендует на помещенную о нем в «Современнике» статью за то, что она будто бы истолковывает его слова в смысле, которого они не имеют. Когда г. Пыпин говорит, что должно смотреть на деле вот таким образом, г. Буслаев замечает: «я точно так и смотрю на него; напрасно вы утверждаете, будто я смотрю на него иначе»; и в доказательство г. Буслаев приводит отрывки из своей книги. Вот в том-то и главная беда, что у г. Буслаева можно найти отрывки взглядов всяческого рода. Он и любит суеверие, и не любит его, и восхищается им, и находит его вредным, — все найдете у него, только того не найдете, чтобы он сам замечал раздвоение своих мыслей. Но пристрастие к отжившему и нелепому берет у него верх над современными убеждениями. Доказательств тому мы не будем искать в его книге; пересмотрим только его письмо к г. Пыпину, — письмо, имеющее целью доказать, что он, г. Буслаев, не «старовер». Полемицируя против этого обвинения, г. Буслаев, конечно, старался не подать новых поводов к обвинению его в староверстве. Конечно, он был осмотрителен в своих словах, заботился выказать всю современность своих убеждений. Посмотрим же, до какой степени ему удалось это.

«Славянофильская самостоятельность кажется мне гораздо достойнее подначального западничаья» («Отечественные записки», апрель 1861 г. Критика. Стр. 61). «Прежнее мнение о бесплодности в поэтическом отношении литературных произведений, которые Русь получала из Византии, отвергнуто не мною, но Либрехтом, Вольфом и целою толпою современных исследо-

вателей народной старины» (стр. 62). Итак, г. Буслаев думает, что влияние Византии было полезно для нашей поэзии? или он этого не думает? «Кто же отказывал в высоком поэтическом характере римскому патерику папы Григория Двоеслова?»<sup>32</sup> (стр. 62). Далее следуют выписки из книги г. Буслаева в доказательство, что его мысли сходны с мыслями г. Пыпина. Мы не хотим обращаться за доказательством противного к самой книге г. Буслаева, в которой, конечно, наговорил он гораздо больше неосторожного, чем в своем письме, — потому пропускаем эту часть статьи, относящуюся к книге. Переходим к второй половине статьи, где он излагает свой образ мыслей. «Я хотел относиться к старине беспристрастно и не горячился против византийства потому именно, что не имел я и не мог иметь к нему никаких личных отношений, изучая вопрос только теоретически» (стр. 73). Странный человек! вас порицают за то, что вы не представляете вредных сторон известного предмета, а вы оправдываетесь тем, что не имеете к нему личных отношений, изучаете его только теоретически. Да разве теоретическое изучение требует того, чтобы не выставлять в предмете вредных сторон, если они есть в нем? И разве, если не имеете вы личных отношений к халифу Омару и Григорию XIII, то не должны находить их действия дурными? Да и какие личные отношения можете вы иметь к ним? «Время, ведущее к лучшему, примиряет с прошедшим злом, и историк имеет право попытаться в темном явлении прошлой жизни открыть и лучшую сторону» (стр. 77). Так вы пытаетесь открывать хорошие стороны в темных явлениях прошлой жизни и примиряетесь с прошлым злом? Нечего сказать, хорошо вы оправдываетесь. Г-н Пыпин находит, что дорафаэлевский живописец Беато Анджелико слишком нравится г. Буслаеву, — г. Буслаев возражает: «почему вы ограничиваете мой вкус одним Беато Анджелико? Я такую же честь воздаю и Чимабуэ, и Перуджино» (стр. 80). Вообразите себе, что я порицаю кого-нибудь за пристрастие к пустым романам Александра Дюма-старшего, а он мне возражает: «я не одного Дюма-старшего люблю, а люблю также Поля Феваля и маркиза Фудраса». Не правда ли, мастерски защитился человек! Но г. Буслаеву мало кажется, что он защитился таким манером, он прибавляет: «Я разделяю симпатии и не к одной старой итальянской живописи. То сочувствие, с которым я говорю о «Коне смерти» Альбрехта Дюрера и о «Пляске смертей» Гольбейна, избавляет меня от исключительной школы Беато Анджелико» (стр. 81). То есть, тот же вымышленный мною любитель Александра Дюма-старшего продолжает: «да и не одних французских романистов я люблю, я люблю также Августа Лафонтена и Коцебу»<sup>33</sup>. Нечего сказать, понял человек, в чем дело. Очень не нравится г. Буслаеву предположение, что он занимается «искусством для искусства». «Этот пошлый принцип всегда был мне ненави-

стен», — говорит он (стр. 82). Прекрасно; только зачем же вы на нескольких страницах пред тем распространяетесь, что искать практических отношений знания к жизни — дело, не достойное ученого, и заключаете свои рассуждения об этом словами: «помилуйте, наше ли (то есть г. Буслаева) дело заниматься такими пустяками?» (стр. 76), — то есть практическим отношением знания к жизни. В вашей благонамеренности никто не сомневается; но есть у вас способность не понимать того, о чем с вами говорят и что вы сами говорите. От всей души верим, что «пошлый принцип искусство для искусства всегда был вам ненавистен»; только не понимаете вы того, что совершенно одинаков с ним принцип «наука для науки», — принцип, в защиту которого написана одна половина вашей статьи, другая половина которой наполнена намеками, что г. Пьпин хочет жесть раскольников. Но об этом после, потому что намеки эти обратились на г. Пьпина только по ошибочной горячности г. Буслаева: они относятся, конечно, к автору примечания в «Свистке», то есть ко мне. Рассудим сначала о достоинстве оправданий г. Буслаева, а его нападения оценим после. Защищаясь от подозрения в том, что желает восстановить старину, он заканчивает свою апологию словами: «Итак, позвольте с вами не согласиться, когда вы утверждаете, что русская старина уже потеряла в наше время свою жизненность и способность к развитию» (стр. 84). Добрейший г. Буслаев! Как же вы не сообразили, что таких слов говорить вам не следовало? Что же, по-вашему, русская старина имеет жизненность и способность к развитию? Что же, по-вашему, далеко такое мнение от староверства?

По всей вероятности, г. Буслаев защитился бы превосходно, если б только понял, что такое вещь, в которой его обвиняют, и от каких выражений и мыслей надобно удерживаться, чтобы не навлекать на себя новых упреков за то же самое. Его беда лишь в том, что не всегда умеет он сообразить, что такое говорит. А если б умел он сообразить, много прекрасных вещей он писал бы и многих дурных фраз и страниц он не написал бы. К последнему разряду он сам отнесет свои нападетельные выходы против автора статейки в «Свистке», когда я растолкую ему смысл их. Письмо к г. Пьпину проникнуто желанием выставить г. Пьпина за человека, плохо знакомого с предметом исследований г. Буслаева. Пусть сам г. Буслаев рассудит, умно ли это. Ведь он сам знает, что г. Пьпин, — такой же специалист, как и он, г. Буслаев; знает он, то есть г. Буслаев, что знают это все занимающиеся русской литературой или археологией. К чему же было намекать о плохом знакомстве г. Пьпина с делом? Ведь это значит только напрашиваться самому на такое предположение: г. Буслаев не в силах разобрать, с знанием дела или без знания дела написана статья, если статья затрагивает его самолюбие. А впрочем, едва ли не напрасно было бы

предполагать, что г. Буслаев думал выставлять г. Пыпина человеком малознающим, — ему вероятно, и в голову не приходила такая нелепость, и, вероятно, намеки эти вкрались в его письмо совершенно незаметно для него самого, как вкрались в его труды очень много таких вещей, которых он совершенно не был намерен влагать в свои труды.

Точно так же мы объясняем его милые намеки о том, что «Современник» хочет жечь раскольников, истреблять народную словесность, да притом еще насильственными средствами и т. д., и т. д. Тут мы остаиваемся и спрашиваем г. Буслаева: делал ли он такие намеки? Добродушный и благородный ученый, конечно, с азартом воскликнет: «никогда ничего подобного не было у меня в мыслях! Я гнушаюсь подобными пошлостями! Вы клеветаете на меня, находя их в моем письме!» Мы совершенно уверены, что это благородное восклицание сделает он от искренности душевной. Но пусть же он теперь попробует сообразить, к кому должны быть относимы читателем и в каком смысле должны быть понимаемы читателем следующие места из его письма:

«Вы смотрите на вопрос с точки зрения практической и желали бы видеть в руках простолюдина хорошую историю или географию — в добрый час! Давайте народу такие книги, если они есть; и если будут они понятны и пригодны, то и без вашего содействия народ сам усвоит себе и распространит их; но я вполне убежден, что *ни возвращать, ни пускать* в народ что-нибудь насильственно ни под каким условием невозможно. Главная наша беда в том, что всякий, надевший на себя немецкий кафтан, не иначе умеет относиться к русскому простолюдину, как в грозных формах станового пристава, даже в таком мирном деле, как народное просвещение. Народная книга ведь — не какая-нибудь подьяческая повестка, которую можно пустить в ход» (стр. 77). «А между тем, в ожидании какой-то толковитой географии, вы желали бы в видах прогресса остановить в обращении народном старинные народные книги. Зачем нам, людям ученым, входить в эти дрязги? И без нас много охотников истреблять всякую зловредную книжную старину. Пусть Скалозубы для пресечения всякого зла изъясляют похвальное рвение: собрать все книги, да и сжечь... Нет, практика — дело самое щекотливое. И только в письме к вам из вежливости касаюсь я этого противного для меня предмета» (стр. 78). «Может быть, в практическом отношении для русской народности действительно нужны операторы вроде тех, которые избавляли крещеную Русь от Аввакумов, Лазарей и других пустосвятов; но этот вопрос вовсе не входит в круг моих исследований. Он действительно уже патологический; а я занимаюсь только литературой и искусством: то какой же я могу быть указатель при рекомендуемых вами практических ампутациях?» (стр. 81). «Вы ловили меня на славянофильстве, когда удостоивали меня следующих отзывов: «исследования г. Буслаева останутся односторонними; — г. Буслаев положительно ошибается; — г. Буслаев впадает в решительно одностороннее объяснение фактов. Г-н Буслаев положительно неправ тем, что забывает...» Одним словом, точно будто привели вы какого-то зловредного старовера в земский суд и даете ему острастку с подобающими внушениями. Позвольте мне из любви к археологии в этой сцене видеть остаток нашей родной старины и утешить себя мыслью, что еще на наш век хватит древнерусских нравов и обычаев. В том же дорогом для меня национальном смысле мне хотелось бы понять и ваши преследования за мою любовь к науке без отношения к практике

и за мои увлечения археологиею и другими бесполезными предметами. «Долгое изучение породило в нем (говорите вы обо мне) обыкновенное пристрастие ученого... Господин Буслаев по своему влечению к древности... Не слишком ли г. Буслаев увлекается археологическим интересом русских памятников?» (стр. 26). Говоря безотносительно, увлечение интересами науки никогда не бывает слишком, потому что только увлечение, то есть воодушевление, и может поддерживать в ученом деятельность; но с точки зрения национальных русских преданий вся сущность науки содержится в практике. Того же мнения были и почтенные старцы, осудившие в XVI веке дьяка Висковатого<sup>34</sup>. Древнее верование в чернокнижие и доселе еще на Руси не вымерло и дает о себе знать опасением вреда от наук. А какие еще у нас науки, как сравнить с Западом? Между тем мы все чего-то от них боимся и даже, по старинной привычке, презираем и преследуем ученость. Много ли наша наука сделала для изучения Византии? А мы уж боимся византийства; только что начинает разрабатываться наша старина и народность, а мы уж боимся староверства и отсталости. Когда-то завели было в университетах философию и тотчас же испугались по старой памяти о треклятом чернокнижии» (стр. 83, 84).

Позвольте вас спросить, г. Буслаев: к кому относили эти слова, когда писали их? К г. Пыпину или к автору статейки «Свистка», то есть ко мне, или вообще к «Современнику»? Кого это вы намерены были называть Скалозубом, рекомендуя жечь книги; кого это вы намерены были выставить желающим действовать относительно народа в грозных формах станового пристава? Позвольте вас спросить: кого это вы благоволите называть «операторами вроде тех, которые избавляли крещеную Русь от Аввакумов, Лазарей и других пустосвятов», то есть, которые казнили и жгли староверов; кого вы, г. Буслаев, благоволите называть этими «операторами, рекомендующими практические ампутации»? О, добрейший г. Буслаев, вы не сообразили, что ваши слова по смыслу вашей речи относятся к нам, сотрудникам «Современника» вообще, или в частности ко мне, автору рассердившей вас статейки. Ведь винить нас в наклонности к сожиганию книг и людей вовсе не умно, — вы сами это знаете; как же вы это наговорили таких неумных вещей?

Видите ли, г. Буслаев, вы очень расположены взводить недобросовестность, злонамеренность, намерение клеветать и всевозможные дурные черты характера на людей, затронувших ваше самолюбие. А во мне вот совершенно нет этой склонности: я почти никогда не нахожу нужды приписывать какому-нибудь дурному намерению человека поступок, который считаю за нехороший. Я прежде всего смотрю на ум человека; и если он поступил дурно, то почти всегда нахожу я достаточное объяснение тому просто в недостатке сил соображения у этого человека. После этого обыкновенно говорю себе: «ах, как жаль, что такой добрый, благонамеренный, честный человек не имеет ума, соответствующего достоинствам его характера». Вы простите мою откровенность: эту мысль я применяю и к вам. Если нам с вами даст бог прожить мафусаиловы лета и каждый год вы по нескольку раз будете делать такие же неловкости, какую сделали



сочинением вашего письма к г. Пыпину, я ни разу не предположу в вас ни намерения несправедливо нападать, ни намерения вредить дурными намеками; не предположу никакой дурной мысли: ваш характер вечно будет представляться мне столь же благороден, столь же безукоризненно чист, как теперь. Я всегда видел и теперь вижу в вас только один недостаток — и, к счастью, такой недостаток, который нимало не портит репутацию человека, потому что не имеет никакого отношения ни к его характеру, ни к его доброй воле.

Вы трудитесь над своим предметом очень усердно; припишу ли я вашей злонамеренности то прискорбное обстоятельство, что наука не может пользоваться вашими трудами? Вы не догадались, что полемические выходки против невежества вашего покорнейшего слуги и его литературных друзей — не более, как полемические выходки, иногда остроумные, иногда неостроумные, но все-таки только полемические выходки; вы приняли их за чистую монету, — могу ли я приписать вашу недогадливость какой-либо злонамеренности? Добродушно поверив, что мы, так называемые свистуны, — действительно круглые невежды, вы вообразили, что не могло быть кем-нибудь из нас написано рассердившее вас замечание, и приписали его г. Пыпину; приписав его г. Пыпину, вы не сообразили, что не мешало бы вам справиться о достоверности вашей догадки, и всердцах излили свою желчь на г. Пыпина, оставив без всякого уязвления меня, истинного виновника ваших огорчений. Как предположу я тут какую-нибудь злонамеренность, когда все это очевиднейшим образом произошло лишь от недостатка сообразительности?

Добрый г. Буслаев! Вы до сих пор не догадались даже — согласитесь, что не догадались, ведь вы человек очень благородный и солгать не захотите, — вы не догадались до сих пор, что я имею указать вам еще одну черту вашей несообразительности. Какую? Попробуйте отгадать, не заглядывая в следующие строки. Нарочно поставлю точку и сделаю объяснение уже в следующем отрывке, чтобы удобнее вам было приостановиться здесь на широком пробеле между строками и подумать несколько минут: не удастся ли вам отгадать?

## V

Держу пари, что вы не догадались. А догадался каждый, у кого побольше сообразительности, чем у вас. Я хотел сказать вам вот что. Слушайте.

Из специалистов по части древней русской словесности и славянской филологии помещает статьи в «Современнике» один г. Пыпин. Других сотрудников по вашей специальности нет у нас никого. В прошедший раз я просил г. Пыпина написать

статью о вас. Он был так любезен, что согласился. И знаете ли, почему согласился? Вы опять не догадываетесь? Я вам расскажу все, как было дело, — у меня секретов нет никаких ни в чем.

Г-н Пыпин не раз и не два оспаривал в разговорах со мной (ведь я хоть и свистун, а люблю говорить об ученых материях) мое мнение о вашем значении в науке. Когда вышли ваши сочинения, мы, свистуны, стали говорить, что неловко не поместить в «Современнике» статью об них: вы имеете авторитет, о книге вашей было много толков; не может журнал умолчать о ней. Мы, свистуны, обратились к г. Пыпину с просьбой, чтобы он написал статью о вас. Он долго отказывался; почему отказывался, я не вправе сказать вам, потому что это — не мой секрет, а секрет г. Пыпина. А впрочем, если вам непременно хочется узнать, то я, может быть, успею получить у г. Пыпина разрешение, чтобы сообщить вам и публике эту тайну. Ну-с, так вот г. Пыпин долго отказывался писать статью о вас. Тогда я сказал, что если не напишет он, придется писать кому-нибудь из нас, свистунов. Г. Пыпин, как специалист, уважает в вас специалиста. Ему не хотелось, чтобы, например, я высказывал свое мнение о вашем значении в науке. Что делать, — понятная слабость специалиста к специалисту. «Если так, — сказал г. Пыпин, — я согласен избавить г. Буслаева от статьи, писанной вами». Эх, батюшка мой, г. Буслаев! отблагодарили же вы доброго человека за желание избавить вас от беды! Ну, догадываетесь ли хоть теперь, о чем я хочу сказать вам? Вот о чем: слишком плохую услугу оказали вы себе письмом к г. Пыпину. Когда представится «Современнику» надобность в другой раз говорить о вас, мы, свистуны, по-прежнему будем уговаривать г. Пыпина, чтоб статью о вас написал он. Но согласится ли он? А бог его знает! По крайней мере, прочитав письмо ваше, он сказал, что разбирать ваших сочинений нельзя человеку, не любящему полемических схваток. Ну, что же теперь, если он останется при этом решении? Ведь поневоле придется писать статью о вас мне или другому какому-нибудь свистуну. Как вы полагаете, похожа будет эта статья на статью г. Пыпина? Много мы найдем в вас ученых достоинств? И как вы полагаете, во многих из ваших почитателей изменится мнение о них от статьи, писанной свистуном? Вероятно, вы еще не можете этого сообразить. И желаю вам как можно дольше оставаться в неизвестности на этот счет.

Затем, свидетельствуя совершеннейшее почтение к вашему трудолюбию и глубочайшее уважение к вашему благородству, имею честь остаться всегда готовый к какому вам угодно учейнейшему спору. В ожидании этого лестного моему невежеству спора собираю розданные разным знакомым книги свои по предмету, некогда, к сожалению, и меня занимавшему.

Р. С. Спешу предупредить вас об одном обстоятельстве,

чтобы избавить вас от новых огорчений. Быть может, вам вздумалось бы сказать, что я неосновательно и бездоказательно произвожу желчь вашу от статейки «Свистка» и утверждаю, что эту статейку вы приписывали г. Пыпину. Пожалуйста, не говорите этого. Ведь вы знаете, что это правда, и знаете, что это всем известно в литературном кругу. Отрицая вещь, всем известную, вы только снова обнаружили бы опрометчивую несообразительность.

Р. Р. С. Быть может, также вам вздумалось бы отрицать мой рассказ о происхождении статьи г. Пыпина. Но предупреждаю вас, что рассказ мой совершенно верен истине, и сомнение в нем не повело бы ни к чему, кроме подробнейшего подтверждения моих слов.

## VI

Письмо г. Буслаева обратило на себя мое внимание потому, что воззрение г. Буслаева на старинную нашу литературу и излагаемые г. Буслаевым понятия о народности служат одним из оснований, на которых зиждется критика «Отечественных записок». Отделом критики заведуют в «Отечественных записках» гг. Дудышкин и Краевский. О мирозерцании г. Краевского я не буду говорить, потому что считаю это напрасным<sup>35</sup>. Я буду говорить только о г. Дудышкине, или, точнее выражаясь, для г. Дудышкина.

Мне очень понятны были многие совершившиеся на страницах «Отечественных записок» странности в прежние времена, лет за пять и за шесть, когда на обертке журнала выставлялось имя одного только г. Краевского. Начав после четырех или пяти лет, в которые не читал я русских журналов, пересматривать «Отечественные записки» за нынешний год, я уже не умею объяснить себе этих странностей, потому что на обертке журнала читаю: «издаваемый А. Краевским и С. Дудышкиным». К этому я не прибавлю ни слова, потому что г. Дудышкин не такой человек, как г. Буслаев. Он понимает вещи.

Говорить о достоинстве критического отдела в «Отечественных записках» я не хочу. Обращу внимание г. Дудышкина только на одно обстоятельство, да и то лишь потому, что приходится это кстати, по связи с предыдущими отрывками. Каким образом мог найти себе г. Дудышкин авторитет для себя в г. Буслаеве? Этого я не в силах понять, а я считаю себя человеком очень понятливым. Придумываю, придумываю и не могу придумать никакого удовлетворительного объяснения этому обстоятельству. Чаще всего приходит мне на мысль такое соображение. Г. Дудышкин не имел несчастья убить несколько лет на изучение славянской филологии и тому подобной суши. Как человек умный и не зараженный чрезмерным тщеславием, он и

не считает себя знатоком в этом деле (вовсе неважном для журналиста). Не воображает ли он, что о достоинстве мнений г. Буслая он точно так же не может судить собственным умом, как не можем мы оба с ним судить о достоинстве трудов Эри или Леверрье<sup>36</sup>, и что он должен принимать мнения г. Буслая на веру, как мы оба с ним принимаем на веру решения астрономов об орбите Нептуна? Очень может быть, что г. Дудышкин так думает. Но если так, смею его уверить, что напрасна такая его недоверчивость к себе в этом случае. Можно, и не будучи специалистом по филологии, судить о связности и правдоподобности воззрений какого-нибудь филолога на народную жизнь и литературу. Я попробую предложить г. Дудышкину несколько вопросов и уверен, что он не найдет их решение затруднительным для себя.

Если кто-нибудь станет говорить, что наши лубочные картины выше произведений Рафаэля по своей идее или что византийское влияние внесло живой элемент в нашу народную поэзию, — затруднился ли бы г. Дудышкин признать такого человека несколько свихнувшимся?

Если кто-нибудь половину статьи о какой-нибудь русской сказке набьет рассуждениями Микель-Анжело<sup>37</sup>, — затруднился ли бы г. Дудышкин признать статью эту за нескладицу?

Если кто-нибудь станет говорить, что о потребностях и чувствах русского простолюдина, живущего теперь, мы не в силах судить, пока не изучим старинные рукописи и не вызубрим немецкую грамматику Гримма с прибавлением исландской «Эдды» и санскритского словаря, и если этот человек будет доказывать, что по недостаточной разработке этих предметов у нас мы не можем заботиться о простолюдине с пользой для него, — затруднился ли бы г. Дудышкин похотеть над таким вздором?

Больше я ничего не скажу. Г. Дудышкин сам видит, что направление критического отдела «Отечественных записок» очень сильно должно измениться, если эти вопросы не покажутся ему затруднительными.

Сказать ли вам по секрету? Не мешает иной раз умному человеку взглянуть на дело подобно нам, свистунам, то есть без самоуничтожения перед вздором. Поверьте, от этого и образ мыслей у человека, от природы неглупого, становится яснее, да и статьи его журнала выигрывают.

Мы только так, кстати, упомянули об одном из тех оснований, покоясь на которых, критический отдел «Отечественных записок» возмущается нашею неосновательностью. А ведь если перебрать другие основания этого недовольства, оказался бы точно такой же вывод и об этих других основаниях. Но г. Дудышкин сам в силах будет рассудить, — лиха беда начат, ну, вот мы и сделали для него начало, — а там у него самого дело переборки пойдет как по маслу.

## VII

Горячность, горячность портит ваше дело, г. Громека, — говорим мы, переходя к отделу, называемому «Современною хроникой России». Кроме этого недостатка, все остальное у вас превосходно. Попробуйте быть немножко хладнокровнее, хоть на полчаса, хоть на четверть часа, — больше я от вас не потребую, потому что и четверть часа уже слишком тяжело для вас провести без вспышек, — благороднейших, прекраснейших вспышек. Я не хочу мечтать, чтобы захотели вы отказаться от них, да и преступно было бы, по вашему мнению, хотя несколько сдерживать в себе взрывы возвышенных чувств. Но так, для разнообразия, на четверть часа, только на четверть часа, из любезности ко мне постарайтесь быть хладнокровны; умоляю вас, если только возможно это для вас, попробуйте, в личное одолжение мне, даже улыбнуться вместе со мной. Сохранить хладнокровие, почувствовать расположение к веселой улыбке будет для вас нетрудно (если вы хоть сколько-нибудь способны к этому по натуре), потому что в моей беседе с вами не будет ни одного сколько-нибудь резкого или обидного слова для вас.

Начнемте воспоминанием о забавном случае давно прошедших лет, когда вы, прочитав одну мою статейку, сулили в наказание мне подарить вещицы, которые становились тогда не нужны вам. Зачем не сдержали вы обещания? Вот прошло с той поры больше двух лет; как вы теперь понимаете эту статейку? Все попржежнему? Или, может быть, согласитесь теперь со мной, что это была проделка довольно дерзкая и не совсем бесчестная? Так что же ваш обещанный подарочек мне, все думаете еще прислать? Или уж находите, что мне он так же не к лицу, как и вам? Я смеюсь при этом воспоминании — не улыбаетесь ли и вы?<sup>38</sup>

Улыбнулись? прекрасно; теперь не приходит ли вам охота улыбнуться вместе со мной и над следующей вашею страничкой, — да вы не примите моей улыбки в дурную сторону, в том смысле, что страничка эта нехорошо написана, — нет, нет, прекрасно: с горячим, искренним одушевлением, с чистейшею любовью к добру, с возвышеннейшим негодованием на злобу и порок, — нет, я только так улыбаюсь, как улыбался человек, знавший секрет ларчика, открывавшегося просто, над стараниями добрых людей, ломавших голову, чтобы раскрыть ларчик. Что это такое пишется в «Современнике»? спрашиваете вы: — какие убеждения у этих свистунов? Не отыскивается у них никаких убеждений, продолжаете вы и начинаете немножко сердиться. Какой-то журнал порицает нас, свистунов, за неуважение к почтенным личностям<sup>39</sup>. Это еще ничего, замечаете вы:

Водятся за этими негодными свистунами преступления гораздо худшие.

«Пусть бы гг. свистуны оскорбляли лица, сколько их душе угодно — мы за «этим не стоим: на Руси это не в диковинку, иногда даже выходит очень смешно; но когда они бросают грязью в лучшие человеческие верования» (позвольте мне вставлять свои заметки в вашу речь: например, какие же это «лучшие верования»? То, что Кавур облагодетельствовал Италию, или что стоит только рот разинуть, то и влетит в него жареная утка? Или что плуты не обманывают людей?), «когда они осмеивают всякое благородное увлечение» (например, увлечение розгами или вещами, из которых выходит нечто гораздо худшее розог — смотри вышеуказанные страницы «Современной хроники», «Отечественных записок»), «когда они прямо объявляют, что весь мир наполнен одними негодьями и мошенниками» (позвольте вас спросить: как мы, по вашему мнению, думаем о Гарибальди и людях, стоявших за ним, или о Брайте, о хартистах \* и т. д., и т. д.? Вы полагаете, что мы их считаем негодьями и мошенниками? Ах, как мы <были бы. — Ред.> рады, если бы кое-какие другие люди разделяли ваше понятие о нас, — не все люди, а только некоторые, одинаково занимательные для нас и для вас), «и когда, наконец, знаешь, что это делается из одного только «фокусничанья» (вы так думаете? поздравляю вас. Напрасно вы не пишете статей о Рабле и Диккенсе, — вы, должно быть, отлично понимаете их) и привлеченья «почтеннейшей публики, тогда мы понимаем, как далеко может простираться негодование и презрение к подобному художеству». (А мы давным-давно понимали это, читая благородно-негодующие статьи девицы Зражевской<sup>40</sup> о Жорже Занде; статьи эти, дышащие благородством невинности, служили украшением «Маяка»). «И есть люди, которые простодушно верят». (Какие чудачки!), «что в этом фиглярстве скрывается глубокая, недосказанная мудрость! А все потому, что она не досказывается.. (А ваша как? досказывается?) «да, вероятно, никогда и не доскажется до конца: мудрость, как известно, вещь бездонная, и ее никогда не исчерпать, по крайней мере, до тех пор, пока останутся не переведенными на русский язык многие французские книжки...» (А вы, должно быть полагаете, что австрийские стихотворения Якова Хама действительно переведены Конрадом Лилиеншвагером если не с австрийского, то с французского. Хорошо, хорошо.) «А между тем, эта мудрость систематически убивает веру в людей» (т. е. в каких же? в Кавура и Шмерлинга? Или в Державина и Карамзина? Или в Пинетти и г. Кокорева? Вы за которых больше стоите?), «в их честность и великодушие, в их любовь и дружбу, в возможность бескорыстного с их стороны» (т. е. со

\* Чартистах. — Ред.

стороны Кавура и Шмерлинга или со стороны Дост-Мохаммеда афганского и Саид-Паши египетского, или со стороны Миреса и Перейры?) «самопожертвования... Куда же ведет эта мудрость» (не туда, куда ведет легковерие), «чего хочет» (того, чтобы люди не давались в обман), «каких героев przygotowляет для будущего?» (Таких, которые не были бы похожи ни на Дон-Кихота, ни на Сент-Арно или Эспинасса<sup>41</sup>.) «Можно поручиться, что из ее школы не выйдет ни одного Пирогова». (Нет, не выйдет, потому что г. Пирогов старался связать вещи несовместные — розги с гуманностью: по-нашему, что-нибудь одно: или секи, или не секи, —

А смешивать два эти ремесла  
Есть тьма охотников, мы не из их числа<sup>42</sup>.

Г. Пирогов не виноват в том, что был непоследователен: он в такое время воспитался. Но стыдно было бы нам, если бы мы ставили свой идеал на том же уровне, на каком стоял он во времена воспитания г. Пирогова<sup>43</sup>.) «Можно быть уверено, что она никого не подвинет ни на какое общественное дело: для этого требуется вера в человека, пламенная вера» (что за Африка такая!) «и увлечение» (родной мой, увлекались и мы, подобно вам, да увидели, что нас дурачили), «а не холодная, бездушная насмешка» (ну, это действительно не по вашей части, и растолковать этого вам не берусь я, пока вы не охладеете хотя немножко), «все разъединяющая» (например публику с г. Кокоревым и другими ее благодетелями) «оскорбляющая» (все тех же г. Кокорева с Кавуром) «и способная только подвинуть на бросанье из-за угла камешков и грязи». (А вы прямо в лицо бросаете грязь тому, кого считаете достойным забрасыванья грязью? Или, по-вашему, ни в кого не следует бросать грязью, даже и в Гайнау не следует?)<sup>44</sup>.

«Уверяют, что свистуны служат великому делу отрицания, без которого, как известно, нет движения вперед. Это неправда! Не так действуют герои отрицания» (куда нам лезть в герои!), «которым вздумали бы подражать свистуны. Те ненавидят многое, потому что многое любят, во многое верят, на многое надеются; они сегодня радуются, завтра рыдают; у них насмешка бичует и жжет, потому что идет из сердца, полного страстной любви к человеку и беспредельного негодования к неправде». (А знаете ли что? — Без похвальбы сказать, очень многие нас любят за то, что считают именно такими, вот ни дать ни взять, как вы изволите описывать героев-то отрицания.) «У наших свистунов нет сердца» (что за притча! у курицы сердце есть, а у нас будто нет; есть, родной мой, есть, да еще и очень сердитое, только не на вас), «нет веры» (да что же верить-то, когда знаешь? Если, например, знать, что хорошее — хорошо, а дурное — дурно, то это убеждение покрепче будет, как  $2 \times 2 = 4$ );

«они считают постыдным хоть раз чем-нибудь увлечься в жизни» (увлекались, золотой мой, да еще как, — не хуже вас самих; а теперь до такой поры дожили, что рассудок да опыт житейский верх берут); «они никого и ничего не любят» (что за изверги рода человеческого! — да хоть самих-то себя любят ли? А если самих себя любят, значит и свое все любят. Ну, а русская-то земля чья же как не их земля? Подумайте-ка хорошенько: может выйдет, как умом-то разумом прикинете, что и ее они любят. А ну, ну: подумайте, несравненный наш, подумайте); «они смеются над любовью» (ну, да ведь любовь любви рознь; над иною не то что посмеяться, а даже похохотать следует, — например если бы какой-нибудь близорукий в нестерпимое рыло втюрился, — да погодите, еще и сам он над собою посмеется, когда подскочит поцеловаться, да и увидит вместо красавицы обезьянью харю; а вас, пожалуй, и бранить станет, если вы его к этой любви возбуждали, в этом обольщении поддерживали); «они считают обязанностью порицать без разбора все, что попадется под руку» (то есть «Заметки» ли «праздношатающегося» в «Отечественных записках»; статьи ли г. Я. Грота в «Русском вестнике», — что за ехидные такие люди!); «они занимаются искусством для искусства» (а вот что я вам скажу: когда откуда заимствуетесь мыслью, то надобно указывать источник; вы бы упомянули, что это «Русский вестник» говорит; а спросите-ка теперь «Русский вестник», рад ли он, что толковал об этом, — вероятно, сами видите, что не должен быть рад [«а не для людей, которых считают по большей части мошенниками и идиотами, нуждающимися только в том, чтобы их хорошо кормили и не секли розгами» (да хоть бы этого добиться; остальное-то люди уж сами для себя приобрели бы)].

Вот мы хоть на этом пока и остановимся. А то уж совсем вас утомили воздержанием в хладнокровии. Но что же, согласитесь, что оно хотя и тяжело вам с непривычки рассуждать хладнокровно, а все-таки полезно. Вот горячились вы, горячились и никак не могли добиться, чего мы хотим, что любим; теперь же, только четверть часа побеседовали мы с вами хладнокровно, и открылось вам все: любим мы родину свою, а хотим — добра ей, — только и всего.

Да знаете ли что? Если бы хотя немножечко похладнокровнее были вы, и без беседы с нами узнали бы это от других, от кого хотите, к примеру сказать, хотя бы даже от самих «Отечественных записок». Не верите? Не замечали вы в своем журнале таких указаний? Так лишь оттого не замечали, что очень уж в большом азарте были, на страницу-то смотрите, а что на ней написано-то, не разберете, потому что в глазах от горячности туман стоит. А то увидали бы, как не увидеть — отпечатано четко, хорошо таково. Хотите покажу? Возьмите, например, третью книжку «Отечественных записок» нынешнего го-



да, разверните «Критику» на стр. 9; на этой странице читайте строку 29-ую и две следующие. Ну-с, видите, что на них написано?

Глумления «Современника» не щадят ничего, кроме двух-трех предметов, в самом деле священных: свободы женщины и простолоудина.

Позвольте объяснить? Или и сами понимаете?

Все-то мы с вами, г. Громека, беседовали так хладнокровно; а вам, вероятно, уж давно хочется погорячиться? Извольте, извольте, для вас готов на все. Закончимте беседу несколькими горячими словами. Эх, горе наше с вами: стихов писать не умеем, в стихах бы оно лучше вышло, ну да оно и прозой горячо выйдет, с душою, с любовью, с верою.

Вот мое мнение. Принять или не принять его — ваша воля:

Очень мало на свете людей, в которых честность соединена с пронизательностью. Об этих людях мы с вами довольно поговорили. Далее, есть на свете не очень большое количество плутов и неисчислимое множество простяков. Плуты обманывают простяков; льстят им и обирают их; запугивают их и помыкают ими. Правда или нет? Разумеется, плуты по своей малочисленности ничего не могли бы сделать, если бы действовали только своими силами. Но из самих простяков очень многие так и лезут из кожи вон отстаивать плутов. Из какой прибыли? Ровно ни из какой, бескорыстно, бескорыстно так и лезут вон из кожи. К этому разряду простяков я причисляю вас. Не обижайтесь. Простяками в вашем роде бывают люди всякого ума: и глупые, и умные, и гениальные даже, — в пример вам приведу Лафайета, Ламартина, Вильгельма фон Гумбольдта, самого Штейна. Если человек глуп, это беда неизлечимая. Если же он не глуп, а только простяк, то излечивается от своего недостатка он тотчас же, как только заметит его в себе. Прямо никто из людей не вступает в жизнь пронизательным: это — качество, развивающееся рефлексиею. А рефлексия требует хладнокровия.

Соглашайтесь или не соглашайтесь со мною, это — повторяю — как вам угодно.

Надеюсь, что мы расстанемся друзьями.

## VIII

А вот как раз поспела для украшения моей коллекции 7-я книжка «Отечественных записок» с крупным полемическим алмазом, который постараюсь я добросовестно отшлифовать в превосходнейший бриллиант. Алмаз находится в изобильном редкостями руднике критического отдела. Оно как раз мне с руки: ведь в прежних отрывках я мало занимался этим отделом, так что

могло бы это огорчить заведывающего им г. Дудышкина, могло бы показаться г. Дудышкину злостной невнимательностью к нему. Хорошо, что могу я теперь загладить эту свою вину, отвратить от себя этот упрек.

Эх, г. Дудышкин! где можно бы неспециалисту иметь смелость собственного суждения, там вы не отваживаетесь вникнуть в дело своим умом; а в чем для разбора дела нужно быть специалистом, вы полагаетесь на собственное суждение. Вот, к примеру сказать, хотя бы опровержение, написанное г. Юркевичем против моих статей об антропологическом принципе в философии, — ну, может ли тут неспециалист рассудить, с толком или без толку пишет г. Юркевич? Ведь тут все дело состоит в методологических, психологических, метафизических тонкостях; тут такого рода дело, что глубокомысленно призадумался бы сам Куно Фишер<sup>45</sup>, этот великий мудрец, перевод из которого помещен в июльской же книжке «Отечественных записок». Чтобы понимать эти хитрые подразделения и подразличения, нужно быть специалистом. Вот, например, г. Катков понимает эти вещи. Ему понятно, что говорит в своей статье г. Юркевич; он увидел, что воззрение г. Юркевича близко к направлению, которое считает справедливым сам он; и г. Катков не сделал ошибки, поместив в своем журнале извлечение из г. Юркевича с большими похвалами ему. Я не разделяю этого направления, потому резко отзываюсь о всяких его последователях; но что они довольны друг другом, этому так и быть должно. Ну, а вы-то с «Отечественными записками» с какой стати восхитились статьей г. Юркевича? Вы разве полагаете о себе, что держитесь того же направления? Представьте себе, к вашей беде, заглянул я на оборотную страницу верхнего полулиста обертки того самого 7-го № «Отечественных записок», в котором вы оттиснули свое восхищение г. Юркевичем. Что же я увидел на этой странице? Крупным шрифтом напечатано следующее объявление:

#### «ОТ РЕДАКЦИИ»

«Так как многие из читателей изъявили желание прочесть все сочинения Бокля «History of civilisation in England» \* в русском переводе, то редакция «Отечественных записок», напечатав уже шесть глав этого сочинения, намеревается, если не встретит особенных препятствий, перевести его в целости и помещать в журнале в том самом порядке, в каком будет выходить английский подлинник».

Знаете ли, какая комическая вещь выходит из этого? Вот какая. За исключением очень немногих страниц в отделе об энци-

\* «История цивилизации в Англии». — Ред.

клопедистах, которых и вы не одобрите, когда прочитаете их, и я не одобряю, — весь первый том Бокля прямо противоположен тому направлению, которым вздумали вы восхищаться в г. Юркевиче. Вот история-то! Уж и подлинно можно назвать ее «историей цивилизации в «Отечественных записках».

Но вы не огорчайтесь шуточкою, какая вышла от вашего объявления о переводе Бокля: вы превосходно делаете, что переводите его; от всей души желаю, чтобы не встретили вы препятствий в этом очень полезном деле. Русская публика будет вам благодарна за него.

Хотите, я расскажу вам, как произошел в вас психологический процесс, по которому, печатая Бокля, восхитились вы г. Юркевичем? Если вы увидите, что я не ошибусь в объяснении такого изумительного происшествия, то вот вам и будет доказательство, что я — великий мастер производить психологические наблюдения и законы психологии знаю как свои пять пальцев. А согласитесь, что я вызываюсь на пробу очень трудную, потому что разбираемый мною психический акт необычайно мудрен и, повидимому, нарушает все законы мышления: хвалить то, истреблению чего содействуешь печатанием превосходного сочинения, — ведь это психический феномен, которого не распутал бы сам Кант. А вот я распутаю, подведу его под общие психологические законы.

*Закон первый.* Незнающий влечется подражать знающему. «Русский вестник» похвалил г. Юркевича, вы повлеклись хвалить его.

*Закон второй.* Сладко слышать брань на того, кого сам бранишь. Г. Юркевич вооружается на меня; вы также вооружаетесь; потому вам сладко слушать г. Юркевича.

Углубитесь в самого себя, наблюдайте умственным оком ваш психический процесс, вы увидите, что мое объяснение безукоризненно верно.

Но, согласитесь, тяжело вам было это наблюдение вашего психического процесса. Согласитесь, вас беспрестанно отвлекало от этого трудного самонаблюдения мелькание разных посторонних делу представлений, вроде следующих: «нет, я не по примеру «Русского вестника» нашел, что г. Юркевич прав, я сам догадался об этом; я беспристрастен: я понимал сущность спора; направление г. Юркевича — мое направление; я не за то восхитился им, что он пишет против Чернышевского», и т. д., и т. д. — согласитесь, эти иллюзии так и влезали насильно в ваше самосознание, и очень трудно было вам отбиваться от них. Но любовь к истине восторжествовала в вас над этими обольщениями; но напряженное внимание к действительному ходу вашего психического процесса отогнало эти мечты, и вы, наконец, постигли два вышеприведенные психические закона и бестрепетно подвели под них странный факт похвалы г. Юркевичу со стороны журнала, пере-

водящего превосходную книгу Бокля. Честь вам и хвала, Ваш подвиг был труден, но вы совершили его.

Видите ли теперь, как тяжел анализ самосознания, каких особенных приемов он требует? Видите ли, что человеку, специально не занимавшемуся этим предметом, нельзя судить о достоинствах или недостатках статей, к нему относящихся? Зато и плоды этой науки очень вкусны для самолюбия, — не правда ли?

А если правда, то я надеюсь, что вы не откажетесь в благодарность мне за этот урок пересмотреть вместе со мной содержание статейки против меня, которая помещена в июльской книжке «Отечественных записок», в отделе, находящемся под вашим заведыванием (г. Краевский, вероятно, не будет претендовать на то, что я обращаюсь исключительно к вам) <sup>46</sup>.

## IX

После некоторых прелюдий, относящихся к языку, статейка, восхищающаяся г. Юркевичем, упоминает о разборе философии г. Лаврова, который был сделан г. Антоновичем в IV книжке «Современника» нынешнего года. Упоминание об этом разборе основывается на том, что он по направлению сходен с моими статьями об антропологическом принципе. Положим, сходен, но следовало ли вам заговаривать об этой статье, которая отозвалась на вашем журнале уморительными последствиями, показывающими, что вы как прочли ее, так тотчас же и изменили свое мнение о достоинстве трудов г. Лаврова. Уж лучше молчали бы вы. А если непременно хочется вам говорить, то признались бы, что статья г. Антоновича раскрыла вам глаза <sup>47</sup>.

Но вам хочется побранить ее. Любопытно послушать, за что вы ее браните. Вот единственный недостаток, который вы в ней нашли: «никакого умственного напряжения не нужно, чтобы понять все, что говорит г. Антонович. Ясность (этой статьи) поразила всех». Сообразите сами, достоинством или недостатком должна считаться ясность? Разумеется, каждый неглупый человек почтет, что вы хвалите статью г. Антоновича, выставя в ней такое качество. А вы думаете, уронили ее этим. Как случилась с вами эта вторая «история вашей цивилизации», я опять расскажу вам.

Вы наслушались, что философия — предмет головоломный. Вы пробовали читать философские статьи вроде произведений г. Лаврова и ровно ничего не понимали. А г. Лавров был, по вашему мнению, хороший философ. Вот и состроился у вас в уме силлогизм такого рода: «философии я не понимаю; следовательно, то, что я могу понимать, — не философия». Вы ведь так прямо и говорите: г. Антонович пишет ясно, стало быть, нет философии

у него в статье. Но ведь это прилично было вам думать, когда вы о философии судили по статьям г. Лаврова. Ну-с, а ведь теперь вы уже находите, что философские статьи г. Лаврова были плохи (признавайтесь, что находите: ведь у нас есть улика тому); так не следовало ли бы вам рассудить таким манером: «о каком бы предмете ни заговорил человек, образ мыслей которого туманен, речь его будет туманная, головоломная. А сама по себе философия, быть может, и не бог знает какая непонятная наука». Вы не ошиблись бы в этом.

Но о статье г. Антоновича говорится только так, кстати, что вот, дескать, она совершенно такая же, как и статья Чернышевского об антропологическом принципе, — философии не может быть в этих статьях, потому что они ясны. Затем говорится уж обо мне одним.

«Статья г. Чернышевского вызвала ответ в г. Юркевича, в «Трудах Духовной Академии киевской», такой ответ, который поставил г. Юркевича сразу на первое место между всеми, кто когда-либо писал у нас о философии» (значит выше Белинского, у которого очень много относящегося к философии, выше автора «Писем юб изучении природы»? \* Хорошо. Но ведь не выше же г. Гогоцкого и г. Ореста Новицкого? Зачем обижать этих великих мыслителей той же самой школы, как и г. Юркевич?) «Только помним мы статьи И. В. Киреевского» (отлично! так добрый и почтенный И. В. Киреевский был, по-вашему, действительно философ, а не просто наивный мечтатель? Но ведь уж если так, вы должны признать своим главнейшим авторитетом покойного Хомякова<sup>48</sup>. Так вы кстати уж переименовали бы свой журнал из «Отечественных записок» в «Русскую беседу» или «Возобновленный Москвитянин»), «отличавшиеся тою простотою и ясностью философского изложения, с которою мы встретились у г. Юркевича. Знание систем философских, полное усвоение предмета и самостоятельное к нему отношение — вот заслуги г. Юркевича» (дай бог ему всяких совершенств!). «По направлению своему — он идеалист, и точки опоры в его учении так глубоко им обследованы и тонко проведены, что на русском языке мы ничего подобного не читали» (помилуйте, г. Гогоцкий точно так же глубоко и тонко все это исследовал, «и в этом совершенно согласны с «Русским вестником» (так же, как я во всем совершенно согласен с «Горным журналом», — предмета не знаю, статей не понимаю, но, полагаю, что они писаны людьми знающими, потому и принимаю все их слова на веру), «который распространил эту статью. Перепечатывать статьи мы не станем; мы приведем из нее два только места: одно «о превращении раздражения нерва в ощущение» и другое об изменении» «количественного» в «качественное». На этих двух положениях все остальное

\* То есть А. И. Герцена. — Ред.

держится» («Отеч. Зап. Русск. литер., стр. 41, 42). Но прежде того выписывается окончание статьи г. Юркевича, очень сильно поражающее меня, как невежду. Ну, хорошо, — если я невежда, так вы рассудили ли, что вам-то не следовало бы говорить об этом? В «Русском вестнике», например, я не писал; он не компрометирует себя толками о моем невежестве. А ведь в «Отечественных записках» я довольно много писал в начале своей литературной деятельности, — так у вас, значит, невежды могут бывать сотрудниками, да еще такими, которыми редакция дорожит?

Напрасно вы повторяете чужие слова о моем невежестве, г. Дудышкин; другие журналы могут это говорить, а вашему журналу неловко. Приведа отзыв г. Юркевича о моем невежестве, «Отечественные записки» делают выписку из него же о том, что «пространственное движение нерва не есть еще непространственное ощущение», и о том, что «переход от количественного к качественному ясен только для одного «Современника», для всех же других составляет необъяснимую задачу». Видите г. Дудышкин, о каких технических тонкостях рассуждает г. Юркевич, а вы беретесь судить о его статье, решаете, что он прав, когда не умеете даже различить, в каком духе он пишет, и не расходится ли он, например, с вашим собственным Боклем ровно настолько же, насколько со мною. «Отечественные записки» продолжают:

«Читатель видит по этим выпискам, которые могут дать понятие о прекрасной статье г. Юркевича, заключающей в себе целый трактат о философии, видит, что имеет дело с человеком, хорошо знающим предмет» (видит или нет читатель, это как случится; а сами-то вы видите ли, или только с чужих слов говорите?). «Г. Юркевич не прибегает к площадным шуткам, чтоб задобрить читателя, не боится подходить к предмету и сказать: это еще не доказано никем, этого мы не знаем, хотя имел бы гораздо больше поводов, нежели г. Чернышевский, говорить с уверенностью. По крайней мере, ясно одно, что такое возражение заслуживает подробного ответа». (Уверю вас, что не заслуживает, с моей точки зрения. Если бы какой-нибудь ученый стал доказывать, что ошибаетесь вы, отвергая алхимию или кабалистику, вы почли ли бы его сочинение достойным подробного опровержения? Как вы смотрите на ученых, держащихся алхимического или кабалистического учения, так я смотрю на школу, к которой принадлежит г. Юркевич. Хороша или дурна теория, которой держусь я, об этом может думать каждый, как ему угодно; но что человек, держащийся такой теории, должен считать смешными и пустыми возражения, делаемые теоретиками школы, к которой принадлежит г. Юркевич, это — факт, известный каждому специалисту; вы удивляетесь этому лишь оттого, что взаимные отношения разных философских направлений плохо известны вам.) «Что же делает г. Чернышевский? А то же, что он делает

всегда, когда у него потребуют серьезного ответа: отделяется неповадительно развязностью» (то есть когда ж это «всегда»? Я в течение нескольких лет не вел никакой полемики и ровно ничего не отвечал ни на какие вызовы и возражения, следовательно, не могло быть ни развязности, ни неразвязности в моих ответах по той простой причине, что ответов вовсе не существовало; а прежде, когда вел полемику, случилось мне писать огромнейшие и обстоятельнейшие возражения на заметки против меня), «которая, наконец, переходит в дерзость по отношению к г. Юркевичу» (что делать? Если вы уважаете, а я не уважаю известное направление, то мои отношения к нему будут вам казаться неповадительно дерзкими. Точно таковы же кажутся людям, уважающим направление г. Аскоченского<sup>49</sup>, ваши отношения к нему). «Мы уверены, что последователи г. Чернышевского найдут такой ответ крайне остроумным. Вот что говорит г. Чернышевский» («Отечественные записки», «Русская литература», стр. 55). Тут выписана первая половина моего отзыва о статье г. Юркевича; затем следует:

«Как вам нравится этот ответ! Другими словами г. Чернышевский говорит: вы несчастный человек, г. Юркевич, потому что учились в семинарии и учились по плохим руководствам» (что ж, разве это неправду я говорю?). «А вот я потом достал славные книжки: в них написано все то, что я говорю. Поверьте мне, и если вы еще не устарели, то я могу пособить вашему горю, пришлю вам мои книжки. Из них вы и увидите, что я прав!» (Что ж, мне кажется, что тут я выразил доброжелательность; ну, скажите, а вы разве иначе отвечали бы человеку, который, например, делал бы против ваших историко-литературных статей возражения по учебнику г. Зеленецкого?)<sup>50</sup>.

«Нам эти слова напомнили блаженной памяти барона Брамбеуса, который всегда отвечал в этом роде, когда Белинский заставлял его отвечать категорически. Только барон Брамбеус отвечал часто гораздо остроумнее г. Чернышевского, например, он отвечал так иногда: «а когда-нибудь на досуге напишу вам ответ на латинском языке». Но теперь и барон Брамбеус не писал бы таких ответов, потому что времена переменялись и можно» (да? как вы счастливы!) «отвечать на то, что спрашивают». В те злополучные времена, когда наша философия крылась под эстетическими рецензиями на Гоголя, Жорж Занда, Сю, противники Белинского, к которым принадлежал Сенковский, чтоб вести спор околицей, переименовали мадам Дюдеван в г-жу «Спередка» и разыгрывали на эту тему свои замысловатые рецензии<sup>51</sup>. И тогда подобные рецензии приводили в омерзение: что же сказать, когда ту же проделку употребляет г. Чернышевский с г. Юркевичем в споре первой важности, в вопросе, поставленном ясно? Если барон Брамбеус и в то злополучное время, в которое жил, упал в общем мнении за подобные проделки, и

публика отвернулась от него, то чего же хочет г. Чернышевский— в наше?»

Вы изволите сравнивать меня с бароном Брамбеусом? Ну, что ж, если разобрать это сравнение, то ведь окажется, что вы употребили его, не сообразив, что из него выходит.

Дело идет об обширности моих знаний. Я похож на барона Брамбеуса, то есть на покойного Сенковского. Кто же сомневается, что Сенковский владел знаниями изумительно обширными? Что ж из этого выходит о моих знаниях, если я похож на него? Вот что значит неловкость в полемике — хотели сказать, что я невежда, а из ваших слов оказалось, что вы сами считаете меня человеком очень обширных сведений. Куда же вам полемизировать?

Но я похожу, по вашим словам, на Сенковского тем, что люблю отшучиваться от возражений. Хорошо. Почему же Сенковский любил отшучиваться? Потому что был человек очень сильного ума, находивший, что при своем уме имеет право презирать противников. Это вы хотели сказать обо мне? Должно быть, не это, а из ваших слов это выходит. Благодарю вас: вы внушаете читателю мысль, что я — человек очень сильного ума, чувствующий свое превосходство над своими противниками. А ведь действительно чувствую (и вы сами наверное чувствуете) мое превосходство над вами. Что ж делать, не могу не чувствовать: вы слышком плохо полемизируете.

Но Сенковский упал в общем мнении, — вы предсказываете ту же судьбу и мне. Только напрасно вы наговорили лишнего для вашей цели, наговорили таких вещей, которыми прямо уничтожается во мне это опасение. Вы упомянули, что Сенковский вооружался против Белинского, Гоголя, Жоржа Занда, то есть против того, что я защищаю. Стало быть, если Сенковский упал за свое направление, то меня ждет участь прямо противоположная. Я буду возвышаться в общем мнении. Это вы хотели сказать? Нет, не хотели? Так зачем выходит это из ваших слов? Плохо, плохо вы полемизируете. Посмотрим, что-то у вас дальше.

«Полноте, г. Чернышевский! в наше время нельзя всего знать — и естественных наук, и философии и политической экономии, и истории всеобщей и русской, и литературы. Кто все это знает, тот ровно ничего не знает. Эту, по крайней мере, аксиому затвердила наша литература, и ее мы можем привести против вас. А вы ведь все знаете! Это подозрительно что-то» («Отечественные записки», июль, Русская литература, стр. 56, 57).

Да кто вас уверял, что я все знаю? Всего никто не знает: ни Монтэн<sup>52</sup>, ни Вольтер, ни Гейне, ни даже сам Бэль не знали. Неужели я вам должен объяснять разницу между начитанностью и специализмом, между специальным ученым, который двигает вперед одну науку или одну отрасль науки, и между журналистом, которому довольно быть образованным человеком, который



только популяризирует выводы, сделанные учеными, только осмеивает грубые предрассудки и отсталость? Неужели вы не сообразили, в какое смешное положение ставите себя вы, журналист, притворяясь будто не знаете, что такое журналист? Не постигаю, что за радость выставлять вам себя человеком, ничего не понимающим, — даже своей профессии. Неужели, по-вашему, журналист должен писать только о том, в чем он специалист? Да ведь если так, то журнал обратится в *Comptes rendus*\* парижского Института.

Но вы интересуетесь лично мною: вам угодно знать, ученый ли я человек? Извольте. Давно уж не занимаюсь я специально ничем, кроме политической экономии. Прежде занимался я кое-какими другими предметами довольно усердно, так что хотя перезабыл много мелочей из них, но судить о том, что пишут по этим предметам другие, очень могу. Что тут удивительного? Но прежде всего я по профессии — журналист, подобно вам, то есть человек, старающийся знать успехи умственной жизни по всем вопросам, интересующим вообще всех образованных людей. Вы так понимаете профессию журналиста или нет?

Или вам все не то хочется узнать, а то, как обширны мои знания? На это могу отвечать вам только одно: несравненно обширнее ваших. Да это вы и сами знаете. Так зачем же вы добились получить печатно такой ответ? Нерассудительно, нерассудительно вы подводили себя под него.

Да вы, пожалуйста, не примите этого за гордость: есть чем тут гордиться, что знаешь гораздо больше, нежели вы. И опять не примите этого так, что я хочу сказать, будто вы имеете слишком мало знаний. Нет, ничего-таки: кое что знаете и вообще вы человек образованный. Только напрасно вы так плохо полемизируете. Ну что, прямо я отвечал или все отшучивался от ответа?

Далее следует выписка из физиологии Льюиса<sup>53</sup> о различии физиологических процессов от химических. Защитник г-на Юркевича в «Отечественных записках», воображая, что г. Юркевич смотрит на это дело одинаково с Льюисом, говорит:

«Сравните этот отрывок из Льюиса с тем, что говорит г. Юркевич, и вы увидите, что нашему киевскому профессору известны последние исследования не хуже г. Чернышевского. Следовательно, он знает не одни семинарские тетрадки и учебники, как заверяет г. Чернышевский. Мы это говорим только для тех, которые думают, что все сказанное сразу, очертя голову» (т. е. кем же это? мною, что ли?) «непрененно и справедливо; а у нас, к сожалению, таких людей очень много» (ну, ловко ли вы полемизируете, признавая тут, что у нас очень много людей, одобряющих мои статьи? Эх, несообразительность-то какая! А еще туда же полемизировать хотите!). «Пожалуй, подумали

\* Отчеты, «записки». — Ред.

бы, что г. Юркевич — схоластик, а г. Чернышевский — прогрессист!»

Вам показалось, будто между словами г. Юркевича и Льюиса есть сходство; в словах-то есть сходство, да в смысле-то слов нет его. Вы понимаете ли, к чему клонит дело г. Юркевич? К поддержке идей прямо противоположных — чему бы, как это выразить? — ну, хоть так скажу: прямо противоположных идеям Бокля, которого вы переводите. А Льюис вовсе не к тому ведет дело. Он только доказывает, что каждая отдельная наука рассматривает частные видоизменения общих законов природы в особенных условиях. Прочтите у Льюиса всю главу, из которой отрывок взяли вы, и вы убедитесь, что мысли г. Юркевича от его мыслей так же далеки, как от моих. С Льюисом-то я совершенно соглашаюсь, а спросите-ко у г. Юркевича мнение о школе, к которой принадлежит Льюис, он вам таких любезностей о ней наговорит, что вы с своим Льюисом жизни не рады будете, если дорожите мнением г. Юркевича. Но с вами надобно говорить яснее. Ведь для вас все еще остается в тумане предмет, за который спорил против меня г. Юркевич. Извольте. Объясню это дело по возможности.

Вы видите ли, по крайней мере, то, что я с вами делаю? Я не упускаю почти ни одного из ваших слов, беру вашу речь целиком. Но зачем я это делаю? затем ли, чтобы соглашаться с вами? Нет, я делаю вставки к вашим словам, переставляю их, переворачиваю, и выходит смысл, противоположный тому, какой они имели у вас. Например, вы говорите, что я невежда; я перебираю ваши слова, и выходит из них, что я человек чрезвычайной учености; вы говорите, что я затрудняюсь отвечать на возражения, я опять перебираю ваши слова, и выходит из них, что вы сами признаете меня несравненно сильнее людей, делающих мне возражения. Понимаете ли теперь, как и для чего я пользуюсь вашими словами? А между тем ведь я воспользовался ими, не правда ли?

Вот точно так же пользуется трудами естествоиспытателей школа, к которой принадлежит г. Юркевич. Она пересматривает труды добросовестных специалистов, чтобы выворачивать факты в пользу теории, прямо противоположной взгляду этих естествоиспытателей.

Вы, по всей вероятности, находите, что я искажаю смысл ваших слов? А я полагаю, что вы сами не сообразили, что такое говорили, и что я подмечаю в ваших словах истинный смысл их, которого вы не заметили.

Вот точно так же школа г. Юркевича думает, что естествоиспытатели сами не понимают того, что излагают, и что только она влагает в заимствуемые у них факты истинный смысл, прямо противоположный заблуждающемуся взгляду естествоиспытателей.

А естествоиспытатели находят, что эта школа искажает смысл фактов, которые заимствует у них.

Вам все еще, может быть, не совсем понятно дело? Поясню я примером, — у меня страсть к примерам. (Вот вы над этим бы подсмеялись, что иногда пристрастие к ним делает мои статьи растянутыми, — уличить меня в этом недостатке вы были бы в силах, а то хватаетесь за такие стороны дела, с которыми не сладите.) Ну-с, так приведу вам пример.

Вы курите сигары? Вы очень хорошо знаете, что сырые сигары плохи, а сухие гораздо лучше. Прекрасно; каким же образом получаются сухие сигары? И это вы знаете. Наделав сигар, фабрикант, дорожащий репутацией своей фабрики, оставляет их очень долго, быть может, года два или три, лежать в обыкновенной комнатной температуре. В это время они и высыхают. Хорошо; но ведь до такой же степени сухости можно было бы довести сигары в какие-нибудь два часа времени, поместив их в горячую температуру, например, хоть градусов в 60. Почему же это не годится? А вот почему, как вы сами знаете. Когда сигара сохнет быстро, то ингредиенты, от которых зависит вкус ее, входят в химические соединения, при которых вкус сигары портится; а если она сохнет очень медленно, ингредиенты эти соединяются между собою другим способом, при котором сигара получает хороший вкус. Вы знаете, что это так? Хорошо; что же из этого следует? Следует вот что. Процесс испарения воды, находящейся в сырой сигаре, приводит к известному результату, когда совершается медленно; а когда совершается быстро, результат бывает вовсе не таков.

Вот в этом самом роде рассуждает и Льюис о разнице между химическим процессом, совершающимся в реторте, и между пищеварением, совершающимся в обстановке, очень различной от химической реторты. Он говорит вот в каком духе: сварите говядину на очень сильном огне, — вы получите бульон известного сорта; сварите ее на слабом огне, медленно, — вы получите бульон совершенно иного сорта; если же вы вместо простой воды будете варить говядину в каком-нибудь кислотном растворе (например, вроде кваса или сока кислой капусты), у вас выйдет бульон опять иного сорта. Словом сказать, результат процесса изменяется от каждой перемены в условиях процесса. Вот Льюис и говорит, что каждый из этих случаев надобно наблюдать особенно и не смешивать с другими. Что ж, по моему мнению, он говорит правду.

А школа, к которой принадлежит г. Юркевич, что выводит из подобных фактов? — что, дескать, естественные науки объясняют нам только одну сторону жизни, а другую, высшую, мы познаем, и т. д., и т. д., и что-де натуралисты — пропащий народ. Вы соглашаетесь с этим направлением?

Ясно ли для вас хоть теперь?

А может быть, ещё не ясно? Если так, потолкуем с вами ещё немного. Как вы полагаете, не действуют ли в знаменитом Юме какие-то особенные, удивительные силы? или он просто ловкий фокусник? Сколько я знаю вас, вы, вероятно, полагаете, что он просто фокусник. А по методу, которой держится школа, имеющая своим оратором г. Юркевича, надобно отвечать так: «Позвольте, остановитесь, не будьте опрометчивы. Может ли какая-нибудь химия или физиология объяснить тот факт, что г. Юм видит из Петербурга человека, сидящего в Пенсильвании, в Америке, и сообщает вам точные сведения о его здоровье, видит, что он болен флюсом и ставит себе пиявки к десне. Позвольте вас спросить, милостивый государь, как вы объясните этот факт вашу химию или физиологию, вашу катоптрикою или диоптрикою? Сознайтесь, м. г., что тут действуют в г. Юме какие-то особенные силы!» Сколько я вас знаю, вы очень хладнокровно будете отвечать такому вашему изобличителю: «М. г., этого факта, на который вы ссылаетесь, решительно нет, а есть другой факт, которого не угодно вам замечать. Ничего находящегося в Америке г. Юм из Петербурга не видел; он только дурачил вас».

Вот точь-в-точь такого рода спор между теориею естествоиспытателей, которая кажется мне справедлива, и которую я стараюсь популяризовать по своей профессии журналиста, и между школою, к которой принадлежит г. Юркевич. Вы на чьей стороне были бы в подобном споре? Сколько я вас знаю, были бы вы на моей стороне, только не удалось вам разобрать, в чем спор.

Но мой пример не кончен. Я остановился на том, что вы говорите своему возражателю, приверженцу Юма: «Я отрицаю действие особенных сил в Юме, потому что не теми, как вы, глазами смотрю на факт, сбивающий вас с толку». Но ведь этот противник не оставит вас без ответа. Он скажет вам, что «люди, наблюдавшие Юма, остались убеждены, что это не фокусы», он прибавит: «вы познакомьтесь с этими людьми, они вам расскажут много такого, чего вы не знаете; в ваших словах, отвергающих мое мнение о Юме, я вижу только наглость вашего незнания». Что вы станете делать с таким человеком? Смотря по расположению духа: если вы не расположены смеяться, то уйдете от него, а если расположены смеяться, станете насмехаться над ним. В том и другом случае вы будете правы: с таким человеком или вовсе не стоит говорить, или нельзя говорить без насмешки. Теперь я прошу вас прочесть следующий отрывок из вашей брани на меня за г. Юркевича. Выписав вторую половину моего отзыва о статье г. Юркевича, где я говорил, что читать статью г. Юркевича мне незачем, потому что по самой рекомендации «Русского вестника» я вижу совершенное сходство ее с вещами, которые некогда составляли меня учить наизусть, — сделав эту выписку, статейка «Отечественных записок» продолжает:

«Понимаете ли вы, что это такое? Видите ли, куда мы гнем?» (уж не знаю, видно ли вам хоть теперь, куда я гну; а куда гнет г. Юркевич, вы, наверное, не видели, когда писали эти строки). «Сказано, что все это вздор, который мы не станем читать. Вот что подразумеваем мы под словами г. Чернышевского.

Да помилуйте, г. Юркевич вам доказывает: 1) что вы не знаете той философии, о которой говорите; 2) что вы смешали метод естествознания, применяемый к психическим явлениям, с самым изъяснением душевных явлений; 3) что вы не поняли важности самонаблюдения как особенного источника психологических познаний; 4) вы перемешали метафизическое учение о единстве [бытия и физическое учение о единстве] материи; 5) вы допустили возможность превращения количественных разностей в качественные; 6) наконец вы допустили, что всякое воззрение есть уже факт науки, и таким образом утратили разницу жизни человеческой от животной. Вы уничтожили нравственную личность человека и допускаете только эгоистические побуждения животного.

Кажется, ясно; дело идет уже не о ком-либо другом, а о вас, не о философии и физиологии вообще, а о вашем незнании этих наук. К чему же тут громоотвод о семинарской философии? Зачем смешивать вещи совершенно разные и говорить, что вы все это знали уже в семинарии, и даже теперь помните наизусть?»

На все это я хотел бы сказать одно: да как же не говорить мне того, что, по моему мнению, совершенно справедливо? Но в удовольствие вам разъясню дело, — впрочем, опять-таки ссылаю на те же самые тетрадки, знакомство с которыми не дозволило вам понять в чем дело.

Если бы потрудились вы пересмотреть эти тетрадки, вы увидели бы, что все недостатки, которые г. Юркевич открывает во мне, открывают эти тетрадки в Аристотеле, Бэконе, Гассенди, Локке и т. д., и т. д., во всех философах, которые не были идеалисты. Следовательно, ко мне, как отдельному писателю, эти упреки вовсе не относятся; они относятся собственно к теории, которую популяризовать я считаю полезным делом. Если вы не верите, загляните в принадлежащий тому же, как г. Юркевич, направлению «Философский словарь», издаваемый г. С. Г., — вы увидите, что там про каждого не-идеалиста говорится то же самое: и психологии-то он не знает, и естественные-то науки ему неизвестны и внутренний-то опыт он отвергает, и перед фактами-то он падает во прах, и метафизику-то он с естественными науками смешивает, и человека-то он унижает, и т. д., и т. д. Скажите же, какая мне надобность серьезно смотреть на автора ли известной статьи, на людей ли, его хвалящих, когда я вижу, что лично против меня они повторяют вещи, испокон века повторяемые про каждого мыслителя школы, которой я держусь? Я должен судить так: или они не знают, или они притворяются незна-

ющими, что это — упреки не против меня, а против целой школы; следовательно, они люди или плохо знакомые с историей философии, или только действуют по тактике, фальшивость которой сами знают. В том или другом случае такие противники недостойны серьезного спора.

Скажите, например, если бы кто стал лично вас упрекать в незнании за то, что вы считаете народность важным для литературы элементом, относился ли бы этот упрек лично к вам? Нет, он относился бы к целой школе. Почли ли бы вы за нужное доказывать, что, дескать, «если я называю народность важным элементом литературы, это еще не признак моего незнания», — конечно, вы почли бы ниже своего достоинства доказывать это.

Но вам, по вашему незнакомству с предметом спора, мои слова, быть может, еще не совсем ясны. Постараюсь сделать для вас еще несколько объяснений.

Изволите ли вы знать, что называли невеждой — не то что меня, а, например, Гегеля? Известно ли вам, за что его называли невеждой? За то, что он имел известный образ мыслей, не нравившийся некоторым ученым. Как вы полагаете невежда был Гегель или нет? А кто, вы думаете, называл его невеждою? Люди той самой школы, к которой принадлежит г. Юркевич.

Известно ли вам, что называли невеждою Канта? За что называли, справедливо ли называли, какие люди называли, — это все то же, что в прежнем примере.

Известно ли вам, что называли невеждою Декарта? За что, справедливо ли и какие люди называли, — это все то же, как в прежнем примере.

Возьмите какого угодно другого мыслителя, подвигавшего науку вперед, каждый подвергался тому же самому обвинению, за то же самое и от тех же самых людей.

Умеете ли вы сделать вывод из этих фактов? Если бы умели, мне не пришлось бы объясняться с вами; но по всему видно, что не умеете; стало быть, я должен подсказать его вам. Вот он:

Люди рутини упрекают в невежестве всякого нововводителя за то, что он — нововводитель.

Прошу вас запомнить это. Память об этом избавит вас от многих промахов.

Но вы знаете этот вывод только как факт. А вы расположены, как видно, любопытствовать о философских материях. Для вашего удовольствия я выведу неизбежность этого факта из психологических законов.

Положим, что известный человек совершенно удовлетворяется известным умственным или житейским положением. Если приходит другой человек и говорит: «оно неудовлетворительно», у человека, удовлетворяющегося этим положением, непременно рождается мысль: «он не удовлетворяется им потому, что незнаком с ним». Рождается она вот как. Что совершенно удовлетвори-

тельно, то хорошо. Кому хорошее не кажется хорошо, тот не видит, что оно хорошо. Кто говорит о хорошем, не видя, что оно хорошо, тот не знает хорошего. Таким-то путем люди, удовлетворяющиеся чем-нибудь неудовлетворительным, приходят к мысли, что неудовлетворяющийся этим неудовлетворительным не знает его. Это неизменно бывает во всех сферах жизни и мысли. Если, например, вы скажете пьянице, что пьянство нехорошо, он непременно возразит вам: «а попробуй-ка выпить, увидишь, что хорошо». Если вы предлагаете купцу, торгующему по нашим обычаям, продавать товары по неизменной цене, *prix fixe*, без торгу, без запрашивания, он непременно возразит вам: «это вы говорите потому, что нашего торгового дела не знаете». Помните ли, когда стали рекомендовать стетоскоп для распознавания грудных и других внутренних болезней, опытные практиканты возражали: «вы толкуете о стетоскопе потому, что лечить не умеете; нам стетоскоп не нужен»? Так и во всем; так между прочим и в философии. Поняли?

Или все еще непонятно для вас? Но если все еще непонятно для вас, то мне уже наскучило объяснять. Оставайтесь при своем непонимании. Значит, уж не судьба вам понимать что-нибудь в философии. Но чтобы не огорчать вас, я предположу, что вы, наконец, поняли, и скажу вам заключение из всего прочитанного вами, как будто вы поняли то, что прочли. Вот это заключение.

Теория, которую считаю я справедливой, составляет самое последнее звено в ряду философских систем. Если вы этого не знаете, а верить мне на слово не хотите, рекомендую вам взять какую вы хотите историю новейшей философии, — в каждой такой книге вы найдете подтверждение моим словам. По одному историку теория эта справедлива, по другому — несправедлива; но все они единодушно скажут вам, что эта теория действительно последняя, вышедшая из гегелевской точно так же, как гегелевская вышла из шеллинговой. Вы можете осуждать меня за то, что я признаю прогресс в науке и нахожу последнее слово ее самым полным и справедливым. Это как вам угодно. Быть может, по-вашему, старое лучше нового. Но допустите же возможность думать иначе.

Припомните теперь психологический закон, что всякого нововводителя рутинисты называют невеждою. Вы поймете, что основателя теории, которой держусь<sup>54</sup> я, называют невеждою приверженцы предшествовавших теорий.

Но уже, надеюсь, и без всяких моих объяснений сами вы поймете, что когда известными людьми взводится известное порицание на учителя, то распространяется оно ими и на учеников, верных духу учителя; следовательно, должно распространяться и на меня в числе других.

Но вам все-таки, может быть, еще не ясно дело, — вам, вероятно, хотелось бы узнать, кто же такой этот учитель, о котором

я говорю? Чтобы облегчить вам поиски, я, пожалуй, скажу вам, что он — не русский, не француз, не англичанин; не Бюхнер, не Макс Штирнер, не Бруно Бауер, не Мошотт, не Фохт, — кто же он такой? Вы начинаете догадываться: «должно быть, Шопенгауер!» восклицаете вы, начитавшись статей г. Лаврова. Он самый и есть, угадали <sup>55</sup>.

Но скажите сами: виноват ли я в том, что говорю с вами так свысока, — виноват ли я в этом, когда вы ставите себя относительно меня в такое положение, что я должен разъяснять вам подобные вещи? Если, например, вы скажете, что император Петр Великий победил Карла XII под Полтавой и если какой-нибудь господин закричит вам: «невежда, вы не знаете русской истории!» — вы ли будете виноваты в том, что станете отвечать этому господину таким тоном, каким вот я отвечаю вам?

Полюбуйтесь теперь на нравоучение, которое извлеку я для вас из окончания статейки «Отечественных записок». Она вопрошает, обращаясь ко мне:

«Вы говорите, что не читали этой статьи?» (то есть статьи г. Юркевича). «Правда ли это? Нет ли и здесь той скрытой, преднамеренной причины, чтоб оставить за собой мнение в публике о вашем глубокомыслии, так сильно пострадавшем? Мы, мол, этаких статей читать не станем... А ведь выходит, что вы прочли статью и знаете, что в ней кроется. Ваш ответ вы сами начинаете так: Вот капитальнейшая статья полемиического отдела IV книжки «Русского вестника». Почему ж это вы узнали, что это капитальнейшее возражение на ваши умствования?» («Отечественные записки», июль. Русская литература, стр. 60, 61).

Вам кажется невероятно, что я не полюбобытствовал прочесть статью г. Юркевича. Очень верю, что для вас кажется это невероятно. Каждый человек измеряет других собою. Что ниже его или равно ему в других, то он понимает, возможности того он верит; что выше его способностей или развития, того он не понимает, тому он не верит. Доказать вам это? Извольте. В ком не пробудилось желание учиться грамоте, тот не понимает, как это другие люди находят удовольствие в чтении книг. А мы с вами, успевшие стать выше этого человека, понимаем его мысли. Но мы с вами не занимались высшей математикой, — признайтесь, что вам не совсем понятно, как это люди могут с наслаждением сидеть по целым дням за формулами интегралов: это нам с вами кажется странно. Вот вам относительно степени развития способностей. Теперь относительно природной силы способностей. Человек с характером, способным к самопожертвованию, понимает самопожертвование; человек с сухим сердцем не понимает, как это люди могут жертвовать собой для других людей или для идей, — ему это представляется помешательством или лицемерием. Кто неловок от природы, тот решительно не понимает, как это люди могут держать себя изящно; и если он станет заботиться об этом, он



станет держать себя еще нелепее прежнего; это значит, что он действительно не понимает, в чем же состоит изящество. Вот точно то же и наше с вами дело.

Считайте следующие мои слова самохвальством или чем вам угодно, но я чувствую себя настолько выше мыслителей школы г-на Юркевича, что решительно нелюбопытно мне знать их мысли обо мне, — точно так же, как, например, вам вовсе нелюбопытно знать, какие достоинства или недостатки находит в ваших критических статьях какой-нибудь почитатель романов г. Рафаила Зотова.

Теперь вообразите, что этот почитатель романов г. Рафаила Зотова напечатал разбор ваших статей; если у вас работы довольно много и для часов досуга есть другие планы развлечений или любимых занятий, то удивительно ли будет, что вы не прочтете эту статейку? Вот точно таково же мое отношение к статье г. Юркевича.

Вам кажется это невероятно? Что ж делать, вы только заставляете меня предполагать, что многое, мелкое для меня, для вас крупно.

Где же вам вести полемику, когда вы подводите себя под такие ответы?

Да, ведь у вас остается очень сильный аргумент: если я не читал статью г. Юркевича, то почему же я знаю, что она «капитальная» полемическая статья в 4 № «Русского вестника»? Да ведь «Русский вестник» объявлял об этом сам в статье «Старые боги и новые боги», что вот, дескать, мы поместим извлечение из превосходной статьи г. Юркевича, которой придаем необыкновенную важность. В прочтенном мною предисловии к этому извлечению он опять повторял то же самое, — вот я в насмешку и назвал эту статью самою капитальною. А вы и того не поняли, что слово «капитальный» тут употреблено в насмешку? Что за наивность такая в вас: как же не знать, что если в полемике употребляются похвальные или торжественные выражения, то их надобно понимать за насмешку? Чтобы это вам было понятней, приведу пример: «восхитительная статья «Отечественных записок» о г. Юркевиче прочитана была мною с благоговением к великой философской учености ее автора», — ну вот попробуйте разобрать теперь, в каком это смысле я говорю, в прямом или в ироническом? Или и этого не разберете?

Удивляете вы меня своею пронизательностью. Как вы не сообразили хоть следующего факта: беру я целых 9 страниц из статьи г. Юркевича, изобличающей мое невежество, и перепечатаваю эти страницы в своей статье без всякого возражения, — ну как вы полагаете, сделал ли бы я это, если б не был очень твердо убежден, что перепечатаваемые мною страницы слишком плохи? Если бы вы умели соображать, этот один факт уже показал бы

вам, как слабы должны быть возражения, которые может придумать против меня философ такого направления, как г. Юркевич.

Я обращался с своею речью к вам, г. Дудышкин, потому только, что вы заведуете отделом, в котором помещена разобранная мною статья; но быть может, она и не вами написана, — если не вами, то я очень рад за вас.

Я люблю делать сюрпризы. Вы, г. Дудышкин, конечно, ждете, что я посоветую вам не помещать таких полемических статей, как эта разобранная мною. Как это можно, разве я враг себе? Сделайте одолжение, побольше, побольше таких статей печатайте, обяжете меня этим до крайности.

Чем-то поразвлекся мне на следующий раз? Думаю совокупить «Русский вестник» с «Отечественными записками»; да разве не прибавить ли тоже нескольких красот из «Русской речи» и еще откуда-нибудь, как случится<sup>56</sup>.

## НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕСТАКТНОСТЬ

(Слово. Рочник первый. Числа 1, 2. Львов 1861 г.)

Мы не знаем, дойдет ли наша статья до сведения галицийских малороссов; если не дойдет, она будет написана напрасно, потому что собственно для них только мы пишем ее, пишем с самым искренним сочувствием к ним, с самым живейшим желанием блага им.

Да и как могли бы мы не сочувствовать им? Галицийские малороссы, или, как они себя называют, русины, отличаются всеми свойствами, общими целому малорусскому племени. А если есть племена, могущие к себе привлечь симпатию больше, чем другие племена, то именно малороссы — одно из племен наиболее симпатичных. Очаровательное соединение наивности и тонкости ума, мягкость нравов в семейной жизни, поэтическая задумчивость характера непреклонно настойчивого, красота, изящество вкуса, поэтические обычаи — все соединяется в этом народе, чтобы очаровывать вас, так что иноплеменник становится малорусским патриотом, если хоть сколько-нибудь поживет в Малороссии. (А их положение! Это племя по преимуществу — племя поселян, доля которых тяжела. Их патриотизм чист от помысла о порабощении других; они желают лишь того, чтобы им самим было легче жить на вольном свете: никакого другого племя не хотят они подчинять себе или обижать). Нельзя не сочувствовать им.

Но пусть же они, не оскорбляясь, выслушают мысли, быть может, щекотливые для них, но высказываемые только из желания успеха их стремлениям.

Перед нами лежат два первые номера львовского «Слова», газеты, называющей себя органом галицийских малороссов<sup>1</sup>. Мы не можем знать, все ли галицийские малороссы хотят признавать своим органом эту газету, но она, очевидно, издается людьми, убежденными, что за ними стоит, по одной с ними дороге пойдет все русинское племя. Самая возможность такой мысли их доказывает, что людей, сочувствующих им, между русинами очень

много. Если они и не представители всего племени, они во всяком случае — представители сильной и, вероятно, самой сильной между русинами партии. Мы судим о ней только по двум первым номерам газеты. Следующим номерам не случилось дойти до нас. Мы хотели бы думать, что материал, представляемый этими двумя первыми номерами, недостаточен для того, чтобы судить о партии, имеющей своим органом «Слово», но, к сожалению, мы только «хотели бы» и не можем думать так: слишком выразительно определился политический такт этой партии в первых двух номерах ее газеты. Каждое наше слово о ней будет основываться на выписках из этих двух номеров.

О языке, которым писана газета, мы не желали бы судить: мы слишком плохие знатоки в этом деле. Но спрашиваем у кого угодно, слышавшего малорусскую речь, имеют ли хотя малейшее сходство с ней, например, следующие фразы: «благослови нас на дело, на добрый подвиг духа, да соблюдаем веру и отечество»; «честно служивший богу своим словом»; «для которого в неприязненных обстоятельствах погасло»; «все силы нашего духа, все стремление ума»? Эти фразы все взяты нами с одной первой страницы первого номера, и много можно было бы набрать в ней других точно таких же. Разве это — малорусский язык? Это язык, которым говорят в Москве и Нижнем Новгороде, а не в Киеве или Львове. Львовское «Слово» основывает свои права и надежды на том, что малорусское племя — племя из 15 миллионов человек. Зачем же говорить о племенном единстве ломаным языком, каким никто не пишет нигде, кроме Львова? Наши малороссы уже выработали себе литературный язык несравненно лучший: зачем отделяться от них? разве он так далек от языка русинов, что им нужно писать другим наречием? Но если так, вы — уже не малороссы: вы, как лужичане, — отдельное племя. Но если так, вас только 3 миллиона, и вы не можете удержать своей народности. Что за странные люди! воодушевляются мыслью о своей национальности и хотят дробить свое племя на мелкие части без всякой надобности.

И если б это относилось еще только к одному вопросу о литературном языке, — нет, львовское «Слово», не колеблясь, обнаруживает такую же мысль и относительно политической жизни племени. Переводим первую статью 1-го номера «Слова»; озаглавленную «Наша программа».

«Нашу программу мы выскажем открыто и искренно в следующих словах:

Мы существуем как русины и, как русины, имеем свое особенное происхождение, обычаи, язык и веру. Все это нам осталось заветным наследием от святых предков; все это мы любим с таким жаром, что готовы пожертвовать за это нашу кровь до последней капли. Таково уже от природы наше русское сердце».

«Такова же и душа наша» (вот к чему приводит прегензия создавать свое особенное литературное наречие из смеси местного народного говора с литературным языком других племен, в настоящем случае великорусского племени, — не довольствуясь уже готовым литературным языком, выработавшимся у большинства малорусского племени; «сердце» народа выходит чем-то особенным от «души» народа). «Такова же и душа наша, потому что мысли в ней чисты и здравы. Мы смотрим на свою страну, как на провинцию Австрийской империи. Этою империею владеет государь, которому мы верны не по одной привычке, но и по здравому размышлению». Заметим это: русины объявляют, или, лучше сказать, львовское «Слово» объявляет от имени русинов, что они не хотят соединиться с другими малороссами, что они верные защитники Австрийской империи. К чему же говорить о национальности, если не хочешь национального единства? Мы понимаем, что не всякое стремление можно обнаруживать в данном положении. Но если внешняя необходимость заставляет отлагать на время какую-нибудь заветную мысль, то никто не заставит же человека провозглашать противоположный догмат. Молчание мы поняли бы; но не понимаем, что такое и к чему говорит львовское «Слово» о своем чувстве к Австрийской империи, или, лучше сказать, не понимаем, зачем же при таком чувстве издается «Слово»: подобные чувства гораздо лучше излагаются на немецком языке. Но «Слово» продолжает развивать свою мысль, подкрепляет ее доказательствами. «Верная история галицко-русского народа показывает нам, что, потеряв самостоятельность, Русь» (то есть Малороссия) «в течение четырех веков теряла свою народность и утрачивала, наконец, ясное сознание о себе. Она оживилась уже при правительстве, более беспристрастном, каким оказалось для ней правительстве австрийское». Кажется, ясно: львовское «Слово» предпочитает австрийцев полякам; поляки в течение 400 лет угнетали малорусскую народность в Галиции, а под австрийскую властью она воскресла. Прошлых отношений поляков к малороссам мы не станем разбирать, потому что нынешним людям в своих чувствах и действиях надобно руководиться не прадедовскими отношениями, а нынешними своими надобностями; иначе бретонцу следовало бы ненавидеть французов, которые когда-то угнетали бретонцев. Но неужели австрийские немцы — такие надежные покровители русинской национальности? Разве не высказывают они теперь совершенно ясно, что все народности Австрийской империи хотят подчинить немецкому элементу, и разве не было это всегда коренным принципом австрийской политики? Странные люди! Из-за воспоминаний о старине проникаются они преданностью к нынешнему общему неприятелю их и старинных их неприятелей, не могущих быть вредными для них теперь, ищущих союза с ними для общей пользы. Но львовское «Слово» твердо стоит на старине. «Так учит нас история, так говорит в каждой

малорусской хате верное предание народа». Мало ли что говорит народное предание! — Зачем же и существуют на свете просвещенные патриоты, как не затем, чтобы помогать народу действовать по рассудку, по настоящей надобности, а не по старинным преданиям, не имеющим никакой пригодности для настоящего? В наших, например, преданиях враги русских — татары: что же, мы и должны основывать свою национальную программу на вражде к татарам, которые давным-давно перестали делать нам вред? У французов, например, народное предание провозглашает непримиримую вражду к «злому англичанину, опустошающему Францию», то есть к англичанину времен разных Эдуардов<sup>2</sup>. Что же, просвещенные французы должны провозглашать крестовый поход на англичан? По программе львовского «Слова» выходит так; и оно, не колеблясь, говорит: «кто думал бы иначе, тот излечится от своего заблуждения на Руси», то есть в малорусской части Галиции. Да, Меттерних совершенно одобрил бы этот взгляд. Впрочем, ведь Меттерних, вероятно, был друг русинов: так надобно полагать по отзыву львовского «Слова» об австрийском правительстве.

Но продолжаем читать программу.

«Далее, мы признаем и верим, что люди, создание божие, вообще добры. Мы — оптимисты. Но не доводим веры нашей в человеческую доброту до того, чтобы не признавать, что у отдельных лиц есть свои предрассудки, преувеличенное самолюбие и, быть может, коварные цели. Щадя, как следует, человеческое достоинство каждого отдельного лица, а тем больше народа, мы готовы беспощадно опровергать предрассудки и человеческие ошибки, где бы их ни встретили. Потому что мы хотим мира и тишины в нашей стране, а там их нет, где предрассудки.

Дальше, мы признаем и убеждены, что русскому (русинскому) народу нужно больше просвещения. Все силы нашего духа, все стремление ума и мыслей мы посвящаем добросовестно, бескорыстно, распространению народного образования. Но мы издаем политическую газету для более просвещенной части народа, потому наша деятельность тут есть и будет преимущественно посредническая. От почтенных наших корреспондентов, живущих большей частью в непосредственном сношении с народом, будет преимущественно зависеть то, чтобы придавать нашему «Слову» слог и язык, как можно более понятный народу». — Все это так. Но должно смотреть, кто может, а кто никак не может быть надежным союзником в заботах о народном просвещении. Мы боимся, что некоторые из следующих статей львовского «Слова» внушены излишнею надеждою на такие общественные элементы, которые ни в каком случае не будут полезны для народного образования. Мы боимся также, что львовское «Слово» по старинным воспоминаниям смотрит слишком враждебно на другие силы, которые теперь искренно готовы содействовать развитию

просвещения между русинами. Мы боимся, не отдается ли львовское «Слово» врагам русинского племени и не отталкивает ли от себя его нынешних союзников. Надобно смотреть на живые отношения и надобности каждой партии или народности, а не действовать по одному примеру предков, обстоятельства которых были совершенно иные. Продолжаем читать программу.

«Наконец, мы объявляем, что в многовековом международном \* споре, который открыто или не открыто ведется в нашей стране, названной Галициею по имени русского города<sup>3</sup>, в этом споре мы стоим решительно на стороне Руси» (русинской национальности). «Ничего иного не могут требовать от нас, русинов, и самые противники». Что русинская газета стоит за русинов, этому, конечно, так и должно быть. Но мы не находим политического такта в том, что редакция львовского «Слова» спешит упоминать о международном споре в Галиции, как будто основывается именно для этого спора. Вопрос мог быть поставлен гораздо полезнейшим для русинского народа способом: имеет ли этот спор двух народностей в Галиции такую первостепенную важность, какая придается ему с одной стороны предрассудками (ведь львовское «Слово» хочет бороться против предрассудков!), а с другой стороны — людьми, для которых выгодно раздувать в каждой части Австрийской империи вражду народностей, чтобы держагь каждую народность в угнетении силою другой народности? Меттерниховская система вооружала венгров на кроатов и сербов, а сербов и кроатов на венгров. Для какой национальности было полезно то, что она поддалась тактике Меттерниха? Много ли выиграли, например, кроаты и австрийские сербы тем, что защищали австрийцев против венгров? Мы полагаем, что львовскому «Слову» следует внимательнее подумать об этом, чтобы не быть увлечену к способу действий, который может нанести очень много вреда нерусинскому населению Галиции, но ровно столько же повредил бы и русинскому племени. Следовало бы «Слову» повнимательнее подумать также, надобно ли считать за спор между национальностями тот спор, в который оно бросается с такой готовностью, и который понимает оно как спор национальностей? Очень может быть, что при точнейшем рассмотрении живых отношений львовское «Слово» увидело бы в основании дела вопрос, совершенно чуждый племенному вопросу, — вопрос сословный. Очень может быть, что оно увидело бы и на той, и на другой стороне и русинов, и поляков, — людей разного племени, но одинакового общественного положения. Мы не полагаем, чтобы польский мужик был враждебен облегчению повинностей и вообще быта русинских поселян. Мы не полагаем, чтобы чувства землевладельца русинского племени по этому делу много отличались

\* Надо понимать: межнациональном (то есть речь идет о споре между русинами и поляками). — *Ред.*

от чувств польских землевладельцев. Если мы не ошибаемся, корень галицийского спора находится в сословных, а не в племенных отношениях. И если мы не ошибаемся, та сословная партия, которая представляется львовскому «Слову» враждебной к русинской национальности, не имеет собственно к этой национальности ровно никакой вражды, а по сословному вопросу расположена теперь эта партия к чрезвычайно большим уступкам в пользу поселян как польского, точно так же и русинского племени. Вот об этом-то и не мешало бы подумать львовскому «Слову». Быть может, уступки, на которые искренно готовы люди, кажущиеся ему врагами, — быть может, эти уступки так велики, что совершенно удовлетворили бы русинских поселян; а во всяком случае, несомненно то, что уступки эти гораздо больше и гораздо вернее всего, что могут получить русинские поселяне от австрийцев. Впрочем, мы еще будем иметь надобность возвратиться к этому основному галицийскому вопросу по поводу следующих статей «Слова».

Мы перевели программу львовского «Слова» вполне, кроме только последних строк ее, относящихся к условиям подписки и т. п. За программю следует статья, напечатанная с такою же широкою расставкою строк, как и самая программа: внешний вид показывает, что эта вторая статья — тоже капитальная, руководящая статья.

[Вот она.

*День святого Григория Богослова* текущего года показал новорожденное дитя наше, русинское «Слово», нашей матери Руси (русинской Галиции. Первый номер львовского «Слова» действительно вышел 25 января, в день святого Григория Богослова).

В этом обстоятельстве так много для нас приятных, очаровательных чувств и мыслей, что пусть никто нас не осудит, если мы с некоторою гордостью скажем, что рождение нашего дитяти было очень счастливо (почему же это так? Что такое за особенный для русинского племени день — 25 число января, память св. Григория Богослова? Разве св. Григорий Богослов патрон русинов, как св. Марк — патрон венециан? — Нет, дело относится не к св. Григорию Богослову, а к — но читайте дальше, сами увидите, к кому):

Добрый пастырь великого галицко-русского стада совершает ныне светлый праздник своего тезоименитства; благочестивая русинская страна высыласт к небесам искреннейшие молитвы о многолетии пастыря-любимца; — как же приятно новорожденному дитяти явиться в скромных хатах русинских в такой день, в день всенародного ликования и молитвы!

Прими, добрый наш народ, новорожденного этого искренно русским сердцем, проси ему хорошего роста, доброго счастья и чистой души в своих молитвах у бога! Молитвы православных доходят до господа, и он, который *в начале бе слово*, разверзет уста наши, и русины услышат свое слово.

А ты, князь архипастырь русинов, благослови нас на дело, на добрый подвиг духа, да соблюдаем веру и отечество! Святитель, имя которого ты носишь, честно служивший богу своим словом, испросит твоему благословиению освящение свыше, и дело людей божиих будет успешно. Зашумит, разнесется по русинской земле освященное твоим благословением родное наше слово и, слово будет спасением, а спасение — просвещением людей.



Мы же приносим тебе, наш первоверховный, в день твоего ангела, прекраснейшие дары благородных сердец: любовь и полное доверие твоей справедливости, — и желаем тебе, как всегда, так особенно ныне, благоденствия, бодрых сил и чистой славы на много лет.

Мы не знаем прошлой деятельности высокопреосвященного Григория, архипастыря православных русинов, и с удовольствием готовы предположить, что деятельностью своею он вполне заслужил безграничное уважение, какое высказывается к нему в этой статье. Положим, что высокопреосвященный Григорий, или, как называется он в других статьях львовского «Слова», квр Григорий, — ревностнейший покровитель и заступник русинской народности; положим, что благо русинского народа безусловно предпочитает он всем земным почестям и самому спокойствию своих лет, конечно, преклонных. Но мы все-таки не можем не сказать русинам, что напрасно вмешивать архипастыря в то дело, органом которого хочет быть львовское «Слово». Это дело мирское, чуждое прямых священных обязанностей архипастыря и отчасти не согласное с ними. Архипастырь должен проповедовать любовь к врагам и христианское смирение. Львовское «Слово» основано для борьбы с противниками русинского народа. Оно теперь видит этих противников в поляках: но в ком бы оно ни увидело их по более здравом рассмотрении дела, — в поляках ли, в австрийцах ли, в некоторой ли части самих русинов — все равно, оно, конечно, не откажется от борьбы с врагами русинского народа; а враги у русинского народа, без сомнения, есть, потому что в мирских делах без вражды никогда не обходится. Каково же должно быть отношение архипастыря к этому мирскому делу, соединенному с враждой? По обязанности своего сана он должен «благословлять, а не проклинать»; начав бороться против врагов русинского народа по мирским делам, он изменил бы обязанности своего сана. Мы не полагаем, чтобы русины захотели подвергать своего любимого пастыря справедливому нареканию.

В чем состоит главный упрек католическому духовенству? В том, что оно, забывая о прямых своих обязанностях, вмешивается в мирские дела, в борьбу политических партий. Львовское «Слово» поступает неразумно, взывая к православному архипастырю своему, чтобы он последовал дурному примеру католических кардиналов и прелатов. Как бы то ни было, львовское «Слово» — орган политической партии. Желая иметь квр Григория своим руководителем, оно хочет сделать его предводителем политической партии. Согласиться на такое желание высокопреосвященному Григорию значило бы повредить интересам православной церкви в Галиции, как вредят интересам католической церкви французские, итальянские и немецкие епископы, делающиеся предводителями одной из политических партий. Они восстанавливают против себя другие партии; а легок и неизбежен

переход чувства с известного лица на звание этого лица и потом на самое дело, которому служит это звание. От вражды к католическому епископу, как предводителю политической партии, начинают враждовать католики против него, как католического епископа, а потом и против самой католической церкви. Неужели львовское «Слово» хочет подвергнуть этой судьбе православие в Галиции?

Могут сказать: «православие в Галиции подвергается притеснениям уже и теперь, — значит, проигрыша не будет». Но если оно действительно подвергается притеснениям, это значит, что православное духовенство в Галиции до известной степени вмешивалось в мирские раздоры, потому что иначе не было ни у каких иноверцев охоты к мирскому преследованию православия; если православие в Галиции стесняется, оно наверное избавится от всяких мирских стеснений, когда православное духовенство не будет вмешиваться в политические дела: а вызывать православное духовенство к сильнейшему участию в этих делах, как делает львовское «Слово», значит возбуждать сильнейшие мирские гонения на православие. Пусть львовское «Слово» хорошенько подумает об этом. Если бы не были мы уверены, что оно делает это только по нерассудительности, мы предположили бы тут коварную махинацию австрийских иезуитов, переодетых в приверженцев высокопреосвященного кюр Григория с целью повредить и ему и православию. Иезуиты часто поступали таким образом, — прикидывались друзьями иноверцев, чтобы вовлечь их в гибельные ошибки. В каком восторге должна быть папская курия и вся иезуитская партия, читая статью «Слова», нами переведенную! Какой прекрасный повод разжигать поляков против православия подает иезуитам эта статья!

От интересов православия в Галиции обращаясь к мирским выгодам русинского народа, мы точно так же находим способ действий львовского «Слова» прямо вредным для целей, которые оно себе ставит. Руководителями в каждом деле должны быть те люди, которые наиболее способны управлять этим делом успешно, хорошо знают его и могут ставить его главной задачей своих мыслей и усилий. Но политика никогда, конечно, не была и не будет специальностью русинского первосвятителя. Если он — пастырь достойный, в чем мы уверены, он не имел времени заняться изучением предметов, чрезвычайно многосложных и посторонних для него. Епископ не чиновник, не юрист, не политико-эконом, не сельский хозяин, не газетчик. У него есть другое занятие, требующее всех его сил. Он изучал православное богословие, а не юриспруденцию и не политическую тактику. К роли, которую неприлично для него занимать, к роли политического человека, он и не подготовлен. Поэтому он скорее всякого другого предводителя политической партии будет обманут хитростями противников и скорее всякого другого наделает ошибок в выборе

средств. Словом сказать, если бы высокопреосвященный квр Григорий, увлеченный ошибочными просьбами львовского «Слова» и согласился принять предлагаемое ему предводительство политической партией, эта его решимость, не согласная с пользами православия, была бы вредна и для мирских выгод русинского народа].

О мирских делах надобно заботиться мирским людям. Русинские поселяне не могут ожидать или требовать, чтобы православное духовенство распахивало их поля; русинские православные торговцы не ожидают и не требуют, чтобы оно управляло их коммерческими оборотами. Точно так же вообще все русинские миряне сами должны заботиться о своих общих мирских интересах, не желая и не требуя, чтобы православное русинское духовенство исполняло за них это дело, которым по самому своему званию оно не должно заниматься, к успешному занятию которым оно не приготовлено и заниматься которым оно не может без вреда для русинского народа.

На это могут возразить, что, кроме православного духовенства, слишком мало в русинском народе людей, которые по своей образованности были бы в состоянии послужить адвокатами народу при защите его мирских интересов в литературе, администрации и на провинциальном сейме. Мы не желали бы слышать такого возражения, потому что оно только свидетельствовало бы против своевременности и возможности дела, предпринимаемого львовским «Словом». Если в племени слишком мало людей, которые могли бы быть журналистами, администраторами, ораторами, этому племени еще рано думать о политической роли, это племя еще слишком неразвито, и, задумав играть самостоятельную политическую роль, оно только впало бы в руки интриганов, которые воспользовались бы его простотою для того, чтобы с одинаковым вредом для него и для всех других племен отстоять существующие злоупотребления и стеснения против более просвещенных стремлений других, более развитых племен. Мы не желали бы предполагать такое состояние у галицийских русинов. Если львовское «Слово» хочет вручить ходатайство по мирским делам русинского племени православному духовенству за недостатком других защитников русинам из русинов же, то, значит, сами русины еще не в состоянии понимать своих интересов, то есть еще и неспособны к политической борьбе. А начинать борьбу, к которой неспособен, значит поступать во вред себе. Когда отдельный человек неспособен понимать и защищать свои интересы, он может ожидать пользы для себя только от человеческой справедливости близких к нему людей, а не от борьбы с ними, потому что неспособен вести ее; он должен приобретать их дружбу готовностью помогать им. Точно таков же путь, предписываемый здравым смыслом целому племени, находящемуся в подобном положении. Если оно так неразвито, что не находит

в своей среде хороших предводителей, людей знающих и не могущих изменить ему, оно не может ждать себе пользы от борьбы с другими племенами; оно должно искать дружбы с ними, которая одна может оградить его интересы. Конечно, такое положение не принадлежит к наилучшим на свете; конечно, гораздо приятнее не нуждаться ни в ком, иметь в самом себе все залогом, все элементы, нужные для собственного блага. Потому мы и сказали, что не желали бы слышать возражения, неминуемо ведущего к таким замечаниям. Мы желаем думать, что галицийские русины понимают и могут сами защитить свои интересы. Но тактика львовского «Слова» противоречит такому предположению. Мы желали бы не признавать эту газету представительницею русинского племени: к сожалению, мы не имеем данных, чтобы отвергнуть эту ее претензию. И мы с прискорбием должны сказать, что пока сами русины не опровергнут претензию львовского «Слова», никто из желающих добра им не в силах будет предсказать им ничего хорошего для них, если хоть сколько-нибудь понимает ход исторических дел.

Этот вывод, печальный для нас, желающих русинам всего доброго без всяких оговорок и исключений, — этот вывод все сильнее и сильнее будет подтверждаться по мере того, как мы будем пересматривать следующие статьи львовского «Слова». [Две первые мы перевели] целиком; остальные мы имеем право обозреть коротко, указывая лишь главные мысли их.

За мольбою к высокопреосвященному квр Григорию следует в № 1 «Слова» статья «Русинская Галиция и ее отношение к соседям». Начинается она описанием радости русинов при появлении возможности иметь газету на своем языке, — это натурально; но мы желали бы знать, подумала ли редакция «Слова» о том, к кому должна относить она упрек свой за прежнюю невозможность говорить с русинами на их родном языке? «Были люди (говорит львовское «Слово»), которые уже потирали себе руки при мысли, что русинский язык пропадает», — эти люди предаются в русинской газете проклятию, наравне с Иудою искаритским. Хорошо. Но кто же не позволял русинам до нынешнего года издавать газет на русинском языке? Чье согласие нужно на это? Чье несогласие до сих пор мешало изданию такой газеты? Подумав об этом, видишь совершенную несообразность в словах, следующих за упоминанием об Иуде искаритском, — в словах о том, что «некоторые соседи хоронили русинский язык». Какие тут соседи были виноваты? Дело зависело от Вены. За укоризною, обращенною, как нам кажется, совершенно не в ту сторону, в какую велит обратить ее здравый смысл, следует самовосхваление с целью доказать, что русины имеют право уважать себя не менее других племен. Хорошо; на чем же основывает львовское «Слово» права русинов? «Они защищали Западную Европу от татар». Это — неправда. С татарами галицийские русины

боролись очень мало, меньше литовцев и чуть ли не меньше поляков. С татарами боролись восточные малороссы, от которых львовское «Слово» отделяет русинов. Что-нибудь одно из двух: или выставляйте себя только частью великого малорусского племени, каковы и на самом деле вы, или не присваивайте себе заслуг, сделанных теми частями вашего племени, от единства с которыми вы отказываетесь по вашей программе. Но львовское «Слово» не видит несообразности в своих статьях, провозглашающих отдельность русинской Галиции от остальной Малороссии и ставящих в заслугу русинам то, что сделано другими малороссами. Оно продолжает: «малороссы любили просвещение, когда поляки были еще варварами. «Слово о полку Игореве» (что ж, это галицийская поэма?) не заставляет ли мыслящего человека удивляться высокой степени, до какой уже достигала тогда малорусская литература? Письменные договоры, относящиеся еще к языческим временам, не говорят ли о политической жизни Руси и ее влиянии на соседние народы?» Нимало не говорят, потому что англичане или нынешние русские заключают точно так же письменные договоры с дикарями, не имеющими даже грамоты; так и греки могли заключать письменные договоры с Русью, хотя бы Русь была тогда племенем совершенно варварским.

Но не в том дело: положим, что и правду говорит львовское «Слово», будто «ныне целая Европа удивляется плодам нашей старинной литературы», — то есть «Слову о полку Игореве», летописи Нестора и договорам Олега и Игоря с греками; — пусть она удивляется им, хотя она нимало и не думает о том; пусть эти «дивные», по мнению львовского «Слова», плоды и принадлежат галицийским русинам, хотя принадлежат вовсе не тому отделу малорусского племени, который живет в Галиции и отвергает в львовском «Слове» свое единство с другими малороссами; что ж из всего этого? Какие права в настоящем могут основываться на фактах X или XII столетия? Трактаты 1815 года отвергаются теми народами, нынешним потребностям которых не удовлетворяют<sup>4</sup>, а вы хотите опираться на договор Игоря с греками. Это странно до крайности. Такие доводы могут употреблять лишь люди, совершенно лишенные политического знания, люди, которые будут по своей неопытности и наивности игрушками в руках интриганов. Политические права племени основываются на его живых отношениях. Вы хотите писать по-русински? Прекрасно; если вы умеете писать, вам не нужно никаких других доводов: вам нужно это, вам приятно это, — чего же больше? Вы имеете на то полное право. На Олега и Нестора ссылаться тут смешно. Будет ли иметь успех ваше желание? — Это зависит от того, будете ли вы иметь публику. Если в русинском племени есть достаточное число людей, у которых уже развилась потребность читать газеты, вы будете иметь успех теперь же (когда сумеете писать для них дельные и полезные вещи). Если нет, Нестор и Игорь

вам не помогут, — у вас нет публики, вы должны еще позаботиться о том, чтобы научить ваших соплеменников искусству чтения. Тут важность не в доказывании удивительных достоинств старинной вашей литературы, а в нынешней степени просвещения у вашего племени.

«Но есть люди, доказывающие, что русинское наречие способно иметь литературу: это — враги наши». Конечно, пока вы не будете иметь многочисленной публики, многие будут сомневаться в полезности и практичности ваших попыток издавать русинские газеты, особенно если вы будете писать ломаным языком, каким пишете теперь, смесью местного галицийского наречия с нашим литературным и с церковно-славянским языками. Но такое сомнение еще вовсе не означает вражды к вам. Вот мы, например, безусловно желаем вам всего хорошего, а в полезности вашей газеты тоже сомневаемся очень сильно. Или даже и не сомневаемся, а совершенно уверены, что вы идете по ложному пути. Зачем вы придумываете себе особенное ломаное наречие, отделяетесь от общей малорусской литературы? Одна галицийская часть малороссов так мала, что не в состоянии иметь своей отдельной порядочной литературы, как не может иметь своей отдельной порядочной литературы Костромская губерния или Дорсетширское графство, Тироль или Люблинское воеводство. Эти маленькие части больших народностей что-нибудь значат в чем бы то ни было — в литературе ли, в политической ли жизни — только тогда, когда держатся в одном целом с остальными частями своего народа.

А впрочем, не напрасно ли мы с вами и рассуждали о том, на каких доводах должно опираться право русинского народа иметь родную литературу? Нужно ли вам перед кем-нибудь доказывать это право? Разве кто-нибудь отрицает его? Вы горячитесь против поляков: ведь они-то и названы у вас иудами искаротскими, желающими погубить вашу русинскую литературу. Но ведь они вовсе этого не желают; напротив, сами вы свидетельствуете, что они готовы ободрять людей, пишущих для русинского народа на его языке. Вот ваши собственные слова: «мы смеемся над покровительством, под которое принимают нас польские львовские газеты», — хорошо ли вы делаете, что смеетесь, об этом после; а теперь пока заметим одно: вы сами засвидетельствовали, что польские газеты готовы сочувствовать развитию литературы на малорусском языке. Откуда же вы взяли, что поляки враждебны к ней? Этого нет.

А если польские газеты оставались недовольны направлением некоторых русинских изданий и, вероятно, остались недовольны направлением львовского «Слова», это совершенно иное дело, не имеющее никакого отношения к вопросу о малорусской национальности. — Ведь и мы вот не хвалим же «Слово», хотя с поляками мы не хотим иметь ровно ничего общего, кроме того, что

имеем общего и с китайцами, и с англичанами, и со всякими другими народами. Порицая «Слово», мы вовсе не за то его порицаем, что оно пишется по-русински, а за то, что пишется оно в направлении, вредном для русинского народа. Вот и поляки не за то ли же порицали разные попытки русинских писателей? Тут дело не в языке, а в образе мыслей. Кто виноват, если мысли ваши неосновательны и слишком бессвязны? Конечно, не язык русинского народа. Пишите вы подобные вещи на каком хотите языке, на польском ли, на английском ли, на итальянском, все равно не похвалит вас никто из людей, понимающих дело, потому что народу, на языке которого станете писать, вы будете внушать чувства и мысли, вредные для этого народа, какой бы там он ни был. Разве и своих писателей всех хвалят поляки? Точно так же не всех, как не всех своих мы хвалим или не всех своих хвалят итальянцы, или англичане, или французы. Кто виноват в том, что выставляют себя руководителями русинов люди, которые не умеют ничего понять, не умеют ничего полезного своему народу сказать? Никто не виноват, кроме самих этих людей — ни Англия, ни Китай, ни Польша не виноваты в том; виновато в том лишь наивное заблуждение самих этих людей, вообразивших, что одного патриотического чувства, без политического образования и такта, довольно им для того, чтобы стать полезными для народа политическими руководителями. Нет, этого мало, как мало любви к человеку для того, чтобы лечить его. И любишь, да погубишь его своим лекарством, если не знаешь медицины.

Львовское «Слово» совершенно ошибается, воображая в поляках вражду против русинской национальности. Оно само засвидетельствовало, что поляки готовы сочувствовать русинской литературе. Но львовское «Слово» «смеется над покровительством», которое они хотят оказывать ей. Смешно или не смешно это «покровительство», все равно редакция «Слова» показывает совершенную бестактность, незнание первых правил общежития, провозглашая свой смех с первого же раза. Это грубо и неблагоприятно, только и всего. Поссориться успели бы вы и тогда, когда оказалась бы невозможность согласиться между собою. Зачем же оскорблять людей, которые хотят помогать вашему делу?

Но, видите ли, львовское «Слово» обиделось самим выражением сочувствия к нему, приняло эту симпатию за «покровительство» — и провозглашает: «Мы, слава богу, из пеленок уже выросли», — вот и причина отвергать содействие: поляки считают нас, русинов, младенцами, подумало львовское «Слово» и раздражилось. «Мы, слава богу, уже выросли из пеленок», — вот видите ли, если бы в предыдущих статьях не представили вы много доказательств своей младенческой неопытности и неразвитости, эта одна раздражительность и обидчивость уже засвидетельствовала бы, что вы — действительно не больше, как дети

в политических делах. Взрослые люди ни в ком не подозревают намерения считать их детьми — только несовершеннолетние очень подозрительны и обидчивы в этом отношении. Взрослый человек нимало и не думал еще выказывать чем-нибудь свое пренебрежение к мальчишке, а мальчишка уж думает: «ведь он считает меня мальчиком», — думает это и обижается, и с досады делает мальчишеские выходки.

Мы нимало не относим этих грустных слов ни вообще к русинам, ни вообще к русинским писателям, — наше замечание относится только к газете «Слово». Было бы тяжело предположить, что она в самом деле — представительница русинской национальности. Пусть просвещенные русинские патриоты поспешат взять дело из рук, в которых оно только компрометируется.

За статью «Русины и их отношения к соседям» следуют письма корреспондентов из разных мест. Первый корреспондент говорит, что русинская журналистика «должна твердо держаться, как аксиомы, того политического принципа, что только при Австрии и тесной с нею политической связи может Галицкая Русь с успехом» вести свое дело. Другой корреспондент мимоходом открывает, в ком имеет своих противников русинская литература. «Находясь, к несчастью, такие люди, которые, покинув прародительскую ниву, отрекшись от своей матери и родного слова, стали возделывать чужую ниву, отдались в опеку мачехе, и, стараясь войти к ней в милость, страшно враждуют ныне против своей кормилицы и всякими способами усиливаются отнять у ней сыновей, еще оставшихся верными ей. Но напрасны их усилия, — напрасны, потому что дело их противно божескому закону. Человек, отрекающийся от родной матери и родного слова и принимающий чужое слово для умственной жизни своей, враждует сам против себя и нарушает божеский закон». Что ж после этого сваливать вину на соседей, когда враги ваши — вовсе не соседи, а некоторые из ваших единоплеменников? Подобное положение было у нас при Сумарокове и даже при Карамзине. Некоторые русские отрекались от родного слова для французского языка и презирали русскую литературу, провозглашая, что на мужицком языке нельзя читать книг, а надобно читать на французском. Чем тут были виноваты французы? — Ни душой, ни телом. Чем же поправилось дело нашей литературы? Враждою ли против французов, бывших тут ровно ни при чем или даже хваливших тогдашние наши литературные попытки, например, трагедии Сумарокова? Поправилась наша литература просто тем, что хотя несколько распространилось у нас просвещение (при помощи французов же и других просвещенных наций). Мы видим, что само русинское племя делится на две разные партии: масса народа говорит на родном языке и любит его; некоторые русины стыдятся быть русинами и враждуют против родного языка. Вот спросили бы верные своей народности русины поляков, уважают



ли сами поляки таких отступников от русинской национальности и одобряют ли их. Вероятно, поляки смотрят на этих русинов-отступников точно так же, как французы смотрели на русских, презиравших русскую национальность: называют их попугаями. А сами поляки желают относиться к русинской национальности вовсе не так, как относятся эти жалкие люди: мы уже видели из самого «Слова», что поляки готовы содействовать ее развитию. Раздувая вражду против поляков, «Слово» не может, однакоже, скрыть этого факта. В конце 1-го нумера, наполненного выходками против мнимой вражды поляков, мы находим следующее место: «мы должны (говорит редакция львовского «Слова») благодарить польские газеты за братскую помощь, какую они принесли нам, поспешив объявлять о намерении нашем издавать русинскую газету. Польские газеты больше всего доставили нам средств уведомлять наших подпиечников о скором появлении «Слова». Хорошо: зачем же беспрестанно бранить тех, кого вы должны благодарить? Даже за отрывком, который у нас выписан, следует брань на поляков, и за что же? Как вы думаете? Одна из польских газет сказала, что львовское «Слово» будет печататься «русскими» буквами. Что ж, это — правда. Львовское «Слово» действительно печатается тем самым шрифтом, какой принят у нас в России. И какая обида в этом справедливом замечании польской газеты? Но львовское «Слово» обижается и бранится. Оно доказывает, что шрифт, употребляемый в России, заимствован нами, русскими, у русинов и потому должен называться не русским, а русинским. Удивительно! Мы того и ждем, что львовское «Слово» увидит обиду и злонамеренность во мнении нашем о единоплеменности галицийских русинов с остальными малороссами.

Не правда ли, довольно было бы и одного первого нумера львовского «Слова», чтобы составить очень точное и подробное суждение о несчастном направлении этой газеты? Да, мы могли бы и не пересматривать второго нумера: но так как он у нас под руками, то почему же не пересмотреть? Вот первая статья, самая большая, напечатанная крупным шрифтом, — руководящая статья. Заглавие у ней: «Симпатия или антипатия?» то есть русинов к полякам. Тут доказывается, что русинский народ должен ненавидеть поляков. За что же? Как вы полагаете? Больше всего за то, что поляки в Галиции носят «рогатые шапки», вроде тех, какие в моде у наших мужиков в некоторых губерниях: довольно высокая шапка, верх у которой не круглый, а четырехугольный. Эти шапки ясно выражают надменность поляков, их тайную мысль колоть своими рогами русинский народ. Краснень за русский или, если угодно львовскому «Слову», русинский шрифт, когда читаешь напечатанные им такие вещи. Как вы прикажете после этого думать о следующей затем корреспонденции, превозносящей терпимость русинского народа? Конечно, русинский

народ, подобно другим малороссам, умен и добр; но не имеют никакого права говорить от имени его люди, провозглашающие вражду к полякам за форму их шапок. Тем же духом странной ребяческой нетерпимости из-за вздора, глушешего вздора, проникнут фельетон 2-го номера, заключающий в себе стихотворную «Сказку для детей о том, как буква Ъ отравила чорта в ад». Чорт тут выводится под именем «лихий», — это, видите, остроумный каламбур, указывающий на ляхов. Лихой (то есть лях) хотел похитить и съесть букву ъ; но буква ъ врезалась ему в грудь, начала терзать внутренности «лихого», то есть ляха, и низвергла его в ад. Хотите ли иметь понятие об этой нелепой чепухе? Извольте:

Сам один за всю азбуку  
 Готовился бедный Ъ  
 Русскую поднести (поднять) руку,  
 С Вельзевулом вести спор.  
 Жертволюбия чудесный  
 Ъ собов (собою) тут пример дал.  
 Дети! Ъ наш всегда честный,  
 Он за Русь целу страдал!  
 — Чорта в пекло (ад) тайна сила  
 Несла скоро стремголов (стремглав),  
 И куски роздерты (растерзанные) тела  
 Вновь слепилися смолов (смолой).  
 Уже до пекла чорт добылся (достиг).  
 Ух! — там ужасный огонь.  
 Чорт, прибывши, в нем обмылся,  
 Смертоносу хлипнул вонь, и т. д. и т. д.

Вот конец:

Вечно там (в аду) ему (чорту-ляху) сидети  
 — Словом божим он зачат, —  
 Мучитися и глядети,  
 Чи и другие терпят;  
 Все чорты (черти) ему подвластны  
 И все духове лихи (понимай: ляхи)  
 За дела их сладострастны,  
 За всю злобу и грехи...

А впрочем, нет, — это еще не конец. Обещано продолжение милой и умной сказки.

К № 2-му приложено особенное прибавление, предназначенное для русинских простолюдинов и напечатанное славянскими буквами. Тут объясняется простому народу образ действий, которого он должен держаться в настоящее время, когда императорским дипломом 20 октября пожалована свобода всем народам Австрийской империи<sup>5</sup>. По диплому этому учреждаются провинциальные сеймы, и львовское «Слово» внушает, каких депутатов должны русинские простолюдины выбирать на галицийский сейм. Объяснение начинается с того, что если русины не будут иметь на галицийском сейме сильных защитников, то пропадут от по-

ляков. «Мы попадемся в новую неволю» (говорит львовское «Слово» русинам). «Поляки могут вновь поработить нас, как поработали во время польской республики и разоряли наш народ». По этому случаю припоминается, в чем состояло прежнее поработление. «Когда Галицкое государство отдалось под власть короля польского, обещаны были русинам равные с поляками права и свободное исповедание христианской веры по греческому обряду. Но этого обещания польские правители не сдержали: скоро начали они вводить свое исповедание и признавать равные с правами польских панов права только за теми русскими паннами, которые приняли латинское исповедание. Таким образом, наши русские панны не только перешли в латинское исповедание, но и перестали быть русинами; русинская народность, потеряв своих сильнейших сыновей, долго не имела никаких заступников, кроме духовенства. Еще и теперь мы имеем множество богатейших панов, которые происхождения русинского, в которых течет чистая русинская кровь, но в которых нет ни русинского сердца, ни русинской мысли, которые, быть может, еще и враждебны своей матери, русинской народности. Русское сердце, привязанность к русской народности можно найти только в тех, которые держатся греческо-русского исповедания; но и между ними есть такие, которые больше дружат чужим, чем своим».

Разберем эти мысли и факты. Защитники и неприятели русинского простонародья различаются по исповеданию и языку: католики поляки — враги русинов, православные русины — друзья их. Так ли? — Но тут же прибавляется, что и между православными русинами есть враги своего народа. Как связать это с предыдущим? Значит, по вероисповеданию и по языку нельзя русинскому народу различать врагов от друзей. Зачем же львовское «Слово» на каждой строке твердит русинскому народу: «считай своими врагами всех поляков, считай своим другом каждого русина», — зачем оно внушает русинскому народу эту фальшь, против которой само свидетельствует в забывчивости?

Мы видим также, что много богатейших панов в Галиции — чистые русины; это засвидетельствовано самим львовским «Словом». Если оно хочет быть представителем интересов русинского народа, пусть оно спросит у русинов, меньше ли, чем польские панны, брали повинностей эти русинские панны, больше ли польских панов они сделали уступок русинскому народу, — короче сказать, лучше ли было русинскому поселянину у русинского пана, чем у польского? Слышали мы свидетельство об этом от человека, не слишком любившего льстить полякам, от человека, имя которого драгоценно каждому малороссу, — от покойного Шевченко. (Впрочем, львовское «Слово», быть может, не признает Шевченко своим человеком: ведь он — не русин и в львовском «Слове» наверное не стал бы лисать.) [Он свидетельствовал нам, что панны из малороссов далеко уступают панам из поляков

справедливостью и человечностью в обращении с поселянами. Этот отзыв прекратил для нас возможность смотреть на отношения поляков к малороссам теми глазами, какими смотрит львовское «Слово». Он окончательно разъяснил для нас ту истину, которую давно мы предполагали сами. Вот она.

В землях, населенных малорусским племенем, натянутость отношений между малороссами и поляками основывалась не на различии национальностей или вероисповеданий; это просто была натянутость сословных отношений между поселянами и помещиками. Большинство помещиков там поляки, потому недоверие простолудинов к полякам — просто недоверие к помещикам. Когда малороссы говорят о панах, они только забывают прибавлять, что в числе панов есть и малороссы, потому что этих панов малороссов гораздо меньше, чем поляков. Но к этим панам их отношение точно таково же, как и к польскому большинству панов. Различие национальностей не делает тут никакой разницы. О чувствах и поступках польских панов относительно поселян разных племен надобно сказать точно то же, что о чувствах малорусских поселян к панам разных племен: различие национальностей и тут не производит никакой разницы в отношениях. От польского поселянина польский пан требовал несколько не меньше, чем от малорусского поселянина; ни в одном из тех облегчений, какие он сделал или соглашается сделать польскому поселянину, он и не думает отказывать малорусскому поселянину. Тут дело в деньгах, в сословных привилегиях, а несколько в национальностях или вероисповедании. Малорусский пан и польский пан стоят на одной стороне, имеют одни и те же интересы; малорусский поселянин и польский поселянин имеют совершенно одинаковую судьбу; если была она дурна прежде, она была для обоих одинаково дурна: на сколько становится или станет она лучше для одного из них, ровно на столько же и для другого.

Ничего этого не понимает львовское «Слово». Ему не то неприятно, что поселянам было тяжело; ему неприятно лишь то, что большинство панов говорило не малорусским языком. Оно не понимает, что малорусскому поселянину не было бы ни на волос легче, если бы все паны в Малороссии были малороссы, — напротив было бы малороссу тяжелее от этого, как свидетельствовал нам Шевченко. Мы знаем, что очень многие из образованных малороссов и кроме помещиков малороссов не захотят признать этого мнения за истину: она противоречит национальному предрассудку, потому многими будет отвергнута, по крайней мере, на первый раз. Но никакие голословные возражения не поколеблют нашего мнения, опирающегося на такой авторитет, как Шевченко. Не опровергать наши слова мы советуем друзьям малорусского народа, а призадуматься над ними и проверить их фактами. Факты подтвердят их, мы в том уве-

рены, потому что Шевченко чрезвычайно хорошо знал быт малорусского народа. Опираясь на этот непоколебимый авторитет, мы твердо говорим, что те, которые захотели бы говорить противное, ослеплены предрассудком, и что малорусский народ ничего, кроме вреда, не может ждать себе от них.]

За статью, содержание которой мы разобрали, следует в прибавлении к 2-му № «Слова» сказка в народном духе с разными прибаутками. Сказка говорит следующее: Жил у мужика в избе уж, от которого было в доме мужика счастье и изобилие; за то мужик кормил ужа молоком. Разбогатеv по милости ужа, мужик стал пренебрегать ужом и даже хотел убить его; но убить не успел, а лишь отрубил ему хвост. Уж бросил мужика. Пошла на мужика беда за бедой. Он разорился. Думал, думал о причинах бед — и понял, наконец, что все беды от его ссоры с ужом. Пошел он к норе ужа предлагать ему возобновление дружбы. Уж отвечает: «А нет ли у тебя под полою топора? Я тебе не верю и обойдусь без молока, которое ты мне предлагаешь». Сказка известная и очень хорошая. Только каков же смысл ее? По мнению львовского «Слова», вот что следует из сказки: «Вот так теперь говорят ляхи: «не сердитесь на нас, русины, мы вас любим». А мы, русины, не верим, — смотрим, нет ли у них в руках топора. Ох, мои милые, так! спрятан у них под полою топор!» Так говорит львовское «Слово». А мы говорим: львовское «Слово» жлет, — в сказке этого нет, в сказке не то. Разве хотел мужик бить ужа, когда пришел к нему мириться? Нет, не бить он его хотел, а любить. Разве обманывал он его, когда обещал ему давать молока? Нет, не обманывал. Мужик был уже научен опытом, и ни за что не поссорился бы вновь с ужом. Уж сделал глупо, не поверив мужику. Вот чему учит сказка.

[Мы начали статью тем, что будем говорить исключительно о галицийских русинах, и действительно имели в виду только их во все продолжение статьи. Она относится исключительно к делам Галиции. Судьба остальной части малорусского племени устроена и обеспечена так превосходно, что об этой остальной части нам нечего заботиться, да и сама она не чувствует нужды иметь о себе никаких забот. Нашим русским малороссам даны все права и выгоды, каких только когда-либо желали они. Их обидеть не может теперь никакое племя. Они благоденствуют, по совершенно верному и очень удачному выражению своего любимого поэта Шевченко. Вероятно мы не ошибемся, предположив, что даже по мнению львовского «Слова», столь преданного законной австрийской власти над Галициею, галицийские русины должны завидовать счастью своих одноплеменников-малороссов, пользующихся ныне свободою под нашею властью.]

## РУССКИЙ РЕФОРМАТОР

(Жизнь графа Сперанского<sup>1</sup>. Соч. барона М. Корфа. 2 т[ома]. С.-Петербург. 1861 г.)

[Книга барона Корфа принадлежит к числу тех, оценки которых нельзя от нас требовать. Мы можем только изложить ее содержание.]

В предисловии г. Корф говорит, что дочь Сперанского \*, отдавая в императорскую публичную библиотеку оставшиеся после ее отца бумаги и его письма к ней, поручала библиотеке издать эти письма, по возможности, вполне. Приготовляя письма к изданию, барон Корф почел нужным делать к ним объяснительные примечания, но вскоре убедился, что гораздо удобнее будет заменить их «последовательным рассказом, который служил бы введением и ключом к содержанию писем». Этот рассказ, изданный теперь, извлек барон Корф из материалов, собранных им для обширной биографии Сперанского, написать которую он было вздумал лет шестнадцать тому назад. Таким образом, сочинение, явившееся теперь под именем «Жизнь графа Сперанского», составляет выдержку из другого труда, оставшегося неосуществленным, и выдержка эта сделана с особенною целью — быть пояснительным введением для писем Сперанского к дочери, которые скоро будут напечатаны<sup>2</sup>.

Уже из этого одного ясно, что книга, пересматриваемая теперь нами, не все части своего предмета излагает с одинаковой полнотою. Действительно, некоторые отделы в жизни Сперанского рассказаны в ней довольно обстоятельно: например, детство Сперанского и первые годы его молодости; точно так же и образ жизни его во время удаления от дел. О других периодах жизни Сперанского говорится очень кратко и притом так, что рассказы-ваются они почти только с формальной стороны. Например, осьмнадцать лет жизни Сперанского по возвращении в Петербург (1821—1839 гг.) занимают только 120 стр., из которых

\* Елизавета Михайловна Флорова-Агреева. — *Ред.*

многие посвящены формальному перечню содержания дел, поручавшихся Сперанскому. В особенности чувствителен пробел в изложении плана реформ, составлявших предметы занятий Сперанского с императором Александром I в периоде между эрфуртским свиданием и войною 1812 г.<sup>3</sup> Сам барон Корф выставляет, что книга его в этом месте действительно имеет пробел. Он говорит:

Он (Сперанский) принялся с свойственным ему жаром за составление полного плана нового образования государственного управления во всех его частях, от кабинета государева до волостного правления.

Колоссален был этот план, исполнен смелости как по основной своей идее, так и в подробностях развития. Все еще живя жизнью более мыслительною, кабинетною, нежели практическою, Сперанский не чувствовал или скрывал от себя, что он, по крайней мере, частию своих замыслов опережает и возраст своего народа, и степень его образованности и самодеятельности; не чувствовал, что строит без фундамента, то есть без достаточной подготовки умов в отношениях нравственном, юридическом и политическом; наконец, что, увлекаясь живым стремлением к добру, к правде, к возвышенному, он, как сказал когда-то немецкий писатель Гейне, хочет *вести будущее в настоящее*, или, как говорил Фридрих Великий про Иосифа II, делает второй шаг, не сделав первого.

Как бы то ни было, но работа создавалась под пером смелого редактора с изумительною быстротою. Не далее октября 1809 года весь план уже лежал на столе Александра. Октябрь и ноябрь прошли в ежедневном почти рассмотрении разных его частей, в которых государь делал свои поправки и дополнения. Наконец положено было приступить к приведению плана в действие. Тут начались колебания.

Сперанскому все казалось уже совершенным, поконченным, и исполнение своего плана он разделял на сроки единственно с тем, чтобы еще более обеспечить его успех. Вместо того, важнейшие части этого плана никогда не осуществились. Приведено было в действие лишь то, что сам он считал более или менее независимым от общего круга задуманных преобразований; все прочее осталось только на бумаге и даже исчезло из памяти людей, как стертый временем очерк смелого карандаша...

Если нет сомнения, что подробности тогдашних предположений займут некогда важную страницу в истории России и в биографии императора Александра I, то не здесь место разбирать начинания, не достигшие полной зрелости и самим им впоследствии покинутые. Поэтому мы ограничимся обзором только тех частей проекта, которые получили действительное исполнение; но, получив его порознь, разновременно, во многом даже на других основаниях, далеко отошли от первоначального общего плана и почти потеряли всякую с ним связь.

Если барон Корф находит неуместным знакомить нас в пересматриваемой нами теперь книге с характером общего плана преобразований, предположенных Сперанским во время его силы пред государем, то само собою разумеется, что мы должны согласиться с бароном Корфом относительно неуместности подобных объяснений: но можно сказать, что это обстоятельство отнимает у нас возможность рассуждать о Сперанском как о государственном человеке. Оставляя в неизвестности главные его мысли и основное его стремление, мы не в силах сказать что-нибудь положительное о нем как о реформаторе. Очень много было бы и того,

если бы могли мы показать хотя то, что господствующее мнение о духе тогдашних действий Сперанского неосновательно.

Обыкновенно Сперанского считают у нас приверженцем бюрократической централизации в том смысле слова, какой имеет оно теперь, при полемике против гг. Соловьева, Чичерина или против покойного «Атенея». Но при этом судят о намерениях Сперанского только по тем обломкам его мыслей, которые были осуществлены; а мы видим, что сам барон Корф называет эти учреждения установленными «на других основаниях, далеко отошедшими от первоначального общего плана и почти потерявшими всякую с ними связь». Очень может быть и, судя по словам г. Корфа, очень вероятно, что при осуществлении полного плана эти части действовали бы на основаниях, различных от нынешнего характера их. Сам Сперанский скоро увидел, что на деле вышло вовсе не то, чего желал он. Барон Корф приводит следующие слова из письма его, отправленного к императору Александру I из Перми: «Полезнее было бы (говорит Сперанский) все установления плана, приуготовив вдруг, открыть единовременно». Между тем по решению, не зависевшему от воли Сперанского, постановлено было (продолжает он в письме) исполнить первоначально лишь некоторые второстепенные части составленного проекта, отложив исполнение главных вещей до будущего времени, которое было представлено Сперанскому очень близким. Но эти дальнейшие преобразования были потом совершенно отстранены, и результатом оказалось то, что стали судить Сперанского (как он говорит в своем письме) «по отрывкам», «не видя точной его цели и не зная плана» (т. I, стр. 112).

Словом сказать, Сперанскому не удалось достичь исполнения своих планов, не удалось достичь даже и того, чтобы хотя сколько-нибудь отражался характер его намерений в вещах, исполненных при его содействии; мало того: вышло так, что осуществившаяся часть его работ приняла характер, противоположный духу, которым должна была проникнуться по его предположению. Как могло произойти это? По своей неполноте, книга барона Корфа не представляет достаточных материалов для совершенно ясного ответа на такой вопрос; но все-таки можно найти в ней довольно многое для ответа если и не вполне ясного, то все-таки приблизительно точного.

Сперанский был сын священника, как известно читателю, попросту сказать — был бурсак, или попovich. Барон Корф справедливо выставляет очень рельефным образом это обстоятельство, которому принадлежало значительное влияние на судьбу Сперанского. Например: поступает Сперанский домашним секретарем к князю Куракину, «богатому вельможе, управлявшему в последние годы царствования императрицы Екатерины II третьєю экспедициею для свидетельствования государственных счетов». Если домашним секретарем у важного сановника служит молодой



человек хорошей фамилии, светского воспитания и сам имеющий некоторое наследственное недвижимое имущество, этот юноша обыкновенно становится домашним человеком в семействе своего начальника, жена и дети которого смотрят на него почти как на семьянина. Со Сперанским случилось не так. Куракин пригласил было его обедать за своим столом, «желая (по словам барона Корфа) приучить понравившегося ему молодого человека к хорошему обществу; но (продолжает барон Корф), —

Сперанскому было как-то неловко в этом чуждом для него мире: он всячески избегал приглашений Куракина и предпочитал обедать с старшими из прислуги: камердинерами князя, первыми горничными княгини и нянями их дочерей. Наконец, хозяин, сам видя, что для бедного секретаря присутствие за господским столом — настоящая пытка, перестал его неволить и дал ему полную свободу обедать, где захочет. Летние месяцы Куракин жил обыкновенно вместе с княгиней Е. Ф. Долгоруковой на даче князя Вяземского. Вокруг главного дома были четыре башенки, и в одной из них помещался Сперанский с товарищами. «Здесь, — рассказывала княгиня Долгорукова, — я три лета прожила почти под одною с ним крышею, никогда его не видав и даже не слышав ни разу его имени, точно так же как и прочих писцов или секретарей Алексея Борисовича\*, которые не допускались ни к нашему столу, ни вообще в приемные комнаты. Наша жизнь на этой даче разнообразилась частыми праздниками, домашними спектаклями, музыкою и проч. Однажды граф Кобенцель сочинил маленький фарс, в котором сам должен был занимать очень комическую роль; но соглашался поставить его на домашнюю сцену и участвовать в представлении только под тем условием, чтобы при представлении не было никого из прислуги Куракина: это исключение было распространено и на Сперанского. Несколько лет спустя, когда последний уже начинал занимать важное место в обществе, княгиня Куракина, пригласив меня однажды к себе обедать, сказала, что к ней обещал быть Сперанский. Я отвечала, что буду очень рада встретиться, наконец, с человеком, про которого столько говорят и которого, между тем, мне еще не удавалось никогда видеть. Тут княгиня рассказала мне, как мы три года сряду жили с ним на одной даче. Я едва верила своим ушам и долго сомневалась, не мистифицирует ли она меня». «В Александровке, — передавал нам человек совсем другого разряда, вольноотпущенный графа Гурьева, а в то время главный его берейтор, Борис Тимофеев, — в Александровке, где барин наш жила с князем Куракиным, Михайло Михайлович, быв писарем у князя, всегда обедал с нами в людской, а после обеда или вечером мы игравали с ним в ламуш...»

Говоря просто, общество князя Куракина не допустило Сперанского в свой круг. Разумеется, такую мелочь не стоило было замечать нам, если б та же черта отношений не оставалась и впоследствии времени, при делах более важных. Например, очень долго не имел Сперанский личных сношений с императором Александром I, когда уже было поручено ему заняться преобразованием государственных учреждений; по словам барона Корфа:

Император Александр еще в 1803 году поручил Сперанскому составить план общего образования судебных и правительственных мест в империи; но эта огромная работа была возложена на него не прямо от государя, а через

\* Куракина. — Ред.

министра. Александр впервые непосредственно сошелся с своим статс-секретарем в 1806 году, когда Кочубей во время частых своих болезней начал посылать его с бумагами вместо себя.

В последние два или три года перед удалением из Петербурга Сперанский, через руки которого проходили тогда все государственные дела, часто был приглашаем императором на беседы, продолжавшиеся по целым вечерам. [Но] по выражениям, в которых говорит об этих беседах письмо Сперанского из Перми, мы видим, что [эти беседы имели характер педагогический: государь] спрашивал у него разъяснения разных теорий, которыми интересовался; конечно, рассуждал с ним и о делах. А того, чтобы Сперанский даже и в это время принадлежал к домашним людям у государя, мы вовсе не видим. Он был близок к государю как делопроизводитель [и наставник], но не успел войти ни в число его личных друзей, ни даже в тесный круг важнейших придворных, с которыми, кроме деловых разговоров, ведутся простые, обыденные речи, так сказать, семейного быта.

Если не ошибаемся, Сперанский тогда и не искал этого: барон Корф выражается так, что кажется, будто государственный секретарь, уверенный в своем деловом значении, не считал нужным приобретать никакого другого. Как прежде, будучи секретарем князя Куракина, он не искал связей с знакомыми своего начальника, напротив, удалялся от этих знакомств, довольствуясь обществом прислуги, в котором не смотрели на него свысока и в котором он мог держать себя свободно, так во время своей деловой силы при государе в 1809 и следующих годах он не заискивал придворного веса, а держался вдалеке от высшего света. Разумеется, только человек с таким высоким понятием о достаточности делового значения для прочного положения во главе государственных дел мог быть серьезным реформатором. Кто думает, что деловая сторона отношений еще не дает прочной опоры ему, у того не будет ни времени, ни способности смотреть на государственные вопросы серьезным образом, тот будет всегда готов видоизменять свои планы по личным желаниям нужных ему людей и вместо реформ будет заниматься формальными переделками, не изменяющими ничего существенного. Сперанский в эпоху своей силы желал действовать не так: он действительно хотел преобразовать государство. Опыт скоро доказал ему, что он заблуждался, и барон Корф очень справедливо представляет нам его с тогдашними его замыслами как мечтателя. В одном из выписанных нами отрывков уже попадались читателю слова, что он «жил тогда жизнью более мыслительною, нежели практическою; не чувствовал, что строит без фундамента». Таких выражений у барона Корфа очень много. По своем возвращении в Петербург, Сперанский был уже не таков, и барон Корф выставляет, что он сделался человеком искательным, уклончивым, не стремящимся к мечтательным улучшениям.

Но мы уклонились от своего намерения ограничиваться просмотром материалов, доставляемых книгою г. Корфа, в том самом порядке, в каком они изложены в ней. Мы остановились на том, что, будучи секретарем у князя Куракина, Сперанский не нашел удобным втираться в общество князя, где смотрели на него свысока, и предпочитал жить в кругу прислуги князя, где не встречал высокомерно-милостивых унижений для себя. Приятелями его были два камердинера Куракина: Лев Михайлов и Иван Марков. Тогдашней приятни их к себе Сперанский не забыл никогда.

Льва Михайлова Сперанский, уже быв государственным секретарем и на высшей степени власти, во всякое время охотно к себе допускал и осыпал ласками. С Иваном Марковым он снова встретился уже позже, в бытность свою пензенским губернатором. Марков, давно оставивший дом — Куракиных, имел тогда в Пензе какую-то надобность до начальника губернии и ожидал в передней, в числе других просителей. Сперанский, выйдя из своего кабинета, тотчас его узнал и, бросаясь к нему с словами: «Иван Маркович, старый знакомый!», стал его обнимать и рассказал в общее услышание о прежних их отношениях. Вот еще один анекдот в том же роде и не более важный в существе, но столько же поясняющий характер человека. Главная прачка в доме Куракиных, жена одного из поваров, усердно стирала незатейливое белье молодого секретаря, который, из благодарности, был восприимчивом одного из ее сыновей и в день крестин провел у нее целый вечер. Много лет спустя Сперанский однажды гулял с своею дочерью по набережной на Аптекарском острову. В ту пору прачка, выполоскав белье в реке, возвращалась, через набережную, в дом. Завидев гуляющих и тотчас узнав старого знакомого, она хотела было отойти в сторону, чтоб не сконфузить его при молодой даме своим знакомством. Но Сперанский, который тоже тотчас припомнил и наружность, и даже имя ее, закричал: «Марфа Тихоновна, куда ж ты так от меня бежишь? Разве не узнаешь старого приятеля?» И, подзвав ближе к себе, он взял ее за руку и сказал ей несколько тех приятных и ласковых слов, на которые был такой мастер. Дочь Сперанского, от которой мы слышали этот рассказ, прибавила к нему, что когда отец ее уже был на верху величия и в размовке с князем Куракиным, самые убедительные записки княгини побывать у нее на минуту он оставлял без ответа, а между тем, по малейшему призыву этой бедной женщины, делившей с ним некогда горе и нужду (она между тем потеряла мужа, а с ним и все средства к существованию), тотчас спешил к ней на помощь и утешение.

Нам кажется, что этими рассказами барон Корф до несомненности засвидетельствовал благородство натуры Сперанского. Если впоследствии он выставит нам в Сперанском черты, не согласные с таким взглядом на его характер, мы скажем: мало ли до чего доводит человека жизнь [если будет итти в известной среде], — и мы припишем эти черты не натуре Сперанского, а тяготению обстановки <sup>4</sup>.

Когда, с воцарением императора Павла Петровича, князь Куракин приобрел большую силу, Сперанский был определен им на государственную службу и стал получать чины очень быстро. Сила Куракина была недолговременна: в 1798 г. ему было приказано удалиться из Петербурга в свои деревни. Сперанский и тут не изменил своей благородной натуре. В полтора года службы

он успел приобрести репутацию человека очень способного, так что мог рассчитывать на хорошую служебную карьеру\*. Но Сперанский не колебался бросить представлявшуюся ему карьеру, чтобы остаться верным человеку, которому был обязан и который попал в немилость. Вот слова барона Корфа:

Сын князя Куракина свидетельствует, что благодетельствованный, при падении своего благодетеля, которому было велено жить впредь в своих деревнях, хотел непременно все бросить и следовать за ним, но что сам Куракин, не желая заграждать пути, столь успешно открытого дарованиям молодого человека, воспротивился этому и настоял, чтобы он продолжал службу.

Беклешов, заменивший Куракина, скоро заменился Обольяниновым. Этот новый начальник Сперанского был груб с своими подчиненными. Сперанский находился тогда еще в чине неважном, связей не имел никаких; но все-таки решился с первого раза показать всесильному генерал-прокурору, что не допустит грубого обращения с собою. Он придумал очень оригинальный способ, чтобы заставить Обольянинова понять это.

В городе ходил не один анекдот о площадных ругательствах, которыми он (Обольянинов) осыпал своих подчиненных, и друзья молодого чиновника пугали его предстоящею ему будущностью. В позднейшие годы своей жизни Сперанский любил сам рассказывать, что после милостей и особенного отличия, которыми он пользовался от прежних начальников, ему естественно, не хотелось стать в общий ряд. Но как и чем выказать, что он — не то, что другие? Наш экспедитор понимал, что многое должно будет решиться первым свиданием, первым впечатлением; и вот, в назначенный день и час он является в переднюю грозного своего начальника. О нем докладывают, и его велено впустить. Обольянинов, когда Сперанский вошел, сидел за письменным столом, спиною к двери. Через минуту он оборотился и, так сказать, остолбенел. Вместо неуклюжего, раболопного, трепещущего подьячего, какого он, вероятно, думал увидеть, перед ним стоял молодой человек очень приличной наружности, в положении почтительном, но без всякого признака робости или замешательства, и притом — что, кажется, всего более его поразило — не в обычном мундире, а во французском кафтане из серого грограна, в чулках и башмаках, в жабо и манжетах, в завитках и пудре, — словом, в самом изысканном наряде того времени... Сперанский угадал, чем взять над этою грубою натурою. Обольянинов тотчас предложил ему стул и вообще обошелся с ним так вежливо, как только умел.

Представим себе, какое впечатление было бы произведено и теперь на важного сановника тем, если бы безродный, маленький чиновник явился к нему с первым докладом не в должностном костюме, а в простом фраке. Тогда это было еще опаснее. Сперанский рисковал не только быть выгнан из службы, он рисковал быть отдан под суд, удален из Петербурга, и никто уже не согласился бы принять вновь на службу дерзкого вольнодумца. Видно, что Сперанский не с самого начала был таким, каким является через 20 лет, в сношениях с Аракчеевым.

---

\* И действительно, новый начальник, Беклешов, тотчас же оценил его достоинства и точно так же вел его вперед, как Куракин.

По драгоценным рассказам барона Корфа о Льве Михайлове, Иване Маркове и Марфе Тихоновне мы уже могли бы отгадывать, что, несмотря на милости генерал-прокуроров, на чрезвычайно быстрое получение чинов и других служебных отличий, Сперанский не был горд перед сослуживцами, над которыми возвышался. Действительно, мы находим у барона Корфа прямое свидетельство об этом:

Мы расспрашивали всех тогдашних сослуживцев Сперанского, которых застали еще в живых в конце сороковых годов, когда начали собирать наши заметки о нем. Они изображали Сперанского-чиновника таким же, каким он был в семинарии, то есть ко всем приветливым, непритязательным, милым, краснословным, наконец, чрезвычайно любимым товарищами.

В других местах книги можно отыскать много мест, показывающих то же самое. В Сперанском не было от природы ни одной пошлой черты. Ни на одного из русских государственных людей не клеветали столько, как на него; а по разбору фактов он оказывается человеком очень редкого природного благородства. Не было в нем и того качества, которое так рано развивается между нами благодаря всеобщему обычаю: он не считал нужным соблюдать осторожность в отзывах о людях, насмешки над которыми могли повредить ему:

Прибавляют еще (говорит барон Корф), что Сперанский был известен в канцелярии своею насмешливостью, направлявшеюся, заочно, и против тех людей, которых он в глаза всячески превозносил. Черта такой заглазной насмешливости, даже некоторой сатирической злоречивости и, вместе, особенной решительности в приговорах о лицах и вещах, действительно была не чужда характеру Сперанского и впоследствии; он, в этом отношении, не щадил ничьего тщеславия, слишком, может статься, доверчиво полагаясь на скромность слушателей.

Нам кажется, что эту резкость отзывов проще объяснить другим предположением: не показывает ли она расположения к прямоте, не может ли считаться признаком неохоты хитрить, интриговать, заискивать? Если не ошибаемся, такое объяснение подтверждается свидетельством барона Корфа о том, что до своего удаления из Петербурга Сперанский был человек, пылко преданный своим убеждениям:

Тогдашний Сперанский соединял в себе два, некоторым образом противоположные, качества: с одной стороны, навык, от прежней сферы занятий, к глубокомысленному размышлению и труду самому усидчивому; с другой — энтузиазм и увлечение, легко воспламенявшиеся каждым новым предметом или впечатлением, — качества двух полюсов: ученого и поэта.

Впрочем, и здесь мы позволяем себе несколько видоизменять смысл, влагаемый бароном Корфом в слова, которыми передает он слышанные им рассказы о характере Сперанского. Пылкость

его он объясняет в смысле поэтической восторженности или мечтательности, а мы отваживаемся заключать по той же черте характера, что Сперанский непритворно желал осуществить то, в пользу чего был убежден. Зато мы не можем не назвать чрезвычайно меткими тех многочисленных выражений, которыми биограф Сперанского напоминает нам о низком его происхождении и о чувствах, с какими смотрели на него люди хороших фамилий. Например, говоря о знакомстве Сперанского с Магницким, автор выражается следующим образом: «Познакомившись с ним у Столыпина<sup>5</sup>, молодой дворянчик нисколько не гнушался поповичем и очень часто являлся в скромном его семейном кругу» (стр. 81). Из последних слов видно, что дело относится к тому времени, когда Сперанский уже был женат, то есть к 1798 и 1799 годам. В 1799 году Сперанский уже был статским советником, занимал довольно важные должности. Перед генерал-прокурором он был еще ничтожен; но сравнительно с юношею, вроде Магницкого<sup>6</sup>, он был уже человеком важным. Вот другой пример. Говоря о знакомстве Сперанского с камердинерами князя Куракина, г. Корф употребляет выражения: «Сперанский приятельски сошелся с двумя камердинерами общего их барина» (стр. 42). [Конечно, барон Корф не хочет сказать этим, что Сперанский был крепостным человеком князя Куракина; он хочет только выразить и очень удачно выражает взгляд вельможеского круга на людей незнатного происхождения].

Мы видим, что Сперанский довольно долго оставался без влияния на мысли о преобразованиях и в то время, когда уже писал относившиеся к ним государственные акты. Ему только говорили, что решено устроить известное учреждение на известных основаниях и поручали составить сообразные тому манифест или указ. К таким работам, исполненным по чужой инструкции, принадлежат акты, которыми сделано было, в первые годы царствования Александра Павловича, учреждение министерств<sup>7</sup>. Эта реформа, оказавшаяся прочною, относилась не к самому духу государственного управления, а только к формам его. Перемена состояла в титулах управляющих сановников, отчасти в распределении дел между ними и в преобразовании их канцелярий. Барон Корф приводит разные соображения о преимуществах и недостатках этого нового канцелярского порядка. Нам кажется, что важного различия между прежними коллегиями и новыми министерствами не было. Но, во всяком случае, похвалы или порицания за эту формальную реформу не должны относиться к Сперанскому, не имевшему тут никакого самостоятельного участия. Между тем очень многие судят о Сперанском главным образом по учреждению министерств в том виде, в каком мы знаем их. Это — чистая ошибка. Когда Сперанский сблизился с государем и достиг мнимого своего всемогущества, он думал в числе других учреждений преобразовать и министерства соответственно плану,

одобренному императором. Но барон Корф объясняет нам, что план этот не осуществился; потому и перемена в положении министерств, задуманная Сперанским, осталась только в виде проекта, и единственным официальным следом этого его намерения оказываются некоторые выражения в его отчетах и докладах, — выражения, наделавшие в свое время большого шума, но не успевшие получить ни малейшего практического применения.

Сперанский начал, по свидетельству барона Корфа, сблизиться с императором Александром Павловичем в 1806 году, то есть года через четыре по образовании министерств. Но, судя по всему, его действительное влияние, если не на государственные дела (такого влияния он никогда не имел в размере, о каком обыкновенно думают), то, по крайней мере, на проекты о будущем устройстве государственных дел (устройстве неосуществившемся) началось не раньше как еще через два или три года, — кажется, только по возвращении императора Александра I из Эрфурта, куда Сперанский сопровождал государя. Барон Корф положительно говорит, что внутренняя политика (или, точнее говоря, теория о будущем устройстве внутренней политики), существовавшая или, точнее сказать, предполагавшаяся во время силы Сперанского в 1809—1811 годах, совершенно отличалась от направления прежних лет, когда влиянием пользовались другие лица: Кочубей, Новосильцев и прочие. Разницу эту барон Корф, по обыкновенному способу, определяет тем, что прежние советники государя имели «пристрастие к английскому», а «воображение и все помыслы» Сперанского «были поработаны Наполеоном и политической системой Франции». Вот подлинные слова барона Корфа:

Пора пристрастия ко всему английскому, господствовавшего при прежних любимцах, окончательно миновала. Если уже Тильзитский мир произвел совершенную перемену и в политике нашего кабинета, и в личных чувствах русского государя к императору французам, то Эрфурт довершил ее окончательно. Александр воротился в Петербург очарованный Наполеоном, а его статс-секретарь — и Наполеоном, и всем французским. После виденного и слышанного при блестящем французском дворе Сперанскому еще более прежнего показалось, что все у нас дурно, что все надобно переделать, что — по любимым тогдашним его выражениям — *il faut trancher dans le vif, tailler en plein drap* \*. Данное ему новое, самостоятельное положение освободило его от посторонних стеснительных влияний, а милость государя вдохнула в него полную отвагу. Наполеон и политическая система Франции совершенно поработили воображение и все помыслы молодого преобразователя; он снова находился как бы в чаду, но уже с тою разницею, что, найдя себе готовый образец для подражания, совсем откинул прежнюю робость малоопытности. Вместо осмотрительных попыток и некоторой сдержанности, наступила эпоха самоуверенности и смелой ломки всего существовавшего. Еще в «Правилах высшего красноречия», написанных Сперанским в скромном звании семинарского учителя, мы читаем следующее как бы пророческое место: «Когда великая ось правления обращается в наших очах; когда нет в обществе ничего столь великого, что бы от нас было скрыто: на какую высоту ни восходят тогда наши понятия, чего ни объемлет наше воображение! Какое рвение,

\* Резать по живому телу, кроить сукно по своему желанию. — Ред.

какая ревность не воодушевляет тогда оратора, и как можно не быть Демосфеном, говоря против Филиппа и защищая дело целой Греции?» То, что некогда рисовала ему молодая фантазия, теперь обратилось для него в действительность: готовый видеть в каждом, кто отваживался сопротивляться его нововведениям, своего Филиппа, он в самом себе почувствовал все силы Демосфена. «Il y a un principe dans l'homme qui le pousse à courir les chances \*», писал он около этого времени одному из своих друзей. Позже он говаривал, что великие люди разнятся от прочих тем только, что вышли из берегов и помешались на одной постоянной, хотя и не темной мысли, из берегов же выходят движением всякого сильного восторга, и тогда все в человеке покоряется этой мысли. Если вникнуть в эти слова, произносившиеся спокойным, разговорным тоном, то становится ясно, что Сперанский уже и без восторга парил душою в безбрежном пространстве.

Мы позволим себе обратить внимание и на те черты этой характеристики, которые относятся не к одному определению мыслей Сперанского сочувствием к известному иностранному устройству, но и к существенному духу направления самого Сперанского. Сперанскому, как мы видим, казалось, по выражению барона Корфа, что «у нас все надобно переделать», и, по словам барона Корфа, «наступила эпоха смелой ломки всего существовавшего». По свидетельству барона Корфа, «любимым тогдашним его выражением» были слова, обозначающие, что он замышляет коренные реформы, [и слова эти очень сходны с выражениями, какими изобилуют речи государственных людей Франции, предшествовавших Наполеону], Сперанский желал, как мы видим из этих слов, изменять не одни второстепенные подробности и не одни внешние формы прежнего государственного быта, а и некоторые существенные черты его, и считал нужным действовать как можно быстрее. С этой стороны, он действительно был отчасти приверженцем той политической системы, которая преобразовала Францию, которая провозглашала равноправность всех граждан и отменяла средневековое устройство. То же самое стремление одушевляло и Сперанского. Приверженцы политических людей при жизни их стараются обыкновенно выставить за клевету мнение противной партии о целях и стремлениях деятелей, защищаемых ими. Сами эти люди часто принуждены бывают говорить в таком же смысле. Оно так и бывает нужно, чтобы успокоивать общество и выигрывать время. Но очень часто историк находит, что государственный человек действительно имел отчасти те стремления, какие приписывались ему врагами. Сперанского называли его враги революционером. Характеристика, взятая нами из книги барона Корфа, показывает, что этот отзыв врагов Сперанского не был совершенно безосновательною клеветою.

Правда, он несколько не соответствовал делу в том смысле, какой извлекли из него сами эти враги. Сперанский был искренно предан императору и преобразовать государство хотел не низвержением его, а именно его властью. Смешно называть Сперанского

---

\* В человеке есть начало, заставляющее его пытаться счастья. — Ред.



революционером по размеру средств, какими он думал пользоваться для исполнения своих проектов. Он был русский сановник, и, конечно, никогда не приходила ему в голову мысль прибегнуть к замыслам или мерам, несогласным с законными приемами и обязанностями его официального положения. [В этой двойственности заключалось непримиримое противоречие, не давшее Сперанскому сделать ничего и очень скоро низвергнувшее его.] В нашей статье были и будут страницы, которые иной назовет панегириком Сперанскому. Но [чтобы видно было, как] далеки мы от восхищения его реформаторскою деятельностью, [мы прямо скажем, что она жалка, а сам он странен или даже нелеп]. Мы будем иметь случай представить из книги барона Корфа пояснение такому взгляду. Сущность ошибки состояла в том, что Сперанский не понимал недостаточности средств своих для осуществления задуманных преобразований.

А преобразования были задуманы действительно громадные. Мы уже приводили из книги барона Корфа отрывок с неопределенными, но высокими выражениями, свидетельствующий о колоссальности замысла. В обнародованных документах находятся лишь бледные намеки на него. Сперанский думал провозгласить реформу в полном составе ее за один прием. Но принужден был согласиться, как мы видели, чтобы она производилась по частям и начата была с частей, не имевших самостоятельной важности, получавших значение только в связи с другими существеннейшими частями: эти существеннейшие части были отложены, и стали один за другим появляться только уставы учреждений, которые не изменяли прежнего порядка. При внимательном разборе можно найти, однакоже, и в этих уставах признаки тому, что Сперанский предназначал их действовать не при старом, а при задуманном новом быте. Вот, например, отрывок из книги барона Корфа о первом введенном Сперанским учреждении:

Началось с преобразования или, точнее сказать, с совершенно нового образования государственного совета, который при устройстве, данном ему в первые дни царствования императора Александра, не имел ни точно определенного круга действия, ни большого влияния на дела государственные и вообще составлял род учреждения домашнего, безгласного, затемненного притом не соглашенным с ним учреждением министерств. Причинами необходимости — «расширить совет и дать ему публичные формы» Сперанский, в одной из докладных своих записок, представлял два обстоятельства, не терпевшие, по его мнению, отлагательства: «а) Положение наших финансов, писал он, требует непременно новых и весьма нарочитых налогов, без чего никак и ни к чему приступить невозможно. Налоги тягостны бывают особенно потому, что кажутся произвольными. Нельзя каждому с очевидностью и подробно доказать их необходимость. Следовательно, очевидность сию должно заменить убеждением в том, что не действием произвола, но только необходимостью, признанною и представленною от совета, налагаются налоги. Таким образом власть державная сохранит к себе всю целостность народной любви, нужной ей для счастья самого народа; она охранит себя от всех неправых нареканий, заградит уста злонамеренности и злословия, и самые налоги не будут казаться столь тягостными с той минуты, как признаны

будут необходимыми; 6) смещение в сенате дел суда и управления дошло уже до такого беспорядка, что, независимо от общего преобразования, нельзя более отлагать нужные меры исправления, а меры сии во всех предположениях не могут быть иначе приняты, как отделением части управления и назначением ей особенного порядка».

Тут довольно ясно видно предположение о совершенно новом способе установления налогов, а еще виднее намерение совершенно отделить судебную власть от административной.

О торжественном открытии заседаний государственного совета барон Корф также выражается тоном, заставляющим думать, что по намерению Сперанского новое учреждение должно было приобрести круг деятельности, несходный с основаниями прежнего порядка. Вот слова барона Корфа:

Собрание это было необыкновенно торжественно, и никогда еще никакое учреждение не открывалось так в России. Александр, с председательских кресел, произнес речь, исполненную чувства, достоинства и таких идей, которые также никогда еще Россия не слышала с престола. Эта речь была сочинена Сперанским, но собственноручно исправлена государем. Потом новый государственный секретарь прочитал манифест об образовании совета, самое положение о нем. Для большей части присутствовавших тут все это было совершенно ново по содержанию, еще более ново по духу.

Излагая содержание манифеста об установлении государственного совета, барон Корф также говорит, что тут был «явный отпечаток понятий и форм, совершенно новых в нашем государственном устройстве», и с особенною силою выставляет некоторые выражения этого манифеста, как, например: «Разум всех усовершенней государственных должен состоять в учреждении образа управления на твердых и непремняемых основаниях закона» (т. I, стр. 119). Замечателен в том же отношении отрывок из общего отчета Сперанского за 1810 год:

Совет учрежден, чтобы власти законодательной, дотоле рассеянной и разнообразной, дать первый вид, первое очертание правильности, постоянства, твердости и единообразия. В сем отношении он исполнил свое предназначение. Никогда в России законы не были рассматриваемы с большею зрелостию, как ныне; никогда государю самодержавному не представляли истинны с большею свободою, так, как и никогда, должно правду сказать, самодержец не внимал ей с большим терпением. Одним сим учреждением сделан уже безмерный шаг от самовластия к истинным формам монархическим. Два года тому назад умы самые смелые едва представляли возможным, чтобы российский император мог с приличием сказать в своем указе: «вняв мнению совета»; два года тому назад сие показалось бы оскорблением величества. Следовательно, пользу сего учреждения должно измерять не столько по настоящему, сколько по будущему его действию. Те, кои не знают связи и истинного места, какое совет занимает в намерениях ваших, не могут чувствовать его важности. Они ищут там конца, где полагается еще только начало; они судят об огромном здании по одному кривугольному камню.

Но далее в том же отчете Сперанский положительно говорил, что государственный совет, в том виде и в той обстановке, в каких

существовал до исполнения прочих частей плана, не имеет характера, какой хотел сообщить ему Сперанский:

Время, с коего начали у нас заниматься публичными делами, весьма еще непродолжительно; количество людей, кои в предметах сих упражняются, вообще ограничено, и в сем ограниченном числе надлежало еще, по необходимости, избирать только тех, кои по чинам их и званиям могли быть помещены с приличием. При сем составе совета нельзя, конечно, и требовать, чтоб с первого шага поравнялся он в правильности рассуждений и в пространстве его сведений с теми установлениями, кои в сем роде в других государствах существуют. Недостаток сей не может, однакоже, быть предметом важных забот. По мере успеха в прочих политических установлениях, и сие учреждение само собою исправится и усовершится.

Барон Корф справедливо замечает:

Но «прочие политические установления», на которые указывает здесь Сперанский и которые входили в начертанный им общий план, не были приведены в действие. Оттого и государственный совет не мог принять полной жизни в том объеме и духе, какие ему предназначались.

Если бы Сперанский захотел холодно обдумать один из фактов, выставляемых им самим во втором отрывке отчета, он с самого начала мог бы увидеть недостаточность своих средств для произведения задуманных реформ. Он сам говорит, что выбор людей не зависел от него: членами государственного совета, по его собственным словам, назначены были не те лица, которые соответствовали бы его намерениям, а те, которые имели официальное право занимать почетные должности. Уже из этого видно, как ограничены были силы преобразователя. Он мог только писать параграфы учреждений, но не имел возможности изменить правительственного состава; значит, он принужден был сохранять прежний дух управления. Какие же тут возможны были существенные реформы? Очевидно, что реформаторские труды Сперанского должны были оставаться бесполезными и безвредными листами и тетрадами писаной бумаги. За то, что Сперанский не хотел понимать этого, надобно, вместе с бароном Корфом, назвать его мечтателем. Разумеется, не по недостатку ума не понимал Сперанский этого, а только по горячему желанию принести пользу государству. Учредив государственный совет, он для исполнения другой части своего плана принялся за преобразование министерств. В характере прежних министерств, устроенных прежними советниками императора, коренным недостатком он считал «недостаток ответственности». В его записке о преобразовании министерств говорилось, что «ответственность не должна состоять только в словах, но быть вместе и существенною»; поэтому главнейшею целью преобразования министерств, по записке самого Сперанского, должно было быть то, чтобы «определить положительными и твердыми правилами ответственность министров и

порядок ее» (т. I, стр. 121). Но по неосуществлению главных частей плана, [не были созданы учреждения, перед которыми были бы ответственны министры. Таким образом] первая и главная цель Сперанского при преобразовании министерств осталась недосягнутою; зато вполне удалось ему произвести формальные перемены, которые были второстепенными принадлежностями преобразования. Он находил «недостаток точности» в прежнем «разделении дел» между разными министерствами. Например, соляное управление было отнесено прежде к министерству внутренних дел, между тем как должно принадлежать к министерству финансов. Точно так же были разные неточности в распределении дел между чиновниками каждого министерства. Исправление таких формальных недостатков нимало не изменяло общего духа управления; Сперанский беспрепятственно мог сделать по этим формальным отношениям все перемены, какие считал удобнейшими. Но эта исполненная часть преобразования вовсе не составляла сущности дела, задуманного Сперанским, и потому барон Корф совершенно справедливо говорит: «Общее учреждение министерств в общем его действии развилось не на тех, быть может, нитях, которые были приготовлены Сперанским» (т. I, стр. 126).

Еще менее, даже и по формальной части, удалось Сперанскому сделать по другой второстепенной части своего плана, по отделению судебной власти от административной с целью создать независимые судилища. Тут он хотел, между прочим, преобразовать сенат, «определив в него», кроме сенаторов от короны, «сенаторов по выбору» (т. I, стр. 129). Этот проект был внесен в общее собрание государственного совета в июне 1811 года. Учреждение государственного совета и преобразование министерств, как реформы, оказавшиеся чисто формальными, были приняты сановниками без большого затруднения. Но проектом преобразования сената уже непосредственно вводился в правительство новый элемент; потому, говорит барон Корф, «родились» в государственном совете «по этому делу прения очень настойчивые и довольно резкие» (т. I, стр. 129). Противники проекта делали, по словам барона Корфа, между прочим, следующие возражения:

Назначение части сенаторов *по выбору* противно разуму самодержавного правления и скорее обратится во вред, нежели в пользу: ибо в одних местах — такие выборы могут быть произведены под влиянием местных чиновников, а в других — богатые помещики наполнят сенат людьми, им преданными, и присвоят себе через то возможность и власть безнаказанно теснить кого захотят.

Нет основания уделять судебному сенату одну из существенных принадлежностей самодержавной власти: окончательное, без права жалобы государю, решение дел тяжёбных.

Выражение, в проекте употребленное, «державная власть» несвойственно России, потому что мы знаем только власть самодержавную, или императорскую.

Дело затянулось; через несколько времени Сперанский был удален, и проект о преобразовании сената был тогда брошен.

Мы старались извлечь из книги барона Корфа все те места, которые относятся к характеру общего плана преобразований, задуманного Сперанским. Мы видели, что они не определяют его с достаточною точностью. Но читатель будет, конечно, далек от мысли приписывать этот недостаток самому барону Корфу, который прямо устранил от себя подобную ответственность, сказав, что находит возможным излагать только части проекта, более или менее осуществившиеся, вовсе не касаясь сущности мысли, не дошедшей ни до какого практического применения. Нашедши необходимым ограничить свой рассказ такими границами, барон Корф, разумеется, мог представить публике только те бледные и неопределенные намеки на характер общего плана, которые заключаются в официальных актах и записках Сперанского по частным и второстепенным преобразованиям. Но главная цель стремлений Сперанского была в свое время заметна довольно многим, в том числе и Карамзину, написавшему против Сперанского знаменитое рассуждение «О старой и новой России»<sup>8</sup>. Вот некоторые места отрывков из этого рассуждения, приводимых бароном Корфом:

Мы читаем ныне в указах монарших: «вняв мнению совета». Поздравляю изобретателя сей новой формы или предисловия законов: «вняв мнению совета!» Государь российский внемлет только мудрости, где находит ее: в собственном ли уме, в книгах ли, в головах ли лучших своих подданных; но в самодержавии не надобно никакого одобрения для законов, кроме подписи государя. Он имеет всю власть. Совет, сенат, комитеты, министры суть только способы ее действия, или поверенные государя: их не спрашиваю, где он сам действует.

Осуждаю постановление: «если государь издает указ, несогласный с мыслями министра, то министр не скрепляет оного своею подписью». Следовательно, в государстве самодержавном министр имеет право объявить публике, что выходящий указ, по его мнению, вреден? Министр есть рука венценосца, не больше, а рука не судит головы. Министр подписывает именные указы не для публики, а для императора, во уверение, что они написаны слово в слово так, как он приказал. Громогласная ответственность министров в самом деле может ли быть предметом торжественного суда в России? Кто их избирает? Государь. Пусть он награждает достойных своею милостию, а в противном случае удаляет недостойных без шума, тихо и скромно. Худой министр есть ошибка государева; должно исправлять подобные ошибки, но скрытно, чтоб народ имел доверенность к личным выборам царским.

Барон Корф, по мере возможности, делает возражения против приведенных нами и многих других упреков Карамзину Сперанскому, и мы совершенно согласны с бароном Корфом в том, что общий дух мнений Карамзина неоснователен. Во всей его длинной записке справедливы только следующие слова: «оставляя вещь, мы гоним имена» (т. I, стр. 140). Действительно, реформационными работами Сперанского были изменены только имена, а до сущности управления они не коснулись, потому что едва только были начаты — и брошены, по своей несоответственности с чув-

ствами и интересами тех самых сил, которыми думал воспользоваться Сперанский для их осуществления. Барон Корф справедливо говорит, что Россия даже и «не узнала» о задуманном тогда «новом порядке вещей» (т. I, стр. 144).

Мы сосредоточили свое внимание на той стороне реформационных планов Сперанского, которая у барона Корфа названа «организационною». В ней заключается самая сущность намерений Сперанского, и по ней история будет судить о нем. Его намерения преобразовать другие стороны нашего национального быта также имеют великую важность, — например, он считал нужным изменить наши гражданские и уголовные законы. Но очевидно, что возможность успеха в этих реформах совершенно зависела от успеха работ, называемых у барона Корфа организационными. Характер гражданских и уголовных законов обуславливается духом государственных учреждений, властью которых издаются эти законы. Не успев создать учреждения, Сперанский, конечно, не успел преобразовать ни гражданского, ни уголовного законодательства, и его мысли об этом предмете имеют лишь тот интерес, что служат к определению его личности. Барон Корф свидетельствует, что Сперанский «не давал никакой цены отечественному законодательству, называл его варварским» (т. I, стр. 155). Проект нового уложения гражданских законов был уже приговорен и отчасти принят государственным советом. Но по удалении Сперанского дело было брошено. Дух его уложения также возбуждал сильнейшее неудовольствие в партии, отголоском которой послужила записка Карамзина «О старой и новой России». Чем возбуждалось неудовольствие этой партии, можно видеть, например, из следующих слов записки Карамзина против гражданского уложения Сперанского:

Кстати ли начинать русское уложение главою о правах гражданских, коих в истинном смысле не бывало и нет в России? У нас только особенные права разных государственных состояний; у нас дворяне, купцы, мещане, земледельцы и пр. Все они имеют особенные права: общего нет, кроме названия русских.

Противники существенных преобразований негодовали, как мы видим, на то, что в гражданском уложении Сперанского проглядывала мысль о правах, одинаковых для всего населения империи. Но с хитрою тактикою делали они гражданскому уложению другой упрек, совершенно иного рода. Сперанский был выставляем за приверженца Франции; его гражданское уложение называли переводом Наполеонова кодекса и поднимали крики, вроде следующих восклицаний записки Карамзина:

Оставляя все другое, спросим: время ли теперь предлагать россиянам законы французские, хотя бы оные и могли быть удобно применены к нашему гражданскому состоянию? Мы, все любящие Россию, государя, ее славу, благоденствие, все так ненавидим сей народ, обгаренный кровию

Европы, осыпанный прахом столь многих держав разрушенных, — и в это время, когда имя Наполеона приводит сердца в содрогание, мы положим его кодекс на святой алтарь отечества!..

Барон Корф справедливо говорит, что при составлении гражданского уложения Сперанский был неправ совершенно не тем, что переводил Наполеонов кодекс, а тем, что не хотел замечать разницу сил, которыми надеялся ввести свое уложение, от тех сил, которыми введены были новые гражданские законы во Франции: «он забывал, что во Франции составлению кодекса предшествовало сильное движение в умах, которым возбуждилось множество новых идей, и что, при всем том, потребовались годы, покамест этот кодекс созрел. Наш, напротив, являлся одним скороспелым плодом блестящей импровизации» (т. I, стр. 167). Это суждение надобно применить ко всем планам Сперанского. Он совершенно забывал о характере и размере сил, какие были бы нужны для задуманных им преобразований. Потому он не успел исполнить ровно ничего и оказался «мечтателем».

Он держался исключительно тем, что успел приобрести доверие императора Александра Павловича. Он оставался лицом одиноким в придворной и правительственной сфере. Изменить этого не мог бы он никакими усилиями, потому что его намерения совершенно расходились с интересами и мыслями среды, в которую он двинулся против ее желаний. Но он вовсе и не заботился о том, чтобы примкнуть к ним. «Сперанский в ту эпоху никогда не собирал у себя знати», — говорит барон Корф (т. I, стр. 275). Образ жизни его был, по словам барона Корфа, «скромный, тихий, уединенный». Барон Корф продолжает:

Еще во время служения своего в министерстве внутренних дел наперсник Кочубея\* был довольно недоступен. Эта недоступность извинялась многоделием; но сверх того и самая особенность положения Сперанского заставляла его тогда уединяться: он имел все право считать себя выше родовых дворян без заслуг, до равенства с знатными еще не дошел, а между тем своею известностью, быстрыми успехами по службе и высоким просвещением был выведен из ряда обыкновенных гражданских чиновников. Впоследствии, когда император Александр приблизил его к себе, Сперанский, оставаясь попрежнему всегда более работником, нежели царедворцем, почти еще реже стал показываться в свет. Придворные и вельможи обращались с ним лицом к лицу подобострастно, как с фаворитом, но заочно толковали о нем свысока, как о выскочке; он же с своей стороны очень мало в них заискивал, и по своим правилам, и по некоторой гордости, и потому, что все время его было занято.

Барон Корф очень точно изображает отношения, из которых необходимо должна была развиться катастрофа, отнявшая силу у мечтателя, не понимавшего несообразности своих планов с своим положением. Пока еще не успели понять, кто такой Сперанский, пока считали его обыкновенным временщиком, который лишь для

\* То есть Сперанский. — Ред.

прикрытия своих личных расчетов говорит о государственных делах, а в сущности заботится только о себе, пока надеялся, что он станет действовать в обыкновенном духе фаворитов, подбирающих себе связи, пока думали пользоваться через него повышениями и наградами, — ухаживали за ним, старались оказывать ему услуги, и он держался, — держался, как видим, только по недоразумению. Но отношения изменились, как только обнаружилось, что он — не временщик, заботящийся о приобретении клевретов, о своих и их выгодах, что и в действительности он — такой странный человек, каким каждый выставляет себя на одних только словах; что он в самом деле думает о государственных надобностях и пользах, в самом деле вооружается против недостатков привычного государственного быта и не намерен щадить своекорыстных интересов, вредных для государства. [Барон Корф представляет нам эту перемену с точностью человека, близко знающего подобные дела.]

Сперанский, казалось, навсегда утвердился на той высоте, на которую подняло его колесо счастья (говорит барон Корф). Сила министров уступала силе государственного секретаря. Но умы, более наблюдательные и более близкие к центру событий, провидели во всем описанном нами выше, особливо же в характере лиц, тогда действовавших, признаки непрочности положения государева любимца, замечали, что над ним собираются грозные тучи. Тарпейская скала близко от Капитолия, думали те из них, которые знали историю<sup>9</sup>. Имя Сперанского, правда, гремело еще гораздо громче прежнего, но теперь к хвалебным гимнам уже часто примешивались сарказмы и порицания. Вельможи не могли простить Сперанскому важного преступления: возвышаться, заграждать им дорогу и между тем не оберегать их интересов и не искать в них. Благовидный предлог к такой неприязни всегда был наготове: опасение вредных последствий от реформ, быстро следовавших одна за другою. Уже с 1810 года многие восставали против этого общего преобразования; однакоже, суд над его творцом еще был тогда довольно скромен и боязлив: дело шло о человеке случайном, близком к царю, о человеке, который все-таки мог пригодиться для каких-нибудь личных видов или поддаться какому-нибудь ходатайству. Но этот человек продолжал неуклонно идти своим путем, ни на кого не озираясь; тогда слышались совсем другие речи. Аристократы восставали за ограничение их привилегий, опасаясь еще большего стеснения в будущем; люди на высших местах — за подчинение их «высочке»; политические старожеры за явное стремление правительства ввести новые начала, от которых они с ужасом отворачивались. Весьма удачно казалась фраза, сказанная кем-то при таких обстоятельствах: «дерет этот попovich кожу с народа; сгубит он государство...» Чем мысль и слово неопределеннее, тем легче они принимаются толпою и тем чаще повторяются. Общий говор вскоре зашел так далеко и принял такой характер, что в конце 1811 года уже гласно стали говорить не в одних министерских канцеляриях, но и в гостинных, даже в залах совета, что Сперанскому — не сдобровать, что милость к нему государя поколебалась, и что он в удовлетворение общему желанию, будет удален от всех дел.

Сперанский был в то время непрактичный мечтатель, воображавший себя как будто бы совершенно не в той обстановке, какою был окружен, не хотевший замечать действительного характера этой обстановки, надеявшийся опираться не на ее интересы, а на



государственные потребности, полагавший, что польза задуманных им реформ сильнее всех посторонних соображений. Но и при всей своей ослепленной мечтательности он скоро заметил, что ему грозит падение. Барон Корф говорит:

Сам Сперанский, как он ни был по образу своей жизни далек от придворных и городских вестей, скоро начал понимать всю трудность и, до некоторой степени, шаткость своего положения. Позже он сам говаривал, что ненависть есть действительнейшая из всех пропаганд. Что он не ослеплялся и в то время и даже изыскивал средства к самосохранению, доказывается, между прочим, отчетом, поднесенным от него государю в феврале 1811 года, то есть за год до своего падения. Исчислив тут разные меры предполагаемого нового порядка судного и исполнительного, настаивая на необходимости совершить их неотложно, удостоверяя, что виды государя по этой части будут в точности исполняться, Сперанский присовокуплял: «меня укоряют, что я стараюсь все дела привлечь в одни руки. Представляясь попеременно то в виде директора комиссии (составления законов), то в виде государственного секретаря; являясь, по повелению вашему, то с проектами новых государственных постановлений, то с финансовыми операциями, то со множеством текущих дел, я слишком часто и на всех почти путях встречаюсь и с страстями, и с самолюбием, и с завистью, а еще более с неразумием. Кто может устоять против всех сих встреч? В течение одного года я попеременно был мартинистом, поборником масонства, защитником вольности, гонителем рабства и сделался, наконец, записным иллюминатом<sup>10</sup>. Толпа вельмож со всею их свитою, с женами их и детьми, меня, заключенного в моем кабинете, одного, без всяких связей, меня, ни по роду моему, ни по имуществу не принадлежащего к их сословию, целыми родами преследует как опасного уновителя\*. Я знаю, что большая их часть и сами не верят сим нелепостям; но, скрывая собственные страсти под личиной общественной пользы, они личную свою вражду стараются украсить именем вражды государственной; я знаю, что те же люди превозносили меня и правила мои до небес, когда предполагали, что я во всем с ними буду соглашаться, когда воображали найти во мне послушного клиента. Но как только движением дел приведен я был в противоположность им и в разномыслие, так скоро превратился в человека опасного. В сем положении мне остается или уступить им, или терпеть их гонения. *Первое* я считаю вредным службе, унизительным для себя и даже опасным. Дружба их еще более для меня тягостна, нежели разномыслие. К чему мне разделять с ними дух партий, худую их славу и то пренебрежение, коим они покрыты в глазах людей благомыслящих? Следовательно, остается мне выбрать *второе*. Смею мыслить, что терпение мое и опыт опровергнут все их наветы. Удостоверен я также, что одно слово ваше всегда довлеет отразить их покушения. Но к чему, всемилостивейший государь, буду я обременять вас своим положением, когда есть самый простой способ из него выйти и раз навсегда прекратить тягостные для вас и обидные для меня нарекания. Способ сей состоит в том, чтоб, отделив звание государственного секретаря, оставить меня при одной должности директора комиссии (составления законов). Тогда: 1) зависть и злоречие успокоятся. Они почтут меня ниспровергнутым, я буду смеяться их победе, а ваше величество раз навсегда освободите себя от скучных нареканий. Сим приведен я буду паки в то счастливое положение, в коем быть всегда желал: чтоб весь плод трудов моих посвящать единственно вам, не ища ни шума, ни похвал, для меня совсем чуждых. Смею привести здесь на память тот девиз, который некогда вам понравился: «*j'ai désiré de faire du bien, mais je n'ai pas désiré de faire du bruit, parce que j'ai senti que*

\* Уновитель — нововводитель. — Ред.

le bruit ne faisait pas de bien, comme le bien ne faisait pas de bruit» \*. 2) Тогда, и сие есть самое важнейшее, буду я в состоянии обратить все время, все труды мои на окончание предметов, без коих, еще раз смею повторить, все начинания и труды ваши будут представлять здание на песке.

Просьба Сперанского была непрактична. Он просил, чтобы сложили с него ведение текущих дел, оставив ему ведение реформ. Но может ли сохранять силу для исполнения коренных общих преобразований тот, который чувствует себя слишком слабым для преодоления противников даже и по частным текущим делам? Тут не было середины: надобно было Сперанскому отказаться от преобразований, если он чувствовал, что противники сильнее его; а если сила находилась на его стороне, то не было ему надобности отказываться и от управления текущими делами. Государь не хотел, чтобы он перестал заниматься ими. Он из этого заключил, что имеет достаточную силу. «Только государь еще поддерживал его против всех». «Приближалась минута, когда и эта подпора должна была отпасть» (т. II, стр. 7). Биограф, кроме изложения общих причин, заключающихся в самой сущности вещей, должен излагать и случайные внешние поводы к переменам, производимым внутренними отношениями. Барон Корф наполовину раскрывает нам ход интриги, которая была внешним поводом к удалению Сперанского.

Пока толпа бездейственно роптала, люди более честолюбивые искали из малосознательного ее ропота извлечь себе пользу. В их глазах, как мы уже сказали, вина Сперанского состояла не в его действиях, а в его значении и силе при дворе, — в том, что он мешал им. Этим оправдывались, в их понятиях, и все средства к его низложению. Сперва, однако, они предпочли попытаться на разделение с ним власти, что, во всяком случае, казалось тогда легче, чем ее сокрушить. Два лица, уже облеченные в некоторой степени доверием государя, предложили его любимцу приобщить их к своим видам и учредить из них и себя, помимо монарха, безгласный, тайный комитет, который управлял бы всеми делами, употребляя государственный совет, сенат и министерства единственно в виде своих орудий<sup>11</sup>. С негодованием отвергнул Сперанский их предложение; но он имел неосторожность, по чувству ли презрения к ним или, может быть, по другому тонкому чувству, умолчать о том перед государем. Благородное его отвращение от доноса было в этом случае непрослительною политическою ошибкою против самого себя. Кабинетный труженик, занятый более делами, нежели людьми, не разглядел, при всей своей прозорливости, расставленной ему сети, не подумал, что против таких замыслов мало одного презрения. Если честь и высшее чувство не позволили ему согласиться на дерзкое предложение, то самосохранение требовало огласить его. Промолчав, Сперанский дал своим врагам способ сложить вину своих замыслов на него, связать ему руки, заподозрить его искренность в отношении к его благодетелю; — падение его сделалось неизбежным. Но падением обыкновенным, увольнением или удалением от службы, цель заговорщиков (мы не можем назвать их иначе) не была бы достигнута. Это значило довести дело только до половины, потому что Сперанский, и отставленный, мог снова восстать, проникнуть тайны их коалиций, напасть на них в свою очередь и, наконец, разрушить шаткий союз. Чуткая предусмотрительность

\* Я желал делать добро, но не желал делать шума, ибо чувствовал, что шум не делает добра, как и добро не делает шума. — Ред.

царедворцев, искусственных в придворных интригах, боялась возможности подобного оборота дел; им нужно было поставить соперника в такое безвыходное положение, чтобы он не мог ни написать строчки, ни произнести слова помимо их истолкований и пересудов. Средствами к тому представлялись только дальняя ссылка и строгий присмотр за сосланным. Но какой взять предлог? Заговорщики нашли его в открывавшейся войне. В минуту великих политических переворотов, говорили они, уже и одного предположения опасности достаточно, чтобы оправдать все возможные меры осторожности, а здесь — гораздо больше, чем простое предположение. Пусть только заберут его бумаги: там наверное найдутся неопровержимые доказательства его злых умыслов; но забрать бумаги и рассмотреть их с должною строгостию можно будет тогда только, когда самого его вышлют из столицы и удалят от всякого влияния на дела и на людей. На помощь этим наветам, может быть, и тому впечатлению, которое оставила в уме государя предшествовавшая им записка Карамзина, стали появляться подметные письма, расходившиеся по Петербургу и Москве в тысяче списков и обвинявшие Сперанского не только в гласном опорочивании политической нашей системы, не только в предсказывании падения империи, но даже и в явной измене, в сношениях с агентами Наполеона, в продаже государственных тайн и проч. За двумя главными союзниками, положившими основу всему делу, потянулась толпа немалочисленных их клеветов. Что сегодня государь слышал в обвинение Сперанского от одного, то завтра пересказывалось ему снова другим, будто бы совсем из иного источника, и такое согласие вестей естественно должно было поражать Александра: он не подозревал, что все эти разные вестовщички — члены одного и того же союза.

[Таковыми путями введен был в заблуждение благодушный монарх. В беспокойстве духа от предстоявшей войны, увлеченный и близкими к нему людьми, и передаваемою через них молвою народною, обманутый искусно представленным ему призраком злоумышления и той черной неблагодарности, которая наиболее должна была уязвить его возвышенную и рыцарскую душу, император Александр решился, ввиду грозных политических обстоятельств, принесть великую для его сердца жертву.

Барон Корф нашел неудобным называть те два лица, которые заметнее всех других выказались в интриге против Сперанского. Действительно, нельзя оправдывать коварный способ действий этих лиц. Но не следует приписывать падение Сперанского исключительно влиянию интриги. В глубине дела находились отношения другого рода.

Мы видели, что в Сперанском разочаровались очень многие люди, сначала возлагавшие на него надежду. Почему не допустить, что точно так же мог разочароваться в нем и сам государь? Сперанский в письме из Перми напоминает императору, что он составлял план общего преобразования по собственной мысли государя. Конечно, так. Но отвлеченная мысль, неопределенное стремление и подробный, систематический проект — вещи совершенно различные. Сочувствуя одной, можно почувствовать неудобство другой. Надобно сказать и то: думать о реформе, только как об отдаленной возможности, отсрочивающейся до неопределенного будущего и увидеть близость ее — опять-таки вещи совершенно различные. Из слов барона Корфа надобно выводить, что импе-

ратор Александр Павлович думал о общей реформе государственных учреждений с первых лет своего царствования и продолжал думать о том же в течение долгих лет, по удалении Сперанского; быть может, не покидала его эта дума и в то время, когда Сперанский возвратился в Петербург. Почему же не осуществился проект столь продолжительных размышлений государя? — Ответ на это можно найти только один: конечно, государь находил как-нибудь очень важные неудобства, которыми удерживался от осуществления своей мысли. А Сперанский, как мы знаем из слов барона Корфа, спешил, пренебрегал всякими затруднениями. Эта горячность могла стать тяжела для императора, и торопливость Сперанского легко могла пробудить в императоре сомнение относительно образа мыслей государственного секретаря. При таком взгляде на их отношения сами собой объясняются два обстоятельства, которые иначе непонятны. Какова бы ни казалась императору степень вероятности обвинений против Сперанского в то время, когда решено было удалить его, но впоследствии времени император, без сомнения, убедился в неосновательности мнения, будто бы Сперанский изменял отечеству и продавал государственные тайны Наполеону. Слова самого императора и многие другие обстоятельства положительно доказывают, что Сперанский совершенно очистился в мыслях государя от подозрения в измене. Но мы видим, что государь не спешил возвратить в Петербург бывшего своего любимца; видим, что и по возвращении в Петербург Сперанский не получил никакого влияния на общий ход государственных дел. Эти факты показывают, что император Александр Павлович уже не считал удобным вновь обращаться к содействию Сперанского в своих политических планах. А между тем Сперанский сохранял не только во мнении государя, который ближе всех других людей знал его способности, но и во мнении всех своих современников репутацию человека необыкновенных дарований, человека, с которым никто не мог равняться способностью быстро и легко исполнять труднейшие задачи. Если император не почел удобным вновь пользоваться его талантами, то, конечно, лишь по глубокому убеждению в неодинаковости стремлений Сперанского с его собственными.

Только тем же самым объяснением разрешается и затруднительный вопрос о том, как император мог, хотя на короткое время, усомниться в верности Сперанского. Продавать Россию французам, — это было бы слишком странно в положении Сперанского. Не говорим о том, что для измены родине нужна чрезвычайная низость души и что император Александр Павлович знал Сперанского за человека, не имеющего такой черты в характере. Но какой расчет мог быть Сперанскому в измене? Он был, после государя, сильнейший человек в империи; если нужны были ему почести, они сыпались на него с беспримерной быстротой. Если бы он способен был на дурные поступки из-за денег, он мог полу-

чать бесчисленные миллионы через обыкновенные злоупотребления своею властью, получать их путями гораздо более безопасными, чем измена. Наполеон, если бы даже завоевал Россию, никогда не мог дать Сперанскому такого могущества, какое он уже имел. Император Александр Павлович знал все это. Каким же образом мог он поверить обвинению в измене? Поверить ему мог он только в том случае, если уже и сам считал Сперанского человеком опасным, если сам собою утвердился в таком взгляде на него до обвинения его другими в измене. Да, единственное правдоподобное объяснение катастрофы заключается в том, что сам Сперанский обнаружился перед императором, как человек вредного образа мыслей. Только тогда, когда сам император личными опытами приведен был к мысли о Сперанском, как о лице, стремящемся к вредному, только тогда и мог он внять внушениям других о его предательстве. И эти посторонние внушения послужили только поводом к событию, а главною действующею силою должно было служить тут созревшее в душе самого государя убеждение о необходимости устранить Сперанского от влияния на дела. И скажем прямо: император Александр Павлович не ошибался в этом убеждении. [Но] обвинение в предательстве, показавшееся верным императору [приготовленному собственным убеждением ждать от Сперанского всяких вредных для государства замыслов], придало катастрофе суровость [которую можно назвать излишней, потому что неосновательно было постороннее обвинение, послужившее поводом к взрыву]. Барон Корф сообщает нам поразительное обстоятельство: в первую минуту своей тревоги император хотел расстрелять Сперанского. Об этом прямо упоминается в письме известного профессора Паррота, пользовавшегося любовью императора Александра Павловича<sup>12</sup>. Приводим из книги барона Корфа место, относящееся к последним сценам катастрофы:

Собравшись выехать в Дерпт, он (Паррот), вечером 15 марта, имел прощальную аудиенцию; но увлеченный чрезвычайно важностию происшедшего при ней разговора, решился, на следующий день, еще написать государю. И разговор их и это письмо были — о Сперанском. Должно думать, что именно перед самою аудиенциею нашего профессора заговорщики успели нанести государственному секретарю, доносами и лжеизобличениями своими, последний, решительный удар. Письмо Паррота, от 16 марта, проливает новый свет на это дело: из него видно даже, что коварно обманутый монарх готов был, в первом гневе, превзойти самые дерзкие надежды врагов Сперанского. Вот выписка из этого примечательного письма\*:

«Одиннадцать часов ночи. Вокруг меня глубокая тишина. Сажусь писать моему возлюбленному, моему боготворимому Александру, с которым не хотел бы никогда разлучаться. Уже сутки прошли со времени нашего прощанья, но сердце влечет меня еще раз возобновить его на письме... В минуту, когда вы вчера доверили мне горькую скорбь вашего сердца об измене Сперанского, я видел вас в первом пылу страсти и надеюсь, что теперь вы уже

\* Паррот вел переписку с государем на французском языке, на котором и это письмо было написано. — *Примеч. автора (барона Корфа).*

далеко откинули от себя мысль расстрелять его. Не могу скрыть, что слышанное мною от вас набрасывает на него большую тень; но в том ли вы расположении духа, чтобы взвесить справедливость этих обвинений? — а если б и были в силах несколько успокоиться, то вам ли его судить? — всякая же комиссия, наскоро для того наряженная, могла бы состоять только из его врагов. Не забудьте, что Сперанского ненавидят за то, что вы слишком его возвысили. Никто не должен стоять над министрами, кроме вас самих. Не подумайте, чтобы я хотел ему покровительствовать: я не состою с ним ни в каких сношениях и знаю даже, что он несколько меня ревнует к вам. Но если бы и предположить, что он, точно, виновен, чего я еще вовсе не считаю доказанным, то, все же, определить его вину и наказание должен законный суд, а у вас в настоящую минуту нет ни времени, ни спокойствия духа, нужных для назначения такого суда. По моему мнению, совершенно достаточно будет удалить его из Петербурга и подсматривать за ним так, чтобы не имел никаких средств сноситься с неприятелем. После войны всегда еще будет время выбрать судей из всего, что около вас найдется правдивейшего. Докажите умеренности ваших распоряжений в этом деле, что вы не поддаетесь тем крайностям, которые стараются вам внушить. От находящих свой интерес следить за вашим характером не укрылась, я это знаю, свойственная вам черта подозрительности, и ею-то хотят на вас действовать. На нее же, вероятно, рассчитывают и неприятели Сперанского, которые не перестанут пользоваться открытою ими слабою струною вашего характера, чтобы овладеть вами...»

17 числа, в воскресенье, Сперанский спокойно обедал у г-жи Вейкардт, как приехал туда фельдгегерь с приказанием ему явиться к государю в тот же вечер в 8 часов. Приглашение это, которому подобные бывали очень часто, не представляло ничего необыкновенного и Сперанский, захав домой за делами, явился во дворец в назначенное время. В секретарской ожидал приехавший также с докладом князь Александр Николаевич Голицын<sup>13</sup>; но государственный секретарь был позван прежде. Аудиенция продолжалась с лишком два часа. Сперанский вышел из кабинета в большом смущении, с заплаканными глазами и, подойдя к столу, чтоб уложить в портфель свои бумаги, обернулся к Голицыну спиною, вероятно, с намерением скрыть волнение. Замкнув портфель, он скорыми шагами удалился из комнаты и, уже только выйдя в другую, как бы вдруг опомнился, отворил опять до половины дверь и протяжно, с особенным ударением, выговорил: «прощайте, ваше сиятельство!» Это прощание было надолго \*. Более девяти лет предопределено было Сперанскому не видеться ни с Голицыным, ни с самим Александром... Вслед за тем, государь выслаз сказать Голицыну, что никак не может его принять, а просит приехать завтра, после заседания государственного совета.

Но в чем же состояли тайны этой аудиенции? Не повторяя здесь изустных рассказов, сложившихся большею частью понаслышке, даже по догадкам, мы ограничимся только передачей того, на что есть несомненные письменные доказательства. Ими утверждаются два следующие обстоятельства: во-первых, Александр, исчисляя бывшему своему любимцу причины, побуждавшие его с ним расстаться, умолчал, может быть, по чувству великодушия, а может быть уже и сам начав сомневаться в своем сомнении, о главной: именно о взведенном на Сперанского извете в измене и преступных сношениях с неприятелями России. Это ясно из пермского письма, в котором Сперанский, конечно, прежде всего и со всей силой восстал бы против

\* Эта сцена описана нами со слов самого князя Голицына. Другой очевидец, генерал-адъютант граф Павел Васильевич Голенцишев-Кутузов, бывший в тот день дежурным и тоже находившийся в секретарской комнате, с своей стороны рассказывал нам, что Сперанский при выходе из кабинета был почти в беспамятстве, вместо бумаг стал укладывать в портфель свою шляпу и, наконец, упал на стул, так что он, Кутузов, побегал за водою. Спустя несколько секунд дверь из государственного кабинета тихо отворилась, и Александр показавшись на пороге, видимо, растроганный: «Еще раз прощайте, Михайло Михайлович», — проговорил он и потом скрылся. — *Примеч. автора (барона Корфа).*

такого гнусного извета, но в котором он писал только: «я не знаю с точности, в чем состояли секретные доносы, на меня изведенные. Из слов, кои, при отлучении меня, ваше величество сказать мне изволили, могу только заключить, что были три главные пункта обвинений: 1) что финансовыми делами я старался расстроить государство; 2) привести налогами в ненависть правительству; 3) отзывы о правительстве». Во-вторых, нет, между тем, никакого сомнения, что донос об измене в самом деле существовал, и что ему, по крайней мере, в первую минуту Александр дал некоторую веру. Это ясно из вышеприведенного письма Паррота, ясно и из дневника, веденного Сперанским по возвращении с поста сибирского генерал-губернатора. Хотя дневник этот большею частью до того краток, что многое из его содержания представляет теперь одни загадочные иероглифы, — но, под 31 августа 1821 года, мы находим в нем следующее замечательное место: «Работа у государя императора. Пространный разговор о прошедшем. Донос якобы состоял в сношении с Лористонем и Блумом...» \*

Из дворца государственный секретарь проехал к Магницкому (бывшему тогда его близким приятелем), но застал только его жену, утопавшую в слезах, — мужа, в тот же вечер, внезапно увезли в Вологду. Возвратясь к себе, Сперанский был встречен министром полиции Балашовым и правителем канцелярии министерства Де-Сангленом. Они ожидали его прибытия для опечатания его кабинета. У подъезда стояла почтовая кибитка. Тот, для кого она была приготовлена, попросил только позволения отложить некоторые из своих бумаг, чтобы переслать их, в особом пакете за его печатью, при нескольких, тут же им написанных строках, государю. Балашов согласился \*\*. Потом надо было ехать. У Сперанского не доставало духа разбудить тещу и дочь, чтобы проститься с ними. Он благословил только дверь их спальни и оставил записку, которою приглашал обеих отправиться вслед за ним по миновании зимы. Когда и это было кончено, уже поздно ночью, частный пристав Шипулинский умчал его в долговременное заточение, которому надлежало начаться с Нижнего-Новгорода.

Совет Паррота, совпавший, хотя и под влиянием совершенно других побуждений, с тайными желаниями врагов Сперанского, был, следственно, принят... \*\*\*

Один из первых в городе узнал о высылке Сперанского близкий к нему Вронченко. В понедельник, 18 марта, в 6 часов утра, он явился к своему начальнику для обыкновенной перед заседанием государственного совета работы по гражданскому уложению. В передней полицейский драгун загородил ему дорогу, говоря, что никого не велено пускать, и уже только по

\* Лористон был в 1812 году французским, а Блум — датским послом при нашем дворе. — *Примеч. автора (барона Корфа).*

\*\* В пакете было несколько тайных дипломатических депеш, взятых Сперанским из министерства иностранных дел без особого на то высочайшего разрешения, что послужило потом поводом к увольнению от службы Жерве, бывшего посредником в доставлении сказанных депеш, и к заключению в крепость выдававшего их советника министерства Бека. Между тем, это открытие чрезвычайно обрадовало неприятелей Сперанского, дав им случай, как сам он выразился, «всю громаду их лжи прикрыть некоторою истиною». В сущности, тут было одно, конечно, но совсем скромное любопытство, которое Сперанский оправдывал (в пермском письме) тем, что «стоя в секретных делах, он всегда и по этим предметам имел доступ к государю и все вести, помещавшиеся в депешах иностранных дипломатов всегда в тысячу раз лучше и подробнее знал, нежели сами они». — *Примеч. автора (барона Корфа).*

\*\*\* Более двадцати лет спустя сам Паррот в письме к императору Николаю от 8 января 1833 года (также на французском языке) так описывал это событие и свое участие в нем: «Горестнейшею минутою в жизни благородного императора Александра была та, когда, перед самую кампанию 1812 года, его успели уверить, будто бы ему изменил и продал его Наполеону один человек необыкновенных дарований, которого он старался приблизить и привязать к себе неограниченною доверенностью и излиянием на него всех милостей. В эту тяжкую минуту, растерзанный такою неблагоприятностию, он прислал за мною. Мне посчастливилось успокоить возлюбленного монарха, отклонить его от ужасной меры, на которую его едва не повлечула справедливая, повидимому, гнев и которую, между тем, сами враги обещанно не оставили бы провозгласить актом неслыханной тирании; наконец, спасти достойного сановника, осчастливленного теперь высоким доверием вашего величества. Покойный государь сердечно поблагодарил меня за мой совет и во всем ему последовал». — *Примеч. автора (барона Корфа).*

отзыву, что он — «домашний», позволил ему пройти. Из прислуги никого не было видно, и Вронченко, найдя кабинет запечатанным, долго бродил по комнатам в томительном недоумении и страхе, пока, наконец, не встретил Цейера (преданнейшего друга Сперанского), от которого услышал о случившемся. После Вронченко явился Петр Сергеевич Кайсаров, прежний чиновник канцелярии Трошинского<sup>14</sup>, оставшийся в близких отношениях к Сперанскому и зашедший к нему по какому-то делу. «Куда вы?» — спросил сидевший в передней человек. «К Михайлу Михайловичу». — «Его уже здесь нет». — «Неужели же он так рано поехал к государю?» — «Поехал точно, да не к государю, а в Сибирь», и человек рассказал происшедшее ночью.

Здесь любопытно будет привести выписку из современного письма к Сперанскому многолетнего его поверенного, казначея и счетчика, Масальского, который один, кажется, изо всех его приверженцев не потерял в первую минуту присутствия духа и действовал всеми способами, какие только находились в слабых его руках. Ижев на своем попечении и хозяйственные дела Магницкого, Масальский 17-го вечером был потребован министром полиции для поручительства в деньгах, которыми последний ссудил Магницкого при отправлении его в Вологду, и тут же узнал о готовящейся высылке также и Сперанского. «Тогда, — писал он своему покровителю (уже в Нижний), — я бросился в ваш дом, но по приезде найдя уже тут предварившего меня министра полиции и узнав от Лаврушки (камердинера), что вы из дворца еще не возвращались, поехал искать вас там; но, к несчастью, вы оттол уже уехали. После сего, возвратясь к дому вашему, я несколько раз покушался взойти к вам в то время, как вы были с министром. Но ужас, который тогда мною овладел, я никак преодолеть не мог и потому, ходя около вашего дома до 2-х часов полночь, я, при малейшем даже движении полицейских драгунов, представляя совершенно трусливого звайца. Таким образом лишась последней отрады видеть вас, моего милосердного отца, при отъезде вашем и возвратясь домой с стесненным горестью сердцем, я на другой после отъезда вашего день уведомил о случившемся с вами несчастии как графа Виктора Павловича Кочубея, так и графа Павла Андреевича Шувалова<sup>15</sup>, прося их, чтобы они употребили все средства, дабы против всякой на вас клеветы истребовано было от вас письменное объяснение. Граф Шувалов принял в вашем положении истинное участие и поручил мне вас уведомить, что ежели вам нужно будет подать через него государю письмо, то он тотчас сие исполнит. Граф Кочубей с своей стороны большою своею осторожностью удивил меня. Он сперва спрашивал меня о причинах вашего несчастия, но когда я ему отозвался, что ничего не знаю, и что жизни можно отвечать, что вы ни в чем не виновны, то обратился к другому вопросу, а именно: великое ли вы имеете богатство? \* Я уверял его, что все, что вы имеете, состоит лишь в жалованье, которое получал я за прошедшее время по носимым вами званиям, и в деньгах, сбереженных вами от всемилостивейше пожалованных вам саратовских земель, и состоит в 55 000 рублях ассигнациями, если только в течение прошедшего года из оною числа вы не прожили, и что счета мои, кои в кабинете вашем должны храниться с 1798 года, откровен и недостатки ваши, и крайне умеренную жизнь; но уверения сии любопытства графа Кочубея не прекратили, пока, наконец, почувствовав, казалось мне, странность своих вопросов, он переменил разговор и, спрашивая, не нужны ли деньги на отправление Елисаветы Михайловны (то есть дочери Сперанского), предлагал, чтоб я взял у него сколько бы ни понадобилось, но я от такого пособия вовсе отказался». «При сем, — продолжал Масальский я узнал от графини Шуваловой страшные насчет чести вашей нелепости. Она открыла мне, что о вас твердят, что будто бы вы намерены были изменить отечеству и налогами

\* Из этого можно заключить, что и на графа Кочубея, несмотря на всю близость его сношений с Сперанским, действовала молва; так искусно ведена была интрига. — *Примеч. автора (барона Корфа).*



сделать в народе сильное возмущение; что перехватили ваши письма к Бонапарту; что у военного министра украдена портфель с военными планами, и планы сии также посланы к Бонапарту; что, наконец, вы хотя и старались оправдаться перед государем, но помянутые письма вас обличили и сделали безответными, и когда государь предложил вам, что за лучшее для себя признаете: суд или Нижний-Новгород, то вы, лишись надежды оправдаться, решились избрать последнее. Все сии нелепости, ежели бы выдумываемы были одною глупою чернью, то, конечно, не было бы причин много беспокоиться; но тут везде было намерение людей, устремившихся на вашу погибель, которые зверским образом силились растерзать доброе ваше имя, и все вышеописанное составляло малую только часть того, что о вас здесь по городу разносили. Нужным считаю довести до вашего сведения еще, что когда начали кричать, что у вас хранится несколько миллионов в английском банке, что 700 000 р. отправлены были вами в Киев на контракты, и что я и М. В. (Могилянский) были орудиями корыстолюбивого вашего поведения и за сие нас полют в Сибирь, то я просил графиню Шувалову, чтоб она рассказала все то Осипу Петровичу (министру внутренних дел Козодавлеву) и открыла бы, что я, будучи совершенно невинен, того только желаю, чтоб поведение мое строжайшим образом было исследовано, и что счета мои, кои найдены будут у вас в кабинете, легко могут доказать не только невинность мою, но также и то, что вы не имеете никакого у себя богатства.

От этих домашних и городских сцен и толков перенесемся теперь во дворец.

В понедельник 18 числа князь Голицын, являсь к государю, как было ему приказано, после заседания государственного совета, застал его ходящим по комнате с весьма мрачным видом. «Ваше величество нездоровы?» спросил Голицын. — «Нет, здоров». — «Но ваш вид?» — «Если б у тебя отсекли руку, ты, верно, кричал бы и жаловался, что тебе больно: у меня в прошлую ночь отняли Сперанского, а он был моею правою рукою!..» Во всю беседу, довольно продолжительную, государь только и говорил, что о тяготившей его потере, часто со слезами на глазах. «Ты разберешь с Молчановым \* бумаги Михайла Михайловича, — заключил Александр; — но в них ничего не найдется: он не изменник...» В тот же день, прогуливаясь пешком, государь встретил г-жу Кремер. «Вы, конечно, уже знаете, — сказал он ей, — что я принужден был выслать вашего друга?» — «Сейчас слышала, ваше величество, и глубоко этим поражена». — «Что ж делать! — ответил Александр, и в это время заметно было судорожное движение его губ и подбородка: — может быть никто не пострадал тут более меня, но я принужден был покориться причинам самым настоятельным». В среду вечером был призван во дворец граф Нессельроде<sup>16</sup>, очевидно, для того только, чтобы и с ним завести речь о случившемся. Нессельроде не мог скрыть глубокого своего сокрушения, сколько по личным чувствам к Сперанскому, столько и по убеждению, что государь лишил себя в нем слуги самого верного, преданного и ревностного. «Ты прав, — отвечал Александр, — но именно теперешние только обстоятельства и могли вынудить у меня эту жертву общественному мнению». Перед министром юстиции Дмитриевым, по свидетельству его записок, государь выразился несколько иначе, порицая, впрочем, Сперанского только за опорочивание политических мнений нашего правительства и за то, что он хотел проникать в закрытые для него государственные тайны \*\*. К этому прибавим переданные нам двумя высшими государственными сановниками отзыв Александра при разговорах с ними в позднейшую эпоху. «Сперанский никогда не был изменником», — отвечал он

\* Статс-секретарь, управляющий делами комитета министров.

\*\* Намек на дипломатические депеши, ватые Сперанским из министерства иностранных дел и пересланные от него государю в особо запечатанном конверте. Государь тут же показывал Дмитриеву первые строки письма, в котором Сперанский говорил, что был подвигнут к такому действию одним любопытством и еще более искренним участием в благоденствии и славе отечества. — Примеч. автора (барона Корфа).

Николаю Николаевичу Новосильцеву, когда в минуту доверчивой беседы последний пытался узнать истинную причину падения бывшего любимца. «Слышал ли ты, что я снова призываю сюда Михаила Михайловича?» — спросил государь у Иллариона Васильевича Васильчикова<sup>17</sup> в 1820 году, перед возвращением Сперанского в Петербург с поста сибирского генерал-губернатора. «Слышал, — отвечал Васильчиков, — и искренно поздравляю ваше величество с приближением опять к себе человека таких необыкновенных достоинств». — «Никто, — возразил государь, — более меня не отдает справедливости его высоким талантам. Я уверен, что он и не дурной человек; но сила тогдашних обстоятельств, которой я не мог противостать, заставила меня с ним расстаться. Никогда, однакоже, я не верил во взведенную на него измену и виню его только в том, что он не имел ко мне полной доверенности»\*. Наконец свидетельством еще высшим, еще более несомненным, чем все эти частные пересказы, самым торжественнейшим оправдательным актом Сперанского перед потомством и историей, является то собственноручное письмо от 22 марта 1819 года, в котором император Александр прямо и перед самим Сперанским признал наветы его врагов за то, чем они действительно были, то есть за клевету.

Но если, таким образом, в Александре почти с самых первых минут и тем более после заметно было отвращение верить в какую-нибудь измену со стороны его любимца, и обнаруживалась даже уверенность в противном, то мнение массы развивалось совсем иначе. В захваченных бумагах, конечно, и сама вражда не умела найти ничего предосудительного; но взамен обличителем перед публикою явилась общая неопределенная молва, систематически поддерживавшаяся ложными намеками и внушениями той же партии, которую все было начато. Огромное большинство во всех классах ни на минуту не усумнилось в том, что кроткого Александра могло побудить к такому действию, неслыханному в его царствование, одно лишь *самое черное преступление* против его лица и против государства. Вина заточенного не была оглашена никаким публичным актом: следственно, открывалось широкое поле для самых смелых догадок. Что обнаружено, как, когда, через кого? Разрешение этих вопросов предоставлялось произволу каждого; нитки, спущенные с клубка, до того, наконец, перепутались, что, хладнокровно соображая все многочисленные и разнообразные толки, сложившиеся тогда об этом событии, трудно решить, что стояло выше: изобретательность ли клеветы или податливость легковерия? Оттого еще и до сих пор повесть о падении Сперанского, рассказываемая и толкуемая каждым по-своему, продолжает оставаться в нашей истории такую же неразгаданною тайною, как некогда во французской сказание о Железной Маске<sup>18</sup>.

Из приведенного выше письма Масальского мы видели, что и как в первые дни говорили о случившемся в Петербурге. «История Сперанского, — писал Карамзин своему брату из Москвы, — есть для нас тайна: публика ничего не знает. Думают, что он уличен в нескромной переписке»\*\*. Наконец, следующее извлечение из записок Вигеля<sup>19</sup>, находившегося в то время в Пензе, свидетельствует о впечатлении, которое было произведено этим неожиданным событием на провинцию. «Первая важная весть, — пишет он, — которую получили мы в конце марта, была о неожиданных отставке и ссылке Сперанского; но эта весть громко разнеслась по всей России. Не знаю, смерть лютого тирана могла ли бы произвести такую всеобщую радость. А это был человек, который никого не оскорбил обидным словом, который никогда не искал погибели ни единого из многочисленных личных врагов своих, который, мало показываясь, в продолжение многих лет трудился

\* Под этим, вероятно, должно разуметь то вышеупомянутое нами предположение, сделанное Сперанскому и сокрытое им от Александра, которое заговорщики умели потом приписать ему самому. — *Примеч. автора (барона Корфа)*.

\*\* Любопытно, что в том же письме, от 28 мая 1812 года, следственно, писателем едва спустя два месяца после происшествия, Карамзин мог уже сказать: «его (то есть Сперанского) все бранили, теперь забывают. Смысла похоже на смерть». — *Примеч. автора (барона Корфа)*.

в тишине кабинета своего. Но на кабинет сей смотрели все, как на Пандорин ящик, наполненный бедствиями, готовыми излететь и покрыть собою все наше отечество. Все были уверены, что неоспоримые доказательства в его виновности открыли, наконец, глаза обманутому государю. Только дивились милосердию его и роптали, как можно было не казнить преступника, государственного изменника, предателя, и довольствоваться удалением его из столицы\*. Не менее того его ссылку торжествовали как первую победу над французами. Многие приходили меня с этим поздравлять, и, виноват, я принимал поздравления».

Удалением из Петербурга кончается деятельность Сперанского как самостоятельного государственного человека. Возвратившись в Петербург, он постепенно стал получать довольно важные назначения, из которых в особенности знаменито составление «Свода законов». Внешняя сторона его таланта обнаружилась и тут с прежним блеском: он умел очень легко распушивать самое многосложное дело, исполнять с необыкновенною быстротою самые огромные задачи. Например, невозможно не изумляться тому, в какое короткое время успел он составить и обнародовать «Полное собрание законов» и «Свод законов». Но и в этом важнейшем и во всех других делах, поручавшихся ему по возвращении в Петербург, он должен был действовать уже по инструкциям или решениям, даваемым ему от других; ему принадлежало только исполнение, а не дух дела. Да и сам он возвратился в Петербург далеко уже не таким, какой был прежде. Он убедился в неосновательности своих прежних надежд, помнил, что нечего думать о преобразованиях, и заботился, повидимому, только о том, чтобы провести остальные годы жизни спокойно, помогая ходу государственных дел в том, чему было можно содействовать, не возбуждая ничьих опасений.

Но до такого понятия о себе, как об инвалиде, он, разумеется, достиг не вдруг, и довольно долго боролась в нем с этим тяжелым сознанием мечта о восстановлении прежнего влияния. Естественно было ему, чувствовавшему свое умственное превосходство над другими тогдашними деятелями, думать, что, явившись в Петербург, он снова приобретет перевес над ними. Потому нетерпеливо хлопотал он о дозволении приехать в Петербург. Он отправляя с этою целию несколько писем, в том числе знаменитое письмо к государю, известное под именем «Письма из Перми». Государь скоро стал выражаться, что обвинение против Сперанского было несправедливо; но не возвратил его в Петербург, а только дозво-

\* В современном дневнике другого лица, Логина Ивановича Голенищева-Кутузова, мы находим также нечто подобное. Называя Сперанского Робеспьером, а Магницкого — его последним кареты от двора для следования за ними, Кутузов призывает: «друзья злодея говорят о несовместности с правосудием монарха поступать так с людьми, которые были бы виновны в том, в чем их вичят, и что если б они точно продались Франции, то государь не имел бы таких претензий\*\* к их семьям, из чего и следует, что все — одна ложь и придворная интрига. По моему мнению, предположение такого рода уничтожается дзухчасовой аудиенцией, в продолжение которой Сперанский имел, кажется, все время оправдаться, если б мог; следовательно, в теперешнем распоряжении должно видеть только новое доказательство непостижимой благодати монарха». — Примеч. автора (барона Корфа).

\*\* Внимания. — Ред.

лил ему переехать из Перми, куда он был сослан, в новгородское поместье Великополье, доставшееся дочери Сперанского от ее тетки. Бывший государственный секретарь принял это разрешение приблизиться к Петербургу за признак намерения в скором времени дозволить ему приезд в столицу и с нетерпением ждал известий. Но, решившись показать, что снимают с него вину, его не возвратили в Петербург, а послали губернатором в Пензу. Из Пензы послали его управлять Сибирью и очень долго отсрочивали обещанное разрешение явиться из Сибири в Петербург. В этих проволочках прошло целых девять лет. Очевидно было, что перестали считать его виновным в измене, когда возлагали на него устройство всего Сибирского края; но вместе с тем очевидно было, что его присутствие в Петербурге не считают нужным. Однакоже он все еще не мог понять этой перемены в чувствах к нему. Он надеялся на силу своего ума, думал, что свидание с государем возвратит ему прежний вес.

Барон Корф очень строго порицает Сперанского за то, что с просьбами своими о возвращении в Петербург он обращался к Аракчееву, пользовавшемуся тогда наибольшею силою у императора. Барон Корф считает выбор такого ходатая недостойным бывшего государственного секретаря. Барон Корф строго порицает Сперанского и за самое желание возвратиться в Петербург. Без всякого сомнения, барон Корф прав. Сперанский должен был уже давно разочароваться в своих прежних мечтах о возможности задуманных преобразований; должен был убедиться и в непрочности положения, к которому вновь стремился, — в непрочности его, по крайней мере, для таких людей, как он, — людей, думающих, кроме своего личного честолюбия, также и об исправлении коренных недостатков, об удовлетворении глубоким государственным потребностям. С этой стороны Сперанский заслуживает строгих порицаний, выражаемых бароном Корфом. Но барон Корф, конечно, далек был от мысли видеть в желании Сперанского возвратиться в Петербург только обыкновенное тщеславие обыкновенных честолюбцев, добывающихся только почестей и личного блеска. Своею жизнью по возвращении в Петербург Сперанский доказал, что этого одного было ему не нужно. Когда он увидел, что ошибся в расчете получить на дела такое влияние, которым существенно бы изменялся ход их, когда он увидел невозможность реформ, он впал в апатию. Мы не видим, чтобы он вел интриги для получения должностей и титулов. Он не стал усиливаться, чтобы достичь только личного возвышения. Он только присмотрелся к тому, допускается ли существовавшими отношениями возможность действовать в прежнем духе, и как только увидел, что этого нет, остался неподвижен. Да, он был честолюбив, но не в том дюжинном смысле, какой обыкновенно соединяется с этим словом: он хотел великой исторической деятельности, он хотел заслужить славу в потомстве государственными

преобразованиями; человека, имеющего такую цель, нельзя упрекать в тщеславной суетности, если он хлопочет о власти. Но правда и то, что свойство отношений, в которые привелось Сперанскому быть поставленным, отразилось на его репутации некоторыми пятнами. Мы готовы были бы извинить льстивый тон его писем из изгнания к Аракчееву, потому что льстивость относится тут лишь к частным делам, не касаясь государственных дел. Но на самом деле прискорбно то, что по возвращении в Петербург Сперанский, продолжая искать опоры в Аракчееве, попытался в угоду ему защищать тогдашние военные поселения<sup>20</sup>. Вот из книги барона Корфа место, сообщающее нам этот факт, едва ли не самый прискорбный из всех излагаемых в этой вовсе неутешительной биографии:

Сперанский взялся написать общий взгляд на устройство военных поселений, чтобы хотя несколько примирить с ними общественное мнение,остававшее всею своею силою против этого создания железной воли Аракчеева. Действительно, в начале 1825 года появилась брошюра под заглавием: *О военных поселениях*, написанная с обыкновенным искусством Сперанского. Быв напечатана в малом числе экземпляров, тогда же большею частию раздаренных, она теперь сделалась библиографическою редкостью. На это похвальное слово учреждению, самому у нас непопулярному, на эту, по выражению одного современника, «реляцию после сражения» должно смотреть единственно как на жертву, принесенную Сперанским своему положению. За четыре года перед тем, на возвратном пути из Сибири в Петербург, проезжая новгородскими поселениями, сам он в «дневнике» своем отметил: «*lutus ex fulgore!*...»\*.

Да, Сперанский был сломан жизнью. Не таков был он в первую пору своей деятельности, когда, по свидетельству самого барона Корфа, не отступал от своих убеждений ни для кого. И к чему повело это унижение? Единственным, но вовсе недостаточным извинением Сперанскому можно выставить только то, что не он один обольщался мыслью о возможности восстановить свою силу. Вся публика ожидала того же. Барон Корф говорит:

«Приезд Сперанского был, можно сказать, чем-то торжественным; с ним ожидали и обновления дел, и все, по крайней мере огромное большинство, были убеждены, что он снова вознесется на прежнюю высоту. Одни полагали, что Аракчеев сдаст ему все управление гражданскою частию; другие, возобновляя прежние слухи, предсказывали в нем будущего министра юстиции\*\*; третьи уверяли, что ему с титулом, попрежнему государственного секретаря присвоена будет та власть, какую при Екатерине II имел князь Вяземский\*\*\*, и т. д.

\* Гром не из тучи, а из навозной кучи. — *Ред.*

\*\* [В одном частном письме той эпохи мы встретили следующее место: *Tout le sénat ainsi que la majeure partie du public s'attendent à la nomination de M-r Spéransky au siège curial. Plusieurs s'en réjouissent, mais on rencontre aussi mainte bien triste, которые кулачком слезы утирают* (то есть «Весь сенат, равно как и часть публики, ждут назначения г. Сперанского по судебному ведомству. Некоторые этому рады, но попадаются также и довольно печальные лица», и т. д.)]

\*\*\* Александр Алексеевич. — *Ред.*

Простительно было заблуждаться в этом случае толпе непроницательных людей; но как мог увлекаться таким же легковерием Сперанский? Ему следовало бы понять с первого же взгляда, что его время, то есть время стремлений к реформам, миновало безвозвратно; но он до самой кончины императора Александра Павловича продолжал заблуждаться:

Сперанский уже никогда более не возвышался на прежнюю ступень при императоре Александре и даже не получил никакого самостоятельного назначения. Но очень примечательно, что сам он при всем своем такте и тонком уме не мог или не хотел — по крайней мере, *вначале* — ни понять истинного своего положения, ни убедиться в невозвратности прежнего. Сперва, когда работы по сибирским учреждениям и по возобновившемуся пересмотру гражданского уложения давали ему довольно частый доступ к государю, он, смотря на предметы сквозь призматическое стекло своих желаний, старался уверить себя, будто бы возрастающим его влиянием пробуждается негодование Аракчеева, даже будто бы, видя необходимость уступить поле сопернику более счастливому, Аракчеев намеревается все бросить. Но такое добровольное самозаблуждение, такая фантазмагория воображения, следы которых беспрестанно проявляются в его «дневнике», не могли длиться долго. Тот же «дневник» свидетельствует, что государь при свиданиях с Сперанским не раз повторял, что считает его *своим человеком*, что никто *запятнать его не может*, и пр.; а между тем все важнейшие из его работ он утверждал, все подносимые им указы подписывал *не иначе*, как по предварительному совещанию с Аракчеевым. Уже с декабря 1821 года Сперанский сам начал замечать некоторые признаки охлаждения. В феврале следующего года, все более и более разочаровываясь, он писал Ермолову<sup>21</sup>: «Хилое мое здоровье не дозволяет мне много заниматься, и хотя занятия мои весьма ныне ограничены, тем не менее боюсь, что и для них скоро сил у меня не станет». Со второй половины 1822 года, то есть по окончании дел сибирских, и к личным докладам он был призываем гораздо реже. В следующем, 1823 году государь принимал его с бумагами всего только *три* раза; в 1824 и 1825, кажется, уже — *ни одного*. То же самое отразилось и в приглашениях к императорскому столу: из камер-фурьерского журнала видно, что в 1821 году Сперанский беспрестанно обедал у государя; в 1822 — несравненно реже; в 1823 — только один раз, а в 1824 и 1825 — ни разу. Наконец, все заметили, что и на балах государь не разговаривал с ним, хотя он всегда был на глазах. Это охлаждение не могло не отразиться на общественном положении Сперанского. Быв встречен, по возвращении своем из Сибири, чрезвычайно предупредительно от всех лиц, имевших власть, он впоследствии уже только с большим трудом успевал выпрашивать для покровительствуемых им даже самые мало-важные места, и то не всегда прямо у министров, а больше через директоров департаментов...

Изумительно, что при таком ясном развитии отношений Сперанский так долго упорствовал в предположении о возможности выиграть свое дело, то есть приняться за реформу, потому что только как реформатор и мог Сперанский иметь силу. Удивительно, говорим мы, такое грубое самообольщение в человеке такого тонкого ума; но это изумление надобно относить не к одним тем годам напрасной надежды, которые тянулись от возвращения Сперанского до кончины императора Александра Павловича. Столь же очевидно должна была бы представляться ему неосновательность его ожиданий и в прежнее время, когда он был

государственным секретарем. Чтобы признать себя мечтателем, ему, как мы говорили, нужно было бы тогда только сообразить характер и размер своих стремлений с качеством средств, которыми он думал пользоваться. Видно, что он уже от природы был осужден на странную забывчивость в этом отношении. И странная его несообразительность объясняется горячностью его стремлений. Он не то чтобы не видел, — он, пожалуй, и видел, но старался не замечать или перетолковывать факты. Это — явление очень обыкновенное в людях, увлекшихся какой-нибудь мыслью. Так человек, сильно желающий обогатиться, берет лотерейные билеты, хотя бы очень хорошо понимал разорительный расчет этой игры. Так влюбленный не хочет замечать недостатков любимой женщины, хотя бы они были очевидны. Так человек, одержимый мыслью об изяществе манер, не замечает всеобщих насмешек над своею неловкостью. Все такие люди смешны, их обольщения мелочны; но они могут быть вредны обществу, когда обольщаются в серьезных делах. В своей восторженной хлопотливости на ложном пути они как будто добиваются некоторого успеха и тем сбивают с толку многих, заимствующих из этого мнимого успеха мысль идти тем же ложным путем [не приводящим ни к чему, кроме фантазмагорий]. С этой стороны деятельность Сперанского можно назвать вредною. [Своим ошибочным увлечением он увлекал многих к такой же напрасной трате сил на употребление средств, не соответствующих делу. Своими работами он придал несколько годам нашей истории фальшивый оттенок: есть люди, принимающие его деятельность за доказательство существования мыслей о серьезных преобразованиях, тогда как на самом деле его работы назначались служить только праздной теоретической игрой и были прекращены при первом поползновении к реальному значению.]

Читатель видит, что мы столь же строги к Сперанскому, как и сам барон Корф, и главный упрек Сперанскому от нас тот же самый, какой делается ему бароном Корфом: Сперанский был увлекающийся мечтатель. Нам очень приятно, что мы могли сойтись в этом выводе с автором пересмотренной нами книги.

## НАРОДНАЯ БЕСТОЛКОВОСТЬ

(«День», №№ 1 и 2)

Мы начинаем обращаться в славянофилов. Три месяца тому назад, когда мы хотели выразить впечатление, производимое львовскою газетою «Слово», нам подвернулись слова иностранного происхождения — «национальная бестактность». Теперь совершенно такое же впечатление, произведенное двумя первыми номерами московской газеты «День», выразилось у нас словами чистейшего русского происхождения. Значительную долю славы за это спасительное обращение наше, история, по всей вероятности, припишет «монументальному», по выражению «Дня», труду В. Даля: «Толковому словарю живого русского языка»<sup>1</sup>, в котором предлагаются чистые русские слова на замену всех взятых от латинских, люторских и других нехристей; например, астрономический термин «абerrация» заменяется золотопромышленным словом «россыпь», «абордаж» — словом «сцепка», «абориген» — «коренник или сидящий на корню», «авангард» — «переды или яртаул», «автограф» — «своеручник», «автомат» — «самодвига», «живуля», «живышь» и так далее.

Прежняя литературная деятельность г. И. Аксакова, издателя и редактора газеты «День», доставила ему уважение от людей, нимало не восхищающихся славянофильскими теориями. Мы уверены, что и в новой его газете будут постепенно являться статьи, которые своею практическою честностью будут соответствовать репутации г. И. Аксакова. Но в первых номерах он уже чересчур постарался доказать ошибочность мнения, будто бы он принадлежит к славянофилам больше по имени (еже басурманами зовется по фамилии), по родству, по знакомству, чем по личной пропитанности их теориями. Он — человек, сочувствующий своему народу, сочувствующий всем славянским народам, — это прекрасно, но в этом еще нет славянофильства. Русскому народу не меньше, а может быть и гораздо побольше, чем славянофилам, сочувствуем все мы, русские литераторы, пишущие в «Отечествен-



ных ли записках» или в «Русском вестнике», в «Русском ли слове» или в «Современнике». Точно так же все органы русской журналистики очень горячо сочувствуют славянским племенам. Отличиться от всей массы нас, русских литераторов, не называющихся славянофилами, — отличиться от нас любовью к нашему народу или к другим славянам точно так же нельзя, как нельзя отличиться от нас сочувствием к воскресным школам или к законности. Но те действительно особенные пристрастия к разным другим предметам, которыми прославлялись другие славянофилы, не были слишком заметными у г. И. Аксакова<sup>2</sup>. Мы не ждали, чтобы он поспешил отличиться ими в своей новой газете. Но он поспешил отличиться ими, — да еще как! Мы приведем на выдержку несколько мест из первых двух номеров газеты «День».

Вот, например, руководящая статья первого номера, служащая, как видно, программой газеты. После длинных объяснений о том, что все у нас «ложь», — ложь в просвещении, ложь во вдохновениях искусства, ложь в литературе, ложь в поклонении свободе, ложь в гуманности и образованности (заметим, что это рассуждение, написанное в фигуре «единоначатия», сильно пахнет риторикой), — после этих рассуждений говорится, что «казалось, что исчез народ», и был он «полумертвым трупом», но теперь полумертвый этот «труп оживает, согретый солнцем мысли». Каким же это солнцем, <от> какой же это мысли оживился полумертвый труп? — Следует ответ, очаровательный своей наивностью. Извольте читать:

Мучительным, медленным процессом добывалось у нас наше самосознание, и не напрасно жили и потрудились для него подвижники русской мысли: Киреевские, Хомяков и Константин Аксаков. Точка зрения, добытая, поставленная и выраженная ими, составляет, по нашему убеждению, поворотную точку в истории русского просвещения и, как маяк, озаряет дальнейший, предлежащий нам путь развития. Мы с радостью видим, что многие из выработанных славянофильскою школою положений уже обратились теперь в общее достояние и нашли себе защитников и в других органах нашей печати.

Почему не самохвалствоваться, если есть охота? Но ведь нужно же знать какую-нибудь границу и в самохвалстве. Русский народ оживлен трудами Киреевских, Хомякова и Константина Аксакова!<sup>3</sup>

В первой руководящей статье «славянского отдела» говорится, что мы, русские, ничего не выиграли от своего «добровольного рабства и колоссального душевного холопства» перед Западом, — Западная Европа, извольте видеть, ненавидит нас, «создает целые теории, подкашивающие наше нравственное могущество». Да какие ж это особенные теории создал Запад для нашего подкашивания? Кажется, не предлагает он нам ровно никаких других теорий, кроме тех, которые создал сам для себя; на Западе,

кажется, нет такого стремления, что вот, дескать, сами про себя мы будем иметь научную или какую другую истину, а ненавистным русским или вообще славянам будем преподавать какую-нибудь вредную безнравственность; сами будем пить шампанское неотравленное, а в Россию будем посылать отравленное; сами будем учиться по хорошим учебникам, а в Россию будем посылать плохие учебники; сами будем читать Маколея, учащего веротерпимости, а в Россию будем посылать книги инквизиционного направления. Кажется, Западная Европа не предлагает нам ничего, кроме того, чем пользуется и сама. А впрочем, «День», быть может; и докажет нам, что Запад поступает иначе с нами. По крайней мере, он, сделав открытие о созидании Западом целых теорий, подкашивающих наше нравственное могущество, продолжает:

Постоянный натиск духовных враждебных сил Запада колеблет внутри самой России сознание нашей силы и нашей правды, ясное разумение наших прав и обязанностей, опасностей и выгод!

И не только Россия, но и весь славянский, или, вернее, православно-славянский мир разделяет с нею ту же участь. Пора догадаться, что благосклонности Запада мы никакой угодливостью не купим; пора понять, что ненависть, нередко инстинктивная, Запада к славянскому православному миру происходит от иных, глубоко скрытых причин; эти причины — антагонизм двух противоположных духовных просветительных начал и зависть дряхлого мира к новому, которому принадлежит будущность. Пора нам, наконец, принять вызов и смело вступить в бой с публицистикой Европы за себя и за наших братьев славян! Но чего же могут ожидать от Европы славяне, сохранившие верность славянским началам, если могущественнейший представитель этого мира, русское племя, трусливо избегая борьбы с общественным мнением Европы, боится водрузить знамя своей духовной самобытности, своей народности, своего исторического подвига и призвания?

Так вот к чему приглашает нас «День»: мы должны вступить в борьбу с общественным мнением Европы. Полезное для нас будет дело, нечего сказать! Общественное мнение Европы стремится к улучшению материального и нравственного, частного и общественного быта, — что ж, должны мы вступить в борьбу с этим стремлением? Должны мы доказывать, что человечеству следует беречь все остатки средних веков и восстанавливать те бедствия, которые устранены развитием?

«День» думает, быть может, о другом? Есть между славянофилами крайние герои, желающие переделать Запад по славянофильским принципам, но есть и такие скромные, что говорят: «стремление и теории Запада хороши для него; только наших потребностей он не понимает, желает нам вредного. Только против его желаний и советов нам должны мы вооружаться». Может быть, руководящая статья «славянского отдела» в № 1 «Дня» написана человеком такого умеренного славянофильства? Хорошо; посмотрим, полезно ли для нас будет, если мы вступим в борьбу с общественным мнением Запада не для сокрушения западных стремлений в самом Западе, а только для того, чтобы делать у самих себя наоборот против желаний, какие Запад имеет

относительно нас. Какие события и направления нашей жизни одобряются Западом и производят в нем радость? — Всякая общественная реформа, всякое улучшение в промышленности или в земледелии, всякий успех просвещения у нас производит радость на Западе. Справьтесь в какой хотите сколько-нибудь порядочной западной газете, от *Débats*\* до *Times'a*, вы увидите, что она хвалит у нас все то, что одобряется у нас массою просвещенных людей (и в том числе славянофилами): всякое облегчение в налогах, всякое хорошее уменьшение в расходах, основание воскресных школ и т. д. Что же, должны мы вступить в борьбу с общественным мнением Запада по этим предметам? должны мы отказаться от реформ? стеснять у себя просвещение? Разумеется, никто из порядочных людей между славянофилами не хочет давать такого смысла своим словам о борьбе против Запада; но, кроме этого смысла, не могут такие слова иметь никакого другого. Мы нимало не подозреваем таких людей, как г. И. Аксаков, во вражде к прогрессу; мы только находим, что они говорят фразы, не имеющие для них самих ясного смысла и имеющие обскурантский смысл в устах очень многих плохих людей, которых они с любовью принимают в ряды своей партии за подобные фразы и которые дурачат их наивность.

Но, порицая славянофилов за фразы о борьбе с Западом — фразы или бессмысленные, или обскурантские, — мы должны превознести горячность их патриотизма, не удерживаемого никакими соображениями. Это — доблесть высокая. Вот, например, рассказав о какой-то демонстрации в Царстве Польском, газета «День» изливает свое прекрасное негодование на дерзких нарушителей закона. Газета «День» (во 2 №, на стр. 14) обращается к преступным мечтателям со следующими словами:

Безумные поляки! Как спешите вы проиграть ваше дело! как торопитесь вы затушить всякую искру сочувствия, которую могла бы зажечь в единоплеменных вам братьях ваша любовь к родине! Неужели вы так глухи, так слепы, неужели вы думаете, что в пространной русской земле, от Камчатки до Карпат, в Великой, Малой, Белой, Червонной Руси, найдется хоть один русский, который бы не загорелся весь самым жгучим огнем негодования при таких лживых и наглых ваших притязаниях! который бы не отдал жизни в борьбе с вами, за сохранение наших древних русских областей, нашего трижды святого, прекрасного Киева!.. Или тщетны были для вас все уроки истории, и вас ничто исправить не может? Вам по-прежнему нипочем права чужих народов и их народная воля; надменный шляхтич, ругавшийся над верою нескольких миллионов руссов, называвший ее *холопскою* и русский народ — *холопами* Польши, видно еще жив в вас, и как прежде сгубил, так и теперь, безумный, губит дело своей родной земли! Мы оставались чужды доселе вашей тяжбе с правительствами, но вы хотите возобновить международную\*\* тяжбу и воскресить вражду, которую сострадание к вам начинало изглаживать в сердцах наших! Несчастные, несчастные, безумием, как божьей карой, пораженные поляки!..

\* «Journal des Débats» — *Ред.*

\*\* В смыс.е — международную.

Мы благоговеем перед этою силою патриотического гнева. Но, быть может, не примет газета «День» за недостаток патриотизма в нас, если мы отважимся заметить ей, что и патриотизм должен не быть необузданным чувством, попирающим всякие расчеты политического благоразумия и забывающим даже о самых пользах родины. Если мы не ошибаемся, не для одной только Польши, но точно так же и для самой России было бы очень полезно, когда бы нынешние беспокойства в Царстве Польском успокоились развитием дружественных чувств к русским в поляках. Если мы не ошибаемся, тон, принимаемый газетой «День», не может содействовать достижению этого результата, желательного для всех русских, любящих Россию. «Безумные поляки», «вы глухи и слепы», «вы наглы и лживы», «мы горим огнем негодования на вас», «мы отдадим жизнь на борьбу с вами», «вы ругаетесь над нашею верою», «вы называете нас своими холопами», «вы поражены божьей карой», и так далее, и так далее. Едва ли можно полагать, что подобные выражения уместны в устах людей, желающих наилучшего для самой России разрешения нынешних несогласий, то есть желающих прекращения международной \* вражды. Или газета «День» не желает этого? Нет, без всякого сомнения, желает; она только не понимает того, что сама говорит.

Да, она имеет только один недостаток: совершенное забвение расчетов приличия и уместности. Таково свойство необузданных порывов чувства, хотя бы самого прекрасного. Вот, например, хотя бы родственное чувство. Что может быть прекраснее и почтеннее любви одного брата к другому? Посмотрите же, что напечатано на стр. 20 № 2 «Дня». Объявив, что на-днях выйдет первый том полного собрания сочинений Константина Сергеевича Аксакова, газета «День» возглашает с восклицательным знаком: «не нам, конечно, распространяться здесь о значении и достоинстве этих сочинений!» Никому не запрещено вообразить, что сочинения добродушного К. С. Аксакова, до очень зрелых лет отличавшегося тою восхитительною чистотою души, которая очаровывает нас в институтках, но которая едва ли совместна с зрелостью мысли, — никому не запрещено вообразить, что его сочинения имеют бог знает какое огромное значение и бог знает какое удивительное достоинство. Только, видите ли, не всякому прилично выражать такое убеждение. Отец, превозносящий детей, брат, восхваляющий брата, бывают смешны. Произнесение панегириков надобно предоставлять людям посторонним. Но г. И. Аксаков совершенно чужд того соображения, что не ему, брату К. С. Аксакова, следует являться перед публикою восклицющим о великом достоинстве и значении сочинений своего брата. Вот

\* Опять в смысле межнациональной. — Ред.

этим самым непониманием впечатления, какое производится известными словами в известных устах мы объясняем и возгласы газеты «День» о поляках.

А если бы славянофилы могли хоть несколько соображать обстоятельства, обдумывать факты, к каким прекрасным мыслям пришли бы они при своих превосходных намерениях и возвышенных чувствах! Вот, например, если б они потрудились хоть немного обуздать пылкость своих фантазий по вопросу о судьбе славянских племен, как хорошо было бы их сочувствие к болгарам и сербам, хорватам, словакам и чехам. А теперь необузданные порывы воображения заставляют их говорить несообразности и желать такого направления дел, которое одинаково было бы вредно и другим славянским племенам, и нам. Посмотрите, какую программу по славянскому вопросу выставляет газета «День» в руководящей статье этого отдела в № 1. Мы слово за слово разберем эту программу, — не с тою надеждою, что наши замечания сколько-нибудь образумят самих славянофилов, а только для того, чтобы по возможности заявить основания, по которым славянофильские стремления относительно славянского вопроса отвергаются людьми, не меньше славянофилов желающими добра славянским племенам. Вот программа газеты «День».

Наша сила в Европе — сочувствующий и связанный с нами родством крови и духа мир славянский вообще и мир православный в особенности — выступает теперь на поприще истории. Славян, свободных от чуждого ига, нет нигде, кроме России. Кроме России, везде славянскую народность гнетут или немцы, или турки. По мере возрастания политического могущества России возрождались в поработенных племенах: надежда на избавление от позорного ярма и чувство славянской народности. Освободить из-под материального и духовного ига народы славянские и даровать им дар самостоятельного духовного и, пожалуй, политического бытия под сению могущественных крыл русского орла — вот историческое призвание, нравственное право и обязанность России. Но сознаем ли мы и сознают ли славяне наше призвание и наше право? Куда обратят свои взоры пробуждающиеся славянские народы? Вопрос, казалось бы, совершенно излишний, тем более, что выше мы сами уже указали на это сочувствие. Но дело в том, что сочувствие поддерживается сочувствием взаимным; дело в том, что сочувствие опиралось до сих пор на естественное чувство славянских народов, не справлявшееся с дипломатическими летописями и не искушавшееся соблазнами блестящей цивилизации Запада. Теперь наступает пора другая. Теперь сочувствие к России ищет себе другой, более разумной основы и, переходя из области естественного чувства в область сознания, подвергает проверке и оценке нашу собственную верность славянским началам. Мы знаем, что так называемые интеллигентные, образованные классы у славян восточных, пораженные невежеством, равнодушием, молчанием нашего общества и нашей журналистики (об отдельных явлениях говорить нечего), не находя себе в последней никакой опоры, никакого оружия противу лжи, которую в известной мере содержит в себе западное просвещение, — малопомалу отворачиваются от нас, своих старейших братьев. Бессильные устоять на собственных ногах, они хватаются в своей слабости за духовную (в обширном смысле слова) помощь западных народов, исконных врагов славянского мира. Народные начала крепки не одним воплощающим их в себе бытом, но еще более — ясным сознанием. Где же быть этому сознанию, как

не в единоплеменной и единой верной России, богатой горьким и долголетним историческим опытом? Но напрасно стали бы славяне домогаться этого сознания от русской журналистики!

В этом возвышенном излиянии чувств каждое слово — ошибка против фактов.

«Наша сила в Европе — сочувствующий и связанный с нами родством крови и духа мир славянский вообще и мир православный в особенности». Нет, наша сила — в Европе ли, в Азии ли, или где бы там ни было — не другие славянские племена, а мы сами и только мы сами. Разве одна Россия из могущественнейших держав имеет в других странах соплеменников или единоверцев? Французы, народ романского племени и католического вероисповедания, имеют единоверцев и соплеменников в испанцах, португальцах, итальянцах. Что же, разве силу свою Франция заимствует от этих народов? Англичане, германцы протестантского исповедания, имеют соплеменников и единоверцев в жителях северной Германии, в голландцах. Что же, разве силу свою заимствует Англия от Пруссии, Ганновера, Бадена или Голландии? Точно в таком же положении находимся мы, русские, относительно остальных славян или остальных православных народов. Нам не нужно их силы, мы сами по себе довольно сильны. Народ, соединенный в такую державу, которая уже довольно могущественна для ограждения своей независимости, может с выгодами для себя иметь только временные и случайные союзы с каким-нибудь другим племенем или государством, — союзы, заключаемые только для какой-нибудь частной, внешней цели и нисколько не относящиеся к условиям внутренней жизни. Но тут дело решается по мимолетным военным надобностям, без всякого отношения к единоплеменности или единоверности. Например, когда Франция воевала с Англией, для Англии было полезно вступить в союз с Испаниею, которая единоверна и единоплеменна не ей, а Франции. Если бы когда-нибудь, — чего не дай бог — возгорелась у России война с какою-нибудь державою или союзом держав, то, разумеется, России следовало бы искать подобного военного союза со всяким государством или племенем, которое могло бы помогать ей в войне: искать союза с Италиею или Англиею, с Сербиею или Египтом, Персиею или Швециею — все равно, какого бы племени и исповедания ни были союзники. Но, разумеется, не о таких внешних и случайных союзах идет дело в славянском вопросе. Он относится к расширению государственного организма, к прочному соединению по внутренним делам, к образованию одной державы или федерации держав. Расширение политического организма, к которому принадлежит известный народ, бывает полезно этому народу лишь до такого размера, чтобы независимость его была вне опасности, чтобы никакое другое государство не могло иметь ни силы, ни мысли завоевать его.

Есть народы, настолько многочисленные, что находят этот размер государственного могущества в самих себе одних. Таковы англичане, французы и русские. Таковы же были бы немцы, если бы достигли государственного единства. Таковы же становятся итальянцы, достигая его. Каждому из этих народов в государственном отношении нечего желать, кроме собственного единства. Всякая попытка войти в государственную связь с населением другой страны, хотя бы единоплеменной и единой, оказывается для такого народа напрасным и обременительным неудобством. Примером служит попытка французов при Людовике XIV приковать к своей политической жизни Испанию; другая попытка французов при Наполеоне I также приковать к себе Испанию и Италию. Кроме бесчисленных потерь и неудобств, ничего не извлекла себе Франция из этих попыток. Точно таковы же были для Англии результаты политической связи с Ганновером, страной единой и единоплеменной Англии.

«Кроме России, везде славянскую народность гнетут или немцы, или турки». О турках мы не будем теперь говорить; но как с словами, сказанными о немцах в этой программе, согласить то странное обстоятельство, что московская газета «День», подобно лвовской газете «Слово», уверяет нас, будто бы австрийские славяне должны теперь иметь надежду на австрийское правительство. Читатель подумает, что мы клеветаем на газету «День», но вот вам подлинные слова ее из «славянского отдела» во 2 №:

Мадьяры, как теперь оказалось, не допускают и даже не обещают допускать у себя другим нациям — ни заводить национальных школ, ни вводить своего языка в провинциальное управление, ни присылать на провинциальный сейм депутатов народных, кроме тех, которых они сами или силою, или ласкательством заставят избрать из своих единомышленников; они не соглашаются присылать своих депутатов, между которыми могли бы быть и славяне, и на сейм державный<sup>4</sup>, где решаются общие вопросы всех народов и провинций целого государства. Немцы, по крайней мере, обещают дать славянам и румунам\* национальное устройство, и скорее могут это допустить, чтоб вести тогда и мадьяр за своим кормилом: они восстановили провинциальные сеймы, о чем мадьяр и слышать не хочет; они учредили сейм общий для всех народностей — державный. Славяне, управляемые немцами, уж не могут сойтись на венгерском сейме с славянами венгерскими, но славяне венгерские могут сойтись с славянами немецкими на державном сейме; следовательно, всем славянам представляется случай соединиться и соединенными силами действовать для блага своей народности. Австрийское правительство хотя — не хотя поддается на мысль славян и еще прежде закрытия венгерского сейма начало приводить, на случай, в действие пружины национального начала. Вы знаете о собрании национального сербского собора в Карловце. В октябре месяце прошлого года Австрия одним почерком пера уничтожила воеводство Сербское в угодность мадьярам; в апреле настоящего года, следовательно, через шесть месяцев, та же самая Австрия тем же самым сербам изъявила соизволение открыть в Карловце собор, чтобы они посоветовались, на каких условиях могут соединиться с мадьярами. Она послала туда своим комиссаром генерала Филиповича. О восста-

\* Румынам. — Ред.

новлении воеводства им рассуждать было не велено, но когда сербы, так будь сказано, вопреки воле правительства положили на соборе устроить вновь воеводство и дать ему самостоятельное, национальное внутреннее управление, даже с избранием главы народа — воеводы, Австрия не только не отказалась от этого определения, но даже непосредственно сама приняла заключения собора на свое благоусмотрение и теперь держит этот камень за пазухою для мадьяр. Вы читали также, без сомнения, о национальном соборе в Сент-Мартине, в северной Венгрии; там было рассуждаемо тоже исклучительно о национальном управлении словаков и русских \* в Венгрии. Заключение сент-мартинского собора посланы были и румунам, и сербам, и хорватам, чтобы пригласить и их действовать в том же духе относительно мадьяр. Видимого присутствия правительственных комиссаров на этом соборе не было, но он состоялся не без участия с их стороны. Словаки были обмануты своими мадьяроманами: последние, прикинувшись на соборе горячими патриотами, уговорили собрание подать свои заключения мадьярскому сейму; впрочем, когда мадьярский сейм, как и должно было ожидать, отверг предложения словаков, правительство австрийское не преминуло ими воспользоваться и держит их также, на случай, наготове.

Ну вот вам, читатель, слышите ли? — по словам газеты «День», венгерских славян угнетают мадьяры, а австрийские немцы уже многое сделали в пользу славян: восстановили провинциальные сеймы и учреждением общего имперского совета открыли всем австрийским славянам возможность соединиться и соединенными силами действовать на благо своей народности. Слышите ли, читатель, как австрийцы покровительствуют славянам? По словам газеты «День», австрийцы уже поддаются на славянскую мысль, исполняют заключения сербского собора; они помогают и словакам отстаивать народность\*\* против мадьяр. Газета «День» во втором своем номере заключает из этого: «австрийское правительство непрочь от того, чтобы признать у себя национальность славянских племен», и тон всей этой статьи таков, что венгерским славянам следует поддерживать австрийское правительство против мадьяр, а галицийским русинам следует поддерживать австрийское правительство против поляков.

А если газета «День» говорит таким образом во втором своем номере, то зачем же в первом своем номере она говорит, что славянскую народность угнетают немцы? Надобно было сказать, что ее угнетают в Австрии мадьяры и поляки, а немцы поддерживают ее. Или в статье второго номера, или в программе, излагаемой первым номером, напутано, что-нибудь не так, а быть может, и в обоих номерах все напутано.

«Освободить из-под материального и духовного гнета народы славянские и даровать им дар самостоятельного духовного и, пожалуй, политического бытия под сению могущественных крыл русского орла — вот историческое призвание, нравственное право и обязанность России». Нам кажется, во-первых, что у могущественного русского орла очень много своих домашних русских дел.

\* То есть русин. — *Ред.*

\*\* То есть свою национальность. — *Ред.*



Какие бы там права и обязанности ни имела Россия, а первое право и обязанность ее, как и всякой другой державы, — заботиться о собственном благе. У нас на руках очень важные внутренние реформы, не оставляющие нам ни времени, ни средств впутываться в чужие дела. Неопределенные фразы обманчивы. Будемте говорить прямо: чего вы хотите? Если вы хотите, чтобы Россия употребляла для освобождения славянских племен только дипломатическое влияние и газетные статьи, вроде разбираемой нами, такое пособие мы действительно можем оказывать славянским племенам без большого убытка для себя; только пособие такого рода ровно никакой существенной пользы славянским племенам не принесет. Что, вы в самом деле думаете усювестить турок или внушить добросовестность австрийцам? Что за ребячество! Кому охота слушаться увещаний, не поддерживаемых штыками? Но, быть может, вы не дети, быть может, вы понимаете, что без войны никакой народ ни от какого чужого ига не освобождается, и желаете, чтобы Россия начала войну с Турциею и Австриею для освобождения славян? (Впрочем, мы не знаем после вашей статьи во втором нумере, надобно ли, по вашему мнению, для освобождения славян вооружаться против Австрии, или надобно вместе с ней, покровительницей славянской народности, вооружаться против венгров и галицийских поляков, угнетающих ее, по вашим словам). Но если вы хотите войны, то рассудите же, дозволяют ли нам думать о войне наши обстоятельства. Ведь война означает остановку нашего внутреннего развития, выпуск громадного количества кредитных билетов, расстройство всех экономических отношений, едва начинающих оправляться от прежних войн. Притом война, слишком обременительная для нас при нынешних обстоятельствах, была бы для самих славянских племен, за освобождение которых началась бы, еще вреднее, чем для нас. Она вооружила бы против освобождения славян все западные державы. Неужели вы думаете, что Англия или Франция очень любят турок? Нет, они думают о турках совершенно так же, как и мы; а поддерживают их только из опасения, что при падении турецкой власти турецкие славяне не получили бы самостоятельности, а стали бы под нашу власть или наше влияние. Только этим опасением западных держав держится Турция. Только в том случае, когда оно отстранится, турецкие славяне не встретят в западных державах препятствий своему освобождению. Или вы полагаете, что легко турецким славянам освободиться наперекор англичанам и французам? Шансы войны, в которой славяне имели бы против себя Западную Европу, не представляют ничего ободрительного для них. И неужели вы так низко думаете о турецких славянах, что они для своего освобождения от турок нуждаются в чьей-нибудь посторонней помощи? Если бы так, турецкие славяне были бы племенами, не заслуживающими ничего сочувствия, столь же еще недостойными свободы, как

индусы. Ведь турок в Европе только два миллиона, а славян — семь или восемь миллионов. Неужели не могли бы они справиться с турками? Спросите какого хотите болгарина или турецкого серба, нужна ли его соотечественникам чужая помощь для освобождения от турок, — он оскорбляется таким вопросом. Им нужна только уверенность, что другие державы не станут мешать их освобождению: остальное все сделают они для себя сами. Вот вы, если желаете добра турецким славянам, постарайтесь внушить западным державам уверенность, что падение турецкой власти в Европе не послужит к поглощению Дунайских княжеств и Болгарии Россией, не поведет к обращению Константинополя в русский губернский город, что Россия не имеет ни надобности, ни охоты расширять свои границы в Европе на юг. Как только успеете вы успокоить западные державы на этот счет, турецкие славяне освободятся без всяких пособий от нас; своими чувствительными рассуждениями о призвании русского орла покрыть славянские племена могущественными крыльями вы пологительно вредите освобождению турецких славян, возбуждая тревогу в западных державах. Точно то же надобно сказать и про ваши возгласы о необходимости поддерживать австрийских славян русским могуществом. Эти сентиментальные излияния пологительно вредят делу австрийских славян.

Вредят они ему двояким образом: как ваши слова о прикрытии турецких славян могущественными крыльями русского орла возбуждают Англию и Францию поддерживать турок, точно так же подобные ваши речи об австрийских славянах возбуждают Германию поддерживать австрийцев. Неужели вы думаете, что при нынешних стремлениях немцев к политическому единству было бы мило для немцев существование нынешней Австрийской империи, являющейся сильнейшим препятствием к достижению немецкого единства, — было бы мило немцам поддерживать Австрию, если б не опасались они, что при падении этой империи восточная половина ее подпадет под власть России? Вы восстанавливаете немцев против освобождения австрийских славян.

Но этим не ограничивается зло, производимое вашею нерассудительною сентиментальностью. Она поддерживает в самих славянах Австрийской империи гибельную для них беззаботность. Своими обнадеживаниями вы приводите их в состояние людей, которые ждут, что сама влетит им в рот жареная утка, что самим им делать нечего, а надобно ждать, что мы сделаем за них все. По вашему счету в Австрии около 20 миллионов славян, а немцев только 6 или 7 миллионов. Вы говорите, что венгры также враги славян; вовсе нет, но положим, что также враги. Венгров около 5 миллионов. Что же это за племена, которые, имея в себе до 20 миллионов человек, не в силах освободиться из-под ига врагов, которых едва ли насчитывается и 12 миллионов? Даже при равенстве числа вся выгода на стороне народа,

защищающего свою независимость. А тут огромный перевес числа за славянами, — как же им не освободиться? Говорят: «австрийские славяне слабы потому, что разъединены». Совершенно так; но что же мешает им соединиться? Только то, что не ищут они поддержки для себя друг в друге, вообразая же, что существует для них внешняя поддержка в русских. Подумайте же, какое неприятное зрелище представляет масса более чем в 15 миллионов человек, не открывающая в себе достаточных сил для своего освобождения. Не будем несправедливы к вам: не вы одни виноваты в этом жалком состоянии австрийских славян: много тут значит неразвитость многих между ними, например, словаков и галицийских русинов. Но турецкие сербы и болгары развиты не больше их, а между тем понимают же свои силы, благодаря тому обстоятельству, что на них меньше действует расслабляющая перспектива чужой помощи. Она в очень значительной степени мешает австрийским славянам хорошенько позаботиться о прискании действительных средств к приобретению независимости; между прочим, она удерживает их и в том гибельном для них заблуждении, что не нужно им примиряться с венграми, которые готовы на все для примирения. Жалея о том, что примирение до сих пор не устроилось по нерасчетливому пренебрежению славян к венгерским предложениям, мы жалеем теперь не столько венгров, сколько славян, которые сами теряют не меньше того, сколько отнимают у венгров, и которые все-таки внушают нам больше сочувствия, чем венгры, хотя мы и принуждены порицать их, хваля венгров.

Но австрийские славяне сами уже начинают несколько понимать ошибочность нерасчетливого влечения, мешавшего им заняться своими делами как должно. Сама газета «День» чувствует, что возгласы наших славянофилов не возбуждают между австрийскими славянами того безусловного доверия, каким пользовались лет 12 или 15 тому назад. Но очень наивно объясняется газетою «День» эта начинающаяся перемена. Она говорит, что прежде сочувствие славян к русским опиралось «на естественное чувство, не справлявшееся с летописями», то есть спиравшееся только на звук имени, без соображения интересов и обстоятельств. Теперь австрийские славяне стали несколько опытнее и разборчивее; потому их «сочувствие к России, переходя в область сознания, подвергает поверке и оценке» — степень вероятности извлечь существенную пользу для себя из наших славянофильских обещаний, — так мы дополняем фразу «Дня», сообразно предположению, что австрийские славяне одарены здравым рассудком; но сама газета «День», чуждая подобных предположений, дополняет свою фразу совершенно иначе: по ее словам, австрийские славяне подвергают псверке и оценке «нашу собственную верность славянским началам». Мы думаем, что если они занимаются этим, то совершенно напрасно теряют время. Каким племенным началом верно или

неверно какое-нибудь государство или население какой-нибудь страны — это вопрос очень любопытный в этнографическом, филологическом, археологическом и многих других научных отношениях, но в практических соображениях далеко не все зависит от него. Вот, например, северо-американцы были совершенно верны английским началам, когда увидели в конце прошлого столетия, что надобно им оторваться от англичан. Вот и теперь южные штаты и северные штаты Американского Союза одинаково верны северо-американской народности, а все-таки убедились, что нельзя им составлять одного государства, если южное устройство не будет переделано по принципам, не зависящим ни от какой народности. Северные штаты вздумали начать над Югом это дело, нимало не противное северо-американской народности, а южные штаты решились на отчаянную войну, нимало не рассуждая о единстве своей народности с северными штатами. Мы думаем, что и славянские племена занялись поверкою не того, какая у нас народность, а того, можем ли мы им быть полезны, какова бы ни была наша народность. Так оно выходит из последующих слов самой газеты «День», и мы этому очень рады, потому что желаем развития у всех славянских племен здравого политического смысла, который необходим для всяких племен, славянских ли, или не славянских. Газета «День» говорит:

«Образованные классы у славян восточных (а мы прибавим: и у западных), пораженные невежеством, равнодушием, молчанием нашего общества и нашей журналистики, не находя себе в последней никакой опоры, мало-помалу отворачиваются от нас», — что ж, и прекрасно делают, если наше общество невежественно, как титурует его газета «День». Какая польза и честь кому бы то ни было от союза с невеждами? Восхитительно тут еще одно выражение: не находя себе опоры в нашей журналистике». Какою, в самом деле, опорой могла бы дать славянским племенам наша журналистика, при своем известном могуществе! Нечего сказать, сообразительны были славянские племена прежде, когда рассчитывали на силу нашей журналистики! Но мы думаем, что наша журналистика ничем не виновата в начинающейся перемене политических расчетов у западных славян. Да и западные славяне, по нашему мнению, вовсе не отворачиваются от нас, а просто находят, что мы не можем быть полезны их делу. Так мы думаем, и хвалим их рассудительность. А по словам газеты «День», выходит очень странная штука. Западные славяне, подвергнув поверке нашу верность славянским началам и отвернувшись от нас за неверность этим началам, сами взяли да и обратились в приверженцев Запада от досады на наше западничество. Вот слова газеты «День»:

«Бессильные устоять на собственных ногах, они хватаются в своей слабости за помощь западных пародов». Но ведь если так, значит, они хлопочут не о том, какова народность известной

державы, а лишь о том, выгоден ли для них союз с этою державой. Мы говорили выше, что именно по этому соображению и должны заключаться союзы. Если мы желаем блага западным славянам, мы должны радоваться, что, наконец, они отыскивают полезных помощников своему делу. Но газета «День» горюет: ей, как видно, хочется не того, чтобы участь западных славян улучшилась, а только того, чтобы они поклонялись нам, как «старейшим братьям». Она желает, чтобы они заимствовали свое «сознание» из «единоплеменной и единой верной России». Кстати мы спросим, кому единоверны католики-хорутане, чехи, словаки и униаты-русины: нам ли православным, или другим католикам; кому единоверны протестанты — чехи и словаки: нам ли, православным, или другим протестантам; кому, наконец, единоверны мусульмане-босняки — неужели также нам, русским?

Из этого всего мы выводим заключение такого рода.

Любовь к славянским племенам состоит в том, чтобы желать им добра. Наше содействие не может быть им полезно, напротив, оно повредило бы им, возбуждая в Англии, Франции, Германии спасение, которое не допускало бы их освобождения. Любовь к ним требует от нас, чтобы мы откровенно говорили им: вы составляете несколько десятков миллионов человек; такому многочисленному населению не нужна никакая посторонняя помощь; довольно будет и того, если державы, которым нет прямой надобности быть вашими врагами, не будут противиться вашему освобождению. При этом условии вы сами легко можете одолеть прямых ваших врагов. Постарайтесь же внушить сильнейшим западным державам уверенность, что вы по своем освобождении не будете служить ни для кого орудием против них. Наша помощь не нужна вам, была бы вредна вам. Да и нам самим было бы слишком тяжело воевать для вашего освобождения. Не рассчитывайте же на нас, а ищите сил в самих себе и сами устройте так, чтобы немцы, французы, англичане не видели для себя опасности в вашем стремлении к освобождению.

Вот образ мыслей и действий, внушаемый нам любовью к славянским племенам. Если бы не читали мы сентиментальных возгласов наших славянофилов, мы полагали бы, что ничего иного не могут говорить и думать русские, считающие себя проникнутыми любовью к славянским племенам. Но славянофильские излияния открывают нам, что под названием любви к славянским племенам существуют у нас в некоторых людях чувства и мысли совершенно иного разряда. Мы изложим эти странные чувства и мысли во всей их наготе, — разумеется, не для наших славянофилов, которые никак не могут рассуждать сообразно фактам и здравому смыслу, а для людей, способных понимать истину.

Есть между нами, русскими, люди, фантазия которых обуреваются фальшивою робостью, будто мы, русские, сами по себе

недостаточно сильны, и которые хотели бы увеличить могущество своей родины прибавкою новых областей. Но они замечают, что завоевывать обширные области в Европе против желания завоевываемых населений теперь дело слишком трудное, едва ли возможное для какой бы то ни было державы. Поэтому придумали они другую тактику. Они стремятся пробудить в славянских племенах желание добровольно искать нашего покровительства, возбуждая в них племенную ненависть ко всем другим цивилизованным народам, развивая в этих племенах мысль, что сами по себе они слишком слабы, что они без нашей помощи ничего не могут сделать для себя и что только под нашим покровительством могут они сохранить свою народность. С этой целью толкуют они о любви нашей к славянским племенам. Но дело тут вовсе не в любви к ним, а в эгоистическом расчете подчинить нам их, — тут не желание добра им, а желание увеличить собственное могущество. Полезно или нет славянским племенам искать нашего покровительства — об этом не думают люди, нами описываемые. Они стараются, как мы сказали, прикрыть свои эгоистические расчеты словами любви; но желание господствовать постоянно проглядывает в их речах: они не умеют удержаться даже от того, чтобы не толковать уже и теперь о нашем старшинстве над другими славянскими племенами, о том, что у нас одних сохранились истинные принципы славянской народности, и т. д. и т. д. Это говорят они даже теперь, когда еще заманивают славянские племена игти под наше покровительство и когда надобно утаивать им все, чем могли бы оскорбиться или встревожиться против их заманок славянские племена; легко отгадать, какие стремления обнаружила бы эта партия, когда бы удалось ей поймать в свои лапы милых единоплеменников. «Мы ваши старшие братья», говорит она, а по нашему народному обычаю старший брат заступает место отца, власть которого безгранична в семействе, и младшие братья должны безусловно повиноваться ему, не смея сами рассуждать ни о чем:

Ты наш старший брат, нам второй отец,  
Делай сам, как знаешь, как ведаешь, —

вот как обязаны говорить младшие братья старшему по нашему народному обычаю: «ты даже и не советуйся с нами, не спрашивай нашего мнения, мы не должны иметь собственного мнения, твоя воля — нам закон:

Делай сам, как знаешь, как ведаешь, —

а мы твои покорные слуги во всем».

«Мы одни сохранили чистую славянскую народность», — говорит эта партия, — стало быть, все, чем славянские племена отличаются от нас — отщепенство от славянской народности, и

для восстановления чистоты ее они должны принять наши понятия, наши обычаи и учреждения, нашу веру и наш язык. Да, они должны отказаться даже от своих наречий для нашего русского языка, — славянофилы уже и теперь не церемонятся в этом отношении с южноруссами: г. Владимир Ламанский говорит, что львовское «Слово» не должно издаваться на южнорусском языке, а должно издаваться на нашем литературном языке, которым писал Пушкин и на котором издаются «С.-Петербургские» и «Московские ведомости». А вера? Славянофилы провозглашают, что исповедание должно быть краеугольным основанием государственного и всего гражданского быта, а славянская народность тождественна с православием. Чехи, словаки, хорваты — отщепенцы от этой основной стихии славянства и, конечно, должны возвратиться к ней для своего славянского очищения. Если же язык и вера должны быть изменены славянскими племенами в соответствии нашему чистому русскому славянству, то какое сомнение может существовать о судьбе, предполагаемой нашими славянофилами для обычаев и учреждений, в которых славянские племена отличаются от нас? — Все должно измениться по нашему русскому порядку, образцовому и единственному чистому славянскому порядку.

Мы не хотим сказать, что подобного стремления сознательно держатся все люди, называющиеся у нас славянофилами. Коренное свойство их — фантазерство, а у фантазеров неопределенная сентиментальность мечты обыкновенно мешает определенному сознанию. Но сознательно или бессознательно, а лежит в их стремлениях тот порядок понятий, который изобразили мы, — не для ~~них~~ самих, как уже и сказали, потому что они недоступны внушениям рассудка, а для тех наших славянских братьев, которых заманивают они на ложный путь своими сентиментальными толками о мнимой своей любви к ним.

Угодно ли нашим славянским братьям убедиться, что наши славянофилы действительно готовят для них ту судьбу, как мы говорим? Пусть они прочтут статью г. В. Ламанского во втором номере газеты «День», и пусть они, читая эту статью, попробуют вникать в сущность мыслей, закрашиваемых любвеобильными фразами. Г. В. Ламанский поместил во втором номере газеты «День» возражение на мою статью о львовском «Слове», напечатанную в «Современнике» под заглавием «Национальная бестактность». Спорить с г. В. Ламанским я не намерен<sup>5</sup>. Я только обращаю внимание публики на некоторые места его статьи. Но прежде, чем стану выписывать отрывки из нее, представляю я несколько строк из примечания, которым снабдила ее сама редакция газеты «День». Редакция газеты «День» хвалит галицких русинов за то, что «они всячески стараются усвоить себе наш русский литературный язык, считают нашу литературу своею». Далее редакция газеты «День» негодует на мою статью

за то, что статья эта «предлагает галицким русинам держаться малороссийской племенной особенности и не враждовать с поляками». Предлагаю образованным людям славянских племен заметить это прекрасное выражение: «малороссийская племенная особенность». Малороссов 13 миллионов. Их язык не удостоивается считаться чертой их народности: он только «племенная особенность». Если народ, считающий 13 миллионов населения, не достоин считаться имеющим свою неприкосновенную народность, то поцеремонится ли наше славянофильство с какими-нибудь болгарями или сербами, хорутанами или чехами, которые несравненно малочисленнее малороссов? Если для славян еще не ясно дело, его окончательно разъясняет г. В. Ламанский. Г. В. Ламанский говорит, что он «не понимает значения слов: малорусский патриотизм», потому что он, г. В. Ламанский, «может допустить» только «русский патриотизм». Далее он говорит, что есть несколько вопросов, по которым не сходится с малороссами. В чем же он не сходится с ними? Дело объясняется все по поводу высказанного мною русинским малоруссам совета, чтобы они писали своим малорусским языком, а не ломаным нашим литературным языком. Он говорит, что слова статьи «Современника» о языке львовского «Слова» подают ему повод выказать наше «несогласие» с некоторыми взглядами «Основы».

Видно (продолжает он, говоря обо мне), что рецензент кое что читал в ней. Так, он особенно вооружается на русинов за то, что они не пишут на языке наших малороссов. Очевидно, он повторяет в этом случае слова «Основы». Это мнение рецензента столь же ошибочно и неверно, как и выше указанные, и само по себе серьезного опровержения не заслуживает. Но из уважения к «Основе» мы решаемся представить об этом предмете несколько замечаний, быть может, излишних в нашей литературе. Наше разногласие в некоторых взглядах с этим журналом никак не может ослабить нашего сочувствия и уважения к нему.

Вот в чем наше разногласие с «Основой» (продолжает г. В. Ламанский). И она, и мы одинаково недовольны языком большей части писателей Червоной Руси, который есть не что иное, как наш литературный язык с более или менее значительной примесью малорусского наречия. Но она полагает, что малоруссы Австрии должны бросить свою литературную речь и начать писать языком Основьяненки, Шевченки и Марко Вовчка. Мы же убеждены, что они с течением времени, при дальнейшем развитии, придут к ясному сознанию необходимости принятия нашего русского языка языком школы, науки и образованности, но вместе с тем не покинут и своего малорусского наречия, напротив, будут его развивать и обрабатывать литературным образом подобно, например, нашим малоруссам или тем немцам и французам, которые заботятся о литературном развитии *patois* и *plattdeutsch*\*. Наше убеждение основано на двух положениях: 1) наши малороссы не могут отбросить русского литературного языка, 2) русины не могут оставить своего наречия без литературной обработки.

Русский литературный язык образован не со вчерашнего дня и не Ломоносовым, который его только точнее определил и усовершенствовал. В основе

---

\* *Patois* — местное наречие французского, *plattdeutsch* — местное наречие немецкого языка. — *Ред.*



своей великорусский язык наш принадлежит одинаково в значительной мере и малороссиянам. Отказавшись от него, они бы отказались от значительной части своего прошедшего, своей истории и все-таки бы не успели образоваться на своем наречии такой литературы, которая бы им сделала излишнюю литературу русскую. Отказавшись от русской образованности, они принуждены бы были примкнуть к польской, с которою тоже словесность малорусская не сравняется. Пока же малоруссы не создадут своей образованности на своем наречии, до тех пор должны они учиться и писать или на русском, или на польском языке. Но выбор последнего возможен для Малороссии только с принятием католицизма, возобновлением унии...<sup>6</sup> Иначе все сочувствия Малороссии всегда будут принадлежать русской образованности и литературе, тем более, что она не только единоверна Малороссии, но и отнюдь не исключительно великорусская. Общий элемент нашего литературного языка — церковно-славянский, принятый нами вместе с христианством, утратил у нас большую часть своих болгарских особенностей под влиянием писателей и писцов южной и северной Руси, еще до подчинения первой Литве. И в настоящее время наречия малорусское и великорусское не отличаются между собою множеством важных и резких особенностей. До конца же XIV века и даже позже они были незначительны, если не совершенно ничтожны (разумеется, не в лингвистическом, а в практическом отношении). Так было с живым народным языком. Письменный же язык еще подавнее был общеодинаков для южной и северной Руси, насколько может быть общ письменный язык юного, малообразованного народа. С отделением Руси южной от северной мало-помалу обнаружилось у них несогласие и в языке письменном. Но и в это время до Ломоносова никогда не происходило между ними полного разрыва, ибо у них был общий элемент — церковно-славянский. Есть множество южно-русских сочинений XVI и XVII веков, писанных тем же языком, каким писали в то время в Москве, Новгороде, Вологде, поморских городах. Язык московских грамот относительно силы, богатства, народности, конечно, не может быть и сравниваем с нечистым, безобразным языком южно-русской гражданственности, испытавшей сильное влияние Польши, что отразилось и в языке, исполненном полонизмов. В них заметно сильное влияние языка церковных книг, летописей, а следовательно и прежних писцов и писателей южной Руси. Огромное, непосредственное влияние имели на язык наш южно-русские ученые и писатели с конца XVII века почти до самого Ломоносова. Малоруссы господствовали тогда у нас в иерархии, в школе и образованности. Они, повидимому, имели все средства образовать русский литературный язык на малорусской основе. История решила иначе. Уроженец Двинской земли, коренной новгородец Ломоносов принял наречие московское, но в то же время признал всю законность и необходимость общего элемента, церковно-славянского. Для дальнейшего развития нашего языка имели огромное значение многие даровитые писатели из малороссии и один гениальный — Гоголь. Итак, наш литературный язык нынешним своим видом обязан общим, совокупным усилиям велико-мало-руссов. Он есть плод исторической жизни всего русского народа. Признаемся, мысль о возможности особой малорусской литературы (а не местной словесности) представляется нам величайшею нелепостью. Эта литература возможна только при условиях самых невообразимых. Так, например, надо убедить всех мыслящих малороссииан в ее необходимости, надо им позабыть употребление русского языка, перестать читать русские книги, надо образовать целые поколения малороссииан в неведении русского языка и литературы. Без этих условий самостоятельная украинская литература немислима. По-нашему, одинаково нелепо, роптать ли на судьбу и обижаться таким выводом, или гордиться им и видеть в этом обстоятельстве умственное превосходство великоруссов над малороссиянами.

Но если невозможна самостоятельная литература малорусская, то воспрещать Червонной и Угорской Руси наш литературный язык — значит

посягать на ее народность, убивать в ней сознание ее племенной, исторической связи со всею, следовательно, и с Малою Русью.

Но если невозможна самостоятельная литература малорусская, то возможна и полезна литературная обработка наречия малорусского рядом с общерусским языком, особая *малорусская словесность* рядом с русскою литературою, с русскою наукою и образованностью. Нелепо сетовать северному немцу и швабу, шотландцу и малоруссу на то, что, например, Кант, Гегель, Вальтер-Скотт, Д. Юм, Гоголь и Савич не писали по-нижне-немецки, по-швабски, шотландски и малорусски так же как и англичанину, и великоруссу на то, что Борнс и Шевченко писали на своих местных наречиях. Но было бы столь же нелепо и непоследовательно со стороны наших малороссиян воспрещать своим землякам в Австрии обработку своих местных наречий. Надо заметить, что в Галиции существует три местных наречия: на востоке — *волыньское*, на юге и западе — *горское* (карпато-русское), в середине — *галицкое*. Волыньское, употребительное и у нас на Волыни и Подолии, имеет уже некоторые отличия от литературного наречия наших малороссиян, собственно, полтавского и киевского. Еще отличнее от него другие два поднаречия — *галицкое* и *карпато-русское*. Каждое из них имеет свои особенности, одинаково чуждые как малорусскому, так и великорусскому наречию. Но зато в каждом из них есть такие особенности, которые существуют в великорусском и не имеются в малорусском наречии. Вся законность нашего литературного малорусского наречия на том и основывается, что он прямо говорит малорусскому сердцу, живо затрагивает его нежные струны. Как ни близок, ни понятен нашему малоруссу литературный наш язык, однако, для его понимания он все-таки нуждается хотя в ничтожной предварительной подготовке. Чисто народная речь Шевченки, Марко Вовчка прямо понятна всякому простолюдину-малоруссу. Но русину галицкому, угорскому она далеко не своя, не чисто родная речь. Ему надо привыкнуть, приучиться к ней. Итак, с чего и зачем, на каком основании Червонную и Угорскую Русь лишать того права, которое признается за Малою Русью, — права на литературную обработку своей местной речи? Язык же школы (не только университетского, но и гимназического преподавания), науки, образованности для Червонной и Угорской Руси должен быть русский литературный язык, которого никогда не покинет и наша Малая Русь. В противном же случае русскому народу в Галиции и Венгрии придется вовсе остаться без науки и образованности или принять ее органом языки немецкий, польский и мадьярский. Тот и другой выбор повлечет за собою утрату народности.

Плохой знаток малорусского наречия, но страстный любитель этой народности, рецензент наш (все продолжает г. В. Ламанский, говоря обо мне), как и следовало ожидать, понимает это дело совершенно наыворот. Он нападает на «Слово» за его попытки писать на русском языке, на котором писали их земляки — Капнист, Основьяненко, Богутянский, Лодий, Венелин, Гребенка<sup>7</sup>, Гоголь, на котором и Шевченко писал свой дневник, постоянно пишут гг. Кулиш и Костомаров. «Наши малороссы, — говорит, он, — уже выработали себе литературный язык (наречие, ибо литературного чисто малорусского языка нет), гораздо лучший (нежели ломаный язык Львова): зачем отделяться от них? (чтобы не отделяться, Червонная и Угорская Русь и должна принять наш язык). *Разве он так далек от языка русинов, что им нужно писать другим языком?* (Непременно!) *Но если так, вы уже не малороссы* (хорош вывод! Итак, будто Карпатская Русь виновата, что в ее наречии много своеобразных особенностей!), *вы, как лужичане, отдельное племя* (неправда, тот же русский народ, что и в России, к которой он питает большое сочувствие, как в том живо убедились русские солдаты, проходившие Австрию в начале нынешнего столетия). Но если так, вас только 3 миллиона, вы не можете удержать своей народности (следует прибавить: если не примете органом образованности русского языка).

Доселе глаголет г. В. Ламанский. Хорошо он говорит. И ведь это говорится еще в такое время, когда г. В. Ламанский находит надобность осыпать малоруссов уверениями в своей любви к ним. А между тем, что же такое у него говорится? — Малоруссы Австрии не должны писать языком Шевченки и Марко-Вовчка; они должны принять наш литературный язык языком своих школ. Малоруссы должны смотреть на свой язык только так, как французы смотрят на свои *parois*, на свои деревенские говоры. Наш великорусский язык должен принадлежать не одним нам, а также и малоруссам, «и в настоящее время наречие малорусское или великорусское не отличаются между собою множеством важных и резких особенностей». «Наш литературный язык есть плод исторической жизни всего русского народа». «Мысль о возможности особой малорусской «литературы» представляется г. В. Ламанскому «величайшей нелепостью» — «самостоятельная украинская литература невысказима» для г. В. Ламанского, и далее: «самостоятельная литература малорусская невозможна», по его мнению — он допускает только «местную словесность малорусскую». Но он не допускает даже и того, чтобы хотя эта «местная словесность» служила общою связью для малорусского народа. Собственно говоря, по его мнению, даже нет общего малорусского языка, а существуют только местные малорусские поднаречия, которых в одной Галиции целых три. Из них два имеют «такие особенности, которые существуют в великорусском и не имеются в малорусском наречии». «Русинам галицким речь Шевченки и Марко Вовчка далеко не своя, не родная речь», «язык школы, не только университетского, но и гимназического преподавания, для Червонной и Угорской Руси должен быть русский литературный язык»; тот же самый язык навсегда предписывается и для нашей Малой Руси. Наконец г. В. Ламанский находит, что галицкие русины — не русины, не отдельное племя от нас, жителей Москвы и Поволжья, а то же самое племя, как и мы, и что они не могут удержать своей народности, если «не примут органом образованности» нашего литературного языка.

Достаточно ли этого, чтобы раскрыть глаза другим славянским племенам относительно результатов, приготавливаемых для них нашими славянофилами?

Роль, принимаемая на себя мною, далеко не так прелестна, как роль славянофилов. Предостерегать от заблуждений значит подвергать себя нареканию людей, преданных заблуждениям. Но в старинном нашем языке, на который ссылается г. В. Ламанский, слово «прелесть» обозначало обман. Я предоставляю г. В. Ламанскому и другим подобным ему людям являться перед славянскими племенами в прелестном виде. Пусть образованные люди в этих племенах сами рассудят, кто на самом деле больше

любит их: те ли, которые, подобно нашим славянофилам, льстят им и самохваляются, или те, которые предостерегают их.

Надобно сказать в заключение несколько слов о грубом заглавии этой статьи. Оно, при всей своей грубости, все-таки самое невинное объяснение, какое может быть приискано для странной системы действий наших славянофилов относительно славянских племен. Оно говорит, что эта система происходит только от уменьшения их понятья отношения нашей русской народности к другим славянским народностям, только от неразумного увлечения мыслью, будто наша русская народность единственный чистый тип славянской народности, что они, наши славянофилы, представители образцового славянского народа. Я говорю только, что они сбились с толку в своих понятия о русской народности и о согласи своих теорий с этою народностью. Таковы действительно многие из них: люди, чистосердечно заблуждающиеся и не имеющие никаких сознательных дурных намерений. К сожалению, не все они таковы. Есть между ними хитрецы, умышленно вводящие в заблуждение своих простосердечных товарищей. Если бы говорить об этих хитрецах, пришлось бы характеризовать славянофильство не такими словами, какие выставлены в заглавии моей статьи, а другими, — вероятно, более мягкими, но имеющими не такой невинный смысл.

Впрочем, славянофильская сторона газеты «День» сама по себе, а достоинство других сторон, которые, конечно, будут оказываться в этой газете, — другое дело. Мы уверены, что она со временем привлечет к себе внимание не одними славянофильскими фальшами, кроме которых ничего, к сожалению, нет в двух первых ее номерах.

## Н. А. ДОБРОЛЮБОВ

Николай Александрович Добролюбов родился в Нижнем-Новгороде 24 января 1836 года. Отец его, Александр Иванович, был священник нижегородской Никольской церкви. Имя его матери было Зинаида Васильевна.

Александр Иванович и Зинаида Васильевна очень сильно любили друг друга, так что, когда скончалась Зинаида Васильевна (весною 1854 года), муж не мог перенести этой потери: здоровье его быстро разрушилось, и он умер летом того же года.

Николай Александрович, способности которого развились очень рано (мы имеем тетрадь его стихотворений, писанных в 1849 году, когда ему было 13 лет; в числе этих пьес есть переводы из Горация), поступил в четвертый (высший) класс нижегородского уездного училища, должен был кончить семинарский курс в 18 лет (обыкновенно кончают курс в 21 или 22 года) и тогда, как отличный ученик, был бы отправлен на казенный счет в московскую или казанскую духовную академию. Но ему очень хотелось ехать в университет. Однакоже, по чрезвычайной деликатности характера, он не стал говорить об этом, когда из косвенных расспросов у отца заметил, что родителям было бы не совсем легко уделять хотя рублей по 200 в год на его содержание в университете. А между тем, оставаться в семинарии стало ему слишком скучно. Чтобы выиграть время, он, пробыв один год в богословском (высшем) классе, поехал в петербургскую духовную академию, курсы которой начинаются с нечетных годов, между тем как в казанской и московской, ближайших к Нижнему-Новгороду, они начинаются с четных годов (по которым идут курсы и в Нижегородской семинарии). По приезде в Петербург, он увидел возможность поступить также на казенное содержание в Педагогический институт, который казался ему все-таки привлекательнее духовной академии, и сделался студентом института. Это было в августе 1853 года.

Весною следующего года внезапно скончалась его мать, которую он любил чрезвычайно нежно. Эта неожиданная весть

страшно поразила его и, по всей вероятности, нанесла первый сильный удар его здоровью. На каникулы (1854) он поехал в Нижний, и на его руках скончался отец, убитый смертью жены (1854 год).

Николай Александрович остался старшим в семействе, которое состояло, кроме него, из пяти сестер и двух братьев. Денежные дела семьи находились в расстройстве. Отец, незадолго перед смертью, построил дом и вошел через это в долги, очень обременительные. Кроме дома, у сирот не было никакого состояния, а доход с дома почти весь поглощался уплатою процентов по займам из строительной комиссии и от частных лиц. Николай Александрович, с обыкновенным своим благородством, хотел пожертвовать всеми личными надеждами, чтобы поддержать сестер и братьев: он решился выйти из Педагогического института и просить места учителя уездного училища в Нижнем-Новгороде. Родные, отцовские знакомые и институтские друзья едва могли соединенными усилиями отклонить его от этого намерения, доказав ему, что скудным жалованьем уездного учителя он не в силах будет содержать семейство, для самых выгод которого необходимо, чтобы он кончил курс в институте. Ему представили также, что три года, остававшиеся ему до окончания курса, сестры и братья его будут безбедно жить — одни у родственников, другие у некоторых из прихожан, уважавших его отца. Так и было сделано. [Через несколько времени Николаю Александровичу и друзьям его отца удалось достичь того, что архиерей \*, не хотевший «зачислить» отцовского места за старшею сестрой Николая Александровича \*\*, согласился исполнить это обыкновенное в духовном звании правило, то есть предоставить сироте-дочери получать часть доходов от остающегося праздным отцовского места, а по достижении ею совершеннолетия отдать вакантное место тому, за кого она выйдет]. Но [всего] этого было слишком мало. Родные, взявшие на себя содержание сирот, сами были люди очень небогатые, и Николай Александрович, не щадя себя, приобретал уроками деньги на поддержание сестер и братьев.

[Через несколько времени Николай Александрович принял на себя новую тяжелую обязанность — обязанность борьбы против стеснений и злоупотреблений, существовавших в Педагогическом институте. Личных причин становиться в оппозицию он не имел — ему не делали никаких неприятностей, с ним были внимательны и предупредительны; но его товарищи страдали, и он стал их адвокатом, рискуя быть раздавлен. Он повел дело так благоразумно и твердо, что справедливость жалоб, им представленных, была признана министерством народного просвещения.]

---

\* Епископ нижегородский и арзамасский Иеремия. — *Ред.*

\*\* Антониной, позже вышедшей замуж за М. А. Кострова, который и получил за ней наследственный приход. — *Ред.*

Мы познакомились с Николаем Александровичем летом 1856 года, за год до окончания им курса в Педагогическом институте. Он отдал нам тогда для напечатания в «Современнике» историко-литературную статью о «Собеседнике любителей русского слова» и вскоре потом разбор «Акта Главного педагогического института». Институтское начальство не должно было знать автора этой рецензии, [которого могло погубить,] и она доставила бесчисленные овации тому из сотрудников «Современника», которому была приписана\*. Опасно было бы для Николая Александровича даже и совершенно невинное участие в журнале, поместившем эту убийственную рецензию; потому мы просили Николая Александровича отложить до окончания курса сотрудничество в «Современнике», как ни тяжело было для нас на целый год лишать себя помощи такого товарища. Но с начала 1857 года он стал помещать статьи в педагогическом журнале гг. Чумикова и Паульсона<sup>1</sup> [сношения с которыми не составили бы преступления в глазах институтского начальства, если бы и были узаны им]. По окончании курса, он отправился в Нижний — повидаться с сестрами и отдохнуть. Перед отъездом он отдал нам статью «Несколько слов о воспитании», напечатанную в № 5 «Современника» за 1857 год; тотчас по возвращении в Петербург началось его постоянное сотрудничество в «Современнике» (с № 7 в 1857 году), а скоро (с конца 1857 года) он принял в свое заведывание отдел критики и библиографии в нашем журнале. Ему еще не было 22 лет в это время.

Он работал чрезвычайно много, но не по каким-нибудь внешним побуждениям, а по непреоборимой страсти к деятельности. Едва ли прошло полгода времени между тою порою, как он стал нашим товарищем, и тем временем, когда мы заметили, что его надобно удерживать от работы. С начала 1858 года не проходило ни одного месяца без того, чтобы несколько раз мы настойчиво не убеждали его работать меньше, беречь себя. Он отшучивался, говорил, что напрасно мы думаем, будто он утомляет себя. Впрочем, он был прав: не труд убивал его, — он работал беспримерно легко, — его убивала гражданская скорбь. Иногда обещался он отдохнуть, но никогда не в силах был удержаться от страстного труда. [Да и мог ли он беречь себя? Он чувствовал, что его труды могущественно ускоряют ход нашего развития, и он торопил, торопил время...]

Видя, что он не может дать себе отдыха на родине, и думая, что южный климат поможет ему, мы с зимы 1858—1859 года стали убеждать его ехать за границу. Он не хотел. Но следующей зимою он был уже очень хил. Почти насильно мы заставили его ехать за границу весною 1860 года. Через два-три месяца он уже хотел возвратиться. Он никогда не хотел верить, что его

\* То есть самому Н. Г. Чернышевскому. — *Ред.*

здоровье слабо, изнеможение свое он приписывал мимолетным причинам, влияние которых пройдет само собою. С трудом убедили его остаться на зиму за границею. Он нетерпеливо стремился в Россию работать...

Он возвратился в начале августа нынешнего года, несколько не поправившись в здоровье, и тотчас же по приезде должен был начать лечиться. Тут подошли внешние обстоятельства, ускорившие его смерть.

После изнурительной болезни он тихо скончался в 2 часа 15 минут утра 17 ноября.

Ему было только 25 лет. Но уже 4 года он стоял во главе русской литературы [— нет, не только русской литературы, — во главе всего развития русской мысли.]

Для своей славы он сделал довольно. Для себя ему незачем было жить дольше. Людям такого закала и таких стремлений жизнь не дает ничего, кроме жгучей скорби [но невознаградима его потеря для народа, любовью к которому горел и так рано сгорел он. О, как он любил тебя, народ! До тебя не доходило его слово, но когда ты будешь тем, чем хотел он тебя видеть, ты узнаешь, как много для тебя сделал этот гениальный юноша, лучший из сынов твоих].

Приготовляя к изданию сочинения Николая Александровича Добролюбова, мы здесь помещаем перечень важнейших из статей его, напечатанных в «Современнике».

СТАТЬИ, ПОМЕЩЕННЫЕ В ОТДЕЛЕ КРИТИКИ И  
ВИЗИОГРАФИИ

1856 г.

Акт Педагогического института (№ 9).

1857

Сочинения графа Соллогуба (№ 7).

Стихотворения А. Полежаева (№ 9).

У пристани. Роман графини Ростопчиной (№ 10).

Губернские очерки Щедрина. Том третий (№ 12).

1858

О степени участия народности в развитии русской литературы (по поводу книги г. Милюкова «Очерк истории русской поэзии». — № 2).

Деревенская жизнь помещика в старые годы (по поводу книги С. Аксакова: «Детские годы Багрова-внука». — № 3).

Николай Васильевич Станкевич (по поводу его переписки, изданной П. В. Анненковым. — № 4).

Органическое развитие человека (по поводу книг Шнелля и Бока. — № 5).

Первые годы царствования Петра Великого (по поводу «Истории Петра Великого» г. Устрялова. — Три статьи — №№ 6, 7 и 8).

Стихотворения Ю. Жадовской (№ 6).

Предубеждение, комедия Н. Львова (№ 7).



Мишура, комедия А. Потехина (№ 8).  
Русская цивилизация, сочиненная г. Жеребцовым (по поводу книги г. Жеребцова: *Essai etc.* Две статьи. №№ 10 и 11).  
Буддизм, соч. В. Васильева (№ 11). [Буддизм, соч. Нила, архиепископа Ярославского.]

Стихотворения М. Розенгейма (№ 11).  
Песни Беранже. Перевод В. Курочкина (№ 12).

#### 1859

Литературные мелочи прошлого года. (Две статьи — №№ 1 и 4).  
Утро. Литературный сборник (№ 1).  
О русском государственном цвете, А. Языкова (№ 1).  
Разные сочинения С. Аксакова (№ 2).  
Собрание литературных статей Н. Пирогова (№ 2).  
Что такое обломовщина? (по поводу романа г. Гончарова. — № 5).  
Новый кодекс русской практической мудрости (по поводу книги г. Дыммана: «Наука жизни». — № 6).  
Весна. Литературный сборник (№ 6).  
Основные законы воспитания Н. Миллера-Красовского (№ 6).  
Темное царство (по поводу сочинений г. Островского. — Две статьи. — №№ 7 и 9).  
Стихотворения Я. П. Полонского (№ 7).  
Сватовство Ченского (№ 8).  
Лучи и Тени, сонеты фон-Лизандера (№ 8).  
Краткое историческое обозрение действий Педагогического института (№ 8).  
Русская сатира в век Екатерины (по поводу издания г. Афанасьева: «Русские сатирические журналы». — № 10).  
Пермский сборник (№ 10).  
От Москвы до Лейпцига И. Бабста (№ 11).  
Путешествие на Амур, совершенное Р. Мааком (№ 12).

#### 1860

Повести и рассказы С. Т. Славутинского (№ 2).  
Заграничные прения о положении русского духовенства (по поводу книги: «Русское духовенство». — № 3).  
Накануне. Новая повесть г. Тургенева (№ 3).  
Кобзарь. Тараса Шевченко (№ 3).  
Стихотворения Ивана Никитина (№ 4).  
Стихотворения Подолинского (№ 4).  
Благонамеренность и деятельность (по поводу повестей г. Плещеева. — № 7).  
Перепевы. Стихотворения Обличительного поэта (№ 8).  
Черты для характеристики русского простонародья (по поводу «Рассказов» Марка Вовчка. — № 9).  
Луч света в темном царстве (по поводу драмы г. Островского «Гроза». — № 10).  
La confession d'un poëte, par Nicolas Séménow (№ 12)\*.

#### 1861

Забитые люди (по поводу сочинений г. Ф. Достоевского. — № 9).

Публике известно, что в «Свистке» почти все капитальное принадлежало Николаю Александровичу. Кроме множества мелких статей, он написал в «Свистке»:

\* «Признание поэта». Соч. Николая Семёнова. — *Ред.*

В № 1. (Совр. 1859, № 1)

Письмо из провинции (о протесте против «Иллюстрации»).  
Мотивы современной русской поэзии.

В № 2. (Совр. 1859, № 4)

Наш демон.

Письмо из провинции (о русской гласности).  
Новые образчики русской гласности.

В № 3. (Совр. 1859, № 9)

Краткая история «Свистка» во дни его временного несуществования.  
Материалы для нового сборника «образцовых сочинений» (по поводу статей о «Сельском хозяине»).

Опыты австрийских стихотворений Якова Хама.

В № 4. (Совр. 1860, № 3)

Наука и свистопляска (по поводу диспута о варягах).  
Три стихотворения Конрада Лилленшвагера.  
Примечания к «Дружеской переписке Москвы с Петербургом».

В № 5. (Совр. 1860, № 5)

Оговорка.

Опыт отучения людей от пищи.

Юное дарование (стихотворения Аполлона Капелькина).

В № 6. (Совр. 1860, № 12)

Два графа.

Неаполитанские стихотворения.

В № 7. (Совр. 1861, № 1)

Ода на выселение татар из Крыма.

Из статей, помещенных в других отделах журнала, надобно назвать:

Собеседник любителей русского слова. Две статьи (1856, №№ 8 и 9).

Несколько слов о воспитании (1857, № 5).

Взгляд на историю и современное состояние Ост-Индии (1857, № 9).

По поводу одной очень обыкновенной истории. (1858, № 12).

Роберт Овен (1859, № 1).

О распространении трезвости в России (1859, № 12).

Любопытный пассаж в истории русской словесности (1859, № 12).

Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами (1860, № 1).

Непостижимая странность (из неаполитанской истории) (1860, № 11).

Из Турина. (1861, № 3).

Жизнь и смерть графа Камилло Бензо Кавура. Две статьи (1861, №№ 6 и 7).

Внутреннее обозрение (1861, № 8).

От дождя да в воду (1861, № 8).

Николай Александрович Добролюбов погребен рядом с Виссарионом Григорьевичем Белинским (на Волковом кладбище).

Почитатели памяти этих честных граждан намерены поставить один памятник им обоим вместе.

Портрет Николая Александровича будет вырезан на меди и приложен к «Современнику».

## НЕ НАЧАЛО ЛИ ПЕРЕМЕМЫ?

(Рассказы Н. В. Успенского. Две части. Спб. 1861 г.)

Чем г. Успенский привлек внимание публики, за что он сделался одним из любимцев ее? До сих пор он писал только такие крошечные рассказы, в которых не могло поместиться ни одно из качеств, обыкновенно составляющих репутацию хороших беллетристов. Начать с того, что ни в одной его статейке нет сказочного интереса; да и как в них быть ему, когда из 24 очерков, собранных теперь в отдельном издании, не меньше как двадцать рассказов как будто бы не имеют даже никакого сюжета? Только в четырех можно отыскать что-нибудь похожее на повесть, да и то, какую повесть? — самую незамысловатую и почти всегда недосказанную. «Старуха» рассказывает, как попали в солдаты два ее сына; об одном, еще так себе, рассказывает она по порядку, а об другом не удалось ей поговорить, потому что уснул купец, слушавший ее, и принесла хозяйка постоялого двора бедной старушонке твoroжку и молочка, в ожидании которых болтала она с купцом. В другой пьесе стал мещанин рассказывать о своей покойной жене Грушке, досказал дело до женитьбы, да не случилось ему ничего сообщить, как он жил с Грушкою после свадьбы. В третьем рассказе повел речь г. Успенский о том, в какой гнусной бедности жил студент медицинской академии Брусилов, но не довел речи ни до какой развязки: лежит Брусилов больной в каком-то «углу» комнаты, за столом в которой извозчики считают деньги, за стеною которой пьяный сапожник бьет свое семейство, и над которой во втором этаже идет пляска, — на том и кончено; что же случилось с Брусиловым? Умер, что ли, он или как-нибудь оправился? — Ничего неизвестно. Есть еще рассказец о чудеке Антошке, но и тут ничего не выжмешь, кроме того, что Антошка был мастер на нелепые проказы. Вот вам и все четыре пьески, в которых есть если не что-нибудь целое, то хоть половина чего-нибудь, что стало бы целым, если бы было dokonчено. А в остальных двадцати пьесах не спраши-

вайте и того: это все только маленькие отрывочки, как будто листки, вырванные из чего-нибудь, а из чего — и догадаться нельзя. Описывается, например, как извозчики рассчитывались с хозяином постоялого двора; или как проезжий с огромными усами наделал кутерьму на станции; или как шел праздничный обед у приказчика; или как народ ждал благовеста к заутрени на светлый праздник; или как проезжим юношам не удалось пошалить с смазливою бабенкою, которую посадили они на облучок; или как одна дьяконица приезжала в гости к другой, — и ни в одной из этих отрывочных сцен ровно ничего особенного не описывается, и происшествий никаких нет. Если взглянуть на рассказы г. Успенского с другой стороны, посмотреть, не обрисованы ли в них характеры, нет ли психологических анализов, — и того не находите. Что ж, есть беллетристы, не заботящиеся ни о подборе приключений с занимательными завязками и развязками, ни об обрисовке характеров, ни о психологических тонкостях, но зато действующие на вас или яркою, жгучею тенденциею, или превосходным слогом. У г. Успенского не обнаруживается никакой тенденции, да и пишет он так себе, не заботясь как будто бы ни об остроумии, ни об изяществе. Правда, попадаются у него очень смешные фразы, иной раз случится и целая страница очень забавная; немало у него и коротеньких описаний, очень художественных, — но все это как будто написано у него случайно, а вообще рассказ его идет как попало, без всякого уважения к обязанности вознаградить хотя слогом за бесцеремонность относительно содержания. Что же касается до тенденции, об ней лучше и не спрашивайте: взял человек дватри листа бумаги, набросал на них какой-нибудь разговорец или какое-нибудь описаньице и отдает вам лоскутки этих листов без начала и без конца, совершенно не думая о том, выходит ли какой-нибудь смысл из написанного им. Конечно, у г. Успенского есть талант и большой талант: но что же это за талант, который дает нам все только лоскутки? Если уже говорить об таланте, то не следует ли только бранить его за такие незначительные и небрежные произведения?

Незначительные и небрежные, — оно бы казалось, что следует их считать такими, следует по всем возможным основаниям, во всех возможных отношениях; а на деле выходит не то. Публика считает маленькие пьесы г. Успенского заслуживающими внимания. Отчего же это?

Нам кажется, что причиною тут не одна бесспорная талантливость, — мало ли есть произведений, написанных с талантом и все-таки не возбуждающих ни малейшего участия к себе? Есть у г. Успенского другое качество, очень сильно нравящееся лучшей части публики. Он пишет о народе правду без всяких прикрас.

Давным-давно критика стала замечать, что в повестях и очерках из народного быта и характеры, и обычаи, и понятия сильно идеализируются. Стало быть, нам нечего и доказывать это, когда всем оно известно. Мы лучше поищем причин, по которым не мог отстать от идеализирования народа никто из прежних наших беллетристов, несмотря на советы критики. По нашему мнению, источник непобедимого влечения к прикрашиванию народных нравов и понятий был и похвален, и чрезвычайно печален. Замечали ли вы, какую разницу в суждениях о человеке, которому вы симпатизируете, производит ваше мнение о том, можно ли или нельзя выбиться этому человеку из тяжелого положения, внушающего вам сострадание к нему? Если положение представляется безнадежным, вы толкуете только о том, какие хорошие качества находятся в несчастном, как безвинно он страдает, как злы к нему люди, и так далее. Порицать его самого показалось бы вам напрасною жестокостью, говорить о его недостатках — пошлою бесчувственностью. Ваша речь о нем должна быть панегириком ему — говорить в ином тоне было бы вам совестно. Но совершенно другое дело, когда вы полагаете, что беда, тяготеющая над человеком, может быть отстранена, если захочет он сам и помогут ему близкие к нему по чувству. Тогда вы не распространяетесь о его достоинствах, а беспристрастно вникаете в обстоятельства, от которых происходит его беда. Обыкновенно вы находите, что нужно переменить и ему самому, чтобы изменилась его жизнь; вы замечаете, что напрасно он делал в известных случаях так, а не иначе, что ошибался он относительно многих предметов, что в характере его есть слабости, от которых надобно ему исправляться, что в привычках его есть дурное, которое должен он бросить, что в образе его мыслей есть неосновательность, которую должен он уничтожить более серьезным размышлением. Как бы ни началась ваша речь о таком человеке, незаметно для вас самих переходит она в укоризны ему. А вы, когда действительно желаете ему добра, нимало уже не конфузитесь этим: вы чувствуете, что в суровых ваших словах слышится любовь к нему и что они полезны для него, — гораздо полезнее всяких похвал.

Упоминает ли Гоголь о каких-нибудь недостатках Акакия Акакиевича? Нет, Акакий Акакиевич безусловно прав и хорош; вся беда его приписывается бесчувствию, пошлости, грубости людей, от которых зависит его судьба. Как пошлы, отвратительны сослуживцы Акакия Акакиевича, глумящиеся над его беспомощностью! Как преступно невнимательны его начальники, не вникающие в его бедственное положение, не заботящиеся пособить ему! Акакий Акакиевич страдает и погибает от человеческого жестокосердия. Так, подлецом почел бы себя Гоголь, если бы рассказал нам о нем другим тоном. Но зато рассудите же, можно ли в самом деле пособить Акакию Акакиевичу. Разу-

меется, можно: назначить ему награду побольше обыкновенной, подарить ему шинеленку, когда старая стала слишком плоха. Это можно сделать. Но ведь это и делалось. Ведь начальник назначил ему награду больше той, на которую рассчитывал сам Акакий Акакиевич, и, без сомнения, гораздо больше той, какую в самом деле он заслужил. А сослуживцы хотели устроить подписку для покупки ему шинели. Правда, подписка не состоялась, но только по случайным обстоятельствам, в которых сослуживцы никак не были виноваты, и, может быть, на другой месяц, когда осталась бы у чиновников несколько лишних денег, действительно собрали бы они рублей пять-шесть на починку старой шинели. По крайней мере, желание у них было, и кое что они, вероятно, сделали бы. Да ведь они уж и сделали кое что: разве они не радовались покупке новой шинели? Они сделали больше: они даже пригласили Акакия Акакиевича на вечеринку. Чего же вам еще? Вы скажете, что все эти доброжелательства и милости не спасли Акакия Акакиевича ни от нищеты, ни от унижений, ни от жалкой смерти? — Разумеется, так, — но кто же в этом виноват? Разве было можно кому-нибудь в самом деле улучшить жизнь Акакия Акакиевича? Служа писцом, он получал малое жалованье; так. Что же, можно было дать ему повышение по службе, сделать, например, помощником столоначальника? Помилуйте, ведь начальник даже хотел было сделать это, но Акакий Акакиевич оказался решительно неспособен ни к чему лучшему жалкой должности писца. Он даже сам так думал. Ведь он сам стал просить, чтобы оставили его на прежнем месте. Скажите же, пожалуйста, в ком заключалась причина бедствий и унижений Акакия Акакиевича? В нем самом, только в нем самом. Сослуживцы издевались над ним. Но ведь друг над другом не издевались же они, друг с другом обращались же по-человечески. Ведь в самом деле Акакий Акакиевич был смешной идиот. Начальство давало мало жалованья Акакию Акакиевичу: ему нельзя было давать больше, он не заслуживал того, чтобы ему давали больше, едва ли заслуживал и такого жалованья, какое получал. Значительный человек прикрикнул на Акакия Акакиевича, явившегося просить об отыскании шинели, и прогнал его, но ведь Акакий Акакиевич не сумел ничего объяснить ему путным образом, а все только твердил: «тово... тово... тово...», и потом брякнул вздор, что секретари ненадежный народ, — глупость, совершенно не относившуюся к делу. Скажите же по совести, кто обязан слушать вздор, которого и разобрать нельзя?

Видите ли, теперь, Акакий Акакиевич имел множество недостатков, при которых так и следовало ему жить и умереть, как он жил и умер. Он был круглый невежда и совершенный идиот, ни к чему не способный. Это видно из рассказа о нем, хотя рассказ написан не с тою целью. Зачем же Гоголь прямо не налагает

на эту часть правды об Акакии Акакиевиче, — на эту невыгодную для Акакия Акакиевича часть правды, выставленную нами?

Мы знаем отчего. Говорить всю правду об Акакии Акакиевиче бесполезно и бессовестно, если не может эта правда принести пользы ему, заслуживающему сострадания по своей убогости. Можно говорить об нем только то, что нужно для возбуждения симпатии к нему. Сам для себя он ничего не может сделать, будем же склонять других в его пользу. Но если говорить другим о нем все, что можно бы сказать, их сострадание к нему будет ослабляться знанием его недостатков. Будем же молчать о его недостатках.

Таково было отношение прежних наших писателей к народу. Он являлся перед нами в виде Акакия Акакиевича, о котором можно только сожалеть, который может получать себе пользу только от нашего сострадания. И вот писали о народе точно так, как написал Гоголь об Акакии Акакиевиче. Ни одного слова жесткого или порицающего. Все недостатки прячутся, затушевываются, замазываются. Налегается только на то, что он несчастен, несчастен, несчастен. Посмотрите, как он кроток и безответен, как безропотно переносит он обиды и страдания! Как он должен отказывать себе во всем, на что имеет право человек! Какие у него скромные желания! Какие ничтожные пособия были бы достаточны, чтобы удовлетворить и осчастливить это забитое существо, с таким благоговением смотрящее на нас, столь готовое проникаться беспредельною признательностью к нам за малейшую помощь, за ничтожнейшее внимание, за одно ласковое слово от нас! Читайте повести из народного быта г. Григоровича и г. Тургенева со всеми их подражателями — все это насквозь пропитано запахом «шинели» Акакия Акакиевича.

Прекрасно и благородно, — в особенности благородно до чрезвычайности. Только какая же польза из этого — народу? Для нас польза действительно была, и очень большая. Какое чистое и вкусное наслаждение получали мы от сострадательных впечатлений, сладко щекотавших нашу мысль ощущением нашей способности трогаться, умиляться, сострадать несчастью, проливать над ним слезу, достойную самого Манилова. Мы становились добрее и лучше, — нет, это еще очень сомнительно, становились ли мы добрее и лучше, но мы чувствовали себя очень добрыми и хорошими. Это очень большая приятность, ее можно сравнить только с тем удовольствием, какое получал покойный муж Коробочки от чесания пяток, или, чтобы употребить сравнение более знакомое нам, людям благовоспитанным, мы испытывали то же самое наслаждение, какое доставляет хорошая сигара. Славное было для нас время!

А теперь не то. Являются какие-то мальчишки, — по примеру «Русского вестника» и «Отечественных записок», называющих мальчишками нас, я позволяю себе назвать мальчишкою г. Успен-

ского, который, кстати, и довольно молод в самом деле, — итак, являются мальчишки, вроде г. Успенского, которые чувствуют, — а может быть, и сознательно думают — кто их разберет, — что наши прежние отношения к народу, как будто к невинному в своем злосчастии Акакию Акакиевичу, никуда не годятся; они говорят о народе бог знает что, жестоко оскорбляющее нашу сентиментальную симпатию к нему. Если судить их слова по нашим прежним привычкам, то не видишь в них даже любви к народу, которой мы так гордились, по крайней мере, нет в них никакой снисходительности к нему, и не отыщешь в их рассказах ни одного похвального словечка. Взгляните, например, какие черты выставляет вам в народе г. Успенский.

Вот первый рассказ «Старуха». Один сын ее пошел в солдаты за то, что хотел взять назад свою жену от приказчика, который жил с нею. Какая идеальная история готова рисоваться перед вашею фантазиею, по привычке к прежнему прикрашиванию! Сильная привязанность жены к мужу, изверг-приказчик, насильно отнимающий красоту-жену, вопли жены, страшные сцены ее напрасного сопротивления животному буйству и так далее, и так далее. Нет, у г. Успенского ничего такого не говорится. Сама старуха, мать пропавшего из-за жены сына, рассказывает дело таким образом:

Женили мы его; сыграли это свадьбу; глядь поглядя, примечаем: молодая, жена-то его — красивая была, бог с нею, баба — его не долюбливает и так совсем вот не лыстится. А он, сердечный, был на лицо не совсем гош: оспа, еще когда он был махоньким, всего изуродовала.

Вот как обжились они, Петруша — его звали Петрушей — начал следить за ней: нет ли, дескать, на сердце кручинушки али зазнобушки, не любит ли она кого. Подмечает раз, другой — все нет... и виду никакого... на работе такая же, как и дома. Ну, тем и кончилось, что нет да и нет. Вот раз к нам приходит староста и говорит... дело было летом... Петр Семеныч, говорит — это приказчик, — велел вашей Варваре собираться на барский двор, и муж, говорит, пускай придет с ней. Думаем промежду себя: «зачем это?» У нас о ту пору все были дома: и она и Петруша. Старик говорит: «что ж, сходи, Петруша; за чем-нибудь понадобился: авось он тебя не съест». Петруша надел зипун, собрался это: «ну, говорит, Варвара Борисевна, пойдем, прогуляемся»: шутник был, голубчик мой. А она на него так и зевнула: «да ступай, говорит, лихоманка тебя возьми», и черным словом его... «Ступай один, без тебя дорогу знаю». Старик в это время ковырял лаптенки, сидел на коннике; обидно ему, стало быть, показалось: да как же не обидно? грубая... известно, баба, кормилец. Сидел, сидел, жалко ему стало Петрушу, да и молвил: «когда ты, Варвара, будешь умна, за что всегда зычишь на него? иной бы тебя, говорит, чем ни попада...» и побранил ее. Она не взлюбила: должно, не по нутру... накинута зипун, повязала платок писаный, — она все в писаных ходила, — и хлопнула что ни есть мочи дверью. Старик мой покачал, покачал головою — и только. «Жалко, говорит, Петрушу, смерть — жалко!..» Вот они ушли к приказчику, а мы ждем; помню, я тут качала на обрывке ее мальчика, это невесткина-то: сижу... качь, да качь... Смотрим, приходит он один уже перед вечером.

«Ну, Петрушка, зачем?» — спросили мы. «Да что, говорит, приказчик оставляет Варвару на кухне работницей; ласково так со мною обошелся: «я, говорит, с твоего согласия... если не хочешь, как хочешь: у меня ей бу-



дѣт хорошо: я хошь платы не положу, зато от работы ослобоняется. Известно, когда понадобятся ей деньги, я дам и деньжонок; платок коли куплю». Мы подумали... что же, говорим, отчего не так? хошь одна баба и была в доме, да ведь и при ней-то, подумали мы, не красно было: иногда сердце изнывает, глядячи на ее грубости. «Если ты, Петруша, — это говорит старик, — соглашаешься, так, пожалуй, и мы согласны». — «Отчего же, говорит, не согласиться? Я рад, что ей это по ндраву: почему что, когда мы выходили от приказчика, она на меня: «живи, говорит, Петька, да не тужи», — это она-то ему — и ухмыльнулась... Она его все Петькой называла. «Что ж, ко мне, Варвара Борисевна, часто будешь ходить?» — спросил он ее. Она опять засмеялась, да и сказала: «разя на деревне баб мало, окромя меня?»

Видите, ровно никакого ни насилия, ни притеснения тут не было: Варвара пошла в работницы к приказчику с согласия мужа и его родных. Правда, через несколько времени стали они требовать, чтобы она вернулась жить с мужем, потому что стали в селе смеяться над Петром, Варвару в глаза ему называли приказчицей. Но мы были бы слишком недогадливы, если бы вздумали, что только из этих слухов и насмешек да из подсмотренной братом мужа сцены между приказчиком и Варварой муж ее и его родные узнали об отношениях Варвары к приказчику. Она была баба красивая, приказчик был человек холостой, она мужа не любила, они давно полагали, что у ней есть любовник, — с первого же слова приказчика должно было стать для них понятно, зачем он хочет поселить ее с собой. А если они еще не догадались об этом деле из слов приказчика, чего нельзя думать, то уж никак нельзя было им оставаться в неведении, когда Варвара, отпуская мужа домой, сказала, чтобы вместо нее нашел он себе другую бабу. Однакоже Петр и его семейство долго не огорчались житьем Варвары у приказчика. Из всего видно, что они захотели разорвать связь Варвары с приказчиком только для прекращения сплетен и насмешек, и, если вы не оскорбитесь нашим цинизмом, мы скажем, что они в этом случае были ни на волос не больше достойны сочувствия, чем Фамусов, беспокоящийся только о том, «что будет говорить княгиня Марья Алексевна». Раз отважившись на беспристрастие к этим людям, хотя они и простолюдины, и бедны, и угнетены, мы попробуем вас спросить: сочувствовали бы вы изображенному в повести чиновнику или помещику, который стал бы принуждать возвратиться к нему в дом жену, которая терпеть его не может и отдана за него без согласия? Вы человек гуманный, признаете свободу сердца, защищаете права женщины; наверное вы порицали бы мужа. Не угодно ли же вам судить мужика Петра точно так же, как судили бы вы какого-нибудь советника Владимира Андрейча или уездного предводителя Бориса Петровича. Но не вздумайте говорить, что мужик Петр не читал ни статей об эмансипации, ни романов Жоржа-Занда. Вы видите, что в семействе Петра были достаточно практические понятия об этих вещах, — понятия, до которых не доходила и Жорж-Занд: ведь они не поперечили приказчику, когда

он брал к себе Варвару. Почему не поперечили? Да едва ли не потому, что ожидали от этой полюбовной сделки выгод для себя. Не оскорбитесь циничским предположением нашим относительно их, хотя они и мужики: ведь если бы подобная история рассказывалась вам про светских людей, вас нельзя было бы убедить, что не было тут с их стороны денежного расчета. Забудемте же, кто светский человек, кто купец или мещанин, кто мужик, будемте всех считать просто людьми и судить о каждом по человеческой психологии, не позволяя себе утаивать перед самими собою истину ради мужицкого звания.

Да, кто говорил с простолюдинами запросто, тот знает, как много между ними людей грешных с этой стороны, на которую указывают отношения Петра и его родных к связи приказчика с Варварой. Никак не меньше (мы думаем, что и не больше) между мужиками людей, грешащих такими расчетами, чем в нашем кругу. Живет муж с женою плохо; подвертывается человек сравнительно с ним сильный и богатый, и муж очень спокойно уступает ему свою жену и притворяется, будто бы ничего не знает, пока слишком громкий всеобщий говор не заставит его принять вид оскорбленного и обманутого. Бывает и хуже: иной открыто отвечает насмешникам, что он доволен своим положением. Но такие бесстыжие глаза довольно редки в образованном обществе; редки и между простолюдинами. Зато нередки в образованном обществе — разумеется, нередки и между мужиками — примеры противного: никакими выгодами не обольстится человек на потворство. Мы вовсе не отрицаем подобных случаев в мужицком быту; мы только говорим, что и там, как в нашем кругу, чаще бывает корыстное потворство, в котором принуждены мы были изобличить Петра и его родных.

Да и с чего же вы взяли, в самом деле, что этого нет между мужиками? Или мужики обязаны быть рыцарями благородства и героями честности? Помилуйте, не такие ли же они люди, как и мы с вами? Вы знаете, что в нашем кругу нельзя не быть преобладанию пошлых, корыстолюбивых снисхождений и уступок над исключительными случаями твердого отказа. Вы знаете обстоятельства и отношения, из которых произошла у нас расчетливая безразличность. Семейные дела запутаны, а если и довольно денег, то хочется иметь их побольше, чтобы пожить пошире; жена капризничает; муж имеет кой-какие связишки на стороне; что же тут удивительного, если человек с деньгами или с влиянием купит жену у мужа? Что же, в мужицком быту нет точно таких же обстоятельств? Мужики бедны; с женами часто живут они очень дурно; покровительство сильных людей им нужно. Что должно выходить из этого, — рассудите сами.

Только, пожалуйста, отстаньте, кроме пресной лживости, усиливающейся идеализировать мужиков, еще от одного очень тупоумного приема: подводить всех мужиков под один тип, вроде

того, как сливаются в наших глазах в одну фигуру все китайцы. Китайцы от нас очень далеко; поэтому простиительно нам судить о них обо всех оптом: китаец, дескать, привязан к старине, любит опиум, носит длинную косу и так далее, и разницы, дескать, нет между китайцами. Ни нам, ни им, по отдаленности между нами, нет никакого убытка от этого гуртового способа суждений. Но мужики к нам близки: нам стыдно не замечать разницу между ними, мы имеем с ними дела, потому и нам, и им очень вредно, если мы будем думать и поступать по таким безразличным, гуртовым суждениям о них. Наше общество составляют люди очень различных образов мыслей и чувств. В нем есть люди пошлого взгляда и благородного взгляда, [есть консерваторы и прогрессисты,] есть люди безличные и люди самостоятельные. Все эти разницы находятся и в каждом селе, и в каждой деревне. Мы, по указаниям г. Успенского, говорим только о тех людях мужицкого звания, которые в своем кругу считаются людьми дюжинными, бесцветными, безличными. Каковы бы ни были они (как две капли воды сходные с подобными людьми наших сословий), не заключайте по ним о всем простонародье, не судите по ним о том, к чему способен наш народ, чего он хочет и чего достоин. Инициатива народной деятельности не в них, они, как подобные люди наших сословий, только плывут, куда дует ветер, и поплывут во всякую сторону, в какую подует ветер. Но их изучение все-таки важно, потому что они составляют массу простонародья, как и массу наших сословий. Инициатива не от них; но должно знать их свойства, чтобы знать, какими побуждениями может действовать на них инициатива.

А впрочем, если вы тверды в гуманном принципе, повелевающим считать человеком каждого человека, какого бы там звания ни был он, если вы способны думать о мужике не как о странном по виду и по разговору существе, с которым нет у вас ничего сходного, а просто как о человеке, у которого тоже два глаза, как и у вас, тоже по пяти пальцев на руках, если... но нет, судя по всему, что я читаю в книгах, писанных для вас, судя по всему, что я слышал от вас, — от вас ли, читатель, лично или от ваших друзей, или от людей, похожих на вас и на ваших друзей, — судя по всему этому, я полагаю, что вы рассуждаете подобно дворовой девушке Алене Герасимовне и конторщику Семену Петровичу, которые на «Гулянье» у г. Успенского ведут между собою такую беседу:

— Ну, а что у человека внутри есть, Семен Петрович?

— Внутри-с бывает различно. Это смотря по тому, кто чем питается: иной продовольствуется мякиной, так у него внутри мякина. А у одного сапожника, говорят, даже нашли при вскрытии подошву с лучиной.

— Страсти какие!.. Объясните мне, пожалуйста, что — у штатских и у военных внутри одинаково?

— Ну, насчет этого пункта, Алена Герасимовна, можно вам доложить материю. Во-первых, надобно сказать, ничего одинакового нет.

Конторщик подсел к девке и начал свое объяснение.

Извините, если вы приняли за обиду, что я усомнился в различии ваших мыслей от мнений Алены Герасимовны и Семена Петровича. Такая компания для вас унижительна. Возвращусь же к предположению, от которого готов был отказаться: положим, вы знаете, что «внутри у человека одинаково» и у штатского, и у военного, и у сапожника, и у продовольствующегося мякиной. Так если, говорю я, знаете вы это, вам не нужно много хлопотать об изучении народа, чтобы знать, чего ему нужно и чем можно на него действовать. Предположите, что ему нужно то же самое, что и вам, и вы не ошибетесь. Предположите, что на дюжинных людей в народе действуют те же расчеты и побуждения, какие действуют на дюжинных людей вашего круга, и это будет правда.

Только умейте подводить частные виды одного и того же чувства под общую их сущность, умейте, например, понимать, что стремление получить деньги — одно и то же стремление, будут ли деньги представляться в виде пачки кредитных билетов или в виде двугривенного; умейте понимать, что привычка считать крупной такую сумму денег, которая иному кажется мелка, нисколько не изменяет сущности действий, внушаемых надеждою получить деньги, и опять-таки, умейте понимать, что выслушивать колкости или скучать в неприятном обществе или подставлять шею под материальные толчки кулаком — и улыбаться в надежде получения или в благодарности за получение денег — все это в сущности одно и то же. Если вы твердо знаете это, вас нисколько не обескуражит сцена, которою заканчивается очерк г. Успенского «Проезжий». На станции является господин, не жалеющий своих рук на поучение станционного смотрителя, старосты и ямщиков; требуя поскорее лошадей, он разбивает множество носов, подбивает множество глаз и так далее и, совершив эти подвиги, садится пить водку. Вот лошади готовы. Посмотрите же, чем кончается вся штука.

На крыльце стоит проезжий с полштофом в руках. За ним смотритель, старуха, денщик и мещанин. Из полуотворенного окна высматривает купец. Вокруг крыльца стоят ямщики, в том самом виде, в котором они были в предыдущей сцене, то есть с подвязанными глазами и проч.

Проезжий. Что же, все собрались?

Ямщики (дружно). Все, ваше высококорodie...

Проезжий (наливая водку). Ну-ко... Подходите... (Народ пьет и откланивается, утираясь полами. На дворе время от времени позвякивает колокольчик.) А что, тройка хорошая?

Ямщики. Важная, чудесная, ваше высококорodie...

Проезжий (отдавая полштоф денщику). Ну что же, вы на меня не сердитесь?

Ямщики. За что же, ваше высококорodie!.. Много довольны.

Проезжий. А кто у вас тут запевало? (Ямщики вытаскивают из своей толпы молодого парня с отдутой щекой.)

Проезжий. Ты?

Парень (скромно). Я-с.

Проезжий. Вот вам на всех... (Дает из кошелька монету; ямщики кланяются и говорят благодарность.) Ну, спойте же песню!.. да хорошенько... (Парень, придерживая щеку, как это делают вообще запевалы, начинает; все подхватывают. — Песня раздается.)

Ночь осенняя,  
Молодка моя,  
Молоденькая и т. д.

Съезжает со двора тройка. Колокольчик разливается, отчего ямщики приходят в большой экстаз.

«Какое безнадежное падение народного духа и народной чести!» воскликнет человек, не умеющий приравнивать своеобразные формы проявлений общего свойства в разных сферах жизни: «эти люди сейчас были безвинно перебиты человеком, не имевшим никакого права не только бить их, но и взыскивать с них; и что же? этот человек поит их водкой, дает им несколько денег на водку, и они забывают обиду, остаются довольны, даже благодарны. Такой народ совершенно утратил всякое чувство своих прав, всякое сознание человеческого достоинства; он ни к чему не способен, кроме как быть битым от всякого встречного и поперечного». Спора нет, черта, выставляемая г. Успенским, очень печальна; но выводить из нее слишком отчаянные заключения значит страдать идеализацией. Разберем дело повнимательнее. Во-первых, неужели вы думаете, что побитые ямщики в самом деле не чувствуют ни боли, ни озлобления? Что они не выражают этого чувства, даже поступают наперекор ему, ровно ничего еще не свидетельствует против силы чувства и против возможности и готовности поступить сообразно ему при первом удобном случае. Человек очень горячо выражает свое чувство только пока еще не свыкся с ним; но через несколько времени он перестает жаловаться и суетиться, если жалобы и суеты ни к чему не ведут; он получает хладнокровный вид и даже начинает поступать, как будто бы не имеет чувства, — но ведь это вовсе еще не значит, что оно исчезло в нем. Посмотрите, например, на больных: у кого случился флюс в первый раз, тот бог знает как кричит и мечется; а когда флюс случится с ним в двадцатый раз, он уже не заговаривает сам о своей болезни, даже неохотно отвечает на ваши вопросы о ней, может уже и шутить, и хохотать, — неужели из этого вы заключите, что он не чувствует боли и не имеет желания избавиться от нее? Полноте, такая мысль нелепа. Возьмите другой пример: к вам приехал приятель, с которым не виделись вы несколько лет. Вы с ним обнимаетесь, вы суетитесь, вы поднимаете бог знает какую суматоху в доме, — что ж, это естественно при первом свидании; но, заметьте, только при первом. На другой день вы беседуете с вашим приятелем уже очень смиренно; значит ли это, что вы потеряли привязанность к нему? Так и во всем:

в первые разы, пока дело остается экстренным, чувство, порождаемое делом, обнаруживается экстренными проявлениями; а когда дело вошло в обычный ход жизни, чувство перестает нарушать обычный ход жизни в ее внешних житейских проявлениях; но еще вопрос, не усилилось ли оно от проникновения в самый корень вашей жизни, а ослабеть уже ни в каком случае не ослабеает оно, хотя и стало молчаливее. Ямщик с раздутой щекой подлежит действию совершенно одинакового психологического закона, от чего бы ни вздулась у него щека, — от флюса ли или от кулака: он был бы нелепым психологическим уродом, если бы обычные проявления его внешней жизни нарушились от факта, принадлежащего к обычному ходу ее. Но совершенно другое дело спросить: доволен ли он разными принадлежностями этого обычного хода жизни? Могут сказать: «однакоже, если отношения, производящие искусственное подобие флюса, не нравятся этим людям, зачем не предпринимают они ничего для изменения обстоятельств?» Пусть читатель вспомнит, о каком разряде людей рассказывает нам г. Успенский и рассуждаем мы по его замечкам. Это — люди дюжинные, люди бесцветные, лишённые инициативы; во всех сословиях они одинаково живут день за день, не умея сами взяться ни за что новое и ожидая внешних поводов и возбуждений для того, чтобы действовать в каком бы то ни было смысле. Г-ну Успенскому случилось выставить нам, как пример народных обстоятельств относительно искусственного флюса, дюжинных людей из сословия ямщиков. Посмотрите же, как поступают ямщики и в других делах, в которых, несомненно, нашли бы они выгоду изменить прежний порядок и с охотою изменили бы его. У нас был обычай запрягать лошадей тройкою. Не знаем, как в других местах, а по трактам от Москвы на юго-восток ямщики очень долго сохраняли, в некоторых местностях, быть может, сохраняют и теперь, стремление запрягать вам тройку, хотя бы вы платили прогоны только на пару. «Да зачем же это запрягать лишнюю лошадь, за которую я не плачу?» — спрашиваете, бывало, вы. «Оно, батюшка, так лучше будет». — «Да чем же лучше?» — «Оно лошадам полегче будет». — «Да ведь я один, у меня поклажи не больше пуда, ведь перекладная телега легка». — «Оно так, батюшка, точно, что и на паре легко, а все лучше припрягу третью». Неужели вы думаете, что этот ямщик не жалеет лошадей или расположен оказывать вам большую услугу, чем обязан? Нисколько; он везет вас из рук вон плохо, гораздо тише, чем следует по положению; он жалеет лошадей. Зачем же он гоняет лишнюю лошадь совершенно даром? Просто потому, что так заведено, а дюжинные люди делают только то, что заведено, а масса людей во всяком звании — дюжинные люди. [Нужно было внешнее влияние на них, чтобы они отстали от обычая запрягать тройку вместо пары, хотя каждый из них видел, что обычай этот невыгоден для него.] Точно то же и относительно

обращения ямщиков с проезжим, подвиги которого изобразил г. Успенский. Разбив и разогнав ямщиков, проезжий садится закусывать и старуха несет ему ветчину.

Старуха (с ветчиной). Кабы он меня... Сохрани, господи!

Ямщик (отвернувшись в сторону). Ты с ним не разговаривай... Может, ничего.

Новый проезжий. Аль кто тут дерется?

Ямщик. Нет, мы так... про себя. (Проезжий идет в комнату.)

Прежний купец (высовывается из кухни с расстрепанными волосами). Бабушка! как понесешь туда закуску, захвати мой узелок... Сделай милость.

Старуха (вздыхает). Уж и не знаю!.. (Робко идет в комнату. Со двора у двери выглядывает толпа ямщиков с отдувшимися щеками, подвзанными глазами и проч.)

Толпа. Где он?

Ямщик (в сенях, держась за нос). Уйдите от греха! Бесстрашные!.

Толпа. Мы тогда как раз по конюшням!..

Ямщик. Где ж смотритель?

Толпа. В колоде лежит... (Народ начинает между собою разговаривать; причем кто размахивается, что-то представляя, кто просит товарища посмотреть глаз, поднимая платок, и т. д. На дворе легонько гремят бубенчики. Вскоре раздается крик. Из комнаты выбегает старуха с посудой, проезжий с мешком и мещанин, держась за щеку; раздаются голоса: «Православные! Ваше высокородие!» Толпа бросается вон из сеней, и видно, как в беспорядке бежит по двору: при этом слышится голос: «Прячьтесь!»)

Проезжий (высовывая голову из-за двери и ворочая белками). Подайте мне их сюда!.. (Народ шумит в отдалении. Поддужный колокольчик звякает, и все затихает.)

Почему ямщики разбежались и не придержали бойкого проезжего за руки, на что имели полное право? Просто потому, что так заведено разбежаться и прятаться. Но вот они вновь собираются, подступают к дверям комнаты, в которой сидит их обидчик. Вы думаете, они хотят посчитаться с ним, связать его, представить в суд, вы думаете, они сошлись для восстановления своих незаконно нарушенных прав, для отмщения обид, — нет, это не заведено; они сошлись только по заведенному порядку, что надобно же поглазеть на всякую штуку, надобно, значит, поглазеть и на проезжего, который в первый раз путешествует по их тракту; они с тем собираются, чтобы вновь разбежаться по конюшням при первом его движении, и действительно разбегаются; не скажите, что делают они это под влиянием какого-нибудь чувства, собственно относящегося к этому случаю, не подумайте, например, что главная пружина тут страх или трусость собственно перед этим проезжим, — нет, главная сила тут — обычай, машинальная привычка, «так заведено». Тут действием ямщиков руководит та самая машинальность, по которой ямщик рассуждает с лошадьми, или всегда предпочитает объезд столбовой дороге, хотя бы по объезду дорога была и длиннее, и хуже, или почесывает у себя в затылке, хотя бы вовсе не чесалось, или ездит по весеннему льду до последней минуты, пока лед тронется. — Во всех этих

случаях одинаково управляет отдельным человеком не расчет выгоды или невыгоды, надобности или ненадобности, опасности или безопасности совершаемого им действия в данных обстоятельствах, а машинальная привычка, нечто вроде той силы, которая направляет шаги лунатика. «Так заведено», вот и все.

Кто не привык смотреть на человека во всяком звании просто как на человека, кто разделяет мнение Семена Петровича, что «внутри у человека бывает различно», смотря по его званию, тот опять, пожалуй, скажет, что этою чертою действовать по заведенному порядку народ отличается от нас, образованных людей. Нет, нисколько. И в наших сословиях все дюжинные люди, то есть громаднейшее большинство, поступает точно так же. Например: кто из обычных посетителей какого-нибудь клуба или кружка не жалуется постоянно, что ему там очень скучно, и, однакоже, продолжает постоянно ездить туда; почему же? «Так заведено». Спросите у каждого из нас, дюжинных людей, приносят ли ему хотя малейшее удовольствие те предметы, на которые идет большая часть его денег, приобретаемых обыкновенно или тяжелыми трудами, или неприятными унижениями; нет, удовольствия от этих расходов не получается никакого, они делаются только потому, что так заведено. Впрочем, что же мы начали подробно развивать этот взгляд как будто содержащий в себе что-нибудь новое, требующее доказательств? Ведь все фельетоны и все разговоры наши наполнены рассуждениями о безусловном господстве так называемого «приличия» или «требований приличия» в образованном обществе над всеми действительными чувствами, реальными потребностями, здравыми расчетами и всякими другими соображениями и побуждениями каждого из нас, составляющих массу образованного общества. «Приличие» или «требование приличия» — ведь это только частное выражение общего принципа «так заведено». Если вы заметили это, читатель, нам шутя понадобится доказывать уже не то, что господство принципа «так заведено» сильнее в простонародье, чем в образованном обществе, — надобно будет доказывать то, что в образованном обществе этот принцип господствует не гораздо сильнее, чем в народе. А по нашему взгляду, что человек всякого звания ни больше, ни меньше, как человек, мы думаем, что во всех званиях принцип этот одинаково господствует над дюжинными людьми, то есть огромным большинством людей.

«Так заведено» — это еще не объяснение. Почему же «так заведено?» Войти в подобное объяснение, значит втягиваться в длинную историю. Вероятно, были когда-нибудь достаточные причины устанавливаться такой или другой привычке; вероятно, продолжают эти причины действовать, если она еще не изменилась. Если, например, — но мы говорим это только к примеру, а не для выражения каких-нибудь действительных отношений, — если, например, один человек обижает другого, и другой этот не



жалуется на обидчика, то надобно полагать, что он уверен в бесполезности жалобы или даже опасается от нее новых обид и неприятностей себе. Точно так же, если один человек обижает других, которые сами по себе сильнее его и собственно от него могли бы защищаться, а между тем не защищаются, то надобно полагать, что в случае обороны они возбудили бы против себя другую силу [более могущественную,] что они знают об этом, и что собственно только это знание удерживает их от обороны.

[Мы предположили случаи, встречающиеся во всякие времена везде. Но если мы предположим, что в какой-нибудь стране эти случаи долго составляли сущность всех отношений, то натурально было завестись в этой стране обычаю не защищать своих прав ни собственными средствами, ни законными жалобами. Положительно можно сказать, что каков бы ни был характер чувств или мыслей народа в этой стране, обычною чертою жизни установилась бы в этой стране безответность против обид.]

Если же установился такой обычай, то неудивительно, что обиженный без зазрения совести принимает милости от обидчика с признательностью и, например, готов выражать благодарность и петь песни в удовольствие человеку, только что побившему его, когда обидчик попотчует его водкой. Ведь мы предположили, что нельзя найти правильного удовлетворения за обиду, а попытка отомстить без соблюдения формальностей повела бы только к новым, более тяжелым обидам и бедам. Следовательно, тут человек получает удары как будто бы от роковой силы, от случайных улыбок которой нельзя и отказываться, если нельзя выйти из-под ее влияния. Кто на свете может от чего бы то ни было терпеть больше обид, чем мы, жители Петербурга, получаем от своего климата? Беспреданно бьет нас он дождем и снегом, спит туманом, и нельзя перечесть всех наглых проделок, какие он сочиняет над нами. А все-таки чуть покажет нам он хоть лоскуток чистого неба, бросит нам хоть несколько лучей ясного солнышка, мы с радостным восторгом принимаем от нашего обидчика эти милости и спешим ими пользоваться. Опять я спрашиваю вас: значит ли это, что мы довольны петербургским климатом, что мы в душе примирились или можем когда-нибудь примириться с ним? Значит ли это, что каждый из нас не ждет первой возможности выйти из-под власти этого нашего врага, уехать куда-нибудь на юг или на запад? Мы пустились в метафоры: в собственном смысле слова обид не наносит нам климат, — он только подвергает нас неприятностям, болезненным ощущениям. Вот точно так же только в метафорическом смысле называет обыкновенный язык обидами те удары, которые получили ямщики от проезжего. Удары эти даются не индивидуальной силою проезжего, а неразумною силою вещей; его руки, бьющие по зубам ямщиков, все равно, что ветви дерева, которые также очень больно хлещут вас и по лицу, и по всему,

по чему попало, когда вы проезжаете мимо дерева. Обижаетесь ли вы этими ударами? Нет, они только производят боль. Унижения вам тут нет.

Впрочем, как же не быть унижению? Нет, оно есть: вы унижены тем, что не [успели справиться с этим деревом, обломать его ветвей], сующихся куда им не следует; вы несообразительны и бессильны; от этого, кроме физической боли, есть в вас и досада. Однакож все это — тонкости, которыми не стоит заниматься: простая ли тут боль или вместе с болью есть и унижение. Об этом не стоит рассуждать. Важность только в том, что вы не делаете ничего особенно дурного, когда пользуетесь при случае тенью того же самого дерева, которое хлестнуло вас по лицу; важность еще в том, что если вы как-нибудь воспользовались его тенью, из этого не следует еще заключить, что вам не был неприятен удар его ветви и не чувствуете вы надобности [сломать ее], чтобы не повторяла она над вами такой же проделки.

Мы нашли ближайшую причину той невозможности защитить свои права, которая заставляет дюжинных людей в народе безответно переносить страдания и неприятности, не обнаруживая даже злобы на обидчиков. Но ведь если всмотреться поближе в эту частную и ближайшую причину, она сама требует объяснения. [Понятно, что безответно подчинялся тяжелому и оскорбительному чеченскому порядку обращения русский пленник, уведенный в Гергебиль или Гуниб мюридами Шамиля<sup>1</sup>. Он там был один против сотни, против тысячи людей. А здесь наоборот: обидчик один, обижаемых десятки. От всяких несправедливостей и наглостей страдает масса, а полезны или приятны они только небольшому числу людей. Отчего же за малочисленными обидчиками остается сила, а бесчисленные обижаемые находят себя бессильными?] Понять это поможет нам рассказ г. Успенского «Обоз». В этом маленьком очерке нет ровно никаких особенных происшествий: среди сильной метели кое-как дотащился обоз до постоянного двора; мужики поотогрелись, и один из них позабавил товарищей на сон грядущий анекдотом о том, какие здоровенные лошади были у какого-то неизвестного извозчика; под этот рассказ усталые мужики крепко уснули. Дальше тоже не случилось ничего особенного; но если мы будем сокращать рассказ о том, что было дальше, впечатление факта ослабится и вы не поймете всего смысла его. Предлагаем же вам прочесть внимательно весь следующий довольно длинный отрывок, не перебегая глазами ни через одну строку, хотя на всех строках все одно и то же.

В избе было как во тьме крошечной, все наповал храпело: у иного в горле такие раскаты раздавались, что представлялось, что кто-нибудь во мраке ночи, поджавшись к спящему, умертвил его.

Рано утром, лишь только пропели вторые петухи, кто-то из мужиков сонным голосом крикнул:

— Эй, вставай, рассчитывать пора!

В избе зажгли ночник.

— Что, как погода-то, ребята?

— Не говори, брат!.. такая-то бушует!

— Ах ты, господи! Что делать?

— Как мне быть с своею лошадью-то? Вряд доедет...

Извозчики разбудили хозяина и мало-помалу начали собираться вокруг стола, медленно вытаскивая из-за пазухи кошель, висевшие на шее; иные еще умывались, молились богу и старались не смотреть на садившегося за стол хозяина, потому что расчет для них был невыносим. Один мужик стоял у двери и глядел на икону, намереваясь занести руку на лоб, но хлопанье счетов и хозяйский голос смущали его.

Мещанин, разбуженный мужиками, с проклятьями переселился на нарты, говоря там: чтоб вам померзнуть в дороге; ах, вы, горлодеры!

— Ты сколько с меня положил? — простуженным голосом спросил хозяина извозчик.

— Тридцать копеек.

— Ты копейку должен уступить для меня... Я тебе после сослужу за это... ей-богу...

— А кто это у вас, ребята, вчера рассказывал? — вдруг, смеясь, спросил хозяин.

— Про извозчика-то? — заговорило несколько голосов.

— Да.

— Это вот Иван.

Мужики все несколько ободрились, глядя на усмежавшегося хозяина, и были очень довольны, что он хоть на минуту отвлек их внимание от расчета. Хозяин это сделал для того, чтобы мужики не слишком забивали свою голову утомительными вычислениями, а поскорей рассчитывались.

— Важно, брат, рассказываешь, — сказал хозяин. — С тебя приходится, Егор, сорок две... Нет, у нас был один рассказчик курский... из Курска проезжал, так уморит, бывало, со смеху... Две за хлеб да сорок... сорок две...

— Евдоким! Нет ли у тебя пятака?

— Ну только, — продолжал хозяин, — с чего-то давно перестал ездить... уж и голова был! еще давай гривенник... За тобой ничего не останется.

...Однако мужики поняли, что все-таки надо соображать и следить за расчетом, хотя дворник завел речь о курском рассказчике. Вследствие этого мужики снова приняли мрачный вид, напрягая все свое внимание на вычисления.

— Егор! погляди: это двугривенный али нет?

— Ну-ко... не разберу, парень...

— Подай-ко сюда!

— Смотри, малый!

— Это — фальшивый... у меня их много было...

— Хозяин, ты что за овес кладешь?

— Тридцать серебром. Василий! — сказал хозяин: — ты о чем хлопочешь? Ведь ты с Кондрашкой из одного села?

— Да как же... одной державы... только вот разумом-то мы не измыслим.

— Вы так считайте: положим, щи да квас — сколько составляют? восемь серебра. Эх, писаря! Зачем секут-то вас?

— Известно, секут зачем... Ну, начинай, Кондратий: щи да квас...

— А там овес пойдет...

— Овес после... ты ассигнацию-то вынь: по ней будем смотреть...

— Вы, ребята, ровней кошели-то держите... счет ловчей пойдет...

— Не сбивай!.. Э!.. вот тебе и работа вся; с одного конца счел, с другого забыл.

Через час, после нескольких вразумлений мужикам, хозяин, придерживая одной рукой деньги, другой — счеты, вышел вон из избы, оставив всех мужиков с кошельками на шеях за столом.

— По сколько же он клал за овес?

— А кто его знает... Ты ему гляди в зубы-то: он на тебя то напорет, что заставишь здесь...

— Вот там!.. Чего опасаться? Ты чихверя-то знаешь? Валяй чихверями... Пиши...

Мужики окружили пишущего.

— Это ты что поставил?

— Чихверю...

— Ну? это палка что? щи?

— Нет, квас...

— Какой там? Я пишу, что с хозяина приходится...

— Слушай его!.. Ты, Гаврила, про что давеча мне говорил!

— Да не помнишь, сколько ты у меня взял в Ендове?

— Постой! Я тебе давно говорил, Гаврила, ты восчувствовать должен.

На прошлой станции кто платил? Небойсь, я!

— Ну, ты погоди говорить: сколько за свой товар приказчик дал на всех?

— По гривне.

— Ну, ладно, ты разложи эти гривны здесь на лавке; пойдем сюда к печи...

— Что там делать? А ты мне скажи: ты пил вчера вино?

— Нет.

— Ну, третеводни?

— Нет.

— Ты бога-то, я вижу, забыл...

— Я, брат, бога помню чудесно...

— Нет, ребята, лучше валяй чихверями; мы его живо обработаем!

Нарисуй-ко сперва овес...

— Да что вы с ним толкуете; давайте лучше жеребий кинем...

— Для чего жеребий?

— Разведать: может, кто из нас плурует...

— Так и узнал!.. Тут одно спасенье в чихверях... Наука вострая!

— Андрей! сочти мне, пожалуйста.

— Давай. Ты что брал?

— Сено, да ел вчера убоину...

— Ну? а кашу?

— Нет... не ел... что ж...

— А у тебя всех денег-то сколько?..

— С меня приходилось сперва сорок три... а всех денег, что такое?..

Куда я девал грош-то?

— Ну, ты гляди сюда; что я-то говорю: ты убоину-то ел?

— Да про что ж я говорю: жрал и убоину, пропади она!

— Ну, коли так, дешево положить нельзя.

— Что за оказия! куда ж это грош девался?

— Ребята, будет вам спорить! Бросай и чихверя, и разговоры, пустим все на власть божью!

— Да нынче так пустил, завтра пустил — эдак до Москвы десять раз умрешь с голоду! По крайности — башку понабьешь счетами, а то смерть! Я тебе головой отвечаю: что чихверь — первая вещь на свете!

— Ну, ребята, бросай все!

— Бросай!.. провалиться сй пропадом.

— Как провалиться!.. Эко ты!

— Нет, надо считать!.. Как можно!

— Известно, считать... Ай мы богачи какие?

— Ивлий! не знаешь ли: пять да восемь — сколько?

— Пять да восемь... восемь... восемь... А ты вот что, малый, сделай, поди острьгай лучиночку и наделай клепышков, знаешь...

Мужики в беспорядке ходили по избе, обращаясь друг к другу и придерживая кошелки: кто спорил, кто раскалывал лучину; иные забились в угол, высыпали деньги в подол и твердили про себя, перебирая по пальцам: «первой, другой...» Два мужика у печи сидели друг против друга и говорили:

— Примерно, ты будешь двугривенный, а я — четвертак... этак свободнее соображать.

Один будил на печи лакея, не зная, что делать с своею головою, другой будил мещанина, который закрывался шубой и крепко ругался, покрывая голоса всех мужиков.

Наконец мужики бросили все расчеты и счета и, перекрестившись, съехали со двора. Недоспавший лакей укутался на возу, ни слова не говоря ни с кем.

На улице было темно; метель была пуще, чем вечером: ветер так и силится снять с мужиков армяки. Верстах в пяти от станции, на горе, один мужик крикнул:

— Эй, Егор!.. А ведь я сейчас дознал, что хозяин-то меня обсчитал.

— И меня, парень, тоже; ты рассуди: четверик овса... да я еще в прошлую зиму на нем имел полмеры... вот и выходит...

— А ты что ужинал?

— Да хлеб, квас и щи.

— Нет, ты вот что возьми, — перебил первый мужик, и начался продолжительный спор с разными головоломными соображениями.

Бьюга выла немилосердно, от сильного мороза мужики часто закрывали свои лица полами армяков.

Кажется, если бы г. Успенский написал только эти три-четыре страницы о народе, мы и тогда должны были бы назвать его человеком, которому удалось так глубоко заглянуть в народную жизнь и так ярко выставить перед нами коренную причину ее тяжелого хода, как никому из других беллетристов. Когда вы прочтете эти страницы, вы вспомните, что было кое-что о том же предмете замечено и другими, начиная с знаменитой сцены в «Мертвых душах», когда Чичиков расспрашивает у мужика о дороге в деревню Маниловку. Но то все говорилось мимоходом, и смысл сказанного сглаживался резким выставлением других подробностей народной жизни. А г. Успенский заботливо всмотрелся в эту главную черту и дал нам вдоволь полюбоваться на нее, не отвлекая от нее нашего пристального взгляда ничем другим более разнообразным или живым. Скажите же, не навело на вас тоску то же самое бесконечное толкование наших простолюдинов, напрасно бьющихся над соображением самым простым? Вот сколько часов бьются люди, чтобы сосчитать сумму в какие-нибудь сорок копеек, — сумму, составляющуюся из сложения всего каких-нибудь трех-четырех статей. Господи, как ломают они голову, каких штук не придумывают, чтобы одолеть эту трудность! и просто считают, и мелом рисуют, и на счетах выкладывают, и какими-то чихверями валяют, и все-таки так-таки и отдали деньги и уехали с постоялого двора, не считав, сколько они должны заплатить и правильно ли требует с них хозяин. Целые пять верст уже проехали они в темноте по

сугробам, и наверное целых два часа ехали, и все в размышлениях о неконченном расчете, — тут только, наконец, показалось одному, будто он сообразил свой расчет, но и это чуть ли не было ошибкой: по крайней мере, найденное им решение задачи вышло новые нескончаемые толки.

Правда ли это? Так ли оно действительно бывает? Скажите же после этого, где же прославляемая сметливость русского простолюдина? Только немногие, очень горячо и небестолково любящие народ, поймут, как достало у г. Успенского решимости выставить перед нами эту черту народа без всякого смягчения. Да понимал ли он, что делает? Только в том случае, если не понимал он, и могут простить ему этот отрывок квасные патриоты, разряд которых гораздо обширнее, чем воображают разные господа, подсмеивающиеся над квасными патриотами, а сами принадлежащие к их числу<sup>2</sup>. Ведь г. Успенский выставил нам русского простолюдина простофилю. Обидно, очень обидно это красноречивым панегиристам русского ума, — глубокого и быстрого народного смысла. Обидно оно, это так, а все-таки объясняет нам ход народной жизни, и, к величайшей досаде нашей, ничем другим нельзя объяснить эту жизнь, кроме тупой нескладицы в народных мыслях. Если сказано «простофиля», вся его жизнь понятна:

Я в другую: мужик! хорошо ли ешь, пьешь?  
Холодно, родименький, холодно!  
Холодно, странничек, холодно,

Я в деревню: мужик! ты тепло ли живешь?  
Голодно, странничек, голодно,  
Голодно, родименький, голодно!

Уж я в третью: мужик! что ты бабу бьешь?  
С холоду, странничек, с холоду,  
С холоду, родименький, с холоду!

Я в четверту: мужик! что в кабаке ты идешь?  
С голоду, странничек, с голоду.  
С голоду, родименький, с голоду!<sup>3</sup>

Жалкие ответы, слова нет, но глупые ответы. «Я живу холодно, холодно». — А разве не можешь ты жить тепло? Разве нельзя быть избе теплою? — «Я живу голодно, голодно». — Да разве нельзя тебе жить сытно, разве плоха земля, если ты живешь на черноземе, или мало земли вокруг тебя, если она не чернозем, — чего же ты смотришь? — «Жену я бью, потому что рассержен холодом». — Да разве жена в этом виновата? — «Я в кабаке иду с голоду». — Разве тебя накормят в кабаке? Ответы твои понятны только тогда, когда тебя признать простофилю. Не так следует жить и не так следует отвечать, если ты не глуп.

Но только вы не забудьте, что мы видим в русском мужике

не особенное существо, у которого «внутри нет ничего одинакового» с другими людьми, а видим в нем просто человека, и если находим какое-нибудь качество в дюжинных людях русского мужицкого сословия, изображаемых у г. Успенского, то в этом же самом качестве мы готовы уличить и огромное большинство людей всякого сословия, — быть может, и мы с вами, читатель, не составляем исключения. Исключений мало. [Правда, в них-то и вся важность, от них-то только и пошло все немногое хорошее, что есть в нашей жизни, и от них только будет улучшаться она.] Теперь, вслед за г. Успенским, мы ведем речь не об этих исключениях, а о людях дюжинных, об огромном большинстве людей.

Русскому мужику трудно связать в голове дельным образом две дельные мысли, он бесконечно ломает голову над пустяками, которые ясны, как дважды два — четыре; его ум слишком неповоротлив, рутинна засела в его мысль так крепко, что не дает никуда двинуться, — это так; но какой же мужик превосходит нашего быстротою понимания? О немецком поселянине все говорят то же самое, о французском — то же, английский едва ли не стоит еще ниже их. Французские поселяне заслужили всесветную репутацию [тем, что их тупою силою были задуманы все зародыши стремлений к лучшему, являвшиеся в последнее время во Франции]. Итальянские поселяне прославились совершенным равнодушием к итальянскому делу. [Немецкие мужики в 1848 году почти повсеместно объявляли, что не хотят никаких перемен в нынешнем положении Германии. Английские поселяне составляют незыблемую опору торийской партии.] Но что же говорить о каких бы то ни было поселянах, ведь они невежды, им натурально играть в истории дикую роль, когда они не вышли из того исторического периода, от которого сохранились гомеровы поэмы, «Эдда» и наши богатырские песни. Посмотрите на другие сословия. В какой кружок людей ни взойдите, вы не растолкуете большинству их ничего превышающего круг их рутинных понятий; вы в бог знает сколько времени не научите их сочетать правильным порядком хотя эти привычные им понятия. После каждого спора спросите у кого хотите из споривших, умные ли вещи говорили его противники и понятливы ли, восприимчивы ли были они к его мыслям. Из тысячи случаев только в одном скажет вам человек, что против его мнений говорили умно, с толком. Значит, в остальных случаях непременно одно из двух: или действительно бестолковы люди, с которыми спорил спрошенный человек, или сам он бестолков. А ведь эта дилемма захватывает всю тысячу, за исключением одного.

Но не забудьте, о чем мы говорим: мы говорим о том, хорошо ли идет жизнь и умеют ли люди скоро сообразить, отчего она идет дурно и чем можно поправить ее; скоро ли и легко ли растолкуешь им это, если сам понимаешь, или скоро ли поймешь где-нибудь дельное толкование, если еще не понимаешь. Вот

только об этом мы говорим; только тут люди оказываются чрезвычайно несообразительны, просто сказать, тупоумны. А в рутинных делах — помилюйте, — почти все они очень понятливы, чуть не гениальны; быть может, не всегда рассудительны в поступках, — что ж делать, человеческая слабость, — но в мыслях чрезвычайно бойки. Интрижку ли устроить, отговорку ли какую придумать, намолоть ли три короба чепухи по какому-нибудь расчету, — на это мастер почти каждый, кто хоть сколько-нибудь пообтерся в жизни. Но ведь в этих делах и всякий мужик, в том числе и наш русский мужик, никому не уступит сообразительностью, изворотливостью, живостью и быстротой мысли. Торгуется он, например, так, что иной сиделец может ему позавидовать, — обмануть вас, он так искусно обманет, что после только подивитесь, и вы не заблуждайтесь, не сочтите за доказательство противного ту нелепую, тупоумную бессчетность, какую обнаружили ямщики г. Успенского в расчете с хозяином постоялого двора. Это случай, в котором рутина показывает напрасность всяких усилий проверить счет хозяина. Считаю, не считай, все-таки надобно отдать, сколько он требует. Вы сами бываете точно в таком же глупом положении при всяком выезде из гостиницы. Бог знает чего не напишут вам в счет, каких диких прибавок не набьют туда и каких несообразных цен не выставят. Считайте вы или не считайте, уличайте плутни или не уличайте, спорьте против них или не спорьте, все равно вы заплатите сполна по счету, фальшивость которого очевидна. После этого какая же, собственно, польза считать и проверять? Но вы все-таки делаете это — просто по рутине, говорящей людям вашего сословия, что они должны выражать неудовольствие на содержателей гостиниц, бранить их при расплате, даже делать им не совсем приличные для вас самих сцены. Умна ли эта рутина сердиться, горячиться и не предпринимать ничего для устранения плутовства? У мужиков другая рутина: у них прямо сидит в голове мысль, что хозяина постоялого двора не переспоришь, и что поэтому проверять его счет или считать самому — дело напрасное; вот только поэтому так и тупоумны мужики в расчете; они сами чувствуют, что занимаются пустяками; рутина сложилась у них в такую форму: толку в этих счетах нет и не добьешься до него. Вы видите, что они точно так и делают: начнут считать и тотчас же бросят; опять начнут и опять бросят.

Рутина господствует над обыкновенным ходом жизни дюжинных людей и в простом народе, как во всех других сословиях, и в простом народе рутина точно так же тупа, пошла, как во всех других сословиях. Заслуга г. Успенского состоит в том, что он отважился без всяких утаек и прикрас изобразить нам рутинные мысли и поступки, чувства и обычаи простолюдинов. Картина выходит вовсе непривлекательная: на каждом шагу вздор и грязь, мелочность и тупость.



Но не спешите выводить из этого никаких заключений о состоятельности или несостоятельности ваших надежд, если вы желаете улучшения судьбы народа, или ваших опасений, если вы до сих пор находили себе интерес в народной тупости и вялости. Возьмите самого дюжинного, самого бесцветного, слабохарактерного, пошлого человека: как бы апатично и мелочно ни шла его жизнь, бывают в ней минуты совершенно другого оттенка, минуты энергических усилий, отважных решений. То же самое встречается и в истории каждого народа. Мы говорили, например, что французские поселяне могут быть характеризованы почти теми же чертами, как наши или всякие другие; а разве не было во французской истории эпох, когда они действовали очень энергически? То же случилось и с немецкими поселянами. Разумеется, после таких оживленных действий масса народа снова впадает в прежнюю пошлую апатию, как впадает в нее и всякий дюжинный человек после каждого чрезвычайного усилия. Но совершившийся факт все-таки производит перемену в отношениях. Например, увлекся пошлый человек, повенчался на девушке без приданого, хотя постоянно думает только о денежных выгодах; через несколько дней вспышка прошла и опять он стал попрежнему пошл, — а дело сделано, и он видит себя женатым и вернуться к прошлой жизни уже никак ему нельзя. Заметьте, мы не говорим о том, лучше или хуже стало жить ему или кому-нибудь другому от перемены, — это как случится, — мы говорим только, что жизнь его изменилась. Точно так же и одушевление массы не всегда приводит к лучшему, — это как случится: иной раз бывает удачен, иной раз — нет. Например, одушевление, которым увлеклись было немецкие поселяне в начале XVI столетия, когда вслед за Лютером явился Фома Мюнцер, не привело их ни к чему хорошему: говорят даже, будто их положение стало хуже прежнего, чему мы, впрочем, не верим, потому что хуже прежнего едва ли могло что-нибудь быть. Но бывали случаи, о которых даже и мы не сомневаемся, что они привели к худшему. Таков, например, был результат чешского движения, которым началась междоусобная война, называемая тридцатилетней<sup>4</sup>. Чехам стало гораздо хуже, чем было прежде. Разумеется, этот шанс возможен только тогда, когда прежнее положение не безусловно дурно. О случаях удачи мы не говорим, во-первых, потому, что их во всеобщей истории довольно мало, а во-вторых, потому, что они и без нас памятливы каждому.

Странная вещь история. Когда совершится какой-нибудь эпизод ее, видно бывает каждому, что иначе и не мог он развиваться, как тою развязкою, какую имел. Так очевидно и просто представляется отношение, в котором находились противоположные силы в начале этого эпизода, что нельзя было, кажется, не предвидеть с самого начала, к чему приведет их столкновение, а пока дело только приближается, ничего не умеешь сказать

наверное. Угадайте, например, каков будет успех приближающегося столкновения между австрийскими и венгерскими силами; угадайте, на чьей стороне тут будут кроаты, — думаешь так, думаешь этак: и то, и другое может случиться. Наверное можешь предсказывать только то, что мирным порядком не развяжется австрийско-венгерское дело <sup>5</sup>. Да и в этом опять сколько есть неизвестного: когда начнется эта передышка, по какому поводу, — кто знает? Может быть, нынешнее положение протянется еще долго, — ведь тянулось же оно до сих пор, хотя почти все были уверены, что прошлой весны оно не переживет. А может быть, и не протянется оно так долго, как кажется вероятным. Ведь нельзя же было, например, в марте прошлого года ожидать, что в сентябре Сицилия или Неаполь будут уже в положении совершенно новом <sup>6</sup>.

Мы обратились ко всеобщей истории затем, чтобы была хотя одна страница несколько солидного содержания в нашей статье, наполненной обыденными дрязгами. Но мы вперед соглашаемся, что сделали эту вставку совершенно некстати и что она не имеет ровно ничего общего с рассказами г. Успенского, главным предметом которых служат совершенно вздорные вещи, вроде следующего отрывка из рассказа «Ночь под светлый день».

Часов восемь вечера, сельская улица наполнена народом. Во всех окнах светятся огни. Около слобод поповской и дворовой толпятся мужики, дворники, приказчики, лакеи. Где просятя ночевать, поздравляют с праздником; где предлагают услуги, расспрашивают о здоровье и проч.

— Наше почтение Савелью Игнатьевичу. С наступающим праздником имею честь поздравить.

— Многолетнего здравия, Петр Акимович, Лукерья Филипповна!.. Авдотья Герасимовна!.. Что? и вы к заутрене жалуете?

— Да-с; и мы...

— Дело... Вот и я с супругой тоже. Нельзя. Вся причина — праздник обширный... смешно будет не итти.

— Не знаете ли, Савелий Игнатьич, где бы мне переночевать с семейством?

— Право-слово, не знаю. Мы с супругой у отца дьякона. Да вы попробуйте, спросите вон в кабаке: теперь там просторно...

— Как можно!..

— Ей-богу! Да что ж вы думаете? Да мы с супругой, я вам скажу, раз в конюшне ночевали...

Кто-то ведет в темноте даму.

— Ко мне, ко мне, Марья Павловна, пожалуйте. Сюда. Лужицу-то пересигните...

— Куда это?

— Прямо! Валяйте!

— Сигать?

— Сигайте...

— Темь какая, господи... У-у-ух! Ну!..

— Что, втесались?

— Втесалась.

— Да где ты, Настя? — кричит какая-то женщина.

— Я? вот...

— Иди скорей. Пойдем. Или ты не видишь, повсюду лакеи шляются? Как же можно одной?

— Он, маменька, ничёго...

— Кто?

— Лакей... барский. Он только говорит: христос воскрес!

— А ты!

— А я говорю, воистину...

— Ну и дура за это... вот тебе и сказ!

— Здравствуйте, Наум Федотыч. Куда это вы так торопитесь?

— Здравствуйте, сударыня.

— Как поживаете?

— Да что, матушка, забыл дома яйца.

В дьячковском доме при свете ночников хозяйка с засученными рукавами переваливает с боку на бок на столе тесто. Ее крошечный сынишка, весь в муке, стоит на полу и смотрит на нее, чего-то ожидая.

— Рано, голубчик, — говорит дьячиха. — Ни свет, ни заря... бог ушко отрежет.

Мальчик кладет в рот палец.

Дьячку, сидящему за церковной книгой и тихонько напевающему: «тебе на водах», дочь заплетает косу.

Или вот вроде следующих страниц из рассказа «Гулянье», которым мы уже попользовались в рассуждении вопроса, у «всех ли людей внутри одинаково».

Между толпами народа видно и конторщика, идущего бодро и важно с выпущенными из-под жилетки длинными концами шейного платка. Он по-минуту охорашивается и, видимо, хочет отделаться от пьяницы садовника, который бредет за ним в двух шагах, стараясь о чем-то заговорить с ним. Конторщик спешит присоединиться к дворовым девкам.

— А что, сударыни, — раздается мягкий голос лакея в куче дворовых девок: — вы песни петь сегодня будете?

— С чего вы взяли? Вот выдумали! хи-хи-хи.

— Нисколько я не выдумал. Естество свое возьмет навсегда.

— Ведь какие горделивые! — восклицает другой лакей, идя позади девок.

— Семен Петрович, — слышится унылый голос садовника: — а я раков твоих попытаю.

— Я тебе сказал: отстань, отвяжись. Чорт тебя возьми совсем с раками! Ты меня осрамил.

— О-ох!..

По мере удаления лакеев голоса их становятся слабее.

— Харлам Гаврилыч, Харлаша, — кричит один из мужиков, обнявшись с своим товарищем. — Я тебе расскажу про все. Она баба расейская. А насчет наук ты не хвались. Теперича, что поляк, что лихляндец, что швед — все едино: к примеру, вот мы с тобой идем, все ничего. Вдруг навстречу город али деревня.

— Нет, ты сам не знаешь, что говоришь. Верно, мало слышал про Лихляндию. Пономарев Сенька — лихач на эвти шуки. Скажет: стой, солнце, не шевелись, земля, хоть примерно Россия аль Лихляндия.

— Так.

Мужики удаляются.

Проходят два мещанина. Один из них говорит другому:

— То есть я, батюшка мой, простудил себя, одно слово, квасом. Квасом простудил, так простудил, — смерть. Ребята взяли наварили кулешу с ветчиной да еще на дорогу мне положили поросенка, значит, все свиное. Я и поел, сударь мой, так поел, хоть околевай, так то ж.

— Гм... И накушались?

— И натрескался, Петр Афанасьевич.

Выступают две бабы. Они говорят о своих знакомых и родных. Одна другую уверяет, на минуту приостановившись:

— О! она тебя помнит... как не помнить... и-и-и... А уж кум-то, кум-то! Бог его знает, что за человек такой... Ей-богу... умный. А сноха-то давеча — тресть его по голове! и-их! право слово.

Или вот следующие страницы из рассказа «На пути».

У крыльца волостного правления вокруг запыленного тарантаса стояли мужики и бабы. Они держали в руках податные книжки, подлежащие рассмотрению приехавшего с ревизией чиновника особых поручений. От нечего делать шел разговор:

— Что, война будет?

— Нет, не будет, — говорил солдат, прислонясь к стене и покуривая трубку.

— Отчего же?

— Да с кем воевать-то? Разве с черкесом? Но уж Шмеля забрали...

— А с китайцем? — спрашивал мужик.

— Китаец не пойдет... робок...

— Ну, с англичанином...

— Этот слаб, не плошь итальянца...

— А француз?

— Француз не согласится, потому наши у него дитё кстиди...

Мужик замолчал, придумывая, на кого бы еще указать?

Солдат плюнул и добавил:

— Нет, войны не будет...

В волостном правлении за столом сидел чиновник. Пред ним стояло одетое в форменное платье сельское начальство: голова, старшина, писарь, староста, десятский, сотский, тысячный, выборный, полицейские, добросовестный и смотритель магазина.

Правление разделялось на две комнаты: в одной стояли два шкапа, называвшиеся архивами; в другой — стол, покрытый сукном, за которым сидел чиновник; окованный железом сундук с общественною суммою; станок для измерения рекрутов; стеклянная ваза с золотой надписью: «роковая урна». По стенам были развешаны объявления, наставления, табели, реестры, оклады податей и проч.

Чиновник, весь в пыли, взъерошив волосы, держал в руках печатный лист и спрашивал по нем писаря, у которого по лицу текли ручьи пота. Видно было, что ревизия продолжалась давно; все сельское начальство, переступая с ноги на ногу, тяжело дышало и бессознательно глядело на чиновника.

— Не проживают ли в вашем обществе беспаспортные, беглые, дезертиры и жиды? — говорил ревизор.

— Не проживают, — машинально отвечал писарь.

— На основании каких данных и по каждому ли селению записаны поборы и урожай?

— По каждому.

— На основании каких данных?

Писарь молчал.

Чиновник отдулся, вытер платком лицо и попросил голову объяснить писарю слово «данных». Голова раз пять кашлянула и занес такую околесицу, что чиновник приказал ему замолчать.

— Имеются ли выписки из люстрационных инвентарей или сокращенные люстрационные инвентари и копии с планов с геометрическими инвентарями имений, входящих в состав общества; в исправности ли они, и отмечаются ли в инвентарях последовавшие перемены?

— Все в порядке, — промолвил писарь.

— Отправляются ли в уездный суд дела о проступках, если по свойству проступка востребует взыскание более трех рублей, или более семидневного срока, или более предоставленного сельским судебным уставом расправе наказания розгами шестьюдесятью ударами?

— Все исполняется, — сказал писарь.

— Вы поняли, что я спрашиваю? — обратился ревизор к начальникам, которые вдруг как будто проснулись и начали оправлять свои волосы.

— Поняли... — вполголоса отвечал писарь.

— Не разбирает ли расправа тяжб поселян об имуществе, на которое право основано на крепостных и других актах, или когда спорное имущество стоимостью более пятнадцати рублей, а спорящие не согласятся тяжбу свою кончить примирением, а также если подлежащие суду живут в других местах и городах или происходят от других сословий, и отправляются ли расправую поступившие к ней дела подобного рода в уездный суд?

Писарь молчал.

— Ты понял, что я говорю?

Писарь блуждал глазами по комнате, наконец, сказал:

— Поняли...

Чиновник перевел дух и спросил лошадей. Сельское начальство бросилось вон из правления. Чиновник набил себе трубку и стал перелистывать дела, говоря: «вот тут и твори волю пославшего...» Вскоре он стоял на крыльце и пересматривал податные книжки. Наконец он спрашивал мужиков:

— Довольны ли вы своим начальством?

— Довольны, — сказал один голос.

— Да вы, ребята, скорей отвечайте: мне еще ревизовать десять волостных правлений. Ходите ли в церковь?

— Ходим.

— Любите ли друг друга?

— Любим.

— Прививаете ли оспу детям?

Сделавши еще несколько вопросов, чиновник заключил:

— Вообще, миряне, если вы чем недовольны, скажите; я жалоб не разбираю, но могу донести палате...

Народ молчал.

Чиновник сел в тарантас и отправился.

Сельское начальство и мужики с бабами пошли домой.

Зачем привели мы эти выписки, совершенно не идущие к делу? Просто потому, что увидели, что статья подходит к концу, а выписок из разбираемой книги сделано еще мало. Вот мы и отметили несколько страниц из нее. Нужды нет, что они не имеют связи ни с предыдущим, ни с последующим, — пусть себе стоят, куда случилось им попасть. Сделав этот дивертисмент, займемся прежним рассуждением.

Мы остановились на том, что в жизни каждого дюжинного человека бывают минуты, когда нельзя его узнать, так он изменяется или порывом благородного чувства, или мимолетным влиянием чрезвычайных обстоятельств, или просто наконец тем, что не может же навек хватить ему силы холодно держаться в неприятном положении. Это все равно, что смиренная лошадь (если позволите такое сравнение). Ездит, ездит лошадь смиренно и благоразумно — и вдруг встанет на дыбы или заржет и понесет; отчего это с ней приключилось, кто ее разберет: быть может, укусил ее овод, быть может, она испугалась чего-нибудь, быть может, кучер как-нибудь неловко передернул вожжами. Разумеется, эта экстренная деятельность смиренной лошади протянется недолго: через пять минут она останавливается и как-то странно смотрит по сторонам, как будто стыдясь за свою выходку. Но все-

таки без нескольких таких выходов не обойдется смиренная деятельность самой кроткой лошади. Будет ли какой-нибудь прок из такой выходки, или принесет она только вред, это зависит от того, даст ли ей направление искусная и сильная рука. Если вожжи схвачены такою рукой, лошадь в пять минут своей горячности передвинет вас (и себя, разумеется) так далеко вперед, что в целый час не подвинуться бы на такое пространство мерным, тихим шагом. Но если не будет сообщено надлежащее направление порыву, результатом его останутся только переломленные оглобли и усталость самой лошади.

Чтобы не заблудились мы относительно приложений, какие мы имеем в виду, укажем достославный пример из отечественной истории, именно незабвенный 1812 год, когда были такие удивительные морозы.

Мы читаем у нелюбимого г. Устрялова и правдивого покойного Михайловского-Данилевского<sup>7</sup>, что в этом году весь русский народ одушевился необыкновенным патриотическим энтузиазмом. Мудрыми руководителями, по свидетельству тех же историков, было дано этому энтузиазму самое приятное и прекрасное удовлетворение: были сделаны наборы в солдаты и в милицию, так что каждый горевший охотою защищать отечество, находил себе готовое место в стройных рядах войска. Благодаря этому Россия достигла великих военных успехов, русские вошли в Париж или, по поэтическому перечню нашего барда Жуковского, произошли следующие события:

Бой московский, взрыв кремлевский  
И в Париже русский штык<sup>8</sup>.

От этого Россия возвысилась до такого грозного могущества, о котором никто не мог и мечтать прежде. Вот пример великих прекрасных результатов, совершаемых народным одушевлением при надлежащем его направлении. Представим же себе противоположный случай: вообразим, что в 1812 году русский народ был действительно проникнут воинственным энтузиазмом, как утверждают наши почтенные вышеупомянутые историки, но что войны не произошло, и надлежащего выхода энтузиазму не нашлось, что едва Наполеон перешел Неман, как ему предложили мир на каких ему было угодно условиях. Что было бы в этом случае? Поднялся бы ропот и произошло бы взаимные неприятности между самими русскими, потому что возбужденное чувство, не имея возможности устремиться к правильной цели, выразилось бы горячими действиями для достижения целей неправильных.

Читатель замечает, что мы рассуждаем по прежнему нашему правилу в гипотетическом духе. Мы не утверждаем, что было одушевление; мы только говорим, каков должен был оказываться результат его в том или другом случае, если оно действительно

было; но опять-таки читатель не заключит из этого, что мы отрицаем существование в ту эпоху того одушевления, по предположению которого рассуждали. Мы не историки, мы сами не можем решить этого, но как нам не верить свидетельству таких историков, как г. Устрялов и г. Михайловский-Данилевский?

Пусть другие, более нас ученые люди оценивают по достоинству их заслуги исторической истине; мы же выразим здесь нашу признательность им за то, что их красноречивые труды указали нам в жизни русского народа эпоху одушевления\*.

Следовательно, невозможного ничего нет, или, по выражению старинного поэта:

Ничто не ново под луною:  
Что было, есть и будет впредь.

Если же будущее есть только повторение прошедшего, то прошедшие обстоятельства могут повторяться в будущем. Мы хотим сказать, что если полчища дванадцяти язык, влекомые кичливыми галлами, снова устремятся на Москву, то явится через несколько лет после того новый г. Ф. Глинка, который воспоет:

Ты, как мученик, горела,  
Белокаменная,  
И река в тебе кипела  
Бурнопламенная.

Но едва ли мы не слишком уже заговорились, одушевившись поэтическими воспоминаниями, и едва ли не облеклась в слишком поэтическую ахинею та прозаическая мысль, которую начали было мы развивать и которая состояла лишь в том, что минуты одушевления возможны в жизни массы, обыкновенно занятой самыми мелкими и пошлыми обыденными дрязгами, как возможны они в жизни самого дюжинного человека. Нужды нет, что вы видите вокруг себя только пошлость и мелочность, апатизм и трусость, нужды нет, что только это видите вы ныне: день на день не приходится. Однакоже мы напичкали в середину своей статьи столько разной поэзии, что с трудом вспомнит теперь читатель, о чем говорилось в начале статьи. Будем припоминать по порядку.

Однакоже не лучше ли будет нам остановиться на этом и для заключения статьи припомнить кое-какие из мыслей, внушенные нам книгою г. Успенского. Мы заметили радикальную разницу между характером рассказов о простонародном быте у г. Успенского и у его предшественников. Те идеализировали мужицкий быт, изображали нам простолюдинов такими благородными, возвышенными, добродетельными, кроткими и умными, терпели-

\* Чернышевский в другом месте так говорит о значении войны 1812 года: «война 1812 года была спасительна для русского народа» (см. т. III нашего издания, стр. 208, подстроч. Примеч.) — *Ред.*

выми и энергическими, что оставалось только умиляться над описаниями их интересных достоинств и проливать нежные слезы о неприятностях, которым подвергались иногда такие милые существа, и подвергались всегда без всякой вины или даже причины в самих себе. Нам вспоминается анекдот, слышанный от одного из даровитейших наших беллетристов, знаменитого мастерством рассказывать анекдоты. Мы надеемся, он не посетует на нас за то, что мы воспользуемся этою его разговорною собственностью. Анекдот начинается с того, что в будуар жены входит муж, человек, занимающий очень почетное положение в обществе и знаменитый своею любовью к народу, — любовью, которую умел он перелить и в нежное сердце своей прекрасной супруги. Он застаёт пышную красавицу в горьких слезах над развернутою книжкою русского журнала. «Душенька, о чем ты так расплакалась?» — «А, боже мой...» — голос жены прерывается от рыданий. «Душенька, да что же такое, скажи ради бога?» — «Боже мой! какие несчастные...» и опять голос прерывается от рыданий. «Ангел, мой! успокойся... что такое?» — «Несчастные мужики, ах какие несчастные! Здесь написано, что они не пьют кофе!..» Нам представляется, что сострадательная дама читала одну из тех прекрасных повестей, в которых так интересно изображался простонародный быт.

Книгу г. Успенского наверное отбросила бы она с негодованием на автора, рассказывающего о наших мужичках такие грязные пошлости. Очерки г. Успенского производят тяжелое впечатление на того, кто не вдумается в причину разницы тона у него и у прежних писателей. Но, вдумавшись в дело, чувствуешь, что очерки г. Успенского — очень хороший признак. Мы замечали, что решимость г. Успенского описывать народ в столь мало лестном для народа духе свидетельствует о значительной перемене в обстоятельствах, о большой разности нынешних времен от недавней поры, когда ни у кого не поднялась бы рука изобличать народ. Мы замечали, что резко говорить о недостатках известного человека или класса, находящегося в дурном положении, можно только тогда, когда дурное положение представляется продолжающимся только по его собственной вине и для своего улучшения нуждается только в его собственном желании изменить свою судьбу. В этом смысле надобно назвать очень отрадным явлением рассказы г. Успенского, в содержании которых нет ничего отрадного.

[Заканчивая этим отзывом разбор книги г. Успенского, мы предадимся теперь отвлеченным психологическим размышлениям, которые, конечно, будут иметь очень мало связи с рассказами г. Успенского, а с жизнью русского народа не будут уже иметь никакой связи.

Если мы будем наблюдать причины перемен, происходящих в образе мыслей и поступков у дюжинных людей, лишенных вну-



тренней инициативы, мы найдем, что эти причины подводятся под два главные разряда.

К первому разряду относятся бессознательные и, можно сказать, бесцельные побуждения, проистекающие из ограниченности человеческого терпения, которое, подобно всем другим свойствам человеческой природы, никак не может считаться бесконечным. Замечательнейший психологический факт этого рода представляют машинальные действия человека, погруженного в глубокий сон. С каждым из нас часто бывает, что, заснув на правом боку, он просыпается лежащим уже на левом боку, или наоборот. Какие причины заставили его повернуться с одного бока на другой, он не знает; не знал и того, что повертывается, когда повертывался, и заметил это уже гораздо позднее, когда проснулся. А между тем он все-таки повернулся. Отчего это сделалось с ним? Конечно, оттого, что стало ему, наконец, неудобно лежать на прежнем боку, и развилась в нем потребность изменить свое положение. Мы уже замечали, что сознательным образом он не чувствовал появления этой потребности; а нечего уже и говорить о том, что он не обнаруживал ее никакими словами, он спал крепко и молчал. Но все-таки эта бессознательность и молчаливость не помешала совершиться факту. Можно наблюдать очень много подобных действий, совершаемых во время глубокого сна. Например, спящий сгоняет с лица муху, все равно как согнал бы ее бодрствующий. Разумеется, разница между действиями сонного и бодрствующего всегда бывает и притом очень большая. Во-первых, сонный человек далеко не так скоро шевелит рукою для прогнания мухи, как бодрствующий: этот последний обмахивается от мухи, лишь только она сядет ему на нос или на лоб, а у сонного она разгуливает по лицу довольно долго, прежде чем совершит он машинальное движение, чтобы согнать ее. Во-вторых, это машинальное действие вообще не имеет той верности и успешности, какая бывает в движениях бодрствующего: рука сонного человека иногда опускается, не поднявшись до тревожимого мухою места, иногда направляется не совсем на то место, где сидит муха. От этой разности происходит и третья разница: муха, прогнанная бодрствующими, обыкновенно бывает так напугана верностью и быстротой его движений, что улетает вовсе прочь; а муха, вяло прогнанная сонным, в одну секунду замечает, что снова может опуститься на него, и в самом деле опять садится на место, с которого только что слетела. — Вообще, психологические наблюдения над сном представляют большой научный интерес, и общий вывод из них тот, что в сонном человеке происходят все те явления, как и в бодрствующем, только происходят они несколько медленнее и слабее.

Но сон имеет свой конец, как все в человеческой жизни, и точно так же имеют большой психологический интерес факты, наблюдаемые при пробуждении. Если сон кончается сам собою,

а не от внешних раздражений, пробуждение бывает очень спокойно; напротив, когда человек не сам просыпается, а бывает пробуждаем слишком резкими впечатлениями, он вприсонках обнаруживает тревожную и очень резкую деятельность: вскрикивает, мечется, вскакивает и бывает похож на сумасшедшего. Это машинальное напряжение нерв и мускулов довольно скоро успокаивается, так что не стоит обращать на него особенное внимание; но вообще надобно сказать, что психология находит довольно опасною вещь неосторожное обращение с сонным. Мы указали на наблюдения над сонными людьми в свидетельство того, что могут происходить действия решительно без всякого предшествующего сознания надобности этих действий, даже без сознания о неудобстве положения, к изменению которого клонится действие. Наука находит очень много свидетельствующих о том фактов и во всяких других проявлениях жизни. Возьмем в пример немецкий обычай кушать бутерброды. Почтенные немцы, придумавшие эту вкусную вещь, решительно не знают, почему надобно им кушать хлеб со сливочным маслом, — они дошли до этой выдумки совершенно машинально. Но в недавнее время наука открыла, что хлеб сам по себе переваривается желудком не очень легко, а сливочное масло даже очень трудно; когда же два эти питательные вещества смешиваются, то вместе перевариваются они желудком гораздо [легче (? — *Ред.*)], чем каждое из них в отдельности. Таким образом, сознательная причина для делания бутербродов открыта очень недавно, а немцы кушают бутерброды с незапамятных времен, и до недавнего времени почти никто из них не умел, да и теперь еще почти никто не умеет отдать себе отчет в том, почему ему понравилось кушать бутерброды; но это, повторяем, никому из них не мешало и не мешает любить бутерброды.

Мы приводили примеры мелочные; но для науки мелочные факты приобретают иногда очень важное значение, служа ключом к разъяснению важных явлений исторической жизни. Так, например, Бокль сделал замечательную попытку разъяснить характер индийских учреждений и истории качествами риса, служащего обыкновенною пищею индусов<sup>9</sup>. Почему же нам не заниматься размышлениями о бутербродах и мухах, и назовет ли читатель опрометчивым самохвальством, если мы скажем, что из этих наблюдений извлекаются два вывода, важные для исторической психологии:

Во-первых, летаргическое состояние умственной жизни не мешает физическим действиям для удовлетворения физиологических нужд; во-вторых, можно получить наклонность к предмету, не имея отчетливого сознания о нем.

На основании этих выводов мы скажем, что, если, например, масса русских простолюдинов невежественна и апатична, это еще не дает нам права отрицать в них способность проникнуться на-

клонностью к какому-нибудь другому порядку жизни, хотя бы он и не был хорошенько известен ей, и даже энергически устремиться к приобретению этого лучшего неведомого ей состояния.

Читатель понимает, о каких улучшениях в жизни народа мы говорим. Мы разумеем здесь грамотность, без которой ничего хорошего быть не может, как доказывают почти все приверженцы народных школ, — люди, пользующиеся полным нашим сочувствием. Быть может, напрасно, шли мы таким длинным путем извилистых рассуждений, чтобы убедить читателя в истине, которую, вероятно, был бы он готов признать с первого же слова: нужды нет, что народ наш не знает грамоте; он все-таки может любить эту грамоту, которой еще не знает; и нет нужды, что он апатичен; он все-таки может в очень непродолжительное время проникнуться усердием к изучению грамоты. Откуда возьмется у него такое усердие? Да просто оттого, что слишком долго оставался он безграмотен; самая продолжительность безграмотного состояния может истощить его апатическое терпение, и он вдруг суетливо устремится вознаградить потерянное время.

Но мы говорили, что не одна только ограниченность терпения служит причиною перемен в жизни дюжинных людей. Если не ошибаемся, мы уже замечали, что в простом народе, как и во всех других сословиях, кроме большинства, состоящего из людей, лишенных инициативы, встречаются люди энергического ума и характера, способные обдумывать данное положение, понимать данное сочетание обстоятельств, сознавать свои потребности, соображать способы к их удовлетворению при данных обстоятельствах и действовать самостоятельно. Г. Успенский не находил до сих пор частью своей задачи изображение подобных лиц в простом народе. Это, конечно, потому, что он поставил себе целью знакомить нас с господствующим тоном народной жизни, а в нем до сих пор исключительно преобладала рутина дюжинных людей и нисколько не обнаруживалось влияние людей, имеющих в себе силу инициативы. Но нельзя сомневаться в существовании таких людей. Совершенно ненатурально и неправдоподобно было бы предположить их несуществование. Нет сословия, в котором не было бы хромых, кривых, горбатых и, с другой стороны, не было бы людей, очень стройных, очень красивых и очень здоровых. Точно так же в каждом сословии непременно должны быть, с одной стороны, люди, стоящие гораздо ниже, а с другой стороны, люди, стоящие гораздо выше общего уровня по уму и характеру. Но это отвлеченное доказательство невозможности отсутствия в простолюдинах способных к инициативе совершенно не нужно ни для кого, имевшего случай знакомиться с простолюдинами. Кто сближался с ними, наверное встречал между ними людей, поражавших его силою ума и характера. Является теперь вопрос: почему же не имели они до сих пор влияния на жизнь массы, и способна ли она подчиниться ему? Почему не имели, на

это можно отвечать знаменитыми стихами Пушкина о людях совершенно другого рода:

Пока не требует поэта  
К священной жертве Аполлон и т. д.<sup>10</sup>

В самом деле, почему поэт не всегда пишет стихи, почему живописец не вечно рисует картины, почему иной человек, очень любящий играть на бильярде, очень долго не берет в руки кия, почему Колумб очень долго не ехал открывать Америку, и так далее? Всякий знает почему: каждый человек занимается любимым делом или действует сообразно своей натуре только тогда, когда это возможно, когда обстоятельства располагаются вызывающим к деятельности образом или, по крайней мере, начинают допускать эту деятельность. Не забудем, о каких людях мы теперь говорим, о людях умных и сильного характера. Умный человек не ввязывается в дела, пока не стоит в них ввязываться, он держится в стороне и молчит, если достает у него твердости характера на выжидающую роль. (А ведь мы говорим о людях, способных к инициативе, для которой непременно нужно, кроме ума, и твердость характера.) Очень хорошо уловлена Шиллером эта черта исторической жизни в первых сценах «Вильгельма Телля». Стоят и толкуют между собою люди о своих делах. Но делать им еще нечего, и Вильгельма Телля нет между ними. Кто он и где он, мы не знаем; он, кажется, нянчит ребенка, болтает с женой, охотится за сернами, — словом сказать, бездельничает или погружен в свои личные дела, и не слышен его голос в разговорах толпы о делах Швейцарии. Но вот надобно сделать дело; не решается никто из почтенных патриотов, рассуждавших о благе отечества. Тут бог знает откуда появляется Вильгельм Телль, спрашивает, где лодка, и спасает человека, который через минуту, погиб бы, если бы не увез его Телль.

Но к чему возвышенное сравнение? Лучше взять пример из нашей обыденной жизни. Пока не предвидится вакансии, нет и кандидатов на должность. Но не было еще примера, чтобы порядочная должность оставалась не занятою по недостатку кандидата. К этому случаю прилагаются наши поговорки: «Был бы хлеб, а зубы будут» и «свято место не живет пусто».

Нельзя найти в истории ни одного случая, в котором не явились бы на первый план люди, соответствующие характеру обстоятельств. Если в обстоятельствах происходила быстрая перемена, требовавшая людей иного характера, чем прежние деятели, выступали на первые места люди, о которых до той поры не было ни слуху, ни духу. Неужели вы полагаете, что Нельсон был знаменитым адмиралом, когда Англия еще не начинала войн, требовавших адмирала вроде Нельсона<sup>11</sup>. Руссо успел стать пожилым человеком и не был никому известен, пока не потребовались обстоятельствами сочинения в том роде, в каком способен был

писать Руссо. Неужели запрягают волов в плуг раньше, чем приходит пора пахать?

Тяжела обязанность журналиста. Едва он увлечется какиминибудь приятными ему психологическими изысканиями, едва он придет в такое расположение духа, чтобы служить отвлеченной науке, как вдруг припоминается ему журнальное отношение, надобность угождать желанию писателя, сотрудничеством которого дорожит журнал. Вот и нас останавливает среди многотрудных и полезных исследований мысль: как понравится наша статья г. Успенскому? Она решительно не понравится ему, если станет продолжаться и окончится в том роде, как шла вторая половина ее. Он найдет, что статья о его книге слишком мало занимается его книгою. Нечего делать, надобно угодить г. Успенскому и начать речь собственно о нем и о его книге.]

Особенность таланта г. Успенского состоит в том, что он говорит о мужиках без церемоний, как о людях, которых он сам считает и читатель его должен считать за людей, одинаковых с собою, за людей, о которых можно говорить откровенно все, что замечаешь о них. Он нимало не стесняется в их обществе. Мы уверены, читая его книгу, думаешь, что когда он сидит на постоялом дворе или за обедом у мужика или бродит между народом на гулянье, его сиволупые собеседники не делают о нем такого отзыва, что вот, дескать, какой добрый и ласковый барин, а говорят о нем запросто как о своем брате, что, дескать, это парень хороший и можно водить с ним компанство. Десять лет тому назад не было из нас, образованных людей, такого человека, который производил бы на крестьян подобное впечатление. Теперь оно производится нередко. Если вы одеты не бог знает как богато, если вы человек простой по характеру и если вы действительно любите народ, мужик не отличает вас ни по разговору, ни по языку от своей братьи, отпущенников; это свидетельствует о том, что в числе людей, принадлежащих по своим интересам к народу, есть уже такие, которые довольно похожи на нас с вами, читатель. Свидетельствует также, что образованные люди уже могут, когда хотят, становиться понятны и близки народу. Вот вам жизнь уже и приготовила решение задачи, которая своєю мнимую трудностью так обескураживает славянофилов и других идеалистов, вслед за славянофилами толкующих о надобности делать какие-то фантастические фокус-покусы для сближения с народом. Никаких особенных штук для этого не требуется: говорите с мужиком просто и непринужденно, и он поймет вас; входите в его интересы, и вы приобретете его сочувствие. Это дело совершенно легкое для того, кто в самом деле любит народ, — любит не на словах, а в душе.

## СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ ПОДПИСЧИКОВ НА «СОВРЕМЕННОК» 1860 г. ПО ГУБЕРНИЯМ И ГОРОДАМ

Год тому назад, в первой книжке «Современника» прошлос года, мы напечатали цифры подписчиков, бывших у «Современника» в 1859 году; деля в первый раз такую попытку, мы считали нужным сделать оговорку о цели, с какою печатаем эти числа. Мы говорили: «сведения о распространении журнала в публике могут быть важны для статистики, если не образования, то, по крайней мере, — любви к чтению в России». Мы слышали потом много отзывов, подтверждавших справедливость такого мнения. Основываясь на них, мы печатаем теперь такие же сведения и за прошлый 1860 год. Деля первый опыт, мы говорили, что никаких общих выводов из него одного еще нельзя сделать, потому что, как частные, единичные факты, эти цифры еще ничего не доказывают. Теперь, сличая два года, мы уже можем сделать некоторые заключения, не совершенно лишнные положительного значения.

	в 1860	в 1859		в 1860	в 1859
<b>1. АРХАНГЕЛЬСКАЯ</b>				<b>3. БЕССАРАБСКАЯ ОБЛАСТЬ</b>	
<i>Архангельск</i> . . . . .	11	— 10		<i>Аккерман</i> . . . . .	4 — 4
<i>Кемь</i> . . . . .	1	— 1		<i>Бендеры</i> . . . . .	4 — 5
<i>Мезень</i> . . . . .	1	— 1		<i>Бельцы</i> . . . . .	6 — 2
<i>Онега</i> . . . . .	1	— 2		<i>Бухарест</i> . . . . .	1 — »
<i>Холмогоры</i> . . . . .	1	— 1		<i>Кишинев</i> . . . . .	37 — 19
<i>Шенкурск</i> . . . . .	»	— 1		<i>Измаил</i> . . . . .	1 — »
				<i>Липканы</i> . . . . .	1 — 2
	15	— 16		<i>Оргеев</i> . . . . .	3 — 2
<b>2. АСТРАХАНСКАЯ</b>				<i>Скуляны</i> . . . . .	3 — 3
<i>Астрахань</i> . . . . .	23	— 19		<i>Сороки</i> . . . . .	6 — 3
<i>Еногаевск</i> . . . . .	2	— 1		<i>Купчино</i> . . . . .	3 — 1
<i>Красный-Яр</i> . . . . .	»	— 1		<i>Теленешты ст.</i> . . . . .	1 — 2
<i>Царев</i> . . . . .	»	— 1		<i>Холм</i> . . . . .	6 — 6
<i>Черный-Яр</i> . . . . .	1	— »		<i>Братушаны</i> . . . . .	1 — »
				<i>Кубей</i> . . . . .	1 — »
				<i>Новоселица</i> . . . . .	3 — 1
	26	— 22			
					81 — 50

## 4. ВИЛЕНСКАЯ

Вильно . . . . .	18	—	11
Дрогичин . . . . .	1	—	»
Лида . . . . .	2	—	»
Ошмяны . . . . .	2	—	1
	23	—	12

## 5. ВИТЕБСКАЯ

Витебск . . . . .	12	—	8
Городок . . . . .	1	—	»
Динабург . . . . .	9	—	6
Лепель . . . . .	2	—	1
Невель . . . . .	1	—	»
Полоцк . . . . .	9	—	5
Режица . . . . .	2	—	»
Сураж . . . . .	»	—	1
Креславка . . . . .	1	—	1
Усвяг . . . . .	1	—	1
	38	—	23

## 6. ВЛАДИМИРСКАЯ

Александров . . . . .	5	—	4
Владимир . . . . .	16	—	25
Вязники . . . . .	7	—	3
Гавриловский посад . . . . .	1	—	2
Гороховец . . . . .	2	—	1
Иваново село . . . . .	10	—	3
Ковров . . . . .	4	—	2
Меденки . . . . .	»	—	1
Муром . . . . .	11	—	12
Переславль-Залесский . . . . .	2	—	1
Покров . . . . .	1	—	1
Судогда . . . . .	4	—	4
Суздаль . . . . .	4	—	1
Шуя . . . . .	8	—	4
Юрьев-Польский . . . . .	8	—	5
Озябликово . . . . .	1	—	2
	84	—	71

## 7. ВОЛОГОДСКАЯ

Великий-Устюг . . . . .	1	—	»
Вельск . . . . .	1	—	»
Верховажский посад . . . . .	1	—	»
Вологда . . . . .	13	—	12
Грязовец . . . . .	»	—	1
Кадников . . . . .	1	—	»
Никольск . . . . .	1	—	1
Сольвычегодск . . . . .	1	—	»
Тотьма . . . . .	2	—	3
Усть-Сысольск . . . . .	2	—	2
Яренск . . . . .	2	—	1
Шенкурск . . . . .	2	—	»
	27	—	20

## 8. ВОЛЫНСКАЯ

Дубно . . . . .	1	—	2
Житомир . . . . .	13	—	13
Заславль . . . . .	2	—	1
Ковель . . . . .	»	—	2
Кременец . . . . .	1	—	»
Луцк . . . . .	2	—	»
Новоград-Волыньск . . . . .	1	—	2
Острог . . . . .	3	—	1
Ровно . . . . .	2	—	2
Старокожсангиннов . . . . .	3	—	2
	28	—	25

## 9. ВОРОНЕЖСКАЯ

Бирюч . . . . .	4	—	3
Бобров . . . . .	10	—	7
Богучар . . . . .	3	—	4
Бутурлинская . . . . .	1	—	2
Валуйки . . . . .	9	—	6
Воронеж . . . . .	29	—	32
Задонск . . . . .	6	—	4
Землянк . . . . .	3	—	3
Коротояк . . . . .	4	—	4
Нижедевицк . . . . .	7	—	4
Новохоперск . . . . .	7	—	6
Острогожск . . . . .	9	—	10
Павловск . . . . .	6	—	3
	98	—	86

## 10. ВЯТСКАЯ

Воткинский зав. . . . .	1	—	1
Вятка . . . . .	9	—	12
Глазов . . . . .	2	—	1
Елабуга . . . . .	1	—	1
Ижевский зав. . . . .	2	—	1
Котельнич . . . . .	3	—	1
Малмыж . . . . .	5	—	4
Нолинск . . . . .	2	—	2
Орлов . . . . .	3	—	1
Павловский зав. . . . .	1	—	1
Сарапул . . . . .	3	—	2
Слободской . . . . .	6	—	4
Уржум . . . . .	4	—	1
Яранск . . . . .	2	—	1
	44	—	33

## 11. ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ

Николаевск-на-Амуре . . . . .	2	—	1
Благовещенск-на-Амуре . . . . .	2	—	»
	4	—	1

## 12. ГРОДНЕНСКАЯ

Брест-Литовск . . . . .	5	—	5
Бельск . . . . .	2	—	1
Белосток . . . . .	2	—	2
Волковыск . . . . .	1	—	»
Гродно . . . . .	8	—	5
Дрогичин ст. . . . .	»	—	1
Кобрин . . . . .	1	—	»
Пружаны . . . . .	»	—	2
Слоним . . . . .	2	—	2
	21	—	18

## 13. ДЕРБЕНТСКАЯ

Ахты отд. . . . .	2	—	1
Дашлагарская . . . . .	5	—	»
Дербент . . . . .	1	—	4
Куба . . . . .	1	—	2
Темир-Хан-Шура . . . . .	15	—	9
Кусары . . . . .	2	—	2
	26	—	18

## 14. ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАЯ

Александровск . . . . .	13	—	18
Бахмут . . . . .	23	—	18
Благодатное ст. . . . .	2	—	2
Верхнеднепровск . . . . .	14	—	23
Екатеринослав . . . . .	31	—	48
Ивановская отд. . . . .	4	—	»
Луганский зав. . . . .	12	—	9
Мариуполь . . . . .	3	—	3
Нахичевань-на-Дону отд. . . . .	1	—	2
Неенбург отд. . . . .	»	—	1
Никополь . . . . .	8	—	5
Новомосковск . . . . .	8	—	14
Павлоградск . . . . .	13	—	17
Ростов-на-Дону . . . . .	13	—	12
Славяносербск новый . . . . .	3	—	4
Славянка . . . . .	11	—	12
Таганрог . . . . .	36	—	23
Буняковская . . . . .	1	—	»
	196	—	211

## 15. ЕНИСЕЙСКАЯ

Ачинск . . . . .	1	—	1
Енисейск . . . . .	17	—	15
Канск . . . . .	»	—	4
Каргино ст. . . . .	6	—	2
Красноярск . . . . .	12	—	12
Минусинск . . . . .	1	—	3
Туруханск отд. . . . .	1	—	1
	38	—	38

## 16. ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верхнеудинск . . . . .	4	—	1
Нерчинск . . . . .	4	—	3
Нерчинский зав. . . . .	1	—	2
Петровский желез. зав. . . . .	1	—	»
Селенгинск . . . . .	2	—	3
Чита . . . . .	7	—	4
Шелопугино . . . . .	1	—	»
	20	—	13

## 17. ЗЕМЛЯ ВОЙСКА ДОНСКОГО

Аксайская . . . . .	3	—	3
Ведерниковская . . . . .	1	—	1
Казанская . . . . .	3	—	1
Каменская . . . . .	2	—	2
Назаровская . . . . .	1	—	»
Нижнечирская . . . . .	2	—	1
Новопаловка сл. . . . .	1	—	4
Новочеркасск . . . . .	49	—	35
Ольховый Рог ст. . . . .	6	—	3
Полтавская отд. . . . .	2	—	1
Русская ст. . . . .	»	—	2
Урюпинская отд. . . . .	7	—	4
Усть-Медведицкая . . . . .	7	—	3
	84	—	60

## 18. ЗЕМЛЯ ВОЙСКА УРАЛЬСКОГО

Гурьев . . . . .	2	—	1
Уральск . . . . .	3	—	1
	5	—	2

## 19. З. В. ЧЕРНОМОРСКОГО

Ейск . . . . .	3	—	1
Екатеринодар . . . . .	16	—	7
Уманская стд. . . . .	2	—	»
Челбашская . . . . .	1	—	1
	22	—	9

## 20. ИРКУТСКАЯ

Иркутск . . . . .	41	—	37
Киренск . . . . .	1	—	1
Кяхта . . . . .	15	—	14
Нижнеудинск . . . . .	3	—	1
Нохгуйская отд. . . . .	5	—	5
Петровзаводская отд. . . . .	»	—	»
Троицкосавск . . . . .	2	—	1
	67	—	59

## 21. КАЗАНСКАЯ

Казань . . . . .	51	—	41
Козьмодемьянск . . . . .	3	—	1
Лаицев . . . . .	6	—	1



в 1860 в 1859

Мамадыш . . . . .	1	—	1
Свияжск . . . . .	2	—	3
Спасск . . . . .	3	—	5
Тегуши . . . . .	2	—	3
Царевококшайск . . . . .	2	—	1
Пивийск . . . . .	1	—	1
Чебоксары . . . . .	3	—	2
Чистополь . . . . .	11	—	9
Ядрин . . . . .	1	—	1

86 — 69

22. КАЛУЖСКАЯ

Александровский хут.			
<i>отд.</i> . . . . .	3	—	3
Боровск . . . . .	2	—	»
Жиздра . . . . .	2	—	2
Калуга . . . . .	24	—	15
Козельск . . . . .	3	—	4
Лихвин . . . . .	2	—	4
Малоярославец . . . . .	4	—	5
Медынь . . . . .	3	—	4
Мешовск . . . . .	3	—	7
Мосальск . . . . .	5	—	2
Перемышль . . . . .	3	—	1
Серпейск <i>стд.</i> . . . . .	»	—	1
Сухоиич . . . . .	1	—	2
Таруса . . . . .	1	—	1
Крюковская . . . . .	1	—	»

60 — 51

23. КИЕВСКАЯ

Бердичев . . . . .	4	—	3
Белая Церковь . . . . .	2	—	2
Васильков . . . . .	»	—	2
Звенигородка . . . . .	3	—	4
Канев . . . . .	3	—	2
<i>Киев</i> . . . . .	65	—	47
Липовец . . . . .	1	—	»
Радомысл . . . . .	5	—	3
Ружин <i>ст.</i> . . . . .	»	—	1
Сквира . . . . .	11	—	1
Смеда <i>отд.</i> . . . . .	13	—	8
Тараща . . . . .	9	—	9
Умань . . . . .	13	—	2
Черкассы . . . . .	5	—	3
Чигирин . . . . .	4	—	5
Тальное . . . . .	4	—	3
Шпола . . . . .	1	—	1
Богуслав . . . . .	1	—	»

133 — 96

в 1860 в 1859

24. КОЗЕНСКАЯ

Вилькомир . . . . .	1	—	»
<i>Ковно</i> . . . . .	9	—	5
Новый Двор . . . . .	2	—	»
Россиены . . . . .	3	—	»
Тауроген . . . . .	»	—	4
Тельш . . . . .	»	—	1
Шавли . . . . .	2	—	2
Юрбург . . . . .	1	—	»

18 — 12

25. КОСТРОМСКАЯ

Буй . . . . .	2	—	»
Варнавин . . . . .	»	—	1
Ветлуга . . . . .	2	—	»
Галич . . . . .	7	—	5
Кинешма . . . . .	6	—	5
Кологрив . . . . .	1	—	»
<i>Кострома</i> . . . . .	23	—	17
Лух . . . . .	1	—	»
Макарьев-на-Унже . . . . .	4	—	2
Нерехта . . . . .	8	—	6
Плес . . . . .	4	—	4
Пучеж-посад . . . . .	1	—	»
Солигалич . . . . .	4	—	2
Судислав . . . . .	1	—	1
Чухлома . . . . .	1	—	2
Юрьев-Повольский . . . . .	»	—	1
Воропье . . . . .	1	—	»

68 — 47

26. КУРЛЯНДСКАЯ

Гагенпот . . . . .	»	—	1
Гольдинген . . . . .	1	—	»
Гробин <i>стд.</i> . . . . .	1	—	»
Либава . . . . .	1	—	2
<i>Митава</i> . . . . .	8	—	4
Поланген . . . . .	»	—	1

11 — 8

27. КУРСКАЯ

Белгород . . . . .	11	—	9
Грайворон . . . . .	2	—	1
Дмитриев-на-Сване . . . . .	8	—	7
Короча . . . . .	3	—	3
<i>Курск</i> . . . . .	39	—	32
Льгов . . . . .	8	—	9
Мирополье . . . . .	2	—	1
Новый-Оскол . . . . .	8	—	3
Обоянь . . . . .	4	—	5
Путиваль . . . . .	4	—	4
Рыльск . . . . .	11	—	10

в 1860 в 1859

Старый-Оскол . . . . .	8	—	5
Суджа . . . . .	14	—	8
Тим . . . . .	2	—	2
Фатеж . . . . .	8	—	3
Щигры . . . . .	8	—	9
	140	—	111

28. КУТАЙССКАЯ

Ахалцых . . . . .	1	—	»
Кутаис . . . . .	4	—	2
Озургеты <i>отд.</i> . . . . .	1	—	»
Редут . . . . .	1	—	»
	7	—	2

29. ДИФЛЯНДСКАЯ

Венден . . . . .	1	—	»
Дерпт . . . . .	3	—	4
Пернов . . . . .	1	—	»
Рига . . . . .	9	—	6
	14	—	10

30. МИНСКАЯ

Бобруйск . . . . .	1	—	5
Борисов . . . . .	1	—	1
Лоев . . . . .	2	—	1
Минск . . . . .	5	—	1
Новогрудок . . . . .	1	—	2
Речица . . . . .	1	—	2
Слуцк . . . . .	3	—	1
	14	—	13

31. МОГИЛЕВСКАЯ

Гомель . . . . .	2	—	4
Горы-Горки <i>ст.</i> . . . . .	3	—	»
Копысь . . . . .	1	—	1
Кричев . . . . .	1	—	»
Могилев . . . . .	12	—	9
Мстиславль . . . . .	3	—	2
Орша . . . . .	4	—	»
Рогачев . . . . .	4	—	3
Старый-Быхов . . . . .	1	—	1
Толочин <i>ст.</i> . . . . .	1	—	1
Чаусы . . . . .	2	—	»
Чериков . . . . .	3	—	3
Шклов . . . . .	1	—	1
Чечерск . . . . .	2	—	3
	40	—	28

32. МОСКОВСКАЯ

Богородск . . . . .	5	—	2
Бронницы . . . . .	6	—	6

в 1860 в 1859

Верея . . . . .	2	—	»
Волоколамск . . . . .	6	—	4
Воскресенск . . . . .	1	—	»
Дмигров . . . . .	8	—	8
Звенигород . . . . .	1	—	»
Клин . . . . .	5	—	5
Коломна . . . . .	8	—	4
Можайск . . . . .	4	—	4
Москва . . . . .	482	—	622
Подольск . . . . .	2	—	2
Руза . . . . .	5	—	3
Сергиевский посад . . . . .	7	—	4
Серпухов . . . . .	19	—	16
	561	—	680

33. НИЖЕГОРОДСКАЯ

Абрамово . . . . .	»	—	1
Ардагов . . . . .	4	—	3
Арзамас . . . . .	8	—	4
Балахна . . . . .	6	—	4
Василь . . . . .	1	—	2
Горбатов . . . . .	3	—	1
Княгинин . . . . .	6	—	2
Лукоянов . . . . .	2	—	»
Лысково . . . . .	3	—	1
Макарьев . . . . .	»	—	1
Нижний-Новгород . . . . .	25	—	21
Павлово село <i>отд.</i> . . . . .	2	—	3
Починки . . . . .	2	—	»
Семенов . . . . .	3	—	3
Сергач . . . . .	5	—	4
	70	—	50

34. НОВГОРОДСКАЯ

Боровичи . . . . .	5	—	3
Бронницы ям . . . . .	4	—	2
Белозерск . . . . .	3	—	1
Валдай . . . . .	2	—	2
Валдайская ст. ж. дор. <i>отд.</i> . . . . .	1	—	»
Демянск . . . . .	3	—	2
Кирилов . . . . .	1	—	2
Крестцы . . . . .	1	—	2
Новгород . . . . .	8	—	9
Сомина пристань . . . . .	3	—	3
Спасская полисть <i>ст.</i> . . . . .	3	—	3
Старая Руса . . . . .	5	—	5
Тихвин . . . . .	7	—	2
Устюжина . . . . .	3	—	4
Череповец . . . . .	2	—	1
Медведь село . . . . .	4	—	1
Веревье . . . . .	1	—	»
Бурегеи . . . . .	1	—	»
	56	—	42

## 35. ОЛОНЕЦКАЯ

Вытегра . . . . .	4	—	3
Олонец . . . . .	1	—	»
<i>Петрозаводск</i> . . . . .	10	—	5
Повенец . . . . .	1	—	»
Пудож . . . . .	»	—	1
	16	—	9

## 36. ОРЕНБУРГСКАЯ

Белебей . . . . .	1	—	2
Вирск . . . . .	2	—	1
Верхнеуральск . . . . .	2	—	2
Элагуостовский зав. . . . .	4	—	2
Илецкая защита кр. ст. » . . . . .	»	—	1
Мензелинск . . . . .	4	—	2
Миасский завод ст. . . . .	1	—	3
Оренбург . . . . .	39	—	32
Орск . . . . .	3	—	1
Стерлитамак . . . . .	11	—	5
Троицк . . . . .	2	—	1
Уфа . . . . .	16	—	11
Челябинск . . . . .	3	—	2
	88	—	65

## 37. ОРЛОВСКАЯ

Болхов . . . . .	10	—	3
Брянск . . . . .	5	—	5
Дмитровск . . . . .	3	—	3
Елец . . . . .	16	—	11
Карачев . . . . .	10	—	7
Кромы . . . . .	10	—	5
Ливны . . . . .	14	—	9
Малоархангельск . . . . .	5	—	5
Мценск . . . . .	6	—	4
Орел . . . . .	40	—	34
Севск . . . . .	5	—	3
Трубчевск . . . . .	4	—	3
	128	—	92

## 38. ПЕНЗЕНСКАЯ

Городище . . . . .	1	—	3
Исар . . . . .	1	—	1
Керенск . . . . .	3	—	3
Краснослободск . . . . .	7	—	3
Мокшанск . . . . .	3	—	»
Норовчат . . . . .	3	—	2
Нижний-Ломов . . . . .	6	—	4
<i>Пенза</i> . . . . .	37	—	30
Саранск . . . . .	7	—	10
Чембар . . . . .	3	—	7
Исса . . . . .	1	—	»
	72	—	63

## 39. ПЕРМСКАЯ

Билимбаевск . . . . .	3	—	2
Богословский завод . . . . .	3	—	1
Верегия <i>отд.</i> . . . . .	1	—	1
Верхотурье . . . . .	1	—	3
Екатеринбург . . . . .	24	—	21
Ирбит . . . . .	1	—	»
Каменский зав. <i>отд.</i> . . . . .	2	—	»
Камышлов . . . . .	1	—	1
Красноуфимск . . . . .	1	—	1
Кунгур . . . . .	6	—	6
Кушвинский зав. . . . .	8	—	3
Невьянский зав. . . . .	3	—	3
Нижне-Тагильский зав. . . . .	1	—	1
Оханск . . . . .	1	—	»
<i>Пермь</i> . . . . .	16	—	16
Соликамск . . . . .	2	—	1
Чердынь . . . . .	1	—	»
Шадринск . . . . .	5	—	3
	80	—	63

## 40. ПОДОЛЬСК

Балта . . . . .	3	—	3
Меджибож . . . . .	2	—	»
Винница . . . . .	1	—	2
Гайсин . . . . .	4	—	2
<i>Каменец-Подольск</i> . . . . .	14	—	13
Тульчин . . . . .	3	—	1
Легичев . . . . .	2	—	3
Литин . . . . .	1	—	»
Могилев-на-Днестре . . . . .	5	—	4
Ольгополь . . . . .	2	—	3
Немиров . . . . .	3	—	»
Ушица . . . . .	1	—	»
Хмельник . . . . .	1	—	2
	42	—	33

## 41. ПОЛТАВСКАЯ

Борисполь <i>ст.</i> . . . . .	1	—	2
Буняковская <i>ст.</i> . . . . .	1	—	»
Гадяч . . . . .	»	—	3
Градизск . . . . .	4	—	3
Золотоноша . . . . .	12	—	15
Зеньков . . . . .	9	—	7
Кобеляки . . . . .	6	—	7
Константинград . . . . .	14	—	13
Кременчуг . . . . .	26	—	22
Лохвица . . . . .	6	—	4
Лубны . . . . .	8	—	8
Миргород . . . . .	8	—	8
Переяслав . . . . .	3	—	2
Пирятин . . . . .	13	—	7
<i>Полтава</i> . . . . .	47	—	40
Прилуки . . . . .	11	—	20

в 1860 в 1859

Ромны . . . . .	17	—	13
Хороль . . . . .	13	—	10
Яготинская ст. . . . .	6	—	4

205 — 188

42. ПСКОВСКАЯ

Великие-Луки . . . . .	6	—	3
Дуловка . . . . .	1	—	1
Новоржев . . . . .	4	—	4
Опочка . . . . .	5	—	4
Остров . . . . .	9	—	2
Порхов . . . . .	18	—	12
Псков . . . . .	16	—	14
Сольцы-посад . . . . .	2	—	1
Торопец . . . . .	9	—	2
Холм . . . . .	6	—	10

76 — 53

43. РЯЗАНСКАЯ

Данков . . . . .	5	—	4
Егорьевск . . . . .	1	—	2
Зарайск . . . . .	11	—	13
Касимов . . . . .	9	—	8
Михайлов . . . . .	4	—	1
Пронск . . . . .	3	—	»
Раненбург . . . . .	6	—	3
Ряжск . . . . .	12	—	7
Рязань . . . . .	17	—	21
Сапожок . . . . .	4	—	3
Скопин . . . . .	4	—	1
Спаск . . . . .	4	—	4
Суйская ст. . . . .	2	—	»
Гавриловская ст. . . . .	1	—	1

81 — 68

44. САМАРСКАЯ

Бугульма . . . . .	6	—	3
Бугуруслан . . . . .	2	—	1
Бузулук . . . . .	4	—	3
Кичуй <i>отд.</i> . . . . .	1	—	2
Николаевск . . . . .	3	—	2
Новый-Узень . . . . .	»	—	1
Самара . . . . .	22	—	15
Ставрополь . . . . .	4	—	3

42 — 30

45. С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ

Гатчино . . . . .	5	—	»
Гдов . . . . .	1	—	2
Красное Село ст. . . . .	2	—	2
Кронштадт . . . . .	16	—	15
Луга . . . . .	5	—	6

в 1860 в 1859

Нарва . . . . .	4	—	2
Новая Ладога . . . . .	3	—	5
Петергоф . . . . .	3	—	2
Усть-Ижора . . . . .	1	—	»
Черковицы ст. . . . .	3	—	3
Ям Ижора . . . . .	1	—	»
Ямбург . . . . .	3	—	1
Каськово . . . . .	1	—	1

48 — 45

С.-Петербург 1628—1274

46. САРАТОВСКАЯ

Аткарск . . . . .	7	—	4
Балашев . . . . .	10	—	13
Вольск . . . . .	10	—	4
Дубовка посад . . . . .	3	—	1
Камышич . . . . .	11	—	9
Камешкер . . . . .	1	—	1
Кузнецк . . . . .	9	—	9
Петровск . . . . .	10	—	12
Саратов . . . . .	52	—	37
Сердобск . . . . .	8	—	6
Хвалынский . . . . .	5	—	6
Царицын . . . . .	2	—	3

128 — 105

47. СЕМИПАЛАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Аягуз . . . . .	2	—	1
Верное . . . . .	2	—	»
Кокбетаг . . . . .	1	—	»
Копал . . . . .	2	—	1
Семипалатинск . . . . .	4	—	3
Усть-Бухтарминская . . . . .	»	—	1
Усть-Каменогорская . . . . .	1	—	1

10 — 7

48. СИМБИРСКАЯ

Алатырь . . . . .	6	—	5
Ардатов . . . . .	4	—	4
Буинск . . . . .	1	—	2
Корсунь . . . . .	8	—	3
Красносельская ст. . . . .	2	—	2
Курмыш . . . . .	3	—	1
Промзино-городище . . . . .	2	—	»
Сенгилей . . . . .	2	—	»
Симбирск . . . . .	27	—	26
Сызрань . . . . .	8	—	7
Теренгульская ст. . . . .	2	—	2
Юрловская ст. . . . .	3	—	3

68 — 55

## 49. СМОДЕНСКАЯ

Белый . . . . .	5	—	7
Вязьма . . . . .	11	—	6
Гжатск . . . . .	5	—	4
Дорогобуж . . . . .	8	—	4
Духовщина . . . . .	4	—	4
Ельня . . . . .	2	—	3
Красный . . . . .	1	—	1
Поречье . . . . .	7	—	2
Рославль . . . . .	7	—	9
Смоленск . . . . .	18	—	17
Сычевка . . . . .	2	—	2
Южнов . . . . .	4	—	2
Софийская ст. . . . .	2	—	»
	76	—	61

## 50. СТАВРОПОЛЬСКАЯ

Ардонская ст. отд. . . . .	5	—	3
Владикавказ . . . . .	17	—	21
Воздвиженская . . . . .	4	—	4
Георгиевск . . . . .	1	—	»
Грозная . . . . .	10	—	»
Кизляр . . . . .	9	—	7
Кисловодск отд. . . . .	»	—	1
Моздок . . . . .	2	—	6
Нальчик . . . . .	1	—	1
Прочный-Окоп . . . . .	2	—	1
Пятигорск . . . . .	4	—	4
Ставрополь . . . . .	40	—	24
Усть-Лабинская отд. . . . .	9	—	8
Шелкозаводская ст. . . . .	2	—	2
Хосав Юрт . . . . .	8	—	8
Червленная . . . . .	2	—	1
Николаевка . . . . .	7	—	2
Екатериноград . . . . .	1	—	»
	124	—	94

## 51. ТАВРИЧЕСКАЯ

Алешки . . . . .	1	—	4
Алушта . . . . .	»	—	2
Бахчисарай . . . . .	1	—	1
Бердянск . . . . .	5	—	6
Геническ . . . . .	4	—	1
Евпатория . . . . .	9	—	2
Карасубазар . . . . .	3	—	1
Каховка отд. . . . .	3	—	3
Керчь . . . . .	28	—	12
Мелитополь . . . . .	9	—	2
Ногайск ст. . . . .	1	—	»
Орехов . . . . .	9	—	14
Перекоп . . . . .	6	—	5
Севастополь . . . . .	6	—	4
Симферополь . . . . .	32	—	26
Феодосия . . . . .	4	—	9

Ялта . . . . .	4	—	2
Гольбштадт . . . . .	1	—	1
	126	—	95

## 52. ТАМБОВСКАЯ

Борисоглебск . . . . .	6	—	»
Елатьма . . . . .	2	—	2
Кадам . . . . .	2	—	2
Кирсанов . . . . .	15	—	14
Козлов . . . . .	5	—	8
Коргошино ст. . . . .	2	—	2
Лебедянь . . . . .	3	—	3
Липецк . . . . .	6	—	8
Моршанск . . . . .	7	—	7
Спасск . . . . .	2	—	»
Тамбов . . . . .	39	—	33
Темников . . . . .	1	—	3
Усмань . . . . .	6	—	8
Шацк . . . . .	13	—	8
	109	—	98

## 53. ТВЕРСКАЯ

Бежецк . . . . .	10	—	7
Весьегонск . . . . .	2	—	2
Вышний-Волочок . . . . .	12	—	7
Зубцов . . . . .	3	—	2
Калязин . . . . .	6	—	5
Кашин . . . . .	5	—	3
Корчева . . . . .	2	—	2
Красный-Холм . . . . .	1	—	3
Осташков . . . . .	6	—	5
Осташков ст. ж. д. . . . .	2	—	2
Ржев . . . . .	11	—	12
Старица . . . . .	8	—	5
Тверь . . . . .	23	—	9
Торжок . . . . .	10	—	12
Тверская ст. . . . .	1	—	»
	102	—	76

## 54. ТИФЛИССКАЯ

Белый Ключ . . . . .	4	—	3
Гомборы . . . . .	1	—	1
Гори . . . . .	1	—	2
Манглис . . . . .	2	—	1
Душет отд. . . . .	1	—	1
Елисаветволь . . . . .	1	—	»
Закаталы отд. . . . .	3	—	2
Ишкарты . . . . .	1	—	»
Пасанаур отд. . . . .	1	—	»
Сигнах отд. . . . .	2	—	1
Телав . . . . .	5	—	5
Тифлис . . . . .	52	—	44
Царские-Колодцы . . . . .	7	—	9
	80	—	69

55. ТОБОЛЬСКАЯ

Березов . . . . .	1	—	»
Ишим . . . . .	1	—	3
Коряково . . . . .	»	—	1
Омск . . . . .	19	—	16
Тара . . . . .	1	—	1
Тобольск . . . . .	12	—	5
Тюмень . . . . .	5	—	»
Ялуторовск . . . . .	2	—	1
Петропавловск . . . . .	2	—	1
	43	—	28

56. ТОМСКАЯ

Барнаул . . . . .	18	—	9
Змеиногор. рудник . . . . .	1	—	2
Каинск . . . . .	1	—	1
Кузнецк . . . . .	1	—	1
Томск . . . . .	19	—	13
	40	—	26

57. ТУЛЬСКАЯ

Алексин . . . . .	7	—	»
Богородицк . . . . .	6	—	5
Белев . . . . .	7	—	12
Венев . . . . .	10	—	8
Ефремов . . . . .	14	—	»
Кашира . . . . .	5	—	2
Крапивна . . . . .	3	—	6
Новосиль . . . . .	4	—	8
Одоев . . . . .	10	—	4
Сергиевское село . . . . .	3	—	3
Тула . . . . .	38	—	29
Чернь . . . . .	6	—	7
Епифань . . . . .	7	—	7
	120	—	91

58. ХАРЬКОВСКАЯ

Ахтырка . . . . .	10	—	7
Богодухов . . . . .	7	—	3
Белополье ст. . . . .	3	—	1
Балки . . . . .	11	—	7
Волчанск . . . . .	12	—	8
Змиев . . . . .	10	—	6
Изюм . . . . .	11	—	10
Купянск . . . . .	8	—	7
Лебедич . . . . .	10	—	10
Ново-Екатеринослав . . . . .	11	—	7
Славянск . . . . .	10	—	14
Старобельск . . . . .	10	—	11
Сумы . . . . .	21	—	10
Харьков . . . . .	85	—	76
Чугуев . . . . .	10	—	12
	229	—	189

59. ХЕРСОНСКАЯ

Александрия . . . . .	13	—	5
Ананьев . . . . .	15	—	10
Бсбринец . . . . .	19	—	15
Вознесенск . . . . .	12	—	12
Григориополь ст. . . . .	2	—	3
Дубоссары . . . . .	2	—	»
Елисаветград . . . . .	15	—	17
Николаев . . . . .	23	—	15
Новая-Прага . . . . .	13	—	9
Нововоронцов. отд. . . . .	7	—	4
Новогеоргиевск . . . . .	6	—	5
Новомиргород . . . . .	24	—	25
Одесса . . . . .	114	—	94
Ольвиполь . . . . .	4	—	2
Тирасполь . . . . .	5	—	4
Херсон . . . . .	15	—	12
Яновская отд. . . . .	4	—	4
	293	—	236

60. ЧЕРНИГОВСКАЯ

Батурин . . . . .	2	—	2
Борзна . . . . .	3	—	2
Глухов . . . . .	8	—	9
Городня . . . . .	4	—	1
Добрянка отд. . . . .	1	—	»
Климов . . . . .	1	—	1
Клинцы посад . . . . .	1	—	1
Козелец отд. . . . .	6	—	5
Конотоп . . . . .	10	—	8
Кролевец . . . . .	4	—	1
Мглин . . . . .	3	—	2
Новгород-Северск . . . . .	7	—	3
Новозыбков . . . . .	7	—	14
Нежин . . . . .	15	—	0
Остер . . . . .	1	—	1
Погар . . . . .	6	—	5
Почеп м. . . . .	3	—	2
Сосница . . . . .	9	—	5
Стародуб . . . . .	5	—	5
Сураж . . . . .	1	—	2
Чернишов . . . . .	22	—	15
Гадяч . . . . .	4	—	»
	122	—	82

61. ШЕМАХИНСКАЯ

Баку . . . . .	5	—	2
Лечкорань . . . . .	1	—	»
Нуха . . . . .	2	—	»
Сальяны отд. . . . .	1	—	1
Шемаха . . . . .	1	—	3
Шуша . . . . .	4	—	4
	14	—	10

в 1860 в 1859

62. ЭРИВАНСКАЯ

Александрополь . . . . .	3	—	1
Нахичевань . . . . .	2	—	1
Новобаязет <i>отд.</i> . . . . .	1	—	»
<i>Эривань</i> . . . . .	4	—	2
	10	—	4

63. ЭСТЛЯНДСКАЯ

Гапсаль . . . . .	1	—	»
Ревель . . . . .	5	—	5
	6	—	5

64. ЯКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верхоянск . . . . .	1	—	1
Олекминск . . . . .	1	—	1
<i>Якутск</i> . . . . .	1	—	1
	3	—	3

65. ЯРОСЛАВСКАЯ

Данилов . . . . .	5	—	2
Любим . . . . .	2	—	2
Молога . . . . .	7	—	5
Мышкин . . . . .	3	—	4
Романов Борисог. 3— в 1860 г. »			
Пошехонье . . . . .	2	—	2
Ростов . . . . .	3	—	10
Рыбинск . . . . .	11	—	11
Углич . . . . .	4	—	4
<i>Ярославль</i> . . . . .	35	—	30
	72	—	70

ЦАРСТВО ПОЛЬСКОЕ

66. АВГУСТОВСКАЯ

Августов . . . . .	»	—	1
Граево . . . . .	»	—	1
Кальвария . . . . .	»	—	1
Суваики . . . . .	2	—	»
	2	—	3

67. ВАРШАВСКАЯ

<i>Варшава</i> . . . . .	42	—	30
Велюнь . . . . .	1	—	»
Иван-Город . . . . .	1	—	»
Кошица . . . . .	1	—	»
Лович . . . . .	»	—	1

в 1860 в 1859

Минск . . . . .	»	—	1
Седьце . . . . .	1	—	»
Серадзь . . . . .	1	—	1
	47	—	33

68. ЛЮБЛИНСКАЯ

Желехов . . . . .	1	—	1
Замость . . . . .	2	—	1
Красностав . . . . .	1	—	1
<i>Люблин</i> . . . . .	3	—	2
Михаловеца . . . . .	1	—	»
Ополье . . . . .	1	—	1
Томашев . . . . .	1	—	1
	10	—	7

69. ПЛОЦКАЯ

Новогеоргиевская кр. . . . .	1	—	1
<i>Плоцк</i> . . . . .	1	—	»
Пржасныш . . . . .	1	—	»
	3	—	1

70. РАДОМСКАЯ

Завихост . . . . .	1	—	1
Стэшев . . . . .	1	—	1
Кельцы . . . . .	1	—	1
<i>Радом</i> . . . . .	2	—	»
Сандомерж . . . . .	1	—	»
	6	—	3

в. кн. финляндское

71. ВЫБОРГСКАЯ

Вильманstrand . . . . .	1	—	1
<i>Выбьри</i> . . . . .	»	—	1
Фридрихсгам . . . . .	1	—	1
	2	—	3

72. ГЕЛЬСИНГФОРССКАЯ

Борго . . . . .	1	—	1
<i>Гельсингфорс</i> . . . . .	1	—	»
	2	—	1

73. ТАВАСТГУСКАЯ

<i>Тавастус</i> . . . . .	1	—	»
	1	—	»

74. ЗА ГРАНИЦУ . . . . . 18 — 21

Всего . . . . . 6598 — 5500

В 1859 году расходилось до 5 500 экземпляров «Современника», в 1860 году до 6 600: в один год увеличение простиралось до 20%. Чему приписывать это главным образом? Увеличению

ли в публике любви собственно к нашему журналу? Самолюбие, конечно, заставляло бы нас приписывать важнейшее влияние этому обстоятельству; но мы имеем основание полагать, что общее число печатаемых экземпляров всех журналов и газет в сложности возросло в 1860 году сравнительно с 1859, как и в 1859 сравнительно с предшествовавшим годом, и такое возрастание постоянно идет с 1855 года. Поэтому мы готовы часть увеличения числа читателей нашего журнала отнести к действию общего хода литературы, которая постепенно становилась в последние годы более и более достойною внимания публики и вследствие того находила для себя все больший и больший круг публики.

К сожалению, при составлении списка 1859 года мы еще не имели по городу Москве сведений, которые были в нашем распоряжении за прошлый год. В списке 1859 года мы не могли отделить экземпляров, получаемых московскими книгопродавцами для пересылки в провинцию, от экземпляров, получаемых самим городом Москвою. Потому цифра экземпляров 1859 года, выставленная против Москвы, была гораздо больше количества получавшегося для самой Москвы, а по многим провинциям число было меньше действительно получавшегося, оттого что часть получавшихся там экземпляров, пересылавшихся туда из Москвы, была отнесена к Москве. В списке за 1860 год эта неточность исправлена; но она отнимает у нас теперь возможность сравнивать цифры 1859 и 1860 годов по каждой губернии и уезду. Сличение их пока остается предметом любопытства, но не может служить основанием для статистических выводов. Для выводов надобно ограничиться цифрами одного 1860 года.

Чтобы заключения наши имели основание, достаточно широкое, мы попробуем собрать губернии в несколько групп, составляемых ими по сходству местных или племенных отношений; при цифрах экземпляров, получавшихся в каждой группе губерний, мы поставим количество ее населения в круглых цифрах:

#### I. Северо-Западный Великорусский край

Губернии: Новгородская, Олонецкая, Псковская, С.-Петербургская (за исключением города Петербурга) и Смоленская.

1860 г.	Население
272	3 500 000

#### II. Литва

Губернии: Виленская, Витебская, Гродненская, Ковенская, Минская, Могилевская.

1860 г.	Население
154	5 250 000



### III. Малороссия

Губернии: Вольнская, Киевская, Подольская, Полтавская, Харьковская, Черниговская.

1860 г.	Население
759	9 500 000

### IV. Новороссия и Крым

Область Бессарабия, губернии: Екатеринославская, Ставропольская, Таврическая, Херсонская

1850 г.	Население
820	4 100 000

### V. Область, лежащая между Малороссиею и Приволжским краем

Губернии: Воронежская, Земля Войска Донского, Курская, Орловская, Пензенская, Тамбовская.

1860 г.	Население
631	9 000 000

### VI. Подмосковная область

Губернии: Владимирская, Калужская, Костромская, Московская (за исключением города Москвы), Рязанская, Тверская, Тульская, Ярославская

1860 г.	Население
666	9 400 000

### VII. Нижнее Приволжье

Губернии: Астраханская, Казанская, Нижегородская, Самарская, Саратовская, Симбирская.

1860 г.	Население
420	7 300 000

### VIII. Северо-восточный край

Губернии: Архангельская, Вологодская, Вятская, Земля Войска Уральского, Оренбургская, Пермская.

1860 г.	Население
258	7 150 000

### IX. Сибирь

Восточная Сибирь, губерния Енисейская, область Забайкальская, губернии: Иркутская, Семипалатинская (обл.), Тобольская, Томская, Якутская.

1860 г.	Население
221	3 050 000

### X. Кавказ

Губерния Дербентская, Земля Войска Черноморского, губернии: Кутаисская, Тифлисская, Шемахинская, Эриванская.

1860 г.	Население
158	2 300 000

Из этих округов некоторые разграничены от других очень естественно и правильно, — например, Литва, Новороссия с Крымом, Северо-восточный край, Сибирь, Кавказ. Другие округа сгруппированы нами теперь только по предположению, но кажется, что дальнейшая разработка литературной статистики подтвердит сделанное нами предположение о сходстве духовного развития или направления в составляющих эти округа губерниях; таковы: Северо-западный Великорусский край и Подмосковная область. Но мы не знали, как нам распределить губернии, лежащие между Малороссией и Приволжским краем, из которых мы составили отдельный округ. Отнести Пензенскую и Тамбовскую губернии к Нижнему Приволжью было бы на первый раз слишком смело, точно так же как отнести Орловскую губернию к подмосковным. Со временем, вероятно, окажется, что губернии Воронежская и Курская вместе с Землею Войска Донского должны быть по направлению духовной жизни разделены между Малороссиею и Нижним Приволжьем, к которому вполне примкнут губернии Пензенская и Тамбовская; а губерния Орловская примкнет одною частью к округу, в котором будут находиться Чернигов с частями Курской и Воронежской губерний, другая же часть Орловской губернии обнаружит подмосковный характер. Малорусский округ кажется составлен из губерний, совершенно одинаковых по массе населения, но губернии Вольнская и Подольская еще находятся под преобладанием духовной жизни, различной по своему направлению от стремлений, уже высоко развившихся в других малорусских губерниях, — доказательство тому мы увидим в следующем факте.

По числу населения губернии Вольнская и Подольская составляют целую треть всего малорусского округа; но число получавшихся в этих губерниях экземпляров «Современника», едва составляло одну десятую часть всего числа экземпляров, получавшихся в малорусском округе. Вот цифры.

	1850 г.	Население
Губернии Вольнская и Подольская .	70	4 200 000
Губернии Киевская, Полтавская, Харьковская и Черниговская . . .	689	6 300 000

Эту разницу мы никак не приписываем тому, чтобы малороссы Подольской и Вольнской губерний имели больше предпочтения к другим русским журналам, а малороссы остальных четырех губерний более предпочтения к «Современнику»; скорее следует думать, что отношение числа всех получаемых русских журналов в Подольской и Вольнской губерниях к числу получаемых остальными четырьмя губерниями таково же, как пока-

зывают цифры «Современника». Видно, что духовная жизнь в Подольской и Волынской губерниях еще имеет такой же характер, как в литовских. Действительно, пропорция подписчиков «Современника» к общему числу населения одинакова в том и другом краю — в Волынско-Подольском и Литовском.

Оставляя в стороне губернии, в которых преобладает чтение книг на польском языке, сравним округа, в которых публика, читающая журналы, принадлежит к одному племени с массою населения. Берем округа: северо-западный великорусский и новороссийский. В новороссийском округе на 4 000 000 населения получалось 820 экземпляров «Современника», а в северо-западном — на 3 500 000 только 272, — по пропорции новороссийского округа приходилось бы на северо-западный более 700 экземпляров. Отчего такая разница? Мы не имеем оснований думать, чтобы собственно «Современник», отдельный журнал, был сравнительно с другими журналами менее популярен в северо-западной Великороссии, чем в Новой России; скорее следовало бы ожидать, что другой центр периодических наших изданий, Москва, имеет на губернии соседние с Петербургом меньше влияния, чем на юг России; что пропорция петербургских журналов в общем числе выписываемых журналов значительно больше в петербургском округе, чем в новороссийском. Оно, вероятно, так и есть, но видно, что общее количество получавшихся журналов гораздо меньше по пропорции к населению в северо-западном краю, чем в новороссийском. Не знаем, справедливо ли было бы заключить из этого, что в северо-западном краю слишком мало любви к чтению, — быть может, собственно любви к чтению и не меньше в нем, но явным образом меньше в нем средств удовлетворять этой любви, меньше в нем благосостояния.

Другое дело — восточная и южная Россия (Европейская). Низовые приволжские губернии (Астраханская, Самарская, Симбирская, Казанская и Нижегородская), конечно, гораздо благосостоятельнее губерний северо-западного края (Олонецкой, Петербургской, за исключением г. Петербурга, Новгородской, Псковской и Смоленской). Но в северо-восточном краю на 3 500 000 жителей приходится 272 экземпляра «Современника», по 1 экземпляру на 13 000 жителей, а в приволжском краю на 7 300 000 жителей 420 экземпляров, то есть по одному экземпляру на 17 000 жителей. Еще меньше пропорция в северо-восточном краю (губернии Архангельская, Вологодская, Вятская, Оренбургская и Пермская), который едва ли уступает благосостоянием приволжскому краю. В северо-восточном краю на 7 150 000 населения получалось только 258 экземпляров «Современника», то есть по 1 экземпляру на 28 000 жителей. Если по другим журналам пропорция распределения между разными странами Европейской России такова же, как у «Современника», то оказывалось бы, что западная половина России имеет гораздо больше людей, чув-

ствующих потребность читать, чем восточная половина. (Разумеется, в западной половине надобно брать только те губернии, где в образованном обществе господствует русский язык: если в Литве и Волынско-Подольском крае читается мало русских книг, это потому, что лишь меньшинство образованного общества принадлежит там к русскому племени.)

Из десяти округов Российской империи, принятых нами, не все могут служить основанием для такого сравнения. В подмосковном округе пропорция петербургских журналов, конечно, меньше, чем в других; по общему счету всех получаемых журналов округ этот, конечно, оказался бы выше, чем по количеству экземпляров одного из петербургских журналов. Наоборот, конечно, происходит дело в северо-западном краю, где петербургские журналы, по всей вероятности, составляют более значительную пропорцию, чем в других округах. На Кавказе русское общество имеет, так сказать, военный и административный характер, а не характер туземный. Потому и число читателей на Кавказе очень велико по многочисленности русских офицеров, служащих там; а массу населения, состоящую из грузин, армян и т. д., несправедливо было бы принимать нормою для сравнения с русскими областями. О Литве мы уже говорили. По той же причине, по которой следует не вводить литовские губернии в сравнение с другими русскими, следует в малорусском округе считать основанием для сравнения только четыре губернии (Киевскую, Полтавскую, Харьковскую и Черниговскую), не считая губерний Волынской и Подольской. Таким образом, у нас остаются следующие цифры:

	Число экземпляров «Современ- ника», полу- чавшихся в 1860 г.	Число населения	На 1 мил- лион насе- ления полу- чалось эк- земпляров
Новороссия . . . . .	820	4 100 000	200
Малороссия . . . . .	689	6 300 000	110
Страна между Малороссиею и Нижним Приволжьем . .	631	9 000 000	70
Низовые поволжские губернии	420	7 300 000	57
Северо-восточный край . . .	2 <sup>с</sup> 8	7 150 000	36
Сибирь . . . . .	221	3 050 000	73

Мы видим в этой таблице правильное возрастание любви к чтению с северо-востока Европейской России на юго-запад.

По особенностям своей исторической судьбы Сибирь, никогда не знавшая крепостного права, получавшая из России постоянный прилив самого энергического и часто самого развитого населения, издавна пользуется славой, что стоит в умственном отношении выше Европейской России. По нашим цифрам это подтверждается, если слишком общее выражение «Европейская

Россия» мы заменим более определительным именем «Великороссия». Первое место занимает Новороссийский край, второе — Малороссия, третье — Сибирь, четвертое — юго-западная часть Великороссии, пятое место, по всей вероятности, занимает центральная Великороссия (подмосковные губернии), далее следует юго-восточная Россия, наконец, северная Европейская Россия.

Само собою разумеется, что степень верности этих выводов о разном развитии любви к чтению в разных странах Русской империи зависит от того, в какой мере общие цифры распределения журналов по губерниям соответствуют цифрам «Современника» и тем соображениям, какие кажутся вероятными относительно разности между влиянием двух главных литературных центров на разные края России.

Возвращаясь от общих выводов к подробностям, мы видим, что по числу получившихся в 1860 году экземпляров «Современника» первое место занимала, как и в 1859 году, Херсонская губерния (293); затем следовали: Харьковская (229), Полтавская (205), Екатеринославская (196), Курская (140), Киевская (133), Орловская и Саратовская (по 128), Таврическая (126), Ставропольская (124), Черниговская (122), Тульская (120), Тамбовская (109), Тверская (102).

Представим в алфавитном порядке список городов, имеющих по календарю более 25 000 жителей, с обозначением числа экземпляров «Современника», получившихся ими в 1860 году.

	Число жителей	1850 г.	1859 г.
Астрахань . . . . .	35 000	23	19
Бердичев . . . . .	50 000	4	3
Варшава . . . . .	50 000	42	30
Вильно . . . . .	45 600	18	11
Воронеж . . . . .	38 000	29	32
Житомир . . . . .	29 000	13	13
Иркутск . . . . .	25 000	41	37
Казань . . . . .	56 000	51	41
Калуга . . . . .	31 000	24	15
Кишинев . . . . .	63 000	37	19
Киев . . . . .	62 000	65	47
Курск . . . . .	40 000	39	32
Минск . . . . .	25 000	5	5
Нижний-Новгород . . . . .	36 000	25	21
Николаев (Херсонский) . . . . .	44 000	23	15
Одесса . . . . .	101 000	114	94
Орел . . . . .	35 000	40	34
Рига . . . . .	70 000	9	6
Саратов . . . . .	62 000	52	37
Симбирск . . . . .	26 000	25	26
Симферополь . . . . .	26 000	32	26
Тифлис . . . . .	38 000	52	44
Тула . . . . .	50 000	38	29
Харьков . . . . .	31 000	85	76
Ярославль . . . . .	30 000	30	35

Кроме этих городов, в следующих, не вошедших в этот список, городах выписывалось более 20 экземпляров «Современника» в 1850 году.

	1860 г.	1859 г.
Бахмут . . . . .	23	18
Екатеринослав . . . . .	31	43
Таганрог . . . . .	36	23
Новочеркасск . . . . .	49	35
Кострома . . . . .	23	17
Оречбург . . . . .	39	32
Пенза . . . . .	37	30
Екатеринбург . . . . .	24	21
Кременчуг . . . . .	26	22
Полтава . . . . .	47	40
Самара . . . . .	22	15
Ставрополь . . . . .	40	24
Керчь . . . . .	28	12
Тамбов . . . . .	39	33
Тверь . . . . .	23	9
Сумы . . . . .	21	10
Новомиргород . . . . .	24	25
Чернигов . . . . .	22	15

Прилагаемое письмо получено нами три месяца тому назад, — просим извинения у почтенного автора, что довольно долго оставалось оно ненапечатанным: нам показалось, что самое лучшее место для доставляемых им сведений будет — рядом со статьею, подобною той, которая вызвала его. Вот оно:

«Современник» в одном из первых номеров 1860 года исчислил, сколько у него подписчиков в каждом городе. При этом он выказал желание, чтобы и прочие русские журналы и газеты сделали то же. «Современник» хотел этого для того, чтобы по числу выписываемых периодических изданий можно было бы хотя приблизительно судить о степени просвещения города или уезда. На его приглашение до сих пор никто не отозвался. По-моему, вернее собрать в каждом городе в почтовой конторе сведения: какие и в каком числе получают периодические издания, и тогда, принявши в соображение местные обстоятельства и положение выписывающих, можно с большою вероятностью судить о просвещении жителей города или уезда.

Начинаю с Керчи, — быть может, моему примеру последуют и другие. Вот пред вами довольно длинный список журналов и газет, получаемых в Керчи — взгляните, каков итог? И все это количество выписывают чиновники военные и гражданские и небольшая часть купцов!! Неудивительно, если помещики в каком-нибудь уезде, как, например, в Новомосковском, по указанию «Современника», получают много журналов: они имеют и много средств. Выписывать периодические издания, уделяя на это от избытков, не значит еще, что без них мы не можем обойтись; но кто на книги употребляет часть скудного жалованья, для того они так же необходимы, как пища. Это можно сказать о чиновниках вообще; о керченских же я могу прибавить, не оскорбляя их скромности, что они, равно как и прочие жители Керчи, стоят выше других. Разоренные войной и едва кое-как устроившиеся монаршим вспомоществованием, они, как видите, выписывают по числу их, очень много журналов и газет, на сумму 3359 р. 20 к., составили общественную библиотеку для чтения и стараются об учреждении гимназии на собственный счет. Разве это не отрадное явление? разве это не просвещение или, по крайней мере, любовь к нему, стремление стать в уровень со временем, с требованиями его?..

Верьте же после этого общему мнению, что чиновники по городам только и делают, что пожилые — в карты играют, а молодежь — пляшет. Быть может, и есть такие города — Русь-магушка велика, в семье не без урода, да Керчь-то на них непохожа, хотя в ней тоже есть места для удовольствий: зимой — танцевальные вечера в английском клубе, а летом — гулянья в общественном саду и танцы в ротонде.

Г. Ап-в.

Керчь.  
20 сентября 1860 г.

### Список

журналов и газет, получаемых в Керчи

Современник . . . . .	28 экз.	Странник . . . . .	5 экз.
Отечественные записки .	17 »	Арлекин . . . . .	1 »
Библиотека для чтения .	3 »	Художественный листок	4 »
Русское слово . . . . .	4 »	Семейный круг . . . . .	4 »
Морской сборник . . . .	16 »	Калейдоскоп . . . . .	2 »
Русский вестник . . . . .	13 »	Экономический указатель	1 »
Собрание иностранных		Журнал министерства	
романов . . . . .	12 »	юстиции . . . . .	4 »
Северная пчела . . . . .	12 »	Лучи . . . . .	1 »
С.-Петербургские ведом-		Журнал для всех . . . . .	4 »
ности . . . . .	12 »	Духовная беседа . . . .	4 »
Русский инвалид . . . . .	10 »	Домашняя беседа . . . .	2 »
Коммерческая газета . .	7 »	Рассвет . . . . .	2 »
Иллюстрация . . . . .	11 »	Наше время . . . . .	3 »
Журнал для акционеров	1 »	Развлечение . . . . .	2 »
Сын отечества . . . . .	23 »	Nord . . . . .	2 »
Русский мир . . . . .	6 »	Одесский вестник . . . . .	28 »
Искра . . . . .	10 »	Военный сборник . . . . .	3 »
Час досуга . . . . .	3 »	Военные приказы . . . .	3 »
Северный цветок . . . . .	6 »	Гирлянда . . . . .	1 »
Иллюстрированный се-		Журнал для детей . . . .	1 »
мейный листок . . . . .	8 »	Журнал чтения для сол-	
Друг здоровья . . . . .	2 »	дат . . . . .	24 »
Мода . . . . .	3 »	Журнал горный . . . . .	1 »
Ваза . . . . .	6 »	Журнал для воспитания	1 »
Нувелист . . . . .	3 »		

Итого разных изданий 46. Число экзмп. 319  
На сумму 3359 р. 20 к. сер.

Как хорошо было бы, если бы последовали примеру г. Ап-ва другие лица, подобно ему имеющие в своих руках верные цифры о количестве периодических изданий, выписываемых в известной губернии или известном городе. Мы усердно просили бы их о том, как просим и г. Ап-ва, сообщить публике такой же список получаемых в Керчи периодических изданий за нынешний 1861 год.

Сделаем еще вопрос о том, нарушилась ли бы коммерческая тайна, если бы главное управление почт нашло полезным для статистики обнародовать цифры периодических изданий, пересылавшихся в прежние годы и пересылаемых в нынешнем году через посредство почты? Мы приведем один пример, показывающий,

что вопрос этот можно решить в пользу нашей мысли. Английское штемпельное бюро каждую четверть года обнародовало, какое количество листов было представляемо каждою газетою для приложения штемпеля, то есть в каком количестве листов была печатана каждая газета за эту четверть года. Мы надеялись бы, что можно обнародовать цифры о количестве пересылаемых по почте хотя тех журналов и газет, издатели которых выразят свое согласие на такое обнародование. Если бы исполнение такой мысли оказалось возможным, то, конечно, следовало бы печатать не одну общую цифру для всей империи, а подробные списки по уездам, как сделали мы, или, по крайней мере, по губерниям и областям. Очень важны были бы также сведения о распределении числа выписываемых экземпляров по сословиям подписывающихся лиц. Петербургский и московский почтамты едва ли имеют в своих канцеляриях точные данные об этом, потому что у кого из нас не выставляется на адресе «его благородию» или «его высокоблагородию» или кто разберет, какого сословия эти лица, сливающиеся в общем обозначении «благородий и высокоблагородий»? Но провинциальные почтамты могут иметь точные сведения о распределении периодических изданий по сословиям, потому что и в губернских, не только в уездных, городах звание каждого лица известно каждому. Но так как точность подобных сведений зависит уже вполне от внимательности собирающего их лица, то это дело необходимо предоставить личному сознанию чиновников каждого провинциального почтамта о статистической важности подобных сведений: официальным запросом тут нельзя получить основательных ответов. Лучше пусть будут доставлены точные сведения о сословиях лиц, получающих журналы и газеты в некоторых городах, чем добиваться неточного итога по всем городам.



## БИБЛИОГРАФИЯ

<«ИЗ № 1 СОВРЕМЕННОКА»>

**Политико-экономические письма к президенту Американских Соединенных Штатов. Г. К. Кэри.** Перевод с английского

Читателю известно, что наши протекционисты имеют своим центром Москву; известно также, что, благодаря нынешним просвещенным обычаям, протекционисты прибегают между прочим и к помощи так называемой у нас гласности. Вот таким образом, конечно, произошел на свет и русский перевод писем Кэри к президенту Соединенных Штатов. Американский экономист усердно доказывает в этих письмах, что протекционизм спасителен для нации, а всякое ослабление протекционного тарифа непременно бывает губельно.

Читателю известно, что если в чем другом и имеет Россия недостаток, то уже никак не в знаменитых экономистах. Гг. Безобразов, Бунге, Вернадский, Ржевский и Молилари, которого мы также можем считать чисто русскою знаменитостью, — все это такие ученые, которые славны от Лапландии до Чукотского Носа. Этим замечательным мыслителям мы можем предоставить интересный труд опровергать заблуждения не менее замечательного мыслителя Кэри. Мы сами, вовсе не сочувствуя протекционизму и полагая, что теория свободной торговли гораздо более соответствует выгодам наций, никогда не имели счастья находить, что хлопоты о низком тарифе должны быть для нас предметом перво-степенной важности при нынешнем положении дел<sup>1</sup>. Есть для России десятки экономических потребностей более важных. Пусть же ратуют в защиту свободной торговли знаменитые ученые, не имеющие других забот, а нам много хлопотать о ней уже не приходится, когда она имеет столько прекрасных защитников.

Мы хотим заняться книжкою Кэри не для того, чтобы изобличать фальшивость протекционизма. Русский перевод брошюры

Кэри возбуждает в нас охоту сделать два-три замечания несколько иного рода.

Как ни знамениты у нас наши отечественные экономисты, но есть писатели в том же вкусе, пользующиеся у нас еще большим авторитетом. Давно уже гремит между нами слава великого Бастиа. Недавно стал появляться на русском горизонте достойным соперником его Кэри, у которого Бастиа позаимствовался своими знаменитыми мыслями против теории ренты Рикардо. Мы видели на обертке одного из лучших наших журналов статью о Кэри, писанную одним из лучших наших экономистов. Что такое говорилось в этой статье, мы не можем, к сожалению, сообщить читателю, потому что прочесть статью нам не удалось; не можем сказать даже, каков именно был объем статьи, потому что в руки нам попался только один номер этого журнала, где находилась только часть статьи<sup>2</sup>. Но, во всяком случае, статья была не малого размера; значит, и Кэри представлялся одному из лучших наших экономистов мыслителем не малой важности, — иначе и не потратил бы один из лучших наших экономистов стольких трудов на ознакомление русской публики с его трудами. По всей вероятности, судьба предназначала американскому экономисту пользоваться таким же уважением у нас, какое приобрел знаменитый американский публицист г. Матиль<sup>3</sup>. Но вот московские протекционисты погубили бедного Кэри.

Есть мыслители, не признающие абсолютного значения теории свободной торговли. Но эти мыслители не принадлежат к школе Адама Смита<sup>4</sup>. Основная идея их гораздо шире воззрений Адама Смита. Если же держаться принципов Адама Смита, то нет возможности быть протекционистом. Теория свободной торговли так ясно и прямо вытекает из общих воззрений, принимаемых вами в этом случае, что вам не остается никаких сомнений в ее безусловном достоинстве. Можно не быть лютеранином и в таком случае можно, не греша против логики, отвергать многие из выводов, сделанных Лютером. Но быть лютеранином и в то же время признавать власть папы, — это уже дело, несогласное с здравым смыслом. Вот точно в таком умственном положении находится Кэри. Посмотрите вы на него: он с головы до ног последователь Адама Смита и в то же время протекционист. Каким манером могла сложиться такая нескладница в голове Кэри? и каким образом мыслитель такого свойства мог приобрести репутацию замечательного экономиста? Объяснение очень просто, и мы уже не раз давали его: школа, к которой принадлежит Кэри, отжила свое время. Люди с сильным логическим умом пошли по другому направлению, за исключением одного Милля, который усиливается вложить новые стремления в рамку прежней доктрины и потому стоит одиноко между людьми, ре-

шительно отсталыми, и людьми, решительно идущими вперед. Благодаря такому обстоятельству Кэри оказался одним из замечательнейших нынешних последователей Адама Смита, как Джемс оказался одним из лучших нынешних романистов, продолжающих писать романы вроде Вальтера Скотта.

Но бог с ним, с самим Кэри; пусть он будет протекционистом, если ему вздумалось. Могут претендовать на это наши знаменитые экономисты, а нам огорчения от того мало. Мы лучше возьмем забавную сторону его книги. Цель он поставил себе очень высокую: «исцеление многообразных недугов, от которых» северо-американское «общество так сильно страдает в настоящее время» — точь-в-точь как наши знаменитые экономисты. Картину этих многообразных недугов он представляет очень яркую. «Не дальше, как лет десять тому назад, — говорит он, — Северо-Американский Союз пользовался необыкновенною славою в целом свете. Теперь, — книга писана в конце 1857 и начале 1858 года, — теперь, говорит он, не то» и продолжает очень сильно и эффектно. Прогрессивные люди в Европе, так восхищавшиеся Северо-Американскими Штатами, с такою гордостью ставившие их в пример всем европейским нациям, смущены и скомпрометированы слабостями, какие обнаружилились в их идеале:

Везде, куда я ни обращался, слышал постоянно возрастающее опасение за нашу будущность между мыслящими людьми, питавшими доселе надежду найти в Новом Свете осуществление своих любимых планов о прогрессе человечества. С беспокойством смотрят они через океан, страшась ежеминутно услышать о новых, ужаснейших мятежах, новых междуусобицах, новых нарушениях народных прав, новых разбойнических экспедициях, новых грабительных войнах. А между тем не более как за десять лет было совсем иначе; и назвали бы лжепророком всякого, кто осмелится бы сказать,

Что в течение одного десятилетия обыкновенное содержание союзного правительства в мирное время достигнет семидесяти миллионов долларов, — впятеро более того, сколько тратилось на него за тридцать лет назад;

Что получатели этой огромной суммы, поставщики, чиновники и почтмейстеры, принуждены будут за свои места платить формальный и правильный оброк определяющему их или заключающему контракт с ними начальству;

Что взнос оброка чиновниками сделается необходимым условием существования их в службе;

Что, соответственно с этим оброком с «служебных чинов», непомерно увеличится их жалованье, и таким образом государственное казначейство должно будет действовать для личных целей и расплачиваться за частные выгоды;

Что централизация усилится до того, что исполнительная власть осмелится диктовать всему служебному корпусу, состоящему, по крайней мере, из шестидесяти или восьмидесяти тысяч лиц, все мысли относительно общественных интересов;

Что постоянно возрастающие затруднения к приобретению средств жизни, независимо от правительства, и постоянно возрастающее жалованье на общественной службе поведут к увеличению числа искателей этой службы и к порабощению их тем, для чьего удовольствия заведены всякие комиссии и канцелярии;

Что исполнительная власть будет диктовать членам конгресса такой или другой образ действия в общественных вопросах и будет всенародно провозглашать, что публичные должности будут «жаловаться» только тем, кои согласятся действовать в полном согласии с ее видами и планами;

Что непрестанно возрастающее нравственное рабство породит убеждение, что «краугольным камнем» всех политических учреждений нашей страны непременно должно быть материальное порабощение рабочего класса;

Что распространение рабства в мире сделается главною целью правительства, и что в этих видах будет отменен им важный указ 1787 года, послуживший основанием «миссурийскому соглашению»<sup>5</sup>;

Что в тех же видах трактаты с бедными остатками туземных племен будут нарушены;

Что в тех же видах новые войны будут поджигаться, новые грабежи поощряться, новые территории покупаться;

Что исполнительная власть до такой степени усилится, что самовольно будет вызывать на войну соседей с целью обобрать слабейших из них;

Что пред целым светом она осмелится провозглашать возмутительное «право сильного», и что во имя этого права Союз не постыдится отнимать насильно владения у тех, кои не согласились бы их продать;

Что воскресающий торг рабами найдет себе открытых защитников, и что первый шаг к нему сделает гражданин Соединенных Штатов, отвергая все запрещения, изданные против него правительствами центральной Америки;

Что запрещения правительства центральной Америки против рабства мы будем считать прямым нарушением мирных трактатов;

Что исполнительная власть одного из самых влиятельных штатов будет предлагать замену свободного труда невольничим для всех низших общественных занятий;

Что Союз, единственно из опасений расширения границ на севере, непрестанно будет домогаться новых территорий на юге и тем совершенно извратит стремления и интересы народа;

Что открыто будут говорить, что должно искать свободного плавания по бразильским рекам — миром, если можно, и силой, если нужно;

Что следствием такой политики, даже в настоящее время, будет полное отчуждение от нас всех народов Нового Света;

Что все законодательство страны почти вполне подпадет под контроль судоходных, дорожных и других обществ, и что сами законодатели будут иметь добрую долю в огромных капиталах и землях, коими наделяются правительством учредители этих обществ;

Что будет учреждена «третья палата конгресса из привилегированных членов», занимавших прежде высшие законодательные и исполнительные должности, обладающих, как выражается полковник Бентоп, «самыми действительными средствами для умиротворения и соглашения интересов» и таким образом обеспечивающих пропуск всякого билля, за который будет щедро заплачено;

Что централизация возрастет до такой меры, что управление одного города будет стоить почти столько же, сколько за тридцать лет назад стоило содержание всего Союза;

Что распоряжение городскими доходами и охранение городского благоустройства будут поручены таким людям, коим приличнее бы быть в тюрьме или в рабочем доме;

Что прения о распределении этих доходов дойдут до такой ожесточенности, что спорящие стороны будут покупать голоса по неслыханным ценам и что самые выборы будут совершаться при помощи кинжалов, пистолетов и даже пушек;

Что закон Линча найдет себе свободный доступ в сенат; что в южных штатах он совершенно займет место многих постановлений конституции; что в одном из штатов гражданская власть будет совершенно уничтожена; что право штатов запрещать и преследовать рабство в своих пределах будет оспариваться с настойчивостью, заставляющею опасаться скорого и полного его уничтожения; что все определения верховного совета, в течение шести-десяти лет благоприятствовавшие свободе, в настоящее время будут заменены другими, имеющими совершенно противоположное направление; что правила систематического предательства и лжи будут приняты союзными советами в

основание своих действий; и что, таким образом, права граждан будут страдать от непомерного расширения власти закона, с одной стороны, и от усвоения «права сильного» — с другой;

Что многоженство<sup>6</sup> будет идти рука об руку с невольничеством и что правила многоженства будут открыто проповедываться людьми, занимающими важные посты в союзном правительстве;

Что приличия, нравственность и дарование перестанут считаться необходимыми требованиями от представителей Союза в иностранных державах;

Что религиозные распри возрастут до такой меры, что вопрос о личных религиозных убеждениях кандидата на президентство сделается одним из важнейших государственных вопросов;

Что распри между северными и южными штатами едва не превратятся в открытое междоусобие, постоянно питаая в них стремление к совершенному распадению; и наконец, —

Что Германия в том виде, как она была раздроблена до таможенного Германского союза (Zoll-Verein)<sup>7</sup>, снова готова повториться в Новом Свете, и что по распадении Союза многие из распавшихся частей его сделаются жалкими орудиями чужих держав. Печальная картина!.. Несколько лет назад никто не поверил бы, что хотя одна черта ее возможна; а теперь все они, исключая последней, существуют действительно.

Для придания окончательной эффектности очерку «многообразных недугов» теперь исполняется и последняя черта: невольнические штаты грозят расторжением Союзу.

Говоря по совести, «печальная картина» значительно утрирована. Правда, что расходы союзного правительства значительно возрастают; но богатство Союза возрастает еще быстрее, так что каждому жителю приходится теперь жертвовать на союзные расходы меньшую долю своего дохода, чем тридцать лет тому назад. Правда, что из жалованья чиновников союзного правительства делается определенный вычет на издание газет и прокламаций партии, держащей в своих руках правительственную власть; но ведь эти чиновники — люди господствующей партии; ее торжество доставило им должности, с ее падением они будут замещены людьми другой партии, и, давая часть своего жалованья в распоряжение комитетов своей партии, они только дают свою долю в складчину, какая делается всеми людьми партии, и должностными, и недолжностными, для достижения общих целей партии. Конечно, употребляют часть доходов со всего общества на пользу одной половины общества — обычай, нимало не похвальный. Но в нем нет ни воровства, ни утайки: дело производится публично, по общему согласию всей господствующей партии, и другая партия поступает точно так же, когда получает власть; в извинение надобно прибавить, что господствующая партия составляет большую половину нации, — каждая партия только тогда и достигает господства, когда привлекает на свою сторону большинство нации. Словом сказать, обычай дурен и надобно искоренить его; но существование дурного обычая в известной нации еще ничего не доказывает — мало ли сколько дурных обычаев есть у каждой нации? Дурной обычай не мешает людям вообще оставаться хорошими людьми. Притом, в те самые годы, которые

облакивает Кэри, образовалась и стала быстро усиливаться партия, поставившая себе целью искоренение этого обычая и всех действительных недостатков из числа фактов, перечисляемых Кэри в его очерке. Теперь эта партия уже достигла власти<sup>8</sup>. Посмотрим, что из этого будет; но уже наверное не падает нравственный уровень и гражданская жизнь в том обществе, где общественное мнение так быстро доводит до власти людей, считаемых бескорыстнейшими и честнейшими.

Правда, что все чиновники союзной власти содействуют планам своей партии, или, по выражению Кэри, «исполнительная власть диктует всему служебному корпусу мысли относительно общественных интересов»; но ведь эти чиновники — второстепенные деятели той самой партии, предводители которой составляют исполнительную власть: что ж удивительного, если мелкие агенты партии ждут программы для своих действий от предводителей своей партии? Но вот уже совершенные пустяки, будто бы в Соединенных Штатах становится трудно приобретать средства жизни иначе, как государственною службою: легковверный Кэри хватил через край, приняв за чистую монету утрированный вздор, говорящийся с полемическою целью. Напротив, государственная служба наименее выгодна из всех карьер в Соединенных Штатах. Можно разбогатеть там на всякой карьере, но еще не было ни одного примера, чтобы разбогател кто-нибудь государственною службою. Масса второстепенных должностей, не требующих ничего, кроме механического прилежания, занимается там людьми, которые по недостатку способностей и энергии не могли найти себе выгодного дела; важные должности занимаются людьми, которые прямо жертвуют своими денежными выгодами или честолюбием, или патриотизму. Не дальше как в конце прошлого года губернатор, то есть верховный правитель одного из богатейших штатов, отказался от правительственной власти, чтобы сделаться управляющим делами одной, не очень важной железной дороги: «семейство мое стало велико, — сказал он, — и я должен обеспечить кусок хлеба своим детям, потому не могу оставаться правителем своего штата».

Дальше следует у Кэри ряд справедливых порицаний: правительство Северо-Американского Союза действительно покровительствовало распространению невольничества, провозглашало «возмутительное право сильного», отнимало области у слабых соседей, — но кому же неизвестно, чье коварство тут действовало? Все это делалось плантаторами, которые успели подчинить своим требованиям демократическую партию; масса демократической партии, состоящая из людей простодушных, была вовлечена в ошибку патриотизмом: она делала уступки плантаторам, чтобы плантаторы не делали попыток к расторжению Союза, и довольно долго не понимала, куда ведут ее плантаторы. Но зато демократическая партия, еще недавно бывшая столь популярною,

теперь пала: масса начала покидать ее, как только заметила, что демократическая партия служит орудием плантаторов.

Затем следуют опять пустяки, легковерно перенесенные в серьезную речь из утрированной полемики. В числе трехсот человек какого бы то ни было общества всегда найдется три-четыре человека не совсем чистого характера; в американском конгрессе также нашлось три-четыре человека, продававшие свой голос промышленным компаниям. Из-за этого поднялся страшный крик, и поднялся справедливо. Но если факт был гнусен, то никакого политического значения не имел он: представители, низость которых была изобличена, всегда были людьми ничтожными, не пользовавшимися никаким влиянием в конгрессе.

Кэри говорит о расточительности по городскому управлению, о том, что городские должности попадают в руки людей нечестных: это относится собственно к Нью-Йорку, но город Нью-Йорк находится под влиянием совершенно исключительных обстоятельств. Он служит центром торговли с плантаторскими штатами. Купцы, ведущие южную торговлю, запуганы плантаторами, говорящими, что прекратят с ними дела, если они не будут агентами плантаторской партии на выборах; благодаря этому плантаторская партия господствует на нью-йоркской бирже. Биржа, разумеется, имеет сильное влияние на городские выборы. Честные люди не соглашаются служить плантаторской партии; потому нью-йоркская биржа должна довольствоваться услугами авантюристов, на проделки которых принуждена смотреть сквозь пальцы. Но Кэри должен был знать, что с каждым годом усиливается в городе Нью-Йорке партия, противная плутням агентов плантаторской партии, так что если городские дела издавна управлялись дурно, то все-таки с каждым годом приближается конец этому дурному хозяйству.

«Закон Линча», то есть наглое насилие, кулачное право, нашло себе «свободный доступ» в сенат, — это относится к знаменитой сцене, когда плантатор Брукс в зале сената сбил с ног и едва не убил сенатора Сёмнера; но ведь в это время зала была совершенно пуста, — разбойник напал на безоружного человека в пустынном месте; что тут удивительного? — удивительно было бы разве то, что плантаторская партия восхищалась поступком Брукса; но надобно знать отчаянное положение плантаторской партии, тогда будет понятно, что она прибегает к неистовствам. Поступок Брукса и другие отвратительные действия плантаторской партии, шумом которых наполнялись последние годы в Соединенных Штатах, служат только вернейшими признаками того, что плантаторская партия стала в эти годы предчувствовать свое искоренение: видно, что опасность близка и страшна, когда начали забывать всякую благопристойность, кричать и драться, подобно бешеным, люди, хвалящиеся своим происхождением, изяществом своих манер, утонченностью своих нравов. Интересным

примером неразборчивости Кэри в составлении картины североамериканских «недугов» служит порицание североамериканцев за то, что явились между ними мормоны, допускающие многоженство. Но известно, какую страшную ненависть обнаружило к ним все североамериканское население за этот догмат. Негодование было так велико, что довело североамериканцев до нарушения коренного их принципа веротерпимости и до жестоких преследований: основатель мормонства был убит ожесточенным народом, последователи его уже два раза были изгоняемы из пустынь, в которых думали найти себе прибежище, и в последнее время думают вовсе покинуть Соединенные Штаты: хотя тысячи верст отделяют мормонское царство от самых передовых североамериканских поселений, негодование нации так сильно, что теснит мормонов в их почти неприступном убежище. Винить североамериканцев за мормонство — то же самое, что винить за склонность к жидовству Тараса Бульбу с его льцарями. Напротив, скорее можно было бы осудить североамериканцев за то, что благородное чувство негодования на дикий принцип мормонства увлекло их до свирепостей, не имеющих себе оправдания.

Преувеличения, очень естественные и потому извинительные в полемике, совершенно не идут к ученому исследованию. Положим, что Кэри печатал свои письма в газете; но ведь он все-таки хотел явиться в них не памфлетистом, а серьезным ученым. Как же он не разобрал, что утрировка, составляющая силу памфлетиста, лишает силы ученое исследование? Картина многообразных недугов, им нарисованная, изображает каждую муху в величине слона. Но должно сказать, что капля правды, раздутая им в колоссальный мыльный пузырь, все-таки остается правдою, хотя пузырь и лопается от малейшего дуновения. В государственных делах Северо-Американского Союза действительно есть много дурного. Североамериканские патриоты справедливо надеются, что скоро очистят свою страну от пятен, марающих ее; но никто из них не отрицает, что до сих пор было на ней довольно много очень грязных пятен.

Что же тут забавного? скажет читатель. Кто, кроме врагов прогресса, может забавляться тем, что великая и благородная нация еще имеет много унизительных недостатков в общественной жизни и встречает много затруднений в своих усилиях искоренить их? Это нимало не забавно.

Да разве мы-то говорили, что забавно положение североамериканских дел? Мы говорили, что очень забавна книга Кэри. Вообразите себе, от какой причины производит он все оплакиваемые им бедствия, каким лекарством думает исцелить все их, — обладайте вы догадливостью самого Эдипа, вы никак не разгадали бы, если бы не попадалось в начале нашей статьи слово «протекционист». Оно, конечно, навело уже вас на мысль, что проницательный Кэри все бедствия приплетает к низкому та-



рифу, а все блага связывает с высоким тарифом. Вы угадали, но сами вы не поверите, до какой уморительной точности верна эта разгадка: кажется, будь человек ослеплен до какой угодно степени, все же он не мог бы забыть, что существуют в Соединенных Штатах и другие причины недостатков, нужны и другие средства к их отстранению, кроме таможенных мер. Кэри не замечает ничего. Тариф для него — альфа и омега всех вопросов; он, кажется, готов лечить тарифом лихорадку, возвращать молодость старухам и давать гений идиотам.

С первого же взгляда каждому, не помешанному в уме человеку видно, что во всех затруднениях и недостатках Соединенных Штатов главная причина, а в большей части даже единственная причина — невольничество. Пока не поднялся вопрос о его уничтожении в плантаторских штатах, плантаторы в сношениях с другими гражданами умели держать себя благопристойно. Но дело переменялось с той поры, как они заметили, что свободные люди северных штатов увидели надобность позаботиться об уничтожении невольничества и в южных штатах, — позаботиться об этом не в интересе одних негров, а также и в собственном интересе, и в интересе массы свободного белого населения южных штатов. Поддерживая свои выгоды, противоположные выгодам массы белого населения самих южных штатов, плантаторы понимали, что спор решился бы очень быстро, если бы они стали ограничиваться одними законными средствами для своей защиты: масса белого населения южных штатов, находившаяся в глубоком невежестве, почувствовала бы надобность в образовании, когда люди северных штатов стали бы объяснять ей, что при невежестве будет она оставаться в зависимости от плантаторов, а зависимость эта держит ее в нищете, потому что свободный работник не может пользоваться благосостоянием, имея раба своим соперником в работе. Таким образом, плантаторы были принуждены прибегать к насильственным средствам, чтобы держать массу белого населения своих штатов в невежестве. Они стали запрещать газеты и популярные книги; они стали стеснять школьное преподавание в своих штатах. Невежество само по себе — дело не очень хорошее; но если люди остаются невеждами просто по обстоятельствам, это еще далеко не имеет на них такого дурного влияния, как то, когда они преднамеренно, искусственно удерживаются в невежестве чужим расчетом: натуральное (если можно так выразиться) невежество — зло ничтожное в сравнении с насильственным невежеством. Плантаторы стали предводителями грубых головорезов, которых по своему расчету сделали головорезами, и сами обратились в турецких пашей. Но насильственное подавление всякой образованности, всякой самобытности, всякой честности в белых людях южных штатов было для плантаторов еще недостаточною гарантиєю существования. Свободные штаты имеют огромный перевес по населению, а союзная

власть дается большинством на выборах. Плантаторам нужно было привлечь на свою сторону такое меньшинство в северных штатах, чтобы голоса этого северного меньшинства в соединении с голосами южных штатов составляли большинство. Партия, порабощающая белое население в своих штатах, конечно, не могла найти честными средствами союзников себе в населении северных штатов, где каждый дорожит свободой, — надобно было употребить другие средства: коварство и подкуп. Вот источник всех злоупотреблений, о которых говорит Кэри. Огрубевшие в своих нравах, привыкшие к бесстыдным подкупам, ожесточенные опасениями за свое существование, плантаторы посылали в сенат Союза и в палату представителей таких депутатов и сенаторов, которые были достойны своих доверителей. Вот источник отвратительных сцен в северо-американском конгрессе. Прочтите протоколы заседаний, — вы увидите, что прибежали к ругательствам, хватались за палки, ножи и пистолеты всегда люди одной партии — плантаторской партии. Это естественно; и, кажется, довольно ясно каждому, в чем может состоять единственное средство к очищению конгресса от отвратительных сцен, к очищению выборов от подкупов, к очищению правительства Соединенных Штатов от низких злоупотреблений. Как вы полагаете, в чем состоит оно? в том ли, чтобы свободные люди Соединенных Штатов, убедившись в несовместности свободы с невольничеством, вырвали власть над Союзом у плантаторов, как теперь и решились они сделать? «Нет, — говорит Кэри, — нет, не то; вся беда от низкого тарифа, а спасение в протекционизме!»

Что за дичь! Надобно прибавить: и притом такая дичь, которая могла сложиться только в голове, организованной довольно слабо. Помешательству подвергаются иногда и умнейшие люди; но в самом бреде их бывает замечен след прежней логической силы. Пунктом сумасбродства бывает у них какая-нибудь живая, великая идея. Но помешаться на мысли, далеко не имеющей в себе первостепенного значения, может лишь человек довольно мелкого ума.

Если бы Кэри был человек гениальный, объяснить его монамию можно было бы какими-нибудь личными его обстоятельствами. Но люди такого ума, как он, не бывают изобретательны: им не приходит в голову новых самобытных идей; они могут только перетолковать чужие мысли, — прочтет что-нибудь, не поймет хорошенько и пошел писать в защиту непонятого, если не имеет претензии на оригинальность, или в опровержение непонятого, если имеет такую претензию. Кэри хочет быть оригинальным, и поэтому вздумалось ему опровергать теорию ренты Рикардо, которой, по свойству подобных ему мыслителей, он и не понял хорошенько<sup>9</sup>. Почему вздумалось ему трудиться над теорией ренты, объяснить не трудно: теория эта занимает очень важное место в системе политической экономии; она — один из

самых коренных принципов этой науки. Не нужно никакой особенной изобретательности, чтобы увидеть важность этого предмета: она давно поясняется всеми экономистами.

Но неужели Кэри сам придумал давать такое громадное значение тарифному вопросу? Неужели он сам мог сообразить, что таможенные пошлины — краеугольный камень всей общественной жизни, что от хорошего тарифа происходят все экономические и человеческие блага, от дурного тарифа порождаются все «многообразные недуги» общества? Нет, помилуйте! куда же ему изобретать такие перестройки в науке. Выдвигать на первый план в системе воззрений идею, которой другие не придавали первостепенного значения, — ведь это значит сообщать науке новое направление — справедливое или ошибочное, но все-таки новое. А чтобы дать новое направление науке, на это требуется гениальный ум. У Кэри не оказывается не только гениальной, а даже и очень обыкновенной логической силы. Если он поставил верховным вопросом общественной жизни таможенный вопрос, то уже, конечно, не по своему изобретению, а понаслышке от других.

От кого же бы мог он об этом наслышаться? Вот тут-то и обрушивается грех великий на тех западных экономистов, по книжкам которых преподают нам мудрость наши знаменитые экономисты. Они ввели в беду своего товарища Кэри; это они завели моду убиваться больше всего о тарифе, сводить всю науку и всю национальную жизнь к таможенному вопросу. Покайтесь! — сказали бы мы западным экономистам, если бы до них мог доходить голос русской литературы, столь преуспевающей в последнее время и столь сильно занимающей собою весь просвещенный мир (ведь наши экономисты уже председательствуют на статистических съездах Западной Европы<sup>10</sup>, ведь корреспонденты французских газет с глубокомысленными замечаниями передают Европе содержание наших газетных статей о разных политических вопросах; а английские газеты так-таки прямо переводят наши русские руководящие политические статьи, и сам бранчивый «Times» не раз умилялся, хваля успехи нашей гласности). Но нет, еще не изучают сильную и звучную русскую речь западные народы, не дойдет до слуха западных экономистов наше смелое изобличение (смелое оно потому, что высказывается собственно в надежде: «не услышат его те, к кому оно относится» — смелость, принадлежащая всей русской литературе). Итак, обратим голос наш к нашим знаменитым экономистам за неимением других слушателей и воскликнем: «покайтесь! посмотрите на Кэри и покайтесь! не смешон ли он?» Чем же он смешон? Не тем, чем отличается от вас, — не тем, что хлопочет о высоком тарифе, когда вы хлопочете о низком тарифе, — нет, тем, в чем сходится с вами, чем позаимствовался у ваших учителей, — тем, что, не замечая истинных причин зла, не думая об истинных средствах

к его отстранению, сосредоточил всю свою мысль на вопросе, далеко не имеющем для государства и для науки первостепенной важности.

Поставление таможенного вопроса выше всего на свете, забвение из-за пристрастия к этому вопросу о самых очевидных и гораздо более важных фактах, о настоятельнейших потребностях общества, — вот что делает Кэри мертвым схоластиком, тупым мономаном. Кредит и заграничная торговля, биржа и банк, курс и фонды — вот заколдованный кружок, ограничившись которым ученый теряет всякую возможность понимать общественное положение, важнейшие национальные нужды, все живые факты и живые мысли.

А собственно то, что Кэри — противник слишком низкого тарифа, еще не большой грех в американском писателе, враждебном невольничеству. По правде говоря, мы сами, при всем нашем теоретическом убеждении в превосходстве свободной торговли, чуть ли не пожертвовали бы этим ученым принципом и стали бы требовать довольно высоких таможенных пошлин, если бы жили в Соединенных Штатах. Дело тут вот какого рода. Таможенные пошлины служат, можно сказать, единственным источником доходов северо-американского союзного правительства. Другие отрасли его доходов, в том числе и продажа земель, совершенно ничтожны, так что в союзном бюджете не произошло бы никакой заметной разницы, хотя бы их вовсе и не было. Что же теперь выходит? Когда издавался тариф, соответствующий принципу свободной торговли, в союзном бюджете каждый раз происходил огромный дефицит. Между тем пошлины не очень тяжелые, но не соответствовавшие принципу свободной торговли, каждый раз давали союзным финансам такое процветание, что за покрытием всех расходов оставался ежегодно большой излишек на выкуп государственных долгов. Решение ясно: принцип свободной торговли драгоценен, но хороший порядок в государственных финансах еще драгоценнее; потому, пока союзное правительство будет нуждаться для своего процветания в тарифе довольно высоком (впрочем, вовсе не обременительном), — нечего делать, нужен в Соединенных Штатах довольно высокий тариф. Когда дела переменятся, когда окажется возможность обойтись без него, — ну, тогда и прекрасно, тогда действуйте по принципам свободной торговли\*.

Есть другое обстоятельство, уже совершенно чуждое финансовым соображениям, но еще более важное. Коренное зло в Соединенных Штатах — невольничество. Главною опорой партии, стремящейся к уничтожению невольничества, служат штаты Но-

---

\* Для смягчения экономических сердец сделаем оговорку. России свободная торговля, конечно, была бы выгодней даже и в таможенном отношении. Нашему государству нет надобности в высоком тарифе.

вой Англии<sup>11</sup>. Эти штаты требуют протекционных пошлин. Очень может быть, что они в этом случае заблуждаются, что протекционные пошлины на самом деле не нужны для них, но что же делать? Можно, если хотите, стараться вывести Новую Англию из ее заблуждения; но пока она держится его, надобно принимать и эту, может быть, неудовлетворительную, может быть, несколько даже вредную, черту ее программы ради того, что существенная черта программы — враждебность невольничеству — справедлива, благотворна и своею важностью для государственной жизни в миллионы раз превосходит все остальные общественные вопросы. Кто чем грешит в практике, часто восстает против того же самого в теории, вроде г. Кокорева, беспощадно изобличавшего откуп<sup>12</sup>. Писатели, которые самую святою истиною, самыми неизбежнейшими логическими требованиями жертвуют пустейшему фактическому затруднению, преследуют правду, если она кажется неудобна, уже готовы воскликнуть с негодованием: «вы признаете гибельный и малодушный принцип, что следует иногда уступать заблуждению и ставить финансовый расчет выше научных требований». Точно так, иногда следует, — надобно только разбирать, какая общественная потребность какой теоретической жертвы требует: превышает ли пожертвование выгодой для общества, то есть в результате и для самой науки, потому что общественный успех ведет и к научному успеху. Надобно иногда становиться товарищем человека, имеющего какое-нибудь ошибочное требование, если с тем вместе он имеет другое, справедливое и несравненно важнейшее требование. Безусловной, всесторонней истины не бывает ни в каком факте, ни в какой партии, ни в какой программе. Старайтесь только выбирать, какой факт, какая программа заключают в себе наименее неправды и наиболее справедливости, — и, выбрав, уже прилепйтесь к ним всею душою; как в частной вашей жизни, если вы не бездушный человек, любите же вы горячо некоторых людей, хотя в каждом из них наверно есть не совсем нравящиеся вам стороны. Какое вам дело до этих недостатков? Вы любите не за них, а за достоинства, и ради достоинств человека, имеющего множество недостатков, вы готовы бываете делать для него все, не жалеть и самой вашей жизни. Все хорошо до известной меры, например, хотя бы и готовность жертвовать собою для любимого человека: если вы броситесь в омут для исполнения каприза любимой женщины, это будет глупо и в сущности даже очень преступно; но другое дело, если вы жертвуете собою, чтобы дать ей счастье или спасти ее жизнь. Так и в разборчивости насчет общественной справедливости и несправедливости известной программы — тоже должна быть своя мера: излишняя щепетильность тут смешна и даже бывает очень часто преступна, хотя до известной степени следует быть разборчивым. «Он не хочет свободной торговли, потому я не должен быть его партизаном, хотя

без него ничего нельзя мне сделать против невольничества», — да ведь это все равно, что сказать: «он хочет от меня грошового пожертвования, потому не сделаюсь я компаньоном его, хотя товарищество с ним обогатит нас обоих». Нет, не так рассуждает человек умный и действительно желающий пользы: пусть он рассчитывает как можно строже, но если в общем свODE окажется перевес пользы, он пойдет на все. Были люди, которые не смущались не только какими-нибудь пустяками, — которые не жалели даже своей репутации, обрекали свое имя на позор в устах всех так называемых благородных людей, когда того требовала общая польза. «Да что же это за люди такие?» — спросите вы. А вот можно рассказать вам, что я вчера видел.

Живет молодая вдова, красавица, какой другой не видывали люди. Она страстно любила своего мужа, все мысли ее — печаль о нем. Нет в обществе ни одного человека, который не преклонялся бы перед ее непорочной чистотой. Эта женщина исчезает. Где она? А вот где: среди шумной толпы беспутных пьяниц и погибших женщин она сидит подле какого-то господина, который, как видно, богаче и знатнее всех; она ласкается к нему и так успешно завлекает его в свои сети, что прежняя любовница этого господина уже брошена: она уже занимает место этой погибшей девушки. Хорошую репутацию составила себе скромная вдова! Она не может себя обманывать насчет того, как думают о ней не только честные люди, но и несчастные существа, презираемые всеми: прямо в глаза ей высказываются это в самых резких и, к несчастью, правдивых словах жалкою девушкою, карьере которой перебила она: «меня довела до унижения судьба, я опозорена без моей воли», — говорит эта девушка своей счастливой сопернице: «а ты сама, добровольно предпочла позор честной жизни; ты добровольно предалась разврату: он приятен тебе; ты презреннее меня». Вот входит старик, знавший нашу вдову, когда она являлась для всех образцом безукоризненной чистоты, он видит ее в руках пьяного, грубого богача, которому она расточает свои нежности, — этот старик, который так уважал ее и слова которого всегда принимала она с благоговением, проклинает ее. Что ж такое? Конечно, не легко переносить ей этот позор; но действительно она добровольно подверглась ему; она вперед знала, что запятнает свою честь, — и не пожалела запятнать ее...

— Какою новостью вздумали вы занять нас! Вы рассказываете драму «Юдифь», в которой весь Петербург видел игру Ристори<sup>13</sup>.

— Разумеется. Я хотел только заметить, что Юдифь поступила не дурно. Не очень часто встречаются обстоятельства, требующие таких же страшных жертвований от человека, желающего быть полезным обществу; но постоянно через всю гражданскую жизнь каждого человека тянутся исторические комбинации, в которых обязан гражданин отказываться от известной доли

своих стремлений для того, чтобы содействовать осуществлению других своих стремлений, более высоких и более важных для общества. Исторический путь — не тротуар Невского проспекта; он идет целиком через поля, то пыльные, то грязные, то через болота, то через дебри. Кто боится быть покрыт пылью и выпачкать сапоги, тот не принимайся за общественную деятельность<sup>14</sup>. Она — занятие благотворное для людей, когда вы думаете действительно о пользе людей, но занятие не совсем приятное. Правда, впрочем, что нравственную чистоту можно понимать различно: иному, может быть, кажется, что, например, Юдифь не запятнала себя.

А впрочем, мы отвлеклись от предмета. Мы хотели сказать, что в Соединенных Штатах можно, без вреда для своей гражданской и ученой репутации, быть защитником высокого тарифа, — и не только можно, но даже следует. Но чтобы иметь это право, надобно смотреть на тарифный вопрос не с теоретической стороны, а брать его в отношении к другим, более важным общественным вопросам. Расширьте сферу ваших соображений, и у вас по многим частным вопросам явятся обязанности, различные от тех, какие следовали бы из изолированного поставления тех же вопросов. Но Кэри поступает не так. Он отвергает свободную торговлю и проповедует протекционизм не по соображению обстоятельств, более важных чем экономическая выгодность свободной торговли, — он выводит свое мнение из политико-экономических оснований, которые никак не могут быть примирены с протекционизмом. Это все равно, что вопрос о войне. Бывают обстоятельства, в которых сами Адам Смит и Рикардо стали бы требовать энергического ведения войны, — например, если бы иностранная армия хотела вторгнуться в Англию; но из этого вовсе еще не следует, что война сообразна с принципами политической экономии.

Мы нимало не претендуем на Кэри за то, что он считает высокий тариф надобностью для Соединенных Штатов; мы только видим слабость его логики в том, что надобность эту выводит он не из особенных обстоятельств, не имеющих ничего общего с политико-экономической теорией, а из самой экономической теории. Но главную занимательность письмам Кэри дает забавная мономания его ставить тарифный вопрос средоточием всей общественной жизни, главным регулятором всех ее явлений; эту мономанию навели на него экономисты, перестроившие всю науку в таком духе, что вопросы о торговле стали главным предметом ее. Пусть они посмотрят на письма Кэри к президенту и полюбуются верным, хотя и обратным отражением своих воззрений: тарифный вопрос — источник всех «многообразных недугов» Соединенных Штатов и лекарство против них — это восхитительно!

**О настоящем быте мещан Саратовской губернии. Записка И. А. Гана. С.-Петербург. 1860 г.**

Брошюра, эта, изданная высочайше учрежденною комиссиею для улучшения системы податей и пошлин, написана одним из членов комиссии г. Ганом и была приложена к «Экономическому указателю» за нынешний год (при первом выпуске, 1 января)<sup>1</sup>. Мы надеемся, что ни «Экономический указатель», ни сам автор записки не найдут противным своему намерению то, что мы представим здесь длинные выписки из этой замечательной брошюры, хвалить которую было бы излишне.

Записка начинается тем, что, несмотря на сложение недоимок с помещичьих крестьян и мещан Саратовской губернии всемилоштивейшими манифестами, недоимки эти снова быстро растут, — растут быстрее, чем у государственных крестьян. Между тем в Саратовской губернии «у государственных крестьян подушной подати и других окладных сборов приходится средним числом по всей губернии по 5 р. 78<sup>1</sup>/<sub>2</sub> коп.; у мещан — по 3 р. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> к., а у помещичьих крестьян — по 1 р. 86 к. с души», то есть мещанин платит прямых налогов почти вдвое меньше государственного крестьянина, а помещичий крестьянин с лишком в полтора раза меньше мещанина и втрое меньше государственного крестьянина.

Из этих сравнений окладов и сложной податной недоимки (говорит г. Ган) получаем следующие выводы: 1) государственные крестьяне, сравнительно с помещичьими и мещанами, платят податей больше, а недоимка на них меньше; 2) помещичьи крестьяне платят податей меньше государственных и мещан, а недоимка на них больше, и 3) мещане платят податей меньше государственных крестьян, а недоимка на них больше. Следовательно, самими неспособными плательщиками государственных податей оказываются: 1) мещане \* и 2) помещичьи крестьяне.

Прогрессивное наращение податных недоимок преимущественно на этих двух сословиях, несмотря на всемилоштивейшие прощения оных, убеждает в том, что явление это не случайно, не следствие временных бедствий (неурожая, скотского падежа и т. п.), а существенный недостаток нашей податной системы.

Финансовая наука, продолжает г. Ган, признает два существенные условия для всякого налога: во-первых, чтобы он был равномерен или пропорционален средствам каждого платящего; во-вторых, чтобы он падал на чистый доход, а не на капитал.

Весь успех исправного платежа податей (говорит г. Ган) зависит от соразмерного их распределения со средствами плательщиков.

Законодательство наше, установив поголовную подать для всего ревизского населения известных сословий, само сознает неравномерность этого налога, и потому внутреннюю уравнительную раскладку в свободных сословиях

---

\* Государственные крестьяне получают в надел землю, которая и дает им средства к выполнению своих обязанностей, а мещанин, безземельный и не являющийся ремеслом, вполне зависит от случайности, он не имеет постоянного источника дохода.—Замечание г. Гана.



предоставило самим обществам, а с помещичьих крестьян — помещикам; но в действительности этим путем не достигается податная уравнительность. У государственных и даже помещичьих крестьян податная уравнительность в некоторой степени достигается переложением подушной подати с неспособных плательщиков на землю или на того, кто пользуется ею; в мещанских же обществах подобная уравнительность невозможна. Неспособность мещан и помещичьих крестьян бездонно уплачивать государственные подати обуславливается не одною подушною податью — неравным налогом, но самым политическим положением этих сословий и способом сбора податей.

Помещичий крестьянин, лишенный прав гражданских, а в том числе одного из главнейших — права свободно избирать, по своему желанию и способностям, род жизни и занятий, поставлен в такие экономические условия, при которых благосостояние его зависит от воли помещика, следовательно, и уплата податей более или менее зависит от помещика или от тех условий, в которых крестьянин находится по воле своего господина. Крестьянин *de facto* и *de jure* \* есть имущество — не что иное, как податной предмет — источник или основание налога, а не податное лицо. Поэтому помещик, владеющий этим имуществом — крестьянином, должен бы быть податным лицом. Но законодательство в одном случае — относительно гражданских прав — не признает крестьянина гражданскою личностью; в другом же — относительно податей — признает его личностью самостоятельную, ответственною перед правительством за исправный взнос податей. Эти противоречия в законах относительно прав помещичьего крестьянина как гражданина и податного лица отразились и в действительности — несостоятельностью его к уплате податей. Законодательство, предоставив помещику внутреннюю уравнительную раскладку в своем имении, сбор и взнос податей, не только не подвергает его никакой личной ответственности за неисправную уплату податей, но даже не контролирует его действий по сбору сих денег. Вся ответственность падает на крестьян целого селения.

Когда помещик передает часть имения другому, податная недоимка не остается ни лично на помещике, ни на части, оставшейся в его владении, а на всем имении, как бы оно ни было разделяемо. Точно так же, если крестьяне куплены с накопившеюся недоимкою, то она должна быть возмещена с них же, «в крайнем только случае с виновных, не заботившихся о возмещении оной: с начальников губерний, членов губернских правлений и всех тех, кои слабым о взыскании настоянием недоимок допустили малейшее накопление оных». По естественному закону помещик, как ближайший распорядитель в своем имении, раскладчик и сборщик податей, должен бы прежде всех лично отвечать за подати своих крестьян; но закон оставляет его в стороне и даже не удерживает на пополнение накопившейся недоимки денежных капиталов, следующих ему в выдачу из казны, а позволяет продажу помещичьего хлеба, если крестьяне состоят на пашне. А если имение оброчное или крестьяне работают на фабрике или на заводе у помещика? Законодательство не разрешает этих случаев. Вероятно, возмещение податной недоимки должно производиться с тех же крестьян. Если на мещанском обществе накопится недоимка, то пополнение ее производится между прочим из следующих городам платежей от казны. Мы не находим в законах дозволения подобного пополнения недоимки в помещичьих имениях. Помещикам чаще приходится получать деньги из казны; следовательно, немало недоимок могло бы уплатиться этим путем. Эта мера имела бы моральное действие на помещиков и была бы лучшим побудительным средством к исправной уплате податей. Помещик — винокурный заводчик, зная, что при выдаче ему денег за поставку вина будет удержана крестьянская недоимка, без сомнения, принял бы все меры к своевременному взносу крестьянских податей. Помещик, по крайней мере как сборщик податей, кажется, по примеру сборщиков в других сословиях, должен бы подлежать какой-нибудь ответственности. За накопление недоимки на по-

\* Фактически и юридически. — Ред.

мещищем имени до 86 к. с души имение отдается в опеку и недоимка взывается с тех же крестьян. Но кто в этом случае более страдает от опекунского управления — помещик или крестьяне? Помещик получает несколькими сотнями рублей меньше годового дохода, а крестьянин — окончательно разоряется. Всем известно, что большею частью за опекунским управлением неизбежно следует аукционная продажа имения. В 1847 году имение тайной советницы Л-ской за долг опекунскому совету отдано было в опекунское управление с тем, чтобы все доходы с имения вносились на погашение займа. Через шесть лет опекунского управления имение г-жи Л-ской было продано с аукциона. В имении г-жи Л-ской было 483 ревизских души крестьян и господской земли (за наделом крестьян по  $8\frac{1}{2}$  десятин на тягло) под пашню и сенокосом более 2000 десятин. Весь долг опекунскому совету простирался до 5 руб. сер. на душу, или 10 руб. сер. на тягло. При этих условиях невозможно бы, кажется, довести имение до продажи, однако, оно было продано. Если бы всю помещичью землю отдать в пользование крестьянам и положить оброк в 10 руб. сер. с тягла (это такой незначительный оброк, какого не существует в Саратовской губернии), то нет сомнения, что крестьяне в один год внесли бы весь долг опекунскому совету. Но опека не уплатила долга, разорила имение и довела его до аукционной продажи. Следы опекунского управления до сих пор сохранились на имении, и крестьяне вспоминают о нем, как о тяжелой поре своей жизни.

Одно из основных положений финансовой науки: налог должен падать на чистый доход, не касаясь капитала, — в противном случае истощаются производительные средства податного предмета, и совершенно истребится самое основание налога. Крестьянин с его имуществом есть податный предмет — основание налога; следовательно, подвергать его через опекунское управление и казенный присмотр разорению, значит действовать вопреки финансовым понятиям. Законодательство, желая остаться последовательным в своем взгляде на помещичьего крестьянина, как на имущество, подлежащее налогу, берет в свое распоряжение или подвергает публичной продаже для возмещения накопившейся на нем недоимки, как, например: землю, мельницу и т. п. недвижимое имущество; но при этом оно упускает из виду, что имущество это одарено волею и всеми человеческими способностями и само может выполнить свои обязанности по отношению к государству, стоит только устранить от него неблагоприятные условия. Впрочем, законодательство даже не обращает внимания на условия или причины накопления недоимки на помещищем имении; оно просто принимает самую недоимку за факт, за данное, приводит в действие свои меры к ее восполнению. Если мещанин или государственный крестьянин изобличен будет, что недоимка происходит от дурного поведения, нерадения и мотовства, то подвергается по приговору общества или исправительным наказаниям, или отдаче не в очередь в рекруты за общество. Если бы законодательство желало остаться последовательным в своих финансовых принципах, то нет сомнения, что при накоплении податной недоимки на помещищем имении, точно так же обратило бы внимание на происхождение ее и в случае, если она есть следствие дурного и беспорядочного управления помещика своим имением, то подвергало бы его также взысканиям. В случае податной недоимки на крестьянах, состоящих во временном владении, и если окажется, что она произошла от худого управления, вся недоимка сполна взыскивается с временных владельцев. Почему же закон этот не распространяется на постоянных владельцев-помещиков? Разве у них недоимка не может быть следствием худого управления? Отдача имения за неплатеж податей в опекунское управление есть сознание правительства, что владелец дурно распоряжается им, но это сознание правительства как будто не хочет высказать ясно и положительно, а потому, принимая податную недоимку за факт без исследования причин, лишь устраняет помещика от управления имением.

Помещику правительство предоставило право собирать подати и вносить их в уездное казначейство, не подвергая его действий в этом случае никакому

контролю: в том ли размере собраны подати помещиком или вотчинным начальством и все ли собранное внесено в казначейство — остается без всякой проверки со стороны правительства, и ни помещик, ни вотчинное начальство не дают ни квитанций, ни расписок крестьянам в получении от них податей: так что последние, какие бы сборы с них ни были делаемы на уплату податей, лишены возможности доказать, что подати уплачены ими своевременно и в количестве, определенном правительством. Впрочем, последнее обстоятельство (взимание помещиком податей в большем размере) законодательство полагает как бы невозможным, потому что на этот случай даже нет закона, подвергается ли помещик ответственности за противозаконный сбор денег на подати, подобно тому, как мещанские старосты и члены думы. В действительности же лишний сбор на подати и невзнос оных помещиками повторяется нередко. Если не возникает по этому случаю дел, это происходит от сознания крестьянами невозможности доказать юридически правоту своей жалобы. В 1857 году, Балашовского уезда, в селе Юсупове крестьяне отказались от платежа податей за 1857 год на том основании, что они в течение десяти лет платили излишние подати за своих односельцев, выселенных помещиком в Самарскую губернию. С этою жалобою они обращались к уездному предводителю, который потребовал от помещика объяснений, но тот, представив квитанции уездных казначейств, доказал, что крестьяне не только не платили излишних податей, — напротив, состоят еще в значительной недоимке. Помещик остался прав. Не удовлетворенные в справедливой своей жалобе, крестьяне отказались от господских работ; их признали бунтовщиками: губернское начальство распорядилось командировать чиновника для усмирения непокорных и расследования причин их неповиновения. Крестьяне объявили, что они не могут отправлять назначенных работ потому, что средства их истощены тяжелыми податями. Помещик представил квитанции уездных казначейств, из которых чиновник убедился, что на крестьянах действительно состоит значительная податная недоимка. Крестьяне уверяли, что они своевременно вносили подати в вотчинную контору и что у них три года тому назад взят был хлеб и скот на уплату податей, но не могли представить фактически доказательств. Помещик же, напротив, на каждое обвинение их представлял фактические доказательства. Например, если крестьянин говорил, что помещик взял у него корову на уплату податей, то помещик открывал конторскую книгу и показывал, что такой-то крестьянин, такого-то числа, пойман или в господском лесу с дровами, или на потраве господских лугов, за что по положению подвергнут штрафу. Крестьянин сознавался, что он действительно был пойман на порубе или потраве, за что и был наказан; но денежному штрафу не подвергался, и что когда брали у него корову, то положительно объявляли, что берут на уплату казенных податей. Чем крестьянин может доказать правоту своего дела, кроме своего голословного показания, не имеющего юридической силы? В Саратовском уезде один помещик в течение нескольких лет не вносил податей за своих крестьян, так что за податную недоимку имение назначено было в продажу. Оборотливый помещик успел переаоложить имение и тем погасил податную недоимку; но зато отобрал у крестьян всю землю (не освобождая их от трехдневной барщины) и эту же землю сдавал им повольной цене. Крестьяне уверяли, что с них ежегодно в известное время собирались подати. Но уверения, как ничем не подтвержденные, не были приняты в уважение, и земская полиция заставила их исполнять беспрекословно барщинную повинность. Юридически полиция поступила справедливо; но справедливы ли ее распоряжения, судя по-человечески и выгодно ли подобные распоряжения для правительства в финансовом отношении? Эти вопросы не требуют разъяснений. Одно можно сказать, что подобные меры вконец истощают основания налога, и рано или поздно производительные средства народа иссякнут, а с ними уничтожится и самый источник податей.

Очевидно, чтобы поставить помещичьих крестьян на степень исправных плательщиков податей — необходима реформа как в экономическом, так и в политическом их положении. До тех же пор сама справедливость требует раскладку, сбор и взнос податей предоставить миру без всякого участия поме-

щика или подвергнуть его самому строгому контролю и ответственности как личной, так и имущественной за накопление податной недоимки на принадлежащих ему крестьянах.

Указание причин, от которых происходит быстрое накопление недоимки у помещичьих крестьян, служит г. Гану средством к разъяснению причин, которыми порождается она у мещан.

По неспособности платить государственные подати мы отнесли мещан к одной категории с крепостными людьми (говорит он). Такое сближение свободного сословия с крепостным с первого взгляда может показаться странным и не имеющим основания. Не утверждаем, чтоб мещанское сословие носило в себе все элементы крепостного состояния; но между тем и другим, начиная с происхождения, есть нечто общее: «крепостное состояние лица устанавливается пожалованием от верховной самодержавной власти в частную власть и обладание» (ст. 997, п. 1, т. IX Св. Зак. о состояниях, изд. 1857 года); следовательно, не свободная воля лица избирает себе политическое состояние, а оно определяется верховною властью. Большая часть наших городов возникла не из внутренней потребности граждан, не вследствие политических или экономических потребностей, а вследствие высочайших повелений, вначале по видам стратегическим, а потом чисто административным. Уложением Алексея Михайловича даже ограничена была свобода перехода горожан из одних мест в другие, и таким образом они укреплены были к месту своего водворения. Указаниями Петра I и Екатерины II крепостная зависимость горожан от мест водворения уничтожена, но верховная власть оставила за собою право обращать людей в горожан, к какому бы они податному сословию ни принадлежали. Следовательно, и здесь, как в крепостном сословии, определение политического состояния лица исходит от верховной самодержавной власти, а не от свободной воли лица. Таково происхождение большей части наших городов, которых в одно царствование Екатерины II открыто до 216. В новейшее время города «учреждались» и «упразднялись» правительством по его видам. Так, в Саратовской губернии город Аткарск, преобразованный в 1780 году в город из дворцового с Аткары, в 1799 году был упразднен, а в 1804 году снова «учрежден» городом. Балашов, преобразованный в том же 1780 году из дворцового села Балашова, в 1798 году был «упразднен», а в 1804 году снова объявлен городом. В 1836 году в видах административных правительство объявило селение Чертанлы городом Новым Узнем, селение Мечетное — Николаевском, а слободу Царевку — Царевом. Какого промышленного развития достигли эти города со времени их учреждения, лучше всего видно из следующих цифр, показывающих состояние их в две различные эпохи.

Сравнивая цифру по городу Балашову за 1855 год с цифрами 1847 года, г. Ган показывает, что в течение этих восьми лет число купцов не увеличилось, а число мещан и цеховых уменьшилось почти на целую четверть: в 1847 году было в Балашове 2926, а в 1855 уже только 2228 человек мещан и цеховых. Число каменных домов также уменьшилось с 14 на 11.

В Аткарске чрезвычайно увеличилось число купцов 3-й гильдии, но увеличилось, очевидно, только от приписки в 3-ю гильдию мещан, желавших избежать рекрутской повинности: общее число купцов и мещан уменьшилось на 6-ю часть (в 1847 г. считалось 3818, а в 1855 г. только 3273 человека купцов, мещан и цеховых). Городские доходы уменьшились на целую треть (в 1847 г. было 5216 руб., а в 1855 г. — 3651 рубль).

В «Николаевске число купцов, мещан и цеховых осталось без видимой перемены»; осталось без перемены и количество каменных домов: как в 1847 году находился 1 таковой дом, так сохранился он и в 1855 году единственным каменным домом в городе, имевшем более 5500 жителей. Городские доходы возросли в 8 лет с 6218 руб. до 6392 рублей.

В г. Новом-Узене число купцов, мещан и цеховых не увеличилось; под рубриками «учебных заведений духовных и светских и учащихся» мы читаем в отчете 1847 года: «нет», а в отчете 1855 года: «в том же состоянии».

По г. Цареву о благотворительных заведениях, об учебных заведениях духовных и светских и об учащихся в отчете за 1847 год говорится точно так же, как по г. Новому-Узеню; но в отчете за 1855 год говорится не так, как по Новому-Узеню, а употреблено выражение «без перемены». Г. Царев особенно богат «нетами»: о каменных домах он отвечает «нет», о фабриках и заводах — «нет», даже о трактирах — и то «нет», и за 1847 и за 1855 год с утешительным постоянством. Он любит также отвечать: «без перемены» — мы уже слышали три таких ответа, а вот еще два: число купцов в 1855 году осталось «без перемены», число мещан и цеховых тоже «без перемены». Но о числе жителей, при всей любви к слову «без перемены», Царев не мог этого сказать; в 1855 году число их уменьшилось на 204 человека сравнительно с 1847 годом.

Таких бедных результатов промышленная и торговая жизнь наших городов достигла в многолетнее свое существование! Но официальные сведения не вполне знакомят с действительною их бедностью. Соломенные кровли, плетневые заборы, грязные улицы — вот внешность их. Приезжий с величайшим трудом находит ночлег. В Новоузенске до сих пор нет ни постоянных дворов, ни гостиниц для приезжающих, ни белого хлеба в продаже, ни мяса летом или во время постов.

Назад тому лет десять, чиновник, командированный по делам службы из Саратова в Новоузенск, должен был выписывать туда за 200 верст, из Саратова, через почту белый хлеб и мясо, даже зимою\*. Признаки торговой жизни несколько заметны в базарные дни и ярмарки. На базарах обыкновенно жители запасаются провизиею и всем нужным в обыденной жизни на целую неделю или до нового базара. На ярмарках делается годовой запас чая, сахара, кофе и других колониальных и мануфактурных товаров до новой ярмарки. В официальных статистиках обыкновенно показывается под громкою рубрикой «фабрики и заводы»: столько-то. Под этими названиями следует разуметь, по большей части, самые скромные заведения, где работает отец с сыном или с двумя-тремя наемными работниками. Так, ни в одном из названных нами городов нет фабрик, а существуют только кирпичные заводы в самом ограниченном размере для удовлетворения лишь местных

\* Наме, говорят, в зимнее время можно в Новоузенске всегда найти мясо, а в летнее кроме кусицы, за которую можно заплатить втридорога, ничего нельзя найти. Как же продолжается местное чиновничество? — Это делается обыкновенно так: мясник приходит к судье или исправнику и объявляет, что у него есть скотина, которую готов зарезать, если обещаются всю разобрать. Составляется чиновничий совет, на котором решают, кому сколько взять. Если по расчету мясника разбирается вся туша, то он убивает скотину. Через несколько дней продолжается та же процедура. А если чиновники в размоловке, то питаются рыбой и курами. — *Примеч. г. Гана.*

нужд — постройки печей, кожевенные заводы, собственно овчинные, обрабатывающие овечьи шкуры для полушубков местным жителям, и — более или менее в значительных размерах — салотопенные, которые занимаются производством по два и по три месяца в году. Подобные заводы существуют во многих промышленных селах, где они так же, как в городах, не составляют специальности жителей, а служат второстепенным занятием некоторых крестьян в свободное от полевых работ время.

Но обратимся к положительному законодательству, которое определением прав и обязанностей городского сословия лучше объяснит нам положение, в котором оно находится.

Право вступления в городское сословие и выхода из оногo предоставлено всем свободным сословиям, исключая потомственного дворянства. Как при вступлении в городское сословие, так и при выходе требуется согласие городского общества, но могут и без согласия городского общества приписываться в мещане: 1) уволенные церковники; 2) дети приказно-служителей, не имеющих обер-офицерских чинов; 3) приобретенные в казну однодворческие крестьяне, не желающие переселяться в многоземельные губернии; 4) все отпущенные на волю люди как мужского, так и женского пола; 5) разного звания свободные люди, к городам не принадлежащие, и 6) ссыльные, которым, на основании указа 22 июля 1837 года, дозволено возвратиться из Сибири во внутренние губернии империи. Хотя всем этим лицам предоставлено право избирать себе род жизни или вступать по своему усмотрению во все свободные сословия, но это право — мнимое: оно существует для большей части этих людей только в законе, а не в действительности. Для вступления в купеческое сословие нужно иметь известный капитал. Чтобы приписаться в государственные крестьяне, необходимо испросить согласие того общества, в которое лицо желало бы вступить, а так как общество, изъявляя согласие на прием в среду своего нового члена, обязывается ответственностью в платеже за него податей и повинностей и, кроме того, должно объяснить, что для наделения нового члена находится у него нужное количество земли, то получить от общества приемный приговор не так легко. Правда, палата государственных имуществ приписывает и без согласия общества к тем селениям государственных крестьян, где приходится земли более 8 десятин на душу; но таких многоземельных обществ гораздо менее, чем малоземельных. Вследствие этого всякому обязанному избрать себе род жизни остается единственно доступным городское мещанское сословие, к которому волею или неволею, а должно причислиться, чтобы не быть приписным и за это подвергнуться взысканию. В 1857 году из 175 отпущенных приписалось в государственные крестьяне 54, в 1858 году из 1537—274, в 1859 году, по октябрь месяц, из 2060—256. Следовательно, из 3772 отпущенников, избравших себе род жизни, поступило в государственные крестьяне 15,4%, а в мещане — 84,6%. Хотя по закону и предоставлен свободный выход из мещанского сословия во все другие, кроме крепостного, но в действительности мещанин может свободно перечислиться только в купечество, если имеет достаточный капитал, потому что вступление в государственные крестьяне для него, кроме общих затруднений, о которых было сказано выше, стеснено следующими запретительными условиями: «мещанам, которые не только сами, но и отцы их никогда в земледелии не упражнялись или вступили в какую-либо промышленность, городским жителям свойственную, и могут содержать себя по своему состоянию, переход в крестьянство запрещается» (ст. 619, п. 1, т. IX). Правительству, обращая сельских обывателей в городские, не принимало во внимание способны ли они к торговле, ремеслам и вообще к промыслам, свойственным городам, и имеют ли к этому материальные средства; от городских же обывателей при переходе их в сельские требует знаний или, по крайней мере, практического навыка в земледелии. Для городских промыслов, конечно, требуется вообще больше развития и промышленности, чем для сельских, и тот, кто раз выучился известному ремеслу, не пойдет

в земледельцы, потому что земледельческие работы гораздо труднее ремесленных. О занимающихся торговлею и говорить нечего. Следовательно, опасения правительства относительно перехода ремесленников и торговцев в земледельцы напрасны. Если уже допустить опеку правительства при избрании рода жизни, то скорее эта мера может быть допущена при записке в городские обыватели, потому что в городах — говорит Екатерина II в Наказе, данным комиссии о сочинении нового уложения<sup>2</sup>, — «обитают мещане, которые упражняются в ремеслах, торговле, художествах и науках». Следовательно, если таков взгляд правительства на значение городов, то каким образом ставить в обязательное положение приписываться к городам людей, не имеющих ни малейшего понятия ни о ремеслах, ни о торговле, ни о промышленности, как, например, церковника, уволенного из духовного звания за неспособностью или по подозрению в преступлении (ст. 463 п. 1 и ст. 278, т. IX). «В городах, — говорит Екатерина II, — в которых многие обращения торг имеет, весьма смотреть должно, чтобы чрез честность и добронравие граждан сохранилась кредит во всех частях коммерции, потому что честность и кредит суть души коммерции». Какой же может держаться кредит, если правительство вербует в городское сословие людей, возвращенных из Сибири, оставленных в подозрении по преступлениям и проступкам, и т. п.? Мы далеки от той мысли, чтобы ставить строгие ограничения при вступлении в городское сословие; напротив, желаем, чтобы была предоставлена полная свобода вступления во все сословия; равным образом и переход из одного сословия в другое не должен подлежать никаким ограничениям. По ныне действующим законоположениям городское общество, говоря собственно о мещанах, носит на себе характер крепостной как по происхождению своему и — вступлению лиц в это сословие, так и по переходу из него в другие.

В Западной Европе (продолжает г. Ган) город является историческим результатом прожитой народом жизни, а у нас — административным учреждением власти. От этого характер и направление деятельности горожан, несмотря на данное им от правительства городское уложение, остается тот же самый, который имели они до объявления места их жительства городом. Так как большая часть наших городов до преобразования их правительством в эти учреждения были земледельческими поселениями, то занятие большей части жителей и до сих пор составляет хлебопашество. Назад тому лет 50 из мещан города Саратова жили хуторами на городской земле 1570 душ, они постоянно занимались хлебопашеством; но по воле правительства их переселили в город. Некоторые из них успели захватить места по речке Березиной и Кожуриной, развели сады и до настоящего времени остаются земледельцами. Многие из мещан имеют свои дома и все земледельческое обзаведение на городской земле, снимая ее у контрагента думы и комиссии о раздаче в оброк городских земель. В минувшем 1859 году, по официальным сведениям саратовской городской думы, показано под посевами мещан до 15 т. десятин, что дает более одной десятины на душу. В г. Вольске промышленность городских обывателей — сказано в отчете думы за 1859 год — заключается главнейшее в хлебопашестве и скотоводстве. Купцами и мещанами распахивается ежегодно средним числом до 5 т. десятин земли, что дает средним числом более  $\frac{1}{2}$  десятины на душу. До 800 душ вольских мещан живут особыми хуторами на городских землях и занимаются исключительно хлебопашеством со взносом в доход города за землю по 5 коп. сер. с десятины. В других городах Саратовской губернии, поставленных географическим положением в менее благоприятные условия для промышленности, хлебопашество производится еще в больших размерах. Так, в г. Петровске в 1859 году мещанами распахано было 6320 десятин, что дает на каждую душу средним числом 2—6 десятин. Эти немногие данные убеждают в той мысли, что правительственными учреждениями нельзя изменить направление народной деятельности; скорее правительство вместо сочувствия встретит открытое сопротивление своим нововведениям, если они не ответ-

ствуют внутренней потребности народа. Так это и было при преобразовании в 1836 году слободы Царевки (ныне Астраханской губернии) в город Царев. Жители Царевки, сознавая, что с открытием города они должны будут обратиться в безземельных мещан и волею или неволею сделаться торговцами или ремесленниками, в чем они до того времени не имели никакой нужды, открыто стали сопротивляться учреждению. Начальство не сочло нужным входить в ближайшее рассмотрение причин народного несочувствия к благим мерам правительства и объявило Царевку городом. Недовольные жители решились на странную меру: не продавать чиновникам съестных припасов и, таким образом, голодом выжить непрошенных гостей. Но их признали бунтовщиками и посредством военной команды заставили повиноваться.

Правительство, обращая земельные поселения в города и вместе с тем отбирая у жителей земли — единственный источник их существования, ничего не предоставило им взамен земли. Не должно упускать из виду, что мелкая промышленность, и именно ремесла, сосредоточиваются у нас более в деревнях, нежели в городах: она производится сообща в селах, которые вывозят свои произведения на ярмарки. У нас нередко деревенские сапожники, столяры и слесари снабжают своими произведениями города. Следовательно, к чему могут служить мещанину данные ему правительством права на свободную торговлю крестьянскими изделиями, когда крестьяне сами снабжают ими горожанина, а не он их?

Все эти длинные соображения мы вели к тому, чтобы доказать, что положение наших горожан, созданных по воле правительства, ненормальное, что экономические условия, в какие они поставлены верховною властью, не обеспечивают их жизни, и что при этих условиях они никогда не будут исправными исполнителями своих обязанностей в отношении к государству; на них всегда будет оставаться неоплатная податная недоимка, от которой они будут избавляться только всемилоштивейшими манифестами.

Кроме этих экономических условий, недоимка растет и от самого способа взимания податей, от круговой поруки, при которой в городах «кто исправнее платит, на того и накладывают больше», потому что городские думы или ратуши и податные старосты и их помощники, отвечая за недоимку с общества своим имуществом и подвергаясь за нее «строгому исправительному взысканию», должны думать не о равномерном распределении податей, а только о бездоимочном взносе их.

Из множества случаев неуравнительного распределения податей (говорит г. Ган) приведем один, рассказанный нам человеком, заслуживающим полного доверия. В бытность его городским головою в Саратове (рассказывающий служил три выбора городским головою) является в присутствие старик-мещанин с убедительною просьбою освободить его от платежа податей за накладную душу, погому что он в течение нескольких лет платит за нее. Так как мещанин был человек состоятельный, то голова стал убеждать его покориться неизбежной доле. «Но по крайней мере, — отвечал мещанин, — хотя бы показали мне этого несчастного, за которого я столько лет плачу подати». Голова, чтобы успокоить просителя, позвал мещанского старосту и велел отыскать накладную душу, за которую платил проситель. Привели молодца лет 30, здорового, в красной рубашке, плисовых шароварах и суконной чуйке. — Ты не платишь податей? — спросил его голова. — «Не плачу». — Почему? — «За меня платят другие...»

По невозможности перелгать подать с лиц, особенно неспособных, на предметы, как у сельских обывателей на землю, податная недоимка у мещан часто делается наследственною и растет вместе с возрастом будущего гражданина, так что когда он достигает лет 18, на нем лежит уже неоплат-



ная недоимка, которая давит его и поглощает весь его заработок. Счастье, если по стечению каких-нибудь благоприятных обстоятельств он успеет расплатиться с недоимкою, а то — бедность, а с ней и порок окончательно задавят его, и кончится тем, что общество, как неисправного плательщика, отдаст его в рекруты за мир. Для примера, как образуется на мещанах податная недоимка, приведем несколько семейств из окладных книг мещан г. Саратова. Семейства эти, скажем наперед, взяты нами не на выбор, а почти кряду. По окладной книге 1855 года под № 1767 значится: Иван Николаев Кокуев 39 лет, текущих податей 3 р. 11 к., недоимки за 1849 год 1 р. 45 к. С 1850 по 1855 год платежей не было, исключая 1853 и 1854 годы, когда текущие платежи сложены были на других, то податная недоимка возросла до 24 р. 92 к. сер. Как возросла недоимка на Кокуеве? До 1850 года семейство Кокуевых состояло из двух душ — сына и отца, который в наследство сыну оставил после себя недоимку в 3 р., да на самом Иване Кокуеве состояло в 1849 году 1 р. 45 к., итого недоимки к 1851 году 4 р. 45 к., да текущих платежей за две души 6 р. 23 к., всего в 1851 году должно было заплатить 10 р. 68 к. В этот год Кокуев взят был по одному делу под стражу в тюремный замок, где и содержался три года, в течение которых подати возросли до сказанной нами цифры. По освобождении из тюремного замка Кокуев сдан в ратники, как неисправный плательщик податей. Счастье, что у Кокуева не осталось детей, а то вся его недоимка досталась бы им на долю, и, может быть, их постигла бы участь отца.

Автор записки приводит еще несколько примеров подобного рода; из них приведем один последний. Семейство мещан Березкиных числилось по окладу 1859 года состоящим из 7 ревизских душ, не имея ни одного совершеннолетнего работника, и на трех мальчиков, остававшихся тогда в семействе Березкиных, падало тогда платежей 21 рубль 80<sup>1</sup>/<sub>2</sub> к. в год. Этим мальчикам, очевидно, суждено, как только подрастут, всем итти в солдаты за накопление на них недоимки.

Вот заключение г. Гана:

Напрасно думают некоторые, что недоимка на мещанах накапливается от недостатка строгих мер в отношении к неисправным плательщикам. Зло — в экономических условиях мещан, в податной системе и в несоразмерности налога. Величина налога везде одинакова, мера взысканий тоже, а между тем какое разнообразие в податной недоимке!

Для исправной уплаты мещанами податей, по нашему мнению, необходимо: 1) изменить их экономические условия, то есть обратить тех, кто пожелает, в первобытное состояние, в земледельцев, для чего наделить их землею, где представится к тому возможность, из городских дач, в противном случае — из казенных земель.

2) Подушную подать переложить с душ на землю и обложить податью только работников от 16 до 60 лет включительно.

3) Мещан, занимающихся торговлею, промыслами и личными услугами, разделить на категории на основании приблизительной оценки доходов каждой категории.

4) Вносить в податной оклад только работников от 16 до 60-летнего возраста и

5) исправный взнос податей оставить на личной ответственности каждого плательщика, а не всего общества.

## НОВЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

«Основа»<sup>1</sup>, 1861, № 1

Мы, великоруссы, не можем похвалиться, что всегда были справедливы в своих литературных отношениях с малороссами. Еще очень недавно русская литература смотрела на попытки придать литературное значение малорусскому языку иногда с надменной усмешкой, иногда и прямо с враждой. Великим и совершенным ничто не рождается, а народная потребность и любовь к родному заставляет нацию принимать с восторгом первые родные произведения, каково бы ни было их безотносительное достоинство. Малороссы естественно должны были восхищаться сочинениями первых малорусских писателей. Мы, великоруссы, читая повести Основьяненка, перелицеванную «Энеиду» Котляревского и стихи Гулака Артемовского, не находили в них ничего особенно хорошего и слишком бесцеремонно стали подсмеиваться над малороссами за восхищение такими писателями. Кроме посредственности дарований, многие из нас охладились и самым направлением тогдашних малорусских корифеев. Это были люди патриархальные, — не то что народные, нет, а просто не умевшие различать в своем родном быте дурных сторон от хороших и возводившие в идеал многие такие вещи, от которых уже отворачивался сам малорусский народ. Чтобы малорусской публике понятно стало, о чем мы говорим, просим наших малорусских читателей припомнить анекдот, случившийся при чтении «Листов к любезным землякам»<sup>2</sup> на сельской сходке малороссийских поселян, — анекдот этот, вероятно, очень известен в южной России, по крайней мере, мы слышали его от малороссов очень часто. Пока чтец (чуть ли не сам Основьяненко) читал из этих «Листов» рассуждение о вреде пьянства, малороссы поддакивали и одобрительно кивали головами. Но едва чтец дошел до разных высших философствований и внушений, из толпы послышался единодушный отзыв: «это уже пошли враки» — отто уже брехня. Слишком наивный автор «Листов» принял за чи-

стю монету квасные разглагольствования нашей татарщины\* и почел, что переводом их на малорусский язык сделает пользу и удовольствие своим любезным землякам. Литература наша, не долюбившаяся подобным рассуждений на великорусском языке, не слишком полюбила такой оттенок в тогдашних корифеях возниковавшей малорусской литературы. Быть может, некоторые из сотрудников «Основы», хотя сами и никак не могут подлежать подобному упреку, найдут, что мы несправедливы к Основьяненке и его сверстникам, — быть может, они скажут, что гражданские понятия Основьяненка должны назваться удовлетворительными, а уже наверно многие прибавят, что малорусские произведения Основьяненка имеют высокое художественное достоинство, невпример выше его рассказов на великорусском языке. Пусть оно будет и так — спорить мы не намерены: мы только выставляем мнение тогдашней великорусской литературы, как причины известного исторического факта, а вовсе не доказываем, что эти мнения были справедливы. Тем меньше расположены мы оправдывать самый факт — неблагоприятные суждения, какие часто встречались в тогдашних петербургских и, отчасти, московских журналах о тогдашней малорусской литературе. В этих суждениях была явная опрометчивость.

С той поры у некоторых малороссов до сих пор удержалось мнение, будто бы великоруссы все еще плохо расположены к южно-русской народности. Что и говорить, мало ли каких людей найдется в нашей матушке Великой Руси. Есть такие молодцы, которые не только не станут питать дружеских чувств к «Основе», — не питают их и ни к одному мало-мальски порядочному московскому или петербургскому журналу; которые не то что по-малорусски, а и по-великорусски учиться не дали бы никому. Но про таких людей нечего рассуждать: мы готовы были бы выдать их всех головой не только малороссам, а, пожалуй, хотя бы друзьям, да и те их не возьмут к себе. Мы будем говорить только о тех великоруссах, которых не должна стыдиться назвать своими людьми их родина, и мы можем уверить малороссов, что никто из таких людей не откажется назвать своим мнением следующей взгляд на литературные стремления малорусской народности.

С той поры, как отзывался кто-нибудь в великорусской литературе холодно об этом стремлении, времена изменились, порядком изменились мы, да и малорусская литература получила уже такое развитие, что даже могла бы обойтись и без нашего великорусского одобрения, если б могли мы не иметь к ней сочувствия. Когда у поляков явился Мицкевич, они перестали нуждаться в снисходительных отзывах каких-нибудь французских или немецких критиков: не признавать польскую литературу

\* То есть реакционеров. — Ред.

значило бы тогда только обнаруживать собственную дикость. Имея теперь такого поэта, как Шевченко, малорусская литература также не нуждается ни в чьей благосклонности. Да и кроме Шевченка пишут теперь на малорусском языке люди, которые были бы не последними писателями в литературе и побогаче великорусской. Другие писатели, по самому роду своей деятельности избирающие для своих произведений великорусский язык, принадлежат всеми своими симпатиями к кругу людей, наиболее заботящихся о развитии малорусской народности. А важнее всего то обстоятельство, что сама малорусская нация пробуждается. Если чехи необходимо должны иметь свою литературу, хотя чеху, вероятно, не труднее выучиться читать польские книги, чем малороссу великорусские, то странно было бы отрицать справедливость такого же стремления в малороссах, которые вдвое многочисленнее чехов.

К чему приведет это стремление, мы того не знаем, как не знают и сами малороссы, потому что дело зависит от путей, по которым пойдет вся история всей восточной Европы. Быть может, через 1000 лет не останется на свете ни сербов, ни болгар, ни малороссов, а будут потомки этих народов составлять какой-нибудь один народ, которого теперь еще и нет на свете. Если так, разумеется, не тысячалетняя жизнь суждена и малорусской литературе, и, быть может, исчезнет она по случаю минования народной потребности в ней, не развившись до богатства учеными книгами по всеобщей истории или философии, по математике или естественным наукам на малорусском языке. А быть может, случится и наоборот, — и, судя по всему прежнему ходу истории, надобно скорее думать, что случится наоборот; не какие-нибудь 200 или 300 лет, а бог знает сколько веков будут говорить по-малорусски люди, живущие по Днепру и дальше на запад; в таком случае будет существовать и малорусская литература бог знает сколько веков; а если так будет, то нет никаких оснований сомневаться, что раньше или позже появятся на малорусском языке всякие книги, какие пишутся теперь, например, хотя бы на польском языке: не одни стихотворения и повести, а также ученые трактаты по всевозможным наукам. Еще недавно мы отваживались сказать, что на малорусском языке невозможно было бы явиться статье г. Безобразова об аристократии; оно и правда, что теперь невозможно; а со временем — почему знать? — могут появиться у малороссов свои доморощенные гг. Безобразовы и, чего доброго, будущий г. С. Г. издаст когда-нибудь «Философский словарь» на чистейшем малорусском языке<sup>3</sup>.

Просим малороссов не тревожиться: мы не предсказываем, что их непременно постигнет такая беда; мы только говорим, что пусть они не думают, будто мы хотим сохранять за великорусским языком привилегию служить органом мыслей г. С. Г. о философии, г. Ржевского о политической экономии, г. Ротчева об

Англии, г. Андреева о Древнем Риме (с императором Агриппою) и т. д.<sup>4</sup>; мы от души им желаем иметь на малорусском языке книги обо всех этих предметах, только с тою оговоркою, что желаем им иметь писателей не таких, как эти наши.

Однако перейдем к настоящему делу. Спрашивают иногда: способен ли малорусский язык достичь высшего литературного развития? Нам кажется, что простительно, когда делают такой вопрос люди, никогда не думавшие о малорусской народности, — не по отсутствию симпатии к ней, а просто потому, что не случилось им думать ни о Малороссии, ни о России, ни о Европе, ни об Америке, да ни о чем в свете, как не случилось прочесть Кольцова или Островского, которых они, впрочем, наверное полюбили бы, если бы прочли. Но мы несколько обижаемся за Малороссию, когда такой же вопрос предлагают себе малороссы, — как будто об этом можно спрашивать! Да разве следует иметь тут какое нибудь сомнение? Да разве есть на свете какой-нибудь язык или какое-нибудь наречие, которое не получит высшего литературного развития, когда племя, говорящее им, будет нуждаться по своему развитию в литературе? Ведь нидерландцы, например, говорят языком, который к ниже-немецким наречиям едва ли не ближе, чем малорусский к великорусскому, и к которому ниже-немецкие наречия гораздо ближе, чем к литературному немецкому. Почему же у нидерландцев есть своя литература, у других platt-deutscher<sup>ов</sup> \* нет своей особенной литературы? Просто потому, что есть между говорящими на нидерландском наречии люди, нуждающиеся в литературе, а в племенах, говорящих другими ниже-немецкими наречиями, нет таких людей: тот кто любит читать книги, тот уже бросил говорить на местном наречии и говорит (более или менее удачно) литературным немецким языком. То же самое и у нас с каким-нибудь рязанским или костромским наречием. Они, без сомнения, никогда не будут иметь высокого литературного развития. Но почему? Потому ли, что сами в себе неспособны к высшему развитию? Какой вздор! Чем же слово «знат» хуже само по себе слова «знает» и форма «рукам, ногам» хуже формы «руками, ногами»? Нет, просто потому, что сознание костромича или тамбовца о себе как о костромиче или тамбовце совершенно исчезает в его сознании о себе как о великоруссе. Он думает: «не стоит мне хлопотать о моих местных отличиях»; он держится их только тогда, когда по незнанию не имеет возможности бросить их без внимания, которого, впрочем, и так не имеет к ним. Если племя находится в таком нравственном расстройении, то не бывает ни между ним, ни в каких книгах рассуждений о способности его наречия к высшему литературному развитию. Таково ли положение малороссов? Лет 50 или 70 тому назад каждый из них,

\* Говорящих на ниже-немецком наречии. — Ред.

вероятно, точно так же рад был бросить свой язык для великорусского, как чех тогда рад был стать из чеха немцем, или словак из словака мадьяром, или как теперь провансалец рад стать из провансальца истым парижанином по разговору. Теперь не то у малороссов. А если не то, так почему же и не быть способну их языку к высшему литературному развитию, когда способно к нему нидерландское наречие?

Но действительно ли есть у малороссов любовь к своему наречию, потребность иметь на нем литературу? Тут, кажется, опять-таки не о чем спрашивать. Не только они сами сознают, даже мы, великоруссы, признаем, что они — не великоруссы, а малороссы, что они имеют много важных особенностей от нас и дорожат этими особенностями. Могут ли иметь они потребность в книгах, писанных языком, различным от великорусского, об этом каждый из нас может судить по себе, — стоит только ему развернуть малорусскую книгу: если он не имел случая познакомиться с малорусским языком, он поймет в этой книге немногим больше, чем в польской, и едва ли больше, чем в сербской. Легко ли, приятно ли читать книги на чужом языке? Оно и легко, и приятно бывает, когда вы научились чужому языку, но и то лишь в том случае, если на своем родном языке вы начитались книг досыта. Чтение книги на чужом языке — все равно, что выезд в гости: бывать по временам в чужих людях приятно и даже полезно; но не приведи бог никому не иметь своего угла!

Великорусская книга — родная книга и архангельцу, и енисейцу, и астраханцу, но не родная она малороссу. Ему нужно теперь — не так, как нам, — не только учиться тому, чему он хочет учиться: ему нужно еще учиться великорусскому языку, чтобы можно стало учиться чему-нибудь, прямо нужному для его развития. Дело другое, если бы имели любознательность и надобность в просвещении только те люди в Малороссии, которые с младенчества слышат в своем семействе великорусский язык, выучиваются говорить на нем в первые годы детства, незаметно, без труда, без потери времени. Тогда малорусская литература была бы не нужна, как не была бы нужна, например, и шведская литература, если бы в Швеции охоту и надобность учиться имели только те люди, которые с детства привыкают говорить по-немецки, как на родном языке. Но этого нет ни в Малороссии, ни в Швеции; потому нельзя ни Малороссии, ни Швеции обойтись без своей особенной литературы.

Отношением, из которого вытекает необходимость малорусской литературы, определяется и размер, в котором возможно ей с действительным, а не мечтательным успехом развиваться в нынешнее время. Кому нужна она и для чего нужна она?

Все образованные люди в Малороссии привыкли читать и почти все — свободно говорить по-великорусски. Они собственно не нуждаются в малорусских книгах по тем отраслям литературы,

в которых язык составляет второстепенную вещь: потому писать ученые книги или серьезные статьи на малорусском языке нет еще надобности теперь. Делая эту оговорку, мы, кажется, не противоречим понятию самых усердных деятелей малорусской литературы: г. Костомаров и г. Кулиш пишут свои ученые исследования по-великорусски, и, сколько мы знаем, никому из малорусов не приходило в голову желать, чтобы они писали их по-малорусски. Это была бы прихоть, а не потребность. Приспособлять язык для изложения предметов, о которых не писалось на нем, — дело скучное, тяжелое; новая терминология, с трудом формируемая, утомительна для читателя, как бы ни одобрял он такие опыты. Кому есть возможность избежать утомления, тот всегда станет уклоняться от него; потому следует полагать, что собственно ученая литература на малорусском языке теперь еще пока была бы явлением излишним и безуспешным. Нынешнее поколение образованных малоруссов не нашло бы в ней надобности, потому что все его научное образование срослось с великорусским языком.

Не таково положение малорусских простолюдинов — людей, едва грамотных или желающих учиться грамоте. Им книги серьезного содержания были бы гораздо понятнее на малорусском языке. Потому популярная литература — серьезные книги для чтения в школах, в семействах поселян — должны явиться на малорусском языке теперь же. Это тем необходимее, что и по-великорусски порядочной популярной литературы еще нет; малоруссы ровно ничего не потеряют, отказавшись от нее, — ведь все равно дело еще надобно начинать с самого начала, на великорусском ли, на малорусском ли языке; а если люди не связаны драгоценностью уже готового материала, то лучше всего им приняться за подготовку именно такого материала, какой нужен для них — великоруссам за доставление своему народу книг на своем языке, малоруссам — своему на своем.

Высказывая такое мнение, мы полагаем, что и для успехов нашей великорусской популярной литературы будет полезно, если малоруссы станут работать для доставления своему народу книг на своем языке, не удовлетворяясь для этой цели великорусскими книгами и не полагаясь на нас. У них любовь к народности так сильна, что за снабжение народа книгами наверно примутся люди самые даровитые, и книги будут написаны ими очень хорошие. А достоинство популярных книг на малорусском языке возбуждает соревнование и в нас: нам станет тогда совестно не потрудиться хорошенько для нашего племени.

Преподавание малорусскому народу на малорусском языке, развитие популярной малорусской литературы — вот, по нашему мнению, та цель, к которой всего удобнее и полезнее будет стремиться малоруссам на первое время.

О малорусской беллетристике и поэзии мы не говорим, потому что права этих отраслей малорусской литературы признаны всеми, даже и обскурантами<sup>5</sup>.

Когда популярною литературою и распространением школ будет в Малороссии подготовлена надобность и в других малорусских книгах, кроме популярных, беллетристических и поэтических, сами собою разовьются и другие отрасли малорусской литературы; но они разовьются этим естественным путем настоятельной нужды в них лишь в том случае, если явится в Малороссии масса просвещенных людей, не имеющих нынешней привычки говорить и думать на великорусском языке обо всем, превышающем сферу общественной домашней, протонародной жизни.

Другие славянские племена могут желать единства между собою, потому что каждое из них было бы слишком слабо в отдельности, — им действительно нужна взаимная опора. Мы не в таком положении. Мы так многочисленны, так сильны, что и одни мы в отдельности не можем бояться никого, — нам нет надобности искать чьей-нибудь опоры для своей безопасности. Мы желали бы жить сами по себе. Это может показаться гордостью. Называйте как хотите, но дело основано на статистическом факте. Быть может, не между нами одними находятся многие, желающие по внушению предрассудков решать иначе. Но нежные чувства не годятся никуда в исторических расчетах. Вспомним басню о двух горшках, железном и глиняном; вспомним басню «Лев на ловле»; а если не хотим басен, посмотрим на географическую карту. Вот сливаются Шилка и Аргунь, реки одинаковой величины, и ни одна из них не обижена; из их соединения выходит река Амур, в которой признают все географы продолжение не одной Шилки, а также и Аргуни — или не одной Аргуни, а также и Шилки. Посмотрите теперь на другое место карты: Кама, большая река, очень большая река, соединяется с Волгой; что же образуется из их соединения? образуется Волга, — Кама исчезает в ней. Напрасно усиливается она удержаться в широком русле Волги свою самобытность, напрасно воды ее жмутся плотнее, стараются сохранить полосу своего темного оттенка, — несколько часов, несколько верст, и темноватая полоса эта бесследно исчезает в широком разливе желтых вод своей слишком могущественной спутницы — Волги. Спросите в Астрахани, в Нижнем, на какой реке стоят эти города? На той самой, на которой стоят Ярославль и Тверь. А та река, на которой стоит Пермь? То другая река, она поглощена нашей рекой, — наша река ярославская, а не пермская.

Мы надеемся, что наши эти слова не будут приняты в смысле, который противоречил бы смыслу всех предшествовавших страниц. Но к чему вечно думать все о себе! Разве свет клином сошелся, что нет уже на нем ничего любопытного, кроме наших дел? Посмотрите на этнографическую карту, положим, хотя Пиренейского полуострова: странную вещь вы увидите тут, а кото-



рой, быть может, и не догадывались никогда. Как вы полагаете, на каком языке говорят жители Каталонии, Валенсии и восточной части Арагонии? На одном из наречий южно-французского языка. Не правда ли, это удивляет вас? Какие книги, какие газеты печатаются в Барселоне, читаются в Лериде, Тортозе, Аликанте? Вы знаете, что испанские. Отчего же бы это так, когда вся эта страна от Аликанте до Фигераса и Сольсоны населена племенем, родной язык которого — одно из южно-французских наречий? Не знаем отчего, но, посмотрев на противоположный, западный край Пиренейского полуострова, увидим другую странность. Португальцы имеют свою особенную литературу, а между тем говорят просто-напросто одним из наречий испанского языка, — наречием, которым говорит народ не в одной Португалии, а также и в испанской Галисии, где уже не читают португальских книг, а читают испанские книги, то есть книги не на родном галисийско-португальском наречии, а на кастильском, то есть мадридском, наречии. Очень странно. С чего это вздумалось каталонцам и валенсийцам обиспаниваться? почему это галисийцы не могли, а португальцы могли дать своему (у обоих у них одному и тому же) наречию высокое литературное развитие? Если что-нибудь не так, как следовало бы по логике, то обыкновенно сваливают хлопоты объяснений на историю. Мы вовсе не думаем ни скорбеть, ни радоваться ни тому, что галисийцы пренебрегают своим наречием, ни тому, что португальцы развивают его. Что нам до этого? Пусть себе португальцы и каталонцы читают книги на каком хотят языке. Весь наш интерес в их делах ограничивается желанием всякого добра для них. Пусть они будут уверены в искренности нашего доброжелательства; но тут же то же самое доброжелательство заставляет нас сделать оговорку: пусть они, однако, из этого доброжелательства не выводят мысли искать в нас опоры: у них своя земля, у нас своя земля, и если бы португальцы вздумали присоединить свою землю к нашей на каких бы то ни было условиях, из этого мало было бы пользы нам, а еще меньше им.

Но мы бог знает куда отбились от «Основы». Начали мы было с малорусской литературы так, что и могло бы выйти вступление к отчету о новом журнале, а потом сбились с толку так, что уже ровно никакого отношения ни к «Основе», ни к малорусской литературе не оказывается в нашем многословии. Разве одною ниткою можно как-нибудь притянуть его к «Основе». «Основа» хочет печатать малорусские стихотворения и повести и, кроме того, быть сборником материалов для изучения южно-русской страны, истории и народности. А мы заболтались до того, что начали рассуждать побасенки, что, как известно, составляет уже народность. Вот она связь и приискана, хотя с порядочной натяжкой. Начнем же говорить о настоящем деле, а великодушный читатель постарается забыть предыдущие страницы.

Программа «Основы» известна читателю: она была разослана при «Современнике», кроме того, говорилось о ней и в самом «Современнике»<sup>6</sup>. Стало быть, пересказывать ее вновь — дело лишнее, а надобно сказать только о том, каков первый номер «Основы». Перечислять все статьи, в нем помещенные, было бы так же напрасно — список их можно видеть в объявлениях (а еще лучше — на обертке самой «Основы»), а мы заметим только некоторые: пять стихотворений Шевченка, рассказ Марка Вовчка «Три доли», план драмы из украинской истории, найденный в бумагах Гоголя, статьи о Климентие и Котляревском, составляющие начало обзора украинской словесности г. Кулиша, и мысли «О федеративном начале в древней Руси» г. Костомарова<sup>7</sup>.

Мы не будем говорить ни о рассказе Марка Вовчка, ни о пьесах Шевченка: одних имен этих довольно, чтобы люди, читающие по-малорусски, назвали первый номер «Основы» очень интересным. Обратим внимание только на статьи г. Кулиша и г. Костомарова.

Не многие из нас слыхивали о Климентие, стихоплете времен Мазепы; но кто подвержен наклонности приписывать хорошее влияние на народную жизнь той схоластике, которая процветала в Киеве и в славяно-греко-российской академии, должен прочесть этюд г. Кулиша об ученом поэте, порожденном этою схоластикой. Надобно дивиться терпению, с которым автор перечитывал его бесцветные вирши, выбирая все, что может характеризовать или взгляд его, или тогдашние нравы. Зато и картина вышла поучительная для многих из наших историков литературы. Несмотря на свое звание, Климентий — грязный циник, и назидательные его стихи учат разврату. Кроме пьянства, всяческого кутежа и презрения к женщине, Климентий внушает только разве следующие понятия, — переводим прозою конец его виршей «о мужиках, уходящих в слободы» (то есть уходящих в малонаселенные места от притеснений).

«Они покидают готовые избы, и, пришедши в вольное село, не имеют их; они подвергаются бедствиям хуже прежних и разве-разве остаются живы сами; тут им уж воля хоть бежать в лес, хоть к самому чорту, хоть утопиться, хоть удавиться. Вот твоя доля, глупый мужик, бунтовщик против своего пана. Не хотел ты повиноваться пану, гибни же теперь за свою злую непокорность, за упрямую свою гордость. Хорошо делают паны, которые обируют таких мужиков: бог простит их, в этом нет греха. Следует не только обирать их, следует забивать до смерти. Ежели человек не повинуется кому следует, то обери и хоть убей его до смерти за такую вину. Бог за (убийство) бунтовщика не накажет, а еще наградит, потому что он виноват не перед одним паном, а и перед самим богом. Как ты ни жил, а все жил; надобно до конца претерпеть, и зато мог бы ты получить спасение. Потому вы,

паны, не щадите таких беглецов: грабьте их, бейте и отнимайте у них детей. Не оказывайте им никакого снисхождения, а спра- вляйтесь с ними, как я говорю».

Хорош наставник и для народа, и для панов. Если мало вам этого, то вот еще перевод только двух стихов: «Не верь никакой женщине, ни даже жене», — говорит Климентий:

«Даже мать, и она тоже женщина, и через мать попадает человек в беду и в грех».

До такой пошлости, чтобы даже о матери говорить подобным образом, не доходил никогда и грубейший человек, не испорчен- ный схоластикою; эти стихи Климентия так замечательны своей удивительною наглостью, что мы выпишем их подлинными сло- вами, — иначе читатель усомнился бы, не прикрашена ли мысль Климентия в нашем переводе.

И аще би и мати, ёднкъ тая жь женà,  
и презь мàтерь бивàет скорбь и грѣху винà.

Познакомившись с Климентом, наверное потеряешь охоту говорить, что имел или мог иметь благотворное влияние на граж- данский или семейный быт тот элемент, представителем которого является Климентий. Из статьи г. Кулиша о Котляревском мы выпишем несколько строк, могущих служить некоторым извинением прежней ошибки наших московских и петербургских писа- телей, не думавших, чтобы из стремления к малорусской литера- туре вышло нечто хорошее, видимое нами теперь. Природный талант, по словам г. Кулиша, был у Котляревского, но дурной вкус, которому он поддался, отразился на поколении малорусских писателей, воспитавшихся его перелицованною «Энеидою», «На- талкою Полтавкою» и «Москалем Чаривником».

Когда для этого молодого поколения (говорит г. Кулиш) наступила пора высказать свой взгляд на народ в свою очередь, оно в произведениях новых писателей своих не могло вполне отделаться от того, что можно назвать одним словом — *котляревщина*. Комически карикатурное и идилли- чески сентиментальное — эти две крайности произведений Котляревского — сделались Сциллою и Харибдою для живописцев украинской жизни. На помощь одним явилось уразумение достоинства нашей простонародной жизни и поэзии, на помощь другим — строгое изучение нашего прошедшего. Тем не менее котляревщина, с той или другой стороны, отражается до сих пор во многих, повидимому, совершенно независимых произведениях украинской сло- весности, не говоря уже о целой массе плохих стихов и прозы, появившихся в печати или не находящихся для себя издателя.

Если г. Кулиш говорит, что в малорусской литературе часто и до сих пор отражается котляревщина, конечно, не нам против этого спорить. Но мы теперь видим в ней много и другого, уже не похожего на котляревщину, и зато теперь уже никто из нас не может отзываться о малорусской литературе без уважения и со- чувствия, если не хочет заслужить названия невежды.

Статья г. Костомарова «О федеративном начале древней Руси» представляет общий очерк взгляда его на очень важный

вопрос нашей древней истории: по какому принципу дробилась Русь на уделы и какими элементами восстановилось политическое единство нации. Г. Костомаров доказывает, что главным основанием распада Руси на уделы было различие племен между русскими славянами; по всей вероятности, этой племенной разнице действительно принадлежало очень важное участие в раздроблении Руси, хотя, конечно, были и другие причины, например, влияние топографических условий, невозможность долго удерживать отдаленные края в покорности какому-нибудь центру при недостатке дорог и, наконец, свойственное всем младенствующим народам неумение удержаться от распада на мелкие политические общества, хотя бы между некоторыми из этих обществ и не существовало никакой разницы ни в языке, ни в обычаях. Едва ли находилась племенная разница между Москвою и Тверью, распадение между которыми было так продолжительно и резко. Но какими бы причинами ни объяснялось удельное распадение, нас гораздо больше интересует взгляд г. Костомарова на причины, которым должны мы быть благодарны за наше нынешнее политическое единство. Первую из этих причин г. Костомаров разъясняет очень верно (приводим только главные мысли, выпуская подробности):

Что происхождение пришедших славян было между ними памятно и служило для них признаком единства, частью это достаточно видно из сказаний в начале наших летописей о прибытии славян с Дуная. И теперь самое название «Дунай» между другими общими признаками представляет что-то общее для русских племен: в песнях великорусских и малорусских имя «Дунай» остается одним из немногих общих, для тех и других заветных собственных имен. Без сомнения, в древние времена яснее, живее и общее были воспоминания народов о приходе их предков с Дуная. Таким образом, пришельцы сознавали единство общего своего происхождения. Полянин мог враждовать с соседом своим древлянином, но помнил, что он одного с ним происхождения и пришел с одного места; вражда могла быть ожесточенною, но не могла потерять характера домашней; у врагов были одни и те же старые предания, песни, которые их сближали и указывали тем и другим на взаимное родство. Память об общих героях, прародителях, носилась над племенами дыханием поэзии. Как помнилось происхождение, это можно видеть из того, что славяне новгородские долго и долго имели тяготение к Киеву; это объясняется тем, что жители берегов Ильменя были ветвикою полян: их наречие до сих пор показывает близость к южно-русскому.

Вместе с преданиями о происхождении соединяла славян и общность основ в их обычаях и нравах. Хотя каждое племя, как передают нам древние летописцы, и имело свои предания, свои обычаи, законы своих отцов, но в том, что принадлежало одному из племен в особенности, заключалось в главных чертах много такого, что составляло сущность жизненных начал другого племени. Все доказывает, что в древности славянские племена в основах своей духовной жизни имели одинакие верования, обычаи и религиозные обряды.

Еще знаменательнее этих остатков язычества, исчезавших вместе с христианством, общие славянам начала общественного строя. Вечевое начало было родное всем славянам и в том числе всем славянам русским. Повсюду, как коренное учреждение народное, является вече, народное собрание. Самое выражение вече есть название, общее всем славянам русским как в Киеве

и на Волини, так и в Ростове и Новгороде; во всех углах и краях Руси употребляют одно и то же название самого драгоценного и важнейшего явления народной самобытности. В любви к свободе славяне русские хранили заветное чувство всего своего племени, и что говорят о свободолюбии славян Прокопий, Маврикий и Лев Мудрый<sup>8</sup>, то сохранялось долго у русских славян, несмотря на противодействующие обстоятельства. Вечевое устройство должно было действовать соединительно на русский народ. Уже одно общее имя *веча* у всех русско-славянских народов к этому располагало. Собрания народные соединяли людей часто разнородных, особенно тогда, когда на собрание сходились из нескольких городов. Вообще не было нигде строгих правил, запрещавших тому или другому участвовать в этих собраниях: мы, напротив, видим, что участвовали от мала до велика; перешедший из одного славянского города в другой видел такое же собрание, как и у себя, также без стесняющих правил, вольное, широкое, и входил в него легко. Все коренные обычаи, не только домашние и религиозные, но и общественные, по сходству начал своих должны были поддерживать сознание единства племени русско-славянского.

Несмотря на различие русских наречий, между ними существовало всегда столько сходства, сколько нужно было, чтоб каждый народец, говоривший тем или другим русским наречием, видел в другом единоплеменном, соседнем народце — родственное себе по сравнению с другими народностями. Брожение и поселение между славянами иноплеменников столько же помогало сохранению между ними сознания о племенном единстве, сколько мешало фактическому соединению народов. Каждое славянское племя могло смотреть на другое как на отличное от него во многом и не сознавать родства своего с ним только до тех пор, пока не знакомилось с таким народом, который равным образом чужд обоим. Тогда из сравнения являлось понятие о близости и возможности сознания единства. Мы имеем случай наблюдать это в наше время. Белкорусс-простолюдин не сознает родства своего с поляком, когда встречается с ним один на один, но сознание это сейчас пробуждается, как скоро случай приведет его сравнить поляка с немцем или татаринном. Так в древности полянин, встречаясь с печенегом, должен был замечать, что с ним у него нет сходства в языке, а, напротив, есть с вятичем, и отсюда возникало сознание, что вятич ему родной. При ознакомлении с другими славянскими народами, например, с поляками или болгарями, неизбежно выставлялось пред глаза сравнительно большее сходство народов русского материка между собою, чем каждого из них с прочими славянами. В древности, как и теперь, существовали общие русским наречиям филологические признаки, которых не было или которые иначе сложились у других славян. Эти признаки сохранились в наших летописях сквозь церковно-книжную одежду и указывают на существование особенностей, отличающих говор всех русских наречий от других славянских. Таким образом, славянин какого бы то ни было русского народца видел в славянине другой, своей же ветви более родную для себя стихию, во-первых, по сравнению с неславянскими племенами, окружавшими славян, а во-вторых, и по сравнению с иными славянскими ветвями. Поляк для киевлянина должен был представляться более далеким, чем славянин новгородский. Строй языка и говор много содействуют образованию понятия о близости или отдаленности народных особенностей; чем ближе говор, чем роднее язык в чужом человеке, тем больше склонности считать этого человека в общительности с собою. С народностями совершается такая судьба, что большему или меньшему их сближению, от простого чувства народного сходства до положительных стремлений к слитию, способствует столкновение с таким единоплеменным народом, которого особенности равно одинаково близки и одинаково далеки и тем, и другим; как и соединению всего племени или племенной ветви, состоящей из многих народов, может способствовать столкновение с массой иноплеменников.

Как об одной части этих замечаний говорит сам г. Костомаров, так готовы были бы мы сказать обо всем выписанном нами отрывке, что не нужно, казалось, излагать подробно вещей, которые, повидимому, всем давно известны. У народа были в разных местностях разные оттенки обычаев и говора, но все эти разные оттенки были ничтожны перед подавляющею их массою общего и в языке, и в быте, и в понятиях, и в преданиях. Сознание народа о местных своих разветвлениях совершенно подавлялось сознанием своего национального единства: что ж удивительного, если раздробление такого народа не могло быть ничем иным, как явлением, вынужденным от внешних обстоятельств, явлением, противным натуре народа, которая влекла все части к соединению и привлекла их к единству, как только население размножилось настолько, что между разными частями уже не осталось непроходимых пустынь, и вымерли в европейском климате дикие силы азиатских орд, долго не дававших народу опомниться вечными тревогами своих вторжений? Одну сторону этого дела мы можем видеть теперь в Австралии. Поселились несколько англичан в юго-западном углу материка и назвали свою землю «Западной Австралией», или нет, лучше послушаем подлинные слова летописца: «и седоша агляне по реце Блаквуд, и прозвашася западно-австралийцы; и друзии агляне седоша по реце Мурай, и прозвашася южно-австралийцы; и потечеть река Мурай в море Понетьское южное жерлэм, и по тому морю итти даже до Рима, а вытечь та река с гор Синих, и за горами теми седоша друзии агляне и прозвашася викторийцы; а пойдут те горы Синие к полунощи, и на полунощи язык нем, заклепан в горах Александром Македоньским, и секут гору, хотяще высечися; а тому языку нему приседят друзии агляне иже седоша к полунощи и к морю вьсточному, и прозвашася ти агляне ново-южно-уэльсцы». Вот и живут теперь эти четыре части Австралийской земли — Западная Австралия, Южная Австралия, Виктория, Новый Южный Уэльс — каждая особо от других, и нет между ними единства, и наверное уже есть какая-нибудь разница теперь в некоторых вещах между этими четырьмя отделами «аглян»: погибло единство английской нации на южном материке! Оно, быть может, и не погибло; но, воля ваша, как же этим четырьмя частям составлять одно целое, когда каждая из них отделена от остальных пустынями, и проехать из одной в другую можно только, по «Слову о Полку Игореве», «неготовыми дорогами»? Что же вы думаете, разве век так останется? Наверное нет; когда население размножится, когда уменьшится пространство пустынь, отделяющих одно общество австралийских «аглян» от другого, из этих обществ наверное образуется одно политическое целое, и в чем надобно будет тогда искать причину единства? Просто-напросто в единстве национальности.

Это, как мы сказали, служит подобием одной стороны нашего русского дела. Другую сторону его можно видеть в судьбе Италии. Немцы, испанцы, французы беспрестанно вторгались в эту страну, терзали ее, довели народ до какого-то онемения от беспрестанных насилий и опасений, — и вот Италия бог знает сколько веков оставалась раздроблена. Почему же это оставалась? Просто потому, что не допускали единства иноземные хищники. Что же теперь? Австрийцы стали слабеть, притом же французам понадобилось побить австрийцев; народ получил некоторую возможность двигаться по своей воле — и сдвинулся в одно<sup>9</sup>. Точь-в-точь как у нас: сарайские татары (это, положим, австрийцы) стали слабеть: а тут Тамерлану вздумалось взять да и разбить на голову Тохтамыша, а самому Тамерлану обстоятельства помешали итти дальше Ельца, заставили его вернуть свои полчища назад; а сарайским татарам, побитым от него, не удалось уже войти в прежнюю силу; вот русский народ получил некоторую свободу движений и тоже сдвинулся в одно, по крайней мере, одна половина его сдвинулась — великоруссы; другая половина получила возможность сдвинуться несколько раньше по другим подобным же обстоятельствам: стал ходить какой-то Гедимин и бить направо и налево тех, кто мешал природному влечению южно-руссов к единству, — они тоже могли теперь двигаться несколько по своей воле и тоже сдвинулись в одно. В ком же или в чем же тут сдвигавший части элемент? В народности, и больше ни в чем; в самом русском народе и больше ни в ком. А если уж непременно вы хотите отыскать себе еще какой-нибудь предмет признательности за ваше нынешнее единство, то вы, великоруссы, провозглашайте, что сосудом, в котором отлилась и из которого излилась идея вашего единства, был Тамерлан, восхваляйте его! Я полагаю, что Тамерлан был проникнут высокою государственною идеею русского единства, что в ней ключ к его изумительной деятельности. О, великий Тамерлан! О, благодетель земли русской! Много ты пролил невинной крови, много высоких пирамид сложил ты из отрубленных голов, смазанных известкой! Глупые немцы и легкомысленные французы выражаются о тебе в самых дурных словах. Но они не поняли тебя! Тебя может оценить только облагодетельствованное тобою русское племя. Впрочем, мы выразились не совсем точно: ближайшим образом Тамерлан принадлежит истории только великорусского единства: а кого же бы нам поблагодарить за малорусское? Право, не скоро можно найти; Гедимина и Витольда с их дикими литовцами никак нельзя: по высоте своих стремлений они, пожалуй, заслуживают полной похвалы; но слишком слабы, слишком ничтожны были эти литовцы. А впрочем, дайте нам только срок, мы подумаем и придумаем, кого следует благодарить малороссам.

Шутки в сторону. Народ проникнут сознанием единства, чего же вам еще искать других причин возникновению единства?

Справедливо говорит г. Костомаров, что не стоило бы и говорить об этом, если бы с нашими историками не произошел по какому-то странному случаю такой неправдоподобный анекдот, что они «слона-то и не заметили». Подите вот, какие казусы иногда бывают. Ищешь причин, почему же это один народ оказывается одним народом, да и необразишь, что один он, собственно, потому, что один. А как необразишь этого неважного обстоятельства, то уж каких объяснений не подберешь и каких великих деятелей не отыщешь и каких благотворных элементов не откроешь!

Оно так, мало ли что соприкасается каждому великому феномену, обнимающему собою громадное пространство и сотни лет. Возьмите хоть ту же Волгу, о которой мы говорили. Почему Волга такая большая река и так много в ней воды? Вы скажете: «оттого что стекается в это русло вода громадного бассейна». А я скажу: нет, с моей кухни (дом у меня стоит на Волге) льют помои в Волгу, вот от этого и прибавляется в ней вода. Совершенная правда во-первых, и самый факт бесспорен: у нас, точно, есть привычка, что всякой дряни дают валиться и стекать в реку; а во-вторых, можно доказать математически, что от каждого ушата помоев, стекающего в реку, увеличивается количество воды в реке.

Создатель, какая длинная вышла статья! а мы было еще хотели поговорить об элементах, содействовавших развитию нашего единства. Что делать, не осталось у нас места на это. Скажем же, что они могли, пожалуй, иметь свою долю влияния, но доля эта совершенно ничтожна, ничтожней мухи перед слонем по сравнению с силою, какую имело то обстоятельство, что от Вятки до Рязани жил один и тот же народ, всегда глубоко сознававший свое народное единство.

Еще одна заметка, самая краткая. Польша была также раздроблена на множество уделов. Какая же сила слила их в одну польскую Речь Посполитую? Кажется, сходное с нашим обстоятельство только одно тут было: польская земля была населена людьми одного племени и русская земля тоже людьми одного племени. Все остальные влияния были совершенно различны. Из этого, кажется, можно видеть, что все эти различные влияния ни в Польше, ни у нас не могут считаться причинами единства, одинаково возникшего и у нас, и в Польше.

Скажут: «не имея наших элементов, Польша не удержалась, а мы отстояли свое единство». Оба факта опять бесспорны: но чему приписывать их? Толковать об этом довольно длинная история или, лучше сказать, две очень длинные истории. Отложим их до другого раза, а статью пора кончить — желанием полного успеха «Основе» и стремлению, из которого она возникла и в котором найдет себе поддержку.

Да, мы едва не забыли сказать для великоруссов, что большая часть первого номера занята статьями на нашем языке; вероятно, так будет и постоянно.



Из новых периодических изданий, которые должны были возникнуть с начала нынешнего года, особенное ожидание возбуждалось тремя: «Русскою речью», «Веком» и «Временем». «Век» и «Русская речь»<sup>2</sup> — еженедельные газеты; чтобы оценить их надлежащим образом, надобно подождать, пока дадут они по нескольку номеров, судить о них теперь было бы слишком опрометчиво. Можно сказать с уверенностью лишь одно (что было, впрочем, известно и до появления первых номеров): обе газеты должны быть гораздо лучше тех изданий, которые были прежде распространены в обширном кругу читателей, находящем толстые наши журналы слишком тяжелыми или по цене, или по содержанию. Обе они принадлежат к той части нашей литературы, которая имеет свою целью облагорожение, а не опошление понятий общества. В дешевых изданиях такого рода был у нас до нынешнего года недостаток. Правда, существовал уже почти два года «Московский вестник»<sup>3</sup>, достойный полной похвалы по своему направлению; но он был слишком мало распространен в публике, конечно, по собственной вине: он не умел привлечь к себе разнообразием, не умел придать себе газетную живость. С нового года он, как мы слышали, приобрел больше средств. Отлагая до одной из следующих книжек речь о преобразованном «Московском вестнике» и новых еженедельных газетах, мы надеемся, что будем иметь тогда достаточные материалы сказать, что русская публика получила три хорошие еженедельные газеты.

Но о «Времени» можем сказать мы уже и теперь, что это издание заслуживает внимания публики. Толстая книга журнала, выходящего раз в месяц, представляет столько материала, что по одному номеру нового журнала не трудно бывает определить его направление и количество сил, каким он располагает для исполнения своей задачи. «Время» ставит одним из главных своих достоинств — независимость от литературного кумовства, дающую ему простор прямо и резко высказывать свои мнения о других периодических изданиях и тех писателях, откровенно рассуждать о которых часто стеснялись другие журналы. Нельзя не сознаться, что у каждого из старых журналов, пользующихся хорошою репутациею, действительно образовались самою силою времени тесные отношения к тем или другим писателям, так что новый журнал не совсем несправедливо присвоивает себе в этом случае преимущество. Но мы надеемся доказать «Времени» эту статью, что и для нас литературное кумовство не имеет особенной драгоценности и уже никак не мешает нам хвалить то, что заслуживает похвалы, — не мешает нам ставить прямодушную правду выше всяких авторитетов.

В объявлении о своем журнале редакция «Времени» говорила довольно бесцеремонным образом, что не намерена церемониться с авторитетами. Этим обещанием она возбуждала хорошие надежды, но вместе с тем возбуждала во многих и некоторое сомнение. Что такое «авторитет»? Если «авторитетом» называть тех писателей, превосходство которых признано всеми до того, что трудно и прочесть этим писателям в порядочных изданиях резкую правду о своих произведениях, — в нашей литературе только два авторитета: г. Тургенев и г. Гончаров. Всем другим очень часто приходится читать о себе не только голую, а даже и разукрашенную бранным тоном правду. Основывать журнал для беспристрастной оценки повестей и романов гг. Тургенева и Гончарова, конечно, было бы уж слишком много. Очевидно было, что слова редакции «Времени» следует понимать в другом смысле: под «авторитетами» разумела она вообще всех писателей, пользующихся известностью, — от г. Авдеева до г. Фета<sup>4</sup>. А в таком случае будет ли она иметь столько литературных сил, чтобы порядочно вести журнал? Ведь известно, как обидчивы у нас писатели: вот, например, мы, кажется, всего два-три слова сказали как-то о г. Ржевском, авторе знаменитого трактата о средствах к увеличению числа пролетариев, да и то сказали вскользь<sup>5</sup>, а теперь мы уверены, вздумай мы просить у г. Ржевского для своего журнала статьи, он ни за что не даст. «Время» как будто отрекалось от сотрудничества писателей, пользующихся известностью. Это подтверждалось и тем, что не было в объявлении списка сотрудников с громкими именами, — ничего, подобного извлечению из блистательного сонма знаменитых рукоприкладчиков великого гражданского подвига в защиту евреев: не хвалилось «Время» именами, равносильными именам гг. Безобразова, Галахова, Громеки, Феоктистова, Розенгейма и т. д., и т. д., — именами, составлявшими такие великолепные созвездия в других объявлениях<sup>6</sup>.

Не знаем, сходится ли публика с мнением литературных кружков, но в литературных кругах близкие связи редакции с сонмом светил, ярких в глазах этих кружков, считаются необходимыми для хорошего ведения журнала. Правда, сами литературные круги как будто замечают, что самыми скучными статьями в журналах бывают статьи, украшенные именами многих очень уважаемых писателей. Но все-таки как-то лучшие с ними. Что будет делать «Время» без них?

Судя по первому номеру, никакого особенного ущерба не принесла «Времени» слабость его хлопот о приобретении именитых сотрудников. Против нашего ожидания, мы даже увидели на обертке один ингредиент с именитою подписью: «Легенда об испанской инквизиции. Поэма. Часть первая. Исповедь королевы. А. Н. Майкова». Выражать свое мнение о степени драгоценности этого ингредиента было бы противно правилам «Современника»,

который преклоняется пред «авторитетами», да и неделикатно относительно публики, которая в прошлую и нынешнюю зиму изорвала не одну дюжину перчаток, френетически \* аплодируя г. Майкову на чтениях в Пассаже и других публичных залах. Г. Плещеева, который дал в первую книжку «Времени» очень милое стихотворение «Облака», мы не причисляем к авторитетам; он не более как писатель, деятельность которого безукоризненна и полезна; он лишен качества, необходимого для авторитетности: он не заражен литературным тщеславием. «Солимская Гетера» — стихотворение В. Крестовского, должно назваться превосходным, потому что оно нимало не уступает лучшим стихотворениям в подобном роде г. Майкова, которые мы всегда признавали превосходными по нашему принципу преклонения пред авторитетами. В прозе мы находим статью г. Страхова «О жителях планет», написанную очень популярно; перевод трех рассказов Эдгара Поэ, рассказ г. В. Крестовского «Погибшее, но милое создание»; эпизод из мемуаров Казановы, — отрывок, в котором он рассказывает свое знаменитое бегство из венецианской тюрьмы, — выбор очень удачный: история этого действительного события имеет всю занимательность эффектного романа <sup>7</sup>. Но из всех статей, находящихся в первом отделе журнала, самая важная по своему достоинству, конечно, роман г. Ф. Достоевского «Униженные и оскорбленные». Роман будет иметь четыре части; из них в первой книжке помещена только одна. Нельзя угадать, как разовьется содержание в следующих частях, потому скажем теперь только, что первая часть возбуждает сильный интерес ознакомиться с дальнейшим ходом отношений между тремя главными действующими лицами: юношею, от имени которого ведется рассказ (роман имеет форму автобиографии), девушкою, которую он горячо любит, которая и сама ценит его благородство, но отдалась другому, очаровательному и бесхарактерному человеку. Личность этого счастливого любовника задумана очень хорошо, и если автор успеет выдержать психологическую верность в отношениях между ним и отдавшеюся ему девушкою, роман его будет одним из лучших, какие являлись у нас в последние годы. В первой части, по нашему мнению, рассказ имеет правдивость; это соединение гордости и силы в женщине с готовностью переносить от любимого человека жесточайшие оскорбления, одного из которых было бы, кажется, достаточно, чтобы заменить прежнюю любовь презрительною ненавистью, — это странное соединение в действительности встречается у женщин очень часто. Наташа с самого начала предчувствует, что человек, которому отдается она, не стоит ее; предчувствует, что он готов бросить ее — и все-таки не отталкивает его, напротив, бросает для него свою семью, чтобы

\* Бурно. — Ред.

удержать его любовь к себе, поселившись вместе с ним. Она очень ревнива, а он, пользуясь любовью милой девушки, находит еще в себе охоту кутить с разными камелиями; она знает это и все-таки продолжает любить его. Наконец, у него является невеста, на которой он уже почти решился жениться, и Наташа все еще не отталкивает этого дрянного человека. Те из мужчин, которым не случалось всматриваться в драмы, происходящие около них, или которые слишком рано загубели, назовут такую историю невозможной или цинически скажут, что у Наташи были свои расчеты, что загадка разъясняется вовсе не к чести Наташи. К несчастью, слишком многие из благороднейших женщин могут припомнить в собственной жизни подобные случаи, и хорошо, если только припомнить как минувшую уже чуждую их настоящего историю.

Мы заговорились о первом отделе журнала, между тем как вовсе не думали останавливаться на нем, начав нашу статью с намерением обратить внимание только на второй отдел книжки, только на статьи, собственно так называемые журнальные: критические, библиографические и т. д. Преимущественно ими определяется направление журнала, и, судя по всему, преимущественно ими должно держаться «Время». В первой книжке оно выдерживает свою программу: тут полная независимость от всех прежних литературных кружков, одинаковая прямота мнений о всех и обо всем. В числе других порядком достается и нам; если бы была у нас склонность претендовать, когда кто судит о нас так же резко, как мы часто судим о других, мы могли бы обидеться (как, без всякого сомнения, уже обиделись многие иные). Но это обстоятельство несколько не уменьшает нашей склонности поддерживать «Время» на том пути прямых и смелых суждений, которым думает оно идти. Если бы вздумалось нам поспорить с «Временем», мы заметили бы, что ошибается оно, когда говорит о статьях, подписанных буквами — *бов*, как будто об имеющих притязание на авторитетность. Каждому кажется, что его взгляд справедлив; разумеется, так думает о своем взгляде и — *бов*; но вместе с тем он думает, что в его взгляде нет ничего особенно головоломного, что подобным образом смотрят на вещи сотни и тысячи людей, быть может, и не подозревающих, что существует на свете не только — *бов*, но и самый журнал, печатающий статьи — *бова*. Взгляд этот развивается в людях самую жизнь, независимо от каких-нибудь статей, и навязать его своими статьями — *бов* никому не надеется: кто сам по себе не дошел до такого взгляда, даже и не понимает статей — *бова*, как доказано было знаменитым примером человеколюбивого назидания, данного — *бову* газетою, чрезвычайно авторитетною<sup>8</sup>. Куда же тут иметь притязание на авторитетность! Довольно того, если — *бову* удастся высказать иногда то, что думалось и без него очень многими, только не высказывалось в печати нашими критическими авторитетами.

Впрочем, это все еще нейдет к делу, — а дело наше в том, чтобы несколько познакомить читателя с направлением «Времени». Достигнуть этой цели можно бы двумя способами: во-первых, можно было бы пересмотреть все содержание второго отдела книжки, коснуться всех главных мыслей, развиваемых в нем; но это было бы слишком длинно. Лучше будет взять в пример один вопрос, по взгляду на который легко будет отгадать характер «Времени». Мы берем для этой пробы понятие о [так называемой] гласности, которую вернее было бы называть косноязычностью<sup>9</sup>. Всему свету известно, что с русскою гласностью, несмотря на юность и невинность этой скромной институтки, а может быть именно по причине ее чрезмерной стыдливости, произошло немало неприличных историй; конфузующих бедняжку до слез. До сих пор ее все еще экзаменуют и находят — не то, что она мало знает и почти ничего не говорит, нет, находят, что она держит себя непристойно и ставят ей дурные баллы за поведение. В образованных странах такого обращения с девицами не допускают нравы, — да и гласность там уже не девица, стыдящаяся всего на свете, робеющая каждого упрека, а очень бойкая дама, которая не даст спуску никому. Там все ее хвалят, потому что она сживает с белого света того, кто вздумал бы хоть заикнуться против нее. У нас не то: всякий норовит обидеть бедную девушку: и сплетница-то она, и нахалка-то она, и скандалезница-то она, — чуть кто посильнее, прямо зажимает ей рот, да еще дает пощечины (это считается хорошим средством примирить с собою, заставить полюбить себя); а кому не доставалась привилегия раздавать по своему усмотрению пинки и зажимать рот неприятному для него существу, тот, по крайней мере, подбивает других на это криками о том, что гласность зазорно держит себя, что надобно обуздать эту гадкую девчонку. Добро бы держали себя так становые и частные пристава, которым, точно, достается иногда от гласности и, надобно сказать, достается с нарушением всякой справедливости, как будто они — уж и в самом деле бог знает как виноваты в наших бедах и неурядицах, когда они-то в сущности еще гораздо невиннее многих. Нет, позорят и подводят под сюркуп\* нашу жалкую, колотимую всяким встречным и поперечным гласность сами журналисты, которым, повидимому, следовало бы защищать ее. В общих фразах они действительно превозносят ее; но чуть только явится в печати что-нибудь неприятное какому-нибудь журналисту, он тотчас же начинает толковать о злоупотреблении гласности, о том, что она вышла в этом случае за пределы, в которых бывает полезна и может быть терпима, словом сказать, начинает рассуждать тоном людей, враждебных гласности, и дает им в руки оружие против нее: «вот посмотрите (говорят

\* Под удар. — Ред.

после таких статей враги гласности), сами писатели находят, что литература слишком своевольничает»].

Мы не хотим приводить примеров; но лишь о немногих журналах можно сказать, что они никогда не нарушали своей обязанности в этом отношении, ни разу не поддавались желанию обратить то или другое литературное дело в нарушение полицейских или уголовных законов. Бывали случаи еще гораздо хуже частных обвинений того или другого издания, того или другого писателя в чрезмерной вольности суждений по какому-нибудь частному случаю: увлекаемые личною досадою, авторы подобных статей изливались даже в общих порицаниях всей литературы за мнимое злоупотребление гласностью. «Время» думает об этих мнимых злоупотреблениях иначе: оно доказывает, что если какая-нибудь статья или строка неприятны для нас, то мы еще не имеем права кричать будто бы она — злоупотребление и преступление; а если бы и встречались некоторые ошибки, то из-за этих малочисленных и ничтожных ошибок не следует набрасывать тень на дело, требующее дружеской поддержки от всех нас, пишущих людей.

Стало возможным осмеивать некоторые лица или всем надоевшие или злоупотребившие закон и власть, им предоставленную, или, наконец, такие, как, например, господин Козляинов, которые нет-нет да и отдают немку. Вместе с куплетами на этих господ, вероятно, по ошибке, написали несколько куплетов и на вас. Ну, что ж что написали — велика важность! Неужели ж из этого, что гласность раз ошиблась, — долой ее? Нет, милостивый государь, если вы любите гласность, извиняйте и уклонения ее. Вы, конечно, не оскорбитесь, если я поставлю лорда Пальмерстона на одну доску с вами — он человек почтенный во всех отношениях — что ж? он не обижается, когда его *продернут* иногда в двадцати или тридцати оппозиционных журналах да осмеют в десятках шуточных, да обругают на чем свет стоит в сотнях иностранных — французских, немецких, американских. Поверьте, что после всего этого продергивания он кушает с своим обыкновенным аппетитом, и ночью, когда говорит в палате, голос его не дрожит и не взволнованнисколько. И никогда на ум ему не вспадет желать уничтожения гласности. И за кого вы стоите, за кого вы ратуете, милостивый государь? За господ Гусиных, Сорокиных<sup>10</sup>, Козляиновых, Аскоченских, потому что если не считать вас, милостивый государь, — вас, которого задела, может быть, по недоразумению, ведь куплеты писались только на подлые лица. Стало быть, все, что вы писали о гласности, все ваши воззвания к ней, вся ваша жажда ее — все это были слова, слова и слова?.. Стало быть, пусть пишут про других, мы будем молчать и посмеемся еще с приятелями над осмеянными лицами, только бы нас-то не трогали? Нет, милостивый государь, ваше поколение (я старик, совсем старик, у меня и ноги уж не ходят, и потому я не принадлежу к вашему поколению) и без того уж много играло словами. Может быть, историческая роль его была играть словами, но из этих слов растет теперь новое поколение, для которого слово и дело, может быть, будут синонимами и которое понимает гласность несколько шире, чем вы понимаете ее. Я согласен, что вам все это крайне неприятно, понимаю, еще раз понимаю, как вам все это неприятно, но что ж делать? укрепитесь. Нельзя же вдруг вычеркнуть из жизни прежние либеральные годы, прежние верования<sup>11</sup>.

Мы выбросили из этого отрывка несколько строк, прямо относящихся к делу и лицу, по поводу которых высказываются

«Временем» общие замечания: мы не хотим, чтобы наша статья могла показаться направленною против кого-нибудь или для кого-нибудь обидной. Мы, собственно, желаем только показать читателю взгляд «Времени» на вопрос, в котором так часто сбивались с доброго пути столь многие. Вот еще небольшой отрывок из другой статьи.

Может быть, не возникло бы и половины тех общих и частных, специальных вопросов, которых теперь и не перечсть сразу, если бы не явилась к нам, способствовать нашему пробуждению, дорогая и прежде незнакомая нам гостья, прозванная «благодетельной» гласностью. Ни одна новизна, кажется, не потерпела у нас таких перемен в положении, как эта желанная гостья. Сначала она вступила к нам как-то робко, заговорила, заикаясь и съедая половину слов. С первого взгляда заинтересовались ею по причине той же юношеской пылкости; но скоро, заметив ее робость и неловкость, подняли бедную, как говорится, на зубок; насмешка не пощадила ее нового положения в обществе; стали ловить ее на каждом шагу, где случалось ей обмолвиться; особенно же в этом глотанье слов нашли что-то очень смешное. Она рассказывает нам, говорили насмешники, что-то и про кого-то; но о каких именно странах и о каких существах лепечет она — понять невозможно. Что какой-нибудь чиновник берет взятки, это мы и без нее знаем; что какой-нибудь смотритель заведения чинит в свою пользу безгрешную экономию, — тоже очень хорошо знаем; зачем же говорит она нам это? Цели нет! Из ее речей мы не можем сделать никакого употребления; мы хотели бы знать, на кого она жалуется, чтобы поразить того нашим отлучением; но ведь нельзя же отлучать поголовно всех чиновников и всех смотрителей; мы бы и без нее это сделали, если бы тут была какая-нибудь справедливость. Произнеси она нам имя, мы бы предали это имя стыду и общему презрению, и вышло бы то, что со временем существование подобных имен сделалось бы у нас невозможным, по крайней мере, крайне неудобным, потому что нельзя спокойно существовать в обществе под карюю стыда и общего презрения... Вот тогда была бы цель!

Так говорили насмешники и недовольные. Гостья прислушалась, поняла, в чем дело, оправилась — и вот оставляет она свои робкие движения и заменяет их смелою осанкой, становится сама насмешницею. Послышались в устах ее и имена собственные, и уже немалое число их произнесла она..

Но... и тут беда! Нашлись щекотливые господа, которые стали обижаться; стали говорить, что наша «благодетельная» гостья слишком вдается в частности, заглядывает туда, где ее не спрашивают, — не уважает, дескать, человеческого достоинства..<sup>12</sup>

Мы и здесь выбросили выражения, которые могли бы показаться особенною укоризною для какого-нибудь издания. Мы хотели этими выписками не выставлять на вид чужие промахи, а только познакомить читателя с мнением «Времени» о том, что такое гласность и можно ли у нас порицать ее за какую-то мнимую неумеренность. «Время» справедливо находит, что разоблачать перед публикою общие черты наших общественных недостатков литература не может, если не станет указывать на частные факты, которыми обнаруживаются общие недостатки; а касаясь частных фактов, она по необходимости должна выставлять и лица, в них участвовавшие; что с каждым делом неразлучны некоторые случайные ошибки; но что неприлично благородному человеку или рассудительному изданию делать возгласы против

самого дела по неудовольствию на мелкие частности его; что если бы когда и подверглось неосновательному порицанию лицо, бывшее правым, то сама литература не замедлила бы показать факт в истинном виде и дать несправедливо оскорбленному кем-нибудь полнейшее удовлетворение, и т. д. Этот благородный и справедливый взгляд проведен через всю собственно журнальную часть первого номера «Времени» с последовательностью, которой не слишком много примеров представляют наши издания и которая тем больше чести приносит новому журналу.

Сколько мы можем судить по первому номеру, «Время» расходится с «Современником» в понятиях о многих из числа тех вопросов, по которым может быть разница мнений в хорошей части общества. Если мы не ошибаемся, «Время» так же мало намерено быть сколком с «Современника», как и с «Русского вестника». Стало быть, наш отзыв о нем не продиктован пристрастием. Мы желаем ему успеха потому, что всегда с радостью приветствовали появление каждого нового журнала, который обещал быть представителем честного и независимого мнения, как бы ни различествовало оно от нашего образа мыслей. Читатель вспомнит, как радовались мы появлению «Русской беседы», хотя вперед знали, что почти на все спорные вопросы она будет иметь воззрение, прямо противоположное нашему; читатель вспомнит, с каким сочувствием встречали мы появление «Русского вестника»<sup>13</sup>, с которым в спорных вопросах сходимся разве немногим больше, чем с «Русскою беседою». Ничем иным, кроме чувства, заставлявшего нас желать «Русской беседе» того успеха, которого достигла бы она при меньшем пристрастии к разным слишком непопулярным элементам, и желать «Русскому вестнику» того же успеха, которого он достиг совершенно заслуженно и с большою пользою для нашего общественного развития, — ничем иным, кроме этого чувства, не будет объяснять публика и в нынешний раз нашего желания, чтобы успел привлечь к себе ее внимание журнал, имеющий направление, достойное симпатии.

## БИБЛИОГРАФИЯ

### <ИЗ № 3 «СОВРЕМЕННОГО»>

Стихотворения А. Н. Плещеева. Новое издание, значительно дополненное. Москва. 1861.

Стихи г. Плещеева стали впервые появляться в печати лет пятнадцать или шестнадцать тому назад. Как известно, тогда вдруг, ни с того, ни с сего, редакторы больших и толстых журналов воображали, что всякая строчка с кадансом\* и рифмой в

\* Стихотворный размер. — Ред.



конце должна компрометировать их серьезность, — и стихам, каковы бы они ни были, совершенно был загражден вход в важные ежемесячные издания. Начинаящим поэтам приходилось печатать свои опыты в жалких газетах, вроде «Литературной» или «Иллюстрации». Конечно, после того, как смолкли голоса Лермонтова и Кольцова, трудно было находить отраду в виршах Грекова, Красова, Бернета и тому подобных стихотворцев<sup>1</sup>. Впрочем — виноваты — это были уж не начинающие поэты; для них был приют в находившейся при последнем издыхании (которое продолжается — увя! и донесь) «Библиотеке для чтения». Для поэтов получше поименованных открыты были, пожалуй, еще страницы «Москвитянина»; но здесь не особенно лестно было затесаться в соседство с гг. Михаилом Дмитриевым, Федором Глинкой, а иногда и с посмертными творениями какого-нибудь древнего Шатрова<sup>2</sup>. Как бы то ни было, но в последнем журнале был единственный приют для даровитых молодых поэтов, за которыми признавались достоинства и теми журналами, которые отказывались печатать их стихи. Фета, Полонского только и можно было встретить, что в «Москвитяине». Г. Майков, которому при его первом появлении пророчили, что он чуть ли не будет заменой Пушкина, совсем приуныл на это время и смолк. Сколько помним, ни об одной книжке стихотворений, напечатанных отдельно, важные петербургские журналы не отзывались иначе, как тоном пренебрежения, временем смешанного даже с полным презрением. Иногда в темном закоулке смеси можно было встретить два-три стихотворения с очень известными именами, как, например, даже гг. Тургенева, Огарева... Но это была уступка или, как любит выражаться столь ослепительно ученый и столь помрачительно скучный г. Безобразов, компромисса, которая, пожалуй, и могла делаться для людей с некоторой репутацией, но которая была немыслима для поэтов начинающих.

Начинающие смотрят обыкновенно на свои первые стихотворения, как на нечто очень важное, возлагают на них все свои надежды, видят в них чуть не мировое значение и, конечно, почли бы жесточайшей обидой явиться со своими заветными думами, грезами и песнями в отделе разных известий, внутренних и иностранных обозрений и тому подобного скоро гибнущего журнального баласта. Они обыкновенно, несматривая на великие надежды свои, не обольщают себя ожиданием, что и с таким баластом можно выплыть на поверхность. И действительно! Как поразобратить хорошенько — обидно. Ну, неужто мои поэтические излияния, слезы и песнопения не стоят того, чтобы мне уделить всего-то одну жалкую страничку в книжке журнала, когда в нем находят чуть не сотню страниц красноречивые известия о блистательных дебютах какого-нибудь итальянского певца Мюрдини в Милане или о том, что где-нибудь в окрестностях Болоньи найден глиняный горшок, повидимому, очень древний и с древней, пови-

димому, надписью, которая так стерлась, что и разобрать ничего нельзя, да и самый древний горшок похож больше на новый, или, наконец, о том, что в германском городе Швейнфурте колбасники или сапожники устроили великолепное празднество в средневековом вкусе, ходили по улицам со знаменами в виде амуров с крыльшками, зажигали плашки и факелы, произносили речи с демосфеновским пафосом и распевали разные гимны и песни. Иной раз и такой гимн или такая песня представлялись в известии с подстрочным переводом для утешения читателей, интересующихся успехами поэзии. Ну, как же не обидно! Гимны швейнфуртских сапожников предпочитают стихотворениям Майкова, Фета, Полонского<sup>3</sup>. Как не обидно! Чем же руководились в этом случае издатели, — загадка, разрешение которой ставит совершенно втупик наши умственные способности. Разумеется, мелодии г. Фета, воспевающие тихие звездные ночи с трепетным светом луны, или утра, полные стыда и огня, «как сон новобрачной», или «бурю на небе вечернем, моря сердитого шум; бурю на море и думы, много мучительных дум; бури на море и думы, хор возрастающих дум; черную тучу за тучей, моря сердитого шум», — конечно, эти мелодии не представляли никаких указаний, никаких практических применений в сфере интересов русского общества. Ну, а певец Мордини представлял? Конечно, александрийские стихи г. Майкова, о том, как —

Во дни минувшие, дни радости блаженной,  
Лились маело и мед с божественных холмов  
К долинам бархатным Аонии священной.

или о том, как ложится тень прозрачными клубами

На нивы желтые, покрытые скирдами,  
На синие леса, на влажный злак лугов,

или гекзаметры о том, как он (г. Майков) срезал себе тростник у побережья шумного моря, или о том, как он разбил сад под сенью развилыстых буков и во мраке прохладном статую воздвиг там Приаму, — конечно, эти александрийские стихи и гекзаметры не имели практического значения для русской жизни; ну, а этот древний глиняный горшок, найденный в окрестностях Болоньи, вероятно, имел! Конечно, баллады г. Полонского об индийском факире или о взятии Мемфиса не могли подвинуть нас ни на шаг по пути, так сказать, прогресса. Но ведь и самое слово «прогресс» не употреблялось тогда в печати, даже в прозаических статьях и рассуждениях таких практических ученых (ныне, увы! забытых), как гг. Егунов, Небольсин и другие, — это слово, столь прославившее, по случаю появления своего в стихах, драгоценные истинно гражданскому русскому сердцу имена гг. Бенедиктова, Конрада Лилиеншвагера<sup>4</sup> и Розенгейма, тогда было не на особенно многих устах. Но опять-таки, отчего хоть бы, например,

пьеса Полонского «Зимний путь» или его же «Затворница» менее для нас, русских, интересны, если не полезны, чем швейнфуртские поминания переодетых амурами колбасников? Между тем русская журналистика этого времени, которое мы невольно вспомнили, вовсе не была проникнута, да и не могла, по известным более или менее всем обстоятельствам, проникнуться особенно положительным, практическим, немедленно применимым характером. Напротив, она ударялась с заметным пристрастием в туманные области эстетических мудрований, широко и пространно толковала и о таких далеких предметах, как греки и римляне, и насущные вопросы из русской жизни сводились более или менее на какую-нибудь написанную цифирными знаками диссертацию о колебаниях цен на хлеб или на так называемую современную хронику России, представлявшую для сотрудников журнала приятный и полезный труд списывания сенатских и других ведомостей. Само собой разумеется, теперь стихи никак не могут, как тогда, быть изгнаны из журналов. Прогресс, о котором мы так гордо восклицаем, в настоящее время очень приятно звучит и в них то в середине, то в конце строчки, то в начале, то в заключении пьесы. Но тогда! Удивительно, странно, непостижимо! Повторяем, поэты, успевшие приобрести себе некоторую известность, поэты, о которых говорил с сочувствием и похвалой Белинский, могли выдержать это гонение, притаиться на время совсем или играть в прятки в «Москвитяине»; но каково же было бедным начинающим! Им оставалась в качестве пристанища одна «Иллюстрация», печатавшая без разбору все, что только попадалось к ней в руки: стихи или проза, дичь или действительно что-нибудь порядочное (последнее очень редко). Время было унылое для всех этих юношей, у которых, говоря поэтическим слогом, пламенеют на устах страстные поцелуи музыки. Жертвою этого времени пали многие приятные певцы, вроде гг. Вердеревского, фон Лизандера и других. Сердце обливается у нас кровью, когда мы подумаем, какая судьба ждала бы гг. Платона Кускова Случевского<sup>5</sup>, Захарию Тура и всю эту плеяду, сияющую таким ярким светом на небе новейшего периода русской поэзии, если бы они имели несчастье явиться в то время. Не сдобровать бы им тогда. Едва ли загорелся бы тогда таким чудным метеором и г. Розенгейм. Ведь он не писал бы тогда звучными ямбами, дактилями и амфибрахиями об общественных вопросах, о старообрядстве, об управлении главного общества железных дорог и пр., а воспевал бы в невинности души своей луну и деву, вроде той, о которой говорится в его стихах (очень чувствительно), как у ней билась

Под капотиком груди волна.

В это-то время появилась небольшая книжка стихотворений г. Плещеева.

Ее постигла та же участь; с таким же пренебрежением отозвались об ней лучшие журналы. Зачем г. Плещеев говорит в ней о любви к человечеству, о его страданиях и будущих идеалах, о светлых надеждах? Зачем переводит стихи Гейне? Это почему-то не понравилось серьезным рецензентам, и они говорили о г. Плещееве чуть ли не с такой же строгой важностью, как о человеке, принесшем решительный вред литературе. Дико вспомнить теперь об этом. Неужто благородные чувства, благородные мысли, которыми веяло от каждой страницы небольшой книжки г. Плещеева, были таким ежедневным явлением в тогдашней русской поэзии, чтобы можно было с пренебрежением отвернуться от них? Да и когда же бывает это можно и позволительно? Если у г. Плещеева не было той поэтической силы, которая невольно покоряет себе чужую мысль и чувства, то нельзя же было видеть в стихах его фразы, справедливости которых не верит он сам. Что все в этих стихотворениях было вполне искренно и сказалось от души, — едва ли кто-нибудь мог усомниться в этом и тогда. Или не понравилось юношеское увлечение поэта, неопределенность его стремлений и надежд? Но была ли возможность выражать эти надежды, эти стремления точнее и определеннее, — об этом никто не хотел вспомнить. Кажется, особенной точности и ясности в выражении желаний не было в то время и нигде в литературе. Разумеется, говорить прямо, высказывать все ясно — не только проще, но и полезнее; но действительно ли все мы так высоко и безукоризненно развиты, что нам не нужно слышать искреннего голоса, заступающего, хотя бы и в общих чертах, за лучшую сторону нашей природы, до сих пор мало торжествовавшую? «Земля иссушена и уныла», говорится в эпиграфе к первому стихотворению первой книжки г. Плещеева: «но она вновь позеленеет. Дыхание зла не вечно будет проходить по ней, как дух пополающий». Конечно, и мысль, и выражение этих слов слишком общи, и написать на эту тему несколько стихотворений — не значит сказать что-нибудь новое; но все ли успело не только тогда, но и теперь так устареть для нашего общества, и не нужно ли, и не будет ли долго нужно повторять и толковать простейшие и неоспоримейшие истины и доказывать, что белое бело, а не черно, а черное черно, а не бело? Есть много самых обыкновенных понятий, врожденных человеку чувств, о которых тем не менее надо беспрестанно напоминать, чтобы они не забывались. Это и везде нужно, не говоря уже о нашем несформировавшемся обществе. Поэты с таким благородным и чистым направлением, как направление г. Плещеева, всегда будут полезными для общественного воспитания и найдут путь к молодым сердцам. Трудно употребить лучше его в дело те поэтические способности, которыми он обладает.

Мы очень рады, что в последнем издании стихотворений г. Плещеева встретились с лучшими пьесами из его первой

книжки, которых он не поместил в предпоследнем издании, вероятно, вследствие тех неблагоприятных отзывов, какими приветствовали ее при первом появлении тогдашние журналы. Мы жалеем только, что он не дополнил их некоторыми стихами, которые, сколько нам помнится, были уже раз в печати.

С особенным удовольствием перечитали мы прекрасный гимн, известный нам наизусть, — гимн, который всегда останется прекрасной памятью скромной, но благородной литературной деятельности г. Плещеева:

Вперед! без страха и сомненья  
На подвиг доблестный, друзья!  
Зарю святого искупленья  
Уж в небесах завидел я!

Смелей! дадим друг другу руки  
И вместе двинемся вперед.  
И пусть под знаменем науки  
Союз наш крепнет и растет.

Жрецов греха и лжи мы будем  
Глаголом истины карать;  
И спящих мы от сна разбудим,  
И поведем на битву рать!

Не сотворим себе кумира  
Ни на земле, ни в небесах;  
За все дары и блага мира  
Мы не падем пред ним во прах!..

Провозглашать любви ученье  
Мы будем нищим, богачам  
И за него снесем гоненье, —  
Простив озлобленным врагам!

Блажен, кто жизнь в борьбе кровавой,  
В заботах тяжких истошил;  
Как раб ленивый и лукавый,  
Талант свой в землю не зарыл!

Пусть нам звездою путеводной  
Святая истина горит;  
И верьте, голос благородной  
Недаром в мире прозвучит!

Внемлите ж, братья, слову брата,  
Пока мы полны юных сил;  
Вперед, вперед и без возврата, —  
Что б рок вдали нам ни сулил!

Сколько помним, прежние рецензенты г. Плещеева были особенно недовольны стихотворением или отрывком из поэмы «Сон», к которому были взяты эпиграфом слова Ламеннэ, приведенные нами выше. В этом отрывке, вероятно, от лица героя, который напоминает лермонтовского «Пророка», рассказывается,

как он, усталый и истерзанный тоской, прилет отдохнуть под дерево, и ему предстала в видении богиня, избравшая его пророком. И вот что услышал он от нее:

Страданьем и тоской твоя томится грудь,  
А пред тобой лежит еще далекий путь.

Скажу ль я, что тебя в твоей отчизне ждет?  
Подымет на тебя камень твой народ,

За то, что обвинишь могучим словом ты  
Рабов греха, рабов постыдной суеты!

За то, что возвестишь ты мщенья грозный час  
Тому, кто в тине зла и праздности погряз,

Чье сердце не смущал гонимых братьев стон,  
Кому законом был — отцов его закон!

Но не страшися их! и знай, что я с тобой,  
И камни пролетят над гордой головой.

В цепях ли будешь ты — не унывай и верь,  
Я отопру сама темницы смрадной дверь.

И снова ты пойдешь, избранный мной левит,  
И в мире голос твой недаром прозвучит.

Зерно любви в сердца глубоко западет;  
Придет пора, и даст оно роскошный плод.

И человеку той поры недолго ждать.  
Недолго будет он томиться и страдать.

Воскреснет к жизни мир... Смотри, уж правды луч  
Прозревшим племенам сверкает из-за туч!

Иди же, веры полн.. И на груди моей  
Ты скоро отдохнешь от муки и скорбей.

Стихотворение заключается следующими стихами пророка:

Мой падший дух восстал, и утесненным вновь  
Я возвещать пошел свободу и любовь.

Мотив этой пьесы точно так же, как и мотив стихотворения «Вперед», проходит более или менее внятно по всем собственно оригинальным стихотворениям г. Плещеева, которые, впрочем, составляют не более одной трети изданного им теперь собрания. Пафос, которым одушевлен выписанный нами юношеский гимн, большею частью переходит в элегическое настроение. Г. Плещеев с сочувственною грустью останавливается перед темными явлениями жизни и, чувствуя прочность зла и свое бессилие бороться с ним, часто молит бога об одном: чтобы жар его сердца «не засыпало пеплом мертвящее сомнение». Глубокая искренность этих теплых слов, любовь к истине и к благу ближних, вызывав-

шие эти элегические стихи, не может быть подвергнута ни малейшему сомнению теперь, когда г. Плещеев после длинного, чуть не десятилетнего перерыва своей деятельности<sup>6</sup> явился в литературе с тем же настроением, с каким мы видели его на первых порах его поэтической деятельности. Те же стремления, ту же грусть бессилия, столь понятную в устах людей поколения, к которому принадлежит г. Плещеев, увидели мы опять в его стихах:

Дни скорби и тревог, дни горького сомненья,  
Тоска болезненных и безотрадных дум,  
Когда ж минуете? Иль тщетно возрожденья  
Так страстно сердце ждет, так сильно жаждет ум?

Не вижу я вокруг отрадного рассвета!  
Повсюду ночь да ночь, куда ни бросишь взор.  
Исчезали без следа мои младые лета,  
Как в зимних небесах сверкнувший метеор.

Как мало радостей они мне подарили,  
Как скоро светлые рассеялись мечты;  
Морозы ранние безжалостно побили  
Беспечной юности любимые цветы.

И чистых помыслов и жарких упований  
На жизненном пути растратил много я;  
Но средь неравных битв, средь тяжких испытаний  
Что ж обрела взамен всех грез душа моя?

Увы! лишь жалкое в себе разуверенье  
Да убеждение в бесплодности борьбы,  
Да мысль, что ни одно правдивое стремленье  
Ждать не должно себе пощады от судьбы.

И даже ты моим призывам изменила,  
Друзей свободная и шумная семья!  
Привета братского живительная сила  
Мне не врачует дух в тревогах бытия.

Но пусть ничем душа больная не согрета,  
А с жизнью все-таки расстаться было б жаль,  
И хоть не вижу я отрадного рассвета,  
Еще невольно взор с надеждой смотрит в даль.

Эта надежда слышится подчас довольно вятно в некоторых последних произведениях г. Плещеева. Справедлива ли такая надежда, бог знает. По временам он обличает сознание, что те слишком обобщенные мысли и чувства, которые он проводит в своих стихах, требуют при новых условиях времени более определенного и прямого смысла для жизни.

За г. Плещеевым осталась одна сила, — сила призыва к честному служению обществу и ближним. Смысл лучшей стороны деятельности г. Плещеева яснее всего выражается стихотворением его, напечатанным на 148 стр. нового издания; от большей

части его оригинальных пьес веет на читателя тем добрым чувством, тем здравым пониманием обязанностей и цели жизни, которые высказаны в этих стихах:

Перед тобой лежит широкий, новый путь.  
Прими же мой привет, не громкий, но сердечный;  
Да будет, как была, твоя согрета грудь  
Любовью к ближнему, любовью к правде вечной.

Да не утратишь ты в борьбе со злом упорной  
Всего, чем ныне так душа твоя полна,  
И веры и любви светильник животворный  
Да не зальет в тебе житейская волна.

Подъяв чело, иди бестрепетной стопою;  
Иди, храня в душе свой чистый идеал,  
На слезы страждущих ответствуя слезою  
И ободряя тех, в борьбе кто духом пал.

И если в старости, в раздумья час печальный,  
Ты скажешь: в мире я оставил добрый след,  
И встретить я могу спокойно миг прощальный...  
Ты будешь счастлив, друг; иного счастья нет!

В нескольких стихотворениях г. Плещеева, в которых он обращается к реализму, от стремления и надежд, выражаемых в общих чертах, переходит к изображениям действительности с ее прозаическими и мелкими подробностями, — в этих пьесах нет ни той силы, ни той глубины чувства, которые мы замечаем в его произведениях. Элегические стихи его не перестраиваются на сатирический лад, у него нет ни негодования, без которого сатира невозможна, ни того наблюдательного взгляда, который умеет подмечать смешные и вредные стороны действительности, ни того изобразительного таланта, который умеет резко и рельефно выставлять такие черты.

Мы уже сказали, что переводы занимают две трети места в его книге, и одна из этих третей посвящена переводам из Гейне. И эти переводы, как упомянуто выше, не были при первом появлении пощажены критикой. Кажется, и этот труд был причислен к занятиям, представляющим бесполезную трату времени. Положим, г. Плещеев передавал в своих стихах лишь одну сторону немецкого поэта, именно те его произведения, которые не касаются прямо общественных интересов, но мы уже видели, что талант г. Плещеева не представляет некоторых сторон, существенно необходимых для передачи социальных стихотворений Гейне, которые все почти полны необычайного юмора, и в выражении, и в самых образах. Понятно, что г. Плещеев брался именно за то, что более всего поддавалось его таланту. Нам кажется, что и собственные его стихотворения в юмористическом тоне, о которых мы упомянули без особенной похвалы, вызваны не столько собственно внутренним чувством поэта, сколько общим направлением всей современной русской литературы к реализму.



Самая большая пьеса, переведенная г. Плещеевым из Гейне, это — «Вильям Ратклифф», одно из первых, почти детских произведений автора «Книги песен»<sup>7</sup>. Сама по себе эта трагедия или драматическая баллада, как называет ее сам автор, не замечательна; в ней мы видим Гейне еще чистым романтиком со всеми романтическими дикостями. Но в деятельности немецкого поэта на нее нельзя не обратить внимание. На ней заметно сильное влияние «Разбойников» Шиллера, и уже переход к новой, реальной поэзии чувствуется довольно ясно. Гейне говорит, что первый полуромантический период его поэзии завершается этою драмой, что она служит, так сказать, последним словом этого периода; «это слово, — говорит он, — сделалось впоследствии лозунгом, от которого прояснились черты бедняка и вытягивались жирные физиономии сынов счастья. У очага почтенного Тома, идеального разбойника из класса *partageux*\*, уже слышится запах этого великого вопроса о супе, за который принялись теперь такое множество дрянных поваров, и который со дня на день все больше и больше перекипает. Счастливец поэт! он видит дубовые рощи, таящиеся в оболочке жолудя; он ведет разговор с поколениями, которые еще не зарождались в утробе матерей. Эти поколения нашептывают ему свои тайны, и он передает их потом громко среди народной площади. Но голос его гложет в нуждах дня, и не многие слушают его, и никто не понимает. Фридрих Шлегель назвал историка пророком прошедшего. Едва ли не еще справедливее назвать поэта историком будущего»<sup>8</sup>.

Гейне совершенно прав, говоря это о своей драме, почти в самом конце своей деятельности, которая действительно развилась в свою очередь, как дубовая роща из жолудя, из этой драмы. Но «Вильям Ратклифф», взятый отдельно, без связи с остальными произведениями поэта, лишается большей части своего интереса, и становится очень понятно, почему он обратил на себя при первом появлении, вместе с другою юношескою драмою Гейне «Альманзором», так мало внимания.

Перевод г. Плещеева верен и хорош, и для русских любителей Гейне будет любопытен, как черта из биографии автора «Путевых картин»; он может, пожалуй, быть прочитан и как образец болезненного романтизма, охватывавшего всю немецкую поэзию в то время, когда выступал на литературное поприще Гейне. Но достоинства положительного у этой драмы решительно нет, и — признаемся — мы думаем, что у того же Гейне г. Плещеев мог бы взять что-либо более интересное для перевода.

Из остальных стихотворений, переведенных из этого поэта г. Плещеевым, большая часть взята из «*Buch der Lieder*» и «*Neue Gedichte*»\*\*. Перевод этот принадлежит к лучшим на русском

\* Сторонник уравнительного распределения имущества. — *Ред.*

\*\* «Книга песен» и «Новые стихотворения». — *Ред.*

языке переводам этих прелестных песен. Некоторые из них стали всем известны с первого появления в печати. И действительно, едва ли можно передать лучше, чем передал г. Плещеев, стихотворения «Возьми барабан и не бойся», «Речная лилия», «Ветер осенний колышет» и др.

Кроме Гейне, г. Плещеев переводил и переводит и других немецких поэтов. В его книжке есть стихотворения и даровитейшего из немецких романтических лириков Эйхендорфа и из бездарнейшего католического романтика Оскара Редвица, отличившегося в последнее время стихотворением на геройство неаполитанской королевы в Гаэте, за что и получил, как писали в газетах, какое-то подавание не то от баварского, не то от венского двора. Г. Плещеев переводит и таких действительно замечательных поэтов, как Фрейлиграт и Мориц Гартман, и таких слабых, хотя известных в Германии стихотворцев, как Роберт Пруц и Карл Бек. Надо правду сказать, теперь нетрудно добиться в немецкой поэзии некоторой известности и даже получить авторитет. Кажется, никогда еще немецкая литература не была так бедна поэзией, как в последнее время. Тот самый Роберт Пруц, из которого г. Плещеев перевел несколько пьес, издал недавно исторический очерк изящной немецкой литературы с 1848 года. Поэзия за это время представляет в Германии самое плачевное зрелище. Все, что сколько-нибудь превышает уровень посредственности, принадлежит поэтам уже не нового поколения, поэтам, не молодым и оканчивающим свое литературное поприще. Хотя в книге Пруца и есть целая глава, посвященная, как он называет их, поэтическим подросткам, но на эти подростки плохая надежда. Единственным исключением из ныне пишущих немецких поэтов можно назвать Морица Гартмана, и почти все, что перевел из этого поэта г. Плещеев, стоит внимания. Не таковы его переводы из Бека, Пруца и Анастасия Грюна<sup>9</sup>. Переводы из этих поэтов занимают, правда, самое незначительное место в книжке г. Плещеева, но было бы приятнее, если б и этого места не было им уделено и г. Плещеев обратил свое внимание на что-нибудь иное, если не в новой, то в прежней немецкой литературе.

Из прежних поэтов мы находим в его книжке прекрасный перевод одного очень хорошего, хотя и мало известного стихотворения Гете «Молитва» и несколько романтическую песню Рюккерта «Странник». Г. Плещеев — сам немножко романтик и, вероятно, потому взял у Рюккерта только одну эту пьесу. Вообще мы редко можем упрекнуть г. Плещеева в том, чтобы он брался за что-либо несродное его таланту.

Фрейлиграт представляет по таланту и по самому роду своих произведений совершенную противоположность г. Плещееву. Это поэт образов ярких и блестящих; но у Фрейлиграта есть две-

три пьесы в том элегическом рефлексивном тоне, который так удаётся нашему поэту, и г. Плещеев взял лучшую из этих пьес и перевел, не увлекаясь роскошью других.

Люби, пока любить ты можешь,  
Иль час ударит роковой,  
И станешь с поздним сожаленьем  
Ты над могилой дорогой!

И сторожи, чтоб сердце свято  
Любовь хранило, берегло,  
Пока его другое любит  
И неизменно и тепло.

Тем, чья душа тебе открыта,  
О дай им больше, больше дай!  
Чтоб каждый миг дарил им счастье —  
Ни одного не отравляй!

И сторожи, чтоб слов обидных  
Порой язык не произнес;  
О боже! он сказал без злобы,  
А друга взор уж полон слез!

Люби, пока любить ты можешь,  
Иль час ударит роковой,  
И станешь с поздним сожаленьем  
Ты над могилой дорогой!

Вот ты стоишь над ней уныло,  
На грудь поникла голова.  
Все, что любил — навек сокрыла  
Густая, влажная трава,

Ты говоришь: «хоть на мгновенье  
Взгляни, изныла грудь моя!  
Прости язвительное слово,  
Его сказал без злобы я!»

Но друг не видит и не слышит,  
В твои объятья не спешит,  
С улыбкой кроткою, как прежде,  
«Прощаю все» не говорит!

Да! ты прощен... но много, много  
Твоя язвительная речь  
Мгновений другу отравила,  
Пока успел он в землю лечь.

Люби, пока любить ты можешь,  
Иль час ударит роковой,  
И станешь с поздним сожаленьем  
Ты над могилой дорогой!

Для чего перевел г. Плещеев пьесу Анастасия Грюна «Старый комедиант», понять довольно трудно. Это все равно, как если бы Фрейлиграт вздумал переводить с русского *Tendenz-Gedichte* \* г. Розенгейма. Грюн ни на волос не лучше. Это — холод-

\* Стихотворения с тенденцией. — Ред.

ный, изысканный ритор без всякого поэтического чутья; его стихотворения похожи на рифмованные журнальные статьи и фельетоны, и если он прославился, то только потому, что принадлежал к австрийским поэтам, вроде известного Якова Хама<sup>10</sup>, с таким же милым и богобоязненным направлением. Написать, что не только на всей земле, но даже и в самой Австрии не наступали еще торжества правды и свободы, как это сделал Грюн в своих знаменитых «Прогулках венского поэта», было уже страшнейшим героизмом, неслыханным либерализмом, которого тем паче нельзя было ожидать от титулованного потомка древней имперской фамилии: Грюн, как известно, только псевдоним, а настоящая фамилия поэта — граф фон Ауэрсберг. Смелость его нисколько не превосходит новейших либеральных тенденций гг. Бенедиктова, Розенгейма и др. Если же либеральный немецкий поэт стал известен и вне своего отечества, то этому он обязан только тому, что немецкий язык более распространен, чем тот, на котором призывает человечество к прогрессу г. Розенгейм.

Совсем иное дело Мориц Гартман, хотя и он родился австрийским подданным. Не говоря уже о таланте, которым едва ли равняется с ним кто-нибудь из немецких поэтов нового поколения, самое направление его не может быть и сравниваемо с графскими тенденциями венского поэта. То, что перевел из него г. Плещеев, как мы уже сказали, очень удалось, но только за исключением несколько темной и странной датской баллады про короля Альфреда. У Гартмана вы редко встретите что-нибудь сочиненное, насильно придуманное, как это часто случается даже у лучших поэтов этого направления; напротив, все у него прочувствовано, всюду слышен голос человека, глубоко проникнутого убеждением. Его произведения явились потому, что он не мог не высказаться, тогда как у многих других немецких поэтов политической школы вы постоянно замечаете, что им хочется сказать то, что не вошло еще в них органически. Чтобы привести пример, вспомним Пруца. Он считается одним из радикальнейших немецких поэтов последнего времени. Обскуранты гремели и отчасти гремят и теперь против него жестокими проклятиями. Но как вам нравится, например, следующая черта его радикализма! В своем историческом обозрении «Немецкая литература с 1848 года» он обращается с упреком к Морицу Гартману и к Альфреду Мейснеру<sup>11</sup> за то, что они говорят с сочувствием о чехах и выражают свое уважение к этой угнетенной национальности. Такие радикалы только и могут быть, что у немцев.

Г. Плещеев переводит не одних немецких поэтов. В его книге есть несколько очень хороших переводов с польского и малороссийского. Особенно нравятся нам три так называемые «Сельские песни» (с польского).

**Начала народного хозяйства.** Руководство для учащихся и для деловых людей *Вильгельма Рошера*. Перевод И. Бабста<sup>1</sup> Т. I. Отделение первое. Москва. 1860 г.

Рошер пользуется справедливою знаменитостью за громадное количество знания, накопленного в его книгах и, вероятно, даже в его голове. Относительно соразмерности накопленных в его голове знаний с количеством их, накопленным в его книгах, мы выразили вероятность, а не совершенную уверенность потому, что в Германии очень распространен между учеными (и даже не учеными) писателями метод приготовления книг, чрезвычайно полезный для читающего, но ослабляющий возможность судить по книге о действительной учености автора. Человек, вздумавший написать книгу, покупает несколько стоп писчей бумаги, разрезывает листы ее на четвертинки, осьмушки или более мелкие куски (это зависит от мелкости или крупности его почерка, от степени его расчетливости и, наконец, от его денежных средств: бумага в Германии дешева, но у иного ученого в Германии, даже и знаменитого, все-таки нехватает денег на покупку бумаги в избыточном количестве). Совершив такой акт, он ставит себе принципом читать книги не иначе, как делая из них выписки, — от двух до пяти строк на лоскуток. Употребляя часа три в день на это занятие, можно в год изготовить не менее 20 000 лоскутков, покрытых всевозможными именами, цифрами, курьезностями, относящимися к предмету, по которому предполагает он написать книгу. От времени до времени лоскутки пересматриваются и приводятся в систематический порядок. Когда собирателю покажется, наконец, что лоскутков набралось довольно, он принимается писать книгу, в которой собственную приписку составляет почти только перечень содержания лоскутков, распадающихся на группы, служащие фонами для глав и параграфов, — эта приписка занимает от  $\frac{1}{10}$  до  $\frac{1}{5}$ , а если ученый уж слишком самобытен и плодит в собственных мыслях, то пожалуй, и до  $\frac{1}{3}$  части всего числа страниц, какое будет в книге; остальную громадную половину страниц занимают бесчисленные мелочи, переписанные с лоскутков. Против методы — сочинять книги таким образом — мы не имеем ровно ничего: кто занимается такою штукою, бывает тружеником, во всяком случае не бесполезным для науки; заметить можно было бы лишь одно: всякое дело приносит наибольший полезный результат тогда, когда употребляется для той цели, для которой собственно и должно служить: листочки, раскладываемые по порядку, сами собою так и образуют словарь; если у занимающегося такими выписками человека достает терпения вести работу до того, чтобы она приобрела полноту, требующуюся для словаря, и достает такта, чтобы ви-

деть пригодность этой работы именно для словаря, а не для чего-нибудь иного, — результат работы выходит превосходный. Так произошел словарь Бэля<sup>2</sup>, до сих пор остающийся драгоценным источником справок и, что еще любопытнее, представляющий собою самое занимательное чтение.

Не совсем то бывает, если трудящийся над листочками сочиняет трактат о науке вместо того, чтобы сделать словарь. Словарь Бэля читается легко, потому что предметы быстро сменяются там один другим в чрезвычайном разнообразии: за персидским царем следует английский поэт, за английским поэтом итальянский богослов; в трактате, набитом такими же мелочами, мелочи эти тянутся на сотни страниц все об одном и том же и изнуряют терпенье своей монотонностью. Кроме того, словарь не ужасается достигать размеров, от которых самому огромному трактату «как до звезды небесной далеко»; потому Бэль не имел надобности выпускать весь живой сок из собранных им фактов, мог передавать их с интересною для чтения обстоятельностью; а при укладке их в трактат из них выколачивается все живое, чтобы сбить их остов в тесные для них размеры книги. От этого для читателя новая скука; сухость выходит истинно аравийская. Но и этого еще мало: как ни сбивай, как ни урезывай записанные на листочках факты, все еще сохраняют они такую громоздкость, что не влезают в трактат; да и согласитесь сами, нельзя же писать в систематический трактат все подряд, без всякого разбора. Сочинитель принужден делать выборку из своих «коллектаней»\*, отлагает в сторону половину листочков, если не больше, и — утрачивается полнота, какая была в них. Но почти всегда и до этой выборки полнота в них была, если позволительно так выразиться, очень неполная; сочинитель не имел в виду исчерпать весь запас фактов, когда составлял «коллектаней» с целью сделать из них не словарь, а книгу; ему хотелось только набрать очень много, чтобы достаточно было «фактических оснований» для его трактата, а не то, чтобы не осталось ничего такого, что не занесено было бы в его листки. Стало быть, систематический трактат, сочиненный по листочному методу, уступая словарю занимательностью и живостью, далеко уступает ему и в существенном достоинстве книг подобного рода, уступает ему фактической полнотою.

Словом сказать, результат выходит тот же, как если бы сапожник с своим шилом вздумал шить не сапоги, а сюртуки: в его изделии оказалось бы бесчисленное множество прорех, и форма изделия вышла бы чрезвычайно неуклюжая.

Этот грех не мог не случиться и с книгою Рошера. О сухости изложения мы не станем говорить: это свойство книги почувствует каждый, как только развернет ее. Посмотрим на полноту.

\* Kollektaneen — собрание выписок из книг, заметок (нем. яз.). — Ред.

Вот — книга раскрылась на 304 стр., и мы видим § 131. В нем говорится, что цена «многих сырых произведений возвышается с каждым успехом хозяйства». В русской печати систематическим развитием этой мысли занято 25 строк (более крупного шрифта); за ними следуют набитые фактами и цифрами примечания на 122 строках (более мелкого шрифта). Чего-чего только тут нет; довольно сказать, что на этих 122 строках не менее 28 ссылок на разные книги с цитированием томов и страниц; и каких книг тут не цитруется! Есть тут: «Мелиш, Путешествие по Соединенным Штатам, т. 2-й, стр. 57; Варрон, Сельское хозяйство, кн. 3, гл. 12; Колумелла, Сельское хозяйство, кн. 8, гл. 10; Плиний, Естественная история, кн. 10, гл. 43; Полибий, История, кн. 34, гл. 8, § 7; Робертсон, Письма о Южной Америке, т. 2, стр. 294; Паллас, Путешествие в Сибирь, т. 3, стр. 12; Ример (или Раймер, или Рюмер, или Реймер, или Римé, не знаем как выговорить Rumer, потому что не знаем, какой нации этот господин: англичанин, датчанин, голландец, француз или кто другой, только знаем, что заглавие книги у него латинское), Союзы: том или книга (не знаем) 19, стр. 511; Подевиль, Сельскохозяйственные опыты, т. 2, стр. 15». — Словом сказать, такая коллекция, что постороннего человека и то зависть берет; а ссылок на Адама Смита, Прайса, Тука, Потера, Рау, Чибрарио, Андерсона и т. д. мы уже и не приводим, потому что эти ссылки мог бы сделать и человек, не имевший в своем распоряжении сотни тысяч лоскутков<sup>3</sup>.

Прекрасно; но где же, однако, фактическая полнота? Поднимаются с успехами сельского хозяйства цены «многих сырых произведений», стало быть, не всех? ну, поднимается ли цена фруктов и ягод? Об этом ничего нет. Оно, если хотите, и не нужно этого: из общих принципов само собою следует, что цена фруктов и ягод, растущих дико, поднимается, а цена возделываемых искусством поднимается или падает, смотря по успехам огородничества и садоводства сравнительно с размножением народа. Разумеется, можно было обойтись в систематическом трактате и без этих разъяснений, совершенно излишних по изложению общего правила. Но в таком случае зачем же нужно было довольно длинное разъяснение о «рыбе в пресных водах»? Ведь дело и о ней также ясно для познакомившегося с общим правилом. По мере того, как населяется страна, цена речной рыбы возвышается до тех пор, как начнут охранять размножение речной рыбы и помогать ему искусственными мерами; а тогда возвышение или понижение цены начинает зависеть от достоинства этих мер и от успехов искусственного размножения речной рыбы. Это ясно само собою; к чему же было набирать факты об этом? Они набраны просто для курьеза, — пусть-де читатель знает, что на Эльбе и на Рейне лососина была прежде так дешева, что слуги договаривались, чтобы хозяин кормил их лососиною не больше

двух раз в неделю, а то хозяин готов был закормить их этим дешевым провиантом. Очень любопытный факт, спора нет. Но об ягодах, вероятно, можно было бы собрать курьезы еще любопытнее. Или вот, например, тоже любопытно, что не дальше как лет 20 тому назад в Камышине, в Красном Яре, в селе Быкове кормили коров и свиней арбузами, которых не всегда вдоволь там ест теперь и сама хозяйка, еще недавно кормившая ими свою скотину. Не хотите ли познакомиться и с курьезами и из истории дичи? Извольте (Рошер, русский перевод, стр. 305).

В России жареных лосей, зайцев и диких уток едят даже самые низшие классы народа (Kohl, Reise in Russland, II стр. 386). Дичь же в Петербурге с Петра Великого до Александра поднялась в цене, как 1:6—7 (Storch, Handbuch 1, стр. 368)<sup>4</sup>. В Петербурге в 1807 году фунт баранины, говядины или телятины стоил 4—6, фунт дичи — 3—4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> центов (Melih, Travels through the U. St, II, p. 57). Чем более охота охраняется, тем дороже, конечно, продолжается прежняя дешевизна дичи, особенно, когда бедным становится невыгодным готовить ее для себя вследствие худобы дичи. Новейшие народы редко думали о искусственном разведении дичи; римляне откармливали главным образом только зайцев, дроздов и пр. (Varro, R. R., III, 12; Columella R. R., VIII, 10). Поэтому цены на дичь были громадные, пример тому приводит Plinius, N. N., X, 43, из времен императоров. Напротив, еще Полибий уверяет, что в его время в Лузитании дичь получалась почти даром (XXXIV, 8 и 7).

Очень благодарны за сообщение нам всего этого; только что же из всего этого следует? Ровно ничего не следует. К чему это служит в книге Рошера? Ровно ни к чему, кроме обогащения ума фактами, совершенно излишними для разъяснения вопроса, лишними по той причине, что и вопроса тут ровно никакого нет.

Так. Но если ни для чего не нужны подробности эти и бесчисленное множество других мелочных фактов в книге самого Рошера, то мало ли для чего могут они пригодиться читателю, крут мыслей которого ведь не весь же будет ограничиваться чтением Рошера. Положим, например, что случилось вам вздумать: вот теперь в Беловежской пуше нарочно сохраняются, как зоологическая и охотническая редкость, зубры; что же, бывали ли когда-нибудь другие примеры искусственного охранения диких животных, любопытных для ученого или драгоценных для охотника? Если вы не читали Рошера, вот вы и не знаете ничего об этом; а читали вы Рошера, так вот и знаете, что римляне не только охраняли некоторые породы дичи, а даже «откармливали зайцев, дроздов и пр.» Или вдруг вам вздумалось: а почему продается говядина в Северо-Американских Штатах? Почему она продается теперь в Северо-Американских Штатах, этого из Рошера вы не узнаете; но то узнаете, что в 1807 году в каком-то северо-американском городе Питтсбурге «фунт баранины, говядины или телятины стоил 4 — 6 центов». Если хотите, можете успокоиться на этом сведении; а если вы одарены пытливым умом вроде Кифы Мокиевича<sup>5</sup>, то является у вас новый вопрос: что же это



значит, что в 1807 году в Питтсбурге телятина продавалась по одной цене с говядиной, тогда как дело известное каждому, что везде в цивилизованных странах фунт телятины продается гораздо дороже, чем фунт говядины? Почему Питтсбург в 1807 году служил исключением из этого правила? Уж не случилось ли там такой штуки, что, народивши множество телят, коровы почти все передохли вместе с быками, так что в говядине оказался недостаток и она вздорожала, а в телятине излишек и она подешевела? Или, быть может, дешевизна телятины сравнительно с говядиной была в Питтсбурге не явлением временным, относящимся к одному году, а фактом постоянным? В таком случае не следует ли объяснять его какой-нибудь особенностью питтсбургских обычаев относительно телятины? Не следует ли предположить, что дешевизна телятины в Питтсбурге имеет своим основанием отвращение значительной части питтсбургского населения от употребления телятины? Читатель согласится, что такое объяснение очень правдоподобно; если же принять его, то не открывается ли новая поразительная черта того сходства северо-американцев с великоруссами, о котором так часто читаешь такие основательные замечания? А если так, то каким образом объяснить это совпадение обычаев? Неужели простою случайностью? Но такой взгляд недостоин науки; не следует ли скорее видеть в этой дешевизне телятины между питтсбургцами следствия влияния славянского элемента на северо-американский и даже, быть может, доказательство существования древних славянских поселений в бассейне реки Миссисипи? Радужно предлагаем это новое драгоценное соображение в полную собственность г. В. Ламанскому и вперед уверены, что он с признательностью воспользуется им<sup>6</sup>.

Но разумеется, где без разбора приводится бесчисленное количество цитат, цифр, имен и всякого рода фактов, там необходимо находится и очень много важного среди бездны неважного, много нужного среди бесполезного; и каково бы ни было логическое достоинство книги, богатой фактами, она непременно будет иметь очень большую цену как сборник материалов. К сочинению Рошера прилагается тот политико-экономический вывод, что если трудолюбие велико, продукт все-таки получится довольно значительный, хотя бы метод производства и был сам по себе неудовлетворителен. Тут можно бывает жалеть лишь о том, зачем подобное трудолюбие не соединилось в трудящемся с столь же замечательною логическою силою. Мы почли нужным откровенно высказать свое мнение о научном достоинстве трудов Рошера только потому, что очень многие имеют преувеличенное понятие о их значении в науке. Что же касается до вопроса, полезна ли книга, начало русского перевода которой теперь напечатано, тут нет никакого сомнения: книга эта очень полезна или чрезвычайно полезна, или необыкновенно полезна, или в каком хотите смысле

и в какой хотите степени называйте ее полезною. Мы ни в чем не противоречим. Сведений в ней такая гибель, что если успеешь усвоить себе хотя десятую часть их, будешь ученейшим человеком.

Но, скажут нам, вы хвалите только трудолюбие, с которым Рошер собирал факты, а самую систему Рошера не превозносите; вы удивляетесь его начитанности и прилежанию, а достоинств его как мыслителя вы не упоминаете: в тоне вашего отзыва о нем есть даже какое-то презрение, которое в отношении к столь знаменитому мыслителю становится неприличною дерзостью. Оправдайтесь в этом преступлении. Докажите, что вы имеете право говорить о нем таким тоном. Ведь вы до сих пор толковали только о форме его книги. Положим, что форма неуклюжа, положим, что наряду с делом набито в ней много пустого, лишнего, что из этого? Форма в ученом сочинении — вещь второстепенная. Вы разбирайте не форму, а содержание.

Извольте; почему не разобрать? Если бы нужно было нам самим извлекать содержание из ученейшего труда Рошера, мы, пожалуй, и не справились бы с такою задачею: поискали бы содержания, да, может статься, и не нашли бы. Но почтенный переводчик помогает нам своим предисловием. Чтобы не пропустить ничего важного, мы пересмотрим все в предисловии. Вот начало.

Передавая на суд русской публики перевод одного из замечательнейших творений современной экономической литературы, я позволяю себе вместо предисловия поместить несколько страниц из моей статьи, помещенной в «Русском вестнике» за 1856 год<sup>1</sup>. «Вопрос, — говорит Рошер в своей вступительной лекции, читанной им в Лейпцигском университете, — каким образом лучше всего содействовать развитию народного хозяйства, останется всегда главным вопросом в политической экономии; но он не составляет еще главной ее задачи. Наука народного хозяйства — это ветвь наук политических, и задача ее — исследовать известные стороны человеческой жизни и законы, ими управляющие. Цель ее — изложить, что передумали народы, чего хотели, к чему стремились и чего достигли каждый в своем хозяйстве; наконец, почему они стремились и почему именно этого достигли. Но такое изложение невозможно без тесной связи с другими науками, рассматривающими остальные стороны народной жизни, — без истории права, государственных учреждений, истории литературы и т. д.»

Скажем откровенно: вступительной лекции, читанной Рошером в Лейпцигском университете, нам не удалось прочесть, и о том, что говорил, а чего не говорил в ней Рошер, мы должны судить, основываясь исключительно на свидетельстве г. Бабста. И надобно прибавить еще вот что: рассказывай нам такие вещи о вступительной лекции Рошера г. Безобразов или Григорий Данилевский, мы сильно поусомнились бы. Но свидетелем является г. Бабст, и мы верим. И — господи, твоя воля! — чему мы принуждены верить! «Вопрос, каким образом лучше всего содействовать развитию народного хозяйства, не составляет еще главной задачи политической экономии», но «останется всегда

главным вопросом в ней». Ну, скажите на милость, как же это? Главный вопрос не есть главная задача или главная задача не есть главный вопрос? Ведь с такою ясностью понятий мы могли бы прочесть вступительную лекцию к любой науке, например, хоть к астрономии: «исследовать законы движения тел небесных составляет главную задачу астрономии, но главный вопрос астрономии другой», — вероятно, вопрос о том, знали ли греки, что луна имеет форму не шара, а груши. Или из анатомии: «главная задача анатомии — исследовать состав человеческого организма, но главный вопрос в ней не то», а, вероятно, то, каким манером Аристотель мог не заметить, что, кроме жил, находятся в человеческом теле нервы. Или вступительная лекция из ботаники: «главная задача ботаники — исследование растительного организма, но главный вопрос в ней не то», а то, какие чувства овладели Христофором Колумбом, когда он увидел американскую растительность, столь различную от европейской. Извините меня, но мне кажется, что это просто-напросто путаница. Посмотрим, однако, — что дальше.

В чем главный вопрос политической экономии, Рошер сказал. В чем задача ее, выходит у него уже не так определенно: «исследовать известные стороны человеческой жизни и законы, ею управляющие»; хорошо, положим, что известные стороны жизни и известные законы; примем, пожалуй, на себя смелость догадаться, что под известными законами надобно тут разуметь законы, управляющие экономической стороною народной жизни или человеческой жизни; но мы все-таки догадались об одной стороне, а Рошер говорит о нескольких «сторонах»; что же это значит? что у политической экономии не один главный предмет, как бывает у всякой благопристойной науки, а таскается она по разным предметам, представляет собою не систему понятий, а сброд всяких понятий, каким была в старинных философских школах космология? Обидел свою науку Рошер. Но это бы еще ничего, можно было бы простить обиду, если бы можно было тут понять что-нибудь: по Гегелю или по какому-то другому философу доказывается, что «понять — значит простить». Но главная беда в том, что понять нельзя: какие же это «стороны» жизни, кроме одной экономической стороны, составляют задачу политической экономии? Подите спрашивайте у Рошера, и тот сам не сумеет отвечать. Ну, бог с ней, с задачей политической экономии, она что-то непонятна. Посмотрим, какова «цель» ее. Не знаем, не ошибаемся ли мы, но берет нас подозрение, будто бы и «цель», и «задача» — одно и то же. Так вот цель политической экономии: «изложить, что передумали народы, чего они хотели, к чему стремились и чего достигли каждый в своем хозяйстве; наконец, почему они стремились и почему именно этого достигли». Вот это уж очень понятно, не в пример предыдущему; но уж тут, к несчастью, совершенно обнаруживается, что Рошер зарпорто-

вался. Ведь каждому известно, что систематическое изложение понятий о каком бы то ни было предмете составляет науку об этом предмете, а история этой науки — вещь очень полезная, достойная, если хотите, называется тоже наукой, но все-таки вещь совершенно особенная. Возьмите, например, уж не то что какую-нибудь вечную сторону общечеловеческой жизни, а даже хоть какое-нибудь особенное, временное, чисто историческое проявление человеческой жизни, например, хоть древних греков или хоть какую-нибудь сторону жизни этих древних греков, все-таки, как вы знаете, и об этом явлении систематическим образом говорит одна особенная наука, а исторический ход фактов этого явления рассказывает другая наука; например, кроме истории греческого народа, есть наука, называемая греческими древностями или греческою археологиею; или, например, греческая мифология сама по себе, а история греческой мифологии сама по себе; эстетическая теория греков сама по себе, а история греческого искусства сама по себе.

Разумеется, теория предмета и история предмета — науки, чрезвычайно тесно связанные между собою. Если хотите, можете думать, что теория предмета должна выводиться исключительно из истории предмета. Это будет мнение, справедливое лишь относительно отживших предметов, которых уже нельзя наблюдать прямым образом, сведения о которых заимствуются лишь из исторических материалов, а не из живой действительности; да и к тем оно применяется не вполне: ведь греки были тоже люди, как и мы, стало быть, проверять и дополнять исторические свидетельства о греках мы отчасти можем по себе и по другим живым народам. Ведь если бы у Арриана или Квинта Курция<sup>8</sup> было написано, что по чрезвычайной боевой закаленности воины Александра Македонского могли сражаться, потеряв голову от неприятельского меча, или лишались способности влюбляться, или не чувствовали голода, — ведь мы бы сказали, что это вздор. Стало быть, и тут, кроме истории, есть другой источник для теории предмета. А для наук, излагающих не мимолетные явления, а вечные стороны человеческой жизни, этот второй источник — наблюдение над живой действительностью — гораздо важнее первого, то есть исторических фактов. Ну, скажите, сделайте одолжение, что, кроме своей охоты казаться ученым, обнаружу я, начав историческим образом доказывать или исследовать, или проверять, положим, тот экономический закон, что чем урожайнее год, тем дешевле бывает хлеб, а при неурожае цена хлеба поднимается? Кажется, можно и знать, и доказать это без греческой истории. Но все-таки говорите, если хотите, что теория предмета должна основываться исключительно на истории предмета: ваши слова будут ошибочны, но в них будет смысл. У Рощера выходит не то: у него просто путаница, лишенная человеческого смысла: цель науки народного хозяйства изложить, что

передумали народы, чего хотели, чего достигли, — господи прáведный! да ведь это история народного хозяйства, а не наука народного хозяйства.

Вы не подумайте, будто мы доказываем, что Рошер ошибается, — этого мы не говорим; пусть будет и чистая правда все, что он говорит; мы рассуждаем не о том, что он мыслит, а лишь о том, как он мыслит; и оказывается, что ученый муж сей действительно очень ученый муж, только в логике несколько слабоват. Хочет он сказать, вероятно, очень хорошие вещи, только сообразить их не умеет и говорит нескладицу. Как бы нам распутать эту нескладицу? Не будем же слушать самого Рошера; он, пожалуй, наговорит нам таких вещей, что надобно будет только руками разводиться, слушая его; пусть объясняет нам его заслуги г. Бабст, умеющий рассуждать логически.

Не Рошер первый почувствовал пользу исторических разъяснений для экономических вопросов, говорит г. Бабст; но «никто не высказал так ясно и так основательно необходимости историко-физиологического метода», как он. Была школа, провозглашавшая вечными истинами свои односторонние выводы и забывавшая, «что не одно у ней общество перед глазами, а целый ряд народностей на разных ступенях развития и вследствие этого с различными экономическими потребностями». Представителем такого взгляда г. Бабст называет Сэ. Но

в то самое время, когда Сей высказывал такой взгляд на историю, когда целая школа гремела против дерзких нововводителей и провозглашала непреложность и вечность своих экономических теорий, в то самое время подготовлялся и разрабатывался тихо и незаметно среди даже самой школы материал, готовивший торжество нового метода, а с другой стороны раздалась клика противной партии, партии утопистов, которые, сами того не подозревая, вспахивали и удобряли поле для новых успехов исторической школы. В первом отношении важны издания и собрания старинных экономистов, заставившие обратиться к разработке прежних воззрений и прежней экономической жизни, а с другой стороны ту же самую услугу оказали социалисты, которые в своей критике и в своих нападках на современное положение экономической теории, на возрастающие бедствия большинства рабочего класса прибегали очень часто к указаниям на прежде существовавшие формы и условия экономического быта, вызвали своих противников на то же самое поле и заставили их также обратиться к истории и к строгому исследованию прежних форм народного хозяйства.

Рошер нигде не пытается выставить абсолютного идеала народного хозяйства, на котором, как на прокрустовом ложе, жалали многие растянуть народную жизнь; не выставляет и тех утопий, от которых всегда и везде отшатывался здравый смысл народа. Вся задача его состоит в том, чтобы доискаться основных понятий и первобытных начатков народного хозяйства в эпохи самые отдаленные, проследить за ходом их исторического развития и пояснить их наблюдениями и учениями, выработанными наукой и опытностью. Он преследует и выводит только начала, которые оказались в свое время действительно благотворными и полезными для народа. Излагая естественные законы народного хозяйства, Рошер выводит перед нами целый ряд народных хозяйств со всеми их условиями, с их ошибками и с их здоровыми сторонами. Нет народа, жизнь, развитие и хозяйственный быт которого оставлен был бы без внимания Рошером. Древность ему так же близко знакома,

как и новое время, и здесь (именно во втором томе его труда), мы обязаны ему многими замечательными исследованиями, громко говорящими в пользу его обширных сведений и глубокого изучения древности. Нередко замечательное открытие или блестящая, проливающая свет на целую эпоху мысль скрывается у него под скромною формой примечаний. Наконец, почти ни одно из замечательных новейших путешествий не оставлено им без внимания, и хозяйственный быт современных народов Европы до островитян Тихого океана изучен и обследован им с самою мелочною подробностью и с глубочайшим историческим тактом (Предисл. VIII и XI).

Вот теперь уже можно понять, в чем дело. У некоторых писателей школы Адама Смита явилась мысль, будто бы формы экономической жизни, господствовавшие в передовых странах Европы около конца прошлого и начала нынешнего века, — геркулесовы столбы человеческого развития, дальше которых так уж и никогда не пойдет история. Г. Бабст очень справедливо называет этот взгляд узким и односторонним. Читатель знает наше пристрастие к г. Бабсту; знает, что мы ставим его гораздо выше всех писателей, известных у нас за знатоков политической экономии<sup>9</sup>. Впрочем, предпочтением пред ними еще мало определяется наше мнение о г. Бабсте: лучше мы просто скажем, что уважаем его. Одна из главных причин уважения к нему та, что он высказывает подобные мысли и высказывает их не ради одного приличия: он действительно сочувствует стремлению улучшить не одни подробности экономического быта, чем ограничиваются другие экономисты, а заменить коренные черты его новыми, лучшими. Итак, по словам г. Бабста, возникла у некоторых последователей Адама Смита ошибочная тенденция доказывать непреложность и вечность нынешних форм экономического быта. Происхождение такого взгляда объясняет он пренебрежением этих писателей к истории; точно так же объясняют это явление почти все экономисты, успевшие или воображающие, что успели выбиться из него. Мы прибавим еще другую причину, которая, нам кажется, участвовала тут гораздо больше, чем незнакомство с историею или пренебрежение к ней. Дело известное, что в каждом сословии, в каждом положении встречаются люди с исключительными характерами, с особенными, не похожими на других понятиями. Но такие люди всегда бывают лишь исключением из правила. Масса людей имеет взгляд, сообразный с тем, чего требуют ее (истинные или только кажущиеся ей) выгоды. Возьмите какую хотите группу людей, ее образ мыслей бывает внушен (верными или ошибочными, как мы заметили, все равно) представлениями об ее интересах. Начнем хоть с классификации людей по народностям. Масса французов полагает, что Англия есть «коварный Альбион», погубивший Наполеона I из ненависти к французскому благосостоянию. Масса французов находит, что рейнская граница — естественная и необходимая граница Франции. Она также находит, что присоединение Савойи с Ниццею — дело прекрасное. Масса англичан находит, что Наполеон I хотел погубить

Англию, ничем невинную, что борьба с ним была ведена Англиею лишь для собственного спасения. Масса немцев находит претензию французоз на рейнскую границу несправедливою. Масса итальянцев считает отторжение Савойи с Ниццею от Италии делом несправедливым. Отчего такое различие взглядов? Просто от противоположности (конечно, мнимых, фальшивых, но считаемых у той нации действительными) интересов наций. Или возьмем классификацию людей по экономическому положению. Производители хлеба в каждой стране находят справедливым делом, чтобы другие страны допускали ввоз хлеба этой страны беспошлинно, и столь же справедливым, чтоб ввоз хлеба в их страну был запрещен. Производители мануфактурных товаров в каждой стране находят справедливым, чтобы иностранный хлеб допускался в их страну беспошлинно. Источник этого противоречия опять-таки все тот же: выгода. Производителю хлеба выгодно, чтоб хлеб был дороже. Производителю мануфактурных товаров выгодно, чтоб он был дешевле. Увеличивать число таких примеров было бы напрасно, — каждый может сам набрать их тысячи и десятки тысяч. Австрийские немцы полагают, что справедливо им господствовать над австрийскими славянами; австрийские славяне полагают, что справедливо им господствовать в Австрии; члены каждого замкнутого цеха, каждой привилегированной или исключительной корпорации доказывают справедливость своей монополии, приносящей, по их словам, пользу всему обществу. Огромное большинство писателей всегда держатся взгляда той группы, к которой принадлежат. Из 100 французских историков по взгляду 99 во всем всегда бывали правы французы; у английских историков то же самое относительно англичан, у немецких — относительно немцев и т. д.; у писателей аристократического образа мыслей правда на стороне аристократии, у писателей, представляющих собою среднее сословие, правда на стороне среднего сословия, и т. д.

Этим психологическим законом, по которому почти у каждого — простого ли человека, оратора ли, писателя ли, в разговорах ли, в речах ли, в книгах ли, все равно — оказывается теоретически хорошим, несомненным, вечным все то, что практически выгодно для группы людей, представителем которой он служит, — этим психологическим законом надобно объяснить и тот факт, что политико-экономам школы Адама Смита казались очень хороши, достойны вечного господства те формы экономического быта, которые господствовали или стремились к господству в конце прошлого и в начале нынешнего века. Писатели этой школы были представителями стремлений биржевого или коммерческого сословия в обширном смысле слова: банкиров, оптовых торговцев, фабрикантов и всех вообще промышленных людей. Нынешние формы экономического устройства выгодны для коммерческого сословия, выгоднее для него всяких иных форм; потому

школа, бывшая представительницею его, и находила, что формы эти самые лучшие по теории; натурально, что при господстве такого направления являлись многие писатели, высказывавшие общую мысль еще с большею резкостью, называвшие формы эти вечными, безусловными.

Такое объяснение гораздо проще мудреного вывода столь натуральной тенденции из отвлеченного основания, относящегося не к практической жизни, а к способу, каким оценивают юношей на экзаменах: такую-то науку он изучил хорошо, а другую знает слабо. Будто в самом деле малое знакомство с историей могло лишать политико-экономов знания о том, что существовали иные формы экономического быта, различные от нынешних, и будто через это отнималась у таких людей возможность чувствовать потребность новых совершеннейших форм, отнималась возможность признавать нынешние формы не безусловными? Ведь каждый грамотный человек, хотя бы сроду не занимался историей, слышивал о юбилейном годе евреев, об Иосифе Прекрасном, благодаря которому вся земля в Египте стала принадлежать фараону, о Ликурге, о Солоне, о Гракхах; да и безграмотный человек каждый слышивал в детстве сказки, в которых сохранились предания о формах экономического быта, вовсе не похожих на нынешние. У кого из политико-экономов есть расположение усомниться в абсолютности и неизменности нынешних форм, в том уж от одних этих преданий развился бы более широкий взгляд на вещи. Да полноте, будто нужны человеку хоть какие-нибудь рассказы о чьей-нибудь ином, непохожем на его положении, чтобы чувствовать неудобство своего положения, если оно неудобно, желать лучшего, если оно худо? Разве не видит он своими глазами вокруг себя все, что нужно для возбуждения в нем таких мыслей? и разве он — дерево, чтоб не чувствовать ему самому и без помощи исторических сведений желания избавиться от неудобств? Значит, дело не в исторических сведениях, а в том, каковы чувства мыслителя или группы людей, представителем которых он служит. Что же в самом деле, разве Фурье знал историю подробнее, чем Сэ? Нет. Кому хорошо настоящее, у того нет мысли о переменах; кому оно дурно, у того она есть независимо от обладания историческими знаниями или хотя бы полнейшего отсутствия их. Начали думать о вопросах политической экономии люди, бывшие представителями не того сословия, которому как раз пригодны нынешние экономические формы, а представителями массы, и явилась в науке другая школа, которую г. Бабст называет (неизвестно на каком основании, — мог бы он предоставить употребление подобных имен людям, менее его знающим и менее его мыслящим) — называет партией утопистов.

Вот в этом-то, если хотите, и лежит настоящая причина расположения к историческому методу, явившегося в последователях прежней школы, которые увидели себя теперь в звании консерва-



торов в противность прежней своей похвальбе прогрессивностью. Против средневековых учреждений, несогласных с выгодами коммерческого сословия, ратовали они во имя разума; а тут вот на грех явились люди, начавшие говорить: «по разуму действительно следует быть тому, чего желаете вы, только сверх того требуется по разуму еще многое другое; вы произносите только начало формулы, а конец ее вот каков»; словом сказать, пред лицом мыслителей непоследовательных явились мыслители последовательные. Против средневековых учреждений разум был для школы Адама Смита превосходным орудием, а на борьбу с новыми противниками это оружие не годилось, потому что перешло в их руки и побивало последователей школы Смита, которым прежде было так полезно. Что тут делать? Не нами придумано, не нами и кончится изворот, употребляемый в таких случаях: если разум говорит против тебя, хватайся за историю, она выручит. Например: на основании разума никак не могут англичане доказать, что жители Ионических островов должны быть под английским управлением, которого терпеть не могут. На основании разума выходит, что жители Ионических островов должны присоединиться к греческому королевству, чего они и желают. Вот англичане и хватаются за историю: мы, дескать, управляем Ионическими островами на основании таких-то и таких-то исторических событий, на основании таких-то и таких-то документов.

В политической экономии исторический способ доказывания бесполезности или невозможности того, чего требует разум, имеет два вида. Первый сорт апологии таков: форма, существующая ныне, существовала у вавилонян, ассириян, мидийцев, персов, греков, македонян, римлян, ост-готов, вест-готов, герулов, вандалов, франков, гуннов, алеманов, маркоманов, лонгобардов и т. д., — следовательно, человечество без нее обойтись не может. Этот сорт аргументаций очень убедителен: например, вавилоняне, ассирияне, мидийцы и т. д. (зри выше) резали военнопленных или обращали их в рабство, — следовательно, и мы должны делать так же, потому что человечество иначе поступать не может: это лежит в натуре человека. Аргумент бесспорный; жаль только, что в политической экономии лишь в немногих случаях можно употреблять его, хотя бы с натяжкой: почти все нынешние экономические формы, и в том числе все важнейшие, или произошли недавно, или потерпели в недавние времена очень сильные изменения. Следовательно, приписывая им какую угодно вечность в будущем, никак нельзя доказывать их вечности в прошедшем. Из этой беды выручает второй сорт исторического аргумента, не столь убедительный, зато более лестный для читателей; вот он: первоначально это дело имело такой-то вид, при высшем развитии получило такой-то, а еще при высшем — такой-то, а ныне, при еще высшем, имеет вот какой, — следовательно, нынешний вид дела

уже очень хорош, и недовольны им могут быть лишь безумцы. Успокаивать я на этом бывает очень умно и приятно. Например: окрестности Рима, или так называемая Римская Кампанья, конечно, были первоначально пустынею; когда Италия несколько населилась, местность эта уже служила пастбищем, как видно из рассказов о Нумиторе, Ромуле и Реме (времена перед основанием Рима). По основании Рима постепенно покрылась она цветущими нивами, которые возделывались доблестными гражданами вроде Цинцинната и Регула; когда Рим стал грабить целый свет, эти свободные и почтенные земледельцы исчезли, заменившись рабами (то был век развития гораздо высшего, чем грубые времена Цинциннатов и Регулов); но римская образованность должна была сменяться высшею, явились новые народы, чтобы внести в историю человечества принцип личности, и Римская Кампанья была разграблена: это было необходимо для высшего развития; когда варварские нашествия прекратились, Римская Кампанья снова населилась земледельцами, более или менее благосостоятельными, и покрылась нивами, как было за 1 000 или за 1 500 лет перед тем. Но история шла вперед, человечество делало успехи во всех отношениях, и Римская Кампанья была захвачена могущественными фамилиями, которые нашли удобнейшим для себя обратить ее в пастбище, так что ныне представляет она собою пустыню, зараженную миазмами; как же не сказать теперь, что нынешнее положение Римской Кампаньи очень хорошо?

Вот коренной смысл стремления, из которого возникла любовь к историческому разрешению политико-экономических вопросов. Нет надобности прибавлять, что и на этом поприще дело принимает оборот вовсе не такой, какой хотели придать ему писатели, прибегнувшие к историческому методу для опровержения требований разума. Ведь известно, что та сторона, которая сильнее логикою, побьет противную на всех пунктах, за какую науку ни хватятся она. Так и по истории оказалось, что нынешние экономические формы возникли под влиянием отношений, противоречащих требованиям экономической науки, несовместных ни с успешностью труда, ни с расчетливостью потребления, — словом сказать, представляют собою результаты причин, враждебных и труду, и благосостоянию. Например, в Западной Европе, экономический быт основался на завоевании, на конфискации, на монополии. Причины этих результатов наука стремится устранить из жизни, влияние этих причин на жизнь признает она вредным; следовательно, история изобличает то, на защиту чего была приглашена.

Но к многоученому и почтенному Рошеру все это нимало не относится. Он завален книгами, сквозь которых не пробьется до него никакая живая мысль: ни дурная, ни хорошая. Начали говорить: «подавайте нам на помощь историю», он и обрадовался:

история — ведь это десятки тысяч фолиантов; о, восторг! сколько из истории можно выкопать учености! вот он и пошел копать. Зачем копать, для кого копать, — об этом уж ему некогда подумать; да и к чему думать? разве думанье — ученость? Какое дело работнику железного рудника, на что пойдет добываемая им руда: в чугуны ее переплавят, в железо или в сталь; паровую ли машину, или серп, или иголку, или пушку сделают из этого металла, — ему какая надобность? он себе копает да копает. Честь и хвала его усердию.

О том, что книга, столь богатая фактами, как труд Рошера, заслуживает перевода, нечего и говорить. За достоинство перевода ругается имя г. Бабста.

### Картины из русского быта, Владимира Даля. 2 т. Спб. 1861.

После шума, которого наделал г. Даль своею несчастною фантазиею о том, что грамота бывает гибельна для народной нравственности<sup>1</sup>, после справедливых упреков и пристыжений, какие сыпались на него тогда со всех сторон, а в особенности после его неудачных попыток защититься, окончательно испортивших его дело, — после всей этой неблагоприятной истории, им сочиненной, трудно решиться сказать что-нибудь в похвалу чему-нибудь написанному г. Далем. Вы ждете, что за этим последует «но» или «однакоже», — не ждите, иначе ошибетесь; мы и не хотим ничего сказать в похвалу г. Далю.

Станный человек г. Даль! Все утверждают, что он необыкновенно много знает о быте, нравах, способе рассуждений и образе выражений русского народа. О чрезвычайном знакомстве его с народностью рассказывают удивительные вещи; говорят, например, будто бы он так превосходно знает все мельчайшие оттенки местных наречий и поднаречий, что по выговору каждого встречного простолюдина отгадывает не только губернию, не только уезд, но даже местность уезда, откуда этот человек. Мы готовы верить тому, хотя оно — и невозможная вещь. Но достоверно то, что г. Даль знает десятки тысяч анекдотов из простонародной жизни, собрал чуть ли не до 50 000 русских пословиц и чуть ли не полмиллиона слов и оборотов простонародной речи. А между тем — ведь не поверишь этому, если незнаком с его сочинениями — ровно никакой пользы ни ему, ни его читателю не приносит все его знание. По правде говоря, из его рассказов ни на волос не узнаешь ничего о русском народе, да и в самих-то рассказах не найдешь ни капли народности. В одной страничке очерков Успенского<sup>2</sup> или рассказов из простонародной жизни Щедрина о народности собрано больше и о народе сказано больше, чем во всех сочинениях г. Даля. Он знает народную

жизнь, как опытный петербургский извозчик знает Петербург. «Где Усачов переулоч? Где Орловский переулоч? Где Клавикордная улица?» Никто из нас этого не знает, а извозчику все это известно, как свои пять пальцев. Ну, а попробуй человек, не знающий Петербурга, узнать что-нибудь о Петербурге от этого извозчика, — ничего не узнает или узнает такую дичь, что и знающий человек не распутает потом.

У г. Даля нет и никогда не было никакого определенного смысла в понятиях о народе, или, лучше сказать, не в понятиях (потому что, какое же понятие без всякого смысла?), а в гряде мелочей, какие запомнились ему из народной жизни. Когда-то г. Даль писал сказки, а может быть, кроме сказок, и еще какие-нибудь рассказы, — для простого ли народа, или для публики, не знаем хорошенько, — только знаем, что писал он когда-то и что-то простонародною речью. Простонародная речь эта выходила такая пересоленная, перехищренная, что от настоящей простонародной речи была дальше, чем перевод Риттерова землеведения, делаемый г. Семеновым с сохранением всего смешения языков, какое есть в подлиннике у Риттера<sup>3</sup>. После того, а может быть и раньше того, а может быть и вместе с тем, г. Даль писал длинные повести из простонародного быта обыкновенным литературным языком. Повести эти совершенно не достигали своей цели. Положим, тут еще можно было придумать другое объяснение, кроме того, что г. Даль не понимает народного быта. Можно было сказать: повести эти написаны с претензией на художественность, а художественного таланта у г. Даля нет, потому из повестей ничего и не выходит. Но вот г. Даль собрал, теперь целую сотню коротеньких рассказов. Тут дело проще, особенного литературного таланта может и не понадобится, чтобы рассказать какое-нибудь происшествие в нескольких словах. Ведь в каждом номере «Петербургских ведомостей» и «Северной пчелы» описывается по нескольку происшествий разными корреспондентами и отличителями, и на литературный талант никто из них не претендует, а рассказы их часто бывают любопытны, и в рассказываемом часто бывает смысл. Посмотрим, что сообщает нам г. Даль в коротеньких рассказах, в которых так удобно было бы передать все, что угодно было автору передать.

Берем, например, рассказ № 1-й «Поверка». В одном присутственном месте члены и секретарь брали деньги из казенного сундука на свои коммерческие обороты или на отдачу в проценты, и часто им случалось вкладывать в ящик ко дню поверки сумм деньги, занятые лишь на этот день у купцов, бывших заседателями в том же присутственном месте. Губернатор прослышал об этом, приехал ревизировать, запечатал казенный сундук и велел отнести его на хранение на гауптвахту. Купцы, помогавшие плутовству, остались в дураках. — Ну, что же из

этого? Да ничего. Видно, что губернатор перехитрил своих подчиненных.

Вот рассказ № 2-й. «Беглянка». В какой-то турецкой деревне встретил г. Даль русскую избу, а в избе — русскую женщину. «Как ты попала сюда?» — спрашивает он женщину. Она отвечает: «Мой муж был мужик зажиточный; какой-то плут подговорил его бежать в Турцию, на дороге зарезал, овладел его деньгами, а меня заставил жить с собою вот здесь». Ну, что же из этого? Ничего. Видно, что плуты бывают иногда очень плутоваты, а мужики поддаются их плутням.

Идем далее по порядку. Рассказ № 3-й. «Вор». Богатый мужик, боясь воров, ходил по ночам осматривать клетки и раз действительно наткнулся на вора. Вор принял его за человека, также пришедшего воровать. Они вошли в клеть вместе, и пока хозяин искал топора, чтобы пришибить вора, вор бросился на печеный хлеб, лежавший в клетке, — он пошел воровать с голоду и не хотел ничего взять, кроме хлеба. Хозяин сжалился и, кроме печеного хлеба, подарил ему мешок муки. — Из этого рассказа выходит, что «вор-вору рознь, и что нельзя без суда присуждать всякого вора на осину».

№ 4-й. «Сухая беда». Один чувашин побил другого, тот пожаловался; обидчика взяли в полицию и наказали, да вышло так, что наказали, вместо одного раза, три раза. Он ожесточился на человека, подвергнувшего его этому наказанию, и, чтобы отомстить ему по чувашскому обычаю, повесился у него на воротах. «Такой висельник известен у нас в народе под названием *сухой беды*; и, говорят, поныне еще чувашаи в злобе своей грозят иногда друг другу тем, что сулят на двор сухую беду, то есть обещают один у другого на дворе удавиться».

№ 5-й. «Находка». Казак возвращался из французского похода домой с добычею: до 30 тыс. р. золотом было зашито у него в седельной подушке. На дороге износились у казака сапоги, а мелочь, бывшая в карманах, уже израсходовалась. Распарывать подушку казаку не хотелось, да и привык он в походе даром брать все, что попадется. Нагнал он в одиноком месте мужика, пригрозил ему саблей и велел снимать сапоги; мужик снял; казак слез с лошади и стал их напяливать. А мужик тем временем вскочил на лошадь, да и ускакал. Казак остался без денег, а мужик, ошупав золото в подушке, разбогател.

Не довольно ли этого? А то, пожалуй, развернем и 2-й том, на каком случится месте, и посмотрим. Книга развернулась на рассказе № 78, «Нога». Карасубазарский драгунский полк вошел в село Сивый Кут. На базарной площади стояла толпа народа и смотрела в землю. Дело в том, что на площади рыли колодезь; во время работы земля обвалилась, выломив несколько плохих бревен сруба, и одним из этих бревен прижало работнику ногу так, что не было возможности высвободить ее. Полковой доктор

и костоправ были люди отважные: спустились в колодезь, произвели там ампутацию; работника вытащили; он скоро выздоровел и теперь на деревянной ноге честно зарабатывает себе хлеб пилкой.

То был № 78-й, а вот № 88, «Подкидьш». Жена бедного чиновника родила двойню. Потолковала, потолковала она с мужем и решила подкинуть их. Муж взял сначала одного из новорожденных и пошел подкидывать к откупщику. А к откупщику перед самым этим часом был уже подкинут другой ребенок, и в доме держали ухо востро. Чиновника подстерегли, обыскали, нашли, что он принес подкидывать ребенка, и заставили вприбавок к этому ребенку взять еще и другого, подкинутого раньше кем-то. Таким образом, бедной чиновнице вместо двух — пришлось кормить троих новорожденных. Но на принесенном чужом ребенке оказалась записочка с приложением ста рублей, а начальник, услышав о таком случае, дал чиновнику место, на котором жалование было больше прежнего.

Кажется, довольно: семь рассказов взяли мы на пробу, во всех оказалось одно и то же. — г. Даль слышал анекдот, который показался ему интересен, взял да и пересказал его. Если в анекдоте не было никакого смысла, г. Даль не почел нужным вложить в него смысл; а если анекдот имел какой-нибудь смысл, то утратил его в пересказывании г. Даля.

Как пофилософствуешь иной раз, — и пожалеешь, случается, зачем это так странно разъединены бывают по нескольким головам качества, которым хорошо было бы соединиться в одной голове. Например, один знает многое, но сообразить ничего не может; другой соображать мастер, но ничего не знает. Но это сожаление — вздорная мечта, отвергаемая глубокомысленною наукою. По глубокомысленной науке этому так и должно быть; это называется разделением труда. Один пашет землю под пшеницу, но не ест пшеницы; другой ничего не делает, зато кушает белый хлеб; и наука доказывает, что при этом оба дела идут гораздо успешнее: один, который не ест пшеницы, наготовит ее для других больше, чем когда бы и сам тоже ел ее; другой, который ничего не делает, съест гораздо на большую сумму, чем когда бы сам работал. Так и тут. Г. Вл. Ламанский, например, ровно ничего не знает о русском народе, зато рассуждает о нем; г. Даль очень много знает о русском народе, зато рассудить ничего не умеет; и от этого у обоих гораздо больше успеха, у каждого в его деле. Если бы г. Даль искал смысла в своих знаниях, он не наслушался бы столько анекдотов и не запомнил бы столько поговорок; а г. Ламанский, если бы знал русский народ, в десять раз меньше стал бы рассуждать о нем, — и почему знать? быть может, даже меньше бранил бы немцев на своих лекциях в Пассаже.

Краткое изложение русской истории. Составил Н. Тимаев<sup>1</sup>  
Изд. второе. Спб. 1861.

«В настоящее время» множество рук трудится над собиранием улик в прегрешениях «Современника»<sup>2</sup>. Г. Тимаев так счастлив, что получил от публики — заметьте, от самой публики! это не шутка — одну улику подобного рода, и так добр, что выставляет эту улику на общее пользование. Публика, говорит он в предисловии ко 2-му изданию своего «Краткого изложения русской истории», раскупила все прежнее издание, а требования на книгу все продолжают, «это, вопреки мнению рецензента «Современника» 1859 года, показывает или то, что книга моя имеет свои достоинства, или же то, что в литературе нашей недостает именно такого рода руководства». Должно быть, или то, или другое. Поищем сначала достоинств.

Русские, говорит Тимаев, — славяне; а славяне, говорит он, бывают разные: восточные, северо-западные и юго-западные. «К юго-западным славянам принадлежат: болгары, сербы, хорваты, хорутане, черногорцы; они находятся под властью Турции и Австрии». Что же это, значит черногорцы — не сербы? и под чьей же это властью они находятся: под властью Турции или под властью Австрии? «К северо-западным славянам (продолжает г. Тимаев) принадлежат: поляки, чехи, моравы, находящиеся под властью Австрии и Пруссии». А не существует ли на свете еще лужичан, не существует ли тоже словаков? и не находится ли поляков под властью еще какой-нибудь другой державы, кроме Австрии и Пруссии? Впрочем, кроме славян, жили на пространстве нынешней России и другие племена, говорит г. Тимаев: «на север от Волги многочисленное финское племя», — ну, а мордва, донные остающаяся в губерниях Пензенской и Саратовской, к какому племени принадлежит? какими же это судьбами губернии Пензенская и Саратовская лежат на север от Волги?

Мы видим, что г. Тимаев только из скромности говорит, будто бы в его «сочинении нет ни новых фактов, ни новых исследований и выводов». Мы пересматриваем книгу слегка; что попадет под глаза, то и выбираем: вот, например, параграф об унии. «Поляки обратили внимание на веру (говорит г. Тимаев), стараясь подать православие и распространить католицизм во всем киевском княжестве. Кирилл Терлецкий, епископ луцкий, Михаил Рагоза, митрополит киевский, и хитрый Ипатий Поцей, епископ владимирский\*, недовольные константинопольским патриархом, решились отделиться от православия и искать покровительства у папы, главы западной церкви», и т. д. Что же, Кирилл Терлецкий, Михаил Рагоза и хитрый Ипатий Поцей были поляки?<sup>3</sup> а

\* Речь идет о Владимире Волынском. — Ред.

если они были русские, то поляки ли завели унию? А вот параграф: «Образование Петра Великого». «О детстве Петра рассказывают, что однажды во время Алексея Михайловича купец принес Петру подарки, между которыми находилась маленькая сабля: трехлетний царевич схватился за саблю» и — ждете вы по этому началу — прибавил, что, дескать, когда я вырасту, я этою саблею побью Карла XII под Полтавою; но нет: г. Тимаев не догадался, что его анекдот следовало бы закончить таким манером. А вот «Отечественная война 1812 г.» «Наполеон, желая покорить и саму Россию, вскоре нашел предлог к войне». Вот как, Наполеон желал покорить Россию! Такой скрытный был человек: никто до г. Тимаева не умел узнать этого! Нет, что ни говорите, новых фактов в маленькой книжке г. Тимаева немало. Судя по этим небольшим выдержкам, надобно отвергнуть первую половину дилеммы автора: «или то, что книга моя имеет свои достоинства». Значит, объяснить продолжающееся требование на нее можно только второю половиною дилеммы: «или же то, что в литературе нашей недостает именно такого рода руководства»; именно недостает такого рода руководства: есть руководства недурные; есть много руководств плохих, но и плохие все-таки писаны людьми, хоть сколько-нибудь знакомыми с предметом; а такого руководства, которое имело бы совершенно ребяческий характер, до издания книжки г. Тимаева не было. Полная благодарность ему за то, что он потрудился восполнить этот недостаток.

И какой плодотворный педагог г. Тимаев! На обертке его книжки читаем, что в книжных магазинах С.-Петербурга, кроме «Краткого изложения русской истории», поступили в продажу тоже его сочинения: «Краткий учебник всеобщей истории, ч. I. История древнего мира», «Тетрадь всеобщей географии», — это все сочинения г. Тимаева; а дальше поставлены еще две книги: «Греческая мифология» и «Филокрит, трагедия Софокла, перевод с греческова», — чьего сочинения эти две книжки, не написано; только поставлены они рядом с сочинениями г. Тимаева. Но кем бы ни был напечатан «Филокрит», перевод с греческова, этот господин, то есть не Филокрит, а человек, его напечатавший, должен быть отважный прогрессист, бойкая голова, нововводитель; так что недаром поставлена его книжка рядом с сочинениями самого г. Тимаева: один уничтожает букву ъ, заменяет букву и буквою і, а другой открывает, что Наполеон желал покорить Россию и что черногорцы — не сербы. Оба молодцы. Однако погодите, это еще не все: на обертке «Краткого изложения русской истории» напечатано еще, что в непродолжительном времени выйдет в свет «Краткий учебник всеобщей истории. Часть 2. История средних веков. Составил Н. Тимаев».

Скоро ли г. Тимаев исполнит это обещание, скоро ли подарит нас «Историею средних веков» такого же ребяческого характера. как «Краткое изложение русской истории»?



**Краткий учебник всеобщей истории. Ч. II. История средних веков.** Составил *Н. Тимаев*. С-П — бург. 1861.

А вот обещание уж и исполнено. Молодец г. Тимаев; право, хорошо.

«Не все народы, — говорит он в начале своей новой книжки, — одинаково важны для истории: некоторые народы исчезли, оставив только имя своему потомству; другие народы содействовали к развитию образования; третьи способствовали к распространению образования; четвертые разрушительными появлениями и набегами задерживали ход образования. Поэтому народы могут быть разделены на исторические и неисторические; так, древние греки и римляне, новейшие французы, англичане, германцы суть вполне исторические народы; напротив того, готтентоты, негры, калмыки, якуты суть не исторические народы». Готтентоты, калмыки, якуты, вероятно, и по мнению г. Тимаева не содействовали развитию или передаче образования; значит, ни ко вторым, ни к третьим народам они не принадлежат: что же они — четвертые народы, которые разрушительными появлениями и набегами задерживали ход образования? Или они — те народы, которые «исчезли»? Вот видите ли, г. Тимаев, прежде, чем печатать исторические учебники, надобно самому выучиться писать с толком; иначе не попадешь в число «писателей, благодетелей и друзей человечества», которые «сильно подвигают вперед общество». Впрочем, кажется, что г. Тимаев может «преимущественно явиться деятелем в истории» как художник: в своих маленьких книжках он часто проявляет поэтический склад души, Начнет, например, говорить о рыцарских замках и прибавит, что в наше время их развалины «служат жилищем воронам и летучим мышам»; или, начнет говорить о Фридрихе II Гогенштауфене и очень мило обрисует «прекрасную Италию с ее светлым небом, чудным климатом и роскошною природою». Книжка у него очень маленькая — всего страничек 300 самого маленького формата — и напечатана крупным шрифтом; кажется, негде было бы разгуляться, — нет, он умеет распорядиться местом, все важное успеет сообщить. Например: в кратком учебнике иной не нашел бы места поразговориться о домашних делах Рудольфа, графа Габсбургского, до его избрания в императоры<sup>1</sup>; а г. Тимаев открыл возможность рассказать нам следующий, конечно, очень важный исторический факт: «В это время в южной Германии, Швабии, жил Рудольф, граф Габсбургский, отличавшийся отвагою, благочестием, справедливостью и добротою, так что он был любим своими подчиненными. Однажды Рудольф Габсбургский ехал верхом на коне и встретил священника, шедшего с святыми дарами к больному; благочестивый Рудольф сошел с коня, предложил его священнику для переправы через речку и потом подарил

коня священнику». Это очень хорошо. Дошла у г. Тимаева очередь до Венеции, — он и тут успел заметить, что «длинные и легкие гондолы отличались изяществом и роскошью: но с XVI века все гондолы делались черными». Да ведь XVI век, если не ошибаемся, принадлежит уже не к средней, а к новой истории; что же краткому учебнику истории средних веков до того, в какой цвет стали красить гондолы с XVI века? Словом сказать, книжка г. Тимаева написана как будто бы стенографом со слов бойкого мальчика, который так и режет свой ответ на экзамене; чего, чего не подвернется под язык этому мальчику! Случилось ему прочитать балладу Шиллера в переводе Жуковского, — он вклеит ее в ответ; случилось прочесть в старинном «Живописном обозрении» статейку о гондолах, — он и гондолы всунет в ответ; а вдруг порадует вас и таким рассказом: «Из преемников Роллона замечателен герцог Роберт, по прозванию Дьявол<sup>2</sup>. Сначала Роберт-Дьявол вел самую преступную жизнь; он жил в твердом замке среди дикого леса, составил себе толпу отважных товарищей, с которыми он нападал на монастыри и замки, грабил их и убивал путешественников, купцов и горожан; отец его, опечаленный поведением сына, умер с горя. Однажды, как рассказывают, Роберт ограбил один замок и велел привести к себе владельца замка; но так как владельца не было, привели владельницу замка, и Роберт узнал в ней свою мать. Она упрекала Роберта и говорила, что он хочет и ее низвести в могилу, как и отца. Это произвело сильное впечатление на Роберта; он переменял образ жизни, распустил своих товарищей и сам, как кающийся грешник, отправился к святым местам в Иерусалим и в Рим. Получив от папы прощение грехов, он возвратился в Нормандию и сделался одним из лучших герцогов норманских» (стр. 104). Выслушав такой эпизод, экзаминатор сурового свойства морщит брови и мычит: «не к делу рассказываете, не о том вас спрашивают; о Роберте-Дьяволе могли бы вовсе вы и не упоминать; он лицо неважное; вы бы учились хорошенько, а то, верно, в театре часто бываете, балеты смотрите, да нам на экзамене их и отвечаете». Но экзаминатор игривого свойства подмаргивает суровому товарищу и хихикает: «зачем же (хи, хи, хи! закрываясь платком) Роберт-Дьявол велел привести владельницу замка? что он с ней хотел сделать?» (Опять закрывается платком и хихикает; весь класс вторит ему громким хохотом; бойкий ствечающий мальчик сам улыбается и переминается.)

В предисловии к «Изложению русской истории» г. Тимаев говорит: «этот учебник составлен преимущественно для женских учебных заведений». Не знаем, для каких заведений преимущественно составлен «Учебник истории средних веков»; но если также для женских, г. Тимаев — большой шутник.

**Тетрадь всеобщей географии.** (Приготовительный курс)  
Седьмое исправленное издание. Составил М. Тимаев. Спб., 1861.

Двумя страницами выше мы причислили эту «Тетрадь» к сочинениям г. Н. Тимаева, автора прекрасных ребяческих руководств по всяким историям: и по всеобщей древней, и по всеобщей средней, и по русской; а вот, видите ли, мы и ошиблись, не разобрали дела, напрасно предположили, что достаточно для России считать в числе своих сынов одного печатного г. Тимаева. Нет, и велика страна наша, и обильна гг. печатными Тимаевыми: в дополнение к Н. Тимаеву открылся теперь М. Тимаев; вы думаете: «ну, теперь уж довольно»; нет: к предисловию «Тетради», под которым написано «М. Тимаев», сделана прибавка в пять строк, говорящая, что «седьмое издание «Тетради» исправлено по новейшим географиям», и под этою прибавкою подпись: «В. Тимаев». Таким образом, птенцов (преимущественно женского пола, — надобно сказать, должно быть: птениц или птенок) называют целых трое гг. Тимаевых: 1) Н.; 2) М.; 3) В. Как назидает их г. Н., мы уже видели. Полюбопытствуем теперь относительно гг. М. и В.

Мы слышали, как рассуждает о славянских племенах г. Н. Тимаев. Послушаем, что говорят о них гг. М. и В. Тимаевы. «Политическое обозрение Европы. Число жителей и их поколения. 1. Славянское поколение, к коему относятся: россияне (г. Н. Тимаев говорит просто «русские»), поляки, чехи или богемцы, венды в Пруссии (это должно быть — лужичане; ну, а как в Саксонии, нет ли там лужичан?), словаки, кроаты, иллириане, болгары, живущие в Австрии и турецких владениях». Гг. М. и В. Тимаевы имеют над г. Н. Тимаевым то преимущество, что знают лужичан (под именем вендов, как Геродот знал калмыков под именем агриппеев) и словаков (этих уже под настоящим их именем), которые укрылись от изысканий г. Н. Тимаева; а г. Н. Тимаев имеет над своими однофамильцами то преимущество, что знает хорутан, которых они не знают. Умилительно это сравнение: знание трех славянских племен разделилось между тремя однофамильцами, как раз каждому по племени: сему хорутане, оным же словаки и лужичане (рекомые венды).

Оно, впрочем, не одних хорутан не найдете вы между европейскими «поколениями»: гг. М. и В. Тимаевы забыли румунов, албанцев, мордву (ее могут они отыскать на север от Волги по указанию своего однофамильца), все латышское племя, ирландцев, бретонцев и все кельтское племя, басков; оно, впрочем, и то сказать, не стоит таких пустяков замечать. Вот еще отрывочек с той же страницы. «Хлебопашество почти везде производится, но в лучшем состоянии оно находится в Англии, в Нидерландах, и

Ломбардо-Венецианском королевстве. Россия и Сицилия также богаты хлебом». Это сопоставление России и Сицилии прелестно. Читаем дальше. «Рудокопство особенно важно в России, Швеции, Венгрии и в некоторых странах Германии, особенно в Богемии и Саксонии». Только? ну, а как же в Англии, которая одна добывает из своих рудников больше богатства, чем вся остальная Европа? Впрочем, что нам до заграничных земель, посмотрим лучше «обозрение Российской империи». «Величина ее свыше 400 000 кв. миль». А по академическому месяцеслову на 1861 год менее 375 000 кв. миль. Видно, у гг. М. и В. Тимаевых какие-нибудь особенные квадратные мили. Любопытно узнать, какие моря находятся на пределах Европейской России. Вот какие: «Моря. На севере — Северный океан. На западе — Балтийское море. На юге — Черное море и залив оною — Азовское море. Балтийское море служит преимущественно путем сообщения с другими народами». Хорошо: только Каспийское море где же? Видно, Каспийского моря не оказывается между Европейскою Россиею и Персиею «по новейшим географиям», по которым исправлено седьмое издание «Тетради». А жаль этого моря: оно снабжало нас хорошей рыбой. Идем дальше. «Европейская Россия разделяется на 5 стран: лесную страну, страну мануфактурной промышленности, страну горнозаводской промышленности, страну хлебопашества и степную страну. В стране мануфактурной промышленности находится губерния Казанская», однако, далеко же захала страна мануфактурной промышленности. Известное дело, что когда одна вещь слишком растягивается, другая должна сжиматься. Потому из страны хлебопашества исключены «большая часть губерний Саратовской и Самарской и часть губернии Воронежской». Бедные части, куда они денутся?

Нет, гг. М. и В. Тимаевы нимало не уступят своими достоинствами своему однофамильцу.

Изумительно, что подобные, никуда негодные книжонки доживают до «седьмого исправленного издания». Какие несчастные люди принуждены покупать их?

**Письма русских государей и других особ царского семейства.** Изданы комиссиею печатания государственных грамот и договоров, состоящею при московском главном архиве министерства иностранных дел. I. Переписка Петра I с Екатериною Алексеевною. II. Переписка царицы Прасковьи Федоровны и дочерей ее Екатерины и Прасковьи. Москва. 1861.

Начнем прямо пересмотром исторических документов, находящихся в первых двух выпусках. Письма перенумерованы; мы и станем пересматривать их по порядку номеров.

№ 1. — 1707 г. января 8. Письмо Петра I к Анисье Кириловне Толстой и государыне Екатерине Алексеевне о приезде их в Киев.

Госпожи тетка и матка!

Письмо ваше, в котором пишете о нововыжежей Катерине, я принял; слава богу, что здорово в рожден(ь)и матери было, а что пишете к миру (по старой пословице), и ежели так станетца, то мочно болше раду быть дочери, нежели двум сынам. О приезде вашем я уже вам говорил и сим писмом также поттвержаю: приежайте в Киев не мешкаф; из Киева отпишите, а не отпи-саф не ездите, для того, что дорога от Клева не очень чиста. При сем посы-лаю подарок матери и з дочерью.

*Piter.*

Из Жолкви, в 8 д. января 1707.

*Подлинник писан собственною рукою Петра I; хранится в государственном архиве министерства иностранных дел в книге под № 17.*

№ 2. — 1707 г. февраля 6 дня. Письмо Петра I к Анисье Кириловне Толстой и государыне Екатерине Алексеевне, о приезде их в Жолкву.

†

Госпожи тетка и матка!

Как к вам сей доноситель приедет, поежайте сюды не мешкаф.

*Piter.*

Из Жолкви, в 6 д. февраля 1707.

*Подлинник писан собственною рукою Петра I; письмо было свернуто пакетом, на обороте надпись: † Госпожам тетке и матке. Пакет запечатан красною сурлучною печатью, на которой изображен шифр: Р. А.: наверху корона. Хранится в государственном архиве МИД в книге под № 17.*

Точно таковы же письма от № 3 до № 8, от № 10 до № 23, от № 25 до № 97, от № 99 до 221, то есть до конца первого выпуска. Бóльшая часть писем тут от императора Петра к императрице Екатерине Алексеевне: есть несколько писем и от нее к нему. Содержание его писем таково: «я приехал вчера или третьяго дня в город, из которого пишу тебе. Завтра или послезавтра отправляюсь в такой-то город». К этому прибавляются заметки о здоровье, иногда о погоде: когда Петр пишет с минеральных вод, то прибавляет, что пьет минеральные воды; когда императрица едет к нему, он советует ей, по какой дороге лучше проехать; очень часто прибавляется: благодарю тебя за твой подарок, — это обыкновенно какие-нибудь фрукты, иногда какая-нибудь другая провизия или несколько бутылок вина или пива; довольно часто император сам посылает подарки супруге: кусок материи на платье или тоже что-нибудь из провизии. Если случилась какая-нибудь новость, в двух словах упоминается о ней, но решительно всегда в двух словах, чрезвычайно кратко. Почти всегда упоминается о детях: хорошо, что они здоровы; пожалуйста, заботься о них; или: очень мне приятно, что ты так заботишься о детях. В письмах Екатерины к супругу то же самое, но чаще, нежели в письмах Петра, встречаются поздравления с праздни-

ками. Словом сказать, из 221 письма 218 имеют обыкновенный характер коротеньких записочек, посылаемых семьянином к семьянину наскоро, с единственной целью уведомить о здоровье, чтобы не беспокоились домашние, или сообщить что-нибудь по обыкновенным семейным делам, о которых и в самом семействе через неделю забывают. Вот еще примеры прибавок к двум уже приведенным.

№ 155. — 1719 г., августа 16. Письмо государыни Екатерины Алексеевны к Петру I, *поздравительное с праздником Успения богородицы и с уведомлением о здоровье.*

Инаго ныне к доношению вашей милости ничего не имею, но паче всего всем сердцем желаем вам здравия, и дабы не усypным вашим трудностям господь бог даровал вам покой и в сие время дела ваши скончил пожелаемым благополучием, с чем каждого часу вашу милость ожидаю. О себе доношу, что купно з детками и со внучаты нашими обретаемся, слава богу, в добром здоровье. При сем поздравляю вашу милость вчерашним праздником успения богородицы.

Августа 16-го дня.

№ 182. — 1723 г., июля 4. Письмо Петра I к государыне Екатерине Алексеевне, *о прибытии своем с флотом в Ревель.*

Катеринушка, друг мой сердешинкой, здравствуй!

Объявляю вам, что мы со флотом вчерашнего дни в здешней Бай [Ваау голландск. — залив, гавань. — Прим. издат.] прибыли благополучно [в] 8 часов по полудни, и стали на якорь; а сего моменту идем к городу. Могли бы быть и ранее, только великой был туман; чего для zelo опасались кокшар [sic] и прочих мелей, того для немного парусов употребляли. За сим паки здравствуй и будь весела, а мы слава богу, веселы и здоровы.

Петр.

От Ревеля, в 4 д. июля 1723.

Теперь читатель пусть сам рассудит, в какой степени полезно или нужно было издавать эти письма. Некоторым покажутся, быть может, несколько любопытны орфографические неправильности. Но и с этой стороны издание решительно бесполезно для каждого, кто читал хоть какие-нибудь книги о Петре Великом. Ведь известно, что русская орфография не входила в воспитание тогдашних времен; она считалась нужною лишь для одних специалистов — типографских корректоров. Конечно, очень немногим из наших читателей нов тот факт, что Петр Великий писал очень неправильно, как и все его сподвижники, как и все тогдашние важные люди, за исключением разве двух-трех лиц из числа архиереев.

Если в переписке Екатерины и Петра из 221 письма 218 не имеют ничего важного или любопытного для истории, то, разумеется, еще меньше можно найти чего-нибудь такого в переписке царицы Прасковьи Федоровны с Петром I, Екатериною Алексеевною, герцогинею Мекленбургской Екатериною Ивановною, с принцессою Анною Леопольдовною, в переписке герцогини Мекленбургской Екатерины Ивановны и царевны Прасковьи Ивановны с их царственными родственниками, с князем и княгиниею

Меншиковыми и проч. Из 101 письма, помещенных во втором выпуске, только 16 заключают в себе хотя что-нибудь, кроме уведомлений о здоровье, а все остальные 85 имеют исключительно форменный характер поздравительных и доброжелательных писем, какими до сих пор постоянно обмениваются раза по два или по три в год родственники и люди близкие в патриархальных классах русского общества. Вот примеры:

№ 1. — 1716 г. февраля 3. Письмо царицы Прасковьи Федоровны к государыне Екатерине Алексеевне, с известием о здоровье царских детей и с просьбою не оставить своего милостью ее дочери.

Государыня моя матушка и невестушка,  
царица Екатерина Алексеевна!

Здравствуй, свет мой, на множество лет. Доношу милости твоей: государь Петр Петрович, и государыня царевна Анна Петровна, и государыня царевна Елисавета Петровна, слава богу, в добром здоровье.

Пожалуй, государыня моя невестушка, прикажи нас уведомить писанием о вашем здравии, чего мы от сердца слышать желаем. Прошу вашей милости: содержи, свет мой, в своей милости мою дочку, какую я видела к ней твою милость, также слышу и заошную твою милость к ней.

А о себе доношу вашей милости: я з детьми своими до воли божией живы. При сем остаюсь — сноха ваша Прасковья кланеюсь.  
Февраля в 3 де[нь] 1716 году, из Санкт Питербурха.

*Подлинник, за собственноручною подписью царицы, хранится в государственном архиве МИД в книге под № 17: на обороте адрес: государыне моей невестушке царице Екатерине Алексеевне.*

№ 51. — 1717 г., ноября 24. Письмо герцогини Мекленбургской Екатерины Ивановны к государыне Екатерине Алексеевне, поздравительное со днем ее тезоименитства.

Милостивая моя государыня тетушка и матушка,  
царица Екатерина Алексеевна, здравствуй на множество лет.

Вашего величества милостивое писание, пущенное из Санкт-Петербурха 17-го прошедшего октября я исправно получила, за которое покорно благодарствую. И при сем моем благодарении нижайше поздравляю ваше величество, мою государыню матушку, нынешним торжественным днем вашего тезоименитства, и желаю от всего моего сердца: да подаст всевышний вашему величеству благополучно день сей торжествовать, тако ж и [в] впредь будущие лета таких же дней многих во всяком здравии достигнуть.

Покорнейше прошу ваше величество приказать меня своими милостивыми писаниями не оставить о состоянии дрожайшего здравия государя моего дядюшка, тако ж и вашего величества, тако ж и о здравии государя моего братца и сестриц; о чем сердечно желаю ведать.

При сем и о себе вашему величеству доношу: за помощью божиею с любезным моим супругом обретаюсь в добром здравии. Впрочем рекомендую себя во всегдашние вашего величества милости, и сократя сие, с покорным почтением пребываю.

Вашего величества

покорная служница и племянница, Екатерина

Из Ростока, 24 ноября 1717 г.

*Подлинник, за собственноручною подписью герцогини, хранится в государственном архиве министерства иностранных дел, в книге под № 17.*

Таковы 85 из 101 письма 2-го выпуска. В 16 остальных есть прибавки к извещениям о добром здоровье и к пожеланиям доброго здоровья. В письмах 9, 10, 11 и 12 идет речь о пожаловании Крестовского острова в подарок царице Прасковье Федоровне. Особенно важного, впрочем, и тут не так много: в письме № 9 императрица Екатерина Алексеевна в 4 строках извещает царицу Прасковью Федоровну, что император отдает ей Крестовский остров; в письме № 10 царица Прасковья Федоровна в 4 с половиною строках извещает о том князя Меншикова и просит его сделать распоряжение о вводе ее во владение Крестовским островом; в письме № 11 князь Меншиков, в 12 строках, отвечает царице Прасковье Федоровне, что Крестовский остров пожалован был прежде ему и он завел там пильные мельницы и заводы; и что, вспомнив о том, император оставил Крестовский остров за ним, а царице Прасковье Федоровне пожаловал взамен его Петровский остров; в письме № 12 Меншиков сообщает царице Прасковье Федоровне то же самое во второй раз по случаю получения письма от императрицы Екатерины Алексеевны. В письмах №№ 21 и 22 царица Прасковья Федоровна зовет герцогиню Мекленбургскую Екатерину Ивановну и принцессу Анну Леопольдовну приехать в Россию повидаться с нею; в письме № 27 то же самое, с прибавлением советов герцогине Мекленбургской Екатерине Ивановне относительно ее беременности; в 4 других письмах находятся некоторые приказания тому или другому управляющему имением той или другой царевны, чтобы он распорядился присылкою хорошей провизии; наконец, вот и письма, в которых упоминается о предметах, относящихся до истории.

№ 36. Герцогиня Мекленбургская Екатерина Ивановна, в 20 строках, просит императора Петра не отнимать своей милости у ее супруга герцога Мекленбургского и не слушать «несправедливых доношений на него от короля прусскаго», который имеет к ее супругу «непрямое сердце и великое лукавство». В письмах №№ 67 и 71 император Петр пишет в двух и в трех строках герцогине Мекленбургской, что по возможности желает помогать ее супругу, но обстоятельства или, по тогдашнему выражению, «конъюнктуры» еще мешают ему; а важнейшее из всех писем, № 76, мы помещаем вполне.

№ 76. — 1721 г., сентября 8. Письмо Петра I к герцогине Мекленбургской Екатерине Ивановне, о заключении нейштадтского мира.

«Любезнейшая государыня племянница!»

Объявляем вам, что всемилостивый бог двадцатиднолетнюю войну благим и пожелаемым миром благословить изволил, которой мир заключен августа в 30 день в Нейштате, и оным вам поздравляем. «И ныне свободни можем в вашем деле вам вспомогать, лише б супруг ваш помягче поступал».

Петр.

Из Санкт-Петербурха, в 8 день сентября 1721 г.



*Подлинник хранится в государственном архиве министерства иностранных дел. Собственноручные строки Петра I обозначены в настоящем издании вносными знаками.*

В 1-м выпуске находятся целых три письма такой же или еще большей исторической важности. Читатель помнит, что мы в начале статьи обозрели лишь 218 писем из 221, — а эти три оставили тогда в стороне для подробнейшего знакомства с ними. Вот они.

№ 9. — 1708 г., августа 31. Письмо Петра I к государыне Екатерине Алексеевне и Анисье Кириловне Толстой, о битве со шведами.

†

Матка и тетка здравствуйте!

Письмо от вас я получил, на которое не подивите, что долго не ответствовал; понеже пред очми непрерыванно неприятные гости, на которых уже нам скучило смотреть; того ради мы вчерашнего утра резервувались и на правое крыло караля шведского с осмью баталионами напали, и по двочасном огню оногo с помошшию божиею с поля збили, знамена и протчая побрали. Правда, что я как стал [в подл. итал.] служить, такой игърушки не видал; аднакожь сей танец вчяхъ [в очахъ?] горячего Карлуса изрядно стонцовали; аднакожь больше вьсех попотел наш полк. Отдайте поклон кнеине и протчим, и о сем объявите.

*Piter*

Из лагеру от реки Черной Маплы, в 31 д. августа 1708 г.

Подлинник писан собственною рукою Петра I; письмо было свернуто пакетом и запечатано красною сургучною печатью с шифром: Р. А., наверху корона. На пакете надпись: † Тетушке Анисье Кириловне и протчим. Хранится в государственном архиве МИД в книге под № 17.

№ 24. — Письмо Петра I к государыне Екатерине Алексеевне, о действиц целебных вод на здоровье государя.

†

Катеринушка, друг мой, здравствуй!

А мы, слава богу, здоровы толко с воды брюхо одула, для того так поят, как лошадей; и инова за нами дела здесь нет, толко что... Письмо твое я чрез Сафонова получил, которое прочитая горазда задумался. Пишешь ты, яко бы для лекарства, чтоб я нескоро к тебе приехал, а делам знатно сыскала ково-нибудь вытнее \* меня; пожалуй отпиши: из наших ли или из таруннчан? а болше чаю: из тарунчан, что хочешь отомстим \*\*, что я пред двумя леты занял. Так-та вы свьвинны дочки делаете над стариками! Кнез-папе и четверной лапушьке \*\*\* и протчим отдай поклон.

*Петр*

Из Карльсбада, в 19 д. сентября 1711.

Подлинник писан собственною рукою Петра I; был вложен в особый пакет и запечатан красною сургучною печатью с шифром: Р. А., наверху корона. На пакете надпись: † Царице Екатерине Алексеевне. Хранится в государственном архиве МИД в книге под № 17.

№ 98. — 1717 г., июня 18. Письмо Петра I к государыне Екатерине Алексеевне, о приезде своем в Спа для лечения водами.

\* В ы т н ы й — рослый, здоровый (см. Опыт обл. великорус. словаря, стр. 34). — Примеч. изд.

\*\* Чт а й: отомстить. — Примеч. изд.

\*\*\* Слова «и четверной лапушке» приписаны сбоку. — Примеч. изд.

Катеринушка, друг мой сердешникой, здравствуй!

Инаго объявить отсель нечего, только что мы сюды приехали вчерась благополучно; а понеже во вѣремя пития вод домашней забавы докторы употреблять заперещают, того ради я матресу свою отпустил к вам; ибо не мог бы удержатца, ежелиб при мне была.

*Петр*

Из Шпа, в 18 д. июня 1717.

Подлинник писан собственною рукою Петра I; письмо было запечатано красною сургучною печатью с шифром: Р. А. На обороте надпись: † Ее величеству государыне царице Екатерине Алексеевне. Хранится в государственном архиве МИД в книге под № 17.

Из 322 писем, напечатанных в двух первых выпусках, два или три любопытны; еще писем пять или шесть могли бы быть несколько интересны как образцы языка, которым писали супруга Петра, его племянницы и сестры. Но образцов этих очень много напечатано и давным-давно, и в недавних книгах, стало быть, и с этой стороны вновь издавать их не было пользы. Кто из людей, читавших не только Голикова или г. Устрялова, но хотя бы какой-нибудь русский журнал, не знаком с слогом Петра, Екатерины I и других лиц, письма которых собраны теперь? Кому покажется интересна даже орфографическая неправильность этих писем? — разве людям, никогда ничего не читавшим. А разве для таких людей предпринимаются ученые издания исторических документов? Вероятно, они делаются для специалистов или для людей, хоть несколько занимающихся историей. Таких людей тогдашняя манера писем не удивит, — они давно знакомы с ней, и ничего не только нового, но даже хотя бы сколько-нибудь полезного для какой-нибудь справки не отыщут они в изданных теперь письмах. Если бы московский пожар 1812 года и петербургское наводнение 1824 года истребили все документы и памятники петровского времени, кроме этих писем, если б до начатого теперь издания не известно было никому на свете, что существовал Петр Великий, что супруга его носила имя Екатерины Алексеевны, что он брал несколько раз курс минеральных вод, что он сражался со шведами и любил употреблять в письмах шуточные выражения, издание имело бы безмерную драгоценность; к сожалению, все эти факты очень хорошо и подробно известны.

Если комиссия будет продолжать свое издание по такому плану, — если она будет собирать и печатать все коротенькие семейные записочки, в которых не говорится ровно ни о чем, кроме поздравлений с праздниками, извещений о добром здоровье и т. д., если она будет продолжать так, то наберется у ней 500 выпусков с 70 тысячами писем прежде, чем случится ей напечатать хотя одну страницу, сколько-нибудь важную для исследователя. Мы думаем, что назначение комиссии — заниматься

изданием не этих писем, через месяц утрачивавших всякое значение даже для лиц, обменивавшихся ими. Неужели не осталось, например, от Петра Великого писем, более важных для историка? Мы советовали бы комиссии подумать об этом. Теперь она понапрасну тратит бумагу, тратит труд, а что важнее всего — тратит время. Ведь пока она работает, задача считается исполняющеюся, и нет другой комиссии для того же дела; а если дело исполняется таким образом, то все равно, что оно не исполняется.

### < ИЗ № 12 «СОВРЕМЕННОГО» >

**Характеристики из сравнительного землеописания и этнографии, собранные и приспособленные для домашнего и школьного образования. Вильгельма Пютца. Часть первая, Выпуск первый. Перевод с немецкого. М. Тихонович. Москва, 1861 г.**

Книга Пютца составлена в том же духе, как сборник Грубе<sup>1</sup>, о котором мы уже говорили в октябрьской книжке, но отличается от него большею полнотою и систематичностью. Вот как сам автор объясняет план и цель своей географической хрестоматии.

Преподаватель, имеющий под рукою весьма ограниченное число сочинений по части научного землеописания, может почерпнуть отсюда материал для более обширного преподавания предмета, кратко изложенного в учебнике; с другой стороны, ученик найдет здесь: оживленное дополнение своих уроков в форме, доступной его пониманию. Так как главная цель нашего сборника — основательное ознакомление с предметом, а не летучие беседы, то он должен отличаться от множества появившихся в последнее время «географических характеристик» и тому подобных сочинений более научною формою отдельных статей, большею целесообразностью в выборе их и известною полнотою излагаемых предметов. Для достижения этой цели оказалось необходимым сделать новый выбор из оригинальных статей, а также выдвинуть на первый план сравнительное описание, которое в географии, так же как и в других науках, приводит к столь богатым результатам. Излишне было бы упомянуть, что мы выбрали преимущественно такие отрывки, которые по возможности соединяли в себе научное достоинство с увлекательным изложением. Даже поверхностное сравнение лучших географических книг для чтения с нашим сборником покажет, как мало эти книги, при всей их многочисленности, годились для чтения. Поэтому издатель, выбирая отдельные отрывки из сочинений по этой части, надеется по мере сил содействовать большому распространению этих сочинений. Издатель дозволил себе двоякого рода изменения в текстах оригинала. Первое и важнейшее состоит в весьма значительных иногда сокращениях, сделанных частью для того, чтобы достигнуть известного единства в изложении, частью же для того, чтобы в сжатой форме, но с известною полнотою изобразить главнейшие явления в отдельных странах; там, где для этой цели недостаточно было простых пропусков, издатель принял на себя обработку некоторых отрывков и особенно отметил эти статьи. Кроме того, само собою разумеется, что в книге, назначенной для учащегося и преимущественно зрелого юношества, устранено все сомнительное в религиозном, общественном и политическом отношении, вследствие чего она может быть весьма полезна для ученических библиотек высших учебных заведений.

Другой род изменений, несравненно реже встречающийся, состоит в исправлении устаревших показаний, и не одних только статистических, но и касающихся описаний городов и т. д. При издании первого тома собственные наблюдения, вынесенные издателем из неоднократных ежегодных путешествий во внутреннюю Европу и близлежащие земли, много облегчили поверку избранных им описаний. Второй том, содержащий в себе почти в таком же объеме описание отдельных стран Европы и других частей света, заключит собою этот ряд характеристик.

Вот содержание первого выпуска первой части:

I. *Общая часть.* Формы земной поверхности и их влияние на человека. Значение рек для культуры. Земные поясы и их влияние на органическую природу, в особенности на природу человека. II. *Океанография.* Сравнение трех важнейших океанов: Атлантического, Великого и Индийского. Атлантический океан как посредник между Старым и Новым Светом. Великий океан и значение его в будущем. Средиземное море. Черное море. Сравнение Балтийского моря (как северного Средиземного моря) с (южным) Средиземным морем. III. *Землеописание и этнография.* Сравнение Старого и Нового света. Географическое положение материков относительно всей земной поверхности. Горизонтальное членение отдельных частей света и влияние их на культуру. Породы людей. А. Европа. Положение Европы и ее мировое значение. Превосходство Европы над другими частями света. Строеие гор Европы в сравнении с другими частями света. Этнографическое, церковное и политическое деление Европы на три части. а) *Южная Европа.* Сравнение трех южных полуостровов Европы. аа) *Греческий полуостров* (в более обширном значении). Образование суши греческого полуострова. Османы. Босфор и Дарданеллы. Положение и окрестность Константинополя. Положение Греции и естественное свойство по отношению к истории ее. Греция в прежнее время и теперь. Небо и воздух Греции. Физический, духовный и нравственный характер древних эллинов. Жители нынешнего Греческого королевства: албанцы и эллины. Северная Греция. Средняя Греция (собственная Эллада или Ливадия). Южная Греция (Пелопоннес или Морья). Олимпия. Греческие острова. Черногория (Монтенегро). бб) *Италийский полуостров.* Италия относительно других земель. Природа Италии вообще. Растительность Италии. Итальянцы. Северная Италия. Долина Шамуни в Савойе. Турин. Жители Ломбардии. Милан. Венеция. Генуя. Ницца. Тоскана. Долина Арно и тосканские мареммы. Флоренция. Ливорно. Римская Кампанья. Рим, дважды владыка мира, в сравнении с другими цивилизованными странами. Церковь Петра и Ватикан. Тиволи и его окрестность. Понтийские болота. Области Неаполитанского королевства. Счастливая Кампанья. Неаполь (в сравнении с Римом). Неаполитанцы. Везувий. Исхиа и Капри. Помпея. Сицилия. Этна. Палермо.

В остальной половине первого и во втором томе столь же подробно и систематически собраны статьи, изображающие характер прочих земель Европы и других частей земного шара. Книга Пютца должна принести большую пользу преподаванию географии.